

Вильгельм фон Гумбольдт ЯЗЫК И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Вильгельм фон Гумбольдт



ЯЗЫК И ФИЛОСОФИЯ
КУЛЬТУРЫ



**ЯЗЫКОВЕДЫ
МИРА**



*Памятник В. фон Гумбольдту
перед Гумбольдтовским университетом в Берлине
(Фото Г. Чубария).*

Вильгельм фон Гумбольдт

ЯЗЫК И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Переводы с немецкого языка

Составление, общая редакция и вступительные статьи
доктора философских наук проф. А. В. ГУЛЫГИ и
доктора филологических наук проф. Г. В. РАМИШВИЛИ



**МОСКВА
ПРОГРЕСС**

1985

Переводы с немецкого: М. И. Левиной, О. А. Гулыга,
А. В. Михайлова, С. А. Старостина, М. А. Журиной

Рецензенты:

член-корреспондент АН Грузинской ССР
доктор философских наук Н. З. ЧАВЧАВАДЗЕ,
доктор филологических наук проф. С. Д. КАЦНЕЛЬСОН,
доктор филологических и психологических наук проф. А. А. ЛЕОНТЬЕВ

Редактор М. А. Оборина

Настоящим сборником немецкого ученого-гуманиста Вильгельма фон Гумбольдта мы продолжаем публикацию трудов из классического наследия выдающегося филолога и философа конца XVIII — начала XIX века. Сборник многообразен по тематике: в него включены работы по философии истории, труды по эстетике, антропологии, статьи и фрагменты из монографий по лингвистике.

© Составление, перевод на русский язык,
вступительные статьи, комментарий. «Прогресс», 1985

Г $\frac{4602000000-741}{006 (01)-85}$ 63-85

Философская антропология
Вильгельма фон Гумбольдта

Философская антропология Вильгельма фон Гумбольдта

Советский читатель продолжает знакомство с теоретическим наследием Вильгельма фон Гумбольдта. Уже в ходе работы над «Избранными трудами по языкознанию», увидевшими свет в 1984 г., стало очевидным, что нужна еще одна книга, сборник трудов великого гуманиста и гуманитария, охватывающий более широкий круг вопросов философии языка и культуры. Новый сборник приурочен к 150-летию со дня смерти Гумбольдта.

Вильгельм фон Гумбольдт родился 22 июня 1767 г. и скончался 8 апреля 1835 г. Его жизнь совпала с тем периодом развития литературы и философии в Германии, который принято именовать классическим, его творчество стало плотью от плоти немецкой классики. На Канте он вырос, творчески впитав дух его философии, Фихте и Гегелю противостоял, с Шеллингом в чем-то перекликался, Гёте и Шиллер были его личными друзьями и воспитателями художественного вкуса. При всем этом он оставался Гумбольдтом, сохранял идейную самостоятельность, проявившую себя не только в созданном им учении о языке, но еще раньше — в оригинальном философском учении, центральное место в котором заняла проблема человека.

Получив первоначальное образование дома, двадцати лет от роду он поступает (вместе со своим младшим братом Александром, будущим знаменитым естествоиспытателем) в университет во Франкфурте-на-Одере. Через год он перебирается в Гёттинген, где слушает крупных ученых того времени — философа Лихтенберга, историка Шлёцера, филолога Хайне. В доме Хайне происходит знакомство с Георгом Форстером, материалистически мыслящим натуралистом и будущим якобинцем, который решительным образом повлиял на формирующееся мировоззрение юного Гумбольдта. У Форстера в Майнце Вильгельм проводит часть своего каникулярного времени. С рекомендательным письмом Форстера едет Гумбольдт в Дюссельдорф к Фридриху Генриху Якоби, философу

иного склада, чем будущий майнцкий якобинец. Якоби — спиритуалист, но от него шли и определенные диалектические веяния; возможно, что Гумбольдт кое-что из них воспринял.

Четыре семестра проводит он в стенах университета и считает, что этого достаточно; ученое звание ему не нужно (у него есть состояние, и он помолвлен с Каролиной фон Дахерёден из богатой семьи). Гумбольдт отправляется путешествовать за границу. Сначала Франция, потом Швейцария. В Париж он приезжает три недели спустя после взятия Бастилии. Его спутник, бывший его домашний учитель, известный немецкий педагог того времени Кампе, воодушевлен революцией. Реакция Вильгельма сдержанная, интересуется он больше архитектурой и окрестностями французской столицы. Вернувшись в Германию, он поступает в 1790 г. служить судебским чиновником в Берлине, но уже через год оставляет службу. 1791 год отмечен для него еще двумя событиями — женитьбой на Каролине и появлением (анонимно) в журнале „Берлинский ежемесечник“ его первой статьи „Идеи о государственном устройстве, вызванные новой французской конституцией“. Вскоре он заканчивает и крупное произведение на тему о государстве „Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства“, полностью опубликованное лишь после его смерти.

Живет он в Тюрингии — в имениях тестя и в Йене, бывает в Эрфурте, Веймаре, Берлине. Через жену он познакомился и подружился с Шиллером, затем — с Гёте. В 1795 г. в журнале Шиллера „Оры“ появляется его статья „О различии полов и его влиянии на органическую природу“, которая приносит ему литературную известность. Он путешествует по северу Германии, осенью 1797 г. отправляется в Вену, а затем — снова в Париж, где работает над „Эстетическими опытами“; потом семь месяцев проводит в Испании.

Здесь, в краю басков, на рубеже двух столетий впервые возникает у него интерес к лингвистике, его главный теоретический интерес. В парижских библиотеках и в Басконии он изучает древний язык этой земли.

Вернувшись на родину, Гумбольдт снова поступает на государственную службу. С 1802 по 1808 г. он находится в Риме, официально представляя Пруссию при папском престоле. За шесть лет пребывания в Италии укрепляется и обогащается его интерес к античности. „Лаций и Эллада“ — одна из статей, написанных в это время.

Эти годы были критическими для его родины. Разгромленная Наполеоном, Пруссия оккупирована французами. Правительство обосновалось в Кёнигсберге. Туда приезжает Гумбольдт, чтобы принять участие в государственных реформах, призванных улучшить положение дел в стране. Ему поручают департамент просвещения; он вносит новый дух в школьное образование, основывает Берлинский университет, который и сегодня носит имя его и его брата.

Затем Гумбольдта снова ждет дипломатическая деятельность:

он — посланник в Вене и участник Венского конгресса, урегулировавшего европейские дела после поражения Бонапарта. „Король дипломатов“ француз Талейран находит достойного соперника только в Гумбольдте, который был вторым (после канцлера Гарденберга) членом прусской делегации. О деятельности Гумбольдта на Венском конгрессе его биограф Гайм пишет следующее: «Легко открывал его прозорливый ум тайные намерения и задние мысли противника. Без труда находил он в споре слабые его стороны, обходил сильные и брал над ним перевес. Во время самого продолжительного и быстрого бега он сохранял спокойное и сильное дыхание, тогда как его противник давно уже пыхтел и задыхался. Он был неистощим в возражениях и во всякого рода дистинкциях. Первыми он утомлял, вторыми смущал. Талейрановское искусство молчания не могло справиться с его мастерством речи»¹.

Для канцлера Пруссии Гарденберга такой соратник — источник зависти и беспокойства. В 1817 г. он направляет Гумбольдта посланником в Лондон, откуда тот возвращается через год, чтобы занять пост министра по сословным делам. В конце 1819 г. в знак протеста против Карлсбадских постановлений, направленных против нараставшего в стране студенческого движения, усиливавших цензуру и полицейский контроль, Гумбольдт подает в отставку. Через одиннадцать лет король вернет его в Государственный совет, наградит орденом, но это будет уже время его заката.

С 1820 г. Гумбольдт целиком посвящает себя науке. Берлинская Академия наук еще десять лет назад избрала его своим членом. Вскоре после выхода в отставку он делает в Академии доклад о сравнительном изучении языков. Отныне лингвистика — главный предмет его исследовательской деятельности. Он свободно владеет французским, английским, итальянским, испанским, латынью, греческим, баскским, провансальским, венгерским, чешским, литовским, многие годы изучает языки туземцев Южной и Северной Америки, затем коптский, древнеегипетский, китайский, японский, санскрит. Начиная с 1827 г. занят языками народов Индонезии и Полинезии.

Именно в эти годы и возникают его главные работы по теоретическому языкознанию. А в области философии появляется новый интерес, тесно связанный с его ранними работами по антропологии, — теория истории. Публикует он мало, главным образом статьи в „Трудах Академии наук“. Его основное произведение „О языке кави на острове Ява“ увидело свет уже после его смерти.

* * *

Если свести вместе все многообразные философские интересы Гумбольдта, то их можно обозначить одним термином — философ-

¹ Г а й м Р. Вильгельм фон Гумбольдт, М., 1899, а. 269.

ская антропология. Проблема человека всегда приковывала его главное внимание. «О каком бы предмете ни шла речь, его всегда можно соотносить с человеком, а именно с целым его интеллектуального и морального организма» (с. 161). (Здесь и далее в скобках указаны страницы настоящего издания.) Для позднего Канта основная задача философии состояла в ответе на вопрос: „Что такое человек?“ Гумбольдт здесь примыкает непосредственно к Канту.

Но в отличие от Канта, всегда исходившего из реальной ситуации и размышлявшего о реальных мерах ее улучшения, Гумбольдт-теоретик устремлен к идеалу. (Гумбольдт-политик вел себя, разумеется, вполне реалистически.) Идеал свободной личности он ищет в античности, и это сближает его с Гёте и Шиллером. Перед искусством он ставит задачу воплощения идеала и делает это так решительно, как никто до него и после него в эстетике. Гумбольдт — идеалист, и в философском смысле слова (признание первичности духа), и в житейском плане (жизнь во имя идеала). «В конце концов, — писал ему Шиллер 2 апреля 1805 г., — мы оба идеалисты и постыдилась бы услышать, что вещи сформировали нас, а не мы вещи».

И все же есть заметная разница между шиллеровским и гумбольдтовским идеализмом. Последний всегда обращен к природе, носит натуралистический оттенок. «Человеческий род является таким же созданием природы, как род львов или слонов» (с. 280). Гумбольдт понимает значение активности субъекта (после Канта забыть об этом было нельзя), но ценит деятельность человека в той мере, в какой она протекает, не покидая русла, проложенного природой. Отсюда его живой интерес к эмпирическому знанию, стремление сочетать философское обобщение с данными опыта. Философскую истину он отличает от спекулятивно-метафизической. Последняя — «продукт чистой абстракции», а философская истина состоит в «соответствии не с каким-либо особенным опытом, а с опытом как целым» (с. 267). Свой метод Гумбольдт характеризует как философско-эмпирический и возлагает на него свои надежды: «Лишь на философско-эмпирическом знании людей можно основывать свою надежду на то, что со временем мы получим философскую теорию формирования человека. А эта последняя — не просто всеобщий фундамент для отдельных приложений теории — воспитания и законодательства (которые лишь от нее могут ожидать полнейшей взаимосвязанности своих принципов), — но всеобщая, а в наши дни и настоятельная потребность — мы нуждаемся в ней как в надежной руководящей нити свободного самообразования каждого отдельного человека» (с. 162).

Все отмеченные особенности философствования Гумбольдта проявились уже в первой его крупной работе „Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства“. Одна из открывающих книгу глав называется „Размышления о человеке и высшей конечной цели его бытия“. Истинная цель человека — полное и наиболее пропорциональное развитие его потенций. Необходимое условие для этого — свобода. Человек — часть природы, поэтому

он свободен, когда ничто не сковывает его природные силы. «Наилучшие человеческие действия — те, которые в наибольшей степени подражают действиям природы. Ведь семя, тихо и незаметно принятое землей, приносит большее благо, чем бурное извержение вулкана, безусловно необходимое, но всегда сопровождающееся бедствиями» (с. 26).

Образ вулкана, извержение которого хотя и бедственно, но необходимо, навеян Французской революцией, которую Гумбольдт наблюдал непосредственно в Париже и которая оказывала влияние на положение дел в Германии. Дитя Просвещения, ученик Кампе, избранного почетным гражданином Французской республики, Гумбольдт не может не симпатизировать борьбе народа за свободу: «Народ, который с полным сознанием прав человека и гражданина разбивает свои оковы, являет собой прекрасное, возвышающее душу зрелище» (с. 27). Но Гумбольдт — не революционер, он сын своего класса и озабочен тем, чтобы предотвратить революцию в своей стране; поэтому наиболее прекрасное зрелище для него — действия монарха, «который сам снимает оковы и предоставляет свободу народу».

Речь идет не о случайно сложившейся ситуации. Бросая взгляд в прошлое, Гумбольдт приходит к некоему обобщению: «...вся история человеческого рода может быть представлена просто как естественное следствие революций, совершаемых человеческой силой, что способно послужить не только поучительным указанием на то, как вообще следует изучать историю, но и внушить каждому, кто стремится воздействовать на людей, на какой путь ему следует, если он надеется на успех, направлять человеческую силу и какого пути он должен избегать» (с. 35).

Из истории надлежит извлекать уроки, и Гумбольдт прежде всего озабочен положением дел в Пруссии. Деспотическая политика властей предержавших в Берлине неизбежно приведет к политическому взрыву. Гумбольдт стремится его избежать, поэтому он и предлагает вступить на путь реформ. Он критикует и практику абсолютистского государства и возможные теоретические попытки его обоснования. Недаром прусская цензура не пропустила его трактат. Ибо все, написанное в его трактате, прямо имело в виду прусский абсолютизм и прусскую бюрократию. Что касается теоретической апологетики прусской государственности, то она увидела свет уже после того, как Гумбольдт написал свою работу. Я имею в виду две работы Фихте: „Основоположения естественного права“ (1796) и „Замкнутое торговое государство“ (1800). Идеи, провозглашенные Фихте,— государственная регламентация частной жизни — носились в воздухе, Гумбольдт знал о них и отвергал их решительным образом.

Он знал их и по древнему образцу, которым мог вдохновляться Фихте,— диалогу Платона „Государство“. Этот диалог упоминается на первых страницах трактата Гумбольдта, который называет «одним из прекраснейших мест» рассуждения Платона о справедли-

ности, открывающие диалог. Но то, о чем говорится дальше у Платона, резко расходится с убеждениями Гумбольдта. Платон требует подчинения индивида государству, индивид — это только часть целого. Для Гумбольдта индивид — самодовлеющее целое: не человек для государства, а государство для человека. Платон ради пользы подданных ставит под контроль государства даже их личную жизнь: «Правителям потребуется у нас нередко прибегать к лжи и обману ради пользы тех, кто им подвластен... По-видимому, это уместнее всего будет при заключении браков и деторождении... Лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими, и потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших — нет, раз наше небольшое стадо должно быть самым отборным. Но что это так делается, никто не должен знать, кроме самих правителей»¹.

Вот против такого подхода к народу как к „небольшому стаду“, против каких бы то ни было манипуляций со стороны власть имущих, «ради пользы тех, кто им подвластен», и выступает Гумбольдт. Он настаивает на том, чтобы государство воздерживалось от какой бы то ни было заботы о «положительном благе» граждан. Чрезмерное вмешательство в дела и образ жизни подданных вносит губительное однообразие, ослабляет силу и предприимчивость народа. Кем много и часто руководят, тот легко отказывается даже от предоставленной ему доли самостоятельности, считает себя свободным от ответственности и ждет указаний свыше. А государственный аппарат при этом непомерно разрастается, растет количество контрольных инстанций и занятых в них людей.

Интересно отметить, что почти одновременно с Гумбольдтом против прусских бюрократических порядков выступил Кант. Его статья „О поговорке «Может быть, это верно в теории, но не годится для практики»“ повезло больше, чем трактату Гумбольдта: цензура пропустила ее, и она увидела свет в 1793 г. на страницах «Берлинского ежесеместричника». Кант, как и Гумбольдт, осуждал деспотическое вмешательство в личную жизнь. Нельзя принудить человека быть счастливым так, как этого хочет другой. Каждый вправе искать свое счастье на том пути, который ему самому представляется правильным (если при этом он не наносит ущерба свободе других). Правление отеческое, при котором подданные, как несовершеннолетние, не в состоянии различать, что для них хорошо, а что плохо,— такое правление представляет собой деспотизм. Правление должно быть не отеческим, а отечественным, объединяющим правоспособных граждан. Такого же мнения держался и Гумбольдт. Он требовал духовной свободы и просвещения не для касты избранных, а для всех.

Главная задача государства — обеспечение безопасности граждан, как внутренней, так и внешней. Современного читателя мо-

¹ П л а т о н. Сочинения, т. 3, ч. I, М., 1971, с. 257.

жет покоробить апологетическое отношение Гумбольдта к войне, в которой он видит «благотворнейшее» воздействие на человеческий род. Гумбольдт — сын своего времени, а время было чревато войнами. Даже Кант, в конце своей жизни решительный сторонник всеобщего мира, за два года до написания гумбольдтовской работы в „Критике способности суждения“ славословил войну. А Гегель и после кантовского трактата „К вечному миру“(1795) чаще и решительнее высказывался в пользу войны, чем в пользу ее устранения из жизни общества. Поэтому не следует строго судить Гумбольдта: ему предстояло стать государственным деятелем в трудный для его страны период, когда на карту была поставлена ее независимость. Отметим, что Гумбольдт пишет и о вредоносности войны, а главу о внешней безопасности заканчивает призывом к миру: прогресс делает человечество все более миролюбивым, и государство ни в коем случае не должно способствовать применению вооруженной силы.

В работе о государстве затронута одна важная проблема, которая затем станет для Гумбольдта предметом специального рассмотрения — взаимные отношения между полами. Проблему поставило время: Французская революция, затем немецкое романтическое движение вовлекли женщин в политическую и культурную жизнь. «Нравственность народов всегда тесно связана с уважением к женщине» (с. 42). Гумбольдт готов отдать женщине пальму первенства в решении волновавшей его проблемы нравственного совершенства личности: «Женщины, в сущности, ближе к идеалу человека, чем мужчины» (с. 41).

Впрочем, каждому — свое. В работе „О различии полов и его влияния на органическую природу“ Гумбольдт подчеркивает, что природа наделила каждый пол своей задачей и своими особенностями для решения этой задачи. Деятельное, порождающее начало олицетворяется мужчиной, воспринимающее, страдательное — женщиной. Одно нельзя представить без другого и поставить выше другого, оба в их единстве представляют собой необходимое условие рождения нового в органическом мире.

Человек — часть этого мира и для прояснения и облагораживания своей нравственной природы должен пристально и обстоятельно изучать свою физическую природу. «...физическая и моральная природа человека составляют одно великое целое и подчиняются одним и тем же законам» (с. 144). Это сказано за несколько лет до того, как Шеллинг в своей натурфилософии пришел к такому же выводу.

«Все мужское, — пишет Гумбольдт, — выказывает больше самостоятельности, все женское — больше страдательной восприимчивости. Однако это различие заключается скорее в общей направленности, а не в способностях. Деятельная сторона — она же страдательная, и наоборот. Нечто целиком страдательное немислимо. К страдательности (восприятию внешнего воздействия) относится по меньшей мере соприкосновение. Однако к тому, что не обладает

способностью к действию, нельзя прикоснуться, его можно лишь пройти насквозь, ибо оно — ничто. Поэтому страдательность можно рассматривать как ответное действие. А деятельная сила ... подвластна условиям времени и в пределах материала всегда связана с чем-либо страдательным» (с. 148). Гумбольдт демонстрирует здесь блестящий образец диалектического мышления, которое в дальнейшем помогло ему увидеть диалектические особенности искусства, языка, исторического процесса.

* * *

Эстетика для Гумбольдта — важнейшая составная часть его философской антропологии; этим определены ее задачи и границы применения. «Преимущество философии и беда ее в том, что непосредственная конечная цель ее — это всегда человек, а не те или иные его поступки. И без нее художник — это художник, и без нее добродетельный человек добродетелен, государственный муж — это государственный муж; но человеку она нужна, чтобы наслаждаться и пользоваться всем тем, что получает он от них, чтобы знать себя самого и природу, чтобы плодотворно применять знания... Точно так же и эстетика предназначена непосредственно лишь для тех, кто желает воспитать свой вкус посредством произведений искусства, а свой характер — посредством свободного и очищенного вкуса; художник может воспользоваться эстетикой лишь для того, чтобы настроить свою душу, чтобы, предоставив своему гению время для полета, после этого вновь сориентироваться в пространстве и определить свое местоположение и цель. Что же касается пути, ведущего к цели, то тут помогает ему уже не эстетика, но только собственный опыт или опыт других» (с. 163). Эстетика, стало быть, — это философия искусства, она не дает рецепты творчества, но помогает усваивать его результаты.

Предшествующая и современная Гумбольдту немецкая эстетика развивалась в известном отрыве от художественной критики. Эстетики излагали по параграфам свои теории, лишь изредка мимоходом вспоминая о художественных произведениях; последние становились предметом критического разбора, как правило, избегавшего каких-либо обобщений. Был, правда, достойный прецедент, в котором оба начала слились воедино, — „Лаокоон“ Лессинга. На примере этого древнего памятника Лессинг показывал принципиальное различие между изобразительным искусством и литературой.

Гумбольдт идет по стопам Лессинга. Для анализа он берет современное ему поэтическое произведение. Поэмой Гёте „Герман и Доротея“ зачитывалась публика. Подобный успех до этого выпал только на долю „Страданий молодого Вертера“ („Фауст“ еще не был завершен). Написанная гекзаметром, поэма повествовала о событиях недавнего прошлого — вторжении французских войск в Гер-

манию, энтузиазме, с каким была встречена революционная армия, последовавшем разочаровании, бедствиях войны, пробуждающейся у немцев готовности защищать свою родину. На этом историческом фоне разворачиваются две личные судьбы: девушка-беженка Доротея готова идти служанкой в дом Германа, но влюбленный юноша предлагает ей другое — руку и сердце.

Гегель высоко оценивал это произведение. В лекциях по эстетике он противопоставил поэму Гёте бездумным идиллиям, где речью идет лишь о житейских мелочах. «Гений Гёте должен вызвать наше удивление также и в этом отношении: в поэме „Герман и Доротея“ он также концентрируется на изображении подобной области, выхватывает из современной жизни тесно ограниченный частный случай, но вместе с тем — в качестве заднего фона и атмосферы, в которой движутся изображаемые им идиллические характеры и события, — открывает перед нами великие интересы революции и собственного отечества и приводит в связь сам по себе ограниченный сюжет со значительнейшими, крупнейшими мировыми событиями»¹.

Следовательно, выбор Гумбольдта был оправдан. Насколько, однако, ему удалось органически слить эстетико-теоретическое начало с литературно-критическим, — вопрос другой. Современники (Гёте, Шиллер, Виланд) считали, что органического единства не получилось. Ценность работы Гумбольдта они видели прежде всего в ее общетеоретической части. Именно она и представлена в нашем издании, и мы сосредоточим внимание читателя именно на ней.

Эстетическая мысль Гумбольдта движется от общего к частному. Сначала дается общее определение искусства, затем рассматривается искусство слова, и далее — тот вид поэзии, к какому относится „Герман и Доротея“. Исходный пункт рассуждений — каптлова идея о продуктивной силе воображения как потенции, формирующей весь духовный мир человека. «Искусство — это закономерное умение наделять продуктивностью силу воображения» (с. 168). Но в эстетике, как и вообще в антропологии, Гумбольдт выходит за пределы кантианства, проявляя интерес к природе, понимая неразрывную связь между природой и человеком. Сила воображения действует в рамках, предписанных природой; под природой, поясняет Гумбольдт, надо понимать совокупность всего реального, окружающего нас. В черновом наброске, относящемся к периоду работы над «Эстетическими опытами», мы встречаем такую дефиницию: «Искусство — это устранение природы как действительности и воссоздание ее как продукта силы воображения»².

О «подражании природе» речи быть не может. Даже если рассматривать подражание как деятельное преобразование природы, все равно такая концепция искусства не выдерживает критики, ибо она не подчеркивает специфики той духовной сферы, в которой

¹ Гегель. Сочинения, т. XII, с. 195.

² Humboldt W. Gesammelte Schriften, Bd. 7, S. 534. (В дальнейшем это издание обозначается G. S.)

существует красота и живут художественные произведения. «Природа прекрасна вообще лишь в той степени, в какой ее представляет себе фантазия» (с. 171). Гёте, в свое время посмеиваясь над копиистами природы, рассказывал древний анекдот о том, как слетались птицы клевать искусно нарисованные вишни. По Гумбольдту, в этом нет ничего смешного, ибо он просто отрицает возможность совпадения модели и оригинала: «Произведение художника и произведение природы принадлежат различным сферам, и к ним не приложима одна мера» (с. 171) ¹.

В теории искусства Гумбольдт показывает себя тонким диалектиком. Он знаком с эстетическими работами Гёте, но вносит в них некоторые поправки. В статье „Простое подражание природе. Манера. Стиль“, помимо «простого подражания», Гёте отвергал и так называемую „манеру“, понимая под ней выдвижение на передний план субъективных моментов творчества. Гумбольдт считает, что возможна и объективная „манерность“, когда художник не видит границ своего вида искусства, не чувствует объективного соотношения между собственным искусством и искусством вообще.

Искусство — это сложная система. Гумбольдт придает значение правильному пониманию ее структуры. В черновом наброске, относящемся к периоду работы над „Эстетическими опытами“, мы находим следующую схему. Все виды художественного творчества разделены на две группы: „искусство формы“ и „искусство массы“ ². (Гумбольдт оговаривает условность подобного деления, поскольку, строго говоря, специфика любого искусства состоит в художественной форме.) Искусство массы — это архитектура и садовое искусство. Искусство формы возможно либо как „искусство настроения“ (музыка, танец, декоративное искусство), либо как „искусство изображения“, которое допускает два варианта — непосредственное изображение (пластика, живопись, графика) и изображение с помощью знаков — слышимых (поэзия) и видимых (пантомима).

Итак, в рубрику „изображающие искусства“ Гумбольдт включает, помимо живописи, скульптуры и графики, также литературу и театр. Именно для этого вида искусств Гёте указал вершину — „стиль“, воплощение общего в особенном. Для Гумбольдта вершина изображающего искусства — достижение идеала. Искусство имеет дело с идеальным двоякого рода. Сама художественная форма идеальна в том смысле, что она противостоит созданиям природы, не является поэтому действительностью. Но есть и другое, более высокое понятие „идеального“. Поэт обязан создать нечто, превосходящее действительность, он делает это помимо своей воли,

¹ Только в этом смысле следует понимать выпады Гумбольдта против «подражания природе». То, что художническое воображение берет свои образы не из пустоты, из действительности, он знал и поэтому отмечал в другом месте: «Так как искусство по своему существу есть подражание, у художника всегда есть изображаемый им по-своему прообраз» (G. S., Bd. 2, S. 378).

² G. S., Bd. 7, S. 384.

«лишь потому, что, исполняя свое призвание поэта и предоставляя своей фантазии исполнение этого призвания, он изымает природу из ограниченной действительности и переносит ее в страну идей, превращая своих индивидов в идеалы» (с. 172).

У Гёте-теоретика такой постановки вопроса нет. По его мнению, художник начинает с изучения реальных индивидов, приходит к некоему обобщению, а затем пускается в «обратный путь», который приводит его к «подобию индивида», не к изначальной единичности, а к особенному, которое несет в себе выражение всеобщего. Идеал при этом только подразумевается. Гумбольдт возлагает на художника высокую задачу воплощения идеала. Художник достигает цели только тогда, когда «перенес в мир свою сокровенную, свою лучшую природу, превращая мир в существо, которому можно отныне всецело симпатизировать» (с. 180).

В работе „О современной французской трагической сцене“ Гумбольдт ставит вопрос еще более четко: «Все искусства, дающие изображение, распадаются на два класса — такие, где сила воображения должна формировать сам предмет, полностью или частично, и такие, которые его непосредственно представляют, привнося в него одновременно идеальное. Последние, полагаю я с уверенностью, должны обладать более высокой степенью совершенства»¹.

Надо отметить, что в своих неявных возражениях Гёте Гумбольдт опирался на авторитет Шиллера, который в статье „О наивной и сентименталической поэзии“ настаивал на том, что возможны два метода, в которых проявляется поэтический гений. В одном случае добиваются наиболее полного изображения действительности, в другом непосредственно представляют читателю идеал. Определяя первый вариант поэзии как «наивный», второй как «сентименталический» (*sentimentalisch*), Шиллер признавал их равноправие. Один и тот же поэт в одном и том же произведении может пользоваться то одним, то другим способом обобщения. Так, в частности, по мнению Шиллера, поступает Гёте в „Страданиях молодого Вертера“.

Гумбольдт принимает такую постановку вопроса и воспроизводит в „Эстетических опытах“ шиллеровскую дихотомию поэтических методов. Он сравнивает двух поэтов — Гомера и Ариосто. У Гомера на первом плане предмет, а певец исчезает. Герои Гомера Ахилл, Агамемнон, Патрокл, Гектор предстают перед нами, как живые люди, и мы забываем о том, какая сила вызвала их из мира теней и превратила в реальность. У Ариосто действующие лица не менее реальны, но перед нашими глазами предстает и поэт, передающий их речи, описывающий их поступки. У Гомера представлены лишь природа да суть дела, «Ариосто же не дает забыть об искусстве и личности — как личности поэта, так и личности читателя... Оба владеют высокой степенью объективности» (с. 197). Для Гум-

¹ G. S., Bd, 2, S. 389.

больдта понятие „объективности“ равнозначно художественному мастерству.

Но у Гумбольдта возникает опасение, не приведет ли прямое обращение к идеалу к отрыву образа от реальности, к дидактике. В письме к Шиллеру он так и высказался: «Сентименталический поэт отличается отрывом идеала от действительности»¹.

Между тем задача искусства — слить действительность и идеал. «Все идеалы являются целиком действительными, и только таковыми», — пишет Гумбольдт, имея в виду искусство (с. 178). Образ Доротеи тем и хорош, что на примере этого образа «поэт показал, как точно может он слить естественную правдивость с подлинной идеальностью».

Один из самых интересных разделов в „Эстетических опытах“ — двенадцатый — „Отличие высокого и подлинного стиля в поэзии от псевдостила“. Здесь мысль автора как бы движется между позициями, занятыми в эстетике Гёте и Шиллером. Имена не названы, цитаты отсутствуют (мы имеем дело с будущим знаменитым дипломатом), взят только гётевский термин „стиль“. Есть две возможности, говорит Гумбольдт, утратить высокий, подлинный стиль: «Помимо большого и высокого стиля, в искусстве существует еще один, он более льстит вкусу, от природы не столь чистому или избалованному, и его нередко путают с подлинным стилем. Более того, поскольку оба стиля принадлежат двум совершенно различным сферам, то даже критика может колебаться при выборе между двумя художественными произведениями, из которых одно, отличаясь менее высоким стилем, достигает большего, нежели другое, идущее лучшим, но более крутым и опасным путем.» (с. 181).

Есть еще один вариант „псевдостила“, когда поэт начинает действовать при помощи чего-то, «что вообще уже не есть искусство» (с. 181). В поэзии опасность эта сильнее, чем в других видах искусства, потому что она пользуется средствами языка, которые, по мнению Гумбольдта, первоначально сложились для рассудка и нуждаются в переработке, чтобы получить доступ к фантазии; поэзия легко может перейти в область философии, забыть о своих границах, прочерченных воображением.

Поэзия теряет свое высокое призвание, вырождается, «стремясь то нравиться живописными картинками, то удивлять и потрясать блестящими и трогательными сентенциями» (с. 181). В обоих случаях творение гения вырождается в продукт таланта; сила воображения здесь не свободна и не способна перенести нас из круга повседневной действительности в царство идеала, а без этого нет подлинно художественного воздействия.

Быть может, я ошибаюсь, но весь этот раздел представляется мне осторожно сформулированной, рассчитанной на знатока по-

¹ Der Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt, Bd. I. Berlin, 1962, S. 267. В другом письме (от 25.6.1797 г.) он настаивает: «Всякий художник идеализирует, но хороший при этом остается все же индивидуальным».

пыткой определить свою точку зрения в споре Гёте — Шиллер, который тоже шел неявно и не содержал открытых полемических выпадов. Гёте высказал свой взгляд на задачу художника (передать общее через особенное) в упомянутой выше статье „Простое подражание природе. Манера. Стиль“. Шиллер, как уже отмечалось, возразил ему в статье „О наивной и сентиментальной поэзии“, отметив, что наряду с описанным Гёте методом возможен и другой, равноценный — непосредственное обращение к идеалу. Гумбольдт предупреждает, что оба эти метода содержат одинаковую возможность забвения главной задачи искусства — *утверждение идеала художественными средствами*. В одном случае («живописные картины») может пропасть идеал, в другом («блестящие и трогательные сентенции») — исчезнуть поэзия. Это только предостережение, напоминание о главной задаче художника, призыв не искать легких решений, а идти максимально «крутым путем».

Гумбольдт дает четкую дефиницию: «Идеалом мы называем изображение идеи в облике индивида» (с. 177). Не идеализированная абстракция, а живой, яркий образ выступает в искусстве как носитель идеала. В учении о художественном идеале Гумбольдт уже не комментирует чужие эстетические взгляды, он вполне оригинален, разворачивает собственную концепцию, которая хотя и базируется на его предшественниках, но содержит новые подходы и новые решения, которые станут базой для последующих теорий. Для Канта идеал — всегда нечто запредельное, служащее путеводной нитью, но никогда не осуществимое. Для Гумбольдта идеал реализуется в искусстве. Отсюда (через Шеллинга) ведет начало гегелевское понимание идеала как идеи, отождествленной с ее реальностью. Великий диалектик даст новую теорию идеала, осуществляемого абсолютной идеей в ее саморазвитии. Материалистическое прочтение этой теории приведет к программе создания гармонического социального строя. Но мы и сегодня в своей теории идеала различаем два „работающих“ понятия идеала: гегелевское — как высокой цели и кантовское — как неосуществимой, но воспитывающей мечты. Посередине между Кантом и Гегелем как переход от одного к другому — Гумбольдт, с его концепцией идеала, воплощаемого в искусстве.

Разбирая поэму Гёте „Герман и Доротея“, Гумбольдт отвергает возможные возражения против того, чтобы отнести это произведение к эпическому жанру. Основное состоит в том, что эпос требует героики, а какая героика в судьбе двух юных влюбленных? Гумбольдт предлагает уточнить понятие героического. Этот термин допускает двойное толкование, его можно связать либо с чувственно воспринимаемой величиной, либо с внутренне возвышенным. Отсюда два героизма: *Моральный героизм* заключается во внутреннем настроении, и только он обладает внутренней ценностью... он переносит нас в состояние глубокой суровой растроганности и возвращает нас внутрь нас самих, вовнутрь души. *Чувственный героизм* не обладает как таковой определенной моральной ценнос-

тью, в нем есть размах и блеск, но не всегда — благо и польза» (с. 250).

При таком различении в поэме Гёте можно обнаружить черты моральной героини. Автор придал своим главным персонажам нечто героическое, нечто, напоминающее героев Гомера... «Немецкое племя в конце нашего века — вот что рисует он» (с. 258). Но в целом, конечно, „Герман и Доротея“ — не героическая эпопея, это „бюргерская эпопея“ (впоследствии термином „бюргерская эпопея“, введенным еще до Гумбольдта для обозначения романа, воспользуется Гегель в своей „Эстетике“).

Каждое художественное произведение — детище своей страны, своей эпохи. Гумбольдт говорит о национальном, немецком характере поэзии Гёте. «Очевидная склонность к тому, чтобы безраздельно занимать дух и сердце, сильная тяга к истине и интимности, а не к внешнему, бросающемуся в глаза блеску и порыву страстей — вот основные отличительные черты нашей нации; эти черты, несомненно, присущи лучшим философским и поэтическим произведениям нашего народа» (с. 220). Как всякий большой поэт, Гёте может быть понят только на своем родном языке, на другие языки он просто непереволим.

„Эстетические опыты“ возникали в Париже. Вдали от родины острее переживается сопричастность ей. Так и Гумбольдт, наблюдая французов, их жизнь и искусство, глубже понимал немецкий национальный характер. То, что было недосказано в разборе поэмы „Герман и Доротея“, он изложил в письме к Гёте, который затем опубликовал его на страницах своего журнала „Пропислен“ под названием „О современной французской трагической сцене“.

Немецкий актер погружен в самого себя, французский обращен к публике. «Живописная сторона игры составляет здесь важную ее часть, и в этом, полагаю я, состоит преимущество, которого хотелось бы пожелать нашим актерам»¹. Иностранцу французский театр может показаться неестественным, но французы таким его не считают. Дело в том, что «каждая нация имеет свое понятие о естестве»². Из эстетических штудий Гумбольдт извлекает антропологический урок. Сравнивая художественную жизнь двух народов, он ищет общее и особенное, объединяющее людей в человечество и делающее их носителями родной культуры.

* * *

Народ — такой же организм, как человеческий индивид. Эта мысль, зародившаяся в эстетических работах Гумбольдта, затем пронизывает его работы по философии истории. Нация рождается, растет, достигает расцвета, приходит в упадок и порой исчезает

¹ G. S., Bd. 2, S. 386.

² Ibid., S. 387.

с лица земли. Упадок начинается сразу же после достижения пика развития, но между этим моментом и осознанием того, что началось попятное движение, лежит промежуток, исполненный для народа величия и красоты.

Один из недостатков существующих взглядов на всемирную историю Гумбольдт видит в том, что люди рассматриваются преимущественно как существа, наделенные разумом и рассудком, и в недостаточной степени — как продукты природы. Между тем «человеческий род возникает на Земле так же, как роды животных, и распространяется он так же: люди объединяются в стада, распадаются на народы, отличаясь лишь большей потребностью к общению, оседают или кочуют — в зависимости от физических потребностей или игры фантазии, — претерпевают вследствие этих потребностей в сочетании со страстями революции, войны и т. д. Во всем этом следует искать не конечные намерения, а причины, и они часто носят физический и животный характер» (с. 282).

Размышляя специально о движущих причинах всемирной истории, Гумбольдт указывает на три фактора, определяющих исторический процесс, — природа вещей, свобода человека, веление случая. Он останавливается в нерешительности перед проблемой связи между природной необходимостью и человеческой свободой и возвращается к ней снова в работе „О задаче историка“. Это наиболее завершенное и зрелое произведение Гумбольдта по философии истории.

Перед историком стоит высокая задача создать подлинную картину человеческой судьбы в ее истине и живой полноте, поэтому, отвергая телескопический взгляд на историю, Гумбольдт отбрасывает и попытку поставить на место сужде мира мелочную суету отдельных личностей с их субъективными, побуждающими к действию мотивами.

Какой фактор является определяющим в историческом процессе? Что в конечном итоге увлекает человечество вперед к неведомому? Ответ Гумбольдта может показаться противоречивым. Возникает своеобразная антиномия. Т е з и с: «Историк должен обратиться к действующим и творящим силам... Привнести форму в лабиринт событий всемирной истории, отпечатавшийся в его душе, — форму, в которой только и проявляется подлинная связь событий, — он сможет только в том случае, если *выведет* эту форму из самих событий» (с. 300). А н т и т е з и с: «Как бы мы ни строили свое объяснение, сфера явлений может быть понята только из точки, находящейся вне ее... Всемирная история не может быть понята вне управления миром» (с. 302). И итоговый с и н т е з: «В ходе этого исследования делалась попытка внушить две вещи: что во всем происходящем действует не воспринимаемая непосредственно идея; что познана эта идея может быть только в пределах самих событий» (с. 306).

Гумбольдтовская антиномия отражает реальные противоречия исторического процесса, и хвала ему за диалектическую постановку

ку вопроса. Она содержится уже в гегелевской „Науке логики“, в соотношении категорий сущности и явления. Сущность лежит глубже явлений, но нигде, помимо явлений, ее нет. Так и конечные пружины истории надо искать не во взаимном переплетении причин и следствий, а в некоем, им присущем субстрате. Что это за субстрат, в чем состоит «управление миром», без которого нельзя понять всемирную историю?

Гегель отвечал на этот вопрос коротко и ясно — абсолютный дух. Он воплощается в отдельные народы и всемирно-исторические индивиды. Гегель видел его „верхом на коне“, когда тот в облике Наполеона проезжал по улицам завоеванной Йены. Для Гегеля разум правит историей. Для Гумбольдта такой ответ слишком прост: разуму присуще целеполагание, а в истории, взятой как целое, его нет; для истории это «некий... чуждый придаток — ошибка, которую часто допускает так называемая философская история» (с. 299). «Философская история» — термин Гегеля, эти строки нацелены в него, и положение о том, что «идея может выступать только в связи с природой» (с. 303), направлено тоже против Гегеля.

Гумбольдт не дал четкого ответа на вопрос, в чем состоит «управление миром», каков субстрат всемирной истории, но он показал ограниченность гегелевского ответа. Ответ был дан через четверть века в работах Маркса и Энгельса — материальное производство. Общество, взаимодействуя с природой, создает материальные блага и духовные ценности, и на этой основе идет исторический процесс. Таков ответ, к которому подводила и гумбольдтовская критика умозрительной философии истории.

В чем Гумбольдт преуспел, так это в раскрытии родства между историей и искусством. Историк, как и художник, создает из разрозненных фактов целостное произведение. Историк, как и художник, прибегает к фантазии, подчиняя ее, однако, опытным данным, используя ее лишь как способность устанавливать связь между разрозненным эмпирическим материалом.

Есть два пути, говорит Гумбольдт в речи о задаче историка, «подражания органическому образу», то есть создания исторического образа: непосредственное копирование внешних очертаний и предварительное изучение того, как внешние очертания возникают из понятия и формы целого, при котором открывается внутренняя истина, затемненная в реальном явлении. В первом случае чаще возникают искаженные образы. Второй путь более безошибочен; двигаясь им, можно познать красоту абстрактных отношений, красоту науки. «Пленительное очарование заключено и в простом созерцании математических истин, вечных соотношений пространства и времени, независимо от того, открываются ли они нам в звуках, числах или линиях. Созерцание их само по себе дает вечно новое удовлетворение открытием все новых соотношений и все совершеннее решаемых задач» (с. 298). Этим путем идет мыслящий художник, историк должен следовать за ним.

«То, чем для художника является знание природы, изучение

органического строения, тем для историка является исследование сил, выступающих в жизни действующими и страдающими; что для первого — соотношение, соразмерность и понятие чистой формы, то для второго — идеи, разворачивающиеся в тишине и величии внутри мировых событий, но не принадлежащие им. Дело историка заключается в решении его последней, но самой простой задачи — изобразить стремление идеи обрести бытие в действительности» (с. 305). Оба — и художник, и историк — движимы одним порывом — открыть перед человеком идеал.

В своих философско-исторических построениях Гумбольдту не удалось достичь уровня науки — это сделали основоположники материалистического понимания истории. Он решил другую задачу — увидел художественную сторону творчества историка. Философия истории Гумбольдта предстает перед читателем как составная часть его антропологической эстетики.

А. В. Гулыга

ИДЕИ К ОПЫТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ГРАНИЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Глава I

Введение

Le difficile est de ne promulguer que des lois nécessaires, de rester à jamais fidèle à ce principe vraiment constitutionnel de la société, de se mettre en garde contre la fureur de gouverner, la plus funeste maladie des gouvernemens modernes *.

(M i r a b e a u l'aîné, Sur l'éducation publique, p. 69) **

Если мы сравним наиболее замечательные государственные устройства и обратимся к мнению о них самых выдающихся философов и политиков, то нас, вероятно, с полным основанием удивит то, как мало исследован и разработан вопрос, который, казалось бы, должен был в первую очередь привлечь к себе внимание, а именно вопрос о том, какую цель должно преследовать государство и в каких границах оно должно развивать свою деятельность. Едва ли не все те, кто преобразовывал государство сам или предлагал свои проекты политических реформ, занимались определением участия нации или отдельных ее сил в управлении государством, правильным разделением аппарата государственного управления на различные области и обеспечением необходимых мер, чтобы ни одна из них не могла посягать на права другой. В связи с этим мне представляется, что при создании нового государственного устройства всегда следовало бы исходить из двух моментов; невнимание к каждому из них неминуемо повлечет за собой дурные последствия. Это, во-первых, определение господствующей и служащей частей нации и всего того, что относится к подлинному порядку управления; во-вторых, определение предметов, на которые учрежденное управление должно распространять свою деятельность или по отношению к которым оно должно ее ограничивать. Последнее, поскольку оно затрагивает частную жизнь граждан и определяет меру их свободной и беспрепятственной деятельности, является подлинно основной целью; первое служит лишь средством, необходимым для ее достижения. Однако, если человек все-таки уделяет преимущественное внимание первому, то тем самым он только доказывает, что следует в своей деятельности обычным путем. Стремиться к одной цели, достигнуть ее с полной отдачей своих физических и нравственных сил — на этом основано счастье деятельного, энер-

Wilhelm von Humboldt. Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792 г.). Оглавление к работе см. на с. 141.

гичного человека. Обладание, дарующее покой напряженным усилиям, чарует только в обманчивом воображении. Впрочем, при таком состоянии человека, когда его силы напряжены для деятельности и окружающая его природа постоянно его к этой деятельности побуждает, покой и обладание существуют только в виде идеи. Однако для человека одностороннего покой есть уже прекращение некоего одного проявления; для человека необразованного один предмет служит поводом для немногих проявлений. Поэтому все то, что говорится о пресыщении обладанием, особенно в сфере тонких ощущений, относится отнюдь не к тому идеалу человека, который способна создать фантазия, но полностью к человеку совершенно необразованному и тем меньше свойственно человеку, чем больше образование приближает его к идеалу. Подобно тому как завоевателя радует больше победа, чем захваченная территория, а реформатора — преисполненная опасности и тревоги преобразовательная деятельность, чем спокойное наслаждение ее плодами, человек вообще предпочитает господство свободе или, во всяком случае, заботу о сохранении свободы обладанию ею. Свобода является как бы только возможностью неопределенной многообразной деятельности; господство, правление вообще представляет собой, правда, ограниченную, но реальную деятельность. Поэтому стремление к свободе слишком часто возникает только из ощущения недостатка ее. Без сомнения, нельзя отрицать, что исследование целей и границ деятельности государства чрезвычайно важно, быть может, более важно, чем любая другая политическая проблема. Как было отмечено выше, только оно связано с конечной целью всякой политики. Но оно допускает также более легкое и гораздо более широкое применение. Настоящие государственные перевороты, изменение институтов управления невозможны без столкновения многих, часто совершенно случайных обстоятельств и всегда влекут за собой вредные во многих отношениях последствия. Напротив, незаметно, без излишнего шума расширить или сузить границы государственной деятельности — будь то в демократическом, аристократическом или монархическом государстве — может каждый правитель, и он тем скорее достигнет своей цели, чем больше будет остерегаться бросающихся в глаза новшеств. Наилучшие человеческие действия — те, которые в наибольшей степени подражают действиям природы. Ведь семя, тихо и незаметно принятое землей, приносит большее благо, чем бурное извержение вулкана, безусловно, необходимое, но всегда сопровождающееся бедствиями. К тому же именно этот характер преобразований наиболее соответствует нашей эпохе, если она действительно с достаточным основанием гордится своими успехами в области культуры и просвещения. Ибо имеющее большое значение исследование границ деятельности государства должно, что легко предвидеть, привести к высшей свободе сил и к большому многообразию ситуаций. Возможность более высокой степени свободы всегда требует столь же высокой степени образованности и уменьшения потребности

действовать в составе однородных, связанных масс, требует большей силы и большей одаренности действующих индивидов. Поэтому если современная эпоха обладает преимуществом в образовании, силе и богатстве, то ей следует предоставить и свободу, на которую она с полным основанием претендует. И средства, с помощью которых подобная реформа могла бы быть осуществлена, в значительно большей степени соответствуют растущему образованию, если мы действительно исходим из его наличия. Если же в иных случаях власть правителя ограничивает обнаженный меч нации, то здесь победителями над его идеями и его волей являются просвещение и культура, и преобразованный таким образом порядок вещей кажется скорее его делом, чем делом нации. Народ, который с полным сознанием прав человека и гражданина разбивает свои оковы, являет собой прекрасное, возвышающее душу зрелище, но сколь более прекрасными и возвышенными представляются нам (ибо то, в чем выражается добрая воля и уважение к закону, всегда прекраснее и возвышеннее, чем совершенное под давлением необходимости и требований) действия монарха, который сам снимает оковы и предоставляет свободу народу, видя в этом не выражение своей доброты, не благодетание, а выполнение своей первой, непреложной обязанности. К тому же свобода, которой добивается нация посредством изменения своего государственного устройства, относится к той свободе, которую может предоставить ей уже сложившееся государство, как надежда — к наслаждению, замысел — к его завершению.

Если мы бросим взгляд на историю государственного устройства, то нам будет очень трудно на примере какого-либо одного государства показать область, которой ограничена его деятельность, так как ни одно из них не возникло на основании продуманного, покоящегося на простых принципах плана. Свободу граждан ограничивали, исходя преимущественно из двух соображений: во-первых, из соображения необходимости установить или гарантировать определенное государственное устройство; во-вторых, из соображения полезности, заботы о физическом и моральном состоянии нации. В зависимости от того, насколько государственный строй, сам по себе достаточно сильный, нуждался в дополнительной опоре, или от того, насколько дальновидны были законодатели, на первый план выступало то первое, то второе соображение. Часто принимались во внимание оба. В старых государствах почти все учреждения, относящиеся к частной жизни граждан, носят политический характер в полном смысле этого слова. Ибо поскольку государственное управление, по существу, не имело в них достаточной власти, то его устойчивость зависела преимущественно от воли народа и необходимо было найти разнообразные средства для приведения характера государственного управления в соответствие с этой волей. То же происходит еще и теперь в маленьких республиканских государствах, и, рассматривая вопрос только с этой точки зрения, следует признать совершенно

верным, что свобода частной жизни всегда возрастает в той степени, в какой падает общественная свобода, тогда как безопасность, напротив, всегда непосредственно связана с ней. Но и старые законодатели часто, а старые философы всегда заботились прежде всего о человеке, а так как высшим они считали в человеке его моральную ценность, то, например, „Государство“ Платона, по чрезвычайно верному замечанию Руссо, является скорее трактатом о воспитании, нежели о государстве. Сравнивая с этим новейшие государства, мы во многих их законах и учреждениях, которые в ряде случаев придают частной жизни вполне определенную форму, обнаруживаем несомненное намерение действовать на благо граждан. Большая внутренняя прочность нашего государственного строя, большая его независимость от того или иного настроения народа, а также большее влияние мыслящих людей, по своей природе способных к более широким и глубоким воззрениям, множество изобретений, которые учат нацию лучше производить или использовать обычные продукты ее деятельности, наконец, и прежде всего, известные религиозные понятия, посредством которых внушают правителям своего рода ответственность за моральное благо граждан в настоящем и в будущем, — все это в совокупности содействовало наступившим изменениям. Если же мы проследим историю отдельных полицейских законов и учреждений, то в ряде случаев обнаружим, что их источником является действительная или мнимая необходимость со стороны государства взимать налоги с подданных, и таким образом мы видим, что здесь вновь появляется сходство с древними государствами, поскольку целью таких учреждений у древних также являлось сохранение государственного строя. Что же касается тех ограничений, объектом которых выступает не столько государство, сколько отдельные лица, его составляющие, то в этом отношении различие между государствами древними и новыми огромно. Древние заботились о силе и развитии человека как такового, новые — о его благополучии, о его имуществе и способности к приобретению дохода. Древние видели свою цель в добродетели, новые — в счастье. Поэтому ограничения свободы в древних государствах были, с одной стороны, более обременительны и опасны, будучи направлены на то, что составляет самую сущность человека, на его внутреннее бытие. Это является причиной известной односторонности всех древних наций, которая, помимо недостаточно тонкой культуры и отсутствия широких связей с внешним миром, поддерживалась почти повсеместно установленным общественным воспитанием и преднамеренно учрежденным общим распорядком жизни граждан. Однако, с другой стороны, все эти государственные учреждения древних народов сохраняли и углубляли деятельную силу человека. Сама, никогда не упускаемая из виду цель — воспитывать сильных и невзыскательных граждан — придавала духу и характеру древних больший размах. У нас, напротив, сам человек менее ограничивается, стесняющая форма придается окружающим его

вещам, и поэтому кажется возможным с помощью внутренней силы вести борьбу против этих внешних пут. Но уже сама природа ограничений свободы в наших государствах — то обстоятельство, что они в значительно большей степени направлены на то, что человек имеет, нежели на то, что он есть, и при этом даже не содействуют, как это происходило в древних государствах, хотя бы одностороннему развитию физической, интеллектуальной и моральной силы, а навязывают ей определяющие идеи в качестве законов, — подавляет энергию, являющуюся как бы источником каждой деятельности добродетели и необходимым условием высокого и всестороннего развития. Следовательно, если у древних народов большая сила устраняла вредные свойства односторонности, то в новое время вред, наносимый незначительной силой, еще усиливается односторонностью. И вообще это различие между древними и новыми государствами видно всюду. Если в последние столетия наше внимание более всего привлекают быстрота достигнутых успехов, число открытий и их распространение, грандиозность предприятий, то в древности нас поражает прежде всего величие индивидуида, исчезающее всегда вместе с его жизнью, расцвет фантазии, глубина духа, сила воли, та цельность всего существа человека, которая только и придает ему истинную ценность. Человек, его сила и его формирование служили для древних стимулом всякой деятельности; у нас же эта деятельность слишком часто исходит из некоего идеального целого, при котором об индивидах едва ли не забывают или в лучшем случае заботятся не об их внутренней сущности, а об их покое, благосостоянии, их счастье. В древности счастье искали в добродетели, в новое время слишком долго стремились вывести добродетель из счастья¹, и даже тот², кто видел и изображал мораль в ее высшей чистоте, полагает, что счастье может быть даровано идеальному человеку с помощью искусных хитроуплетений, причем скорее как награда извне, чем в качестве добытого посредством собственных усилий блага. Я не буду больше останавливаться на этом различии. В заключение приведу следующее место из „Этики“ Аристотеля: «То, что каждому свойственно по его природе, и есть для него лучшее и сладчайшее. Поэтому и наиболь-

¹ Это различие особенно бросается в глаза, когда новые философы высказывают свое суждение о древних. Приведу в качестве примера слова Тидемана по поводу одного из прекраснейших мест в «Государстве» Платона: «*Quaquam autem per se sit iustitia grata nobis. tamen si exercitium eius nullam omnino afferret utilitatem, si iusto ea omnia essent patienda, quae fratres commemorant; iniustitia iustitiae foret praeferenda; quae enim ad felicitatem maxime faciunt nostram, sunt absque dubio aliis praerponenda. Jam corporis cruciatus, omnium rerum inopia, fames, infamia, quaeque alia evenire iusto fratres dixerunt, animi illam e iustitia manantem voluptatem dubio procul longe superant, essetque adeo iniustitia iustitiae antehabenda et in virtutum numero collocanda*». Tiedemann in argumentis dialogorum Platonis. (Ad 1.2. de republica) **.

² Кант о высшем благе в «Основах метафизики нравственности» и в «Критике практического разума» ***.

шее счастье человека составляет жизнь в соответствии с разумом, если в этом главным образом состоит его сущность»¹.

Не раз между учеными-правоведами возникал спор, следует ли государству заботиться только о безопасности или о физическом и моральном благе нации в целом? Забота о свободе частной жизни приводила преимущественно к первому утверждению; однако естественная идея, что государство может предоставить больше, чем только безопасность, и что злоупотребление в ограничении свободы, хотя и возможно, но не обязательно, служила опорой второму. И это утверждение, несомненно, господствует как в теории, так и на практике, о чем свидетельствует большинство систем государственного права, новые философские кодексы и история большинства государственных установлений. Земледелие, ремесла, промышленность разного рода, торговля, искусство и даже наука — всему этому государство дает жизнь и направление. В соответствии с этими принципами изучение наук о государстве стало иным, что доказывается, например, камеральными и полицейскими науками, возникли совершенно новые отрасли государственного управления — камеральная, мануфактурная и финансовая коллегии. Однако хотя этот принцип и носит столь общий характер, он все-таки заслуживает, как мне представляется, более пристальной проверки, и эта проверка... *

Глава II

Размышления о человеке и высшей конечной цели его бытия

Истинная цель человека — не та, которую ставят перед ним изменчивые склонности, а та, которую предписывает ему вечный, неизменный разум, — есть высшее и наиболее пропорциональное формирование его сил в единое целое. Первым и самым необходимым условием этого является свобода. Однако, помимо свободы, развитие сил человека требует и другого, тесно связанного со свободой фактора, а именно — многообразия ситуаций. Самый свободный и независимый человек, оказавшись в условиях однообразной жизни, не достигнет должного развития. Правда, надо сказать, что, с одной стороны, многообразие всегда является следствием свободы, а с другой — существует угнетение и такого рода, которое вместо того, чтобы ограничить человека в его деятельности, придает всей окружающей его обстановке произвольную форму, так что в результате получается, собственно, то же самое. Однако в целях ясности идей более целесообразно разделять то и другое. Человек может о д н о в р е м е н н о приводить в дейст-

¹ Το ομειον εκαστου τη φυσει, κραιστον και ηδιστον εσθ' εκαστου και τω ανθρωπω δη ο κατα τον νοον βιος, ειπερ μαλιστα τουτο ανθρωπος, ουτος αρα και ευδαιμονεστατος (Aristotelis Ηθικων Νικομαχ. I. X. с. 7. in fin.).

вие только одну силу, или, вернее, все его существо одновременно настраивается только на одну деятельность. Поэтому человеку, по-видимому, свойственна односторонность, поскольку его энергия слабеет, как только он направляет ее на несколько предметов. Однако он освобождается от этой односторонности, если стремится объединить отдельные, часто по отдельности применяемые силы, и в каждый период своей жизни сочетает в одновременном акте уже почти погасшую искру с той, которая только готовится ярко вспыхнуть, и пытается придать многообразию не предметам, на которые он воздействует, а силам, посредством которых он воздействует на них. То, что здесь достигается связью прошедшего и будущего с настоящим, в человеческом обществе создает единение с другими людьми. Ибо в течение всех периодов своего существования каждый человек достигает лишь одного из тех совершенств, которые в своей совокупности составляют характер всего человеческого рода. Таким образом, с помощью связей, возникающих из глубин человеческой сущности, один человек должен усвоить богатство другого. Таким формирующим характер соединением является, например, по опыту всех, даже самых некультурных народов, соединение обоих полов. Однако, если здесь как различие, так и влечение к соединению выражены в известной степени сильнее, то оба они не менее сильно, хотя и менее заметно, но именно поэтому, воздействуя более властно, проявляются совершенно независимо от упомянутого различия и между лицами одного пола. Если бы мы далее детальнее рассмотрели данные идеи, это, быть может, привело бы нас к более правильному пониманию этого феномена связей, которые в древности, особенно в Греции, не были чужды даже законодателям и которые часто слишком вульгарно называли обычной любовью и всегда неверно — просто дружбой. Воспитательное значение таких связей всегда зависит от степени самостоятельности сторон и от глубины связывающего их чувства. Ибо если без такой глубины невозможно полное понимание друг друга, то самостоятельность необходима, чтобы превратить воспринятое как бы в свою сущность. То и другое требует от индивидов силы, а также различий, которые должны быть не слишком велики, чтобы стороны могли понимать друг друга, но и не слишком незначительны, чтобы они могли возбудить восхищение перед тем, чем владеет другой, и желание воспринять и привнести это в себя. Эта сила и это многостороннее различие объединяются в том, что называется *оригинальностью*; следовательно, то, на чем в конечном счете покоится все величие человека, что должно быть целью каждого отдельного человека и что тому, кто хочет воздействовать на людей, никогда не следует упускать из виду, есть *своеобразие силы и формирования*. Это своеобразие достигается с помощью свободы деятельности и многосторонности действующих, и оно же в свою очередь создает их. Даже мертвая природа, равномерно движущаяся согласно вечным и неизблемым законам, представляется человеку оригинального ума более своеобразной. Он

как бы переносит в нее самого себя, и поэтому в высшем смысле верно, что каждый воспринимает существующую вне его полноту и красоту в той мере, в какой то и другое содержится в нем самом. Насколько же более сходны должны быть действие и причина в том случае, если человек не просто ощущает и воспринимает внешние впечатления, но и сам действует?

Если попытаться проверить эти идеи, применяя их к отдельному человеку, то все в нем сведется к соотношению между формой и материей. Самую чистую форму с тончайшей оболочкой мы называем идеей, а материю, обладающую наименее выраженным обликом (Gestalt), — чувственным ощущением. Из соединения материи возникает форма. Чем полнее и многообразнее материя, тем возвышенней форма. Божественное дитя может быть только плодом бессмертных родителей. Форма как бы вновь становится материей еще более прекрасной формы. Так, из цветка возникает плод, а из семени плода вырастает новый цветonoсный ствол. Чем больше вместе с тонкостью материи возрастает многообразие, тем выше сила, ибо тем прочнее связь. Форма как бы растворяется в материи, а материя — в форме; или, чтобы не выражать свою мысль в образах, — чем богаче идеями чувство человека и чем более проникнуты чувством его идеи, тем он возвышенней и тем он более недостижим. На этом вечном соединении формы и материи или многообразия с единством основано слияние обеих объединенных в человеке натур, а на этом слиянии — его величие. Сила же соединения зависит от силы соединяющихся сторон. Высшим моментом в жизни человека является момент расцвета ¹. Менее привлекательная, простая форма плода как бы сама указывает на красоту цветка, который возникает благодаря ему. Все стремится к цветению. Первый отросток семени еще далек от очарования цветка. Плотный, толстый стебель, широко и пышно распускающаяся листва требуют более совершенного формирования. Постепенно, по мере того как наш взор следует за высотой ствола, развитие продолжается; более нежные листочки как будто стремятся соединиться и все более смыкаются, пока наконец это стремление не обретет своего завершения в чашечке цветка ². Однако судьба не благосклонна к царству растений: цветок опадает, и плод вновь создает такой же грубый и такой же постепенно принимающий все более тонкую форму ствол. Когда же цветок вянет в человеке, он только уступает место еще более прекрасному, а очарование прекраснейшего скрыто от нашего взора вечно неведомой нам бесконечностью. То, что человек получает извне, — не более, чем семя. Энергичная деятельность человека должна превратить это семя — пусть оно даже наиболее прекрасно — также в нечто наиболее благотворное для себя. Степень благотворности семени всегда зависит от того, насколько оно сильно и своеобразно само по себе. Высшим идеалом совмест-

¹ „Neues deutsches Museum“, Junius, 1791, N 3.

² Гёте В. О метаморфозе растений.

ного существования людей представляется мне такое существование, при котором каждый развивался бы только из себя самого и для себя самого. Физическая и нравственная природа этих людей сблизила бы их друг с другом, и подобно тому, как военные сражения более почетны, чем борьба на арене, как борьба возмущенных народов окружена большей славой, чем сражения, в которых участвуют наемные солдаты, так и борение этих людей служило бы доказательством их энергии и одновременно порождало бы их энергию.

Разве не это так невыразимо приковывает наше внимание к эпохе греков и римлян и вообще каждую эпоху к более отдаленной, исчезнувшей? Разве не то, главным образом, что этим людям приходилось выдерживать более трудную борьбу с судьбой, с другими людьми? Разве не то, что бо́льшая изначальная сила и большее своеобразие сталкивались здесь друг с другом, создавая новые поразительные образы? Каждая новая эпоха (и в сколь большей степени это соотношение будет в дальнейшем возрастать?) уступает по своему многообразию предыдущей по многообразию природы (огромные леса вырублены, болота осушены и т. д.), по многообразию людей — в результате все большего распространения и объединения их деятельности вследствие обоих названных выше обстоятельств¹. В этом заключается одна из главных причин того, что теперь значительно реже ощущается необходимость в новом, удивительном, необычном, что удивление, испуг превратились едва ли не в нечто постыдное, а открытие новых, еще неизвестных путей, так же как внезапных, не подготовленных заранее и неотложных решений, стало гораздо менее необходимым. Отчасти это объясняется тем, что натиск внешних обстоятельств на человека, оснащенного теперь большим числом орудий, стал слабее, отчасти тем, что не всегда можно противостоять этим обстоятельствам с помощью тех сил, которые даны человеку от природы и которыми он может пользоваться; и наконец, бо́льший объем знания делает изобретение менее необходимым, а учение даже притупляет требующуюся для этого силу. Вместе с тем несомненно, что уменьшение многообразия физического сопровождалось более богатым и удовлетворяющим нас многообразием интеллектуальным и моральным, а градации этого многообразия и самые незаметные различия и оттенки теперь быстрее улавливаются нашим более утонченным духом и переносятся в практическую жизнь посредством нашего, пусть не столь сильного, но более восприимчивого характера (речь идет о градациях, которые не остались бы, пожалуй, незамеченными и мудрецами древности, но уж, во всяком случае, только ими). Человечество в целом прошло тот же путь, что и отдельный человек: более грубое отпало, более тонкое осталось. И без сомнения, было бы благоговорно, если бы человечество было представлено только о д н и м человеком или если бы сила одного поколения, так же как его книги и открытия, переходила к следующему. Однако де-

¹ Именно на это указывал Руссо в „Эмиле“.

ло обстоит далеко не так. Правда, и наша утонченность обладает силой, которая превосходит прежнюю; однако возникает вопрос, не благодаря ли более грубому элементу прогрессирует наше развитие? Ведь чувственное всегда является зародышем и самым живым выражением всего духовного. И если здесь нет возможности даже пытаться рассмотреть этот вопрос, то из предыдущего, несомненно, следует, что мы должны бережно хранить хотя бы то своеобразие и ту силу, которыми мы еще обладаем, вместе со всем тем, что их питает.

На основании высказанных положений я считаю доказанным, *что истинный разум не может желать человеку никакого другого состояния, кроме того, при котором не только каждый отдельный человек пользуется самой полной свободой, развивая изнутри все свои своеобразные особенности, но и физическая природа обретает в руках человеческих ту форму, тот образ, который произвольно придает ей каждый человек в меру своих потребностей и склонностей, будучи ограничен только пределами своей силы и своего права.* Разум, как мне представляется, никогда не должен отклоняться от этого принципа больше, чем это требуется для сохранения самого этого принципа. Принцип этот должен лежать в основе всякой политики, и из него следует прежде всего исходить при ответе на вопрос, о котором здесь идет речь.

Глава III

Переход к собственно исследованию. Забота государства о положительном, особенно о физическом, благе граждан

В самой общей форме под истинным объемом деятельности государства следует понимать все то, что государство способно совершить для блага общества, не нарушая только что установленного нами принципа; из этого вытекает более конкретное определение, что всякое стремление государства вмешиваться в частные дела граждан, если эти дела непосредственно не нарушают права других, неприемлемо. Однако для того чтобы исчерпать данный вопрос, необходимо более подробно остановиться на обычной и возможной деятельности государства.

Цель государства может быть двоякой: оно может стремиться содействовать счастью граждан или лишь предотвращать зло, причиняемое гражданам природой или людьми. Если его деятельность ограничивается последним, то оно стремится только к безопасности, и эту цель я считаю возможным противопоставить всем остальным мыслимым целям, определяемым как положительное благо. Различие применяемых государством средств также определяет масштаб его деятельности. Государство пытается достигнуть своей цели либо непосредственно — путем принуждения (с помощью повелевающих

законов, выражающих это повеление в форме приказов или запретов и наказаний) или поощрения и примера, либо косвенно — изменяя положение граждан таким образом, чтобы оно принимало благоприятную для этой цели форму, и как бы препятствуя им действовать по-иному или, наконец, стремясь к тому, чтобы даже сами склонности граждан вели их к достижению этой цели, и пытаюсь воздействовать на их ум и сердце. В первом случае государство определяет только отдельные действия; во втором — характер действий в целом; наконец, в третьем — характер и образ мыслей граждан. Что касается ограничений, то в первом случае их меньше всего, чуть больше во втором и больше всего в третьем, отчасти потому, что ограничения оказывают влияние на источники, из которых пронтекают многие действия, отчасти же потому, что сама возможность этого влияния требует принятия ряда мер. Однако, сколь ни различными представляются нам сферы государственной деятельности, вряд ли существует государственное устройство, которое не охватывало бы одновременно нескольких сфер. Так, например, безопасность и благосостояние очень тесно связаны между собою, и даже то, что определяет только отдельные действия, переходит при частом повторении в привычку и формирует характер. Поэтому очень трудно найти в данном случае такое разделение целого, которое соответствовало бы всему ходу исследования. Наилучшим нам представляется сначала рассмотреть такой вопрос: следует ли государству стремиться к положительному благосостоянию нации или ограничиться лишь обеспечением ее безопасности; далее, во всех своих мероприятиях государство должно обращать внимание только на то, что полезно и необходимо является его предметом или вытекающими из его установлений следствиями, и одновременно подвергнуть проверке средства, которыми оно может пользоваться, преследуя каждую из этих целей.

Поэтому я буду говорить здесь обо всем том, что относится к старанию государства повысить положительное благосостояние нации, о различных способах попечения государства о населении страны, о поддержке, оказываемой жителям, частично прямой — в виде учреждений для оказания помощи бедным, частично косвенной — посредством поощрения земледелия, промышленности и торговли; я буду говорить здесь и обо всех финансовых и денежных операциях, запретах ввоза и вывоза и т. д. (в той мере, в какой они преследуют указанные нами цели) и, наконец, о всех мерах предотвращения или устранения ущерба, наносимого силами природы, короче говоря, о всех мероприятиях государства, направленных на сохранение или увеличение материального благосостояния нации. Поскольку же моральная сторона не часто принимается во внимание сама по себе, а преимущественно в связи с обеспечением безопасности, я займусь рассмотрением этого вопроса позже. Я утверждаю, что все эти меры имеют вредные последствия и не соответствуют истинной политике, которая должна исходить из высших и обязательно проникнутых человечностью точек зрения.

1. В каждом таком установлении господствует правительственный дух, и каким бы он ни был мудрым и благотворным, он создает о д н о о б р а з и е и чуждый нации образ действий. Поэтому вместо того, чтобы люди, объединяясь в общество, умножали свои силы, пусть даже ценой известных жертв в сфере индивидуального обладания и потребления, они приобретают *блага* за счет своих *сил*. Именно многообразие, возникающее из объединения многих, есть высшее благо, которое может дать общество; и это же многообразие постепенно утрачивается, если возрастает вмешательство государства. Уже не члены нации вступают во взаимоотношения друг с другом, а отдельные подданные вступают во взаимоотношения с государством, то есть с духом, который господствует в данном государственном управлении, притом в такие взаимоотношения, при которых превосходящая сила государства препятствует свободной игре сил. Одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям. Таким образом, чем большее действие оказывает государство, тем более сходным становится не только все воздействующее, но и все находящееся под этим воздействием. Это и входит в намерение государства. Оно ищет благосостояния и спокойствия. То и другое достигается тем легче, чем меньше коллизий возникает между отдельными людьми. Между тем то, к чему стремится и должен стремиться человек, есть нечто совсем иное, это — многообразие и деятельность. Лишь они создают разносторонние и сильные характеры, и нет, конечно, человека, который пал бы так низко, чтобы предпочесть духовному величию благосостояние и счастье. Тот же, кто в своих рассуждениях судит о людях именно так, вызывает, и не без основания, подозрение в том, что он не ценит людей и хочет превратить их в машины.

2. Таким образом, вторым вредным последствием этих мер является то, что они ослабляют силу нации. Если посредством формы, возникающей из самодеятельной материи, сама материя обретает большую полноту и красоту, — ибо что она такое, если не соединение того, что раньше противостояло друг другу? — соединение, для осуществления которого всегда необходимо обнаружение новых объединяющих точек и, следовательно, множество новых открытий, возрастающих в своем числе по сравнению с большим предшествующим разнообразием, — то формой, приданной ей извне, материя уничтожается. В этом случае ничто подавляет нечто. В человеке все есть организм. То, что должно в нем созреть, должно быть в нем *посеяно*. Всякая сила предполагает наличие энтузиазма, и лишь немного способно в такой степени питать его, как сознание того, что вызывающий его предмет составляет в настоящем или составит в будущем нашу собственность: ведь человек всегда считает своим не столько то, что он имеет, сколько то, что он делает, и работник, *возделывающий* сад, является, быть может, в большей мере *собственником* сада (в подлинном смысле этого слова), чем тот, кто праздно наслаждается им. Это слишком общее рассуждение может показаться неприменимым к действительности. Может даже показаться,

что ростом интеллектуальных сил, а тем самым развитием культуры и характера вообще мы обязаны развитию многих наук, достигнутому благодаря этим и подобным мерам государства, которое одно только и имеет возможность производить опыты в больших масштабах. Однако отнюдь не всякое обогащение знаниями ведет непосредственно к облагораживанию интеллектуальной силы, а если это действительно происходит, то распространяется не столько на нацию в целом, сколько преимущественно на ту ее часть, которая относится к аппарату управления. Вообще рассудок человека, так же как и другие его силы, формируется только посредством собственной деятельности, собственной изобретательности или собственного использования чужих открытий. Постановления же государственной власти всегда в большей или меньшей степени связаны с принуждением, и даже если этот момент отсутствует, они наносят вред тем, что приучают человека надеяться больше на чужое знание, чужое руководство, чужую помощь, чем пытаться найти выход собственными силами. Едва ли не единственный способ, посредством которого государство может наставлять граждан, состоит в том, что оно учреждает то, что считает наилучшим, что является как бы результатом его исследований, и проводит это либо прямым законом, либо косвенным образом посредством каких-либо связывающих граждан мер, либо воздействует на них силою своего авторитета, обещанием вознаграждений или другими средствами поощрения и, наконец, просто рекомендует, приводя определенные логические доводы. Но какой бы из всех этих путей ни избрало государство, он будет весьма далек от лучшего, наиболее плодотворного способа обучения. Ибо наилучший способ состоит, без сомнения, в том, чтобы предложить человеку все возможные решения проблемы, тем самым лишь подготовив его к выбору наиболее подходящего; или, еще лучше: указав ему все препятствия, предоставить ему *самому найти* это решение. Этот метод наставления государство может применять к людям зрелым лишь отрицательным образом — посредством свободы, которая, создавая препятствия, одновременно дает силы и умение для их преодоления; положительным же образом он может быть применен путем подлинного национального воспитания только к формирующимся молодым людям. В дальнейшем мы подробнее остановимся на возражении, которое легко может возникнуть, а именно на том, что в вопросах, о которых здесь идет речь, более важно, чтобы было сделано дело, чем чтобы тот, кто его совершает, понимал, в чем его суть: ведь важно, чтобы земля была хорошо возделана, а не то, чтобы ее владелец был самым умелым земледельцем.

Еще больший вред энергии деятельности и моральному характеру людей наносит слишком пространная забота государства о гражданах. Это вряд ли нуждается в подробных разъяснениях. Тот, кем часто и упорно руководят, легко приходит к тому, что добровольно отказывается и от предоставленной ему доли самостоятельности, которой он располагает. Он считает себя свободным от

забот, которые несут за него другие, и полагает, что достаточно ждать указаний и следовать им. Тем самым сдвигаются его представления о заслуге и вине. Идея первой его не захватывает, мучительное чувство второй овладевает им все слабее и реже, поскольку он, ссылаясь на свое положение, с легкостью перекладывает свою вину на того, кто это положение создал. Если же при этом оказывается еще, что намерения государства представляются ему не вполне чистыми, если он видит в них не только пользу для себя, но и какую-то побочную цель, то вред наносится не только силе, но и качеству моральной воли. Тогда он считает себя не только свободным от всех обязанностей, за исключением тех, которые государство прямо на него налагает, но и от всех попыток улучшить свое собственное положение; часто он даже боится этого, опасаясь, что тем самым государство обретет новую возможность извлечь для себя выгоду. Он старается в таких случаях всеми силами уклониться от государственных законов и чувствует себя в выигрыше, если ему это удастся. Принимая во внимание, что для достаточно значительной части нации законы и постановления государства как бы охватывают всю сферу морали, нельзя без сокрушения признать, что священнейшие обязанности и самые произвольные постановления излагаются часто одними и теми же устами и что нарушение того и другого влечет за собой в ряде случаев одни и те же наказания. Не менее очевидно это вредное влияние и на поведение граждан по отношению друг к другу. Так же, как каждый сам полагается на заботу и помощь государства, он — и пожалуй, в еще большей степени — предоставляет государству заботиться о судьбе своих сограждан. А это в свою очередь ослабляет сочувствие к другим людям и желание оказывать помощь друг другу. Взаимная помощь должна быть наиболее действенной там, где наиболее живо сознание, что все зависит только от нее, и, действительно, опыт показывает, что угнетаемые, как бы забытые правительством группы населения всегда связаны наиболее крепкими узами. Там, где холоднее отношение между гражданами, холоднее и отношение супругов друг к другу и отношение отца семейства к членам его семьи.

Предоставленные самим себе во всех своих делах, лишенные всякой посторонней помощи, люди действительно часто попадали бы — будь то по своей вине или без всякой вины — в затруднительное положение или испытывали бы бедствия; однако счастье, для которого предназначен человек, может быть достигнуто только его собственными силами, и именно в трудном положении обостряется его ум и формируется характер. Разве не возникают эти бедствия и там, где государство своим слишком глубоким воздействием препятствует самостоятельности? Они возникают и там и предоставляют человека, привыкшего уповать на чужую помощь, еще значительно более печальной судьбе. Ибо если борьба и деятельный труд помогают переносить бедствия, то их в десятикратном размере отягощает безнадежное, быть может, напрасное ожидание. Даже в лучшем случае государства, о которых я здесь говорю, напоминают

врачей, которые пестуют болезнь и отдалают смерть. До того как появились врачи, существовали только здоровье или смерть.

3. Все, чем человек занимается, пусть даже ради косвенного или непосредственного удовлетворения своих физических потребностей или вообще ради достижения каких-либо внешних целей, самым тесным образом связано с его внутренними ощущениями. Иногда наряду с внешней конечной целью существует и внутренняя цель, а подчас именно она и движет человеком, а внешняя цель только необходимо или случайно с ней связана. Чем человек более целен, тем свободнее возникает выбранное им внешнее занятие из его внутреннего бытия и тем чаще и прочнее внутреннее бытие соединяется с внешним занятием в тех случаях, когда последнее не было выбрано свободно. Поэтому-то интересный человек интересен во всех ситуациях и во всех своих делах; именно поэтому он при том образе жизни, который соответствует его характеру, достигает замечательной красоты.

Таким путем можно было бы, пожалуй, сделать всех крестьян и ремесленников х у д о ж н и к а м и, то есть людьми, которые любят свои занятия ради них самих, совершенствуют их собственными силами и собственной изобретательностью и тем самым культивируют свои интеллектуальные силы, облагораживают свой характер и увеличивают свои наслаждения. Тогда человечество облагораживалось бы теми самыми занятиями, которые теперь, как бы хороши они ни были сами по себе, часто служат средством унижить его. Чем больше человек привык жить в сфере идей и чувств, чем сильнее и тоньше его интеллектуальные и моральные силы, тем более он стремится избрать такое внешнее положение, которое дало бы больше пищи его внутреннему Я, или по крайней мере найти такие стороны в ситуациях, в которые ввергает его судьба. Неизмеримо преимущество в величии и красоте, обретаемое человеком, неизменно стремящимся к тому, чтобы его внутреннее бытие всегда было на первом месте, чтобы оно всегда являло собой первоисточник и конечную цель всей его деятельности, а все телесное, внешнее составляло бы только его оболочку и орудие.

Примером может служить то, как выделяется в истории характер народа, который спокойно занимается земледелием. Труд, который он вкладывает в землю, урожай, которым земля его награждает, привязывают его к земле и к очагу; участие в благословенном труде и совместное пользование добытым соединяют узами любви каждую семью, из которой полностью не исключен даже участвующий в работе вол. Зерно, которое надо сеять и собирать, которое ежегодно возрождается и редко обманывает надежды, делает людей терпеливыми, доверчивыми и бережливыми, получение даров природы, постоянно присутствующее в душе чувство, что хотя рука человека и высевает зерно, но его рост и созревание не зависят от человека, вечная зависимость от прихотей погоды внушает людям то устрашающие, то радостные представления о высших существах, попеременно вызывает в них то страх, то надежду и настраивает их на благодар-

ственную молитву. Живой образ возвышенной простоты, ничем не нарушаемого порядка, мягкости и доброты создает души простые, величавые и кроткие, радостно подчиняющиеся требованиям закона и обычая. Привыкнув всегда создавать и никогда не разрушать, земледелец отличается мирным характером, ему чужды обида и месть; однако он остро чувствует несправедливость и, если на него неожиданно нападают, проявляет неустрашимое мужество в борьбе с нарушителем его мирной жизни.

Необходимым условием всего этого является свобода, без нее даже самое одухотворенное занятие не может оказать благотворного действия. То, что человек не выбрал сам, в чем он ограничен и только руководим, не переходит в его существо, остается для него вечно чужим; он совершает свое дело, основываясь не на человеческой силе, а на механическом умении. Древние народы, особенно греки, считали каждое занятие, требующее преимущественно применения физической силы или направленное на приобретение внешних благ, а не на внутреннее развитие, вредным и унижительным. Поэтому самые гуманные из их философов допускали рабство, чтобы с помощью этого несправедливого, варварского средства, жертвуя одной частью человечества, обеспечить другой его части высшую силу и красоту. Однако разум и опыт легко обнаруживают всю несостоятельность, которая лежит в основе таких взглядов. Каждое занятие может облагородить человека, придать ему определенный, достойный его облик. Все дело в том, как это занятие совершается. И здесь можно вывести следующее общее правило: занятие оказывает благотворное действие, пока оно само и использованная для него энергия полностью наполняют душу; напротив, оно менее благотворно, а часто даже вредно, если внимание направлено на результат, к которому оно ведет, и рассматривается только как средство для достижения этого результата. Ибо все, что само по себе заключает в себе очарование, пробуждает уважение и любовь; то же, что в качестве средства обещает пользу, возбуждает только интерес. Насколько облагораживают человека уважение и любовь, настолько возбужденный интерес угрожает ему опасностью унижения. Но в том случае, если государство берет на себя ту положительную заботу, о которой здесь идет речь, оно может направлять свое внимание только на **результаты** и устанавливать правила, следование которым в наибольшей мере гарантирует их наиболее полное достижение.

Эта ограниченная точка зрения бывает больше всего вредна в тех случаях, когда истинная цель человека носит полностью моральный или интеллектуальный характер или когда эту цель составляет самый акт, а не его последствия, а последствия бывают связаны с ним только необходимым образом или случайно. Мы имеем в виду научные исследования и религиозные идеи, а также все связи людей друг с другом, и в том числе самый естественный и наиболее важный союз как для отдельного человека, так и для государства — *брак*.

Союз людей различного пола, основанный именно на половом

различии,— пожалуй, это можно считать наиболее правильным определением брака — можно мыслить столь же различным, сколь разнообразны взгляды на половое различие и проистекающие отсюда склонности сердца и цели разума; и в этом проявляется весь нравственный облик человека, и прежде всего сила и характер его чувств. Преследует ли человек в первую очередь внешние цели или предпочитает жить внутренней жизнью? Говорит ли в нем преимущественно рассудок или чувство? Свойственны ли ему горячие чувства и столь же быстрое охлаждение или же постепенное пробуждение чувств и верность? Устанавливает ли он свободные взаимоотношения или тесный союз? Сохраняет ли он в самых близких отношениях бóльшую или меньшую самостоятельность? Эти и множество других факторов определяют различным образом отношения и жизнь супругов. Но как бы все это ни было определено, влияние этих отношений на существо человека и его счастье несомненно; и от того, удалось ли ему обрести или сформировать действительность в соответствии со своей внутренней настроенностью, зависит главным образом, ждет ли его в будущем высшее усовершенствование или полная инертность. Особенно сильно испытывают это влияние наиболее значительные люди, способные к самой нежной и быстрой восприимчивости и к глубокой верности. К ним можно в общем с полным правом отнести скорее женский, чем мужской пол, и поэтому характер женщин больше всего зависит от характера семейных отношений, сложившегося у данного народа. Полностью свободные от внешних занятий, преданные почти исключительно только тем занятиям, которые предоставляют их внутреннюю сущность всецело самой себе, более сильные тем, чем они могут быть, нежели тем, что они могут совершить; проявляющие себя больше в скрытом, нежели в высказанном чувстве; более богато одаренные — благодаря более нежному строению, более выразительному взору, более задушевному голосу — способностью самого непосредственного, лишённого всех внешних приемов выражения; в своем отношении к другим более склонные ждать и воспринимать, нежели идти навстречу; более слабые, но не по своей сущности, а из стремления следовать за восхитившим их величием и силой другого; постоянно стремящиеся, вступив в брачный союз, воспринимать вместе с человеком, с которым они соединены, а воспринятое перерабатывать в себе и переработанное возвращать; более одушевленные мужеством, которое заботливость привносит в любовь, а чувству придает силу, направленную не на то, чтобы сломить сопротивление, а на то, чтобы устоять в терпении,— женщины, в сущности, б л и ж е к идеалу человека, чем мужчины, а если все-таки не лишено основания предположение, что они р е ж е, чем мужчины, этого идеала достигают, то, вероятно, только потому, что всегда труднее взбираться по крутому отвесному склону, нежели обойти его. Как подобное существо, столь восприимчивое, столь е д и н о е в своей цельности, для которого, следовательно, ничто не может пройти мимо, не оказав на него влияния,— а каждое влияние затрагивает его существо не частично,

а целиком, — как такое существо и его внутренняя жизнь страдает от неблагоприятных внешних условий, вероятно, не требует разъяснений. Между тем сколь бесконечно многое зависит в обществе от развития женского характера. Если верно представление, что каждый вид совершенства находит свое выражение как бы в одном роде существ, то в женском характере заключены все сокровища нравственности.

...свободы ищет муж,
А к нравственности женщина стремится¹.

И если, согласно этому глубоко и истинно прочувствованному высказыванию поэта, мужчина стремится устранить внешние преграды, препятствующие его росту, то заботливая рука женщины проводит благотворную внутреннюю границу той области, где только и может достигнуть своего расцвета полнота силы, и делает это тем осторожнее, потому что женщины глубже ощущают внутреннюю жизнь человека, тоньше различают ее многообразные отношения, потому что каждое чувство полностью подчинено им и устраняет опасность резонерства, так часто затемняющего истину.

Если необходимы дальнейшие доказательства, то их можно найти и в истории; история свидетельствует о том, что нравственность народов всегда тесно связана с уважением к женщине. Из всего сказанного очевидно, что воздействие брака столь же многосторонне, как характер индивидов, и что стремление государства определить законами столь тесно связанный с характерами отдельных индивидов союз или сделать его посредством своих установлений зависимым от каких-либо иных условий, кроме взаимной склонности, чревато опасными последствиями. Это тем более вероятно, что в подобных постановлениях государство может руководствоваться только внешними следствиями брака, такими, как прирост населения, воспитание детей и т. п. Конечно, можно считать, что все это ведет к таким же результатам, как наивысшая забота о прекраснейшей внутренней жизни. Ибо, как показывают тщательно проведенные исследования, прочный длительный союз одного мужчины с одной женщиной наиболее соответствует заботе государства о росте населения, и именно такой союз возникает, конечно, на основе истинной, естественной и неомраченной любви. Эта любовь в свою очередь ведет к таким отношениям, которые установлены нашими законами и обычаями: рождение детей, воспитание их в семье, общность жизни, а частично и общность имущества, занятия мужчины внешними делами, ведение домашнего хозяйства женщиной.

Однако заблуждение коренится, как мне кажется, в том, что закон пр и к а з ы в а е т, тогда как подобные отношения могут возникнуть только на основе взаимной склонности, а не из повиновения внешним установлениям; там же, где принуждение пр о т и в о р е ч и т склонностям людей, там еще меньше вероятности, что

¹ Г ё т е. Тассо, II, 1.

эта склонность обретет должную направленность. Поэтому государство должно, как мне кажется, не только придать большую свободу налагаемым им узам, но — если мне будет дозволено здесь (где я говорю не о браке вообще, а лишь об одном, бросающемся в глаза недостатке, связанном с ограничительными распоряжениями государства) судить только в соответствии с приведенными выше соображениями — вообще полностью устранить брак из сферы своего внимания, предоставив его как целиком, так и в его модификациях свободной воле индивидов на основании заключенных ими разнообразных договоров. Опасения нарушить тем самым семейные отношения или вообще воспрепятствовать их возникновению — как ни обоснованны они могут быть в тех или иных местных условиях — не кажутся мне существенными, поскольку я исхожу из природы человека и государства вообще. Ибо, как нам известно по опыту, часто именно то, что закон разрешает, обычай запрещает; идея внешнего принуждения полностью чужда такому, основанному только на склонности и внутреннем долге отношению, как брак, и следствия принудительных мер просто не соответствуют первоначальному намерению...*

...в моральной и практической жизни человека вообще, поскольку он и здесь следует правилам, которые, быть может, ограничиваются лишь основными положениями права, постоянно исходит из высшей точки зрения на свое развитие и развитие других, везде руководствуется этим чистым намерением и подчиняет все другие интересы этому познанному им без всякой примеси каких-либо чувственных мотивов закону. Однако все стороны, которые человек способен культивировать, находятся в удивительно тесной связи, и поскольку в мире интеллекта эта связь, если не глубже, но, во всяком случае, яснее и заметнее, чем в физическом мире, то в моральной сфере эта связь проявляется еще очевиднее. Поэтому люди должны объединяться не для того, чтобы утратить какие-либо черты своего своеобразия, а для того, чтобы избавиться от все исключаящей изоляции; такое объединение не должно превращать одно существо в другое, а должно как бы открывать путь от одного к другому; то, чем располагает каждый для себя, ему надлежит сравнить с тем, что он обрел в других, и в соответствии с ним видоизменять, но не подчинять ему. Ибо как в интеллектуальной области истинное, так и в сфере морали то, что подлинно достойно человека, никогда не вступает в борьбу между собой, и поэтому тесное, многостороннее объединение своеобразных характеров столь же необходимо для того, чтобы уничтожить то, что не может существовать рядом с другим и само по себе также никогда не достигнет величия и красоты, как необходимо оно и для того, чтобы сохранять, питать и оплодотворять для новых, еще более прекрасных порождений то, что существует и не противоречит друг другу. Поэтому непрерывное стремление постигнуть глубочайшее своеобразие другого, использовать его и, проникаясь величайшим уважением к нему как к своеобразию свободного существа, воздействовать на это своеобразие —

причем уважение едва ли позволит применить какое-либо иное средство, нежели раскрытие самого себя и сравнение себя с ним как бы у него на глазах,— все это является высшим правилом искусства человеческого общения, искусства, которым, быть может, до сих пор больше всего пренебрегали. Если, однако, это пренебрежение легко извиняют тем, что общение с людьми должно служить отдыхом, а не превращаться в утомительную работу и что вряд ли большинству людей присуще то или иное интересное своеобразие, тут можно заметить, что каждому человеку следовало бы иметь достаточно уважения к себе, чтобы искать отдых не в смене интересных занятий и уж, конечно, не в таком времяпрепровождении, при котором самые благородные его силы бездействуют, и иметь достаточное уважение к человечеству, чтобы ни одного человека не считать полностью непригодным для такого общения или неспособным измениться под влиянием других. И уж, во всяком случае, это должны иметь в виду те, кто непосредственно занят общением с людьми и воздействием на них, а следовательно, и государство, которое при положительной заботе только о внешнем и физическом благополучии, всегда тесно связанном с внутренним существованием, не может не препятствовать развитию индивидуальности. Это еще одно основание для того, чтобы государство никогда не осуществляло такого рода заботу, разве только при крайней необходимости.

Таковы, пожалуй, главные вредные последствия, вытекающие из положительной заботы государства о благосостоянии граждан; они в значительной мере связаны с некоторыми формами проявления этой заботы, но в целом, по моему мнению, вообще от нее неотделимы. Я предполагал говорить здесь только о заботе государства о физическом благе граждан и, в самом деле, все время исходил именно из этого, тщательно отделяя все, относящееся только к нравственному благу. Однако я хочу сразу же напомнить, что самый предмет нашего рассмотрения не допускает полного разделения такого рода; и пусть это мне послужит оправданием, если окажется, что очень многое из приведенного выше относится к положительной заботе государства вообще. До сих пор я исходил из того предположения, что установления государства, о которых здесь шла речь, уже действительно приняты; теперь необходимо остановиться и на тех препятствиях, которые возникают при их осуществлении.

6. Здесь, конечно, прежде всего необходимо было бы взвесить преимущества этих мер, сопоставив их с теми недостатками, и прежде всего — с ограничениями свободы, которые всегда с ними связаны. Однако произвести такое сопоставление очень трудно, а произвести его со всей полнотой, вероятно, вообще невозможно. Ведь каждая ограничительная мера приходит в столкновение со свободным и естественным проявлением сил, создает бесчисленные новые отношения, вследствие чего невозможно предвидеть то множество последующих отношений, которое оно за собой повлечет (даже если исходить из равномерного хода событий, сбросив со счетов постоянно возникающие неожиданности и случайности). Каждый,

кто когда-либо занимался делами государственного управления, несомненно, знает по опыту, сколь немногие меры вызываются непосредственной, абсолютной необходимостью и сколь многие из них носят характер лишь относительной, опосредствованной необходимости, зависящей от других, предшествующих мер. Вследствие этого приходится применять значительно большее число средств, и тем самым именно этих средств лишается подлинная цель, реализации которой они должны были бы служить. Дело не только в том, что такое государство нуждается в больших доходах, оно требует и более сложных учреждений для сохранения политической безопасности, так как части его, менее тесно сплоченные, требуют большей заботы со стороны государства. Из этого вытекает еще более трудный и, к сожалению, часто упускаемый из виду вопрос: достаточны ли естественные силы государства для создания всех необходимых для этой цели средств? Если же расчет государства будет неверным, то оно окажется перед лицом неправильного соотношения; тогда придется прибегать к искусственным мерам, превосходящим его силы, — зло, от которого страдают, хотя и не только по этой причине, весьма многие из государств нового времени.

Прежде всего нельзя не упомянуть об одном вредном последствии, которое непосредственно касается человека и его культуры, а именно о том, что само управление государственными делами чрезмерно усложняется, в связи с чем во избежание полной неразберихи требуется невероятное множество специализированных учреждений и столько же занятых в них людей. Большинство этих людей имеют дело не с самими предметами, а только с их символами, формулами. Тем самым из сферы мышления устраняется множество, быть может, блестящих умов, а из сферы реального труда — множество рук, достойных более полезного применения. Больше того, и сами духовные силы этих людей ослабевают от этих отчасти пустых, отчасти односторонних занятий. Возникает новая служебная сфера и новая статья дохода — управление государственными делами, ставящая этих служащих государства в гораздо большую зависимость от правящей верхушки, которая оплачивает их деятельность, чем от нации. О печальных последствиях, вытекающих из этого, таких, как постоянное ожидание помощи от государства, недостаток самостоятельности, ложное тщеславие, бездеятельность и даже духовное убожество, самым неопровержимым образом свидетельствует опыт. Зло, из которого проистекает этот вред, в свою очередь его же и порождает. Люди, подобным образом управляющие делами государства, все больше отвлекаются от предмета своей деятельности и начинают заниматься только формой, внося в нее бесконечные поправки, иногда, быть может, и существенные, но мало связанные с самим предметом и потому часто приносящие ему вред. Это ведет к возникновению новых форм, к новому разбуханию аппарата, а часто и к введению новых ограничительных мер, а они естественным образом вновь ведут к росту числа государственных служащих. Поэтому-то в большинстве государств от десятилетия к десятилетию

персонал государственных служащих увеличивается, государственные учреждения расширяются, а свобода подданных все более ограничивается. При таком характере управления все, действительно, зависит от самого пристального надзора, от самого строгого и честного выполнения своих функций, так как возможностей для проявления небрежности более чем достаточно. Именно поэтому не без основания стараются пропустить все дела через возможно большее число рук, чтобы устранить саму возможность ошибок или преднамеренного сокрытия подлинного положения дел. Однако в результате этого деятельность людей становится почти полностью механической, а люди превращаются в машины; подлинное умение и добропорядочность исчезают вместе с исчезновением доверия. И наконец, поскольку занятия, о которых здесь идет речь, обретают большую важность и последовательности ради действительно должны ее обретать, понимание того, что важно и что неважно, что почетно и что презренно, в чем состоит главная и в чем — второстепенная цель, вообще сдвигается. Но поскольку при необходимости такого рода занятий их неприятные стороны возмещаются рядом легко бросающихся в глаза преимуществ, то я не буду больше останавливаться на этом и перейду к последнему пункту моего рассмотрения, для которого все сказанное до сих пор служило своего рода подготовкой, — к изменению точек зрения вообще, вызываемому положительной заботой государства.

7. Для того чтобы закончить эту часть исследования общим, почерпнутым из высших соображений замечанием, укажу на то, что о людях забывают ради вещей, о силах — ради результатов. Такая государственная система уподобляется скорее скоплению мертвых и живых орудий деятельности и потребления, нежели множеству действующих и потребляющих сил. При небрежении к самостоятельности действующих существ все усилия как будто направлены только на достижение благополучия и довольства. Однако, так как о степени благополучия и довольства может судить только тот, кто их испытывает, то даже если расчет оказался бы правильным, он отнюдь не соответствовал бы подлинному достоинству человека. Иначе чем объяснить, что эта стремящаяся только к покою система охотно отказывается от высшего, доступного человеку наслаждения как бы из опасения обратного? Человек испытывает наивысшее наслаждение в те моменты, когда он ощущает в себе присутствие высшей силы и единства. Правда, в такие моменты он ближе всего и к величайшему страданию. Ибо за моментом напряжения может следовать лишь такое же напряжение, а направленность его в сторону наслаждений или страданий находится в руках неумолимой судьбы. Однако если счастье может быть названо лишь чувством высочайшего в человеке, то горе и страдание также обретают другой облик. Внутренний мир человека заключает в себе источник счастья и несчастья; состояние человека уже не меняется в зависимости от несущего его бурного потока. Система, о которой мы говорили, ведет, по моему мнению, к бесплодному стремлению избежать страданий. Тот, кто

действительно умеет наслаждаться счастьем, терпеливо переносит страдание, от которого все равно не уйти, и беспрестанно восхищается спокойной поступью рока; его пленяет величие, как в момент его возникновения, так и в момент его гибели. Таким путем он приходит к убеждению, правда, только в самые редкие минуты (исключение составляют мечтатели), что даже ощущение собственной гибели может быть моментом восторга.

Меня могут, пожалуй, упрекнуть в том, что я преувеличил перечисленные здесь недостатки, которые вызывает забота государства; однако я стремился показать во всей полноте то влияние вмешательства государства на частную жизнь граждан, о котором здесь идет речь. Само собой разумеется, что эти недостатки весьма различны в зависимости от степени и характера этого вмешательства. И вообще я был бы признателен, если бы читатель во всех тех случаях, когда в данной работе идет речь об общих вопросах, полностью отказался от сравнений с действительностью. В действительности мы редко обнаруживаем какое-либо явление в его полной чистоте, и даже, когда это удается, мы не можем выделить отдельные действия тех или иных факторов. Не надо также забывать, что при наличии вредных влияний опасность приближается быстрыми шагами. Подобно тому как большая сила, будучи соединена с другой большей силой, дает вдвое большую силу, так меньшая сила, соединенная с меньшей, вырождается в силу вдвое меньшую. Да и какая мысль дерзнула бы проследить быстроту этого процесса? Даже если признать, что недостатки не столь уж велики, то изложенная здесь теория подтвердилась бы, как я полагаю, еще в значительно большей степени тем поистине неисчислимым благом, к которому привело бы ее применение, если бы это когда-нибудь оказалось в полной мере возможным,— что в силу ряда обстоятельств не вызывает уверенности. Ибо вечно деятельная, не знающая покоя внутренняя сила вещей борется против каждой вредной для нее меры и способствует действию каждой полезной; поэтому с высшей точки зрения верно, что самое горячее рвение никогда не способно произвести столько зла, чтобы уравновесить везде и всюду само собой возникающее добро.

Я мог бы нарисовать здесь отрадную картину жизни народа, который, пользуясь высшей, ничем не ограничиваемой свободой, живет среди величайшего многообразия условий окружающей его среды; я мог бы показать, какие высокие и прекрасные образцы многообразного и оригинального развития должны проявляться при этом, образцы, превосходящие даже те, которые нам известны в столь невыразимо чарующей древности, где своеобразие менее культурного народа проявлялось всегда в более жестких и грубых формах, где наряду с утонченностью растет сила и даже богатство характеров и где при почти безграничном соединении всех наций и стран мира элементы этого соединения становятся сами по себе гораздо многочисленней. Я мог бы показать, какого расцвета достигла бы сила каждого, если бы он организовался с помощью своих

внутренних сил, если бы каждое существо, вечно окруженное прекраснейшими образами, с неограниченной и вечно побуждаемой свободой самодеятельностью воспринимало и усваивало эти образы; как нежно и тонко формировалось бы внутреннее бытие человека, как это стало бы главным его занятием, как все физическое и внешнее перешло бы во внутреннее, нравственное и интеллектуальное и какую бы длительность обрела связь, соединяющая обе натуры человека, если бы ничто не препятствовало свободному воздействию всех его занятий на дух и характер. Я мог бы показать, как при этом ни один человек не приносился бы в жертву другому, каждый сохранял бы всю данную ему силу и именно поэтому воодушевлялся бы прекрасной готовностью придать ей благотворное для других направление; как, если бы каждый развивал свои индивидуальные черты, возникали бы все более разнообразные и тонкие нюансы прекрасного человеческого характера и как исчезали бы черты односторонности, поскольку она всегда является лишь следствием слабости и скудости и поскольку каждый — если бы ничто не заставляло его уподобляться другому из-за постоянной необходимости объединяться с другими — все более стремился бы к тому, чтобы изменяться в соответствии с ними; как в таком народе не терялись бы силы и руки, нужные для того, чтобы сделать человеческое существование возвышенным и прекрасным. И наконец, я показал бы, как в результате всего этого и воззрения всех людей были бы направлены именно на это и уклонялись бы от всякой ложной или, во всяком случае, менее достойной человечества конечной цели. В заключение я мог бы обратить внимание на то, что благотворные следствия подобного государственного устройства в значительной степени уменьшили бы, правда, никогда полностью не искоренимые бедствия людей, опустошения, наносимые природой, гибель в результате враждебных отношений и пагубных бурных наслаждений. Однако я ограничусь изображением картины, противоположной обычной жизни людей; полагаю, что достаточно предложить идеи, а более зрелое суждение затем проверит их.

Если попытаться вывести заключение из предшествующих рассуждений, то первое положение данного исследования будет таковым: *Пусть государство воздержится от всякой заботы о положительном благе граждан и не выходит за пределы, поставленные необходимостью предотвращать опасность, грозящую им как от внутренних, так и от внешних врагов; ни для каких иных целей пусть не ограничивает оно их свободу.*

Теперь мне следовало бы обратиться к средствам, с помощью которых осуществляется подобная забота государства; однако поскольку я в соответствии с моими принципами эти средства вообще отвергаю, то могу обойти их молчанием и удовлетвориться утверждением в общей форме: средства, с помощью которых свобода ограничивается в пользу благосостояния, могут быть самыми разнообразными по своему характеру. Они могут быть прямыми; к ним относятся законы, поощрения, награды; они могут быть косвенными,

как, например, в том случае, когда верховный правитель является одновременно и крупнейшим землевладельцем и предоставляет отдельным гражданам привилегии: монополии и т. п. — и все эти средства приносят вред, хотя и различный по своей степени и характеру. Если в общем все это и не встречает возражений, то все-таки может показаться странным, что государству возбраняется то, что разрешено каждому отдельному человеку, то есть раздавать награды, предоставлять поддержку, быть собственником. Если бы на практике было возможно, как это делается в теории, чтобы государство выступало в двух лицах, то это не встретило бы возражений. Тогда это было бы равносильно тому, что некое частное лицо обрело могущественное влияние. Однако, даже оставляя в стороне эту разницу между теорией и практикой, следует принять во внимание, что влияние частного лица может быть уничтожено конкуренцией, разделом состояния между многими лицами, даже смертью — все это явления, которые государству угрожать не могут; поэтому принцип, согласно которому государство не должно вмешиваться ни во что иное, кроме того, что связано с безопасностью, остается в силе, тем более, что он подтверждается доказательствами, которые почерпнуты не только в одной природе принуждения. К тому же частное лицо исходит из других оснований, чем государство. Так, если, например, какой-либо гражданин назначает премии, пусть даже они окажутся — чего никогда не бывает — столь же действенны, как государственные премии, то он делает это из личной выгоды. Между тем из-за постоянного общения со всеми остальными гражданами и равенства их положения его выгода находится в прямом соответствии с выгодами и невыгодами других, а следовательно, и с их положением. Цель, к которой стремится частное лицо, в известной мере подготовлена существующими условиями и поэтому оказывает благотворное воздействие. Напротив, основания, которыми руководствуется государство, сводятся к определенным идеям и принципам; при их проведении в жизнь часто обманывает даже самый точный расчет; и если эти основы почерпнуты из особого положения государства как частного лица, то это уже само по себе может оказаться опасным для блага и безопасности граждан; к тому же положение граждан никогда не бывает одинаковым.

Именно это рассуждение, как и все предшествующее ему, исходило лишь из той точки зрения, которая имеет в виду только силу человека как такового и его внутреннее совершенствование. И эту точку зрения можно было бы с полным правом обвинить в односторонности, если бы она полностью пренебрегла результатами, необходимыми для того, чтобы эта сила вообще могла действовать. Возникает, следовательно, вопрос: могут ли отдельные стороны, которые мы предлагаем изъять из ведения государства, процветать без него и сами по себе? Конечно, следовало бы рассмотреть каждую в отдельности — разные отрасли ремесел, земледелия, промышленности, торговли и т. д., — о которых я говорю здесь суммарно, и с полным знанием дела показать, какие выгоды и невыгоды предостав-

ляет им свобода и самостоятельность. Отсутствие необходимых для этого знаний мешает мне это сделать. К тому же я считаю, что для данного рассмотрения это не является необходимым. Конечно, подобное, хорошо проведенное, исторически обоснованное исследование принесло бы большую пользу в том смысле, что оно подвело бы еще более прочный фундамент под эти идеи и вместе с тем позволило бы судить о возможности даже значительно модифицированного их применения — существующее положение вещей едва ли позволило бы осуществить их полностью в каком-либо государстве. Удовлетворюсь несколькими замечаниями общего характера. Каждое дело, каким бы оно ни было, выполняется лучше, когда им занимается ради него самого, а не ради его результатов. Это настолько свойственно природе человека, что обычно занятие, которое вначале выбирается только ради пользы, которую оно приносит, в конечном итоге само по себе становится привлекательным. Происходит это оттого, что деятельность приносит человеку больше радости, чем обладание чем-то, но только такая деятельность, которая является самодеятельностью. Полный сил, деятельный человек предпочтет в большинстве случаев праздность принудительному труду. Идея собственности развивается только вместе с идеей свободы, и самой энергичной деятельностью мы обязаны именно чувству собственности. Достижение великой цели всегда требует единства управления. Это безусловно. Того же самого требует также и предотвращение и устранение больших бедствий: голода, наводнений и т. д. Однако это единство может быть достигнуто не только с помощью государственных, но и с помощью национальных учреждений. Для этого надо только предоставить отдельным частям нации и нации в целом право свободно объединяться на основе договоров. Между национальным союзом и государственным учреждением, несомненно, существует важное различие. Первый располагает лишь опосредствованной, второе — непосредственной властью. Поэтому первому присуща большая свобода при заключении, расторжении союзов и изменениях связей. Весьма вероятно, что вначале все государственные учреждения были такими национальными союзами. Однако опыт показал, какие возникают пагубные последствия, когда задачи обеспечения безопасности связываются с другими целями. Тот, кто занят делом безопасности, должен обладать для этого абсолютной властью. Но, облеченный ею, он распространяет эту свою власть и на все остальное, и чем больше этот институт отдалается от своего первоначального назначения, тем больше растет власть и тем слабее становится воспоминание о первоначальном договоре. Между тем всякое учреждение в государстве имеет власть лишь постольку, поскольку оно соблюдает этот договор и сохраняет его значение. Уже одного этого было бы как будто достаточно. Однако даже если бы основным договором строго соблюдался, а государственное образование было бы в полном смысле слова союзом национальным, то воля отдельных индивидов могла бы быть выражена только посредством представительства, а представитель многих людей никак не может быть верным

выразителем мнения отдельных людей, которых он представляет. Итак, все перечисленные в предшествующем изложении основания приводят к тому, что согласие каждого члена общества в отдельности необходимо; они же исключают и решение большинством голосов, а между тем в государственном образовании, осуществляющем заботу о положительном благе граждан, никакой иной способ принятия решений невозможен. Тем, кто несогласен с решениями большинства, остается только выйти из общества, освободиться тем самым от его юрисдикции и от необходимости подчиняться мнению большинства. Но это сопряжено с почти непреодолимыми трудностями, поскольку выход из такого общества означал бы выход из государства. Вообще лучше создавать отдельные объединения по отдельным поводам, чем общие союзы для неопределенных случаев в будущем. Наконец, объединения свободных людей внутри нации очень затруднены. Если заключение таких союзов, с одной стороны, оказывает неблагоприятное действие на достижение конечных целей,— хотя следует помнить о том, что возникающее с большим трудом обладает и большей прочностью, так как испытанная сила обретает как бы большее сцепление своих звеньев,— то, с другой стороны, несомненно, что всякий большой союз вообще менее благотворен: чем больше человек действует для себя, тем более он совершенствуется, тогда как в большом союзе он легко превращается в простое орудие. Большие объединения имеют еще и тот недостаток, что благодаря такого рода союзам вещь часто заменяется знаком, а это всегда мешает развитию. Мертвый иероглиф не воодушевляет, подобно живой природе. Не приводя других примеров, напомним только о благотворительных учреждениях. Убивает ли что-либо в такой мере всякое истинное сострадание, всякую преисполненную надежды скромную просьбу, всякое доверие человека к человеку? Разве мы не презираем нищего, который предпочитает провести год в больнице без всяких забот о пропитании, чем, претерпев многие беды, вместо милостыни, отпущенной равнодушной рукой, встретить сочувствующее сердце? Таким образом, я признаю, что мы не достигли бы столь быстрых успехов, если бы человеческий род не действовал в последние столетия как бы в целой массе, но именно только быстрых. Плод зрел бы медленнее, но все-таки созрел бы. И не был ли бы он в таком случае благотворнее? Поэтому я считаю возможным остановиться на этом. Что касается двух других возражений, а именно: возможна ли гарантия безопасности при том невмешательстве, которое здесь предписывается государству, и следует ли считать необходимым разнообразное вмешательство государственного аппарата в жизнь граждан, хотя бы для того, чтобы найти средства, нужные для его деятельности,— то они будут рассмотрены ниже.

Забота государства об отрицательном благе граждан, об их безопасности

Если бы зло, пронстекающее из постоянного стремления человека преступать правомерно указанные ему границы¹, вторгаясь в чужую область, и возникающие из этого распри, вели бы к тому же, к чему приводят физическое природное зло и сходное с ним — по крайней мере в этом отношении — зло нравственное, когда чрезмерные наслаждения, лишения или иные действия, не соответствующие необходимым условиям существования, завершаются разрушением личности, то государственный союз был бы вообще не нужен. Первого можно было бы избежать с помощью мужества, ума и осторожности, второго — с помощью основанной на опыте мудрости; в обоих случаях устранение зла означало бы окончание борьбы. Поэтому не было бы никакой необходимости в высшей непрерываемой власти, которая и составляет понятие государства в собственном смысле слова. Совсем по-иному обстоит дело с несогласиями, возникающими между людьми, и здесь, действительно, требуется вмешательство власти, ибо при распрях борьба порождает борьбу. Оскорбление требует отмщения, а отмщение являет собой новое оскорбление. Следовательно, в данном случае необходимо такое отмщение, которое не допускало бы нового мщения, и такова именно кара государства, или решение, которое принуждает стороны утихомириться, то есть решение судьи. Ничто не требует в такой мере приказа и безусловного повиновения, как столкновения между людьми, будь то отражение внешнего врага или сохранение спокойствия внутри государства. Без гарантии безопасности человек не может ни развивать свои силы, ни пожинать плоды этого развития, ибо там, где нет безопасности, нет и свободы. Однако безопасность человек не может обеспечить себе сам. Это явствует из тех оснований, которых мы лишь коснулись, не останавливаясь на них подробно, а также из опыта, свидетельствующего о том, что наши государства, которые связаны множеством договоров и союзов, — причем страх удерживает их от каких-либо насильственных действий — находятся в значительно более благоприятном положении, чем то, в каком можно представить себе человека в естественном состоянии, и тем не менее они не располагают той безопасностью, которая гаранти-

¹ То, что я здесь описываю, греки определяли одним словом *πλεονεξία*, соответствия которому я не нахожу ни в одном языке. Быть может, его отчасти выражают немецкие слова *Begierde nach mehr* ('жажда большего'), хотя они и не передают присущего данному слову оттенка незаконности, который, если и не заключен непосредственно в нем, то привнесен в него постоянным употреблением его в этом смысле писателями (насколько это мне известно). Более подходящим, по крайней мере по своему употреблению в языке, хотя тоже не полностью выражающим все оттенки греческого определения, является, пожалуй, немецкое слово *Übertvorteilung* ('обман').

рована обычному подданному при самом посредственном государственном устройстве. Поэтому, если выше я отвергал необходимость распространения заботы государства на некоторые области на том основании, что его подданные сами могут принять необходимые меры, причем без тех помех, которые всегда возникают при вмешательстве государства, то теперь я вынужден на том же основании считать безопасность предметом государственной заботы, причем это то единственное ¹, что отдельный человек не способен обеспечить своими силами. Исходя из этого, я считаю возможным сформулировать первый положительный принцип, к которому в дальнейшем я вернусь еще раз для более точного определения и ограничения: *обеспечение безопасности как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров должно составлять цель государственного управления и содержание его деятельности.*

До сих пор я пытался определить границы государственной деятельности с позиций отрицательных, а именно что она не должна распространяться на другие сферы.

Этот тезис находит свое подтверждение и в истории: мы знаем, что у древних народов цари были всегда только предводителями на войне и судьями в мирное время. Я говорю — цари, ибо — да будет мне дозволен этот экскурс в историю, — как ни странно, по нам известно из истории, что именно в те времена, когда человек обладал еще весьма незначительной собственностью, ценил только личную силу и видел в неограниченном пользовании ею величайшее наслаждение, когда он больше всего дорожил своей свободой, тогда были только цари и монархии. Таковы все государства Азии, Греции, Италии и свободолобивых германских племен ². Поразмыслив о причинах этого явления, мы придем к удивительному заключению, что именно выбор монархии как формы управления свидетельствует о величайшей свободе тех, кто ее избирает. Идея носителя высшей власти возникает, как было сказано выше, только из ощущения необходимости в предводителе или судьбе. И конечно, самое целесообразное иметь предводителя и судьбу в одном лице. Подлинно свободный человек не опасается того, что этот единственный вождь и судья превратится в правителя, он даже не предполагает такой возможности. Он не представляет себе, что какой-либо человек может обладать достаточной силой, чтобы лишить его свободы, и не допускает мысли, что свободный человек может захотеть стать властелином. И в самом деле, рабство любит властолюбивый человек, не способный воспринимать всю высокую красоту свободы, однако сам он быть рабом не хочет; и подобно тому как нравственность возникла вместе с пороком, а теология — вместе с ересью, так и поли-

¹ La sûreté et la liberté personnelle sont les seules choses qu'un être isolé ne puisse s'assurer par lui-même. — M i r a b e a u. Sur l'éducation publique, p. 119 *.

² Reges (nam in terris nomen imperii id primum fuit) cet. — Sallustius in Catilina. c. 2. Κατ' αρχάς άπανα πολς 'Ελλάς εβασίλευετο. — Dion. Η α-licarη. Antiquitates, Rom. 1.5. ('Сначала всеми греческими городами правили цари' и т. д.)

тика возникла вместе с рабством. Правда, наши монархи не ведут уже таких медоточивых речей, как цари у Гомера и Гесиода ¹.

Глава V

Забота государства о безопасности в случае нападения внешних врагов

Говорить о безопасности и защите от внешних врагов — возвращаясь таким образом к моей задаче — вряд ли было бы необходимо, если бы применение главной идеи этой работы ко всем отдельным случаям не способствовало бы более полному ее уяснению. Однако это не будет здесь бесполезным, ибо я ограничусь только рассмотрением вопроса о влиянии войны на характер народа и тем самым той точкой зрения, которую я положил в основу своего исследования. Рассматривая предмет с этой точки зрения, я прихожу к выводу, что война является одним из тех явлений, которые способствуют развитию человеческого рода, и с сожалением замечаю, что она постепенно вытесняется с арены мировых событий. Война есть, конечно, та ужасающая крайность, в результате которой в борьбе с опасностью, трудами и бедствиями проверяется и крепнет деятельное мужество; впоследствии оно проявляется в разнообразных формах в жизни человека и придает всему его облику такую силу и разносторонность, без которых гибкость — не более чем слабость, а единство — пустота. Мне возразят, что наряду с войной есть и другие средства подобного рода, например физические испытания, связанные с некоторыми занятиями, и, если можно так выразиться, нравственные испытания различного рода, подстерегающие негибсаемого, непреклонного государственного деятеля в его кабинете и свободного от предвзятости мыслителя в его одинокой келье. Однако я не могу освободиться от представления, что и это, как все духовное, является лишь нежным цветком телесного. Прав-

¹ Ὅτινα τιμῶσαι Διὸς κοῦραι μέγαλον,
Γεινομένον τ' εἰδῶσι διότρεφον βασιλῶν,
τῷ μὲν ἐπὶ γλώσσῃ γλυκερὴν χεῖουσι ἐερσίην,
τοῦ δ' ἐλε' ἐκ στόματος ρεῖ μελίχρα.
'Зевса великого дщери кому из царей богородных
Дать отличие хотят на него взглянув при рожденьи,
Сладкой росы тому на язык свободный влагают,
Да истекают из уст словеса, подобные меду'.

и

Τὸννεκα γὰρ βασιλῆες ἐχεφρονες, οὐνεκα λαοὺς
Βλαπτομένοισι ἀγορῆφι μετατροπῆ ἐργᾶ τελευσι
Ρηΐδιως, μάλακοισι παραφάμενοι ἐλπεσίην.
'Ради того и живут цари многоумные, дабы
Людного веча раздор усмиряли они без насилья,
Мягкою силою слѳв склоняя всех к соглашенью'.
(Г е с и о д. Теогония)

да, ствол, на котором он может распусться, коренится в прошлом, а воспоминание о прошлом все более стирается, число тех, на кого оно воздействует, все уменьшается, и даже на них оно действует все слабее. Другим же, хотя и в равной мере опасным профессиям, таким, как мореплавание или горное дело и т. д., в большей или меньшей мере недостает идеи величия и славы, столь тесно связанной с войной. И идея эта — отнюдь не химера. Она основана на представлении о превосходящей силе. Стихийных бедствий человек старается избежать, переждать их буйство, а не вступать с ними в борьбу,

Ибо с богами
Мёриться смертный
Да не дерзнет.

Но спасение не есть победа; то, что судьба благосклонно дарит и чем мужество и изобретательность человека только пользуется, не есть результат или доказательство превосходящей силы. К тому же на войне каждый полагает, что право на его стороне, что он мстит за оскорбление. И обыкновенный человек считает более достойным — что не станет отрицать и человек самый культурный — защищать свою честь, нежели копить средства к существованию. Никто не заподозрит меня в том, что смерть воина, павшего на поле битвы, я считаю более прекрасной, чем смерть отважного Плиния или, — назову, быть может, недостаточно чтимых людей, смерть Робера и Пилятра де Розье. Однако подобные примеры редки, и кто знает, были бы они вообще известны при отсутствии воинской славы? Нельзя также сказать, что я рассматриваю войну в особо благоприятном свете. Вспомним, например, о спартацах при Фермопилах. Спросим любого человека, какое воздействие окажет подобный пример на народ? Конечно, мне хорошо известно, что подобное мужество, подобное самопожертвование может проявиться в любой жизненной ситуации и действительно проявляется в каждой. Но можно ли поставить в вину человеку, чувственно воспринимающему мир, если живое проявление мужества больше всего захватывает его, и можно ли отрицать, что такое проявление мужества действует на подавляющее большинство людей? И несмотря на все то, что я слышал о бедствиях, которые были страшнее смерти, я не видел еще человека, наслаждающегося жизнью, который, если только он не фанатик, презирал бы смерть. И уж меньше всего это было свойственно людям древности, когда предмет ценился больше, чем его название, а настоящее больше, чем будущее. Поэтому то, что я говорю здесь о воинах, относится только к тем, кто, не будучи столь образован, как воины в Республике Платона, воспринимает все вещи, жизнь и смерть в их истинном значении, — о воинах, которые, стремясь к наивысшему, рискуют наивысшим. Ситуации, в которых крайности как бы соприкасаются, представляют наибольший интерес и всегда поучительны. Но где же это встречается чаще, чем на войне, где наклонности и долг, долг человека и долг гражданина, находятся как бы в непре-

рвной борьбе и где все эти коллизии, если только оружие служит справедливой защите, получают полное разрешение?

Уже сама моя точка зрения по этому вопросу достаточно свидетельствует о том, как, по моему мнению, государство должно использовать войну. Духу, который она возбуждает, должна быть предоставлена полная свобода охватить весь народ. Уже это одно является аргументом против постоянных войск. К тому же они, как и вообще современное ведение войны, очень далеки от идеала, который был бы наиболее полезен для развития человека. Если воин вообще, жертвуя своей свободой, должен превратиться в некое подобие машины, то он становится ею в значительно большей степени при нашем способе ведения войны, когда гораздо меньшее значение, чем раньше, стали иметь сила, храбрость и умение отдельных людей. Как пагубно должно быть для нации, когда значительная ее часть проживает в мирное время не только годы, но, порой, и всю свою жизнь, в условиях этого механического существования, поскольку она содержится только на случай войны. Быть может, здесь более, чем где бы то ни было, подтверждается то, что с развитием теории в сфере человеческих предприятий уменьшается их полезность для тех, кто ими занимается. Нельзя отрицать, что в новое время военное дело достигло невероятных успехов, но столь же несомненно, что благородный характер воинов стал более редким явлением; в своем величии он встречается лишь в истории древнего мира, во всяком случае, — даже если считать это преувеличением — у нас дух воинственности часто оборачивался вредными последствиями для нации, тогда как в древности, наоборот, мы часто видим его благотворное действие. Наши постоянные армии переносят, если можно так выразиться, войну к мирному очагу. Храбрость воина вызывает уважение лишь в сочетании с самыми прекрасными добродетелями в мирной жизни, военная дисциплина, — лишь в сочетании с высшим чувством свободы. Их разъединение — а ведь в какой мере способствует такому разъединению присутствие в мирной жизни вооруженных воинов! — приводит к тому, что дисциплина легко вырождается в рабское подчинение, а храбрость — в дикую распушечность. Поричая постоянную армию, я считаю нужным напомнить, что касаясь этого вопроса только в той мере, в какой это необходимо для пояснения моей точки зрения в данном исследовании. Я далек от того, чтобы оспаривать приносимую ею пользу, уравнивающую те недостатки, которые в противном случае неудержимо привели бы ее, как и все земное, к гибели. Армии составляют часть целого, созданного не планами суетного человеческого разума, а твердой рукой судьбы. Как они вторгаются во все остальное, свойственное нашей эпохе, как они разделяют с ней вину и заслуги, добро и зло, характерные для нас, могла бы передать только картина, которая, запечатлев наш верный и полный образ, сопоставила бы его с изображением предшествующих эпох. Я счел бы изложение своих идей весьма неудачным, если бы меня поняли таким образом, будто я полагаю, что государство должно время от

времени намеренно вступать в войну. Пусть оно дает только свободу и пусть этой же свободой располагает соседнее государство. Во все времена люди остаются людьми и никогда не теряют своих исконных страстей. Война возникает сама собой, а если не возникнет, то можно будет, во всяком случае, считать несомненным, что мир достигнут не насилием и не искусственно созданным застоєм; тогда мир действительно будет для народов столь же более благодатным даром, сколь мирный земледелец являет собой более привлекательный образ, чем окровавленный воин. И если представить себе прогресс человечества в целом, от поколения к поколению, то каждый последующий век должен быть более мирным, чем предыдущий. Тогда мир будет создан внутренними силами человека, и тогда миролюбивыми станут люди, свободные люди. Теперь же — это доказывает один год в истории Европы — мы пользуемся плодами мира, но не миролюбия. Силы людей, встречаясь в своем беспрепятственном стремлении к бесконечной деятельности, объединяются или борются друг с другом. Какой характер примет эта борьба — войны, соперничества или какой-либо другой, — зависит преимущественно от характера этих сил. Конечный вывод из приведенных здесь соображений таков: *государство никоим образом не должно способствовать возникновению войны, но и не препятствовать ей насильственно, если война необходима; оно должно предоставить полную свободу ее влиянию на дух и характер нации в целом; и прежде всего отказаться от каких бы то ни было положительных установлений, направленных на подготовку нации к войне или, если уж тако- вые совершенно неизбежны, как, например, военная подготовка граждан, придать этим мерам такую направленность, которая развивала бы в солдатах не только храбрость, сноровку и умение подчиняться, но вдохнула бы в них дух истинных воинов или, вернее, благородных граждан, всегда готовых сражаться за свое отечество.*

Глава VI

Забота государства

о сохранении мира между гражданами.

Средства, позволяющие достичь этой цели.

Установления, направленные на преобразование духа и характера граждан.

Общественное воспитание

Более глубокого и подробного рассмотрения требует забота государства о внутренней безопасности, связанной с отношениями между гражданами. К этому я теперь и перехожу. Мне представляется недостаточным просто вменить это государству в обязанность; я считаю необходимым определить в данном случае должные границы этих обязанностей или, если это в общей форме невозможно, по

крайней мере привести причины того, почему это невозможно, и указать признаки, по которым эти причины в каждом данном случае могли бы быть осознаны. Даже самый незначительный опыт свидетельствует о том, что такая деятельность государства может для достижения своей конечной цели захватывать большую или меньшую сферу. Она может ограничиться восстановлением порядка и наказанием виновных, государство может пытаться вообще предотвратить беспорядки и, наконец, стремиться придать характеру и духу граждан такую направленность, которая будет способствовать осуществлению этой цели. Распространение этой деятельности также может быть различным. Подвергаться расследованию и наказанию могут только проступки, связанные с нарушением прав граждан и непосредственных прав государства; или же, если гражданин рассматривается как существо, обязанное применять свои силы на пользу государства, и, следовательно, разрушение или ослабление этих сил как бы лишает государство его собственности, тогда строгому надзору подвергаются и те действия, последствия которых распространяются только на совершающего их человека. Имея все это в виду, я буду говорить здесь в общей форме о мерах государства, предпринимаемых для сохранения общественной безопасности. Вместе с тем сами собой выявятся и все те меры, которые — пусть даже они не повсюду направлены на обеспечение безопасности или не только на это — касаются нравственного блага граждан, поскольку, как уже было отмечено выше, самый характер предмета не допускает полного разделения и эти меры обычно преимущественно направлены на то, чтобы обеспечить в государстве безопасность и покой. Я буду при этом следовать прежнему плану, а он был таков: допустив сначала, что деятельность государства протекает в самых широких ее масштабах, я затем постепенно пытался определить, что следует из нее изъять. Теперь нам осталось рассмотреть лишь деятельность государства по заботе о безопасности. И в данном случае я поступлю таким же образом, то есть исследую сначала предмет в его наибольшем объеме, чтобы затем посредством последовательных ограничений прийти к тем выводам, которые мне представляются правильными. Быть может, этот путь сочтут слишком медленным и сложным, и я вполне согласен с тем, что догматическое изложение потребовало бы противоположного метода, однако, применяя метод исследовательский, каким является настоящий, можно быть по крайней мере уверенным, что предмет охвачен во всем его объеме, что ничего не упущено и что наши основоположения следуют именно в том порядке, в каком действительно одно вытекает из другого.

В последнее время особенно настойчиво призывают к предотвращению противозаконных поступков и к применению государством нравственных средств воздействия. Должен признаться, что каждый раз, когда я слышу такие требования, я испытываю радость по поводу того, что меры, ограничивающие свободу, у нас применяются все реже и, принимая во внимание положение почти во

всех государствах, становятся все менее и менее возможными. Высказывая подобные соображения, обычно ссылаются на пример Греции и Рима, однако более основательное знание их государственного устройства сразу же показало бы, насколько эти сравнения несостоятельны. То были республиканские государства, учреждения такого рода были там опорой свободного государственного строя, вызывавшего у граждан энтузиазм, при котором меньше ощущалось вредное влияние, проистекающее из ограничения личной свободы, и наносился меньший ущерб энергии характера. К тому же они пользовались большей свободой, чем мы, а то, чем они жертвовали, они жертвовали ради другой своей деятельности — ради участия в управлении государством. В наших, в большинстве случаев монархических, государствах все обстоит совсем иначе. Все те средства морального воздействия, которые применялись в древности, — посредством воспитания, религии, законов в области нравственности — принесли бы нам меньшую пользу и больший вред. К тому же большая часть того, что теперь так часто считают проявлением мудрости законодателя, являла собой народный обычай, быть может лишь не вполне утвердившийся и поэтому нуждавшийся в санкции закона. Уже Фергюсон ¹ блестяще показал, что законы Ликурга находятся в полном соответствии с образом жизни большинства народов, находящихся на ранней стадии культурного развития, и, когда развитие культуры внесло в жизнь народа большую утонченность, от этих установлений действительно осталась лишь бледная тень. И наконец, человеческий род находится, как мне представляется, уже на той стадии культуры, когда подняться еще выше он может лишь посредством развития отдельных индивидов, поэтому все установления, препятствующие такому развитию и соединяющие людей в массы, теперь вреднее, чем когда-либо.

Уже из этих немногих замечаний явствует — обратимся сначала к тому нравственному воздействию, которое охватывает наибольшую сферу, — что общественное, то есть установленное или направляемое государством, воспитание во многих отношениях вызывает сомнения. Из всего предшествующего рассуждения видно, что в развитии человека все зависит от величайшего многообразия; общественное же воспитание, даже если те, кто им руководит, будут стараться избегать односторонности и ограничатся только назначением и оплатой содержания воспитателей, неизбежно окажется в сфере применения какой-либо определенной системы. Тем самым в общественном воспитании проявятся все те недостатки, на которые мы в достаточной мере указали в первой части нашего исследования, и мне остается лишь добавить, что любое ограничение оказывается наиболее вредным, когда оно направлено на нравственную природу человека, и если вообще что-либо требует индивидуального воздействия, то прежде всего воспитание, которое ставит своей целью фор-

¹ F e r g u s o n A. An essay on the history of civil society. Basel, 1789, p. 123—146.

мирование отдельного человека. Нет никакого сомнения в том, что самые благотворные следствия проистекают именно из того, что человек, в том его облике, какой дан ему его положением и обстоятельствами его жизни, принимает участие в государственной деятельности, в результате чего посредством столкновения — если можно так сказать — того положения, в которое поставило его государство, с тем, которое он избрал, отчасти видоизменяется он сам, отчасти же претерпевает изменения государственное устройство, — изменения на первый взгляд незаметные, но, несомненно, происходящие во всех государствах в соответствии с их национальным характером. Все это теряет свое значение в той мере, в какой гражданин уже с самого детства воспитывается только как гражданин. Конечно, хорошо, если условия жизни человека и гражданина, насколько это возможно, совпадают, но только если положение гражданина требует так мало своеобразных качеств человека, что его естественный образ может сохраниться, ничего не теряя, — а это и есть та цель, которую преследуют все высказанные в данном исследовании идеи. Но упомянутое совпадение полностью перестает быть благотворным, когда человек приносится в жертву гражданину. Ибо, если тем самым и отпадают вредные последствия несоответствия между условиями жизни человека и гражданина, то при этом человек теряет то, ради чего он вступил в государственный союз. Поэтому повсюду, как мне представляется, должно прежде всего приниматься во внимание именно свободное развитие человека, как можно меньше связанное гражданскими отношениями. Сформировавшийся таким образом человек должен был бы затем вступить в государственную сферу, а государственный строй — подвергнуться как бы проверке в сопоставлении с ним. Только при наличии такой коллизии я с уверенностью и надеждой ждал бы подлинного улучшения государственного управления силами нации и не опасался бы вредного влияния гражданских порядков. Ибо даже если бы они были весьма несовершенны, можно предположить, что именно их ограничивающие узы привели бы к росту энергии человека, сопротивляющейся им и сохраняющей, несмотря на их влияние, свою силу. Но возможно это только в том случае, если раньше энергия человека развивалась свободно. Ибо какая невероятная сила духа нужна человеку, чтобы подняться и устоять, если его с ранней молодости сжимают оковы? Общественное воспитание, поскольку в нем всегда господствует правительственный дух, прививает человеку известную гражданскую форму поведения. Там, где эта форма сама по себе определена и, даже будучи односторонней, все-таки прекрасна, — как, например, в государствах древности и, быть может, еще теперь в ряде республик — этот процесс проходит не только легче, но и последствия его менее вредны. Однако в наших монархических государствах — и, безусловно, на благо развития человека — подобная форма полностью отсутствует. К числу преимуществ монархии, хотя и сопряженных с некоторыми недостатками, относится то, что, поскольку государственный союз

всегда рассматривается здесь только как средство, на него затрачивается не столько индивидуальных сил, как в республиках. Пока подданный подчиняется законам и, доставляя себе и своей семье известное благосостояние, не занимается недозволенной деятельностью, государство не интересуется характером его существования. Поэтому в данном случае целью общественного воспитания (которое уже в качестве такового — пусть это даже заметно не проявляется — заинтересовано в гражданине или подданном, а не в человеке, как при частном воспитании) не является развитие какой-либо одной или нескольких определенных добродетели или определенного образа жизни; цель общественного воспитания состоит в том, чтобы достичь равновесия всех качеств, так как ничто иное не создает и не сохраняет в такой мере спокойствие, к которому эти государства больше всего стремятся. Однако подобное стремление, как я уже пытался показать в другом месте своей работы, либо не дает должного результата, либо завершается утратой энергии, тогда как развитие отдельных сторон, которое присуще частному воспитанию, подвергая человека влиянию различных жизненных условий и связей и не жертвуя энергией, приводит к требуемому равновесию.

Если же лишить общественное воспитание права положительным образом воздействовать на тот или иной характер образования или вменить ему в исключительную обязанность создание благоприятных условий для большего развития сил человека, то это, с одной стороны, окажется невыполнимым, поскольку там, где существует единство в предписаниях, всегда возникает известное однообразие действий, а с другой стороны, и при такой предпосылке польза общественного воспитания остается сомнительной. Ведь если речь идет только о том, чтобы предотвратить такое положение, когда часть детей не получает вообще никакого воспитания, то, конечно, гораздо легче и менее вредно пойти по пути назначения опеки над нерадивыми родителями или оказания поддержки нуждающимся. Кроме того, общественное воспитание не достигает цели, которую оно перед собой ставит, а именно преобразовать нравы в наиболее подходящем для государства направлении. Как ни важно воспитание, какое влияние оно ни оказывает на всю жизнь человека, но еще важнее обстоятельства, в которых протекает вся жизнь человека. Следовательно, там, где нет полной гармонии, одним воспитанием ничего достигнуть нельзя. И вообще, воспитание должно, не стремясь создать определенные гражданские формы, воспитывать людей; а для этого государство не нужно. Среди свободных людей все ремесла развиваются быстрее; искусства процветают; науки расширяют свою проблематику. В обществе свободных людей и семейные узы теснее; родители с большим рвением заботятся о детях и благодаря большему благосостоянию скорее могут осуществить свои желания. В среде свободных людей возникает соревнование, и лучшие воспитатели появляются там, где их судьба зависит от успеха их деятельности, а не от содействия государства. Поэтому не будет недостатка ни в тщательном воспитании в семье, ни в заведениях

для столь полезного и необходимого совместного воспитания¹. Но если общественное воспитание направлено на то, чтобы определенным образом формировать человека, то тем самым, что бы ни говорили, еще ничего не сделано для предотвращения нарушений законов, для упрочения безопасности. Ибо добродетель и порок зависят не от того или другого образа жизни человека и не являются необходимым следствием той или иной черты его индивидуальности; в гораздо большей степени они зависят от гармонии или дисгармонии различных свойств его характера, от отношения его силы к сумме склонностей и т. д. Поэтому при всяком формировании характера возможны свойственные ему отклонения, которые приводят к вырождению. И если в нации в целом возникнет только одно из таких отклонений, то она окажется лишенной всякой противодействующей силы, а тем самым и всякой устойчивости. Быть может, в этом и заключается причина частых преобразований строя древних государств. Каждый государственный строй сильно влиял на национальный характер, который, приняв определенную форму, затем вырождался и вызывал новый порядок. Наконец, даже если допустить, что общественное воспитание может достичь своей цели, то действие его слишком сильно. Для сохранения необходимой для государства безопасности нет необходимости в преобразовании нравов. Основания, с помощью которых я предполагаю аргументировать это утверждение, я приведу в дальнейшем, так как они относятся к стремлению государства воздействовать на нравы; здесь же мне остается упомянуть еще об отдельных, связанных с этим средствах. Итак, общественное воспитание, как мне представляется, находится полностью вне пределов, внутри которых государство должно осуществлять свою деятельность².

Глава VII

Религия

Помимо собственно воспитания юношества, существует еще одно средство воздействия на характер и нравы нации, посредством которого государство как бы воспитывает взрослых, зрелых людей, влияет на протяжении всей их жизни на их поступки и образ мыс-

¹ Dans une société bien ordonnée, au contraire, tout invite les hommes à cultiver leurs moyens naturels: sans qu'on s'en mêle, l'éducation sera bonne; elle sera même d'autant meilleure, qu'on aura plus laissé à faire à l'industrie des maîtres, et à l'émulation des élèves (M i r a b e a u. Sur l'éducation publique, p. 11) *.

² Ainsi c'est peut-être un problème de savoir, si les législateurs français doivent s'occuper de l'éducation publique autrement que pour en protéger les progrès, et si la constitution la plus favorable au développement du *moi humain* et les lois les plus propres à mettre chacun à sa place ne sont pas la seule éducation, que le peuple doit attendre d'eux (l. c. p. 11). D'après cela, les principes rigoureux sembleraient exiger que l'Assemblée Nationale ne s'occupât de l'éducation que pour l'enlever à des pouvoirs, ou à des corps qui peuvent en dépraver l'influence (l. c. p. 12) **.

лей и пытается придать им то или иное направление или по крайней мере предостеречь их от того или иного заблуждения. Это — религия. Все государства, известные нам из истории, пользовались этим средством, правда, с самыми различными намерениями и в различной мере. В древности религия была тесно связана с государственным устройством; она была, собственно говоря, его политической опорой или движущей силой, поэтому сюда относится все то, что выше было сказано о сходных институтах у древних народов. Когда христианская религия, отвергнув прежних частных богов различных народов, заменила их единым божеством для всех людей — разрушив таким образом одну из самых опасных преград, разъединявших различные части человеческого рода, и заложив тем самым основу истинной человеческой добродетели, подлинному развитию и объединению людей, без чего просвещение, знания и науки значительно дольше, если не навсегда, остались бы редким достоянием немногих, — связь между государством и религией ослабла. Однако позже, когда вторгшиеся варвары изгнали просвещение, непонимание сути именно этой религии привело к слепому и нетерпеливому прозелитизму; при этом политический характер государства настолько изменился, что прежние граждане превратились просто в подданных и даже не столько государства, сколько правителей, а забота об охране и распространении религии стала делом совести князей, которые считали, что это вверено им самим богом. В новое время этот предрассудок стал, правда, встречаться реже, однако необходимость внутренней безопасности и требования нравственности в качестве ее вернейшего оплота не менее настойчиво способствовали защите религии посредством законов и государственных постановлений. Таковы, как я полагаю, основные вехи в истории государственной религии; правда, нельзя отрицать, что каждое из приведенных здесь соображений, и прежде всего последнее, могло иметь место повсюду, но *одно* из них, без *сомнения*, должно было преобладать. Что касается стремления влиять на нравы посредством религиозных идей, то тут необходимо отличать поддержку одной определенной религии от поощрения религиозности как таковой. В первом случае, несомненно, гнет сильнее и приносит больше вреда, чем во втором. Однако поощрение религиозности вообще, не поддерживая при этом одну определенную религию, осуществить нелегко. Ибо если с точки зрения государства нравственность и религия неразрывно связаны, если государство считает возможным и дозволенным применять в своей деятельности это средство, то маловероятно, чтобы при существующей разнице между религиозными убеждениями и основанной на истинных или предвзятых идеях морали государство не поддержало бы какое-либо из них. Даже если оно сумеет полностью этого избежать и выступит как заступник и защитник всех религиозных партий, ему все-таки придется, поскольку судить оно может только на основании внешних действий, поддерживать эти партии, подавляя все возможные отклонения в мнениях отдельных лиц. И государство, поскольку оно заинтересовано

В том, чтобы господствовало одно мнение, будет стремиться к тому, чтобы господствовала одна воздействующая на жизнь людей вера в божество. К этому присоединяется еще и то, что при двусмысленности всех выражений, при множестве идей, которые, к сожалению, слишком часто выражаются одним и тем же словом, государство вынуждено самому слову «религиозность» придавать определенный смысл, если оно вообще хочет пользоваться им как руководящим началом. Поэтому вмешательство государства в дела религии представляется мне совершенно невозможным без того, чтобы оно в большей или меньшей степени не оказалось бы виновным в поддержке тех или иных мнений и, следовательно, тем самым не были бы оправданы те упреки, которые направлены против этого вмешательства и исходят именно из этой поддержки отдельных мнений. В такой же степени представляется мне невероятным, чтобы подобное вмешательство не повлекло за собой — по крайней мере в известной степени — своего рода руководства жизнью людей и ограничения индивидуальной свободы. Ведь как бы ни отличалось подлинное принуждение от простого побуждения или даже от стремления создать более удобные условия для религиозных занятий, все равно даже в последнем случае (как мы на примере ряда сходных явлений пытались более подробно показать это в предшествующем изложении) некоторое ограничивающее свободу превосходство всегда оказывается на стороне религиозных представлений государства. Я счел нужным предпослать эти замечания моему дальнейшему изложению, дабы заранее предотвратить упрек в том, что речь здесь идет не о заботе государства о религии вообще, а только об отношении государства к отдельным ее видам, а также для того, чтобы не слишком дробить свое изложение педантичным рассмотрением отдельных возможных случаев.

Всякая религия (я говорю здесь о религии в той мере, в какой она связана с нравственностью и счастьем людей и, следовательно, перешла в чувство, а не о действительном или мнимом познании разумом какой-либо религиозной истины — ведь проникновение в истину не зависит от какого бы то ни было желанья или страстного стремления, — и не о религии, которой придает незыблемость откровение, так как и исторически сложившаяся вера не должна быть подчинена такого рода влиянию), всякая религия, повторяю, основана на душевной потребности. Мы надеемся, мы предчувствуем, потому что желаем. Там, где нет еще и следа духовной культуры, потребность в религии носит чувственный характер. Страх и надежда, возбуждаемые явлениями природы, которые воображение превращает в действия неких живых могущественных существ, составляют все содержание религии. Там, где возникает духовная культура, такое восприятие перестает удовлетворять. Душа стремится к созерцанию совершенства, искра которого мерцает в ней самой и высшее проявление которого она предчувствует вне себя. Такое созерцание переходит в поклонение, а если человек примысливает некую духовную связь с этим высшим существом, — в любовь, из

которой возникает стремление уподобиться ему, соединиться с ним. Это мы наблюдаем и у тех народов, которые стоят еще на самой низкой ступени развития. Именно с этим связано, что даже у наиболее примитивных народов вожди племен полагают, что происходят от богов и вернутся к ним. Различно только представление о божестве, что зависит от различного представления о совершенстве в разные эпохи и у разных народов. Боги древних греков и римлян, а также боги наших далеких предков воплощали в себе идеал физической силы и мощи. Когда появилась, а затем стала более утонченной идея прекрасного, на трон божества было вознесено воплощение чувственной красоты, и так возникла та религия, которую можно было бы назвать религией искусства. Когда же от чувственного люди возвысились до чисто духовного, от красоты — до добра и истины, предметом поклонения стало воплощение всего интеллектуального и нравственного совершенства и религия стала достоянием философии. Наверное, можно было бы, исходя из этого критерия, определить относительную ценность различных религий, если бы религиозные различия существовали между нациями или партиями, а не между отдельными индивидами. Однако религия чисто субъективна, и основана она только на характере представлений каждого отдельного человека.

В тех случаях, когда идея божества является плодом подлинной духовной культуры, влияние ее на внутреннее совершенство человека прекрасно и благотворно. Все, что нас окружает, представляется нам преображенным, когда мы видим в этом творения планомерной деятельности, а не результат безрассудной случайности. Идеи мудрости, порядка, намерения, столь необходимые для нашей деятельности и даже для роста наших интеллектуальных сил, укореняются в нашей душе по мере того, как мы их обнаруживаем повсюду. Конечное как бы становится бесконечным, преходящее — прочным, изменчивое — постоянным, сложное — простым, когда мы объясняем все одной упорядочивающей причиной и мыслим бесконечное существование духовных субстанций. Наши попытки найти правду, наше стремление к совершенству обретают большую твердость и уверенность, если есть существо, являющееся для нас источником истины, воплощением совершенства. Злой рок становится менее тягостным, когда ему противопоставлены доверие и надежда. А уверенность в том, что все, принадлежащее нам, дано нам любовью, одновременно увеличивает наше счастье и возвышает наши нравственные качества. Чувство благодарности за испытанную радость, доверчивое ожидание радости желаемой позволяет душе выйти за свои пределы, не замыкаться в своих ощущениях, планах, заботах и надеждах. Если душа при этом теряет возвышающее чувство быть обязанной всем только самой себе, то она обретает другое, не менее восхитительное чувство — наслаждение жизнью в атмосфере любви другого существа, — чувство, в котором собственное совершенство сливается с совершенством этого другого существа. Она стремится быть для других тем, чем другие являются для

нее; она не хочет, чтобы другие черпали все только в самих себе, подобно тому как она сама ничего от других не получает. Я наметил здесь лишь основные моменты исследования. Глубже проникать в этот предмет после мастерского изучения этой темы Гарве было бы бесполезно и самонадеянно.

Однако как ни значительно, с одной стороны, воздействие религиозных идей на моральное совершенствование, они отнюдь не связаны с ним неразрывно. Идея духовного совершенствования сама по себе столь объемна, содержательна и возвышенна, что не нуждается в ином выражении или в ином облике. И все-таки в основе каждой религии лежит некая персонификация, своего рода воплощение в чувственном восприятии, антропоморфизм большей или меньшей степени. Эта идея совершенства будет постоянно сопровождать и того, кто не привык объединять всю сумму нравственно доброго в одном идеальном существе и мыслить себя в связи с ним; она будет служить ему импульсом, побуждающим к деятельности, источником всякого счастья. Твердо убежденный на основании опыта, что его дух может продвигаться к высшему нравственному совершенству, он с мужественным рвением будет стремиться к поставленной им цели. Мысль, что его существованию придет конец, перестанет пугать его, как только его обманчивое воображение перестанет ощущать в небытии небытие. Незыблывная зависимость от внешних судеб не будет больше тяготить его; равнодушный к мирским наслаждениям и лишениям, он занят теперь созерцанием только чисто интеллектуального и нравственного, и никакая судьба не властна больше над его внутренним миром. Его дух чувствует себя независимым, ибо он удовлетворен самим собою и парит над изменчивостью вещей благодаря полноте своих идей и сознанию своей внутренней силы. Когда он, оглядываясь на свое прошлое, следит шаг за шагом, как он тем или иным способом использовал каждое событие и постепенно стал тем, что он есть теперь, когда он таким образом видит соединенным в себе причину и действие, цель и средство и, преисполненный благороднейшей гордости, на какую способны конечные существа, восклицает:

Не все ль само ты совершило,
Святое пламенное сердце?

— не исчезнут ли тогда все его мысли об одиночестве, беспомощности, отсутствии опоры, утешения и защиты, которые, как полагают, неизбежны там, где нет веры в личную, упорядочивающую, разумную причину в цепи конечных явлений? Это чувство своего „я“, это бытие в себе и благодаря себе не сделает его жестоким и бесчувственным по отношению к другим, не лишит его способности к сочувствию, любви и благожелательности. Именно эта идея совершенства — поистине не только холодная рассудочная идея, а идея, способная привести в движение и теплые, сердечные чувства, — идея, которой проникнута вся его деятельность, переносит его существование в существование других. Ведь и в других также заклю-

чена способность к большему совершенствованию, и эту их способность он может пробудить или усилить. До тех пор, пока он еще способен рассматривать в отдельности как себя, так и других, пока все духовные существа с рассеянными в них крупинками совершенства не сольются в его представлении в одно целое, он еще не полностью воспринял высочайший идеал нравственности. Его объединение с другими подобными ему существами окажется тем теснее, а его участие к их судьбам — тем теплее, чем в большей степени он уверится в том, что как его, так и их судьба зависит только от него и от них.

Если мне, пожалуй, не без основания, возразят, что для претворения в жизнь моих мыслей необходима исключительная, а не обычная сила духа и характера, то ведь не следует забывать, что это в такой же степени необходимо и для того, чтобы религиозное чувство создало истинно прекрасную жизнь, в равной мере далекую от холодного равнодушия и фанатизма. И вообще этот упрек был бы правомерен, если бы я в первую очередь рекомендовал описанное здесь состояние духа. Между тем мое намерение состоит только в том, чтобы показать, что мораль даже при величайшей последовательности человека вообще от религии не зависит, и не обязательно должна быть с ней связана. Моя задача — внести свой вклад в устранение всякого следа нетерпимости и способствовать тому уважению, которое человек должен всегда ощущать по отношению к образу мыслей и чувствам другого человека. Для подтверждения моей точки зрения я мог бы показать, какой вред способна принести как наивысшая религиозная настроенность, так и нечто ей противоположное. Однако не хочется останавливаться на столь малопривлекательных картинах; к тому же история человечества дает нам немало подобных примеров. Быть может, большую очевидность повлечет за собой попытка бросить беглый взгляд на самую природу морали и рассмотреть, насколько тесной является связь чувствований не только с религиозностью, но и с характером разных религиозных систем.

Все то, что мораль предписывает нам в качестве долга, и то, что как бы санкционирует ее законы и делает их интересным объектом для нашей воли, — все это не зависит от религиозных идей. Я не говорю уже о том, что подобная зависимость, несомненно, нарушила бы чистоту даже моральной воли. В рассуждении, подобном данному, почерпнутом из опыта и применяемом к опыту, такой принцип мог бы быть признан несостоятельным. Однако характер действия, который превращает это действие в долг, происходит отчасти из природы человеческой души, отчасти из того конкретного значения, которое такого рода действие обретает в отношениях людей друг с другом, и если оно, бесспорно, в значительной степени основано на религиозном чувстве, то это не единственное и отнюдь не ко всем характерам применимое средство. Воздействие религии зиждется прежде всего на индивидуальных свойствах человека и в самом тесном смысле слова субъективно. Холодному, рациональ-

ному человеку, у которого познание никогда не переходит в чувство, которому достаточно понимать соотношение вещей и деяний, чтобы в соответствии с этим определить свою волю, не нужно религиозное обоснование для того, чтобы его деятельность была добродетельной и чтобы быть, насколько это допускает его характер, добродетельным самому. Совсем по-иному обстоит дело там, где способность чувствовать очень сильна, где каждая мысль легко переходит в чувство. Однако и в этом случае существует множество различных нюансов. Там, где душа ощущает сильное влечение выйти из своих пределов, перейти в других, соединиться с другими, там религиозные идеи оказываются действительными движущими силами. Но бывают натуры, которым присуща такая внутренняя последовательность в идеях и ощущениях, которые обладают такой глубиной познания и чувства, что эти свойства их характера формируют силу и самостоятельность, не требующие и не допускающие возможности полностью отдаться другому, чуждому существу или уповать на чужую силу — в чем преимущественно и состоит влияние религии. Даже те ситуации, которые как будто предназначены для того, чтобы обратиться к религиозным идеям, для различных характеров различны. Одному, чтобы обратиться к религии, достаточно любого сильного чувства — будь то радость или горе, другому — одного радостного чувства благодарности, вызванного наслаждением. Характеры второго рода достойны, быть может, не меньшего уважения. С одной стороны, они достаточно сильны, чтобы не искать в несчастье чужой поддержки, с другой — для них так важно быть любимыми, что с идеей наслаждения они охотно связывают идею любящего дарителя благ. Жажда религиозных идей часто имеет еще более благородный, чистый, и, если можно так сказать, более интеллектуальный источник. Все, что человек видит вокруг себя, он способен воспринимать только посредством своих органов чувств, чистая сущность вещей нигде не открывается ему непосредственно; именно то, что сильнее всего возбуждает его любовь, что неодолимо захватывает все его существо, окутано непроницаемым покровом; на протяжении всей его жизни его деятельность сводится к стремлению проникнуть сквозь этот покров, его наслаждение — к предчувствию истины в загадочном символе, к надежде на возможность непосредственного созерцания в других стадиях своего существования. И там, где в дивной и прекрасной гармонии дух без усталости ищет, а сердце страстно жаждет непосредственного созерцания, где глубина мысли не удовлетворяется скудостью понятия, а горячее чувство — призраком чувств и воображения, там вера безудержно следует свойственному разуму влечению расширять каждое понятие вплоть до устранения всех барьеров, до идеала, там она устремляется к существу, которое заключает в себе все другие существа, которое существует, созерцает и творит само по себе, без всякого посредства. Однако часто легко удовлетворяющееся смирение ограничивает веру областью опыта; правда, чувство подчас наслаждается столь свойственным разуму идеалом, но большее очарование оно

все же находит в стремлении, ограничиваясь миром, восприятие которого ему дано, геснее сплестать чувственную и лишенную чувств природу, придавать символу более полный смысл, а истине — более понятный и плодотворный по своим идеям символ; и таким образом человек, не позволяя своему взору устремляться в бесконечные дали, часто возмещает отсутствие опьяняющего вдохновения и преисполненного надежды ожидания не покидающим его сознанием осуществления своих стремлений: его менее смелое продвижение, несомненно, более уверенно; рассудочные понятия, на которые он опирается, менее богаты, но более ясны; чувственное созерцание, пусть более далекое от истины, представляется ему более пригодным в качестве основы опыта. Ничто вообще не внушает человеческому духу так легко удивления и не находится в таком полном согласии с его чувствами, как мудрый порядок в бесконечном множестве разнообразных, иногда даже враждующих между собой индивидов. Некоторым это удивление и восхищение свойственно в значительно большей степени, и они более других склонны следовать представлению, согласно которому мир сотворило одно существо, оно же упорядочило его и продолжает управлять им с заботливой мудростью. Для других, наоборот, более священной является сила индивида, она больше привлекает их, чем представление о всеобщем порядке, поэтому таким людям чаще и естественнее открывается, если можно так сказать, противоположный путь, а именно тот, на котором индивиды, внутренне развивая и преобразуя посредством взаимного воздействия свою сущность, сами достигают той гармонии, в которой только и могут обрести покой дух и сердце человека. Я далек от той мысли, что этими немногочисленными описаниями различных состояний я исчерпал все многообразие материала, богатство которого вообще не поддается классификации. В мое намерение входило только показать на нескольких примерах, что в основе подлинной религиозности, как и каждой подлинной религиозной системы, лежит глубочайшая взаимосвязь ощущений человека. Независимым от типа ощущений и различия характеров остается, конечно, то, что в религиозных идеях чисто интеллектуально, — понятия о цели, порядке, целесообразности и совершенстве. Однако, во-первых, здесь речь идет не столько об этих понятиях как таковых, сколько об их влиянии на человека, которое само по себе, бесспорно, такой независимостью не обладает, а во-вторых, и эти понятия отнюдь не являются достоянием одной только религии. Идея совершенства черпается первоначально из органической природы, затем переносится на неорганическую и, наконец, постепенно возвышаясь до Всесовершенного, освобождается от всех ограничений. Но ведь органическая и неорганическая природа остаются неизменными, и разве нельзя, проделав первые шаги, остановиться перед последним? Поскольку всякая религиозность полностью покоится на многообразных модификациях характера и главным образом чувства, то и ее влияние на нравственность должно полностью зависеть не от материи, составляющей как бы содержание принятых

положений, а от формы этого восприятия, убеждения, веры. Я полагаю, что это замечание, которое будет мне очень нужно в дальнейшем, достаточно обосновано предыдущим изложением. Пожалуй, мне следует опасаться только упрека в том, что при своем изложении я исхожу из возможностей такого человека, к которому природа и обстоятельства были особенно благосклонны, человека значительного и именно поэтому редко встречающегося. Однако в дальнейшем станет, как я надеюсь, очевидным, что я отнюдь не упускаю из виду и тех, кто в самом деле составляет большинство: все дело в том, что мне представляется недостойным в исследовании, посвященном человеку, не исходить из его высших качеств.

Если теперь — после того как в общей форме было рассмотрено значение религии и ее влияние на жизнь людей — вернуться к вопросу, следует ли государству с помощью религии воздействовать на нравы граждан, то несомненно, что средства, которые законодатель применяет для морального совершенствования граждан, всегда полезны и целесообразны в зависимости от того, насколько они содействуют внутреннему развитию способностей и склонностей человека. Ведь истоки всякого совершенствования всегда скрываются в глубинах души, и внешние меры могут лишь пробудить, но не породить его. Не вызывает сомнения, что религия, полностью основанная на идеях, чувствах и внутреннем убеждении, является именно таким средством. Художник формируется, изучая высокие произведения искусства, питая свое воображение прекрасными образами, созданными древними; нравственный человек также должен воспитываться, созерцая примеры высокого нравственного совершенства, посредством общения с людьми, путем целенаправленного изучения истории, и наконец, созерцая высочайшее идеальное совершенство в образе божества. Но последнее, как я, мне кажется, уже показал выше, не является уделом каждого, или, определяя это более конкретно, такого рода представление соответствует не каждому характеру. Но даже если бы оно было присуще всем, то свое воздействие оно оказывало бы только там, где оно возникало бы из совокупности всех идей и чувств и где оно в большей степени само собой пристоикало бы из глубин души, нежели привносилось в нее извне. Следовательно, единственные средства, которыми может воспользоваться законодатель, заключаются в устранении препятствий к постижению религиозных идей и в содействии установлению духа свободного исследования. Если же он предпринимает другие меры — пытается оказать прямое содействие набожности или внедрить ее, защищает какие-либо определенные религиозные идеи, требует, вместо истинного убеждения, беспрекословной веры в авторитеты, — то таким путем он препятствует устремлениям духа, развитию душевных сил. Воздействуя на воображение граждан, он, быть может, и вызовет, с помощью мимолетного умиления, какие-то закономерности в их поступках, но никогда таким путем ему не удастся создать истинную добродетель. Ибо истинная добродетель вообще независима от религии и уж тем более несовмести-

ма с религией, созданной по приказу или основанной на вере в авторитеты.

Однако если известные религиозные принципы вызывают закономерные действия, то разве этого одного недостаточно, чтобы государство было вправе распространять их за счет всеобщей свободы мысли? Ведь можно считать, что государство достигло своей цели, если законы его строго соблюдаются, и что законодатель выполнил свой долг, если он издает мудрые законы и способен внушить своим гражданам убеждение в том, что необходимо следовать им. К тому же предложенное здесь понятие добродетели применимо лишь к немногим классам населения, лишь к тем, чье положение в обществе позволяет им посвятить значительную часть своего времени и своих сил внутреннему развитию. Государство же должно заботиться о большем числе людей, но большинство людей неспособно достигнуть такой высокой степени нравственного совершенства.

Я не стану возвращаться здесь к тем положениям, которые пытался развить в начале моей работы и которые полностью опровергают даже самое основание этих возражений; их смысл сводится к тому, что государственный порядок сам по себе является не целью, а только средством воспитания человека и что поэтому законодатель не может удовлетвориться неизблемостью своего авторитета, если средства, применяемые для этого, сами по себе не хороши или, во всяком случае, не безвредны. Но неверно и то, что для государства важны только действия граждан и их закономерность. Государство — настолько сложная и многогранная машина, что законы, которые всегда должны быть просты, всеобщи и немногочисленны, не могут исчерпать все стороны его деятельности. Главное всегда совершается посредством добровольных, единомышленных усилий граждан. Достаточно сравнить благосостояние культурных, просвещенных наций со скудной жизнью примитивных, необразованных народов, чтобы удостовериться в справедливости этого положения. Поэтому и усилия всех тех, кто когда-либо занимался государственным устройством, всегда были направлены на то, чтобы связать благо государства с интересами граждан и превратить государство в такую машину, которая приводилась бы в действие внутренними движущими силами и не нуждалась бы в непрерывном воздействии извне. Если государства нового времени могут гордиться каким-либо преимуществом по сравнению с древними, то в первую очередь тем, что они сумели в большей степени реализовать это положение. Даже то, что они пользуются религией в качестве средства воспитания, служит тому доказательством. Но и религия, поскольку определенные ее положения должны способствовать совершению добрых поступков или поскольку вообще она, как в данном случае, должна служить орудием положительного воздействия на нравы, также является чуждым, привнесенным извне средством. Поэтому конечной целью законодателя, достижимой только — чему его скоро научит действительное знание людей — путем предоставления гражданам полнейшей свободы, является такое раз-

вите граждан, при котором они будут рассматривать все движущие силы, необходимые для достижения государственных целей, с точки зрения той выгоды, какую государственный порядок предоставляет им для достижения их индивидуальных намерений. Но чтобы добиться такого положения вещей, необходимо просвещение и высокий уровень духовного развития, немыслимые там, где дух свободного исследования стеснен законами.

Этим соображениям не уделяется должного внимания только потому, что сложилось убеждение, будто внешнее спокойствие и нравственность невозможны без определенных религиозных догматов или, во всяком случае, без надзора государства за религиозной жизнью граждан и будто без них гражданская власть не может гарантировать уважение к законам. Между тем влияние религиозных догматов, которым следуют таким образом, как и вообще всякая религия, находящаяся под покровительством государства, требуют строгой и точной проверки. В менее образованных слоях народа веруют прежде всего в идеи воздаяния и наказания в будущей жизни. Такие идеи не уменьшают склонности к безнравственным поступкам, не усиливают стремления к добру, следовательно, не улучшают характер; они действуют только на воображение, тем самым, правда, как все образы фантазии вообще, влияют на характер деятельности; но их влияние ослабевает и устраняется посредством всего того, что ослабляет живость воображения. Если принять во внимание еще и то, что осуществление этих надежд столь отдаленно и поэтому, даже в соответствии с представлениями наиболее верующих людей, столь неопределенно, что идеи раскаяния, исправления в будущем, надежды на прощение, так сильно поддерживаемые определенными религиозными понятиями, в значительной степени постепенно ослабевают и уже не оказывают должного воздействия, и непонятно, каким образом эти идеи могут оказывать более сильное влияние, чем представление о гражданских наказаниях, весьма близких, а при хороших полицейских учреждениях несомненных, которых нельзя избежать ни раскаянием, ни последующим исправлением, — конечно, все это при условии, что граждан с детских лет будут знакомить со всеми последствиями нравственных и безнравственных поступков. Нельзя, конечно, отрицать, что и недостаточно ясные религиозные понятия оказывают на большую часть людей облагораживающее влияние. Сознание, что они являются предметом заботы мудрого и совершенного существа, придает людям больше достоинства; вера в вечное существование поднимает их в собственных глазах, вносит больше обдуманности и планомерности в их действия; ощущение любви и благодности божества создает в их душе подобную же настроенность; короче говоря, религия внушает им понимание того, что добродетель прекрасна. Однако для того, чтобы оказывать подобное воздействие, религия должна быть полностью претворена в совокупность идей и чувств, что нелегко может быть осуществлено там, где дух свободного исследования стеснен и все сводится к вере; должно уже существовать представление о

лучших чувствах; тогда религия возникает как бы из еще не развитого стремления к нравственности, на которое она затем в свою очередь влияет. Никто ведь не станет вообще отрицать влияние религии на нравственность; весь вопрос лишь в том, зависит ли это влияние от нескольких определенных религиозных догматов или нет. И далее, действительно ли так несомненно, что нравственность и религия в силу этого находятся в неразрывной связи друг с другом? На оба вопроса следует, как я полагаю, дать отрицательный ответ. Добродетель настолько соответствует природным наклонностям человека — чувство любви, миролюбия, справедливости столь приятны, бескорыстная деятельность, самопожертвование в пользу других так возвышают душу, а отношения, которые возникают на этой основе в семейной и общественной жизни, дают такое счастье, что нет никакой необходимости выискивать новые побуждения для добродетельных поступков, — достаточно создать возможность свободного и беспрепятственного действия для тех, которые уже заключены в душе человека.

Если же государство пожелает идти дальше и добавить к своему попечению о религии новые средства, то никогда не следует забывать о необходимости соотнести их пользу с их возможным вредом. Насколько многообразен вред, возникающий из ограничения свободы мысли, не нуждается, вероятно, после всего сказанного, в дальнейших пояснениях; в начале данного раздела также содержится все, что я считаю нужным сказать о вреде любого положительного содействия распространению религии со стороны государства. Если бы этот вред распространялся только на результаты научного исследования, если бы он вносил только неполноту и ошибочность в наше научное познание, то попытка сопоставить пользу, которую ждут от подобных действий — если ее действительно можно ждать, — с вредом могла бы, пожалуй, иметь некоторый смысл. Но поскольку дело обстоит не так, вред оказывается намного значительней. Польза, связанная со свободным исследованием, распространяется на весь характер нашего мышления, и не только мышления, но и на характер нашей деятельности. Человек, который привык наедине с собою и в беседах с другими судить об истине и заблуждениях и выслушивать суждения других, безотносительно к внешним условиям, способен более глубоко продумать, последовательнее провести и рассмотреть на более серьезном уровне принципы своей деятельности, чем тот, кто в своей работе беспрестанно руководствуется обстоятельствами, не связанными с самим исследованием. Исследование и основанное на нем убеждение есть самостоятельность; вера — надежда на чужую силу, чужое интеллектуальное или моральное совершенство. Поэтому у мыслителя-исследователя больше самостоятельности, больше уверенности; в неисполненном же надежд верующем больше слабости, инертности. Правда, там, где вера полностью господствует и подавляет всякое сомнение, она создает еще более непоколебимое мужество, еще более неодолимую силу — в этом убеждает нас жизнь всех фанатиков. Однако желательна эта

сила только там, где речь идет об определенном внешнем результате (для достижения которого требуется только такая деятельность, которая по своему типу напоминает деятельность машины), но не там, где ждут самостоятельных решений, обдуманых, основанных на разумных основаниях действий, или даже внутреннего совершенства, так как сила верующего — следствие подавления всякой самостоятельной деятельности разума. Сомнения мучительны только для того, кто верует, но не для того, кто проверяет их, основываясь на собственном исследовании, ибо для него результаты вообще не имеют такого определенного значения, как для верующего. В процессе своего исследования, своей деятельности он осознает свою душевную силу, чувствует, что его истинное совершенство, его счастье зависит, собственно говоря, от этой силы; сомнения в положениях, которые он до сих пор считал правильными, не угнетают его; напротив, его радует, что возросшая сила мышления позволяет ему обнаружить ошибки, которых он раньше не замечал. Верующий, наоборот, интересуется только результатом, потому что за пределом раскрытой истины он не видит более ничего. Сомнения, возбуждаемые его разумом, терзают его, ибо они не являются для него тем, чем являются для самостоятельно мыслящего человека, — новым средством постижения истины; они только лишают его уверенности, не оставляя ему никакого иного средства добиться истины другим путем. Продолжая эту мысль, можно заметить, что частичным результатам вообще не следует придавать слишком большого значения, полагая, что от них зависит столь много других истин или внешних и внутренних последствий. Это ведет к застою в исследованиях, именно поэтому иногда самые свободные и просвещенные мысли бывают направлены против той самой основы, без которой они никогда не могли бы возникнуть. Сколь важна духовная свобода, столь же вредно ее любое ограничение. Государство располагает вполне достаточными средствами для поддержания действия законов и предотвращения преступлений. Надо только закрыть, насколько это возможно, источники безнравственных поступков, которые обнаруживаются в самой государственной системе, усилить надзор полиции за совершаемыми преступлениями, установить систему целесообразных наказаний, и цель будет достигнута. Разве можно забыть, что сама духовная свобода и просвещение, процветающие только под ее покровительством, служат самым действенным средством для сохранения безопасности? Если все остальное только предотвращает нарушение порядка, то это средство влияет на склонности и общую настроенность; если все остальное лишь приводит в соответствие друг другу внешние действия, то духовная свобода вызывает внутреннюю гармонию воли и устремлений. Когда же, наконец, перестанут придавать большее значение внешним следствиям поступков, чем внутренней духовной настроенности, из которой они истекают? Когда же появится человек, который будет для законодательства тем, чем Руссо был для воспитания, тот, кто переключит

внимание с внешних материальных успехов на внутреннее развитие человека?

Не надо думать, что духовная свобода и просвещение нужны лишь немногим избранным, что для большинства людей, которые поглощены заботой об удовлетворении физических потребностей жизни, духовная свобода и просвещение принесут не пользу, а только вред, что воздействовать на них можно лишь распространением определенных законоположений, ограничением свободы мысли. В самой мысли — отказать какому бы то ни было человеку в праве быть человеком — заключено нечто унижительное для человеческого достоинства в целом. Нет человека, который стоял бы на такой низкой ступени культурного развития, чтобы не быть способным подняться на более высокую; и даже если высшие религиозные и философские идеи большинством граждан непосредственно восприняты быть не могут, даже если этому классу людей, применяясь к бытующим в их среде идеям, надо предлагать истину в другом виде, чем мы хотели бы, если окажется необходимым обращаться больше к их воображению и их сердцу, чем к холодному разуму, то распространение, которое получит научное познание благодаря свободе и просвещению, достигнет и их, и благодетельные следствия свободного, ничем не ограничиваемого исследования охватят дух и характер всего народа вплоть до самых ничтожных его представителей.

Для того чтобы придать этим соображениям (которые преимущественно относятся только к стремлению государства распространить определенные религиозные догматы) большую всеобщность, мне придется еще раз напомнить о выдвинутом выше положении, согласно которому влияние религии на нравственность зависит в гораздо большей степени, если не исключительно, от той формы, в какой религия как бы существует в человеке, чем от содержания священных догматов, которые она ему предлагает. Между тем все распоряжения государства имеют в виду, как я пытался выше обосновать, в большей или меньшей степени только это содержание, тогда как доступ к форме — если мне и дальше будет дозволено пользоваться этим выражением — для них полностью закрыт. Как религия сама собой в человеке возникает, как он ее воспринимает — все это полностью зависит от характера его бытия, мышления и чувств. Если допустить, что государство могло бы преобразовать все это в соответствии со своими намерениями — хотя невозможность этого очевидна, — тогда следовало бы признать, что я потерпел полную неудачу в разработке всех предшествующих положений, поскольку мне здесь вновь пришлось бы повторить все те основания, которые запрещают государству когда бы то ни было самовластно пользоваться человеком для осуществления своих намерений, игнорируя его индивидуальные цели. О том, что для этого нет абсолютной необходимости, которая только и могла бы оправдать исключение из этого правила, свидетельствует независимость морали от религии, что я и пытался доказать. Еще более существенными окажутся те

доводы, с помощью которых я предполагаю доказать, что сохранение внутренней безопасности государства ни в коей мере не требует, чтобы развитию нравов было дано какое-то определенное направление. Если вообще что-либо способно подготовить в душах граждан плодотворную почву для религии, если что-либо может способствовать тому, чтобы глубоко воспринятая и проникшая в систему мыслей и чувств религия оказала благотворное влияние на нравственность, то это — свобода, которая всегда страдает от положительного попечения государства, как бы слабо оно ни проявлялось. Ибо чем многостороннее и своеобразнее развивается человек, чем выше полет его чувств, тем с большей легкостью его взгляд направляется от окружающего его узкого, изменчивого круга на того, чья бесконечность и чье единство заключает в себе основание этих преград и этой изменчивости — независимо от того, надеется ли он обнаружить это существо или нет. Чем свободнее человек, тем он самостоятельнее в своих проявлениях и благожелательнее по отношению к другим. К божеству же ничто не приближает его так, как благожелательная любовь, и ничто не делает утраты божества столь безвредной для нравственности, как самостоятельность и сила, которая сама собой удовлетворяется и сама собой ограничивается. И наконец, чем сильнее чувство этой силы в человеке, чем беспрепятственнее возможность ее выражения, тем охотнее он ищет внутреннего подчинения тому, что руководило бы им и вело бы его; он остается верен нравственности независимо от того, будут ли эти узы любовью и поклонением богу или удовлетворением самосознания. Разница здесь, как мне кажется, в следующем: полностью предоставленный самому себе в вопросах религии гражданин, в зависимости от индивидуального характера, привнесет или не привнесет в свою духовную жизнь религиозные чувства; но в том и другом случае система его идей станет последовательнее, его чувства глубже, в его сущности будет больше цельности, и тем самым он будет отличаться высокой нравственностью и следовать законам. Тот же, кого ограничивает ряд предписаний, как и первый, воспримет или не воспримет, несмотря на них, различные религиозные идеи; но при всех обстоятельствах он будет отличаться меньшей последовательностью своих идей, меньшей глубиной чувства, меньшей цельностью натуры и потому будет с большим равнодушием относиться к нравственности и чаще уклоняться от требований законов.

Таким образом, я полагаю, что, не приводя дальнейших оснований, здесь можно сформулировать само по себе отнюдь не новое положение, согласно которому все, что касается религии, лежит вне границ деятельности государства; что проповедники, как и вообще все богослужение в целом, должны находиться в ведении общин и не подлежат контролю государства.

Исправление нравов

Последним средством, к которому обычно прибегают государства, чтобы произвести преобразование нравов в соответствии со своей конечной целью — обеспечением безопасности, являются отдельные законы и предписания. Однако, поскольку на этом пути непосредственно утвердить нравственность и добродетель невозможно, в постановлениях такого рода приходится ограничиваться запрещением или определением отдельных поступков, которые либо сами по себе безнравственны, хотя и не ущемляют права других, либо легко могут привести к нарушению нравственности.

К таким законам относятся все постановления, ограничивающие роскошь. Ибо ведь ничто, как правило, не является в такой мере источником безнравственных, даже противозаконных поступков, как преобладание чувственности в душе человека или несоответствие склонностей и страстей человека, связанное с условиями его жизни и возможностями их удовлетворить. Поскольку воздержанность и умеренность способствуют тому, что человек довольствуется условиями, в которых он пребывает, он менее всего склонен менять их, нарушая права или препятствуя спокойствию и счастью других людей. Поэтому может создаться впечатление, что подлинная конечная цель государства состоит в ограничении чувственности — ведь именно чувственность является источником всех коллизий, тогда как проявления духовных чувств всегда и повсюду пребывают в гармонии, — и наиболее простым средством для этого представляется подавление чувственности, насколько это возможно.

Между тем если остаться верным установленным здесь принципам — всегда проверять допустимость применения государством тех или иных средств, сопоставляя их с истинными интересами людей, — то окажется необходимым более тщательно — в той мере, в какой это соответствует указанной конечной цели, — исследовать влияние чувственности на жизнь, образование, деятельность и счастье людей. Такое исследование, в ходе которого будет сделана попытка обрисовать внутреннюю жизнь человека так, как она проходит в деятельности и наслаждениях, покажет с большей ясностью, в какой мере человеку вообще полезно или вредно ограничение свободы. Только после этого можно будет полностью судить о праве государства положительно влиять на нравы граждан и на этом закончить решение поставленного нами вопроса.

Чувственные ощущения, склонности и страсти проявляются в человеке прежде всего и в самой сильной степени. Там, где они, до того как культура привнесла в них известную тонкость или придала душевной энергии другое направление, молчат, исчезает всякая сила, и ничто доброе и великое произойти не может. Именно они, во всяком случае сначала, привносят в душу живительное тепло,

они первые внушают ей желание действовать. С ними приходит жизнь и стремление к деятельности; неудовлетворенные, они делают человека активным, изобретательным в планах, мужественным в их осуществлении; будучи удовлетворены, они способствуют легкой, беспрепятственной игре мыслей. Они приводят все представления в более быстрое и многообразное движение, выявляют новые точки зрения, не замеченные ранее аспекты, не говоря уже о том, как различное их удовлетворение влияет на тело и его организацию и какое влияние, которое мы, правда, различаем только в его результатах, это в свою очередь оказывает на душу. Однако влияние это различно как по своей направленности, так и по характеру своего действия. Отчасти это зависит от их силы или слабости, отчасти же — если можно так выразиться — от их отношения к нечувственному, от того, насколько трудно или легко заставить их перейти от животных наслаждений к человеческой радости. Так, глаз придает ощущаемой им материи форму образа, который служит для нас источником стольких наслаждений и плодотворных идей; ухо — соотношение тонов в их временной последовательности. О различной природе этих ощущений и характере их действия можно было бы, пожалуй, сказать много прекрасного и немало нового, однако здесь не место для этого. Остановлюсь только на том, как разнообразна их польза для формирования души.

Глаз, если можно так сказать, предоставляет рассудку в известной степени подготовленный материал. Внутренний мир человека вместе с его образом и всеми остальными, всегда соотносимыми с ним в нашей фантазии вещами становится для нас как бы определенным и данным в одном состоянии. Ухо, если рассматривать его только как один из наших органов чувств, в той мере, в какой оно не воспринимает слова, дает нам значительно менее определенные ощущения. Поэтому Кант и отдает преимущество изобразительным искусствам по сравнению с музыкой¹. Однако он вполне правильно замечает, что это предполагает в качестве мерила и культуру, которую различные виды искусства сообщают душе человека, а я бы еще добавил: которые они ему *непосредственно* сообщают.

Но возникает вопрос, верен ли этот масштаб измерения? По моему мнению, первой и единственной добродетелью человека является энергия. То, что увеличивает его энергию, более ценно, чем то, что дает ему только материал для нее. Но поскольку человек *одновременно* воспринимает только что-либо одно, то на него сильнее всего действует то, что ему в данный момент только один предмет предоставляет; и подобно тому, как в ряду следующих друг за другом ощущений каждое из них учитывает степень воздействия, созданную всеми предыдущими ощущениями и оказываемую на все последующие, то наибольшее влияние на человека имеет то, что представляет собой подобное же соотношение отдельных компонен-

¹ Кант И. Критика способности суждения *.

тов. Именно это мы обнаруживаем в музыке. Далее, музыке свойственна только эта последовательность, только она в музыке определена. Ряд звуков, который ее составляет, совсем не обязательно создает определенное чувство. Это является как бы темой, на которую можно написать бесконечное количество текстов. Следовательно, то, что душа слушающего музыку — если, конечно, он вообще и как бы в соответствии со своим характером находится в созвучном ей настроении — действительно в нее привносит, возникает с полной свободой из полноты души и охватывает ее с большей теплотой, чем то, что ей просто дано и подчас ведет скорее к простому восприятию, чем к подлинному чувству. Другие свойства и преимущества музыки, например то, что она, извлекая звуки из предметов природы, значительно ближе к природе, чем живопись, скульптура и поэзия, я здесь рассматривать не буду, так как в мою задачу не входит исследование музыки и ее природы; музыка послужила мне только примером для того, чтобы с большей отчетливостью показать различие в природе чувственных ощущений. Описанный только что характер воздействия свойствен не только музыке. Кант считает, что он возможен при меняющемся смешении красок и еще в большей степени он свойствен чувству осязания. Даже вкус, бесспорно, создает такое ощущение; и здесь наблюдается усиление удовольствия, которое также стремится к разрешению, а после того, как это достигнуто, постепенно исчезает в слабеющих вибрациях. Менее всего этот характер воздействия свойствен обонянию. Поскольку в ощущающем человеке, по существу, самое привлекательное (значительно более привлекательное, чем самый материал) составляет процесс ощущения, его степень, сменяющееся друг друга усиление и ослабление, его, если можно так выразиться, чистая и полная гармония (при этом обычно забывают, что степень и еще в большей мере гармонию этого процесса определяет природа материала), поскольку ощущающий человек, являя собой как бы образ расцветающей весны, представляет собой самое интересное зрелище, поскольку более чем что-либо другое человек ищет в искусстве картину своих ощущений. Из этого обычно исходит живописец и даже скульптор. Взгляд мадонны Гвидо Рени не ограничен преходящим мгновением. Напряженные мускулы борца из коллекции Боргезе предвещают удар, который он готов нанести. И в еще большей степени этот прием используется в поэзии. Не намереваясь, собственно говоря, устанавливать здесь определенные ранги для различных видов искусства, я считаю возможным, чтобы пояснить мою идею, добавить лишь следующее: все виды искусства оказывают на нас двойное воздействие; в каждом искусстве в своей нераздельности, но в различном сочетании присутствуют обе стороны воздействия. Искусство непосредственно дает нам идеи или возбуждает чувства, настраивает душу определенным образом или, если это выражение не покажется слишком выпяренным, обогащает или возвышает силы души. Чем больше одна сторона воздействия прибегает к помощи другой, тем больше она ослабляет впечатление от себя самой. Поэ-

зия наиболее полно соединяет обе стороны, и поэтому она, с одной стороны, самое совершенное из всех искусств, а с другой — и самое слабое. Изображая свой предмет менее живо, чем живопись и скульптура, она менее проникновенно говорит чувству, чем пение и музыка. Однако недостаток этот легко возмещается тем, что поэзия, помимо многосторонности, о которой уже шла речь, ближе всего истинной внутренней жизни человека благодаря своей способности облекать мысли и чувства самым легчайшим покровом.

Чувственные ощущения, оказывающие воздействие на энергию человека — ведь только для того, чтобы пояснить их сущность, я говорю здесь об искусстве, — действуют также различно, отчасти в зависимости от того, происходит ли это действие поистине в должном соотношении, отчасти же в зависимости от того, насколько самые их компоненты, как бы их материя, возбуждают душу. Так, ровный красивый человеческий голос действует сильнее, чем мертвый инструмент. И поскольку наше собственное ощущение нам ближе всего, то всякое действие оказывается наиболее сильным там, где это ощущение присутствует. Однако и здесь, как всегда, часто случается, что несоизмеримая сила материи подавляет хрупкую форму; следовательно, между ними должно существовать правильное соотношение. При неправильном соотношении равновесие может быть восстановлено либо усилением одной стороны, либо ослаблением другой. Но действовать посредством ослабления всегда неверно, разве что данная сила не является естественной, а создана искусственно; там же, где она естественна, ее никогда не следует ограничивать. И пусть лучше она сама себя уничтожит, чем будет медленно угасать. Но довольно об этом. Я надеюсь, что достаточно пояснил свою мысль, хотя охотно сознаюсь в замешательстве, в которое меня ввергает это исследование; дело в том, что, с одной стороны, интерес к предмету и невозможность заимствовать необходимые мне результаты из других работ (я не знаю ни одной, которая исходила бы из близкой мне точки зрения) заставляют меня остановиться на этом подробнее; с другой — мысль, что эти идеи нужны здесь не сами по себе, а имеют лишь вспомогательное значение, все время принуждает меня держаться определенных рамок. То же я прошу иметь в виду и при дальнейшем изложении.

До сих пор я пытался говорить — хотя полное разделение и невозможно — только о чувственном ощущении как таковом. Однако между чувственным и нечувственным существует таинственная связь, и если нашему взору не дано в нее проникнуть, то наше чувство догадывается о ней. Этой двойственной природе видимого и невидимого мира, врожденному стремлению к невидимому и сладостному сознанию необходимости для нас видимого мира мы обязаны всеми действительно последовательными философскими системами, возникшими из глубин человеческой сущности, впрочем, и самыми безрассудными фантазиями. Я всегда видел истинную цель человеческой мудрости в вечном стремлении объединить оба эти мира таким образом, чтобы каждый из них как можно меньше отнимал

у другого. Повсюду мы с несомненностью обнаруживаем эстетическое чувство, которое превращает чувственность в оболочку духовного, а духовное — в животворящее начало чувственного мира. Вечное изучение этого лика природы формирует подлинного человека, ибо нет ничего, способного в такой мере оказывать многостороннее воздействие на характер человека, как выражение нечувственного в чувственном, возвышенного, простого, прекрасного — во всех творениях природы и произведениях искусства, окружающих нас. И здесь сразу же проявляется различие между сильно действующими на энергию человека и всеми остальными чувственными ощущениями. Если конечной целью всех человеческих усилий является обнаружение, создание и сохранение в нас и в других единственно истинно существующего, хотя и остающегося в своей исконной форме вечно невидимым, если только оно есть то, предчувствие чего делает столь дорогим и священным для нас каждый его символ, то, созерцая образ его вечно живой энергии, мы несколько приближаемся к нему. Мы как бы говорим с ним на трудном и часто непонятном языке, который подчас поражает нас неким предчувствием истины, тогда как форма, да будет дозволено мне так сказать — образ этой энергии, — отстоит гораздо дальше от истины.

На этой почве, если не только, то преимущественно на ней, расцветает все прекрасное, и в еще большей степени — возвышенное, как бы приближающее человека к божеству. Необходимость обрести в предмете, не выраженном в понятии, чистое, далекое от каких бы то ни было целей удовольствие, как бы показывает человеку, что он произошел от невидимого и родствен ему, а ощущение его несоизмеримости с высшей всеобъемлющей сущностью объединяет самым божественным, доступным для человека образом бесконечное величие с самоотверженным смирением. Не будь прекрасного, человек не знал бы любви к вещам как таковым; без возвышенного он не знал бы послушания, презирающего вознаграждение и не ведающего низкого страха. Изучение прекрасного формирует вкус, возвышенного — если его вообще можно изучать, если чувство и изображение возвышенного не есть прерогатива гения — дает правильное представление о величии. Однако только вкус, в основе которого всегда должно быть величие, так как только великое нуждается в мере и лишь могущественное — в твердости, соединяет все тона, всю полноту настроенности нашего существа в чудную гармонию. Вкус привносит во все наши, даже чисто духовные, ощущения и склонности нечто уравновешенное, спокойное, направленное к *одной* точке. Там, где отсутствует вкус, чувственное влечение грубо и необузданно и даже научные исследования, быть может, остроумные и глубокие, не отличаются тонкостью, изяществом и плодотворностью в своих применениях. И вообще, при отсутствии вкуса глубины духа и сокровища знания мертвы и бесплодны, а благородство и сила нравственной воли грубы и лишены живительного тепла.

Исследование и созидание — вот вокруг чего вращаются и с чем соотносятся, будь то опосредствованно или непосредственно,

все занятия людей. Исследование, если цель его состоит в том, чтобы постичь основу вещей или границы разума, предполагает, помимо глубины, разностороннее богатство и теплоту духовной жизни, напряжение объединенных сил человека. Достигнуть своей цели посредством простых операций не только уравновешенного, но и холодного разума, может, пожалуй, только философ, не выходящий за пределы анализа. Однако для того чтобы обнаружить связь, соединяющую синтетические основоположения, требуется подлинная глубина и дух, способный придать всем своим силам одинаковую интенсивность. Поэтому можно с уверенностью сказать, что никем не превзойденная глубина кантовской морали и эстетики еще не раз вызовет обвинения в фантастичности, как это уже неоднократно случалось; и если — да будет дозволено мне это признание — мне также казалось, что в ряде, хотя и немногих, случаев для этого есть известное основание (приведу в качестве примера толкование цветов радуги в работе „Критика способности суждения“¹⁾), причину этого я вижу только в недостаточной глубине моих интеллектуальных сил. Если бы я мог продолжить здесь рассмотрение этих идей, я, безусловно, пришел бы к следующему столь же сложному, сколь и интересному вопросу: в чем состоит, собственно говоря, различие между духовным развитием метафизика и поэта? И если бы полная многократная проверка не опровергла результатов моих прежних размышлений на эту тему, то я ограничил бы это различие только тем, что философ оперирует одними перцепциями, а поэт имеет дело с ощущениями, в остальном же оба они должны обладать одной и той же мерой и одним и тем же характером духовных сил. Однако это слишком далеко увело бы меня от моей непосредственной цели; надеюсь, что все приведенные мною основания достаточно ясно показали, что стать даже самым уравновешенным мыслителем можно только в том случае, если чувственная радость и фантазия часто присутствуют в душе. Если же мы перейдем от трансцендентальных исследований к психологическим и предметом нашего изучения станет человек, причем человек такой, каким он являет себя нам, то не тот ли глубже всего исследует многообразный род людской и изобразит его наиболее истинно и живо, чьим собственным чувствам не чуждо большинство этих образов?

Поэтому человек такого духовного склада являет себя в своей наивысшей красоте, вступая в практическую жизнь и претворяя то, что он воспринял, в новые плодотворные творения внутри и вне самого себя. Аналогия между законами пластической природы и духовного творчества была уже однажды гениально показана и

¹ Кант называет модификации света в цветах языком, которым природа говорит с нами, что, как кажется, имеет более высокий смысл: «Так, нам кажется, что белый цвет лилии располагает душу к идеям невинности и по порядку от красного до фиолетового (цвета) располагают: 1) к идее возвышенного, 2) смелости, 3) прямодушию, 4) приветливости, 5) скромности, 6) непоколебимости и 7) нежности» *.

обоснована Дальбергом и снабжена его меткими замечаниями¹. Однако, быть может, допустимо и более привлекательное рассуждение; психология обрела бы, вероятно, более поучительные данные, если бы вместо исследования непознаваемых законов образования зародыша было более подробно показано, как в виде нежного цветка телесной организации создается духовное творчество. Обращаясь к тому, что и в моральной жизни в наибольшей степени предстает как создание холодного разума, следует сказать, что только идея возвышенного дела делает возможным следование безусловным предписаниям закона, — правда, как это свойственно человеку, посредством чувства, но вместе с тем, поскольку человек полностью отвлекается при этом от соображений счастья или несчастья, — с божественной беспристрастностью. Чувство несоразмерности человеческих сил моральному закону и глубокое сознание того, что даже самый добродетельный человек лишь тот, кто сильнее других ощущает, как недосыгаем для него этот закон, порождают благоговение — чувство, которое телесная оболочка оболочивает, как кажется, лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы глаза смертных не ослепило его чистое сияние. И если моральный закон требует, чтобы каждый человек рассматривался как самодовлеющая цель, то этому сопутствует и чувство прекрасного, стремящееся вдохнуть жизнь в каждую пылинку, чтобы и она радовала нас своим существованием; это чувство прекрасного тем сильнее охватывает человека, что, будучи независимо от понятия, оно не ограничивается малым числом признаков, которые только и может вместить понятие, к тому же разьединяя и урезая их. Привнесение эстетического чувства способно как будто нанести ущерб чистоте моральной воли, и так действительно могло бы случиться, если бы именно это чувство служило человеку моральным импульсом. Однако ему надлежит только как бы открывать более разнообразные применения морального закона, которые могут остаться не замеченными холодным и поэтому недостаточно тонким разумом, и пользоваться правом внушать человеку сладчайшие чувства. Ведь человеку не возбраняется испытывать счастье, столь родственное добродетели, только добиваться этого счастья он должен, не отрекаясь от добродетели. Чем больше я размышляю об этом предмете, тем меньше та разнице, которую я только что отметил, представляется мне эфемерной или воображаемой. Как бы человек ни стремился к наслаждениям, как бы он, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах, ни мыслил добродетель и счастье вечно связанными друг с другом, его душа все равно остается восприимчивой к величию нравственного закона. Она не может противостоять власти этого величия, которая заставляет ее действовать определенным образом и, преисполненная *только* этим чувством, она действует, не помышляя об удовольствии, так как ее никогда не покидает сознание того, что никакое представление о бедах не заставило бы ее действовать иначе. Но эту силу душа

¹ F. v. Dalberg. Vom Bilden und Erfinden.

обретает только на пути, подобном тому, о котором я говорил раньше, только посредством мощного внутреннего порыва и многообразной внешней борьбы. Всякая сила, являясь как бы материей, произрастает из чувственности, и сколь бы далеко она ни оказалась от своего ствола, она, если можно так выразиться, покоится на нем. Тот, кто непрерывно стремится возвысить свои силы и посредством частого их применения не дать им угаснуть, кто часто проявляет силу характера, чтобы сохранить свою независимость от чувственности, кто стремится соединить эту независимость с величайшей возбудимостью, чей прямой и глубокий ум без усталости ищет истину, чье верное и тонкое чувство прекрасного не пропустит незамеченным ни один привлекательный образ, чье стремление воспринять все прочувствованное вне себя, воспринятое оплодотворить для рождения нового, сделать красоту во всех ее проявлениях достоянием своей индивидуальности и, восприняв ее всем своим существом, создать новую красоту, — тот может с удовлетворением сознавать, что находится на правильном пути и приближается к идеалу, который рисует человечеству самая смелая фантазия.

Этой картиной, самой по себе чуждой политическому исследованию, но необходимой в избранном мною изложении идей, я пытался показать, как чувственность со всеми ее благотворными последствиями пронизывает всю жизнь и все занятия людей. Моим намерением было предоставить ей таким образом свободу и уважение. Но не следует забывать, что именно чувственность является также источником огромного числа физических и нравственных зол. Даже в нравственном отношении, благотворная только тогда, когда она находится в правильном соотношении с действием духовных сил, она чрезвычайно легко обретает вредное для человека преобладание. В таком случае радость человека превращается в животное наслаждение, вкус исчезает или приобретает противоположную направленность. Однако по поводу этого последнего выражения я считаю необходимым указать, имея прежде всего в виду известные односторонние суждения, что противоположным следует называть не то, что не соответствует именно той или иной цели природы, а то, что препятствует осуществлению ее общей конечной цели применительно к человеку. Эта цель состоит в том, чтобы человеческая сущность достигала все большего совершенства, и поэтому прежде всего, чтобы его интеллектуальная и эмоциональная силы были неразрывно связаны в соответствии с их интенсивностью. Далее может возникнуть несоответствие между тем, как человек развивает свои силы и вообще приводит их в действие, и средствами действия и наслаждения, которые предоставляет ему его положение, и это несоответствие становится источником новых зол. Однако, согласно приведенным выше принципам, государству не дозволено воздействовать на положение граждан, исходя из положительных конечных целей. Поэтому такое положение не получает определенной и принудительной формы, и его большая свобода, а также то, что в этой свободе оно по большей части зависит от образа мыс-

лей и действий самих граждан, уменьшает это несоответствие. И все-таки та отнюдь не незначительная опасность, которая при этом сохраняется, могла бы возродить представление о необходимости противодействовать падению нравов посредством законов и государственных установлений.

Но даже и в том случае, если бы подобные законы и установления и оказали бы определенное действие, все-таки вместе с усилением их действия усиливался бы и наносимый ими вред. Государство, в котором граждане принуждаются или склоняются такими средствами следовать даже наилучшим законам, может быть мирным, благодевающим, но мне оно представляется толпой рабов с обеспеченным содержанием, а не объединением свободных людей, обязанных только не преступать границы права. Способствовать определенным действиям, убеждениям можно самыми различными путями, но ни один из них не ведет к подлинно нравственному совершенству. Чувственные импульсы к совершению известных поступков или необходимость отказаться от них создают привычку; благодаря привычке удовольствие, связанное ранее только с этими импульсами, переносится на само действие или на склонность к определенным поступкам, которая вначале только подавлялась сознанием необходимости, а теперь совершенно исчезает. Так человек привыкает к добродетельным поступкам и в известной степени также к добродетельным убеждениям. Но его душевные силы при этом не возрастают; не обретают большей ясности его идеи о его предназначении и его ценности; не становится сильнее его воля, чтобы побороть господствующее в нем влечение; таким образом, он отнюдь не приближается к истинному, действительному совершенству. Следовательно, тот, кто стремится воспитывать людей, а не приучать их действовать в угоду внешним целям, никогда не прибегнет к таким средствам, ибо, помимо того, что принуждение и руководство не могут вызвать к жизни добродетель, они к тому же еще всегда уменьшают и силу. А что такое нравы без моральной силы и добродетели? И как ни велико зло, заключающееся в порче нравов, оно не лишено и благодетельных последствий. Крайности приводят людей на средний путь — к пути мудрости и добродетели. Крайности, подобно большому светящимся массам, широко распространяют свое воздействие; для того чтобы наполнить кровью тончайшие сосуды тела, значительное ее количество должно находиться в больших сосудах. Нарушить здесь естественный порядок природы означает нанести моральный ущерб для того, чтобы предотвратить физический.

К тому же предположение, что опасность порчи нравов столь велика и серьезна, по моему мнению, неверно. И хотя многое уже было сказано для подтверждения этой мысли, я приведу еще несколько соображений для ее обоснования.

1. Человек по своей природе склонен больше к благим, чем к своекорыстным поступкам. Об этом свидетельствует уже история диких племен. В семейных добродетелях заключено столько очаро-

вания, в гражданских — столько величия и пленительности, что любой просто неиспорченный человек не может противостоять им.

2. Свобода увеличивает силу, а сила всегда ведет к известному великодушию. Принуждение подавляет силу и ведет к разного рода своекорыстным желаниям и ко всем низменным уловкам слабости. Принуждение может предотвратить некоторые проступки, но лишает красоты даже законные действия. Быть может, свобода иногда и попустительствует некоторым проступкам, но зато даже пороку она придает менее неблагоприятный образ.

3. Человек, предоставленный самому себе, с большим трудом вырабатывает правильные жизненные принципы, но они накладывают неизгладимый отпечаток на все его поведение. Тот, кого сознательно к этому ведут, легче их воспринимает, но они отступают даже перед его собственной ослабленной энергией.

4. Все государственные установления, которые ставят перед собой цель объединить в некое единстве самые разнообразные и различные интересы, вызывают множество коллизий. Эти коллизии ведут к несоответствию между желаниями людей и их возможностями, а это и вызывает проступки. Следовательно, чем бездейтельнее, если можно так выразиться, государство, тем меньше число проступков. Если бы можно было, особенно в вышеприведенных случаях, с точностью исчислить вред, который наносят полицейские установления, и сопоставить их с числом тех, которые этот вред предотвращают, то число первых всякий раз превышало бы число вторых.

5. Еще ни разу не предпринималось попытки выяснить, к каким результатам может прийти строгое расследование действительно совершенных преступлений, справедливое, соразмерное им и действительно неизбежное наказание, следовательно, почти полное отсутствие безнаказанности.

Полагаю, что в соответствии с моей целью я достаточно показал, какие сомнения вызывают старания государства устранить или даже предотвратить всякое проявление безнравственности, если только оно непосредственно не нарушает права других, и как невелики возможные благотворные последствия этого в области нравственности, а также и то, что подобное воздействие на характер нации не является необходимым даже с точки зрения обеспечения безопасности. Если к этому добавить еще приведенные в начале данной работы основания, порицающие всякую направленную на достижение положительных целей деятельность государства (здесь эти основания окажутся еще более существенными, поскольку всякое ограничение в области нравственности человек воспринимает особенно глубоко), если не забывать, что из всех аспектов воспитания именно воспитание нравов и характера может достигнуть наивысшего совершенства только при полной свободе, то едва ли вызовет сомнение правильность следующего принципа: *государство должно полностью воздерживаться от попыток прямо или косвенно влиять на нравы и характер нации, если это не является естествен-*

ным и неизбежным следствием его других совершенно необходимых мер; все, способствующее достижению этой цели,— прежде всего специальный надзор за воспитанием, религиозные установления, законы против роскоши и т. д.,— все это должно полностью находиться вне пределов его компетенции.

Глава IX

Более подробное положительное определение работы государства о безопасности. Развитие понятия безопасности

После того как закончены наиболее важные и трудные разделы данного исследования и я начинаю приближаться к полному решению поставленного мною вопроса, необходимо бросить ретроспективный взгляд на все изложенное мною в предшествующих разделах. В начале нашей работы мы прежде всего старались доказать, что государство не должно вмешиваться во все те сферы жизни, которые не относятся к безопасности граждан — как внешней, так и внутренней. Затем мы представили эту проблему как истинный предмет государственной деятельности и, наконец, установили принцип, согласно которому для сохранения и усиления этой безопасности не следует пытаться влиять на нравы и характер нации, придавать определенное направление их развитию или изменять то, по которому оно идет. В известной мере можно было бы тем самым считать, что на вопрос „в каких пределах государство может осуществлять свою деятельность?“ ответ уже полностью дан: эта деятельность должна быть ограничена сохранением безопасности; что касается применения необходимых для этого средств, то оно еще решительнее должно быть ограничено теми средствами, которые не направлены на то, чтобы формировать или, вернее, воспитывать нацию в направлении, нужном государству для осуществления его конечных целей. Ибо если это определение и носит чисто негативный характер, то при этом тем не менее достаточно очевидно, что остается после такого ограничения. Функции государства будут заключаться только в том, чтобы пресекать действия, прямо вторгающиеся в область чужого права, выносить решения по поводу спорных прав, восстанавливать нарушенное право и карать его нарушителей. Однако понятие безопасности, которое до сих пор было определено только как безопасность от внешних врагов и предотвращение взаимных посягательств сограждан на права друг друга, настолько широко и многосторонне, что требует более детального рассмотрения. Ибо так же, как существуют различные нюансы воздействия — от простого совета, цель которого состоит в убеждении, до настойчивой рекомендации и даже принуждения, — так же различны и многообразны степени недобросовестности и несправедливости — от поступка, не выходящего за пределы своего

права, но наносящего, быть может, вред другому, до поступка, который также не выходит за пределы прав данного человека, но легко или безусловно препятствует другому пользоваться своей собственностью, а отсюда до прямого посягательства на чужую собственность,— различно и содержание понятия безопасности, под которым можно понимать безопасность, предотвращающую ту или иную степень принуждения, или поступки, непосредственно или в отдаленной степени нарушающие чье-либо право. Чрезвычайно важно, однако, определить именно объем этого понятия: если он окажется слишком большим или чрезмерно ограниченным, то вновь произойдет, правда, под другим наименованием, смешение всех границ. Следовательно, без точного определения объема этого понятия нечего и думать об урегулировании его границ. Значительно точнее следует установить и подвергнуть проверке также средства, которыми дозволено или не дозволено пользоваться государству. Ибо если, как было указано выше, усилия государства, направленные на действительное преобразование нравов, и представляются нежелательными, то тем самым сфера государственной деятельности остается еще слишком неопределенной; так, например, почти не выяснен вопрос, в какой мере ограничительные законы государства отличаются от действия, непосредственно затрагивающего чужие права? В какой мере государству дозволено предотвращать действительные преступления посредством устранения их источников, связанных не с характером граждан, а с условиями, позволяющими эти преступления совершать? Как легко и какие вредные последствия могут здесь возникнуть, ясно уже из того, что именно забота о сохранении свободы заставила многие лучшие умы возложить на государство всю полноту ответственности за благополучие граждан; они полагали, что такое решение вопроса, ввиду его более общего характера, будет способствовать беспрепятственной деятельности сил. Эти соображения вынуждают меня признать, что до сих пор я больше занимался определением обширных сфер, которые достаточно явно выходят за пределы государственной деятельности, чем установлением точных границ самой этой деятельности, особенно в тех случаях, когда они могут показаться сомнительными и спорными. Теперь мне предстоит восполнить этот пробел; даже если это полностью не удастся, необходимо, как я полагаю, постараться по возможности отчетливо и полно изложить по крайней мере причины этой неудачи. Во всяком случае, я надеюсь, что мне удастся быть кратким, поскольку все необходимые для этого исследования принципы, насколько это было в *моих* силах, рассмотрены и доказаны в предшествующих главах.

Безопасным я считаю положение граждан в государстве в том случае, если осуществлению их прав — как прав личности, так и права собственности — никто не препятствует; следовательно, *безопасность* является — если это определение не покажется слишком кратким и тем самым недостаточно ясным — уверенностью *граждан в законности своей свободы*. Эта безопасность нарушается

не в результате всех тех действий, которые препятствуют человеку в какой-либо его деятельности или в пользовании своим имуществом, а только в том случае, если эти действия являются *противозаконными*. Данное определение, как и предыдущая дефиниция, введено и избрано мною произвольно; оба они непосредственно вытекают из предшествующих рассуждений. И если понятию безопасности будет придан именно такой смысл, это рассуждение найдет себе применение, поскольку только действительные нарушения прав требуют вмешательства дополнительной силы, помимо той, которой обладает каждый индивид. Только то, что предотвращает такого рода нарушения, действительно способствует формированию человека, тогда как всякое другое вмешательство государства создает препятствия на этом пути; и, наконец, только предотвращение нарушений вытекает из истинного принципа необходимости, тогда как все остальное зиждется на зыбкой почве иллюзорной полезности.

Охраняться должна как безопасность всех граждан на совершенно равных основаниях, так и безопасность государства. Безопасность государства может распространяться на большую или меньшую сферу, в зависимости от того, насколько расширены или сужены его права, поэтому определение зависит здесь от определения цели, на которую направлены эти права. В соответствии с данным мною выше определением этих прав государство может требовать только обеспечения власти, которая ему предоставлена, и признанного за ним имущества. Напротив, ограничивать, исходя из соображений безопасности, действия, посредством которых гражданин, не нарушая права, ограждает свою личность или свою собственность, государство не может, разве что в исключительных случаях когда отношение гражданина к государству временно носит особый характер, как, например, в случае войны. Ибо государственный союз является лишь средством, имеющим подчиненное значение; этому средству не должен быть принесен в жертву человек, как раз и составляющий истинную цель, за исключением таких моментов, когда создается такая коллизия, при которой если бы даже отдельный человек и не был обязан жертвовать собою, однако общество было бы вправе воспользоваться им в качестве жертвы. Кроме того, в соответствии с установленными нами принципами государство не должно заботиться о благе граждан, а для сохранения их безопасности не может оказаться необходимым именно то, что уничтожает их свободу, а тем самым и безопасность.

Безопасность нарушается либо действиями, которые сами по себе нарушают права другого, либо действиями, последствия которых могут к этому привести. Государство должно запрещать и стремиться предотвращать действия того и другого рода, однако с определенными модификациями, о которых сейчас и пойдет речь; если же они совершены, государство должно попытаться законным путем возместить, насколько это возможно, нанесенный ущерб, устранив таким образом причиненный вред, и с помощью наказаний

добиться того, чтобы в будущем такие нарушения стали более редкими. На этой почве возникают — мы сохраняем принятые термины — полицейские, гражданские и уголовные законы. Однако к этому присоединяется еще одно своеобразное обстоятельство, которое в силу своей природы требует особого рассмотрения: существует класс граждан, к которым наши принципы, поскольку они предполагают в качестве своего объекта человека нормального, обладающего всеми своими силами, не могут быть полностью применены; я имею в виду тех, кто не достиг еще зрелости, или тех, кого безумие или слабоумие лишает умственных способностей, присущих человеку. Об их безопасности государство также должно заботиться, и их положение, как легко предположить, может потребовать особого отношения. Следовательно, в заключение необходимо остановиться на обязанностях государства в качестве верховного опекуна, как принято говорить, всех неспособных граждан. Таким образом, поскольку о безопасности от внешних врагов мне после сказанного выше прибавить больше нечего, я полагаю, что набросал контуры всех объектов, на которые государство должно направить свое внимание. Я далек от намерения досконально анализировать все перечисленные мною глубокие и сложные вопросы и удовлетворюсь тем, что в каждом случае рассмотрю важнейшие положения в той мере, в какой это необходимо для данного исследования. Лишь после того как это будет сделано, можно будет считать, что попытка полностью исчерпать поставленную проблему и заключить деятельность государства со всех сторон в надлежащие границы завершена.

Глава X

Забота государства о безопасности, выражающаяся в регулировании таких действий граждан, которые непосредственно касаются самого действующего лица (Полицейские законы)

Для того чтобы последовать, как нам теперь предстоит, за человеком во всех многообразных обстоятельствах его жизни, лучше начать с простейшего из них, а именно с такого случая, когда человек, живя в союзе с другими людьми, полностью остается, однако, в сфере своей собственности и не предпринимает ничего, что касалось бы прямо и непосредственно других. Об этом идет речь в большинстве полицейских законов. Как ни расплывчато это определение, но самое важное и всеобщее значение состоит в том, что эти законы, не распространяясь на те действия, в результате которых нарушаются права других, устанавливают только средства, с помощью которых можно предотвратить подобные посягательства; они ограничивают такие действия, последствия которых сами

по себе легко могут стать опасными для других, или такие, которые обычно ведут к нарушению закона, или, наконец, определяют то, что необходимо для утверждения и осуществления самой государственной власти. Я оставляю здесь в стороне, поскольку это не связано с моей задачей, то обстоятельство, что под данное наименование подводят преимущественно и те постановления, которые направлены не на сохранение безопасности, а на благо граждан. В соответствии с установленными выше принципами, здесь, в этих простых отношениях, государство может налагать запрет только на то, что действительно вызывает опасение в качестве возможного посягательства на собственные права государства или на права граждан. Что касается прав государства, то здесь уместно применить недавно сказанное в общих чертах о смысле этого выражения. А именно: во всех тех случаях, когда речь идет только о выгоде или ущербе собственника как такового, государство не вправе обращаться к запретительным законам для ограничения действий граждан. Причем для оправдания подобных ограничений недостаточно того обстоятельства, что какое-либо действие наносит только ущерб кому-либо, — оно должно также ущемлять его права. Это второе определение требует дальнейшего объяснения. Об ущемлении прав речь может идти только в том случае, если кого-либо без его согласия или против его воли лишают части его собственности или личной свободы. Напротив, там, где этого нет, где один гражданин не вторгается в права другого, нет и ущемления прав, какой бы вред этим ни наносился. Точно так же нет нарушения прав и в тех случаях, когда это ущемление прав проявляется в результате деятельности самого потерпевшего, который, так сказать, сам к действию присоединяется, или, во всяком случае, ему недостаточно в меру своих сил препятствует.

Применение таких определений очевидно само по себе. Напомню только несколько особенно ярких примеров. Согласно этим принципам, из определения нарушения закона совершенно выпадает все то, что говорится о действиях, вызывающих возмущение своим неуважением к религии и нравам. Тот, кто позволяет себе высказывания или действия, оскорбляющие религиозное чувство и нравственность другого, безусловно, совершает безнравственный поступок, однако до тех пор, пока он ограничивается только этим, он не нарушает ничьих прав. Чувствующий себя обиженным может удалиться, а если это невозможно, то должен примириться с этим неизбежным неудобством, проистекающим из несовместимости характеров. Не следует при этом также забывать, что, быть может, и другой стороне неприятны некоторые присущие ему свойства. Таким образом, вопрос: на чьей стороне право? — важен всегда только там, где речь безусловно идет о праве. Даже в гораздо худшем случае, то есть когда то или иное действие или то или иное высказывание наносит ущерб добродетели, разуму или здравому смыслу людей, ограничение свободы не допускается. Тот, кто действовал или говорил таким образом, не нарушил этим ничье право, и оскорб-

ленный имеет полную возможность противопоставить дурному впечатлению силу воли или доводы разума. Поэтому, как ни велико вызываемое подобными поступками зло, оно всегда сопровождается и благими последствиями, так как служит проверкой в одном случае силы характера, в другом — терпимости и широты воззрений. Нет необходимости, вероятно, напоминать, что во всех этих случаях я исхожу только из того, не угрожают ли данные проявления безопасности граждан. Их отношение к нравственности нации и пределы дозволенного государству вмешательства в эту сферу я пытался установить в предшествующем изложении.

Однако поскольку в ряде случаев для вынесения правильного суждения необходимы положительные знания, которыми обладают не все, и безопасность может быть нарушена, если кто-нибудь необдуманно или преднамеренно воспользуется в своих интересах неосведомленностью других, то в такой ситуации гражданам должно быть предоставлено право обращаться за советом к государству. Наиболее очевидными примерами этого служат деяния врачей и назначаемых в помощь тяжущимся сторонам юристов, — отчасти из-за большой потребности в них, отчасти из-за трудности суждения о правильности их действий и прежде всего из-за того, что они могут принести немалый вред. Для того чтобы исходить в этих случаях из интересов нации, не только желательно, но просто необходимо, чтобы государство проверяло этих людей с точки зрения соответствия их занимаемой ими должности — если, конечно они этого захотят, — а затем, если эта проверка даст хорошие результаты, выделило бы их по степени их квалификации и довело бы до сведения граждан, что они могут полностью доверять только тем, кто доказал таким образом свою пригодность к данному роду занятий. Но далее государство никогда идти не должно — оно не должно препятствовать тому, чтобы те, кто не пожелал пройти проверку или не выдержал ее, занимались своим делом, а также запрещать гражданам обращаться к ним. Такого рода меры можно применять, во-первых, только там, где воздействие оказывается не на внутреннюю жизнь человека, а на внешние ее обстоятельства, где, следовательно, человек не действует, а только пассивно следует советам и где все дело заключается только в истинности или ложности результатов, а во-вторых, там, где суждение предполагает знания в совершенно особой области, которые нельзя приобрести просто опытом, рассудительностью и практической силой суждения, знания настолько редкие, что даже само обращение за советом представляет некоторую трудность. Если государство действует, не считаясь с этим последним определением, то ему грозит опасность, что нация станет вялой, бездеятельной, полагающейся всегда на чужую волю и знания, тогда как именно отсутствие гарантированной определенной помощи служит стимулом для обогащения собственного опыта и знаний, а также теснее и многообразнее связывает граждан друг с другом, поскольку они находятся в большей зависимости от взаимных советов. Если же государство не примет

во внимание первое определение, то наряду с только что упомянутым недостатком возникнет во всех своих проявлениях и тот вред, о котором мы говорили в начале нашей работы. От такого рода проверки — я останавливаюсь еще на одном поучительном примере — следует полностью отказаться по отношению к законоучителям. Да и что государство может проверить в их деятельности? Определенные догматы? От этого религия, как было указано выше, не зависит. Мэру интеллектуальных сил вообще? Но для законоучителя, который рассматривает вопросы, столь связанные с индивидуальностью его слушателей, важно едва ли не только соотношение его умственных способностей с их умственными способностями — и уже в силу этого подобного рода суждение становится невозможным. Проверить их добропорядочность и характер? — Но для этого существует лишь один способ, едва ли приемлемый для государства; этот способ сводится к расспросам об обстоятельствах жизни, поведении данного человека и т. д. И наконец, следует подчеркнуть, что даже в одобренных мною выше случаях проверка пригодности может производиться только тогда, когда этого требует безусловная воля граждан. Ибо сама по себе в среде свободных, воспитанных этой свободой людей такая проверка, собственно говоря, не представляется необходимой, между тем повод к злоупотреблениям она всегда может дать. Поскольку для меня здесь важно не рассмотрение отдельных вопросов, а установление принципов, то я еще раз кратко остановлюсь на точке зрения, которая побудила меня заговорить об этом. Государство никоим образом не должно заботиться о положительном благе граждан, и поэтому также об их жизни и здоровье — разве только в тех случаях, когда им угрожают действия других, — а только об их безопасности. И лишь постольку, поскольку вследствие их неосведомленности может быть нанесен ущерб их безопасности (посредством обмана), подобный контроль может входить в границы деятельности государства. Однако человека, которого хотят обмануть, приходится всячески убеждать и уговаривать, чтобы добиться его согласия, и поскольку при этом наличие различных переходящих оттенков делает установление общего правила почти невозможным, а связанная со свободой вероятность обмана делает человека осторожнее и разумнее, то я считаю более целесообразным и более соответствующим разработанным принципам — в теории, далекой от определенного применения, — требовать распространения запретительных законов только на те случаи, когда определенный поступок совершается без ведома или даже против воли другого человека. Предыдущее же рассуждение может быть полезно тем, что оно показывает, как надлежит поступать, следуя установленным принципам, в тех случаях, когда того требует необходимость ¹.

¹ Может создаться впечатление, что приведенные здесь примеры относятся не столько к данному, сколько к следующему разделу, поскольку в них речь идет о действиях, относящихся к другим гражданам. Но я имел здесь в виду не те случаи, когда, например, врач действительно лечит больного или юрист действитель-

Если до сих пор мы рассматривали такие действия, которые ввиду протекающих из них последствий подлежат надзору со стороны государства, то надо также ответить на вопрос, должно ли ограничивать каждое такое действие, которое может привести к подобным последствиям, или только такие, которые неизбежно должны к ним привести? В первом случае могла бы пострадать свобода, во втором — безопасность. Из этого следует, что надо избрать некий средний путь. Однако определить его в общей форме я считаю невозможным. При обсуждении каждого случая такого рода следует исходить из трех соображений одновременно: из определения того, какой вред это может принести, из возможности успеха и из степени ограничения свободы в случае обнародования закона. Однако ни одно из них не дает общего мерил: прежде всего обманчивы всегда исчисления вероятности. Поэтому теория может только предложить названные моменты к рассмотрению. На практике следовало бы, как я полагаю, исходить исключительно из специфики каждого данного случая, а не из общих соображений, и прибегать к ограничению только тогда, когда опыт прошлого и условия настоящего делают это действительно *необходимым*. Естественное право в его применении к совместному существованию людей проводит здесь резкую границу: порицание выносится всем тем действиям, совершая которые кто-либо *по своей вине* вторгается в права другого, следовательно, во всех тех случаях, когда вред является следствием определенного поступка или же в такой степени вероятности связан с ним, что совершивший его либо понимает это, либо по крайней мере не может не понимать и поэтому несет ответственность за свой поступок. Во всех остальных случаях нанесенный вред является случайным и нанесший этот вред не обязан его возмещать. Дальнейшие выводы могли бы быть сделаны только при молчаливо принятой договоренности сограждан, следовательно, уже из чего-то положительного. Однако вряд ли будет правильным, если государство остановится на этом, особенно если мы примем во внимание серьезность вреда, который может быть нанесен, и возможность лишь незначительно ограничить свободу граждан. В этом вопросе права государства не вызывают сомнения, поскольку оно гарантирует безопасность граждан не только тем, что принуждает возместить нанесенный ущерб, но и тем, что предотвращает возможные нарушения. К тому же третье лицо, которое должно вынести приговор, может вынести это свое решение, основываясь только на внешних признаках. Поэтому государство ни в коем случае не может ограничиться тем, что будет ждать, проявят ли граждане достаточную осторожность, совершая опасные действия, или рассчитывать на то, что они способны предвидеть вероятность ущерба; в тех случаях,

но ведет процесс; я говорю о выборе человеком определенной профессии, обеспечивающей ему существование. И в этой связи я задаю вопрос, дозволено ли государству ограничивать право такого выбора? — вопрос, который не имеет пока еще отношения к кому-либо конкретно.

когда опасения достаточно серьезные, государство обязано ограничивать даже само по себе безвредное действие.

На основании всего сказанного можно, пожалуй, установить следующий принцип: *гарантируя безопасность граждан, государство должно запрещать или ограничивать действия, касающиеся только самого действующего, если их последствия ущемляют права других, то есть без согласия или против воли других граждан посягают на их свободу или имущество, а также те действия, которые явничают подобные опасения; однако, допуская подобную вероятность, всегда следует принимать во внимание размеры наносимого вреда и степень возникающего из такого запретительного закона ограничения свободы. Всякое другое или следующее из других точек зрения ограничение частной свободы находится вне границ деятельности государства.*

Поскольку, соответственно развитым здесь идеям, единственным основанием для таких ограничений являются права других, эти ограничения должны были бы, естественно, отпасть, как только отпадет это основание; так, например, поскольку большинство полицейских распоряжений направлено только против опасности, угрожающей общине, деревне, городу, они должны быть отменены в том случае, если подобное сообщество решительно и единогласно этого потребует. В этом случае государство должно было бы отступить и ограничиться вынесением наказаний по преднамеренным или караемым законом нарушениям права, потому что только это одно, а именно устранение несогласий между гражданами, составляет истинную, подлинную функцию государства, осуществлению которой не может препятствовать воля отдельных граждан, даже самих потерпевших. В кругу просвещенных, отдающих себе отчет, в чем заключается их действительный интерес, и вследствие этого благожелательных друг к другу людей сами собой легко возникнут добровольные договоры, целью которых является общая безопасность; в соответствии с этими договорами то или иное представляющее опасность занятие будет допускаться лишь в определенных местах или в определенное время или же вообще будет запрещено. Такого рода договоры во многом предпочтительнее постановлений государства, ибо их заключают те, кто непосредственно ощущает истекающие от них пользу или вред, так же, как и потребность в них; и они возникают обычно тогда, когда действительно необходимы; в то же время, поскольку такие договоры заключаются добровольно, они выполняются лучше и точнее; являясь следствием самодеятельности, они даже при значительном ограничении свободы не приносят большого вреда характеру людей, а поскольку они заключаются только при известном уровне просвещения и благожелательности, то, наоборот, способствуют росту того и другого. Поэтому истинное стремление государства должно быть направлено на то, чтобы люди, располагая свободой, легче объединялись в сообщества, которые в данном и во множестве других подобных случаях выполняли бы функции государства.

Я не упомянул здесь о законах, налагающих на граждан положительные обязанности — жертвовать чем-либо или сделать что-либо для государства или друг для друга; такие законы существуют у нас повсюду. Однако, если не принимать во внимание то, что каждый гражданин обязан в случае необходимости предоставить государству свои силы (об этом мне еще представится возможность говорить в другой связи), я не считаю допустимым, чтобы государство принуждало одного гражданина сделать что-либо против его воли для другого, даже в том случае, если его усилия будут полностью возмещены. Ведь в соответствии с бесконечным многообразием человеческих настроений и склонностей каждая вещь и каждое занятие могут оказаться для разных людей столь разнообразными по своей пользе, к ним может проявиться столь разнообразный интерес, для каждого они могут иметь свое значение и быть по-своему необходимыми; поэтому при определении того, какое благо одного можно предпочесть благу другого (если мы не будем отказываться от этого решения из-за его трудности), всегда заключается какая-то черствость, какое-то неуважение к чувствам и индивидуальности другого человека. По той же причине, поскольку заменить друг друга могут только однородные вещи, часто невозможно и подлинное возмещение, и оно почти никогда не может быть определено в общей форме. К недостаткам даже наилучших законов такого рода присоединяется еще возможность злоупотребления. С точки зрения безопасности, на основании которой только и определяются правильно границы деятельности государства, в установлениях такого рода вообще нет необходимости, так как каждый подобный случай составляет исключение; к тому же люди проявляют тем большую благожелательность и готовность оказать помощь друг другу, чем меньше их самолюбие и любовь к свободе оскорбляет принуждение. Даже в том случае, если каприз и совершенно бессмысленное упрямство человека мешает осуществлению разумного предприятия, это не должно служить основанием государству использовать свою власть. Не взрывает же оно каждую скалу, преграждающую путь страннику! Препятствия пробуждают энергию и обостряют ум, однако же те препятствия, которые создаются человеческой несправедливостью, становятся помехой, не принося пользы. Отнести к их числу упрямство нет оснований; сломить его, правда, могут законы, но исправить может только свобода. Мне представляется, что доводы, кратко рассмотренные здесь, достаточно убедительны и отказаться от них можно только перед лицом железной необходимости. Поэтому государство должно ограничиться защитой права, существующего помимо тех прав, которые имеют положительные союзы — жертвовать при грозящей им гибели свободой и собственностью других.

Наконец, значительное число полицейских законов возникает в связи с такими действиями, которые совершаются в границах собственного, но не индивидуального, а общественного права. Здесь ограничение свободы вызывает, конечно, значительно меньшие сом-

нения, так как там, где речь идет об общественной собственности, каждый совладелец имеет право высказать свое несогласие. К такой общественной собственности относятся, например, дороги, реки, протекающие по разным владениям, городские площади, улицы и т. д.

Глава XI

Забота государства о безопасности граждан, выражающаяся в определении таких действий, которые прямо и непосредственно касаются других (Гражданские законы)

Сложнее те случаи, когда действия одних людей прямо и непосредственно касаются других, хотя для данного исследования этот случай представляется менее трудным. Ибо, если такого рода действия нарушают чьи-либо права, государство, конечно, должно воспрепятствовать им и принудить виновного возместить причиненный ущерб. Но ущемляют такие действия чужое право, как это следует из установленных выше определений, только в том случае, если лица, действующие против воли другого или без его согласия, лишают его в какой-то степени принадлежащей ему свободы или имущества. Если кому-либо нанесен ущерб, он имеет право на его возмещение, но поскольку, являясь членом общества, он передал свое частное право на защиту и возмещение ущерба государству, то, кроме этого возмещения, он ни на что больше претендовать не может. Поэтому обидчик обязан только возратить отнятое или, если это невозможно, возместить убыток, и отвечает он всем своим имуществом и своими силами в той мере, в какой он способен посредством своих сил получать доход. Лишение свободы, которому у нас подвергаются несостоятельные должники, допустимо только как средство, предупреждающее опасность лишиться вместе с личностью должника его будущего дохода. Государство не должно лишать потерпевшего каких бы то ни было средств законного возмещения потери, но вместе с тем оно обязано предотвратить возможность того, чтобы это послужило предлогом обидчику для мести. Это необходимо тем более потому, что на более ранней стадии общественного развития обидчик в свою очередь оказал бы сопротивление потерпевшему, если бы тот преступил границы права,— теперь же ему противостоит непреодолимая сила государства, а также и потому, что определения общего характера, всегда необходимые там, где решение выносит третье лицо, скорее дают повод к такого рода конфликтам. Поэтому, например, обеспечение правом личности должника требовало бы, пожалуй, установления большего числа исключений, чем это допускается большинством законов.

Действия, совершаемые с обоюдного согласия, равны тем, кото-

рые производятся одним лицом относительно к другим; поэтому здесь я мог бы только повторить сказанное об этом раньше. Однако среди подобного рода действий встречаются такие, которые требуют совершенно особых определений; это действия, совершаемые не сразу и не полностью, а на протяжении определенного отрезка времени. Сюда относятся все волеизъявления, из которых полностью проистекают обязанности сторон, будь то в одностороннем порядке или обоюдном. Если, например, один передает часть имущества другому, а затем, не сдержав своего обещания, требует возвращения своего имущества, то возникает опасная ситуация. Поэтому одной из важнейших обязанностей государства является наложение гарантий на производимые волеизъявления. Однако принудительность, налагаемая всяким изъятием воли, справедлива и благотворна лишь в том случае, если она, во-первых, ограничивает лишь субъекта волеизъявления и, во-вторых, если он — вообще и в момент выражения своей воли — действовал по здравому размышлению и в соответствии со своим свободным решением. Во всех остальных случаях принуждение столь же несправедливо, сколь вредно. К тому же, с одной стороны, все соображения, связанные с будущим, могут быть лишь в ограниченной степени действительными; с другой — некоторые обязательства могут налагать на свободу такие оковы, что явятся препятствием для развития человека вообще. Следовательно, вторая обязанность государства состоит в том, чтобы лишать противозаконные волеизъявления поддержки закона и принимать все совместимые с имущественной неприкосновенностью меры, чтобы минутная необдуманность не наложила на свободу человека оков, которые будут препятствовать его развитию и задерживать это развитие. В теории права надлежащим образом разъясняется, что требуется для того, чтобы договор или волеизъявление имели законную силу. Мне остается только напомнить, что государство, в ведение которого, согласно вышеприведенным положениям, входит только сохранение безопасности, может исключать из своего ведения либо те случаи, которые уже исключены общими правовыми понятиями, либо те, изъятие которых оправдывается самой заботой о безопасности. К ним относятся преимущественно следующие случаи: 1) если обещающий, перенося какое-либо принудительное право, низводит себя тем самым до положения орудия, служащего намерениям другого, — таким был бы, например, договор, превращающий какого-либо человека в раба; 2) если обещающий не властен исполнить обещанное в силу самой природы обещанного, например по той причине, что оно относится к сфере чувств или веры; 3) если данное обещание само по себе или по своим последствиям либо прямо противоречит, либо угрожает правам других, когда вступают в силу все законоположения, установленные в разделе о действиях отдельных лиц. Различие заключается только в том, что в первом и во втором случае государство лишь отказывает в применении принудительной силы закона, не препятствуя ни волеизъявлениям указанного рода, ни их осуще-

ствлению, если только они совершаются с обоюдного согласия, тогда как в последнем случае государство может и должно объявить недействительным само изъявление воли.

Однако и там, где правомерность договора или волеизъявления не вызывает сомнения, государство может, стремясь ослабить бремя, налагаемое людьми друг на друга даже при их свободной воле, сделать условия расторжения заключенного акта более легкими, чтобы однажды принятое решение не ограничивало волю человека на протяжении довольно значительного периода его жизни. Там, где в договоре речь идет только о передаче вещей и не затрагиваются личные отношения, я считаю подобные меры нежелательными. Ибо, во-первых, в договорах такого рода гораздо реже устанавливаются длительные взаимоотношения контрагентов; затем в этих случаях ограничения наносят значительный вред прочности сделок; и наконец, во многих отношениях, и прежде всего для развития силы суждения и твердости характера, полезно, чтобы раз данное слово связывало нерушимо. Поэтому в данном случае принудительную силу не следует ослаблять без реальной необходимости, которая при передаче вещей возникает редко и хотя может создать какое-то препятствие деятельности человека, но энергия его при этом не ослабляется. Совсем по-иному обстоит дело при договорах, в силу которых принимается обязательство совершать какие-либо действия или устанавливаются какие-либо личные отношения. Здесь принуждение наносит вред самым благородным силам человека, а поскольку успех дел, связанных с ними, в большей или меньшей степени зависит от длительного согласия сторон, то здесь ограничения такого рода менее вредны. Поэтому в тех случаях, когда на основании договора создаются такие личные отношения, которые требуют не только отдельных действий, но в полном смысле этого слова влияют на личность человека и на весь образ его жизни, когда то, что создается, или то, от чего отказываются, находится в самой тесной связи с внутренней жизнью человека,— в таких случаях расторжение договора должно быть допустимо в любое время и без необходимости объяснения каких-либо причин. Это относится, в частности, к браку. Там, где отношения менее близки, хотя личная свобода сильно ограничена, государство должно было бы, как я полагаю, установить срок, продолжительность которого зависела бы, с одной стороны, от важности ограничения, с другой — от характера дела; в течение этого срока ни одна из сторон не имела бы права нарушить договор, но после истечения его договор мог бы быть нарушен без его возобновления, и это не должно было бы повлечь за собой никакого принуждения, даже в том случае, если бы при заключении договора стороны отказались бы от применения данного закона. Потому что даже если такое установление может показаться благодеянием со стороны закона — а оно, как и вообще всякое благо, никому навязываемо быть не может,— то ведь оно никому не препятствует вступать на протяжении всей своей жизни в длительные взаимоотношения; закон запрещает лишь принуждать другого

человека к тому, что может воспрепятствовать достижению его высших целей. Таким образом, это установление не всегда может считаться просто благодеянием: ведь приведенные здесь примеры, и особенно брак (как только эти отношения перестают быть выражением свободной воли), лишь по своей степени отличаются от тех случаев, при которых один человек превращает себя просто в средство для достижения целей другого или, вернее, низводится до этого уровня другим. Проведение границы между справедливым и несправедливым применением вытекающего из договора права принуждения, бесспорно, входит в полномочия государства, то есть общей воли членов общества, поскольку решение вопроса, действительно ли вытекающее из договора ограничение превращает человека, изменившего свою волю, в орудие другого, может быть правильным и соответствующим истинному положению дел только в применении к каждому случаю в отдельности. И наконец, нельзя считать, что благодеяние навязывается только потому, что человек лишается права заранее от него отказаться.

Первые основоположения права устанавливают — на это уже с достаточной определенностью было указано выше, — что заключить законный договор или вообще изъявить свою волю человек может только по поводу того, что действительно является его собственностью, касается *его* действий или *его* владений. Несомненно также, что важнейший аспект заботы государства о безопасности граждан — в той мере, в какой договоры или волеизъявления на эту безопасность влияют, — состоит в том, чтобы следить за осуществлением этого положения. И тем не менее существует целый ряд волеизъявлений, к которым это положение совершенно не применяется. К ним относятся все распоряжения на случай смерти, как бы они ни совершались, прямо или косвенно — только в связи с каким-либо другим договором, в отдельном договоре, в завещании или в каком-либо распоряжении иного рода. Всякое право может относиться только к личности; к вещам же — лишь постольку, поскольку вещи связаны с личностью посредством действий. Поэтому с изменением личности перестает действовать и право. Следовательно, при жизни человек может распоряжаться своими вещами, как ему заблагорассудится: передавать их полностью или частично другому лицу, отчуждать их сущность, пользование ими или владение ими; он может также по своему усмотрению заранее ограничивать свои действия и распоряжения своим имуществом; однако он не имеет никакого права связывать других решением, как после его смерти надлежит распорядиться его имуществом или определять действия будущего владельца. Я не стану останавливаться здесь на возражениях, которые могут быть в данном случае сделаны. Доводы за и против этого достаточно подробно рассмотрены в известной полемике о законности завещаний с точки зрения естественного права; к тому же здесь правовая точка зрения вообще не столь важна, так как оспаривать право общества придавать последним распоряжениям человека недостающую им положительную закон-

ность, конечно, невозможно. Однако при той широте действия, которую присваивает завещаниям большинство наших законодательств на основании нашего обычного права, соединяющего в себе изощренность римских юристов с феодальным властолюбием, созданным ленными отношениями и приводящим к полному распаду общества, эти распоряжения связывают необходимую для развития человека свободу и противоречат всем разработанным в данном исследовании принципам. Ибо они служат главным средством, пользуясь которым одно поколение предписывает правила поведения другому, благодаря чему из века в век передаются по наследству злоупотребления и предрассудки, которые при иных обстоятельствах вряд ли пережили бы причины, делающие их появление неизбежным, а их существование необходимым. В результате не люди придают вещам определенный образ, а вещи подчиняют себе людей. К тому же такие распоряжения больше всего отвлекают внимание человека от развития истинной силы и направляют это внимание на заботу о внешнем обладании, на заботу об имуществе, поскольку только последнее может заставить следовать воле человека даже после его смерти. Наконец, необходимо заметить, что завещания очень часто, даже в большинстве случаев, способствуют проявлению низких страстей: гордости, властолюбия, тщеславия и др. Вообще следует сказать, что к этому склонны чаще всего люди менее мудрые и менее добрые, поскольку мудрый человек поостережется отдавать распоряжения, относящиеся ко времени, индивидуальные особенности которого скрыты от его взора; а человек более высоких нравственных качеств будет даже рад возможности не ограничивать волю других, вместо того чтобы жадно искать повод для этого. Часто тайна завещаний и уверенность в том, что они не станут предметом обсуждения, способствуют распоряжениям такого рода, от которых в противном случае удержало бы чувство стыда. Эти доводы в достаточной степени, как мне кажется, убеждают в необходимости устранить по крайней мере ту опасность, которую завещания создают свободе граждан.

Но чем заменить распоряжения на случай смерти, если бы государство, как того требуют строгие принципы, действительно полностью отменило это право? Поскольку сохранение порядка и спокойствия не допускает в этом вопросе своеволия, то бесспорным должен быть только установленный государством законный порядок наследования. Но, с другой стороны, предоставление столь сильного положительного влияния государству, которое оно обрело бы при таком порядке наследования, когда волеизъявления завещателей были бы полностью отменены, противоречит многим приведенным выше положениям. Не раз уже обращалось внимание на тесную связь между порядком законного наследования и политическим устройством государства, и этот фактор легко можно было бы использовать и для иных целей. Вообще, многообразная и меняющаяся воля отдельных людей предпочтительнее однообразной и неизменной воли государства. К тому же при всех недостатках,

связанных с правом завещания, все-таки жестоко лишать человека невинной радости при мысли, что он и после своей смерти может оказать благодеяние ближнему; и если слишком широкое распространение этого права ведет к тому, что имуществу придается слишком важное значение, то полная отмена этого права может привести к противоположному злу. К тому же свобода завещать свое имущество любому создает между людьми новую связь, которой, правда, нередко сильно злоупотребляют, но которая иногда может оказывать и весьма благотворное действие. И, может быть, цель приведенных здесь идей достаточно верно определить следующим образом: они направлены на то, чтобы сломать все налагаемые на общество оковы и охватить его по возможности большим числом связей. Человек, изолированный от общества, столь же неспособен к развитию, как и человек скованный. И наконец, какая разница в том, дарит ли человек кому-либо свое имущество перед смертью, на что он имеет несомненное и неотъемлемое право, или оставляет его по завещанию?

Противоречие, к которому как будто привели все доводы за и против права завещания, разрешается, как мне представляется, следующим соображением. Волеизъявление на случай смерти может содержать два предписания: 1) указание на личность того, кто непосредственно наследует оставленное имущество; 2) определение того, как он им распорядится, кому в свою очередь может его завещать и какова вообще должна быть дальнейшая судьба этого владения. Все перечисленные здесь недостатки связаны со вторым пунктом, все достоинства — с первым. Ведь если по закону, как это и должно быть, установлена обязательная доля наследования, которая не позволяет завещателю совершить несправедливость, то желание одарить кого-нибудь после своей смерти не представляет собой, как мне кажется, особой опасности. К тому же основания, которыми люди будут руководствоваться, окажутся для каждого времени более или менее одинаковыми, и большее или меньшее число завещаний само по себе послужит законодателю признаком того, целесообразен ли введенный им закон о наследовании. Не следует ли, имея в виду двойственность этой проблемы, разделить и мероприятия государства, связанные с ней? С одной стороны, предоставить каждому право решать, *кто* будет владеть его имуществом после его смерти — конечно, за исключением обязательной доли наследования; с другой — запретить ему каким бы то ни было образом предписывать наследнику, как ему надлежит распоряжаться этим имуществом. Правда, при этом легко могло бы возникнуть злоупотребление, при котором то, что разрешено государством, служило бы средством совершать также то, что им запрещено. Дело законодательства предотвратить это отдельными четкими постановлениями. В качестве таковых можно было бы предложить, поскольку полное рассмотрение этого вопроса сюда не относится, например, следующие: наследник не должен быть связан при получении наследства какими бы то ни было обязательствами, которые ему надлежит вы-

полнить после смерти завещателя; завещателю разрешается назначить только своего непосредственного наследника, но не того, к кому впоследствии должно перейти его имущество, чтобы не ограничивать тем самым свободу своего непосредственного наследника; он может назначить несколько наследников, но не обязан делать это; он может делить вещь по ее объему, но ни в коем случае не по правам на нее, например таким, как право собственности или право пользования и т. д. Ибо из этого, как и из тесно связанной с этим идеи, что наследник представляет завещателя (которая, если я не ошибаюсь, так же, как и многое другое, что впоследствии обрело для нас очень важное значение, восходит к формализму римлян, следовательно, к несовершенному судоустройству еще только формирующегося народа), проистекает множество неудобств и ограничений свободы. Всего этого можно избежать, если не забывать о том, что завещателю разрешено лишь одно: назвать своего наследника; что государство, если этот акт законен, должно помочь наследнику вступить во владение наследством, но отказать в своей поддержке всякому дальнейшему волеизъявлению завещателя.

В том случае, если наследник не назначен, государство должно установить законный порядок наследования. Однако разработка положений, которые должны лежать в основе как этого решения, так и определения обязательной доли наследования, не входит в мою задачу; поэтому я считаю возможным ограничиться замечанием, что и здесь государство не должно руководствоваться позитивными целями, такими, например, как желанием сохранить блеск и благосостояние отдельных родов, или противоположной крайностью — стремлением раздробить имущество посредством увеличения числа наследников или, наконец, предоставлением большей поддержки там, где в этом наибольшая потребность. Оно должно исходить исключительно из правовых понятий, которые сводятся здесь, может быть, единственно к понятию совместной собственности при жизни прежнего владельца, и поэтому предоставляют преимущественное право наследования семье, затем общине и т. д. ¹.

Очень близок проблеме нашего исследования еще один вопрос: в какой мере договоры, заключенные при жизни человека, переходят на его наследников? Ответ на этот вопрос вытекает из установленного нами положения, которое гласит: человек может при жизни любым образом ограничивать свои действия и отчуждать свое имущество, но не вправе определять в завещании действий того, кто должен унаследовать его имущество, или делать какие-либо распоряжения подобного рода (в противном случае потребовал бы подтверждения и самый факт назначения наследника). Поэтому на

¹ Очень многое из сказанного выше я заимствовал из речи Мирабо; я мог бы воспользоваться ею еще в большей степени, если бы политическая точка зрения Мирабо не была бы совершенно чужда поставленной мной цели. См.: „Collection complete des travaux de Mr. Mirabeau l'ainé à l'Assemblée nationale“, t. 5, p. 498—524.

наследника должны переходить все те обязательства умершего владельца, а также обязательства других по отношению к нему, в которых речь действительно идет о сделках имущественного характера, то есть которые уменьшают или увеличивают завещанное имущество; напротив, это не распространяется на те договоры, по которым прежний владелец имущества обязывался к определенным действиям, или на те, которые вообще касались только его личности. Однако даже при наличии таких ограничений возможность того, что договоры, заключенные при жизни завещателя, свяжут его наследников, достаточно велика. Ибо ведь отчуждать можно не только имущество, но и права, а это необходимым образом должно распространяться и на наследников, которые могут находиться только в том же положении, в каком находился сам завещатель, а между тем общее право собственности на одну и ту же вещь всегда влечет за собой принуждение в личных отношениях. Поэтому, если не необходимо, то по крайней мере желательно было бы, чтобы государство либо запретило заключать подобные договоры, если они не ограничены продолжительностью жизни сторон, либо по крайней мере облегчило бы способы реального раздела имущества там, где подобные отношения уже возникли. Подробное рассмотрение этого вопроса не входит в мою задачу, поскольку такого рода постановления, как мне представляется, должны осуществляться не посредством общих положений, а посредством отдельных, имеющих в виду определенные договоры законов.

Чем меньше человек вынужден действовать не так, как требует того его воля и позволяют ему его силы, тем благоприятнее его положение в государстве. Когда я с этой точки зрения, вокруг которой, собственно говоря, и вращаются все предложенные в данной работе идеи, обозреваю нашу юрисдикцию по гражданским делам, то мое внимание привлекает, наряду с другими, менее существенными вопросами, один чрезвычайно важный, а именно права обществ, которые, в отличие от физических лиц, называют юридическим лицом. Поскольку они всегда представляют собой независимое от числа своих членов целое, претерпевающее в течение многих лет лишь незначительные изменения, то к ним уж по меньшей мере относятся все те недостатки, о которых говорилось выше в связи с завещаниями. Если у нас значительная часть причиняемого ими вреда проистекает из установлений, не обязательно связанных с их природой как таковой, а именно из исключительных привилегий, которые либо официально предоставляются им государством, либо молчаливо признаются за ними обычаем, вследствие чего они становятся настоящими политическими инстанциями, — то они и сами по себе приводят к большему количеству неудобств. Происходит же это только тогда, когда устав общества либо принуждает всех его членов против их желания к тому или иному использованию общественных средств, либо когда, для того чтобы принять единогласное решение, позволяет меньшинству подчинить своей воле волю большинства. В остальном же общества и союзы сами по

себе не только не ведут к вредным последствиям, но являются одним из наиболее верных и целесообразных средств, которые способствуют развитию человека и ускоряют его. Самое лучшее, что могло бы сделать государство,— это установить, чтобы каждое юридическое лицо или общество рассматривалось только как объединение наличных на данном этапе членов, которым ничто не должно препятствовать решать большинством голосов любые вопросы, связанные с применением совместных сил и средств. Но при этом членами общества следует считать только тех, кто действительно служит ему опорой, а не тех, кем общество пользуется как орудием — заблуждение, не раз возникавшее, особенно тогда, когда выносилось суждение о правах духовенства.

На основании всего изложенного выше, можно считать, как мне кажется, обоснованными следующие положения.

В тех случаях, когда человек не остается только в сфере своих сил и своей собственности, а совершает действия, непосредственно касающиеся других, забота о безопасности налагает на государство следующие обязанности:

1) При совершении действий без ведома или против воли другого лица государство должно проследить, чтобы это не препятствовало данному лицу пользоваться своими силами и владеть своей собственностью; в случае нарушения его прав государство должно принудить обидчика возместить причиненный ущерб, но вместе с тем воспрепятствовать тому, чтобы обиженный под тем или иным предлогом пытался отомстить обидчику.

2) Действия, совершаемые с добровольного согласия другого лица, государству надлежит поставить в те же, но не в более тесные пределы, чем те, которые были установлены выше, когда речь шла о действиях отдельных людей (см. с. 95).

3) Если среди упомянутых здесь действий встретятся такие, из которых в будущем могут возникнуть определенные права и обязанности (односторонние и взаимные изъявления воли, договоры и т. п.), то государство обязано защищать проистекающее из них принудительное право во всех тех случаях, когда оно было принято в силу свободного решения и в здравом уме и касалось предмета, находящегося в распоряжении данного лица; однако государство не должно прибегать к принуждению в тех случаях, когда отсутствует одно из этих условий или когда этим противозаконно окажется ущемлено какое-либо третье лицо на основании введенного против его воли или без его ведома условия.

4) Даже при законных договорах в том случае, если из них вытекают такие личные обязательства или, вернее, такие личные отношения, которые значительно ограничивают свободу, государству надлежит облегчить их расторжение (даже против воли какой-либо из сторон), в зависимости от того, в какой степени это ограничение наносит вред внутреннему развитию личности. Поэтому в тех случаях, когда выполнение вытекающих из данного отношения обязательств связано с внутренними чувствами, расторжение договора

следует допускать всегда и независимо от установленного срока; там же, где, несмотря на значительные ограничения, это обстоятельство отсутствует, государство должно определить время возможного расторжения договора, руководствуясь степенью ограничения и характером сделки.

5) *Если кто-либо хочет распорядиться своим имуществом на случай своей смерти, то хотя и желательно, чтобы ему было предоставлено право назначения ближайшего наследника без какого бы то ни было условия, ограничивающего его право свободно распоряжаться унаследованным имуществом, но все же*

6) *необходимо полностью запретить такого рода распоряжения и одновременно учредить законный порядок наследования и установить определенную долю обязательного наследования.*

7) *Хотя заключенные при жизни завещателя договоры, в той мере, в какой они видоизменяют характер завещанного имущества, должны переходить на наследников или же исполняться по отношению к ним, государство тем не менее не должно допускать дальнейшего распространения этого положения. Напротив, желательнее было бы, если бы отдельные договоры, создающие тесные, ограничивающие отношения между сторонами (например, при разделении прав на одну и ту же вещь между несколькими лицами), государство разрешало заключать только на срок жизни или чтобы наследнику той или иной части было разрешено выделение ее из совокупного права наследников. Ибо, если здесь и не действуют те же основания, о которых шла речь выше, при разборе личных отношений, то и наследникам здесь предоставляется меньшая свобода в выражении своего согласия, а длительность устанавливаемых отношений строго не определена.*

Если бы обоснование моих положений мне полностью удалось, они могли бы послужить руководством во всех тех случаях, когда гражданскому законодательству надлежит заботиться о сохранении безопасности. Я не сказал здесь ничего, например, о юридических лицах, так как, коль скоро подобные общества возникают — в силу последнего волеизъявления или на основании договора, — они и подчиняются решениям, изложенным в положениях об этих обществах. Однако уже само количество предусмотренных в гражданском законодательстве случаев не позволяет мне надеяться на успех моего предприятия.

Глава XII

Забота государства о безопасности, которая выражается

в законном разрешении споров между гражданами

Безопасность граждан в обществе основана преимущественно на передаче государству всех забот о соблюдении прав граждан.

Из этого, однако, вытекают обязанности государства предоставлять гражданам то, чего они уже своими силами достигнуть не могут, то есть решать спорные вопросы о праве того или иного лица и защищать от посягательств того, на чьей стороне окажется право. Тем самым государство выступает вместо граждан, не преследуя никаких собственных целей. Ибо безопасность действительно нарушается только тогда, когда тот, чье право нарушено, или кто считает, что оно нарушено, не хочет терпеливо сносить обиду, но не тогда, когда он либо соглашается с положением дел, либо имеет какие-либо основания не добиваться удовлетворения. Даже в том случае, если небрежение своим правом вызвано неосведомленностью или инертностью, государство не должно по своей воле вмешиваться в сложившиеся отношения. Оно выполнило свой долг, если только позаботилось о том, чтобы запутанные, темные или недостаточно широко обнародованные законы не дали повода к этому. Такими же соображениями можно обосновать и все остальные средства, которыми государство пользуется для выявления права в тех случаях, когда оно действительно преследуется. Государство не должно продвигаться ни на шаг далее, чем это обусловлено волей сторон. Поэтому главным принципом судопроизводства должен бы непременно быть следующий: никогда не искать правды как таковой вообще, а всегда лишь в тех пределах, в каких на этом настаивает сторона, имеющая право требовать расследования. Однако и здесь существуют ограничения. Государство должно удовлетворять не всякое требование сторон, а только то, которое способно прояснить спорное право и допустить применение средств, которыми каждый человек мог бы пользоваться против другого и вне государственного союза, а именно в том случае, когда между ними идет спор только о праве, и при этом когда один ничего не отнял у другого или по крайней мере когда последнее не доказано. Привлекаемая при этом власть государства должна только обеспечить применение этих средств и гарантировать их действенность. В этом состоит различие между гражданским и уголовным процессом: в гражданском процессе последним средством для выявления истины служит присяга, а в уголовном процессе государство располагает большей свободой действий. Поскольку при расследовании спорного права судья как бы стоит между обеими сторонами, в его обязанность входит воспрепятствовать тому, чтобы какая-нибудь из сторон не лишилась по вине другой возможности достигнуть своей цели и не встретила в этом противодействия; отсюда следует столь же необходимое другое положение: держать под особым наблюдением поведение сторон во время процесса и следить за тем, чтобы процесс приближался к конечной цели, а не удалялся от нее. Самое полное и строгое соблюдение обоих этих основоположений привело бы, по моему мнению, к созданию наилучшего судопроизводства. Ибо, если упускается из виду второе условие, то каверзам сторон, небрежности и своекорыстию адвокатов предоставляется излишняя свобода; процесс становится запутанным, дли-

тельными, дорогим, а решения — неверными и часто не соответствующими ни самому делу, ни мнению сторон. Более того, эти упущения ведут даже к увеличению числа тяжб и росту сутяжничества. Если же пренебречь первым условием, то процесс примет инквизиторский характер, судья получит слишком большую власть и будет вмешиваться во все детали частной жизни граждан. В реальной жизни мы находим немало примеров обеих крайностей, и опыт свидетельствует о том, что если одна крайность незаконна и слишком ограничивает свободу, то другая наносит ущерб владению собственностью.

Для дознания и исследования истины судье нужны ее признаки, то есть доказательства. Поэтому соображение, что право только тогда обретает действительную силу, когда оно, будучи оспариваемо, может быть доказано перед лицом судьи, предоставляет законодательству новую отправную точку. Из этого проистекает необходимость в новых ограничительных законах, предписывающих совершаемым сделкам такие свойства, которые позволили бы в будущем признать их действительность или законность. Необходимость в таких законах отпадает по мере того, как совершенствуется судопроизводство; более всего они необходимы там, где судопроизводство находится на наиболее низком уровне и поэтому нуждается в наибольшем количестве внешних данных. Поэтому больше всего формальностей наблюдается у народов, стоящих на самом низком культурном уровне. У римлян, например, виндикация поля прошла различные стадии: сначала необходимо было присутствие сторон на самом поле, затем нужно было принести на судебное заседание горсть земли с этого поля, позже стали произносить только торжественные формулы, а на последнем этапе не требовалось и этого. Следовательно, судопроизводство везде, и особенно у менее цивилизованных наций, оказывало сильное влияние на законодательство, и это влияние отнюдь не ограничивалось одними формальностями. Напомню вместо примера римское учение о пактах и контрактах, которое, как ни мало оно еще исследовано, вряд ли может рассматриваться с иной точки зрения. Проследить это влияние в законодательствах разных времен и народов было бы, помимо ряда других причин, полезно прежде всего и потому, что таким путем можно установить, какие из этих законов вообще необходимы и какие связаны только с местными условиями, ибо устранить все подобные ограничения, даже если бы это было возможно, вряд ли целесообразно. Во-первых, оказалось бы недостаточно затруднена возможность обмана, например подтасовка фальшивых документов, затем увеличилось бы число процессов или — если это, быть может, само по себе еще не считается злом, — слишком многочисленными стали бы поводы для нарушения спокойствия людей ненужными тяжбами. Даже если не принимать во внимание тот вред, который сутяжничество наносит человеку, влияя на состояние его имущества, занимая его время и нарушая его душевное спокойствие, оно прежде всего оказывает самое дурное влияние на его ха-

ракти, ничем не возмещая наносимый им вред. Формализм опасен еще и тем, что затрудняет деловые отношения и ограничивает свободу, что всегда вызывает опасения. Поэтому закон должен и здесь избрать средний путь: требовать соблюдения формальностей только тогда, когда это необходимо для обеспечения законности сделок, для устранения возможности обмана или облегчения доказательства, и даже в этих случаях — только тогда, когда формальности необходимы ввиду особых обстоятельств, где без них слишком легко могла бы возникнуть угроза обмана, а доказательство было бы слишком затруднено; при этом устанавливаются следующие формальные правила, соблюдение которых не влечет за собой слишком больших трудностей, и полностью упразднить их во всех тех случаях, когда они не только затрудняют, но и делают едва ли не невозможным ведение дел. Следовательно, надлежащее внимание к безопасности и к свободе ведет, по-видимому, к следующим основоположениям:

1) *Одна из первейших обязанностей государства состоит в дознании и расследовании правовых тяжб, возникающих между гражданами. Государство становится при этом на место сторон, и подлинная цель его вмешательства заключается только в том, что оно, с одной стороны, защищает от несправедливых требований, с другой — придает справедливым притязаниям ту силу, которую граждане могли бы им придать только ценой нарушения общественного спокойствия. Поэтому в ходе расследования оспариваемого права государство должно следовать воле сторон в той мере, в какой эта воля имеет правовое обоснование, и препятствовать любой попытке какой-либо стороны пользоваться противозаконными средствами в ущерб другой.*

2) *Вынесение судьей решения по спорному праву допустимо только на основании определенных, предписываемых законом признаков истины. Отсюда проистекает необходимость законов нового типа, а именно таких, в которых предписывается придавать юридическим сделкам определенный характер. При установлении этих законов законодатель должен всегда руководствоваться тем, чтобы надлежащим образом гарантировать аутентичность юридических сделок и не слишком затруднять ход доказательства в процессе; вместе с тем законодатель должен стремиться избежать другой крайности — излишних затруднений при ведении дел и, наконец, никогда не принимать таких постановлений, которые могли бы полностью приостановить ведение дел.*

Глава XIII

Забота государства о безопасности посредством наказания за нарушение государственных законов (Уголовные законы)

Последним и, вероятно, наиболее действенным средством для обеспечения безопасности граждан является наказание за нарушение государственных законов. Поэтому развитые выше принципы необходимо применить и в этой сфере. Прежде всего возникает следующий вопрос: за какие действия государство налагает наказания, какие действия оно считает преступными? Исходя из предыдущего, ответить на это нетрудно. Поскольку конечная цель государства состоит в безопасности граждан, оно может ограничивать только те действия, которые препятствуют достижению этой цели, и только эти действия заслуживают соответствующего наказания. Дело не только в том, что вред, наносимый этими действиями, слишком серьезен, чтобы не противодействовать ему любыми целесообразными и дозволенными средствами, — ведь он касается как раз того, что наиболее необходимо человеку как для его спокойствия, так и для развития его сил; но уже в соответствии с основными правовыми положениями каждый должен смириться с тем, что наказание в такой же мере как бы вторгается в сферу его права, в какой его преступление вторглось в сферу прав другого. Напротив, запрещение наказывать за действия, которые относятся только к самому действующему лицу или совершаются с согласия того, против кого они направлены, вытекает из тех положений, которые не разрешают даже ограничивать такие действия. На этом основании наказанию не подлежали бы не только все так называемые плотские преступления (за исключением изнасилования) — независимо от того, оскорбляют они нравственные чувства или нет (такие, как попытка самоубийства и т. п.), — но даже убийство другого человека, совершенное с его согласия, если бы в данном случае возможность опасного злоупотребления не вызывала необходимости применения уголовного закона. Кроме законов, запрещающих непосредственное нарушение чужих прав, существуют другие виды законов, которые частично были уже упомянуты выше, а частично будут приведены в дальнейшем. Однако поскольку конечная цель государства совпадает с целью, которую преследуют эти законы, то и здесь наказание применяется только в том случае, если само нарушение закона непосредственно не влечет за собой наказания (как, например, нарушение запрещения фидеикомиссов влечет за собой недействительность сделанного распоряжения). Наказание в таких случаях тем более необходимо, что иначе здесь полностью будет отсутствовать принудительное средство, заставляющее следовать закону.

От объекта наказания я обращаюсь теперь к самому наказанию. Установить, даже в самом общем определении, меру наказания или хотя бы только указать ту границу, которую оно никогда не должно преступать, в исследовании общего характера, не принимающем во внимание местные условия, я считаю невозможным. Наказания должны быть злом, которое устрашает преступника. Но степень физического и нравственного восприятия бесконечно различна и меняется в зависимости от места и времени. Поэтому то, что в одном случае с полным основанием считается жестокостью, в другом может быть вызвано необходимостью. Несомненно только одно: совершенство системы наказаний прямо соответствует степени их мягкости, разумеется, если они сохраняют при этом свою действительность, и не только потому, что не слишком жесткие наказания сами по себе являются меньшим злом, но и потому, что они наиболее достойным человека образом уводят его от преступлений. Ведь чем менее болезненны и страшны наказания физические, тем более они тяжелы нравственно; напротив, сильное физическое страдание притупляет у того, кто его переносит, чувство стыда, а у того, кто их видит, чувство неодобрения. Поэтому мягкие наказания можно применять значительно чаще, чем это представляется на первый взгляд, так как они уравниваются нравственным воздействием. Вообще, надо сказать, что действительность наказаний полностью зависит от того впечатления, какое они производят на преступника, и можно почти с уверенностью исходить из того, что в ряду правильно расположенных степеней наказаний безразлично, какая из них будет считаться высшей, так как действие наказания зависит не столько от его характера, сколько от того места, которое оно занимает в ряду наказаний, и высшей степенью наказания часто считают ту, которая признана таковой государством. Я говорю «почти» потому, что совершенно верно это утверждение было бы только в том случае, если бы наказание со стороны государства было единственным злом, угрожающим гражданину. Но поскольку это не так, более того, часто именно весьма реальные беды и заставляют человека совершать преступление, то при вынесении приговора о высшей мере наказания, как и вообще наказаний, призванных предотвращать зло, надлежит исходить именно из этого. Гражданин, который будет пользоваться той высокой степенью свободы, какую ему смогут предоставить (если закон введет в силу выдвинутые здесь соображения), будет пользоваться большим благосостоянием, настроение его будет светлее, а фантазия ярче, и наказания, сохраняя всю силу своего воздействия, смогут стать менее суровыми. Ведь несомненно, что все доброе и благотворное находится в паразитической гармонии, и достаточно пробудить что-нибудь *одно*, чтобы насладиться благодатным воздействием всего остального. Поэтому единственное общее положение, которое можно предложить в этой области, сводится, как я полагаю, к тому, что высшая мера наказания должна соотносываться с местными условиями и, в зависимости от этих условий, по возможности смягчаться.

Только *один* вид наказаний следовало бы, по моему мнению, полностью исключить, это наказания, которые бесчестят человека, порочат его репутацию, так как честь человека, доброе мнение о нем сограждан не находится во власти государства. Поэтому наказания такого рода могут заключаться только в том, что государство лишает преступника *своего* уважения и *своего* доверия и разрешает это безнаказанно совершать другим. Хотя нельзя отрицать право государства обращаться к такому средству там, где оно считает это необходимым, и хотя это может быть даже его прямой обязанностью, тем не менее обнародование подобного решения я не считаю целесообразным. Ибо, во-первых, оно предполагает известную последовательность в неправомерных поступках того, кто подвергается наказанию, что в действительности встречается редко, во-вторых, подобное заявление государства, даже если оно выражено в самой мягкой форме, как простое изъявление справедливого недоверия с его стороны, всегда слишком неопределенно и поэтому само по себе создает возможность злоупотреблений, а также по самой последовательности принципов охватывает больше случаев, чем того требует дело. Характер доверия, которое можно питать к человеку вследствие разнообразия связанных с ним обстоятельств, столь многообразен, что из всех видов преступлений я вряд ли могу обнаружить такое, которое лишило бы преступника доверия одновременно во всех его разновидностях. Между тем именно к этому ведет лишение чести, сделанное в общей форме, и человек, нарушивший тот или иной закон, о чем вспоминали бы лишь при определенных обстоятельствах, всегда несет на себе клеймо бесчестия. О том, насколько это наказание жестоко, свидетельствует, безусловно, никому из людей не чуждое чувство, что без доверия окружающих сама жизнь теряет свою ценность. Применение этого наказания связано и с другими трудностями. Недоверие к добропорядочности должно, по существу, всегда проявляться там, где обнаруживается ее недостаточность. На какое количество случаев это наказание должно быть тем самым распространено, очевидно. Не меньшая трудность связана и с другим вопросом: сколько времени должно действовать наказание? Нет сомнения в том, что каждый справедливый человек захочет ограничить его определенным сроком. Но разве во власти судьи сразу в какой-то определенный момент вернуть гражданину доверие его сограждан, которого он долго был лишен? И наконец, разве не будет противоречить всем принципам нашего исследования, если государство в каком бы то ни было направлении начнет влиять на мнение граждан? Я полагаю, что было бы более целесообразно, если бы государство ограничилось своей прямой обязанностью защищать граждан от подозрительных личностей и повсюду, где это может быть необходимо, например при замещении должностей, признании достоверности свидетельских показаний, установлении прав опеки и т. д., предписывало бы посредством четко сформулированных законов, что люди, совершившие те или иные преступления, понесшие то или

иное наказание, в данном случае этого права лишаются; в остальном же государство должно было бы полностью воздерживаться от каких-либо общих заявлений о недоверии и тем более лишения чести того или иного человека. Тогда было бы очень легко установить срок, по истечении которого такое наказание теряло бы свою силу. Что государству, впрочем, дозволено позорными наказаниями воздействовать на чувство чести его граждан, в напоминании не нуждается. Нет необходимости также повторять, что не может быть допустимо наказание, действие которого распространяется не только на преступника, но и на его детей или родственников, что в равной мере противоречило бы справедливости и правомерности; жестокость подобного наказания не в состоянии смягчить даже то, с какой осторожностью об этом говорится в Прусском уложении, во всех остальных отношениях, безусловно, замечательном¹.

Если абсолютная мера наказания и не допускает общего определения, то для относительной меры оно совершенно необходимо. Следует определить, в соответствии с чем же, собственно говоря, должна быть установлена степень наказания за различные преступления? Согласно разработанным выше принципам — только в соответствии со степенью неуважения к чужому праву, которая, поскольку здесь речь идет не о применении уголовного закона к отдельному преступнику, а об общем определении наказания вообще, должна соответствовать праву, нарушенному преступником. На первый взгляд самым естественным основанием для этого было бы определение степени того, насколько легко или трудно было предотвратить преступление, и тогда степень наказания должна была бы соответствовать числу мотивов, которые побуждали совершить преступление или удерживали от него. Однако при правильном понимании этого принципа он оказывается тождественным тому, о котором только что шла речь. Ибо в благоустроенном государстве, где в самом устройстве ничто не может побуждать к преступлению, не может быть иной причины, кроме такого неуважения к чужому праву, на основе которого возникают влекущие к преступлению импульсы, склонности, страсти и т. п. Если же понимать этот принцип иначе, полагать, что степень наказания всегда должна зависеть от того, насколько часто в условиях данного места и времени эти преступления совершаются, или от того, что в силу самой их природы им менее противодействуют нравственные основания (как это часто случается при нарушении полицейских предписаний), то этот критерий одновременно несправедлив и вреден. Несправедлив он потому, что, как ни правильно считать целью всякого наказания предотвращение на будущее время всяких нарушений и видеть в этом единственную цель, которую преследуют все наказания, но обязанность преступника нести наказание проистекает, собственно говоря, из того соображения, что

¹ Th. 2. Tit. 20, 95.

каждый должен терпеливо переносить попрание своих прав со стороны другого в той мере, в какой он сам нарушил его права. На этом основывается указанная обязанность, и не только вне государственного союза, но и внутри него. Ссылаться при этом на взаимный договор не только бесполезно, но иногда ведет и к определенным трудностям; например, при таком объяснении вряд ли могла найти оправдание необходимая в местных условиях смертная казнь; кроме того, каждый преступник мог бы избежать наказания, если бы, не дожидаясь его, отказался от участия в общественном договоре, что, например, имело место в древних свободных государствах, где многие правонарушители принимали добровольное изгнание (которое, впрочем, если мне не изменяет память, допускалось только при государственных преступлениях, а не при преступлениях против частных лиц).

Далее, самому нарушителю воспрещается судить о действительности наказания; и какая бы уверенность ни была в том, что потерпевший может не опасаться вторичного нарушения своих прав, нарушитель обязан признать справедливость наказания. Однако, с другой стороны, из этого же основания вытекает, что он вправе законно противиться наказанию, превосходящему меру его преступления, как бы ни представлялось очевидным, что необходимое действие может оказать только эта, а не более мягкая кара. Между внутренним осознанием права и ощущением внешнего счастья существует, по крайней мере в идее, безусловная связь, и нельзя отрицать, что в представлении человека первое дает ему право на второе. Имеет ли какие-либо основания эта надежда на счастье, которое дарит ему судьба или в котором она ему отказывает,— этот вызывающий большие сомнения вопрос здесь рассматриваться не будет. Однако право человека на то счастье, которое ему могут по своей воле дать или которого его могут лишить другие, должно быть безусловно признано,— между тем упомянутый принцип как будто отрицает его, по крайней мере на практике. Такой критерий в определении наказания наносит вред даже самому принципу безопасности граждан. Ибо, принуждая к повиновению тому или иному закону, он вместе с тем дезориентирует моральное чувство, то есть то, что как раз и составляет самую надежную опору для безопасности граждан в государстве, вызывая ощущение несоответствия между обращением, которому подвергается преступник, и осознанием им своей собственной вины. Внушить уважение к чужому праву — единственно верное средство предотвратить преступления. Достигнуто же это не будет, если каждый нарушивший чужое право не окажется именно в такой же мере ограничен в пользовании своим; никакого несоответствия между тем и другим быть не должно. Только такое соответствие позволяет сохранить гармонию между моральным развитием человека и процветанием государственных учреждений, без которой даже самое изощренное законодательство не достигает своей конечной цели. Насколько пользование вышеупомянутым критерием затруднило бы достижение всех остальных

конечных целей людей, насколько оно противоречит всем содержащимся в данной работе принципам, очевидно и не требует дальнейшего разъяснения. Но и соответствие между преступлением и наказанием, которого требуют рассмотренные здесь идеи, также не может быть определено абсолютно; нельзя в общей форме утверждать, что то или иное преступление заслуживает именно того или другого наказания. Такое соответствие может быть установлено только при наличии разработанного ряда различных по своей значимости преступлений, причем назначенные за эти преступления наказания также должны быть распределены по соответствующим степеням их значимости рубрикам. Поэтому если, как было указано выше, определение абсолютной меры наказания, например высшей, должно соизмеряться величиной причиненного зла и исходить из необходимости предотвратить подобные преступления в будущем, то относительная мера остальных наказаний, после того как высшее или вообще какое-нибудь наказание установлено, определяется степенью большей или меньшей преступности по сравнению с той, которую надлежало предотвратить посредством первого наказания. Поэтому более суровыми наказаниями следовало бы карать те преступления, которые действительно вторгаются в область чужого права, более мягкими — те, которые нарушают законы, предназначенные препятствовать этому, независимо от того, насколько важны и необходимы эти законы сами по себе. Тем самым будет одновременно устранено нередко возникающее у граждан представление, будто действия государства по отношению к ним произвольны и недостаточно мотивированы — предассудок, который легко возникает в тех случаях, когда суровые наказания налагаются за проступки, либо действительно имеющие весьма отдаленное отношение к безопасности, либо когда связь между тем и другим нелегко обнаруживается. Наиболее строго из всех названных преступлений должны караться те, которые прямо и непосредственно посягают на права государства, так как тот, кто не уважает прав государства, неспособен уважать и права своих сограждан, безопасность которых полностью зависит от прав государства.

После того как преступления и наказания в общей форме определены законом, этот уголовный закон надлежит применить к отдельным преступлениям. При этом уже из самих основоположений права следует, что наказание должно налагаться в соответствии со степенью умысла или вины преступника, проявившихся в его действиях. Однако если точно следовать вышеприведенному принципу, согласно которому всегда карается неуважение чужого права, и только оно, то этим принципом не следует пренебрегать и при наложении наказания за отдельные преступления. Поэтому в каждом преступлении судья должен стремиться выявить по возможности намерение преступника, а закон должен предоставлять ему право видоизменять установленное в общей форме наказание применительно к индивидуальному случаю, в соответствии со степенью неуважения к чужому праву, которое проявил преступник.

Обращение с преступником во время следствия определено как общими основоположениями права, так и сказанным выше. Судья должен применять все законные средства для раскрытия истины, но не прибегать к тем, которые находятся вне закона. Прежде всего он обязан проводить строгое различие между гражданином, который только вызывает подозрение, и уличенным преступником и не использовать по отношению к первому такие же приемы, какими он пользуется по отношению ко второму; но даже и того, кто уличен в преступлении, судья не должен ущемлять в правах человека и гражданина, так как первых он лишается только с жизнью, вторых — лишь в силу законного исключения судебным порядком из государственного союза. Применение средств, которые, по существу, построены на обмане, столь же недопустимо, как и применение пытки. Если эти приемы и можно оправдывать тем, что подозреваемый или даже преступник сам вызывает на это своими действиями, то тем не менее они несовместимы с достоинством государства, представителем которого является судья; а какое благотворное влияние открытый и прямой образ действий даже по отношению к преступнику оказал бы на характер нации, очевидно не только само по себе, но и подтверждается опытом тех государств, где, как, например, в Англии, законодательство носит более благородный характер.

В заключение, говоря об уголовном праве, следует попытаться рассмотреть еще один вопрос, получивший особое значение в законодательстве последнего времени; я имею в виду следующее: в какой мере государство имеет право или обязан предупредить преступления, не ожидая их совершения. Вряд ли существует какая-либо другая деятельность, в основе которой лежали бы столь гуманные намерения. Но именно поэтому уважение, которое эта деятельность вызывает в каждом глубоко чувствующем человеке, может стать преградой на пути беспристрастного расследования. Тем не менее не стану отрицать, что я считаю такое расследование совершенно необходимым, ибо, принимая во внимание бесконечное разнообразие душевных движений, на основе которых может сложиться преступное намерение, его, по-видимому, невозможно не только предотвратить, но даже сама попытка воспрепятствовать его осуществлению представляется сомнительной с точки зрения свободы. Поскольку выше (см. с. 90—96) я пытался установить права государства на ограничение действий отдельных людей, то может создаться впечатление, что этим я уже дал ответ на поставленный здесь вопрос. Однако если там я указал, что государство должно ограничивать действия, последствия которых легко могут стать опасными для других, то под этим я понимал — о чем свидетельствует и мое обоснование этого утверждения — такие последствия, которые сами по себе проистекают исключительно из задуманного действия и могли бы быть предотвращены разве только при особой осторожности того, кто это действие совершает. Напротив, когда говорят о предупреждении преступлений, то имеют, конечно, в виду

ограничение таких действий, которые легко ведут к следующему действию, то есть к совершению преступления. Существенная разница заключается поэтому уже в том, что во втором случае душа действующего лица активна и должна, приняв новое решение, участвовать в этом процессе, тогда как в первом случае она либо вообще не влияет на ход событий, либо оказывает только отрицательное влияние, упустив возможность действовать. Надеюсь, что одного этого достаточно для определения границ деятельности государства в данном вопросе. Если мы хотим предупредить преступления, мы должны исходить из их причин. Эти столь многообразные причины можно было бы, пожалуй, в общей форме выразить как недостаточно сдерживаемое доводами разума чувство несоответствия между желаниями действующего лица и числом законных средств, которыми оно располагает. В этом несоответствии можно хотя бы в общей форме (хотя в каждом отдельном случае определение натолкнется на множество трудностей) выделить два случая: в одном несоответствие, о котором идет речь, происходит из неудержимых влечений и склонностей, в другом — из слишком незначительной, даже для среднего уровня, суммы средств. Сверх того в обоих случаях проявляется недостаточная сила разумных доводов и нравственного чувства, не препятствующих тому, чтобы это несоответствие выразилось в противозаконных действиях. Поэтому стремления государства предупредить преступления посредством устранения причин, связанных с личностью преступника, всегда, принимая во внимание различие обоих случаев, должны быть направлены либо на то, чтобы изменить и улучшить такое положение граждан, которое легко может привести к преступлению, либо на то, чтобы ограничить наклонности, которые обычно ведут к нарушению законов, либо, наконец, на то, чтобы придать доводам разума и нравственного чувства должную силу. Есть еще один путь предупреждения преступлений, а именно уменьшение законодательным путем обстоятельств, способствующих их совершению или проявлению дурных наклонностей, удовлетворение которых противоречит закону. Ни один из этих способов не будет исключен из нашего рассмотрения.

Первый из них, направленный только на улучшение положения граждан, влечет за собой наименьшее число вредных последствий. Увеличение многообразия как в области средств труда, так и в сфере потребления уже само по себе благотворно: это не вносит никаких ограничений в свободную деятельность человека, и хотя здесь также следует принять во внимание все то, что я говорил в начале настоящей работы, останавливаясь на последствиях заботы государства о физическом благе граждан, но, поскольку эта забота распространяется лишь на немногих людей, последствия ее весьма незначительны. Однако известное воздействие они все же оказывают: устраняется борьба внутреннего морального чувства с внешним положением, а с нею вместе и ее благотворное влияние на силу характера действующего лица и на взаимную благожела-

тельность граждан вообще, а то, что эта забота государства распространяется на отдельных граждан и делает попечение государства об индивидуальном положении граждан необходимым,— все это приносит такой вред, что не принимать его во внимание можно было бы только при полной уверенности в том, что без этой меры был бы нанесен урон безопасности государства. Между тем именно необходимость этого представляется мне сомнительной. В государстве, устройство которого не ставит граждан в трудное положение и гарантирует им свободу, подобная ситуация вообще едва ли может возникнуть, поскольку в таком государстве всегда можно рассчитывать на добровольное содействие самих граждан без всякой помощи со стороны государства, разве что причиной создавшегося положения послужит поведение самого человека. В этом случае государству не следует нарушать ход событий, которые в силу естественного хода вещей вытекают из действий данного человека. К тому же такого рода ситуации бывают настолько редки, что вообще не требуют вмешательства государства, ибо недостатки этого вмешательства не будут превышать его достоинств; подробно останавливаться на этом после всего сказанного раньше нет необходимости.

Диаметрально противоположным является соотношение доводов за и против вмешательства государства при втором способе предупреждения преступлений, то есть в том случае, когда делается попытка оказать воздействие на склонности и страсти человека. С одной стороны, здесь необходимость такого воздействия представляется более настоятельной, так как при менее ограниченной свободе стремление к наслаждению становится более необузданным и страсти находят больше простора, тогда как возрастающее вместе с собственной свободой уважение к чужому праву может оказаться для противодействия этому недостаточным; однако, с другой стороны, и вред увеличивается в той степени, в какой нравственная природа человека труднее переносит какой бы то ни было гнет, чем его физическая природа. Выше я пытался обосновать, почему я считаю усилия государства улучшить нравы граждан ненужными и даже нежелательными. Приведенные мною доводы и здесь сохраняют свою убедительность, с той разницей, что в данном случае государство стремится не преобразовать нравы вообще, а лишь воздействовать на поведение отдельных лиц, результатом которого может стать нарушение законов. Однако именно это и увеличивает сумму недостатков, так как подобная попытка уже по одному тому, что она не носит характера общей меры, имеет меньше шансов достигнуть своей конечной цели, и поэтому даже то одностороннее благо, к которому государство в данном случае стремится, не возмещит принесенный им вред. К тому же это предполагает не только вмешательство государства в частную жизнь отдельных граждан, но и наличие власти, которая позволяет ему это осуществить, что вызывает еще большие опасения, если принять во внимание, что эта власть должна быть вверена опреде-

ленным лицам. Специально для этого назначенным лицам или уже имеющимся государственным чиновникам должен быть поручен надзор за поведением и обусловленным им положением либо всех граждан, либо только им подчиненных. Тем самым вводится в действие новая и едва ли не более обременяющая власть, чем любая другая; создается возможность для проявления нескромного любопытства, односторонней нетерпимости, лицемерия и притворства. Да не обвиняй меня в том, что я описываю одни только злоупотребления! Злоупотребления неразрывно связаны здесь с существом дела, и я беру на себя смелость утверждать, что даже в том случае, если законы являются наилучшими и наиболее гуманными, если они позволяют надзирателям наводить справки только законным путем и советовать и предостерегать без какого бы то ни было принуждения и если этим законам следуют самым точным образом, то и тогда эта мера бесполезна и вредна. Каждый гражданин, до тех пор пока он не нарушает закон, должен иметь возможность беспрепятственно действовать так, как ему заблагорассудится; каждый должен иметь право заявить другому, даже вопреки мнению кого бы то ни было: «Как бы я ни приближался к опасности нарушить закон, я не поддамся ей». Ущемляя его свободу, нарушают его право и наносят вред развитию его способностей, формированию его индивидуальности. Ибо формы морали и законности бесконечно различны и многообразны, и если какое-либо третье лицо решает, что тот или иной образ действия должен привести к противозаконным поступкам, то оно следует в этом случае своему ходу мыслей, который, как ни правилен он, с его точки зрения, все-таки остается лишь о д н и м из возможных мнений. Но даже если допустить, что он не ошибся, что результат подтверждает его мнение и что тот, другой, покоряясь принуждению или следуя его совету, без внутренней уверенности в его правоте, на этот раз не нарушит закона, который он в противном случае нарушил бы,— все-таки в данной ситуации для самого нарушителя было бы полезнее однажды претерпеть наказание и получить соответствующий урок, чем избежать на этот раз неприятности, но не проверить при этом ни значимости своих идей, ни силы своего нравственного чувства; и для общества было бы полезнее, если бы еще одно несоблюдение закона нарушило его покой, а следующее за ним наказание послужило бы назиданием и предостережением, чем если бы покой был сохранен и на этот раз, тогда как то, на чем зиждется этот покой и безопасность граждан — уважение к чужому праву,— само по себе не возросло бы, не стало бы усиливаться и поддерживаться. Вообще, подобные меры не сразу приводят к упомянутым действиям. Как и все средства, не связанные с внутренним источником действий, они придают лишь другое направление страстям, ведущим к противозаконным поступкам, и вызывают еще более вредное сокращение умысла. Я все время исходил из того, что лица, предназначенные для дела, о котором здесь идет речь, не способствуют тому, чтобы люди прониклись убеждением, а действуют путем привлечения по-

сторонних доводов, чуждых человеку. Может показаться, что я не вправе исходить из подобного предположения. Однако совершенно очевидно, что влияние на сограждан и их мораль примера и убедительного совета настолько благотворно, что нет необходимости лишней раз останавливаться на этом. Во всех тех случаях, когда рассмотренное установление приводит к подобному результату, предыдущее рассуждение не находит применения. Мне представляется только, что предписание закона не только не способствует этому, но даже действует в противоположном направлении. Во-первых, закон должен предписывать принудительные обязанности, а не призывать к добродетели, которая легко может от этого пострадать, так как каждый человек становится добродетельным только *по своей доброй воле*. Далее, всякая просьба, которую выражает закон, так же, как и совет, который на основании этого закона дается начальником, воспринимается как приказание, правда, не обязательное теоретически, но на практике всегда вызывающее повиновение. Наконец, к этому надо еще присовокупить ряд обстоятельств и ряд склонностей, которые принуждают людей следовать подобному свету против своего убеждения. Такого рода влияние оказывает обычно государство на тех, кому вверено государственное управление и через кого оно стремится влиять на других граждан. Поскольку эти лица связаны с государством особыми договорами, то оно, несомненно, располагает по отношению к ним большими правами, чем по отношению к остальным гражданам. Однако, если оно остается верным принципам высшей, законной свободы, то не станет пытаться требовать от них большего, чем исполнения общегражданских обязанностей и тех особых обязанностей, которые необходимы в силу самой их должности. Ибо очевидно, что его положительное влияние на граждан вообще должно быть слишком большим, если оно пытается принудить своих служащих в силу их особого положения к тому, чего оно вообще не вправе требовать от всех остальных граждан. Даже если государство не совершает положительных действий, этому способствуют человеческие страсти, и одних только усилий предотвратить само собой вытекающие отсюда дурные последствия достаточно для удовлетворения его рвения и возможности проявить проницательность.

Более непосредственный повод к предупреждению преступлений путем подавления причин, коренящихся в самом характере человека, возникает, когда действительное нарушение законов определенными лицами внушает обоснованное опасение по поводу их поведения в будущем. Поэтому наиболее проницательные из современных законодателей пытались сделать наказание одновременно и средством исправления человека. Несомненно, что из наказания должно быть не только исключено все то, что может дурно повлиять на нравственность преступников, но им еще должны быть предоставлены все средства (кроме тех, которые не соответствуют конечной цели наказания), способные исправить их представления и возвысить

их чувства. Однако и преступнику навязывать поучение не следует: ведь таким образом оно не только теряет полезность и действительность, но и противоречит правам преступника, которому вменяется в обязанность только нести наказание, к которому его приговорил закон, и ничего более.

Совершенно особый случай возникает, когда налицо немало данных для того, чтобы возбудить подозрение в вине подсудимого, но недостаточно для того, чтобы его осудить (*Absolutio ab instantia*). Предоставить ему полную свободу, которой пользуется ничем не запятанный гражданин, рискованно с точки зрения безопасности, и потому надзор за его дальнейшим поведением в данном случае оказывается необходимым. Однако те же доводы, которые вызывают сомнение в уместности положительных действий государства и склоняют вообще к тому, чтобы там, где это возможно, заменить его деятельность деятельностью отдельных граждан, заставляют и здесь предпочесть добровольно взятый на себя гражданами надзор надзору государства. Поэтому лучше, вероятно, отдавать подозрительных людей такого рода на поруки надежным лицам, чем подвергать их непосредственному надзору государства, к которому приходится прибегать только при отсутствии поручительства. Примеры подобного поручительства, правда, не в этом случае, но в подобных ему, мы обнаруживаем в английском законодательстве.

Последний способ предупредить преступления состоит в том, чтобы, не пытаясь устранить их причины, заботиться только об их предотвращении. Применяя этот способ, государство меньше всего ущемляет свободу, так как его действия оказывают наименьшее позитивное влияние на граждан. Однако и здесь возможны более или менее широкие границы: государство может удовлетвориться строжайшим надзором за каждым противозаконным намерением, чтобы тем самым предотвратить его осуществление, или же оно может идти и дальше и запрещать такие действия, которые сами по себе безвредны, но легко могут вести либо к совершению преступлений, либо к решению их совершить. Такие действия государства также вторгаются в сферу гражданской свободы; здесь проявляется недоверие государства к гражданам, что не только оказывает вредное влияние на их характер, но и препятствует достижению задуманной цели и поэтому совершенно нецелесообразно в силу тех же соображений, которые заставили меня порицать все предыдущие способы предотвращения преступлений. Поэтому все, что государство может сделать, чтобы достичь своей цели, не затрагивая при этом свободы граждан, сводится к первому способу, то есть к строжайшему надзору за человеком, действительно преступившим или только намеревающимся преступить закон. А поскольку это, по существу, не может быть названо предупреждением преступлений, я считаю себя вправе утверждать, что такого рода предупреждения лежат полностью вне границ деятельности государства. Однако тем более тщательно оно должно заботиться

о том, чтобы ни одно преступление не осталось нераскрытым, ни одно раскрытое — ненаказанным или наказанным мягче, чем это предусмотрено законом. Подтвержденная длительным опытом уверенность граждан в том, что вторжение в сферу чужого права неминуемо влечет за собой такое же ущемление их собственных прав, представляется мне единственной гарантией безопасности граждан и единственным бесспорным средством утвердить нерушимое уважение к чужому праву. Одновременно это и единственный достойный человека способ влиять на его характер, так как человека нельзя заставить совершать определенные действия или руководить им в этом, его можно только воспитывать, указывая на те последствия, к которым по логике вещей его поведение должно привести. Вместо сложных, изощренных средств предупреждения преступлений я предложил бы только следующее: хорошие, продуманные законы; наказания, строго соответствующие в своей абсолютной мере местным условиям, в своей относительной мере — безнравственности преступников; по возможности тщательное расследования нарушения закона и полного отказа от любого смягчения вынесенного судом приговора. Если эти очень простые средства и действуют медленно, что нельзя отрицать, то их преимущество заключается в том, что они действуют безошибочно, не нанося ущерба свободе граждан и оказывая благотворное влияние на их характер. Я не вижу необходимости останавливаться на дальнейших выводах рассмотренных здесь положений, например на неоднократно упомянутой истине, что право главы государства на помилование и даже на смягчение наказания должно быть устранено. К этому можно легко прийти на основании всего сказанного. Конкретные меры, которые должно предпринимать государство, чтобы раскрыть совершенные преступления или предотвратить задуманные, почти полностью зависят от индивидуальных условий и особенностей каждого отдельного случая. В целом можно только сказать, что и здесь государство не должно выходить за границы своих прав и, следовательно, прибегать к мерам, посягающим на свободу и частную жизнь граждан. В общественных же местах, где чаще всего совершаются преступления, государство может держать своих надзирателей, назначать наблюдателей, которые в силу своей должности следят за подозрительными людьми, и, наконец, обязать законом всех граждан содействовать ему в этом и сообщать не только о замышляемых, еще не совершенных преступлениях, но и о тех, которые уже совершены, а также о лицах, их совершивших. Чтобы не влиять дурно на характер граждан, государство должно требовать этого как прямой обязанности и не поощрять такого рода действия наградами или какими-либо преимуществами; причем, от этой обязанности должны быть освобождены те лица, которые могли бы выполнить ее, лишь разрывая теснейшие узы.

И наконец, прежде чем я завершу эту тему, я должен еще заметить, что все уголовные законы, как те, которые устанавливают

наказания, так и те, которые предписывают определенный образ действий, должны быть доведены до сведения всех граждан без исключения. Правда, против этого не раз высказывались возражения на том основании, что преступнику не следует предоставлять возможность обрести ценою наказания ту выгоду, которую представляет противозаконное действие. Однако даже если допустить, что держать законы в тайне возможно, то, как ни безнравственно было бы само по себе такого рода сопоставление выгод и опасностей, связанных с преступлением, ни государство, ни вообще один человек другому запретить это не вправе. Надеюсь, что ранее я достаточно убедительно показал, что никому не дозволено причинять другому в качестве наказания большее зло, чем то, которое он сам претерпел вследствие преступления. Следовательно, если бы не существовал закон, преступник должен был бы ждать такого возмездия, которое он считал бы приблизительно равнозначным совершенному им преступлению, а поскольку такая оценка оказалась бы у разных людей совершенно различной, то вполне естественным было бы прийти к решению определять эту меру законом. Также естественно и то, что договор, хотя и не устанавливает обязанности подчиняться наказанию, должен, однако, установить обязанность не преступать при определении наказания необходимых границ. Еще более несправедливым является сокрытие законов при расследовании преступлений. Здесь это, без сомнения, может привести только к страху перед такими средствами, которые само государство как бы не считает себя вправе применять; государство никогда не должно действовать посредством страха, который возникает только в результате неосведомленности граждан о своих правах или неуверенности в том, что государство достаточно эти права уважает.

Из всего этого я вывожу следующие высшие принципы уголовного права как такового:

1. *Одно из лучших средств сохранения безопасности — наказание тех, кто нарушает законы государства. Государство вправе подвергать наказанию за любое действие, нарушающее права граждан, а поскольку оно, издавая законы, исходит только из этой точки зрения, то оно вправе наказывать и за любое действие, нарушающее какой-либо из его законов.*

2. *Самым суровым наказанием должно быть то, которое применительно к условиям места и времени представляется наиболее мягким. В соответствии с этим должны быть определены все другие наказания, исходя из того, в какой мере преступления, против которых они напраздены, основаны на неуважении к чужому праву. Поэтому самое суровое наказание должен понести тот, кто нарушил самое важное право — право государства; менее суровое — тот, кто нарушил столь же важное право отдельного гражданина; и наиболее мягкое — тот, кто только преступил закон, направленный на пресечение возможности такого нарушения.*

3. *Уголовный закон может быть применен только к тому, кто*

намеренно или по своей вине нарушил его, и лишь в той степени, в какой он тем самым доказал свое неуважение к чуждому праву.

4. При расследовании совершенных преступлений государство вправе применить любое, необходимое для достижения его конечной цели средство, за исключением тех, которые позволяют обращаться с заподозренным как с преступником, которые нарушают права человека и гражданина, — ибо государство должно уважать гражданина и в преступнике, — или тех, которые позволили бы обвинить государство в безнравственном поступке.

5. Принимать меры для предупреждения еще не совершенных преступлений государство может лишь в тех случаях, когда они непосредственно предотвращают совершение преступления. Все остальные меры, независимо от того, противодействуют ли они причинам преступления или предупреждают действия, которые сами по себе безвредны, но легко могут привести к преступлениям, находятся вне границ деятельности государства. Если между тем, что сказано здесь, и принципом, установленным по поводу действий отдельного человека (с. 95), как будто существует противоречие, то не следует забывать, что там речь шла о таких действиях, последствия которых могут сами по себе нарушить чужие права, здесь же — о таких, которые могут привести к подобному нарушению только в том случае, если за ними последует еще одно действие. Таким образом — поясняя нашу мысль примером, — сокрытие беременности следует запрещать не для того, чтобы предотвратить детоубийство (в противном случае в этом сокрытии надо было бы уже уематривать подобный умысел), а потому, что это действие само по себе может быть опасным для жизни и здоровья ребенка.

Глава XIV

Забота государства

о безопасности путем определения положения лиц,
не обладающих естественными или
достаточно зрелыми умственными способностями.
(Несовершеннолетние и умалишенные).

Общие замечания к данному и
четырем предшествующим разделам

В установлении всех принципов в предыдущем изложении я имел в виду людей взрослых, полностью владеющих своими умственными способностями, ибо все эти принципы основаны на том, что самостоятельно мыслящего и действующего человека нельзя лишать возможности принимать после надлежащей проверки всех моментов суждения свободное решение. Поэтому названные принципы не могут быть применены ни к тем лицам, которые, подобно сумасшедшим или слабоумным, фактически лишены разума, ни к тем, у кого ра-

зум еще не достиг той зрелости, которая связана с развитием всего организма. Ибо каким бы неопределенным и, строго говоря, неверным ни был этот подход, только он один может быть признан всеми и иметь значимую силу при суждении третьего лица. Все эти люди нуждаются в положительной — в самом строгом смысле этого слова — заботе об их физическом и моральном благосостоянии, и одного сохранения безопасности в данном случае недостаточно. Так (начнем с детей как самого большого и важного класса этих лиц), эта забота — в соответствии с положениями права — находится в ведении определенных лиц, их родителей. В обязанность родителей входит воспитание рожденных ими детей вплоть до того времени, когда их дети достигнут полной зрелости, и только из этой обязанности вытекают в качестве необходимых условий все их права. Поэтому дети сохраняют свое исконное право на жизнь, здоровье, состояние, если они его имеют; даже их свобода не должна быть ограничена в большей степени, чем того требует, по мнению родителей, их воспитание и сохранение возникающих новых семейных отношений; причем это ограничение распространяется лишь на время, необходимое для их воспитания. Поэтому дети не должны подчиняться принуждению к действиям, непосредственные последствия которых выходят за пределы этого времени и могут определить всю их дальнейшую судьбу. Такое принуждение недопустимо при заключении брака или при выборе определенной деятельности. С наступлением зрелости власть родителей должна, конечно, прекратиться. В общем, обязанность родителей состоит в том, чтобы посредством личной заботы о физическом и нравственном благе детей и посредством предоставления необходимых средств дать им возможность избрать определенный образ жизни, который, однако, соответствовал бы их индивидуальному положению. В обязанность же детей входит сделать все необходимое для того, чтобы родители могли выполнить свои обязанности. Я совершенно опускаю здесь все подробности, перечисление всего того, что может и должно входить в эти обязанности. Это относится, собственно, к теории законодательства, хотя и там полностью не находит себе места, поскольку большей частью зависит от особых обстоятельств в каждом отдельном случае.

Государству надлежит гарантировать права детей в их отношениях с родителями, и поэтому оно должно прежде всего установить законодательным путем время наступления зрелости. Зрелый возраст устанавливается различно не только в зависимости от климатических условий и даже эпохи, но и в зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая, в соответствии с тем, требуют ли они большей или меньшей зрелости суждения. Государство должно следить за тем, чтобы отцовская власть не переходила известных, предписанных ей границ, и, таким образом, не упускать этот предмет из сферы своего самого пристального внимания. Но, с другой стороны, это внимание государства ни в коем случае не должно превращаться в положительные предписания родителям,

то есть в предписания того, какое воспитание и образование должны они дать своим детям; оно всегда должно носить чисто отрицательный характер, удерживая родителей и детей в границах, определенных законом. Поэтому нам представляется несправедливым и нецелесообразным требовать от родителей постоянного отчета в их действиях; надо верить, что они не станут пренебрегать обязанностью, столь близкой их сердцу; и только в тех случаях, когда нарушение этой обязанности уже очевидно или весьма вероятно, государство может считать себя вправе вмешаться в семейные отношения.

Положения естественного права недостаточно четко определяют, к кому в случае смерти родителей переходит забота о дальнейшем воспитании детей. Поэтому государство должно точно установить, кто из родственников должен взять на себя опеку, а если никто из них не в состоянии взять это на себя, то назначить опекуном кого-нибудь из граждан Государству надлежит также определить необходимые качества опекуна. Поскольку опекуны принимают на себя все обязанности родителей, к ним переходят и все родительские права; но так как опекаемые им менее близки, то они не могут претендовать на такое же доверие, как то, которым располагали родители, и государственный надзор за ними должен быть более строгим. От них следует поэтому требовать постоянной отчетности. Чем меньшее позитивное влияние, даже если оно косвенное, оказывает государство, тем более оно следует приведенным нами выше основоположениям. Поэтому оно должно настолько облегчить выбор опекуна умирающим родителям, оставшимся родственникам или общине, к которой принадлежат опекаемые, насколько это допускает забота об их безопасности. Вообще желательно передать весь конкретно осуществляемый надзор общинам; их меры будут всегда не только больше соотноситься с индивидуальным положением опекаемых, но будут также более разносторонними и менее однообразными; что же касается безопасности опекаемых, то она достаточно обеспечивается тем, что верховный надзор остается в руках государства.

Помимо этого, государство не должно ограничиваться тем, что оно ограждает несовершеннолетних, так же как и других граждан, от возможных посягательств на их права; в данном случае оно должно идти еще дальше. Мы только что установили, что каждый человек может по своей воле свободно действовать и свободно распоряжаться своим имуществом. Однако такая свобода может оказаться во многих отношениях опасной для людей, чье суждение по молодости лет еще не достигло достаточной зрелости. Отвратить эту опасность — дело родителей или опекунов, которые вправе руководить действиями своих опекаемых; однако государство обязано помочь им в этом, а также и самим несовершеннолетним, объявляя недействительными те их действия, последствия которых могут им повредить. Оно должно следить за тем, чтобы их не обманули, исходя из своекорыстных интересов, и не способствовали

бы необдуманному решению с их стороны. Если же это произойдет, государство должно не только потребовать возмещения ущерба, но и наказать виновных. Таким образом, с этой точки зрения могут подвергаться наказанию такие лица, действия которых в иных случаях оказались бы вне сферы действия закона. Так, например, виновника незаконного сожительства государство должно было бы, в соответствии с этими положениями, покарать, если он склонил к этому лицо несовершеннолетнее. Поскольку же действия людей требуют весьма различной силы суждения, зрелость которого достигается постепенно, то было бы неплохо для определения значимости такого рода действий установить также различные уровни возрастов и степени несовершеннолетия.

Все то, что здесь сказано о несовершеннолетних, может быть применено также к умалишенным и слабоумным. Разница лишь в том, что последние нуждаются не в воспитании и образовании (если только не подразумевать под этим усилия, направленные на их излечение), а только в заботе и надзоре; что необходимо вовремя принять меры, чтобы предотвратить вред, который они могут причинить другим; и, наконец, не следует забывать и о том, что хотя они обычно и пребывают в таком состоянии, которое не дает им возможности пользоваться своими силами и своим имуществом, но поскольку разум к ним может вернуться, их можно лишь временно ограничить в пользовании правами, но не лишать вообще самих этих прав. Развивать этот вопрос далее не входит в мою задачу, и поэтому я считаю возможным закончить данный раздел следующими общими положениями:

1. Лица, либо вообще не владеющие своими умственными силами, либо не достигшие еще необходимого для этого возраста, нуждаются в особой заботе, обеспечивающей их физическое, интеллектуальное и моральное благополучие. К этим лицам относятся несовершеннолетние и умалишенные. Сначала о первых.

2. Государство должно определить продолжительность несовершеннолетия. Поскольку этот срок во избежание значительного вреда должен быть не слишком коротким и не слишком продолжительным, государство должно определить его в соответствии с индивидуальными условиями положения нации, причем приблизительно ориентироваться оно может на завершение физического развития того или иного лица. Желательно установить несколько стадий, постепенно увеличивая свободу несовершеннолетних и ослабляя надзор за ними.

3. Государство должно следить за тем, чтобы родители добросовестно выполняли свои обязанности по отношению к детям, а именно способствовали — насколько допускает их положение — тому, чтобы их дети, достигнув совершеннолетия, могли выбрать определенный жизненный путь и приступить к избранной ими деятельности; чтобы дети выполняли свои обязанности по отношению к родителям, а именно делали бы все необходимое для того, чтобы родители могли выполнить свой долг по отношению к ним; и что-

бы ни те, ни другие не преступали прав, которые предоставляет им выполнение этих обязанностей. Этим надзор государства ограничивается, и любая попытка достигнуть какой-либо положительной цели, например попытка развить те или иные силы детей, лежит вне границ его деятельности.

4. В случае смерти родителей необходимо назначить опекунов. Государство должно определить порядок их назначения, а также необходимые для опекунства качества. Желательно при этом руководствоваться выбором, совершенным перед смертью самими родителями, или оставшимися родственниками, или общиной. Действия опекунов требуют более бдительного и строгого контроля.

5. Для обеспечения безопасности несовершеннолетних и предотвращения злоупотреблений, вызванных их неопытностью или опрометчивостью решений, государство должно объявить недействительными те предпринятые ими самостоятельно действия, последствия которых могут быть вредными для них самих; тех же, кто побудил их к этому в своекорыстных целях, наказать.

6. Все, что сказано здесь о несовершеннолетних, относится и к умалишенным, с той разницей, которая проистекает из природы самого объекта этого попечения. Никто не может быть признан умалишенным без формального решения, принятого на основании обследования врачей под контролем судьбы. При этом следует всегда исходить из того, что болезнь может пройти.

Таким образом, я рассмотрел все сферы, на которые государству следует распространять свою деятельность; для каждой из них я пытался установить высшие принципы. Если эту попытку сочтут недостаточно полной и не найдут здесь многих важных вопросов законодательства, то не надо забывать, что в мое намерение не входило разработать теорию законодательства — задача, для выполнения которой недостаточно ни моих сил, ни моих знаний; я хотел лишь рассмотреть вопрос, в какой мере законодательство в его различных областях вправе расширять или ограничивать деятельность государства. Ибо законодательство может принять за основу своего разделения как предметы, которые оно рассматривает, так и свои источники, и такое деление может оказаться еще более плодотворным, в первую очередь для самого законодателя. Существуют три таких источника или — выражаясь более точно — три такие главные точки зрения, из которых явствует необходимость законов. Законодательство в целом должно определять действия граждан и необходимые последствия этих действий. Поэтому первой точкой зрения [или первым исходным пунктом] является природа самих действий и те их следствия, которые вытекают только из основоположений права. Второй исходный пункт — это особая цель государства, пределы, которыми оно решает ограничить свою деятельность или сферу, на которую оно намеревается ее распространить. Наконец, третий связан со средствами, необходимыми для того, чтобы сохранять в равновесии всю государственную систему и вообще сделать возможным достижение своих

целей. Каждый мыслимый закон должен вытекать по преимуществу из какого-либо одного из названных источников, но вместе с тем обязательно принимать во внимание все три в их совокупности; отсутствие этого существенного условия и составляет односторонность ряда законов. Из этих трех точек зрения вытекают три типа особо необходимых подготовительных работ для каждого законодательства: 1) полная общая теория права; 2) всестороннее изучение цели, которую должно ставить перед собой государство, или, что по существу то же самое, точное определение границ его деятельности; или определение особой цели, которую действительно ставит себе то или другое государственное объединение; 3) теоретическое обоснование необходимых для существования государства средств, а поскольку эти средства связаны отчасти с внутренней прочностью государственного строя, а отчасти с возможностью его деятельности,— определение теории политики и финансовой науки, или опять-таки принятой политической и финансовой системы. В этом беглом обзоре, допускающем многообразные подразделения, я хочу еще только отметить, что вечно и неизменно, как и природа человека в целом, только первое — теория права,— остальное допускает различные изменения. Однако если эти изменения совершаются не в соответствии с общими основаниями, принимающими во внимание все приведенные пункты, а исходя из случайных обстоятельств,— если, например, в государстве существует прочная политическая система и не подлежащие изменению финансовые учреждения,— то следование второму пункту будет сопряжено со многими трудностями, а в ряде случаев это коснется и первого пункта. Причину очень многих недостатков в управлении государством можно было бы, безусловно, обнаружить в этих и подобных им коллизиях.

Таким образом, я полагаю, что цель, которую я ставил, пытаюсь установить вышеизложенные принципы законодательства, достаточно определена. Однако я отнюдь не надеюсь, что даже с такими ограничениями моя цель будет достигнута. Правильность предложенных принципов, быть может, и не вызовет много возражений, но им, безусловно, недостает полноты и точности определений. При установлении высших принципов, и особенно для этой цели, прежде всего необходимо учитывать мельчайшие подробности. Я не мог это осуществить в силу самой задачи, которую я себе поставил, и, хотя я стремился возместить это предварительной подготовкой к тому немногому, что здесь изложил, подобные усилия не ведут в полной мере к желаемому результату. Поэтому я готов довольствоваться тем, что скорее указал пробелы, которые необходимо заполнить, чем действительно определил целое. Тем не менее я надеюсь, что все сказанное в достаточной мере пояснит мою задачу, которая состоит в том, чтобы показать, что государство должно всегда исходить из стремления содействовать развитию индивидуальных сил отдельных граждан и направлять свою деятельность только на то, что гражданам совершенно недоступно,

а именно на заботу о безопасности. И это является единственным верным средством прочно и неразрывно соединить, казалось бы, противоречивые моменты — общую цель государства и сумму всех целей отдельных граждан.

Глава XV

Отношение средств, необходимых вообще для сохранения государственного организма, к изложенной выше теории Окончание теоретического исследования

Завершив теперь то, что выше, при обзоре моего плана, мне еще следовало рассмотреть, я со всей полнотой и точностью, на какие был способен, ответил на поставленный в данной работе вопрос. На этом я мог бы закончить, если бы не оставался еще один предмет, который может оказать значительное влияние на все сказанное ранее: я имею в виду средства, которые не только делают возможной деятельность государства, но обеспечивают и само его существование.

Для того чтобы осуществить даже самую ограниченную цель, государство должно обладать достаточными доходами. Останавливаться на этом подробно я не могу уже в силу моего невежества во всем, что касается финансовых вопросов. К тому же, согласно принятому мною плану, в этом нет необходимости. Ведь я с самого начала подчеркнул, что говорю не о той деятельности государства, цель которой определяется количеством находящихся в его распоряжении средств, а о той, которая определяется его целью (см. начало гл. III). Замечу только (для сохранения цельности изложения), что и при установлении финансового характера не следует упускать из виду значимость целей отдельных граждан и протекающее из этого ограничение цели государства. В этом убеждает нас даже самый поверхностный взгляд на переплетение множества полицейских и финансовых установлений. Я полагаю, что существуют только три вида государственных доходов: 1) доходы от выговоренной или присваиваемой государством собственности, 2) от прямых и 3) от косвенных налогов. Наличие государственной собственности всегда ведет к вредным последствиям. Выше (с. 87—90) я уже говорил о тех преимуществах, которые всегда имеет государство как таковое; если же оно является собственником, то оно необходимо должно вступать во множество отношений частного характера. Следовательно, там, где потребность, ради которой только и могло быть желательным создание государства, не играет никакой роли, действует сила, предоставленная единственно для удовлетворения этой потребности. Косвенные налоги также связаны с весьма нежелательными явлениями. Опыт показывает,

какое множество разнообразных учреждений необходимо для их установления и взимания, что с точки зрения рассмотренных выше принципов одобрено быть не может. Остаются, таким образом, только прямые налоги. Из всех существующих систем прямых налогов самая простая, несомненно, система физиократическая. Однако в ней, что уже неоднократно отмечалось, не учитывается один из самых естественных продуктов — человеческая сила; поскольку в наших условиях она в своих действиях, в своем проявлении также становится товаром, ее в свою очередь следует обложить налогом. Если систему прямых налогов, к которой я здесь возвращаюсь, не без основания называют самой плохой и неудовлетворительной из всех финансовых систем, то не следует забывать, что государство, деятельности которого поставлены такие тесные пределы, не нуждается в больших доходах и, не имея собственных интересов, которые не зависели бы от интересов граждан, оно может быть уверено в помощи со стороны свободной и в силу этого, как показывает опыт всех времен, благодействующей нации.

Если управление финансами может противодействовать проведению в жизнь установленных выше принципов, то это противодействие может исходить и, по-видимому, в большей степени, также от внутреннего политического устройства. Дело в том, что должно существовать средство, которое соединяло бы господствующую и подчиненную часть нации, первой гарантировало бы сохранение вверенной ей власти, второй — пользование предоставленной ей свободой. В различных государствах этой цели пытались достичь различными путями: то усилением как бы физической силы правительства, что, однако, угрожает свободе, то противопоставлением ряда противодействующих друг другу властей, то утверждением в народе духа, благоприятного для данного государственного устройства. Последний способ, невзирая на то, что он иногда, особенно в древности, принимал прекрасные формы, приносит вред развитию индивидуальности граждан, нередко ведет к односторонности и поэтому наименее целесообразен в рамках разработанной здесь системы. Следуя ей, надлежало бы избрать такое политическое устройство, которое оказывало бы по возможности меньшее позитивное влияние на характер граждан и воспитывало бы в них высочайшее уважение к чужому праву в соединении с преисполненной энтузиазма любовью к собственной свободе. Я не берусь утверждать, каким же должно быть такое политическое устройство. Решение этого вопроса относится к области политики в собственном смысле. Ограничусь лишь следующими краткими замечаниями, чтобы показать по крайней мере возможность подобного государственного устройства. Предложенная мною система усиливает и умножает частные интересы граждан, и поэтому может показаться, что тем самым она наносит урон интересам публичным. Между тем она так тесно связывает те и другие, что частные интересы, как признает каждый гражданин, поскольку он хочет обладать безопасностью и свободой, полностью основаны на интересах публич-

ных. Таким образом, именно эта система могла бы обеспечить приверженность к определенному государственному устройству, которую тщетно стараются вызвать весьма изощренными средствами. К тому же государство, осуществляющее менее интенсивную деятельность, нуждается и в меньшей власти, а меньшая власть нуждается в меньшей защите. И наконец, само собой разумеется, что здесь следует поступать так же, как во всех тех случаях, когда сила и потребление должны быть принесены в жертву результатам, чтобы оградить то и другое от больших потерь.

Таким образом, я теперь полностью, насколько это в моих силах, ответил на поставленный мною вопрос, всесторонне охватив деятельность государства границами, которые представляются мне одновременно полезными и необходимыми. Однако при этом я исходил только из точки зрения наибольшего блага; между тем наряду с этим несомненный интерес представляет и правовая точка зрения. Там, где государство действительно добровольно поставило себе определенную цель, установило твердые границы своей деятельности, эта цель и эти границы правомерны — конечно, если их определение находится во власти тех, кто их определяет. Там же, где такое точное определение отсутствует, государство должно, разумеется, стремиться ограничить свою деятельность теми пределами, которые предписываются чистой теорией, не забывая, однако, о препятствиях, невнимание к которым привело бы к еще большему вреду. Следовательно, нация вправе требовать применения этой теории лишь до тех пор, пока такого рода препятствия не приведут к тому, что применение этой теории окажется уже невозможным. Об этих препятствиях в предшествующем изложении я не упоминал; я довольствовался тем, что развивал чистую теорию. И вообще моей целью было найти для человека самое благоприятное положение в государстве. Я видел его в том, чтобы самая многообразная индивидуальность, самая своеобразная независимость сосуществовали бы со столь же многообразной и тесной связью людей между собой — проблема, решить которую может только наивысшая свобода. Выявить возможность такого государственного устройства, которое бы в наименьшей степени, насколько это возможно, преграждало путь к указанной мною конечной цели, составляло задачу настоящего исследования и с давних пор составляет предмет моих размышлений. Я был бы удовлетворен, если бы мне удалось доказать, что этот принцип должен служить законодателю идеалом при всяком государственном устройстве.

Значительно пояснить эти идеи могли бы, будучи направлены к той же конечной цели, история и статистика. Мне вообще часто казалось, что статистика нуждается в реформе. Вместо одних только голых цифр, излагающих данные о величине, количестве населения, богатстве, промышленности определенного государства, на основании которых никогда нельзя с уверенностью судить о его подлинном состоянии, она должна была бы, исходя из природных условий страны и характера его населения, стремиться опи-

сать и свойства их сил в деятельности, страдании и потреблении, и постепенные модификации, которые эти силы претерпевают отчасти вследствие объединения нации, отчасти вследствие возникновения государства, ибо государственное устройство следует строго отличать от национального союза, как бы тесно они ни переплетались друг с другом. Если государство предписывает гражданам — будь то силою власти или опираясь на обычай и закон — определенные отношения, то, кроме этого, существуют и другие, добровольно ими выбранные, бесконечно многообразные и часто меняющиеся отношения. И они, то есть свободное взаимодействие людей, принадлежащих к данной нации, и есть, собственно, то, что сохраняет все блага, стремление к которым соединяет людей в общество. Собственно государственное устройство подчинено этому как своей цели и всегда допускается только как необходимое средство, а поскольку оно связано с ограничением свободы — как необходимое зло. Поэтому дополнительной целью данной работы было также показать вред, который приносит довольству, силам и характеру людей смешение свободной деятельности нации с принудительной деятельностью, которую навязывает государство.

Глава XVI

Применение изложенной теории к действительности

Всякое исследование истин, относящихся к человеку, и особенно к деятельному человеку, вызывает желание видеть, как то, что было признано правильным в теории, осуществляется на практике. Это желание заложено в самой природе человека, который редко довольствуется незаметным действием благотворных идей, и сила этого желания растет вместе с благожелательной заинтересованностью создать счастливое общество. Однако, как ни естественно такое желание само по себе и как ни благородны его источники, оно тем не менее нередко приводило к вредным последствиям, часто более вредным, чем холодное равнодушие или — поскольку именно противоположные причины могут привести к одному и тому же результату — горячая приверженность чистой красоте идей, сочетающаяся с отсутствием подлинного интереса к действительности. Ибо истинное, как только оно глубоко укореняется — пусть даже только в одном человеке, — всегда оказывает благотворное влияние, правда, более медленное и незаметное, на действительную жизнь; напротив, то, что непосредственно в эту жизнь привносится, нередко изменяет в ходе этого процесса свой образ и не оказывает обратного воздействия даже на идеи. Поэтому существуют идеи, которые мудрый человек никогда не пытался бы претворить в действительность. Более того, для самого прекрасного и зрелого плода духа

действительность никогда, ни в одну эпоху не представляет достаточной зрелости; идеал всегда должен проноситься перед умственным взором каждого творца и жить в его душе в качестве недосягаемого образца. Исходя из этих оснований, необходимо соблюдать самую большую осторожность в применении даже наиболее последовательных теорий, даже таких, которые вызывают наименьшее сомнение. Это заставляет меня, прежде чем я закончу данную работу, проверить с доступной мне полнотой — и одновременно краткостью, — в какой мере развитые в предшествующем изложении теоретические принципы могут быть претворены в жизнь. Такая проверка послужит мне также оправданием в том, что я не стремился в моем исследовании предписывать правила действительной жизни или хотя бы только порицать все то, что противоречит в ней моей теории, — от такой самонадеянности я был бы далек, даже если бы все сказанное здесь представлялось мне совершенно правильным и бесспорным.

При всяком преобразовании действительности прежнее состояние сменяется новым. Между тем каждое положение, в котором пребывают люди, и все окружающие их предметы создают в глубине их внутренней жизни определенную прочную форму. Эта форма не может перейти в любую другую, выбранную произвольно, и, принуждая ее к этому, мы не только не достигаем своей конечной цели, но и убиваем силу. Обращаясь к важнейшим революциям в истории, мы без труда обнаруживаем, что большинство их возникли в результате периодических возмущений человеческого духа. Мы еще больше убедимся в этом, если сопоставим силы, вызывающие все изменения, происходящие на земле: тогда мы обнаружим, что главную роль в них играют силы человека; силы же природы имеют меньшее значение из-за ее равномерного, однообразно повторяющегося движения, а силы лишенных разума существ вообще неосновательны. Человеческая сила может в течение одного периода проявиться только *одним* определенным образом, но это проявление может быть бесконечно разнообразным в своих модификациях; поэтому она в каждый данный момент представляется односторонней, однако в последовательности периодов перед нами встает картина удивительного многообразия. Каждое предыдущее ее состояние является либо причиной последующего, либо, во всяком случае, ограничивающей его причиной, то есть позволяющей внешним, влияющим на данное состояние обстоятельствам создать его именно таким. Это предшествующее состояние и модификации, которые оно претерпевает, определяют, таким образом, действие новых условий на человека, и сила этого действия так велика, что сами условия часто обретают совершенно иной характер. Из этого следует, что все происходящее на земле можно считать хорошим и благотворным, потому что все, какова бы ни была его природа, подчиняется внутренней силе человека, и эта внутренняя сила во всех ее проявлениях — поскольку каждое из них придает ей в том или ином отношении прочность или внутреннее разви-

тие — может действовать только в той или иной степени благотворно. Из этого далее следует, что вся история человеческого рода может быть представлена просто как естественное следствие революций, совершаемых человеческой силой, что способно послужить не только поучительным указанием на то, как вообще следует изучать историю, но и внушить каждому, кто стремится воздействовать на людей, на какой путь ему следует, если он надеется на успех, направлять человеческую силу и какого пути он должен избегать. Поэтому внутренняя сила человека заслуживает самого пристального внимания по своему вызывающему глубокое уважение достоинству; этого внимания она заслуживает и вследствие того могущества, которое позволяет ей подчинять себе все окружающее.

Поэтому тот, кто решится взять на себя тяжелый труд искусно привнести новый порядок в старый, должен прежде всего никогда не упускать из виду этот фактор. Сначала он должен дожидаться того, чтобы настоящее оказало свое полное воздействие на людей; насильственным действием он, быть может, достиг бы преобразования внешней формы вещей, но никогда не смог бы изменить внутреннее настроение людей, и оно перешло бы во все то новое, что было насильственно навязано им. К тому же надо думать, что чем полнее действие настоящего, тем менее человек склонен к изменению состояния, в котором он пребывает. Именно крайности наиболее тесно соприкасаются друг с другом в истории человечества, и каждое внешнее состояние, если не противодействовать его развитию, ведет не к своему утверждению, а к своему уничтожению. Об этом свидетельствует не только опыт всех времен, это вообще свойственно природе человека — как деятельного (который никогда не занимается каким-либо предметом дольше, чем этот предмет являет собой материал для его энергии, и, следовательно, тем охотнее переходит к другому занятию, чем более беспрепятственно ему удалось заниматься прежним), так и пассивного, силу которого, правда, продолжительность давления со временем притупляет, но тем острее заставляет ощущать само это давление как таковое. Однако можно влиять на духовную жизнь и характер человека, не касаясь существующего порядка вещей, можно придать им определенную направленность, которая уже не будет соответствовать прежней форме; именно этого и попытается добиться мудрый человек. Только таким путем можно претворить свой план в действительность в том виде, в каком он мыслился в идее. При любом ином способе, не говоря уже о вреде, который всегда наносится в тех случаях, когда нарушается естественный процесс человеческого развития, этот план будет преобразован, изменен и искажен тем, что еще сохранилось от прежнего в действительности или в сознании людей. Если же это препятствие устранено и новый порядок вещей может, невзирая на предшествовавшее ему и создавшееся в настоящем положение, проявиться во всей своей силе, тогда ничто уже не будет препятствовать проведению реформы. Итак, общие прин-

ципы теории всех реформ можно, вероятно, определить следующим образом:

1) *Принципы чистой теории следует привносить в действительность только тогда, когда действительность во всей своей полноте не препятствует больше проявлению тех их последствий, к которым они могли бы привести без постороннего вмешательства.*

2) *Для того чтобы совершить переход от существующего состояния к задуманному новому, следует всегда по возможности стремиться к тому, чтобы каждая реформа возникала из идей, господствующих в умах людей.*

Выше, при рассмотрении чисто теоретических принципов, я, правда, всегда исходил из природы человека, предполагая, что это человек, обладающий обычными средними силами; однако я всегда представлял его себе в присущем ему образе, не измененном так или иначе какими-либо определенными отношениями. Между тем такого человека не существует; повсюду условия, в которых он живет, придают ему определенную, лишь в большей или меньшей степени положительную форму. Поэтому во всех тех случаях, когда государство стремится расширить или ограничить сферу своей деятельности в соответствии с принципами правильной теории, оно должно прежде всего иметь в виду эту форму. Несоответствие между теорией и действительностью в этом пункте государственного управления всегда будет заключаться, как легко себе представить, в недостатке свободы; поэтому может создаться впечатление, что освобождение от оков в любой момент возможно и всегда благотворно. Между тем, как ни справедливо это утверждение само по себе, нельзя, однако, забывать, что то, что, с одной стороны, в качестве оков препятствует действию силы, с другой — служит материалом для ее деятельности. В начале настоящей работы я заметил, что человек склонен более к господству, чем к свободе, и здание, сооруженное господством, радуется не только властителя, который его воздвигает и поддерживает, но и подчиненных, которых пленяет мысль, что они являются частью некоего *целого*, возвышающегося над силами и жизнью нескольких поколений. И если там, где господствует такое предание, пытаются заставить человека действовать только в себе и для себя — только в той сфере, которую охватывают его силы, только для той жизни, которая дана ему, — то это приведет к исчезновению энергии и к возникновению инертности и пассивности. Хотя только таким образом он действует на неограниченное пространство, для непреходящего времени, однако действие его не непосредственно — он как бы только сеет семя, которое впоследствии само даст всходы, но не строит здание, которое сохранило бы следы его рук; а для того чтобы предпочесть деятельность, создающую только силы и предоставляющую им самим прийти к определенным результатам, той деятельности, которая сама непосредственно их достигает, нужен более высокий уровень культуры. Такой уровень культуры и составляет подлинную зрелость свободы. Однако эта зрелость нигде не обнаруживается во всей своей

полноте, и останется, по моему мнению, вечно чуждой чувственному человеку, столь охотно выходящему за установленные для него пределы.

Что же должен предпринять государственный деятель, задумавший подобное преобразование? Во-первых, точно следовать чистой теории при каждом шаге, который выходит за пределы существующего порядка вещей, разве что в действительности существуют условия, при которых насильственное введение этой теории привело бы к тому, что сама эта теория оказалась бы измененной, а ее последствия полностью или частично уничтоженными. Во-вторых, не касаться всех существующих ограничений свободы до тех пор, пока не возникнут несомненные признаки того, что люди воспринимают эти ограничения как тяжкие оковы, что они ощущают их бремя и, следовательно, в данной области созрели для свободы; тогда эти ограничения следует немедленно устранить. И наконец, такой государственный деятель должен всеми средствами способствовать тому, чтобы последнее было достигнуто. Это-то и является, бесспорно, наиболее важным и вместе с тем наиболее легким в этой системе. Ибо ничто не способствует в такой мере достижению зрелости, необходимой для свободы, как сама свобода. Это утверждение отвергнут, конечно, те, кто так часто пользовался недостатком зрелости в качестве предлога для того, чтобы продолжать угнетение. Однако мне представляется, что данное утверждение, безусловно, вытекает из самой природы человека. Недостаток зрелости, необходимой для получения свободы, может проистекать только из недостатка интеллектуальных и моральных сил; устранить этот недостаток можно только посредством повышения их уровня; это требует работы, а работа — свободы, пробуждающей самостоятельность. Снять оковы, тяжесть которых не чувствует тот, кто их носит, не значит, конечно, даровать свободу. Однако нет на свете человека — как бы ни был он обижен природой, как бы ни был унижен своим положением, — который не ощущал бы тяжести своих оков. Следовательно, освобождать от оков надо постепенно, по мере того как возникает потребность в свободе, и каждый новый шаг на этом пути будет ускорять этот процесс. Большие трудности могут возникнуть также в связи с определением признаков этого пробуждения. Однако они связаны не столько с теорией, сколько с ее осуществлением, а для этого вообще нет определенных правил, и оно здесь, как и всегда, является делом гения. В теории я попытался бы уяснить для себя этот действительно очень запутанный вопрос следующим образом.

Законодатель должен всегда иметь в виду два момента: 1) чистую теорию, разработанную вплоть до мельчайших подробностей; 2) конкретную действительность, которую ему надлежит преобразовать. Он должен охватывать умственным взором не только теорию — во всех ее частях, самым полным образом и наиболее точно, — но и необходимые последствия каждого отдельного основоположения во всем их объеме, в их многообразном переплетении,

а в том случае, если они не могут быть реализованы одновременно, — в их взаимной зависимости друг от друга. Ему следует также, что уже гораздо труднее, отчетливо представлять себе истинное положение вещей, быть осведомленным обо всех узах, которые государство налагает на граждан и которые они, вопреки принципам чистой теории, сами наложили на себя под защитой государства, а также обо всех последствиях этого. Затем он должен сопоставить обе картины. Считать, что момент для внедрения какого-либо теоретического принципа в действительность наступил, можно было бы в том случае, если бы оказалось, что посредством привнесения этого принципа в действительность он остается без изменения и приводит именно к тем последствиям, которые предполагались первой картиной, или, если бы это не оправдалось полностью, все-таки можно было бы предвидеть, что этот недостаток будет устранен тогда, когда действительность еще более приблизится к теории. Эта конечная цель — полное сближение обеих картин — должна постоянно стоять перед умственным взором законодателя.

Подобное образное представление может показаться странным, более того, можно даже утверждать, что эти картины невозможно сохранить неизменными, а тем более сопоставить друг с другом. Все эти возражения вполне обоснованны, но они во многом теряют свою силу, если подумать о том, что теория всегда требует свободы, а действительности, в той мере, в какой она от теории отклоняется, всегда присуще принуждение; причина, вследствие которой свободу не предпочитают принуждению, заключается только в невозможности этого, невозможности, которая по самой своей природе должна объясняться только следующими обстоятельством: или тем, что сами люди либо их положение еще не подготовлены к свободе, и поэтому свобода может уничтожить те достигнутые результаты, без которых немислима не только сама свобода, но и вообще какое бы то ни было существование (к этому могут привести обе упомянутые причины), или тем, что она — следствие только первой причины — не приводит к тем благотворным результатам, которые обычно ей сопутствуют. Судить о том и другом можно, однако, лишь в случае, если представить себе нынешнее и предшествующее состояние во всем их объеме и тщательно сравнить их характер и те последствия, к которым они могут привести. Трудность эта уменьшится, если принять во внимание, что государство в состоянии приступить к преобразованиям лишь тогда, когда оно обнаружит у граждан признаки готовности к этому; так, оно может освободить от оков не раньше, чем граждане почувствуют тяжесть их бремени, и вообще государство таким образом остается только зрителем, и если ему представляется случай упразднить какое-либо ограничение свободы, то оно должно лишь определить, возможно ли это, и руководствоваться только необходимостью такого акта. Вряд ли надо указывать на то, что речь здесь идет только о таких случаях, когда преобразования являются для государства не только физически, но и морально возможными, когда, следовательно, они не противоре-

чат принципам права. При этом, однако, не следует забывать, что единственной основой для всякого положительного права является естественное и общее право и что поэтому исходить надо всегда из него; что — приводя правовое положение, из которого вытекают все остальные, — никто никогда не может каким-либо образом получить право пользоваться силами или имуществом другого человека, не имея на то его согласия или против его воли.

На основании этой предпосылки я решаюсь установить следующее основоположение.

Определяя границы своей деятельности, государство должно стремиться приблизить действительное положение вещей к правильной и подлинной теории в той мере, в какой это допустимо и возможно и этому не препятствуют серьезные основания, связанные с непреложной необходимостью. Возможность эта зависит от того, достаточно ли люди восприимчивы к свободе, которую постоянно проповедует теория, может ли свобода привести к тем благотворным последствиям, которые ей всегда сопутствуют, если ей не ставятся преграды; противобойствующая же свободе необходимость исходит из того, чтобы внезапно дарованная свобода не уничтожила, не разрушила то, без чего невозможно не только какое бы то ни было дальнейшее продвижение, но подвергается опасности и само существование вообще. То и другое должно всегда обсуждаться на основании тщательно проведенного сравнения настоящего и предполагаемого в будущем положения вещей и последствий того и другого.

Это основоположение всецело вытекает из применения установленного выше общего принципа проведения всяких реформ (см. с. 136) к данному случаю. Ибо как там, где отсутствует достаточная восприимчивость к свободе, так и там, где она неизбежно затрагивает упомянутые выше результаты, принципы чистой теории, привнесенные в действительность, не в состоянии создать результаты, которые могли бы возникнуть вне действия посторонних факторов. Для дальнейшей разработки установленного принципа я больше ничего не добавлю. Я мог бы, конечно, дать классификацию возможных состояний действительности и продемонстрировать таким образом применение этого положения. Однако тем самым я вступил бы в противоречие со своими собственными принципами. Ведь я утверждал, что каждое подобное применение требует обозрения целого и всех его частей в самой полной связи, а построить такое целое с помощью одних гипотез невозможно.

Если связать с этим правилом, регулирующим практические действия государства, законы, предписанные ему изложенной выше теорией, то из этого следует, что государство должно руководствоваться в своей деятельности только необходимостью. Теория сводит его деятельность к одной только заботе о безопасности, поскольку только это недоступно отдельному человеку, и поэтому в данном случае деятельность государства необходима. Правило, определяющее его практические действия, требует строгого подчинения теории, за исключением тех случаев, когда действи-

тельное положение вещей заставляет его от этого уклониться. Таким образом, все изложенные в данной работе идеи ведут к принципу необходимости как к своей конечной цели. В чистой теории границы этой необходимости определяются только особенностями естественного человека; в практическом ее применении к этому присоединяется индивидуальность реального человека. Этим принципом необходимости следовало бы, как мне представляется, руководствоваться как высшим правилом в любой практической, связанной с человеком деятельности, поскольку только он ведет к прочным, бесспорным результатам. Соображения пользы, которые могут быть ему противопоставлены, не допускают твердого и уверенного суждения. Они требуют исчисления вероятности, которое, даже не принимая во внимание то, что это исчисление по самой своей природе никогда не бывает безусловно верным, легко может оказаться нереальным под действием самых ничтожных непредвиденных обстоятельств; напротив, необходимое властно взывает к чувству, и то, чего требует необходимость, всегда является не только полезным, но и тем, без чего обойтись нельзя. К тому же, поскольку число степеней полезности бесконечно, соображения полезности требуют все новых и новых мероприятий, тогда как при ограничении необходимостью и предоставлении тем самым более широкого поля деятельности индивидуальной силе потребность в них уменьшается. И наконец, забота о полезном приводит большей частью к положительным мерам, забота о необходимом — чаще всего к отрицательным, поскольку при достаточной степени самостоятельно действующей силы человека необходимость обычно возникает только тогда, когда надо освободиться от каких-либо сковывающих уз. Из всех этих соображений — к ним в ходе подробного анализа можно было бы прибавить еще ряд других — следует, что нет принципа, который в такой степени соответствовал бы чувству глубокого уважения к индивидуальности самостоятельно действующих существ и связанной с этим уважением заботе о свободе, как принцип необходимости. И таким образом, единственное бесспорное средство придать законам силу и вызвать к ним уважение состоит в том, чтобы положить в их основу именно этот принцип. Для достижения этой конечной цели предлагались различные пути; в частности, наиболее верным средством считалась попытка убедить граждан в том, что законы благотворны и полезны. Но даже если допустить в каком-либо определенном случае, что благотворность и полезность законов несомненна, то следует иметь в виду, что люди обычно с трудом поддаются убеждению в том, что определенное постановление действительно полезно; различные точки зрения создают различные мнения. К тому же против метода убеждения восстает сама природа человека, поскольку каждый, охотно обращаясь к тому, что он сам счел полезным, всегда противится попытке других навязать ему что-либо в качестве такового. Нести же бремя, налагаемое необходимостью, не отказывается никто. Там, где сложилось трудное положение, трудно и понимание того, что необходимо; однако именно приме-

нение данного принципа упрощает положение и облегчает это понимание.

Итак, я завершил путь, намеченный в начале моей работы. При этом я все время руководствовался глубочайшим уважением к внутреннему достоинству человека и к свободе, единственно соответствующей этому достоинству. Мне остается только пожелать, чтобы идеи, которые я здесь изложил, и выражение, которое я им придал, были достойны этого чувства!

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Введение	25
II. Размышления о человеке и высшей конечной цели его бытия . . .	30
III. Переход к собственно исследованию. Забота государства о положительном, особенно о физическом, благе граждан	34
IV. Забота государства об отрицательном благе граждан, об их безопасности	52
V. Забота государства о безопасности в случае нападения внешних врагов	54
VI. Забота государства о сохранении мира между гражданами. Средства, позволяющие достичь этой цели. Установления, направленные на преобразование духа и характера граждан. Общественное воспитание	57
VII. Религия	62
VIII. Исправление нравов	77
IX. Более подробное положительное определение заботы государства о безопасности. Развитие понятия безопасности	87
X. Забота государства о безопасности, выражающаяся в регулировании таких действий граждан, которые непосредственно касаются только самого действующего лица. (Полицейские законы)	90
XI. Забота государства о безопасности граждан, выражающаяся в определении таких действий, которые прямо и непосредственно касаются других. (Гражданские законы)	97
XII. Забота государства о безопасности, которая выражается в законном разрешении споров между гражданами	106
XIII. Забота государства о безопасности посредством наказания за нарушение государственных законов. (Уголовные законы)	110
XIV. Забота государства о безопасности посредством определения положения лиц, не обладающих естественными или достаточно зрелыми умственными способностями. (Несовершеннолетние и умалишенные) Общие замечания к данному и четырем предшествующим разделам	124
XV. Отношение средств, необходимых вообще для сохранения государственного организма, к изложенной выше теории. Окончание теоретического исследования	130
XVI. Применение изложенной теории к действительности	133

О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ПОЛАМИ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ

Ввиду важности конечной цели, которой прежде всего служит различие между полами, обычно назначение его одной этой целью и ограничивают. Включая это целиком в понятие пола, в этом последнем все видят лишь установление природы, предназначенное для воспроизводства рода, и потому полагают, что, если бы род мог сохраняться иным способом, люди легко смогли бы обойтись без половых различий, поскольку нередко кажется, что этот фактор даже мешает развитию родовых признаков в отдельных индивидах. В лучшем случае признается очевидный факт благотворного влияния одного пола на другой. В окружающей природе это явление столь же малозаметно, поэтому требуется огромное напряжение мысли, чтобы вывести понятие о различии между полами из ограниченной сферы, куда его обычно помещают, на безграничный простор. Без этого различия природа не была бы природой, ее механизм остановился бы, и связь, объединяющая все существа, и борьба, вынуждающая каждого в отдельности мобилизовать его собственную, присущую ему одному энергию,— все это прекратилось бы, когда на место этого различия встало бы скучное и усыпляющее равенство.

Природа устремлена к безграничному. Всем без исключения большим и прекрасным, что заключено в конечных силах, стремится она овладеть, объединив их в целое. Но поскольку эти силы всегда конечны и подвластны законам времени, они взаимно уничтожаются и не могут действовать *одновременно*. Это касается не только отдельных сил, но и вообще двух главнейших способов действия — образования единичного и объединения в целое. Ибо действие сил порождает *односторонность*, которую поддерживает своеобразие материала, тогда как связующая форма требует *многосторонности*, и одно требование, возникая, в мгновение ока с необходимостью

Wilhelm von Humboldt. Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur (1794).

уничтожает другое. Если же нужно создать бесконечное действие при всей ограниченности конечного, то не остается ничего другого, кроме как разделить несовместимые качества на различные силы или хотя бы на различные состояния одной силы и под натиском потребности побуждать их к взаимодействию. Именно эти два признака и включает в себя понятие пола. Для того чтобы уяснить это понятие в его природном проявлении, лучше всего исходить из представлений о воспроизводстве рода, но можно и не обращать на это внимания, представив понятие о поле в его общем виде, как означающее своеобразную неравнозначность различных сил, которые, только слившись, образуют целое, и взаимную потребность этих сил в образовании целого путем взаимодействия.

Ибо на одном только взаимодействии покоится тайна природы. Разнородный материал сливается, результат этого слияния снова становится частью большого целого, и так до бесконечности каждое новое единство становится все богаче, каждое новое многообразие выливается в еще более прекрасное единство. Материал и форма, разнообразными способами ограничивая друг друга, обмениваются сущностями, и никогда не различись, где создаемое, а где создающее. Так объемлет природа сразу единое и многое, противоположные на первый взгляд, но близкородственные в действительности свойства, из которых одно сохраняет духу покой, тогда как другое устремляет его к деятельному размышлению.

Пораженный чудесным действием этих бесчисленных сил, человеческий дух приходит в отчаянье, пытаясь разобраться в их священном хаосе. Однако его природа требует, чтобы он снова и снова повторял свои попытки. Если хотя бы одна из них окажется не совсем неудачной, он сможет перевести свой взор с потока взаимодействий на составляющие его отдельные силы. Все, что принимало чужой, многократно измененный различными преломлениями облик, будучи обособленным, предстает в своем первоначальном виде. Ибо все связи в природе обусловлены внутренним строением сущностей, никакой произвол не нарушает спокойного течения природных взаимодействий. Все, что сливается воедино, несет в себе потребность этого слияния, и характер действующих сил определяет все явления природы. В результате путь упрощается, но едва ли проясняется. Очень трудно выявить тот скрытый характер вещей, который состоит не в совокупности случайных их проявлений, но во внутренней их сущности, и создается не перечислением отдельных признаков, но их единством. Именно потому, что это высшее единство проявлений, оно не допускает разъединения, являясь внутреннему созерцанию так же, как внешний облик является глазу; обнаружить его можно, лишь обладая определенным чутьем, поскольку и оно должно объясняться при помощи понятий и устанавливаясь при помощи доказательств.

Все то, что, как этот характер, является конечным результатом объединения сил, может быть понято только объединенными силами. Мысль и чувство должны объединиться в единое деятельное целое.

Рассудок исследует природу и способ действия всего сущего посредством понятий, фантазия создает внешний вид явления, форму для содержания, и только единство, в котором дух стремится закрепить этот двойной результат, может в какой-то степени соответствовать изучаемому объекту. Исследователь не должен пренебрегать никаким внешним проявлением энергии, принимая в расчет все поле ее деятельности. При изучении телесного мира он должен довериться нравственному чувству и никогда не упускать из виду целого, все равно-идет ли речь об обширном мире природы или об узком круге человечества. Тогда только внешний чувственный образ предмета превратится в зеркало, отражающее его внутреннее устройство.

Прежде всего для прояснения и облагораживания своей моральной природы человек должен пристально и обстоятельно изучать свою физическую природу, тем более что она предусмотрительно упростила ему это изучение. Уже в чисто телесной части его существа безошибочно записано то, чем он должен руководствоваться в сфере морального. Однако глаз наблюдателя лишь изредка способен в достаточной степени разобратся в этих письменах. Человек изначально опасается, что слишком вольная игра фантазии приведет к ошибке, поэтому его внимание уходит в сторону от предмета; еще чаще недостаточное духовное развитие и вовсе не дает возникнуть наблюдательности. Не вызывает сомнений, что физическая и моральная природа человека составляют одно великое целое и подчиняются одним и тем же законам. После изучения физического мира и познания внутренней жизни духа остается еще уяснить взаимосвязи этих столь различных сфер и сформулировать законы, которые, управляя ими обемни, обеспечивают высочайшую степень единства природного целого. Даже если бы эти законы оказались малочисленными и совсем простыми, они и тогда должны были бы охватить все богатое разнообразие особенного. И человеку было бы легче повиноваться тем же законам и в них раскрывать сокровеннейшие тайны своей сущности. При этом именно в области человеческих чувств и страстей перед исследователем открываются такие глубины, в которые он не может проникнуть, — только если выйдет за их пределы. Чем ближе какое-либо явление к чисто физической природе человека, тем труднее объяснить его только с точки зрения морали. Тогда и следует обратиться к самой по себе этой физической природе, и то, что неясно просматривается в запутанном и сложном организме, нужно искать в другом месте, там, где оно предстает в простых и отчетливых чертах. Где же еще искать, если не в самой же природе, в ее менее запутанном, зато более обширном хозяйстве? Через природу человек должен научиться понимать самого себя и в ней находить корни, из которых произрастают нежнейшие цветы его души. Разобравшись в этом, уже не так трудно обозреть всю конструкцию вплоть до мельчайших ее ответвлений. Вот тот исходный пункт, отправившись из которого знаток физической природы и исследователь моральной должны рука об руку взойти на крутую вершину, с которой каждый из них сможет увидеть свою область в новом и

единственно истинном свете. Конечно, человеческих сил недостаточно, чтобы достичь самой высокой точки этой вершины. Но любое познание природы будет все дальше уводить от истины, если к ней не стремиться, если не сделать ее своей ясной целью при исследованиях в любой из двух упомянутых областей.

Состоящая из конечных сил природа способна создать из них бесконечность. По ее законам смертное существо, прежде чем уйти из жизни или утратить жизненные способности, оставляет вместо себя потомство, так что, хотя отдельное и изменяется, целое продолжает оставаться нерушимым единством. Забота о продолжении рода, вопреки преходящему бытию индивидуумов,— это первое явление, которое предстает перед нами при самом общем взгляде на природу в целом. Однако природа не ограничивается продолжением как таковым, устремляясь к более высоким целям. В отдельном существе совершенство возникает не сразу, формируясь при переходе от низшей ступени к высшей. Тем самым природа, бросив в землю самое первое зерно, может уже дальше, не прикладывая рук, спокойно наблюдать возникновение ряда живых существ, которые развиваются сами собой, подобно бесконечной цепи, но все же устремляясь к определенной цели. Среди всех связей, которые мы можем осознать, этой двойной цели служат высочайшие, сложнейшие и сокровеннейшие. Если бы человеческий дух был в состоянии подробнее изучить эти связи в зависимости от характера образующих их сил, тогда он с большим основанием мог бы благоговеть перед этой глубокой тайной.

При всяком порождении возникает нечто, чего не было до сих пор. Подобно сотворению, рождение созидает новое бытие, отличаясь от первого только тем, что при рождении новому должен предшествовать уже имеющийся материал. Несмотря на эту необходимость, порожденное обладает своей собственной жизненной силой, не зависящей от того, кто его породил, и не объяснимой через него. Возникновение этой силы — непостижимая для нас тайна. Результат любого развития и роста является частью того, что развивается и растет, получая из чужих рук свою оживляющую силу. Но то, что возникает путем рождения,— это самостоятельная сущность, обладающая собственной жизнью и собственным организмом и способная порождать себе подобное так же, как была порождена сама. Хотя способность к воспроизводству распространена в природе повсеместно, ни одна сила не способна создать жизнь и организм механически; ни одна мудрость не в состоянии определить их путь. Порождение отлично и от развития, его лучше было бы назвать пробуждением; все последующее развитие порожденного принадлежит только ему самому, но не его родителю. Известно, что предшествует рождению, очевидно, и то, что за ним следует. Как же они соотносятся? Это скрыто от нас непроницаемой завесой. Тогда как рождение по отношению к родившемуся есть пробуждение, для рождающего существа — это мгновенное состояние, отмеченное не только высшим напряжением, но и объединением всех сил. Сила,

оживляющая все живое и органическое, являя собой единство, может возникнуть только из себе равного. При этом всякое порождающее существо чувствует, что все его собственные однородные силы настроены на высочайшую гармонию, а также всякое порождение есть слияние двух различных неоднородных принципов, из которых один, воздействующий, называется порождающим (в узком смысле слова), а другой, претерпевающий воздействие, называется воспринимающим. Так природа напоминает своим детям, которым, как существам конечным, не дано владеть всеми качествами в одинаковой степени, о том едином, что только и способно к высоким стремлениям, посылая им минуты, когда они забывают, что обречены на раздельное существование.

Взаимодействие порождающего и воспринимающего ответственно не только за продолжение рода в физическом мире. Тем же путем возникает самое чистое и одухотворенное чувство; отсюда может возникнуть даже мысль, этот тончайший и совершеннейший побег на древе чувственности. Духовная порождающая сила есть гений. Где бы она ни явилась — в фантазии художника, в открытии ученого, в энергии действующего человека, — она всегда творчество. До сих пор еще ничего не говорилось о значении ее творений для всего сущего, и это нельзя прямо вывести ни из уже сказанного, ни из уже известного. Хотя в царстве мысли, в пределах обязательных логических зависимостей всегда должна быть очевидна связь нового с данным, гений идет другим путем. Ибо по-настоящему гениальное — не только лишь быстро полученный вывод из взаимосвязанных положений, это действительно находка, когда гениальное прозрение принесит нам нечто, ни к чему ранее существующему не сводимое. Все, что несет на себе отпечаток гения, можно уподобить отдельному существу со своей органической жизнью. Его природа сама предписывает ему законы — не так, как теория, выведенная рассудком из понятий, дает нам воплощенные в мертвых буквах правила, но сама через себя, принося с собой залог своего продолжения, ибо каждое гениальное творение вдохновляет гения снова и снова и таким образом гениальность продолжает свой род.

Обусловленная вдохновением, деятельность гения остается ему самому непонятной. Она не идет проторенными путями, проявляясь то там, то здесь, и напрасно было бы пытаться пройти по ее запутанным следам. Здесь невозможно что-либо рассчитать, нельзя даже предсказать, будет ли продукт этой деятельности нарушающим все правила или закономерным. Деятельность гения может лишь опосредованно способствовать закономерности результата — тем, что *она подчиняется своим законам* и в момент творения не допускает никаких других влияний на произведение, кроме тех, которые вызваны общим состоянием творца. В момент творения все его силы сливаются воедино, ни одна из них не остается свободной для праздного созерцания, ни для хладнокровного анализа. Самодеятельность и восприимчивость присутствуют в нем в равной степени, и единственное, что ему удастся осознать, — это союз двух нерав-

ноправных вещей. Только взаимодействие самодеятельности и восприимчивости дает ему возможность самовыражения,— возможность, отбросив все случайное, сделать самого себя объектом рефлексии. Это разделение является неотъемлемым для всякого гениального творчества, поскольку гений извлекает необходимое из глубин своего сознания, что возможно только путем полного отрешения от эмпирического бытия. Это разделение, поскольку только оно служит целям творчества, требует высшей объективности, то есть переходящей в потребность способности схватывать необходимое. Эта способность рождается во внутреннем мире гения, или, точнее, ему приходится превращать в необходимое свое собственное субъективное и случайное бытие. Художник никогда не создаст шедевра, если он не способен сделать своим подлинным образцом идеальную красоту, черты которой рождаются из глубины его воображения; философ, обогащающий множество идей, не достигнет никогда успеха, если истина, извлекаемая им из глубин его духа, не приводит в движение его внутренний мир, подобно внешнему объекту; и никогда в трудных случаях жизни деятельный человек не сможет гениально расценить запутанные пружины механизмов, если он не способен выплеснуть в окружающий мир свое Я или, распространив свое Я, объять окружающее.

Самый момент возникновения нового бытия неуловим, легче пронаблюдать состояние, ему предшествующее. В этом состоянии творческого озарения одновременно возникают ощущения переполненности и недостатка, которые и делают порождение возможным. Сила концентрируется в самой себе, достигая вершины своего богатства и величия, подвижности и великолепной готовности к деятельности. Эту силу можно привести в движение одним только воспоминанием о ней. Уже в этом движении заложены готовые прорасти семена беспокойной страсти. Несмотря на свое богатство, она ищет еще чего-то другого и, только объединившись с этим другим, образует законченное целое. Если ее поиски увенчиваются счастливой находкой, она стремится к объединению, в котором исчезает всякое отдельное бытие. Так возникает волнообразное движение, последовательность взлетов и падений, и страсть достигает высочайшего напряжения. Все ожидания нацелены теперь на созидание, и собственное Я отрекается от себя, чтобы целиком отдаться сотворению нового. Из этого высшего бытия вырастает новое бытие. Этот момент является решающим также и для творческой деятельности. Шедевр живописи бывает закончен, если в один и тот же момент завершают работу и воображение художника, породившее картину, и его рука, картину создавшая. Осуществленное изображение представляет собой лишь отзвук этого решающего момента.

Отчуждающее явление состоит в том, что силы, столь необходимые друг другу и друг к другу стремящиеся, должны существовать отдельно, и предназначенное для слияния не может объединиться. Для рождения вообще нужны две неравные силы; в природе эти

силы могут либо слиться в одном существе, либо существовать отдельно. Поскольку рожденное всегда одного рода с порождающим его и на него похоже, кажется странным, почему не может непосредственно происходить одна жизнь от другой, из одной силы — другая? Поскольку понятие чистой силы не содержит пока ничего противоречивого, мы должны искать противоречия в том, что ее ограничивает.

Жизненная сила, одушевляющая органическую природу, требует для себя физической оболочки. Сила и оболочка составляют нерасторжимое единство, поскольку они друг с другом взаимодействуют. Таким образом, в каждом органическом существе связаны действие и ответное ему действие. Насколько неуловим процесс порождения, настолько же неясно, как влияет состояние порождающего начала на порождаемое и почему, как отчетливо свидетельствуют гениальные произведения, порожденное подобно тому, что его породило. Рождение органического существа требует двойного влияния, одного связанного с действием, а другого — с ответным действием, что невозможно в пределах одной и той же силы и в одно и то же время.

Здесь и начинается различие между полами. Порождающая сила приспособлена больше для воздействия, воспринимающая — больше для ответного действия. То, что оживляется первой, называем мы *мужским*, а то, что второй, — *женским*. Все мужское выказывает больше самостоятельности, все женское — больше страдательной восприимчивости. Однако это различие заключается скорее в общей направленности, а не в способностях. Деятельная сторона — она же и страдательная, и наоборот. Нечто целиком страдательное немислимо. К страдательности (восприятию внешнего воздействия) относится по меньшей мере соприкосновение. Однако к тому, что не обладает способностью к действию, нельзя прикоснуться, его можно лишь пройти насквозь, ибо оно — ничто. Поэтому страдательность можно рассматривать как ответное действие. А деятельная сила (как мы помним, речь идет о конечных силах) подвластна условиям времени и в пределах материала всегда связана с чем-либо страдательным. Не входя в более глубокий анализ, мы видим всегда взаимное соответствие воздействия и восприятия в любом человеке. Деятельнее всего дух, но он и самый возбудимый, а сердце, которое больше всего восприимчиво к любым впечатлениям, отвечает на них с живейшей энергией. Поэтому только направленность отличает мужскую силу от женской. Первая начинается, благодаря своей деятельности, с воздействия, принимая впоследствии, благодаря своей восприимчивости, обратное действие. Вторая сила идет в противоположном направлении. Благодаря восприимчивости она принимает воздействие и возвращает его со своею деятельностью.

Этот двоякий характер выражает также различное положение сторон, участвующих в порождении. У них чувство переполняющей силы сочетается с болезненным ощущением недостатка. Однако там, где есть мужское начало, царит прежде всего сила — сила жизни,

до предела очищенная от всякого материала; ощущение недостатка направлено здесь на необходимое существо, способное дать этой энергии достаточно материала для деятельности и смягчить ее бурное стремление, выражая в ответном действии свою восприимчивость. В кругу женственности развиты противоположные способности: великолепное, льгущееся через край изобилие, слишком богатое, чтобы быть приведенным в действие собственной энергией, стремится обрести дополняющее его существо, которое оживило бы его собственный материал и увеличило бы его собственную силу, вынудив ее своим действием к ответному действию. В первом случае имеется сила, которая сосредоточивается в одной точке и стремится *из нее наружу*. Она ищет вовне материал, который, будучи сам по себе недостаточным, находит приложение своей деятельности. Во втором случае мы находим полноту субстанции, которая стремится в определенной своей точке принять *внутрь себя* посторонний предмет и зачать от него единство. Итак, одна сила удовлетворяет желание другой, и обе они сливаются в гармоническое целое.

Также и в духовном порождении мы находим не просто равновеликое взаимодействие, но такое же различие по полу. Ум, предназначенный для творения, устроен совершенно иначе, чем тот, который определен для восприимчивости. Трудно даже просто заметить такие тонкие различия в умственной и нравственной сфере и гораздо труднее изобразить их. Если гений обладает мужской силой, то он, творя, будет воздействовать разумом на идеальный объект. Если же, напротив, ему свойственно женственное изобилие, он, воспринимая, будет преломлять воздействие этого объекта в избыточном своем воображении и отвечать на это воздействие. Следовательно, отличие это обнаруживается во внутреннем состоянии творца в процессе творчества, хотя опытный взгляд сумеет уловить его и в самом произведении. Таким образом, каждое истинно гениальное произведение есть плод свободного, самодостаточного и в своем роде безусловного согласования воображения с разумом; мужской разум его углубляет, а женственное воображение делает его наполненным и прелестным¹. При этом различие между полами вообще как различие природное должно быть насколько возможно возвышаемо формирующей волей до единства; поэтому тот же гений, если он разбирается в своем произведении, будет стараться привести каждую из этих сил в состояние чистой уравновешенности вплоть до полного забвения этого различия. Яснее, чем в данном случае, проявляется это различие в практической жизни. Где добродетель-

¹ Очень трудно провести это сравнение в отдельных случаях, так как редко две личности обладают описанными различиями в очевидной степени. Позволю себе, однако, для примера противопоставить друг другу *Гомера и Вергилия, Аристо и Данте, Томпсона* и Янга, Платона и Аристотеля*. По меньшей мере трудно не согласиться с тем, что названные в парах первыми в отношении исходящей из них силы обнаруживают более богатое воображение, тогда как названных вторыми характеризует разум, с определенностью, переходящей в жесткость. Примером бесполого гения может служить *Софокл*, свободный и от жесткости и от слишком богатого воображения, его можно поместить между *Эсхилом и Эврипидом*.

ный человек, охваченный возвышенным чувством почтения к закону, жертвует своим счастьем или своей жизнью ради выполнения долга, там мы видим величественное и героическое проявление мужской силы. Моральное чувство достигает большого напряжения, голос долга призывает к действию, и человек чувствует себя обязанным последовать на этот зов. Напротив, где добродетель, соединенная с воображением, наполняется ее очарованием, там моральное чувство можно считать в большей мере воспринимающим, чем порождающим. Сила воображения придает этому чувству благородный облик, органично вливается в него и стремится объединить его со своим существом, тем самым добродетельное деяние, имеющее место, является результатом не полностью свободной и самостоятельной силы, но, скорее, силы ответного действия.

То же своеобразие порождающей и воспринимающей сил, которое мы наблюдаем в момент их высшей действительности, обнаруживается также и во всем остальном их бытии. Повсюду в первой из них выражена сила порождения, свободно дающая от своего изобилия, повсюду в последней энергия восприятия проявляется в твердом удерживании воспринятого. И хотя наш взгляд, невнимательно скользя по поверхности неподвижного бытия сущностей, всегда торопится увидеть их в действии, все же природные силы обязаны своей продолжительностью именно этой незаметной жизни. Ибо это бытие есть не что иное, как непрерывная действительность, беспрестанная подготовка деятельности, которую мы замечаем только в ее конечной стадии, когда постоянная стремительность доводит силу до выплескивания из ее обычных границ. Наши грубые чувства способны воспринять лишь телесное действие, тогда как тонкое, но мощное влияние, непосредственно распространяющееся на все живое, от нас ускользает, подобно незаметному дуновению. Таким же образом порождающей и воспринимающей силам вверена не только забота продолжения рода, не просто порождение, свершающееся у нас на глазах. Также и поддержание, а поддержание конечного есть непрерывная смерть в сочетании с вечно возрождающейся жизнью, также и скрытое от нас возрождение суть результаты их работы. Если бы природа другим путем достигала цели продолжения рода, она все равно не смогла бы обойтись без того взаимодействия, в котором взаимно дополняют друг друга силы, связанные с двумя полами.

Природа, используя конечные средства для достижения бесконечных целей, основала свое здание на столкновении сил. Все конечное нацелено на разрушение, и только небесный покой царит над сферой действия того, что отрицает само себя. Разрушающей деятельностью одной силы должна противодействовать другая, и каждая из них мешает другой достигнуть цели, тем самым обе выполняют причудливый замысел природы. Однако она выигрывает эту борьбу, только если рассматривать ее в полном объеме и на протяжении всех ее эпох; иными словами, она равна содержанию ее законов. В каждый отдельный период борьба все еще продолжается, и

не имеющее ничего должно довольствоваться тем, что обладает в высшей степени возможным. Будучи не в состоянии выйти из своих границ, одна сила с необходимостью заполняет пустоты другой; и таким образом любая деятельность исчерпывает сама себя, бездействие же запрещено, поэтому отдых состоит в смене видов деятельности. Высшая сила требует объединения противоречивых условий. Устойчивое постоянство должно сочетаться с беспокойным напряжением. Но напряжение — это огонь, сжигающий сам себя; чтобы не утратить интенсивности, оно должно, избавившись от сдерживающей его массы, зарядить энергией материал, которым оно обладает. Кроме того, существуют также силы, действующие именно благодаря массе; примеры этого мы находим прежде всего в неживой природе, где действует объединенная энергия отдельных, случайно оказавшихся рядом частей. В случае когда напряжением завершается восприимчивость, она лишается тем самым улаждающего покоя. Всякая энергия требует сопротивления, необходимого для постоянной устойчивости, требует большей способности воспринимать, а не отвергать постороннее воздействие, большей расположенности к претерпеванию и к тому же богатого материала. Этот материал сам по себе настолько нацелен на переработку посторонней энергии, что для него немислимо собственное самостоятельное напряжение. Так поэтическая сила, создавая в сверкающем огне образ за образом, не дает чувствам воспринимать внешние впечатления; в свою очередь чувства, объемля действительность животворящим теплом, препятствуют стремительному полету в страну вымысла.

Мужская сила, предназначенная для оживления, образуется сама собой и благодаря собственному движению. Весь имеющийся в ней материал она преобразует в неделимое единство. Чем материал богаче и сложнее, тем изнурительнее напряжение и вместе с тем значительнее действие. Материал по своей природе не может быть предназначен для соединения. Мужская сила должна быть для материала руководящим принципом. Так, заключенная в себе, она направляет свое действие вовне. Оживленная сильным порывом к деятельности, она стремится найти предмет, который можно было бы наполнить собой; но в этот момент она является только самостоятельностью, лишенной всякой восприимчивости. Такое напряжение изнуряет, оно подобно мощному, но быстро исчезающему дуновению ветра. Вместе с ощущением ослабевающей энергии у нее рождается стремление к восприимчивости, и она с готовностью приходит в спокойное состояние там, где до этого была чисто деятельной. Итак, она есть то, что есть, через себя самоё и свойственную ей форму. Человек, обуреваемый жадной деятельностью, чувствует, что он стесняет сам себя. Наблюдательный его дух помог ему набраться разнообразного опыта на дороге жизни, создать для себя высокие идеалы; многие чувства движут им: то заслуги на поприще созидания нового, к которым его влечет, то участие и сочувствие по отношению к существам, которых он стремится облагородить. Его грудь не мо-

жет вместить всех этих возвышенных образов, и горячая жажда деятельности увлекает его. Он ищет мир, который соответствовал бы его желанию. Бескорыстный и далекий от мысли о собственном удовольствии, он оплодотворяет этот мир всей полнотой своей силы. Так возникает новое создание, и он радостно успокаивается, созерцая своих детей.

Женская сила, предназначенная для ответного действия, распространяется на посторонний предмет и благодаря постороннему возбуждению. Материал, которым она обладает в изобилии, способен объединяться в целое в соответствии со своей природой; поэтому он действует благодаря страдательной, а не деятельной способности. Чем разнообразнее эта сила, тем красивее ее проявления, но ее напряжение от этого не зависит. Оно, скорее, находит выход через различные точки соприкосновения, а его степень определяется глубиной проникновения, которая зависит в свою очередь от взаимной гармонии. Материал, связанный с женской силой, не нуждается в господстве объединяющего принципа, но сам образует единство благодаря своей однородности. В этом единстве женская сила отвечает на внешнее воздействие постоянно растущим огнем, исчерпывающим всю его действенность. Ее природа делает ее способной претерпевать сопротивление, освобождает ее от порывистости, поглощающей мужскую силу, потому она достигает длительности своего действия за счет постоянства. Она обязана частью своей деятельности самосозидательной способности своего материала, который расширяет и поддерживает ее. Сердце, наполненное разнообразными переживаниями и одухотворенное благородными стремлениями, будет само по себе богатым, но, лишенное стремительной отваги, неспособное выбрать себе направление деятельности, оно будет терзаемо беспокойством и тоской. Непонятное самому себе, обездоленное, несмотря на изобилие, оно хочет найти существо, способное дружески распутать переплетения его чувств. Чем глубже скрыт источник этого запутанного состояния, тем труднее удовлетворить это желание, но тем сердечнее отношение к найденному. Чем дольше оно к нему стремилось, тем больше открывается точек соприкосновения, и они не распадаются до тех пор, пока зародыш не превратится в созревший плод.

Итак, порождающая и воспринимающая силы различаются не только степенью, но и типом. Просто взять не значит воспринять; первое настолько же ниже второго, насколько простая передача ниже порождения. И порождение и восприимчивость суть высшие, могущественные энергии; и то и другое способны производить нечто, беря и отдавая. Плодородное изобилие есть то, от чего отрешается первое и с помощью чего второе удерживает воспринятое. Истинное различие в характере двух сил — в том, что воспринимающая тяготеет более к материалу, к телесному миру, а порождающая — больше к душе, тогда как именно душа есть носитель принципа самодеятельности. Благодаря этому различию они воздают должное требованиям природы. Поскольку грозящей разрушением

стремительности мужской силы нужно что-то противопоставить, эта сила не может быть однородной. В противном случае обоюдное изнурение стало бы результатом борьбы, в процессе которой, как и везде в природе, побежденный получает новую жизнь из рук победителя. Тогда изобилие должно противостоять потребности, однако природа не допускает ни бедности, ни самодостаточности, поэтому потребность снова оказывается связанной с богатством. Поскольку все мужское предполагает *напряженную энергию*, а все женское — *постоянную устойчивость*, то беспрестанное взаимодействие того и другого составляет *неограниченную силу* природы, напряжение которой никогда не иссякнет и покой которой никогда не выродится в бездеятельность.

Два условия необходимы для всякого порождения: живая энергия силы, собранная в одной точке, и живая полнота материала, способного во всех точках воспринять вторжение этой силы. Первая по природе своей нацелена на отделение, поскольку все, что не есть она сама, препятствует ее действительности, вторая нацелена на объединение, чтобы со всех сторон охватить воздействующую на нее силу. Если гений с помощью самодеятельного разума (эти явления одинаковы у всех порождающих существ) зажигает оживляющее пламя, которое рождает божественное творение, то воображение принимает его в свое лоно и благотворно охватывает. Порождающая сила не может энергично сосредоточиться, пока она не поборола все, что может помешать ее напряжению; воспринимающая сила была бы не в состоянии охватить одну точку со всех сторон, если бы она не несла в себе высшую согласованность. Стремительность, с которой первая прокладывает себе путь, склоняется к одному пункту и ее неудержимым действием должно быть всеобщее разделение и разрушение. Напротив, для последней закон — гармоническая кротость, которую она приносит с собой, стремление к единству; сохранение — ее плод. Что предназначено для оживления, должно быть привлекательным. Всякая же привлекательность притягивает внимание к какому-либо одному состоянию, а чувство полного равнодушия было бы равнозначно дремоте или смерти. То, что оживляется, не должно слишком щадить себя и избегать любого потяжения. Наоборот, материал, которого коснется одушевляющая сила, должен проникнуться ею целиком и полностью. Обладающее в большей степени формой нацелено на объединение, но только через разделение; тяготеющее к материалу, как и он сам, несет многообразие, но еще мало расчлененное.

Мы встречаем эти качества везде, где заметен женский и мужской характеры: в одном стремление к порождению и разделяющий порыв, в другом — старание объединиться, поддерживая при этом прежнее состояние. Различные качества сопутствуют обоим полам повсюду в природе, но прежде всего в человеке, благодаря этому они производят различное впечатление. Прелестная грация и мягкое изобилие женственности волнуют чувства; не только привлекательное, но и образное представление и чувственная связность всех понятий дают

воображению богатую и живую картину; и единство характера, открытого для всех впечатлений, отвечающего на каждое из них с соответствующей сердечностью, трогает нашу чувствительность. Так, все женское действует прежде всего с помощью тех сил, которые предстают перед людьми в своей первозданной простоте. Что касается мужчины и его пола, то он этими силами не удовлетворяется, опираясь больше на возможности понятий. Мужской облик отличается большей определенностью, чем красота и прелесть; мужские понятия отчетливее и тщательнее выделены, а связи между ними проще; мужской характер сильный и имеет твердое направление, но нередко проявляется как односторонний и жесткий. Все мужское больше проясняющее, все женское больше трогательное. Одно приносит больше света, другое — больше тепла. Поскольку в конечной природе жизнь всегда стоит рядом со смертью, а лучшее возникает только на месте менее хорошего, постольку и новое бытие должно приходиться на смену тому, что уже было прежде. Сила, увлекаемая собственной решительностью, направленная вовне, должна действовать по своему произволу; и когда она сметает на своем пути все препятствия, она неизбежно выглядит насильственной. Поэтому отвага великих свершений немыслима без жесткости. Новое создание, однако, не сможет развиваться, если не окружить его женской заботой, поэтому у гения, действительно рожденного для деятельной жизни, благодаря уступчивой мягкости жесткость превращается в достойную твердость.

Совершенство же рождается только из взаимосвязи качеств, присущих каждому полу; если изучение мужского пола занимает прежде всего рассудок, а созерцание женского живо задевает чувства, то полное удовлетворение разуму приносит лишь сочетание обоих, то есть чистая сущность, свободная от всех различий пола, как достояние идей. Высшее единство предполагает всегда направленность в две противоположные стороны. Единство только тогда имеет ценность, когда его источник — изобилие, а не бедность; поэтому энергия и развитие отдельных частей должны быть не меньшими, чем теснота связей между ними. *Отделение* нужно только для того, чтобы создать отдельное; но даже такое отделение ограничивает возможность *связи*. Итак, один пол совершенствуется в одном, другой — в другом, и оба они, взаимно противодействуя, сообщают способствовать удивительному *единству* природы, которое теснее всего связывает целое и одновременно позволяет отчетливее всего выделить отдельное.

Поскольку первоначальная деятельность свойственна порождающим силам, а ответная — воспринимающим, порождение, как общая их работа, распределено между ними соответствующим образом. Всякое созидание предполагает наличие материала, так как природа привязывает новое к уже имеющемуся. Этот материал развивается через порыв, который протекает благодаря своеобразной энергии и по определенному правилу (а именно по правилу однородности порождающего и порождаемого). Однако для этого порыва

как для чуждой ему ранее энергии он должен быть разбужен, это пробуждение и есть начало жизни, как связь созидающего порыва в самом широком смысле с грубой материей. Первая задача этого созидающего порыва — само развитие, после же его завершения — возмещение того, что организм случайно утратил. Кроме этого, он непрерывно в действии, чтобы поддерживать однажды достигнутый уровень развития. Законы материи, прежде всего химического взаимодействия, всегда работают вопреки законам жизни, то есть организма, а жизнь, как показывают результаты новейших исследований, есть не что иное, как победа последних над первыми, поэтому, чтобы удерживать это господство, необходима непрерывная борьба. Принцип, который здесь действует, можно назвать жизненной силой, а созидательный порыв (в узком смысле) составляет одну из его частных модификаций. Созидание требует, следовательно, двух необходимых элементов — грубого материала и оживления его с целью развития.

Если бы мы хотели распределить эти элементы между порождающей и воспринимающей силами, естественно было бы приписать последней материал, а первой оживляющую способность. По меньшей мере в соответствии с изложенными рассуждениями с порождающей силой связана энергия, с воспринимающей — исходно наличествующее, воздействуя на которое, энергия достигает своей высшей ступени. По отношению к созидающей силе первая выступает как самостоятельный огонь, вторая — как сила ответного движения; по отношению к единству действия для первой характерен сильный объединяющий принцип, для второй — более свободная согласованность отдельных частей. Даже при поверхностном наблюдении природы в мужском поле больше заметна сила, в женском, не самом по себе, а в сравнении с тем, от кого исходит сила, — больше изобилия.

Всякое расчленение в чистом виде не находит аналогии в законах природы. Насколько хватит нашего взгляда, мы видим повсюду, что природа старается создавать высшее богатство с помощью простейших средств, не различая существа ни по степени активности, ни по направлению их сил. В момент созидания и в воспринимающем действует сила, и в порождающем — материал; разница состоит только в способе, которым то и другое взаимно определяются. В мужском поле все нацелено только на воздействие. Поскольку материал здесь служит только для того, чтобы это воздействие усилить, предоставить ему некое тело, воздействие в свою очередь стремится его ассимилировать, вплоть до поглощения его собственной природы. Женский пол, напротив, направляет все на ответное действие. Сила стремится развивать это действие в материале, обращаясь при этом с ним очень осторожно. Оживление совершается усилиями обоих полов: мужская сила целиком берет на себя пробуждение, тогда как женская только расширяет его возможности и заботится о его поддержании. Оживляющая сила никогда бы не смогла воздействовать на материал, если бы не встречала поддержки в виде собственной

деятельности существа, которому этот материал принадлежит. Даже самое сильное воздействие может быть воспринято только благодаря собственной ответной деятельности подвергаемого ему существа; и органическая природа изгнала из области своего распространения бездеятельное претерпевание. Снабдив каждый из полов обеими необходимыми для порождения силами, природа сделала возможным восполнение недостатка силы у одной стороны избытком ее у другой. Когда мужской силе недостает энергии, только живость женской силы может спасти возможность плодородия, что нередко и в действительности подтверждает наш опыт, и, наоборот, если женская сила предоставляет непригодный для восприятия материал, этот пробел помогает восполнить мужская. Это можно объяснять обменом функциями либо, что правдоподобнее, возникновением и поддержанием слабости одной части за счет необычайной энергии другой, — энергии, которая не только на высочайшем уровне решает собственные задачи, но и облегчает таковые противоположной стороне; случаи такого рода, а также примеры влияния мгновенного настроения матери на свойства плода подтверждают сказанное здесь также и на путях опыта. Итак, если и порождение, и восприимчивость требуют как силы, так и материала, то в первом случае материал нужен только потому, что сила не смогла бы без него действовать, а в последнем необходимость силы вызвана только тем, что в противном случае невозможно было бы воздействовать на материал. Тогда об основном направлении деятельности обоих полов можно было бы сказать, что при созидании сила принадлежит порождающему, а материал — воспринимающему.

Чтобы проникнуть через священную завесу, которой природа окутала свои святыни, нужно преодолеть трудности, существование которых выдает уже сама сложность и разнообразие посвященных этому предмету теорий. Из них наиболее правдоподобная довольно точно совпадает с вышеизложенными выводами. Повсюду, где природа поручила порождение и восприимчивость различным существам, мы обнаруживаем в воспринимающем материал, а в порождающем — силу. Для того чтобы то и другое могло вступить в связь, от первого требуется выполнение еще одной функции, состоящей в высвобождении части его материала и превращении его в зародыш с целью будущего развития. Именно в самых тайных мастерских природы больше всего работы творческой и меньше всего — механической. Именно здесь следствие менее всего можно вычислить из причины: все подобно скорее искрам, загорающимся одна от другой. Это более всего должны были почувствовать люди, пытавшиеся объяснить данное явление механически, в то время как человеческому рассудку не остается ничего, кроме как находить производящие причины, наблюдать результат и, ничего не объяснив, умолкать в созерцании вершины смиренного почтения к великой созидательнице, вершины, к которой может привести только новейшее философское естествознание. Удивительно видеть, как природа, будто бы пользуясь телесными силами лишь по мере необходимости,

стремится одновременно перевести свободу, эту основную привилегию духовного мира, в другую область своего царства. Она берет только малую частицу материала, и только для исходного оживления одалживает чужую силу. Как только вспыхивает первая искра, оживляемое загорается само собой, принимает пищу, но использует ее уже по собственным законам.

Почтение ко всякому истинному бытию и стремление придать ему определенный облик по собственному произволу характеризуют мужской и женский характеры, и таким образом оба они сообща выполняют великую конечную цель природы — беспрестанное взаимодействие формы и материала. Безусловно противопоставленные форма и материал должны были бы враждебно противоречить друг другу. Однако образом действия, свойственным обоим полам, суровость формы смягчается материалом, который должен ее воспринять, а материал подготавливает к восприятию формирующая сила; и только тогда возможно тесное объединение, на котором покоится гайна организма. Необходимость, с которой нуждаются друг в друге взаимодействующие силы, приводит к взаимной зависимости порождающей и воспринимающей сил. Первая не так ограничена в самостоятельном проявлении своей действенности, как вторая, на чем основана ее большая независимость. При этом все же противопоставленная ей сила остается главным движущим средством всякой связи, и именно искусство связи оберегает в природе высшее бытие, ввиду чего воспринимающие силы своим внутренним устройством призваны все больше и настойчивее этой связи способствовать. Эти силы можно рассматривать как истинно связующую ленту в природном целом, которая разыскивает наиболее старательно предметы, способные оживить ее энергию, и которая дольше всего пребывает при том, что находит.

Это состояние ведет от воспринимающей способности к длительной устойчивости. Приспособленное своей природой больше возвращаться в себя, нежели устремляться к дальним пределам, всякое воспринимающее существо обречено на размеренное, мало меняющееся существование. Чтобы противопоставить входящей извне силе постоянную энергию, чтобы связать разединенное и ответить на воздействие, воспринимающая сила должна обладать гармоническими и уравновешенными стремлениями. Поскольку с восприятием связано и развитие зародыша, что часто требует сложной организации, природа должна, чтобы достигнуть цели, предназначенное для этого существо с удвоенной бдительностью привязать к ее законам. Устойчивость есть неизменяемость конечного, и этим преимуществом, без которого все остальное обладало бы лишь скудным и переходящим бытием и которое придает всему истинную внутреннюю ценность и прекраснейший внешний блеск, природа наделила, преимущественно от себя и по свободному выбору, воспринимающую силу.

Устойчивость только тогда имеет цену, когда она является законом деятельности, а не тогда, когда она вырождается в бездей-

стве. Если женский пол обладает принципом устойчивости, то ничем другим он в своей деятельности не руководствуется, а, напротив, должен ожидать этого другого от переменчивого воздействия мужского пола. Сила, которая действует так порывисто, что не боится уничтожить сама себя, и берет на себя формирование по своему произволу чуждого материала, является неутомимой, но и легко подвергается изменениям. Поскольку в себе она не ощущает пространства, которое вместило бы ее растущее стремление, постольку покой для нее непереносим; она не столько уступает своеобразию материала, сколько одушевляется собственным огнем, поэтому нельзя поручиться за постоянство ее действий. В той части природы, в которой в меньшей степени царит или вовсе не царит произвол, это будет почти незаметно, возможно также, что, как и многое другое в данной области, этого почти никто не наблюдал; во всяком случае, в остальном наш опыт подтверждает предположение, выведенное здесь из одних только понятий. Человек должен стремиться к идеалу, как предписывает ему разум; поэтому мужчина должен привести свою природную активность в строгое соответствие с законом, а женщина должна присущую ей закономерность оживлять деятельностью по внутреннему влечению. Если же природное влечение возобладает над усилиями разума, двойная ошибка обоих полов сама себя упразднит. Снабженные различными особенностями и все же неотделимые, они ограничивают сами себя пределами, которые соответствуют конечной цели целого.

Природа, рассматриваемая в полном объеме, неизменна. Деятельность ее сил никогда не останавливается, и ее законы всегда требуют того же подчинения. Ничто не нарушает ни степени, ни формы ее действительности. Для того чтобы поддерживать эту неизменность своей деятельности, природа находит мощную поддержку в виде взаимных особенностей двух полов. И одного она наделяет *беспокойством*, другого — *постоянством*.

Итак, между двумя полами распределены лишь склонности, которые и дают им возможность строить неисчерпаемое целое. Природе, однако, нравится сочетать противоречивые свойства и сблизить конечное с бесконечным. Так, напряженная деятельность грозит гибелью спокойному бытию, а постоянный покой — живой энергии. Поэтому природа наградила своих сыновей силой, огнем и живостью, а в дочерей вдохнула спокойствие, сердечность и душевное тепло. В то время как одни пытаются расширить свою сферу, другие заботливо обогащают свою, не выходя за ее границы. Весь характер мужского пола нацелен на *энергию*, этому служит его сила, его разрушающая порывистость, его стремление к деятельности, направленной вовне, его беспокойство. Напротив, состояние женского, устойчивая энергия, склонность к связыванию, стремление к ответному действию и чарующее постоянство служат сохранению и *бытию*. С обоюдным старанием они исполняют две величайшие природные операции, которые, вечно повторяясь, предстают каждый раз в новом виде — порождение и развитие порожденного. Если

еще подробнее сравнить друг с другом особенности этих сил, то можно увидеть, что природа взяла воспринимающие силы под особо тщательный надзор. Они разделяют с ней ее главные привилегии и, как дочери в родительском доме, тесно связаны с заботливой матерью.

Бытие, одушевленное энергией, есть *жизнь*, а высшая жизнь — это конечная цель, которая объединяет стремления всех сил природы. Различие между полами требует достижения этой цели, точнее, их особое устройство ведет их к этой цели так, что они этого даже не замечают. Ни одна сила природы не служит средством для достижения цели и не пытается сорвать намерения другой. Все они действуют гармонично, каждая следует своему побуждению, и конечный результат их деятельности проявляется с необходимостью, которая, исключая всякий замысел, может показаться случайной. Силы двух полов пользуются равной свободой, так что их можно рассматривать как две благотворные стихии, из рук которых природа принимает свое высшее совершенство. Свое высокое назначение они оправдывают только тогда, когда их деятельность гармонично сливается воедино; а сердечная склонность, приближающая их друг к другу, называется *любовью*. Так природа поклоняется тому же божеству, заботам которого проницательная мудрость греков доверила упорядочение хаоса.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

Первая часть

О „ГЕРМАНЕ И ДОРОТЕЕ“ ГЁТЕ

Введение

Если поэтическое создание, помимо прочих присущих ему достоинств, зримо выражает сущность своего жанра, будучи одновременно живым отпечатком своего творца, то это наиболее всего способствует достижению абсолютной ценности. Ибо, сколь бы ни были велики отдельные красоты, какими блещет художественное произведение, сколь бы ни были чужды правилу пути, по каким порою следует даже подлинный гений, все же остается верным, что, когда он действует в полную силу, то выступает как чистая, решительно выраженная индивидуальность и в то же время отпечатлевается в чистой и определенной форме. Поэтому если иные произведения искусства способны односторонне восхищать или вызывать мимолетную вспышку восторга, то лишь обладающие названной степенью совершенства удовлетворяют вполне и надолго — в них читатель черпает то настроение, какому сами они обязаны своим существованием. По преимуществу же они — благодарный объект эстетической критики. Ибо, возникая, они одновременно производят и своего критика, сами влекут за собой известную разновидность критики — такую, которая, рассматривая отдельный пример, вместе с тем описывает и литературный жанр, рассматривая произведение, вместе с тем характеризует художника.

Мне казалось, что по преимуществу такой критики заслуживает и „Герман и Доротея“ Гёте. Я полагал, что в одушевляющем это поэтическое творение своеобразии распознается выраженное с очевидной силой родство его как с всеобщей природой поэта и художника вообще, так и с особенной природой его создателя. Поэтический жанр и эпический вид весьма редко бывают выявлены столь чисто и полно, как в мастерской композиции целого этой поэмы, в поэтической истине ее фигур, в непрерывном поступательном движении повествования. И если своеобразии Гёте, что касается

Wilhelm von Humboldt. Aesthetische Versuche. Erster Theil. Ueber Göthes Herrmann und Dorothea, 1798. Оглавление к работе см. на с. 276.

отдельных его достоинств, сильнее и ярче выступает в других его произведениях, то ни в каком ином отдельные лучи не собраны в фокус так, как в этом.

Взять на себя критический разбор этого произведения значило попытаться проникнуть в самое существо поэтической силы воображения — в более буквальном смысле, нежели это присуще эстетической критике вообще; итак, желание ближе подойти к самой таинственной из всех человеческих сил, постигнуть ее понятийно, не менее, нежели любовь к поэме, руководило мной, — вследствие чего и возникло настоящее сочинение.

Я исходил из избранного аспекта и в изложении стремился оставаться ему верным. Я старался по возможности не отделять рассуждение о поэме и о поэте и, насколько мог, судил о произведении как о живом воплощении идеи, рожденной индивидуально-поэтической силой воображения. Ибо главная моя и конечная цель состояла в изучении именно природы воображения.

Поэтому прошу читателя не забывать о сказанном, если он вдруг сочтет, что я порой слишком отхожу от своего предмета, возношусь к общим принципам или пространно рассуждаю об иных поэтических видах и поэтических натурах. Ни того, ни другого нельзя было избежать на избранном мною пути. Ведь чтобы показать, что в этой поэме, как едва ли в какой иной, общая природа поэзии и искусства становится особенным характером поэмы, мне было необходимо исследовать самое основание искусства, восходя к высшим началам эстетики; а чтобы указать поэме — и самому поэту — положенное им место среди произведений искусства и его творцов, мне было необходимо привлечь различные соседние виды, охватываемые тем же поэтическим родом.

Именно такой метод — оставаясь при своем предмете, постоянно направлять свой взор на нечто более общее, то есть поэзию и природу поэта вообще, — избран мною не без намерения. У философской критики — двоякая цель: она может либо в большей мере принимать во внимание объективную устроенность произведения, какое пытается оценивать, либо дух, какой был необходим, чтобы произвести его на свет. В одном случае она спешествует закономерности нашей деятельности, в другом — создает в душе настроение, благоприятствующее таковой. Но в человеческой душе задатки любой силы родственны, и отдельная сила развивается тем свободнее и совершеннее, чем более поддерживают ее своим пропорциональным развитием все прочие силы. Поэтому, о каком бы предмете ни шла речь, его всегда можно соотносить с человеком, а именно с целым его интеллектуальным и моральным организмом. Разбирая такую-то философию, такую-то обширную естественнонаучную систему, такое-то политическое устройство, всегда можно установить, что выиграл благодаря им дух философский, естественнонаучный, общественный, что выиграла она в своей совокупности. А к этому можно присоединить и еще более общее — выяснить, насколько благодаря им человеческий дух вообще приблизился к ко-

нечной цели своего стремления, к следующей своей задаче — обратиться в себя посредством всех орудий своей восприимчивости всю ту массу материала, какую предлагают ему весь мир вокруг него и его внутреннее существо; преобразовать все это своими самостоятельными силами и тем самым привести Я и природу во всеобщее, живое и гармоничное отношение взаимодействия. И даже необходимо сочетать оба вида исследования, коль скоро добиваешься высокой практической цели, — по крайней мере нельзя совершенно пренебречь ими, если речь идет об искусстве, проистекающем из самых глубин человеческой души, и о произведении, на котором стоит печать столь своеобразной личности.

Если выбрать такую высшую позицию, то отдельный предмет сопрягается со всеобщим средоточием, лежащим вне его, и работа производится в более или менее значительной части обширного и возвышенного здания. Вот это средоточие — *воспитание человека*; вот это здание — *характеристика человеческой души со всеми возможными ее задатками и со всеми реальными различиями, какие раскрываются в опыте*. Сумма достоинств духа и умонастроения, явленных до сей поры человечеством, задает идеальную, но строго определенную величину, по которой может оцениваться отдельное достоинство; тут видна цель, к которой можно стремиться, известен путь, на котором можно становиться *первооткрывателем* в наивысшем смысле слова — своим деянием как поэт, мыслитель, исследователь и прежде всего как деятельный человек прибавляя нечто новое к общей сумме и тем раздвигая границы человечества. Обретаешь идею — она вдохновляет и тем самым сообщает силы, между тем как закон лишь направляет, но не возвышает и скорее лишает уверенности, нежели окрыляет.

Вольное и энергичное проявление способностей немислимо без тщательного сохранения наших первоначальных природных задатков — не бывает энергии помимо индивидуальности. Потому-то столь необходимо, чтобы характер, подобный обрисованному, предназначал человеческому духу возможность следовать самыми разнообразными путями, не удаляясь при этом от простой цели всеобщего совершенства, а, напротив, устремляясь к ней с самых разных сторон. Лишь на философско-эмпирическом знании людей можно основывать свою надежду на то, что со временем мы получим философскую теорию формирования человека. А эта последняя — не просто всеобщий фундамент для отдельных приложений теории — воспитания и законодательства (которые лишь от нее могут ожидать полнейшей взаимосвязанности своих принципов), но и всеобщая, а в наши дни и настоятельная потребность — мы нуждаемся в ней как в надежной руководящей нити свободного самообразования каждого отдельного человека. Чем больше возможностей, открытых перед ним, чем многообразнее материал, какой предлагает ему наша культура, тем затруднительнее, и даже для лучших умов, сделать разумный выбор из такого многообразия или же соединить некоторые из этих путей. А не будь такой связи, культура погибнет.

Ведь культура человека — это искусство, питая свою душу, делать ее плодородной, а для этого нужно так гармонически настроить органы души и выбрать такое внешнее положение, чтобы можно было усваивать как можно больше, поскольку, не будь усвоения, питательное вещество не перейдет ни в душу, ни в тело.

Такого рода *характеристика человека* едва ли когда-либо выскочит до того, чтобы стать наукой в собственном смысле слова, хотя она призвана скорее развивать философски и для целей высшего формирования личности то, что человек вообще способен совершать, а не представлять в исторической последовательности то, что он уже реально совершил, — тем не менее она вполне заслуживала бы того, чтобы как особенную, философски упорядоченную опытную теорию ее отграничили от всей массы прочих философских знаний. Сейчас не время рассуждать о том, в какой мере она вправе притязать на такое особое место, в какой мере она нуждается в особом наименовании, насколько существенно будет отличаться она от психологии и антропологии в своей общей части. Я считал, что нужно хотя бы упомянуть о ней сейчас, чтобы более определенно наметить ту дальнюю цель, какую я не упустил из виду, работая над настоящим сочинением, и какая важна для того, чтобы судить о нем.

Необходимость же сообразовываться с этой дальней целью принудила меня выбрать такой ход рассуждения, который для многих, как я опасаясь, покажется чрезмерно длинным и утомительным. Возможно, мой способ рассуждения окажется слишком общим для предмета нашего исследования, с его индивидуальным обликом и при его наглядности слишком философским. И если я могу льстить себе мыслью, что удовлетворил в какой-то степени эстетику, то не смею надеяться на то, что полезен поэту в его деятельности. Философская высота, на которую мне пришлось подняться в соответствии с избранной точкой зрения, для практики художника-творца и неудобна и бесплодна — ему потребны более частные, эмпирические правила. Если последние для философа всегда слишком узки и индивидуальны, то для поэта всегда пусто то, что философу годится как содержание и всеобщий закон. Так что оба — философ и поэт — всегда в необходимом и неизбежном распре между собой.

Однако философия искусства и не рассчитана прежде всего на художника, по крайней мере не рассчитана на сам момент творчества. Преимущество философии и ее беда в том, что непосредственная конечная цель ее — это всегда человек, а не те или иные его поступки. И без нее художник — это художник, и без нее добродетельный человек добродетелен, а государственный муж — это государственный муж; но человеку она нужна, чтобы наслаждаться и пользоваться всем тем, что получает он от них, чтобы знать себя самого и природу, чтобы плодотворно применять знания; и даже названные лица не могут обходиться без нее, если только хотят быть понятны самим себе, если разумом своим хотят догнать свой гений в его полете или же сравняться по правильности и глубине со своим практическим смыслом. Точно так же и эстетика предназначена непосред-

венно лишь для тех, кто желает воспитать свой вкус посредством произведений искусства, а свой характер — посредством свободного и очищенного вкуса; художник может воспользоваться эстетикой лишь для того, чтобы настроить свою душу, чтобы, предоставив своему гению время для полета, после этого вновь сориентироваться в пространстве и определить свое местоположение и цель. Что же касается пути, ведущего к цели, то тут помогает ему уже не эстетика, а только собственный опыт или опыт других.

Конечно, и опыт в состоянии дать лишь фрагменты, отрывочные правила, которым будет неоставать полноты и общезначимости. Тем не менее было бы важно собрать и упорядочить их; всякий кому талант позволяет успешно следовать поприщем искусства, должен бы тщательно записывать все, что подтвердилось на опыте. Он тем самым оказал бы существенную услугу не только искусству, но и философии. Эстетик пользуется такими поэтическими признаниями (как психолог — моральными), радуясь тому, что может в непосредственном созерцании узнавать художника, его натуру, которую лишь с усилием ощущает в его произведениях. Вот что придает большую ценность эстетическим работам Дидро: благодаря богатству замечаний и наблюдений его „Опыты о живописи“ и „Трактат о драматической поэзии“ весьма плодотворны для художника и для теоретика.

Дистанция между всеобщим законом и отдельным произведением искусства нередко препятствует тому, чтобы последнее являлось в качестве отдельного, совершенного воплощения первого. Может случиться, что по ходу моих рассуждений у читателя будет повод обвинить меня в том, что я недостаточно строго придерживался характера той поэмы, о которой сужу, и что мои утверждения не подкреплены соответствующими примерами. Но прежде чем он выскажет свой обвинительный приговор, я попрошу его по-настоящему ознакомиться с духом целого и не терять его из виду даже в отдельных местах, потому что и мне самому всегда представлялось целостное впечатление, и в эстетических суждениях мне неизвестен иной метод разграничения, нежели тот, когда на отдельное свойство — если даже для конкретного применения оно отделено от целого — продолжают смотреть через призму целого, с которым отдельное взаимосвязано.

При определении поэтического вида, к которому принадлежит „Герман и Доротея“, я счел необходимым дать собственное, отклоняющееся от обычного понятия эпопеи определение этого поэтического произведения. Я не боюсь упреков в том, что ради одной-единственной поэмы без нужды создан новый род литературы. Кто разрабатывает теорию искусства, тот находится в том же самом положении, что и естествоиспытатель. Что для последнего — природа, то для первого — художественный гений. Если только он уверен, что гений сказался в произведении во всей полноте и чистоте своей силы (о том он, как судья, обязан вынести свой независимый, властный приговор), то ему не остается ничего, как принять рождае-

мое гением за то, за что оно выдает себя, описывать его и, если оно противоречит его классификации, расширять эту классификацию.

Обычно развитие философских теорий, если оно совершается на основе отдельных примеров, влечет за собой немало изъянов. Либо страдает от этого общезначимость теории, либо же в отдельный пример, из которого исходят, вынуждены вкладывать больше, чем в нем есть. Однако, объяснив во введении цель, к какой я стремлюсь, я уже не опасюсь ни того, ни другого упрека. При избранном мною методе перед моим взглядом простиралось все поле философии искусства, однако я не имел права оставлять свою позицию, какую занял раз и навсегда. Первый момент открыл предо мною путь, по которому предстояло мне идти, а второй стал ограничивать его. Прошу не забывать читателей об этом, особенно тогда, когда я буду говорить об иных поэтических видах и поэтических натурах, например о трагедии и об Ариосто. Я напоминаю всякий раз об этом в связи с моим непосредственным предметом, а потому, если не напомнить об этом, мои рассуждения легко могут показаться односторонними и неверными. Охотно признаюсь, однако, в том, что мне слишком увлекательным представлялась возможность глубже вникнуть в основные начала общезначимой философии искусства, чтобы рассматривать ее лишь как подчиненную цель своей работы, и что поэтому мои усилия были, по существу, направлены на то, чтобы систематически упорядочить всю совокупность моих идей об этом предмете, получив целое, предельно завершенное в себе и не зависимое ни от чего постороннего.

Если же наделенный вкусом ценитель искусства выразит желание, чтобы результаты моих исследований были изложены менее пространно, более сжато, то я, в той мере, в какой касается оно слога и изложения, живее любого читателя чувствую справедливость такого требования. Но для большей части публики мои философские рассуждения стали, как я думаю, более ясны и убедительны оттого, что они непосредственно связаны с анализом совершенного художественного произведения, и я не мог противостоять искушению поступиться, вообще говоря, немаловажными соображениями ради высших интересов, какими всеми любимым художественный шедевр, бесспорно, способен наделить любую попытку (если только она не совсем неудачна) эксплицировать ее красоты.

О «ГЕРМАНЕ И ДОРОТЕЕ» ГЁТЕ

I. Воздействие поэмы в целом.—

Она оставляет в душе чисто поэтическое впечатление

Безыскусная простота описываемого предмета, сила и глубина производимого ею воздействия — вот что непосредственно и прежде всего вызывает восхищение читателей „Германа и Доротеи“ Гёте.

Вдруг перед нами оказывается самое противоположное, что удается связать лишь художественному гению, да и то лишь в минуту счастливого настроения,— образы, *истинные* и *индивидуальные*, какие только способна дать природа, живая реальность, и одновременно *чистые* и *идеальные*, какие никогда не способна представить действительность. В безыскусном описании простого действия мы узнаем верный и полный образ мира и человечества.

Поэт рассказывает нам о том, как юноша из зажиточного бюргерского семейства связал свою судьбу с девушкой из семьи беженцев; при этом поэт раскрывает перед нами один за другим моменты действия, отдельные части материала, ряд обстоятельств, естественно и необходимо вытекающих одно из другого; он занят своим предметом — и только; препятствия, благодаря которым завязывается узел действия, средства, какими он его развязывает,— все почерпнуто отсюда же — из характеров действующих лиц; все, благодаря чему он овладевает живым участием читателя, все содержится в этом кругу, и он нигде не выступает сам как индивидуальность, не предается собственным размышлениям, не распространяется о своих чувствах. Но куда же переносится благодаря этому читатель! Перед ним вдруг встает жизнь с самыми важными и существенными ее отношениями, человек в самые значительные моменты своего существования; читатель созерцает их ясно и живо, видит их насквозь.

Все, что важно его сердцу, все, что занимает его мысль и внимание,— все это прочерчено немногими, мастерскими линиями, описано поразительно правдиво: смена возрастов и времен года, постепенная перемена нравов и унастроений, основные ступени человеческой культуры и прежде всего соотношение домашних добродетелей и тихого семейного счастья с судьбой народов и потоком выходящих из ряда вон событий. Читателю кажется, что он лишь вслушивается в совершающееся в кругу одной семьи, но он чувствует, что дух его погружен в самые серьезные и всеобщие проблемы, что сердце его тронуту и полонено меланхолическим чувством, но что вся душа в целом успокоена простой и весомой мудростью. Ибо важный вопрос, который в наши времена сам собою встает перед каждым,— как поступать, как вести себя в этой всеобщей перемене, в какую ввергнуты мнения, нравы, государства, нации? — этот вопрос не только задают непохожие друг на друга персонажи поэмы, они и отвечают на него, и отвечают так, что вместе с наставлением читатель обретает энергию действия и мужественного терпения.

Он вырван из привычных отношений времени и отечества и перенесен в мир, в который обычно входит лишь ведомый поэтами древности, в мир, полный воспоминаний о самом раннем и безыскусном возрасте человечества. Ибо, захватывая всю индивидуальность читателя, поэт возвращает его к простым, первозданным формам природы; он стирает все те черты действительности, от которых она становится лишь действительностью, непригодной для фантазии, и при

этом он пользуется также всеми мельчайшими черточками ее индивидуального облика.

Так, чисто поэтически, измыслил и развил он свой материал.

II. Главные составные части любого поэтического воздействия.

План критики в общих чертах

Нет более надежного доказательства подлинной поэтичности характера, как соединение самого простого и самого высокого, исключительно индивидуального и совершенно идеального (двух главных составных частей любого поэтического воздействия) в одном и том же описании и в одном и том же лице.

Ибо прекрасное предназначение поэта состоит в том, чтобы, пользуясь отдельными образами фантазии, поднимать дух на такую высоту, откуда перед ним открывается широкий обзор: производить посредством последовательного ограничения материала безграничное и бесконечное воздействие, удовлетворять идее, изображая отдельную личность и открывая с определенной точки зрения целый мир явлений.

Правда, может показаться, что возложенная на него миссия — это лишь преувеличенное требование непозитичного века: он повсюду носится за философскими понятиями, повсюду ищет идеи и пренебрегает легкой игрой чувств и воображения. Но стоит только исследовать, в чем заключается самое первое, непосредственное предназначение поэта, и с несомненностью обнаружится, что поэт, стремясь удовлетворить этому своему предназначению, близок к тому, чтобы исполнить и самое высшее свое предназначение — возвыситься до идеалов и достичь известной всеохватности.

Мы обязаны теперь показать это. Потому что если поэма, о которой мы собираемся судить, действительно производит столь чистое поэтическое впечатление, то мы сможем с уверенностью заняться обсуждением самой сущности поэзии, описывая всеобщий характер нашей поэмы; это описание составит первую, основную часть нашего дела.

Когда же завершится эта часть, то нам останется лишь *установить, в какой мере работа поэта соответствует особым правилам поэтического рода, к которому принадлежит эта поэма.*

Ибо, лишь соединив обе эти стороны критического рассуждения, мы можем быть уверены, что ни в чем не ущемили оригинальности поэта и не нарушили законные требования теории искусства.

III. Наипростейшее понятие искусства

Поле, которое поэт обрабатывает как свою собственность,— это поле воображения; лишь занимая воображение, лишь занимая его полностью и исключительно, поэт заслуживает звания поэта.

Природа — лишь предмет чувственного созерцания, и поэт должен претворить ее в материал фантазии. *Превратить действительное в образ* — вот самая общая задача искусства, к которой, непосредственно или более опосредованно, сводима любая иная его задача.

Чтобы преуспеть в этом, у художника один путь. Он должен стереть из памяти любое воспоминание о действительности, а поддерживать живой и бодрой лишь фантазию. Свой объект как по содержанию, так и по форме он может менять лишь незначительно, ибо, чтобы мы узнавали природу в его образе, он должен подражать ей точно и верно; итак, ему не остается ничего иного, как обратиться к субъекту, на который он намерен воздействовать. Если бы даже он оставил предмет таким, каким существует он в самой природе, до мельчайших пятнышек на нем, он все равно превратил бы его в нечто совершенно иное, ибо перенес бы его в иную сферу. В действительности всякая определенность исключает любую иную; следовательно, то, что реальность придает предмету, будучи такой, а не иной, то она и отнимает у него, поскольку, кроме нее, ничего больше не существует; для фантазии же это ограничение отпадает само собой, потому что происходит лишь из природы действительности, тогда как душа, вдохновленная фантазией, возвышается над действительностью.

Таково наиболее всеобщее и самое простое воздействие любого искусства — оно лучше видно на примере картин, которые довольствуются тем, что изображают неподвижные предметы природы. Перед нами нарисованные растения, плоды — все так, как в самой природе, ничего не прибавлено, ничего не опущено, — почему же они производят на нас совсем иное впечатление, чем реальные предметы? Почему подобная картина обладает по отношению к всеобщему понятию искусства той же ценностью в своем художественном жанре, что и любое иное представление в своем? Просто потому, что она непосредственно-чисто обращена к фантазии зрителя и в той же чистоте рождена фантазией художника.

До сих пор мы не столько определяли, сколько описывали искусство, скорее эмпирически разъясняли, чем философски развивали его сущность. Подлинная дефиниция, чтобы не казаться произвольной, должна дедуцироваться на основании понятий. Подобная дедукция может в отношении искусства производиться лишь на основе всеобщей природы души.

Мы различаем три общих состояния души, — состояния, в которых все ее силы равнодейтельны, но всякий раз подчинены какой-либо одной господствующей силе. Мы заняты либо сбором, упорядочиванием и применением эмпирических знаний, либо отысканием независимых от опыта понятий, либо живем в ограниченной и конечной действительности так, словно она для нас не ограничена и бесконечна.

Последнее состояние — это нетрудно понять — принадлежность исключительно силы воображения, единственной среди наших способностей, которая в состоянии связывать противоречивые свойства.

Все, совершающееся в этом состоянии, обязано соединять в себе двойное свойство. Во-первых, это должно быть чистое порождение силы воображения, а во-вторых, оно должно обладать известной реальностью — внешней или внутренней. Не будь первого, сила воображения не смогла бы царить, а не будь второго, прочие силы души не были бы одновременно деятельны. Но поскольку реальность, о которой идет сейчас речь, не может соотноситься с чем-либо существующим в действительности, то она может покониться лишь на закономерности.

В этом состоянии коренится потребность в искусстве.

Поэтому искусство — это *закономерное умение наделять продуктивностью силу воображения*; таково первичное понятие искусства — оно же и высшее его понятие.

IV. Высота воздействия, какой достигает искусство. Идеальность.

Первое понятие об идеальном как о недействительном

Зажечь силу воображения силой воображения — вот тайна художника. Ведь чтобы принудить наше воображение порождать в себе самом тот предмет, который описывает художник, этот предмет должен свободно исходить из его воображения. А благодаря тому, что любое произведение искусства, сколько бы верным ни оставалось оно своему прообразу, принадлежит художнику как совершенно новое создание, то и *предмет* претерпевает перемену своей сущности и возносится на иную высоту.

Царство фантазии прямо противоположно царству действительности; и столь же противоположен поэтому характер всего, что принадлежит либо одной, либо другой сфере. От понятия действительного неотделимо то, что всякое явление существует отдельно, само по себе, что ни одно не зависит от другого, как основание или следствие. Не только подобная зависимость не может реально созерцаться и может быть усмотрена лишь путем умозаключений, но само понятие реального делает излишним разыскание зависимостей. Явление существует, вот оно, и этого достаточно, чтобы отвергнуть любые сомнения; для чего еще оправдывать его причинами и следствиями? Когда же мы переходим в область возможного, тут ничто не существует иначе, как через свою зависимость от иного, а потому все, что можно мыслить лишь при условии последовательной внутренней взаимосвязи, в самом точном и простом значении слова *идеально*. Потому что все это прямо противоположно действительности, *реальности*.

В этом смысле идеальным должно становиться все, что рукою искусства переводится в область чистого воображения.

Куда бы ни направлял человек свои взоры, повсюду он стремится установить законы взаимозависимости, внутренней органи-

зации. Стремление разума — в том, чтобы изгнать случай, воспрепятствовать тому, чтобы в области наблюдения и мышления казалось, будто царит случай, тому, чтобы он царил в сфере практической деятельности. Уже одним этим человек доказывает, что он по праву гордится высшим своим происхождением — в отличие от прочей твари, что его родина — не действительность, а лучшая страна, что ему место — в стране идей.

И вот последняя цель его интеллектуальных усилий: перенести вместе с собой в эту страну идей всю природу, все верные и полные наблюдения ее, иными словами, сравнять материал своего опыта с объемом всего мира; далее, превратить колоссальную массу отдельных, отрывочных явлений в нерасторжимое единство и организованное целое и всего этого достичь посредством данных ему для того органов.

Поскольку, однако, это рассуждение во всей своей всеобщности чуждо нашему предмету, то мы остановимся лишь на той доле, какая в этой огромной работе принадлежит воображению и художнику, в частности. Мы сейчас напоминаем об этом лишь для того, чтобы показать, что искусство не относится к числу механических и подчиненных занятий, с помощью которых мы лишь подготавливаемся к исполнению нашего подлинного предназначения, — напротив, оно принадлежит к числу самых возвышенных занятий, благодаря которым мы непосредственно исполняем свое предназначение.

V. Второе, более высокое понятие об идеальном как о превосходящем любую действительность

Даже непосредственно заимствуя свой предмет у природы, поэт заново порождает его своим воображением, и этим определяется облик, какой приобретает этот предмет, — облик, превосходящий его реальные свойства или отходящий от них. Ибо поэт стирает в нем черты, основанные на случайном, а все остальное приводит во взаимосвязь, при которой целое зависит лишь от самого себя; в предмете утверждается единство, но только не единство понятия, а исключительно единство формы, поскольку сила воображения способна образовать предмет лишь при двояком условии: во-первых, что он будет определяться самим собой, и, во-вторых, что он будет лишь формой. Если эту свою работу она производит успешно, то она выставляет, в конце концов, одни лишь чистые формы характеров, такие образцы, которые несут на себе отражение чистой, не искаженной отдельными переменчивыми обстоятельствами природы. Каждая форма несет на себе печать своеобразия, а таковое заключено лишь в форме и не может быть постигнуто иначе, как через средство созерцания, а также не может быть выражено понятием.

Вот только теперь природа и украшена и облагорожена искусством, лишь теперь понятие идеального обретает более высокое зна-

чение: идеально то, чего не может достичь действительность и чего не может исчерпать словесное выражение.

Однако и здесь надо старательно остерегаться того, чтобы не понять ложно манеру художника и не впасть, например, в ошибку, полагая, будто художник может изображать лишь величественные и лишенные недостатков характеры. В чем бы ни состояло их своеобразие, надо только, чтобы оно проявлялось в них полностью и исключительно, чтобы художник обращался с предметом, как с чистым объектом воображения, — вот единственное требование, которое обязан он выполнить. А для этого ему не надо непременно опускать или добавлять те или иные черты — по крайней мере на том редко основывается его воздействие по существу. Художник может даже рабски следовать природе и все же добиться воздействия, потому что воздействие не зависит от отдельных черт, от отдельных перемен, а только от цвета, от освещения, приданных произведению, лишь от того, что он придает произведению единство и форму, которые непосредственно обращаются к нашей фантазии, непосредственно являют нам предмет и как чистое произведение воображения, и как полностью реальное, всецело согласное с законами природы и нашей души, то есть именно как идеальное. Какими, собственно, средствами достигает он этого согласия формы нашего воображения с формой природы, он и сам бы не сказал; так же, как обычно пытаются описывать это, это приводит к тому, что искусство превращается почти в механическую работу.

Поэтому нужно осторожно пользоваться выражением «поэт выводит природу». Строго говоря, это — метафорическое выражение. Произведение художника и произведение природы принадлежат различным сферам, и к ним не приложима одна мера.

Употребление слова „идеальное“ в сфере ума и морали легко склоняет нас к тому, чтобы всегда понимать под ним нечто рассудочное или воспринятое сердцем. Однако оно приложимо и к чувственным предметам, и, чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить только, что приведенный пример простого подражания природе — это простейший случай искусства.

Если плод красиво написан, замечаешь в нем набухшие контуры, нежность мякоти, мягкость кожицы, как бы покрытой пухом, горение красок — и все это идеально, всего этого не достичь природе. Поэтому и нельзя сказать, что нарисованный плод красивее настоящего: *природа прекрасна вообще лишь в той степени, в какой ее представляет себе фантазия*. Нельзя сказать, что очертания в природе менее совершенны, что цвета менее яркие; различие между действительностью и искусством одно: действительность обращается к *чувствам*, искусство — к *фантазии*, у первой очертания резкие, четкие, у второго же хотя и определенные, но зато и бесконечные.

Уже несомненное противоречие, заключенное в этих двух свойствах, доказывает, что все воздействие искусства заключается лишь в настроенности воспринимающего. Ибо, вообще говоря, совершен-

но ясно, что определенные очертания ограничивают, что, указывая на то, куда простирается линия или плоскость, они одновременно исключают все дальнейшее; однако фантазия не ограничивает, она всегда уходит в бесконечность, и, как только гений художника вдохновит ее, она свою бесконечность связывает с предлагаемыми ей формами, не заботясь о противоречии, — противоречие затрагивает рассудок и чисто чувственное созерцание, но не фантазию.

Так и получается, что искусство всегда погружает нас вовнутрь души, тогда как действительность заставляет нас выходить вовне, пробуждает в нас желание пользоваться этой действительностью, побуждает нас действовать. Произведение же искусства слишком благородно для того, чтобы пользоваться им, оно слишком возбуждает скрытые в человеке внутренние силы, вдруг и внезапно приводя их в действие, оно самым прекрасным и возвышенным образом вдохновляет нас на великие подвиги, но, лишь возвращая человеку его самого, оно отдает его снова миру. Искусство вообще не обращается к той части человеческого существа, которой он принадлежит миру.

VI. Всякий настоящий художник всегда стоит перед необходимостью достигать идеального

Отыскивая сущность искусства в законах фантазии, благодаря которым искусство единственно действенно, мы с необходимостью должны прийти к понятию идеального.

Ибо, сколь бы непонятен ни был способ творчества художника, сколь бы очевидным образом не оставалось в нем нечто такое — как раз самое существенное, — чего ни сам поэт не способен понять, ни критик — выразить, все же верно по крайней мере то, что художник вначале исходит не из чего-либо иного, но из того, чтобы превратить в образ нечто реальное, и очень скоро понимает, что возможно это лишь путем своего рода живого сообщения, лишь благодаря тому, что из его фантазии, словно электрическая искра, перелетает в фантазию других, но, правда, не непосредственно, а таким образом, что он как бы вдует эту искру в объект, существующий вне его.

Вот единственный путь, какой открыт ему, и вовсе не потому, что он того особенно желает, но лишь потому, что, исполняя свое призвание поэта и предоставляя своей фантазии исполнение этого призвания, он изымает природу из ограниченной действительности и переносит ее в страну идей, превращая своих индивидов в идеалы.

VII. Подражание природе

Понятие идеального как „возвышающегося над действительностью“ напоминает о законе *подражания природе*, следование которому до сих пор обычно предписывалось художнику, — о законе, ко-

торый даже рассматривался как определение искусства. На деле этот закон вбирает в себя два основных понятия искусства — понятие реальности (в выражении „природа“) и то понятие, что природа должна все же быть представлена иначе, чем она есть в действительности (в выражении „подражание“, которое не допускает полного совпадения с прообразом). Однако есть в этом законе неопределенность, которой можно избежать, полагая, что сущность искусства заключается не в свойствах предмета — как обычно считали, — но в настроенности фантазии.

Правда, и прежде пытались преодолеть неопределенность — двумя способами. Художнику рекомендовали подражать лишь прекрасной природе и подражать лишь *прекрасно*. Однако понятие прекрасного дает повод ко множеству недоразумений. Оно само по себе неопределенно и всегда допускает все новые и все более высокие степени красоты. Напротив, понятие идеального весьма определено, ибо идеально все, что порождает фантазия в своей чистой самостоятельности, что поэтому обладает совершенным единством фантазии. А это единство — всегда постоянная величина, хотя ни один художник не может надеяться достичь ее вполне, и сила фантазии, присущая отдельным индивидам, тоже допускает существование бесчисленных степеней, однако лишь в *исполнении*, а не как *требование*.

Иную двусмысленность, к какой подало повод выражение „подражание“, намеревались преодолеть, предполагая, что подражание должно быть *не страдательным*, но *дейтельным преобразованием* природы. Однако границы такого преобразования, способ преобразования требовали все новых и, строго говоря, немислимых определений.

Поэтому единственный способ положить конец спору — это избранный нами субъективный путь. Он субъективен, и тем не менее ведет к совершенно объективной дефиниции искусства. Ибо, если художник обращает природу (под которой мы понимаем совокупность всего, что может быть реальным для нас) в предмет искусства, то искусство и есть *изображение природы посредством силы воображения* — определение, которое не отличается от данного выше (гл. III), а лишь выражает то же самое с объективной точки зрения.

Такое изображение не может быть иным, нежели прекрасным, потому что оно есть создание силы воображения. В искусстве не может не заключаться преобразованная природа, ибо искусство переносит природу в иную сферу. Сама же дефиниция определяет, какая красота должна принадлежать искусству, какое преобразование должна испытать природа, — именно то, что само по себе влечет за собой этот перенос в чуждую среду.

VIII. Второе достоинство искусства на стадии высшего совершенства: целостность (Totalität). Двоякий путь обретения таковой

Итак, мы показали, как поэт достигает *идеального*. Однако то, что мы утверждали выше, содержало гораздо больше: мы говорили, что поэт добивается *целостности*; при этом мы пользовались словом „мир“, и это слово не должно было остаться метафорой.

Мир — замкнутый круг всего действительного — можно рассматривать двояко: исходя из предметов, какие он обнимает, или исходя из органов, какими человек вбирает в себя эти предметы. Ибо лишь постольку, поскольку он обладает соответствующими органами, для него может наличествовать внешний мир.

Поэту и поэт, стремясь к целостности, может достигнуть ее лишь двояким способом: он пробегает либо кругом объектов, либо кругом чувствований, ими вызываемых. Первый способ — это способ описательный, второй присущ лирическому поэту, хотя и тот и другой могут обмениваться своими методами, поскольку речь идет не о непосредственном, а о конечном воздействии их поэзии.

Поэту нетрудно достичь цели тем или другим способом. Все различные состояния человеческого существа — а поскольку мы смотрим на природу именно с этой точки зрения, то и все силы природы — столь близкородственны между собою, они так поддерживают и так подпирают друг друга, что нельзя живо изобразить одно из них, не приняв в поле зрения весь совокупный их круг. Особенно это относится к поэту, который пользуется описательным методом. Для такого поэта жизнь столь богата отношениями и ему так легко изображать их значительным для человека образом, что ему оказывается достаточным лишь несколько развить случайно воспринятый материал и несколько индивидуализировать намеченные фигуры. Тогда он на каждом шагу будет наткнуться на такие жилы, которые можно сделать важными для духа, и постепенно сможет исчерпать всю ту массу предметов, которые предстают и раскрываются его взгляду.

В этом искусстве представлять целую жизнь фантазии или целого человека с его сокровенным нутром, а стало быть, в искусстве охватывать сразу все, что способно тронуть человека, никто не превзошел древних. Каждый гимн Пиндара, каждый сколько-нибудь пространный хор трагических поэтов, каждая ода Горация пробегают один и тот же круг, но только с бесконечно переменчивым многообразием. Величественные боги, сила судьбы, зависимость от них человека, возвышенное настроение ума, мужество и доблесть человека, стремящегося утвердить свое существование вопреки судьбе, или даже взять над нею верх, — вот предметы, какие поэты изображают непрестанно. И насколько же иначе, насколько живее, богаче, чувственно-явственнее рисовал все это Го-

мер! И не только в целой поэме — в каждой из песен, почти в любом месте поэмы перед нами целостность жизни, так что душа вдруг начинает уверенно и незатрудненно решать, что такое мы сами, на что мы способны, почему страдаем и чем наслаждаемся, в чем правы и в чем виноваты.

Отсюда успокоение, какое испытывает всякая чисто настроенная душа при чтении древних; отсюда же и то, что состояние страстного бурления чувств или бессильного отчаяния всякий раз ослабляется или напрягается, достигая либо покоя, либо мужественной твердости. Ибо если человек может в целом обозревать свои отношения с миром и с судьбой, то он не испытывает недостатка в этом покое, — в котором — дыхание силы. И только тогда, когда человек останавливается на месте, именно в тот момент, когда внешняя сила берет верх над его внутренней силой и вызывает в нем внутреннее беспокойство, то есть разрушается его внешнее равновесие, — только тогда возникает чувство отчаяния. Однако место, отведенное человеку в действительности, столь благоприятно, что стоит только ему завершить круг явлений, которые предоставляет ему фантазия в эти сурово-трогательные мгновения, когда сводит он счеты с судьбою, как немедленно восстанавливаются покой и гармония.

IX. Целостность — это всякий раз необходимое следствие безраздельно воцарившейся силы воображения

Но не просто от нередко случайного выбора предмета или от индивидуальности поэта зависит, обеспечит ли он себе эту целостность, сразу же овладев всеми чувствами слушателя. Так должно быть всегда, если только поэт заслуживает имени поэта в абсолютном смысле, то есть если он умеет утвердить царящую над всем самодетельную силу воображения.

Ибо не число объектов, какие включает он в свой замысел, по преимуществу важно при этом, не близость их к самым великим интересам человечества — и то и другое способно усилить воздействие его работы, но безразлично для ее художественной ценности, — все, что он может сделать, — это поставить своего читателя в средоточие, из которого во все стороны, в бесконечность, расходятся лучи, из которого именно поэтому он может обозревать все великие и незамысловатые формы природы, которые обнаруживаются, стоит только совлечь с реальных предметов черты их случайного своеобразия.

Поэтому дело вовсе не в том, чтобы реально *показать* всё — это невозможно — или хотя бы многое, — тогда стали бы невозможными некоторые художественные роды, — но исключительно в том, чтобы привести нас в такое состояние, в котором мы *увидели бы* все. Итак, художнику достаточно собрать наше собственное „я“ в одну точку и перенести ее во внешний предмет, то есть быть объективным, —

все это он непременно и должен делать, оставаясь художником, — и перед нами непосредственно (какой бы то ни был предмет) встанет целый мир. Поскольку все наше существо во всех своих точках приходит в движение, оно творчески-деятельно; все, что ни производит оно в такой настроенности, непременно должно соответствовать ему самому и в свою очередь обладать единством и целостностью, а это и есть те два понятия, которые мы соединяем, пользуясь выражением „мир“.

Тут перед нами опять тот же случай, который мы обнаружили, когда рассуждали, как поэт может достичь идеальности. Пусть поэт вознесет нас над ограничениями действительности — это он и обязан делать прежде всего по своему призванию поэта, — и мы сами собой окажемся в такой сфере, где всякая точка — это центр целого, а потому это последнее безгранично и бесконечно. Абсолютная целостность — непрменная отличительная черта всего идеального, как обратное ей — непрменная отличительная черта действительности. Следовательно, как только поэту удастся подовать в нас настроение, направленное на знание действительности, и подчинить все занятые этим силы духа одной силе воображения, так он достигнет своей цели. Потому что теперь царит уже одно только воображение, теперь оно связывает воедино все, в чем открывает самостоятельную силу, особый жизненный принцип, а поскольку все позитивное находится в родстве и по сути все едино, а разъединение индивидов возникает лишь вследствие ограничения, то отсюда само собою следует стремление к замкнутой внутри себя полноте. Итак, душа, на которую воздействует художник, всегда склонна к тому, чтобы, из какого бы объекта она ни исходила, обнимать в полноте весь круг родственных с ним явлений, в самом буквальном смысле слова связывая воедино целый мир явлений.

Поэт *настраиает душу* (Gemüth), большее же не может входить в его намерения, которые вообще не должны распространяться за пределы субъекта; поэт никогда не описывает предметы иначе, нежели для того, чтобы представить в них человека; но именно этого он обязан добиваться, возьмется ли он воспевать самый незамысловатый предмет — будь то восход солнца, прекрасный летний вечер или какая-то иная отдельная сцena природы — или же примется сочинять „Илиаду“ или „Мессиаду“. И это требование нерасторжимо связано с его призванием поэта и вообще с призванием художника.

Выполнить такое требование в наиточнейшем смысле слова — это дело лишь подлинно художественной природы. Ведь если люди склонны думать, будто поэт серьезный, возвышенный и богатый внутренним содержанием скорее достигнет такой целостности, то на самом деле легче достигнет этого тот поэт, которому гений искусства придал максимальную легкость, который способен затронуть воображение нежными и легкими прикосновениями; при этом наше воображение пышно расцветает, стремясь навстречу звукам поэта, а он наполняет наше воображение бесконечным томлением

по все новым сочетаниям, по все новым полетам. В этом и состоит всеобъяснимость, сообщаемая им воображению, — оно никогда не бывает столь тяжеловесно, чтобы стойко держаться одного предмета, но стремится все дальше и дальше, и притом царит над всем кругом пройденного; блаженство граничит в нем с тоскою, тоска — с блаженством, и все оно видит уже не в цветах действительности, но в блеске, в какой, словно таинственным волшебством, облечено все.

И уже нетрудно двигать целым миром, коль скоро найдена точка за его пределами, куда можно встать твердой стопой.

Х. Влияние идеальности изображаемого на целостность

Если душа художественно настроена и поэт сообщил ей чуткую восприимчивость и легкую возбудимость, то теперь от его желания зависит, сколько и каких объектов предъявить ей реально, сколько чувств и какие чувства возбудить в ней. Все это определяется природой художественного рода, выбором материала, наконец, индивидуальностью самого поэта. Для него нетрудно получить значительное многообразие фигур из любого материала — о чем уже было сказано, — однако тут есть и нечто большее. Способ, с помощью которого поэт выставляет хотя бы одну-единственную фигуру, сам собою подготавливает фантазию к тому, чтобы присоединить к одной этой фигуре столько других, сколько потребует, чтобы они образовали вместе с первой замкнутый круг.

Соединяя подобное с подобным и даже связывая посредующими звеньями несходное, фантазия производит лишь многообразие, а не целостность. Чтобы добиться целостности, необходимо, чтобы и она, и ее объект были настроены и подготовлены соответствующим образом, — и это происходит, когда поэт выставляет идеальные фигуры.

И идеальности, и целостности поэт достигает лишь в сфере воображения, тогда, когда своим волевым решением прерывает ограниченное и разединенное бытие действительности. Идеальность и целостность именно поэтому не могут не находиться в строго определенной связи. Кроме того, идеальное, очевидно, основывается на том, что целостность возможна, ибо отличительное свойство идеального состоит как раз в том, что оно усваивает все, но только все — по-своему. С другой стороны, идеальное ограничивает целостность, поскольку множество отдельных составных частей связывает в одно целое, которое, будучи рассмотрено с одной точки зрения, и создает целое для рассудка или созерцания.

Идеалом мы называем изображение идеи в облике индивида. Таким образом, от последнего мы ждем своеобразия, но не односторонности. Этого мы можем достичь лишь одним-единственным путем — собрав воедино все существенное, свойственное определен-

ному характеру (потому что таковой, безусловно, лежит в основе любой идеальной фигуры), но отделив от него все случайное. Поэтому все идеалы целиком являются действительными, и только таковыми. Вследствие этого, если рассмотреть несколько идеалов, то всегда будет бросаться в глаза точка соприкосновения между ними — общее — и точка индивидуального контраста между ними. Но едва ли какой-либо пробел может оставаться незаполненным. Если недостает посредующего звена, то этого нельзя не заметить.

Благодаря такому сходству, которое никогда не вырождается в однообразие, и такому различию, которое никогда не вырождается в несовместимость, весь мир распадается для тех, кто создает себе идеал, на бесконечное число отдельных масс. Индивиды образуют группы, меньшие группы образуют большие, все вместе — единое целое. Все точно так у поэта. И он не показывает нам ничего — только массы. Весь его материал сочетает подвижность со стремлением к форме: стоит вторгнуться в этот материал — и он рассыпается, образуя органические массы, стоит начать связывать его, и он опять же соединяется в такие массы.

Пользуясь той самой нитью, с помощью которой поэтический гений развивал одну из другой эти многообразные группы, фантазия читателя переходит от одной группы к другой; как только возникает перед ним одна-единственная идеально очерченная фигура, она сама собою вынуждает порождать иные, все новые и новые, пока все они не создадут круг, достаточно обширный и всеохватывающий для соответствующей степени художественного настроения.

У всех фигур, какие может выявлять нам поэт, есть общая, связующая их черта — это их сопряженность с человеческой природой. Вот точка, из которой поэт может двигать любыми фигурами, царить над всеми. Но есть такие, которые состоят между собою в значительно более близком родстве. Они образуют куда более тесный круг.

Когда же и воображение настроено, и предмет разработан так, что первое не застывает ни на какой отдельной точке, а второй не заставляет его застывать, тогда — лишь с завершением целого круга, с возникновением совершенной целостности — наступает покой, тишина.

Так, разве можно живо описать юношу, чтобы фантазия не представила себе его в образе ребенка, из которого он развился, или в образе мужа, который созревает в юноше, и в образе старика, в ком гаснут последние искры полыхавшего в нем пламени? Можно ли живописать героя, что на поле битвы, окруженный мертвыми телами, командует самой смертью и планомерно организует гибель людей, не вызвав в душе своей образ спокойного мыслителя, который, сидя в четырех стенах одинокого жилища, вдалеке от практической деятельности и событий дня, исследует истины, какие, быть может, принесут благодатные всходы лишь грядущим столетиям, не вызвав в душе своей также образ спокойного землепашца — он озабочен лишь потребностью дня, включен в пределы все вновь и вновь протекающих времен года и думает лишь о будущем урожае.

Одно состояние всегда влечет за собой все прочие — лишь в общности таковых может существовать и отдельный человек и все человечество; художественно настроенное воображение как раз и доставляет моральному человеку тот огромный выигрыш, который учит его как бы соединять все жизненные эпохи, продолжая протекшую и зачиная грядущую, причем нисколько не отнимая его у эпохи настоящего, какой он принадлежит.

XI. Обзор пути поэта от первоначальной его задачи до высочайшей его цели

В любом виде человеческой деятельности высшее достижимо лишь в границах ее рода. Человек вообще и каждый отдельный человек в частности исполняет свое конечное, всеобщее и индивидуальное предназначение, лишь совершенно выявляя то, что он есть. То же самое и поэт. В нем воцаряется и приносит свои плоды воображение — вот его дело, завершая его, он достигает идеального, достигает цельности.

Мы полагаем, что доказали это выше, и если шли путем долгим и чуждым нашей прямой задаче, то избрали этот путь все же не без причины. Если мы критически обсуждаем работы, к какому бы роду они ни относились, то самое важное — не упускать из виду требований, точного выполнения которых можно по праву ждать от них. Правда, дело довольно обыкновенное — превозносить до небес эстетические создания, награждать их неопределенными похвалами, сопоставлять их с другими образцами того же рода и приписывать им добродетели сверх меры. Тем не менее единственно правильным видом критической оценки остается сравнение произведений с тем, чем они должны быть, рассмотрение того, удовлетворяют ли они принципам эстетики и идеалам искусства. При этом решается, выполнил ли их создатель свой долг и удовлетворяет ли его произведение справедливым и обязательным требованиям критики. Определять следует абсолютную, а не относительную ценность произведения. Если бы мы оставались непоколебимо верными такому пути, то эпитеты „прекрасное“, „возвышенное“, „превосходное“ сами собой превратились бы в „разумно осмысленное“, „планово упорядоченное“, „истинно описанное“, „верно прочувствованное“, „поэтически изображенное“. Мы довольствовались бы тем, что просто решали, по какому праву такое-то произведение носит наименование поэтического творения и отнесено к особому жанру поэзии.

Правда, не всякая поэма выдержит подобное критическое обсуждение; однако было бы непозволительно применять иные методы к поэтическому творению, которое обладает столь существенными, необходимыми и значительными добродетелями и лишено чужеродных и заимствованных на стороне красот.

Развивая сущность понятия искусства, мы до сих пор скорее

следовали путем рассуждения и лишь изредка обращались к опыту. Однако, для того чтобы чувствами убедиться в правильности выставленных утверждений, нам достаточно вызвать в нашей памяти то впечатление, какое производит на нас всякое совершенное произведение искусства,— вызвать настроение, в какое переносит нас Аполлон Бельведерский или какое-нибудь место из Гомера.

Тогда натягиваются в нас все нити человеческих чувств, и мы ощущаем человеческую природу во всех точках ее соприкосновения — ни в каком более случае переход от одного чувства к другому не бывает более плавным, ни одно движение души, даже энергичное, не бывает столь кротким и сдержанным, но одновременно в нас отражается мир, окружающий нас, поддерживающий в нас то же настроение. Ибо, когда мы наблюдаем гармонию и совершенство, они вливаются в нас самих, заявляя о себе *покоем* и трогая наше сердце — таково, наверное, самое общее воздействие больших произведений искусства вообще. И когда к нам приходит покой, то в таком состоянии уже не могут иметь места какие-либо помехи или диссонансы; когда же произведение трогает наше сердце, то это значит, что мы заглядываем в глубь природы или человеческой природы, поэтому наше сердце сжимает тоска. Эти два состояния показывают, что мы никогда не прозреваем человечество и судьбу — два колоссальных предмета — так живо, никогда не сопрягаем их столь энергично, как в подобные моменты. Но дух может быть приведен в такое чудесное, непостижимое настроение и погружен в такую глубину лишь при условии, что волшебная сила изымет его из мира действительности и перенесет в мир идеалов, где самое природу он сможет узнать лишь по ее стихиям и силам, и вообще на каждом шагу будет встречаться с чуждыми ей совершенством и безграничностью.

Когда теперь обзираешь весь путь, какой пробегает поэт (а вместе с ним и любой художник), поражаешься тому, с какой же простой цели он начал и на какую непостижимую высоту вознесся.

Он начал с того, что как бы играючи превращал реальный предмет в объект фантазии, кончает же тем, что исполняет самое великое и трудное дело, какое поручено человеку в качестве высшего его предназначения, — он теснейшим образом сопрягает себя с внешним миром, окружающим его, сначала вобрав в себя этот последний как чуждый предмет, а затем возвратив его как свободно и самостоятельно организованный; все это исполняет он своим особым образом и теми средствами, какие ему для этого указаны.

Ибо весь материал, какой предоставляет ему наблюдение, он органически слагает в своем воображении в идеальную форму, и мир вокруг представляется ему не иначе, как насквозь индивидуальное, живое, гармоничное, ничем не ограниченное, ни от чего не зависящее самодовлеющее целое, сложное из многообразных форм. Так переносит он в мир свою сокровенную, свою лучшую природу, превращая мир в существо, которому можно отныне всецело симпатизировать.

ХII. Отличие высокого и подлинного стиля поэзии от псевдостилия

Итак, достиг ли поэт такой вершины искусства, возвысил ли до нее своих читателей — вот единственный настоящий пробный камень его подлинной эстетической ценности. К этой цели непременно подойдут все те, кто по праву носит имя художника, сколь бы различны ни были пути, по каким идут они к цели, — различны в согласии с избранным или художественным родом, который их принуждает, или с индивидуальностью, какая их ведет. Если нация еще не ощущает того, в чем состоит художественное совершенство, если язык затрудняет поэтам счастливо продвигаться на их поприще — значит, эта нация и язык еще далеки от большого стиля поэзии, значит, они пока не могут пользоваться благодетельными последствиями его для развития культуры и становления характера.

Ибо, конечно же, помимо большого и высокого стиля, в искусстве существует еще один: он даже более льстит вкусу, от природы не столь чистому или избалованному, и его нередко путают с подлинным стилем. Более того, поскольку оба стиля принадлежат двум совершенно различным сферам, то даже критика может колебаться в выборе между двумя художественными произведениями, из которых одно, отличаясь менее высоким стилем, достигает большего, нежели другое, идущее лучшим, но более крутым и опасным путем.

Среди всех искусств ни одно не подвергается такому искушению исказить присущую ему красоту заимствованными на стороне красотами, как поэзия. Ибо мало того, что, как и всякое искусство, поэзия может предпочесть не поддерживать вольную самостоятельность силы воображения, не принуждать ее решительно производить определенный объект, а просто заполнять воображение приятными, привлекательными образами, окружать его пестрой, но незначительной игрой красок, — опасен для нее и еще один ложный путь, и он принадлежит исключительно поэзии. Поскольку поэзия воздействует средствами языка, следовательно, такими средствами, которые первоначально сложились лишь для нужд рассудка и нуждаются в своей переработке, чтобы получить доступ к фантазии, то поэзии легко перейти в область философии и затрагивать непосредственно дух и сердце, вместо того чтобы воздействовать лишь на силу воображения. Поэзия более, нежели ее сестры, способна действовать чем-то, что вообще уже не есть искусство, — поэтому у нее наибольшее число приверженцев, — тогда как музыка, живопись, скульптура, в которых понятие искусства выступает в более чистом и напряженном виде, — наверное, именно в указанной последовательности — способны увлечь лишь подлинно эстетическое чувство, которое встречается все реже и реже.

На таких ложных путях поэзия изменяет своей подлинной, высшей природе, стремясь то очаровывать нас живописными картинками, то удивлять и потрясать блестящими и трогательными сентенциями,

и, постепенно снижаясь, из порождения гения превращается в труд таланта. Правда, и в этом случае она еще способна производить известное воздействие — в руках больших мастеров (которых и тут нельзя недооценить), — даже весьма значительное воздействие: она может приводить в движение силу воображения и одновременно овладевать духом и сердцем, может изумлять и трогать сверкающими вспышками гения, — но никогда не будет тут ровного света и тепла, а по недостатку внутреннего вдохновения, высокого и гармоничного покоя всегда будет заметно отсутствие подлинного искусства.

Ибо во всех подобных случаях сила воображения никогда не действует свободно и безраздельно, она не способна переносить нас из круга действительности в страну идеалов, а без этого, к каким-бы средствам мы ни прибегали, немисливо подлинно художественное воздействие.

ХIII. Применение предыдущего к поэме

„Герман и Доротея“.

Чистая объективность этой поэмы.

Первая степень объективности

Противопоставляя большой или, лучше сказать, чистый и подлинно поэтический стиль тому, какой не по праву носит это название, мы поступали так не для того, чтобы просто доказать, что наша поэма, без всякого сомнения, принадлежит стилю первому, поскольку само восприятие читателей этой поэмы извинило бы отсутствие у нас такого доказательства. Мы лишь потому столь долго занимались определением понятия искусства, разбором его предназначения и описанием производимого им воздействия, что хотели полнее ощутить, что означают слова: *всеобщий характер искусства вообще столь несомненно отпечатлелся в этой поэме, что стал специфически присущей ей отличительной чертой.*

Действительно, эта поэма заметно и решительно стремится к тому, что есть конечная цель всех художественных усилий, — и она счастливо достигает этой цели. Мы видели, что подлинный поэт воздействует исключительно на силу воображения, он поручает ей вольное и закономерное порождение какого-либо предмета изнутри самой себя, он представляет ей отдельные фигуры, являя ей в них мир и человечество в их окончательных и величайших сопряжениях. Именно все это и постигает на опыте читатель поэмы Гёте. Уже самая первая песнь мощно увлекает его фантазию, отдельные части действия, движущегося перед ним, словно сами собой рождаются фантазией и выходят одно из другого; ему начинает казаться, что сам он относится к этому тесному семейному кругу, тогда взгляд его возвышен настолько, что он сам изумлен и поражен этим.

Не слова продолжают звучать в его ушах, не отдельные мысли

и изречения, вырванные из целого, запечатлеваются в душе, сколько бы их ни осталось в памяти, сколько их ни всплывет, когда в самой жизни произойдет нечто подобное, — все же в тот момент, когда он подойдет вместе с поэтом к самому концу его пути, перед ним живо встанут самая суть дела, сюжет, лица.

Он видит юношу, чувства которого спали, нераскрытые, непонятные ему самому. Теперь же внезапно разгоревшаяся страсть освобождает его от уз, сковывавших его душу. Он понимает, что теперь чары с юноши спали, что зреют в нем благородные и высокие решения, что с первого взгляда узнал он девушку, предназначенную ему самой судьбой, видит, что юноша доверительно предается этому своему чувству. Он видит и девушку, мужественную и деятельную, терпящую беды, но помогающую другим, не лениво предающуюся тщеславным надеждам, но и не робко отчаивающуюся в нужде. Эта девушка отнюдь не невосприимчива к благородной любви, она таит в душе своей тихие и скромные желания, а когда чувство чести волнует ее, она по-женски смело открывает тайники сердца. Он видит человечество, хранящее чистоту и величие характеров в любых своих формах, видит, как распределено среди людей все то, что, будучи соединено в замкнутый круг, связывает внутреннее совершенство с внешней удовлетворенностью. И наконец, он видит судьбу — судьба раскидывает во все стороны индивидов и нации, но она бессильна против неутомимой энергии людей, — куда бы ни забрасывала судьба человека, он вновь твердо встает на ноги, строит себе хижину, завязывает новые связи, создает новое счастье и новые радости. — Столь совершенно объективно разработал поэт свой материал. Все время *один* предмет занимает его, и этот *один* — чистое порождение силы воображения.

XIV. Вторая ступень объективности нашей поэмы. Родство стиля поэмы со стилем изобразительного искусства

Нет более важного понятия в теории искусства, нежели объективность, однако ни одно из них не требует столь точного и странного объяснения.

Ибо, во-первых, объект искусства никогда не бывает реальным объектом и не является таковым в собственном смысле этого слова. Искусство остается исключительно в кругу воображения, то есть в пределах нашей души; эта сила лишь идеально сопрягается с природой, с ситуацией, а также и с человеком, с личностью. В этом отношении следует прежде всего опасаться путаницы и ошибок.

Во-вторых же, это понятие бывает весьма различным по своему объему. Все художники без исключения должны быть объективны, и, однако, один из них должен соблюдать этот закон более строго, нежели другой. Есть и такие художники, которым, по сравнению с

другими, можно было бы даже дать противоположное наименование, а потому всегда следует строго различать, в каком именно объеме привлекается понятие объективности, чему именно противопоставлено оно в том конкретном месте, где оно встречается.

Такая осторожность тем более необходима, что многозначность этого понятия проистекает не от неверного пользования им, а оттого, что она заключена в самом его существе. Художник обязан вводить человека в самую тесную и в самую многообразную связь с природой. Чтобы довести эту свою задачу до конца, он сильнее выявляет либо внешний предмет, либо внутреннее настроение души. Он едва ли может избежать этого, даже если и не хочет. Порождая предмет силой воображения, он одновременно пластически *слагает* и *настраивает* — представляет предмет и готовит субъект, а потому, соблюдая в этой двойной работе известную пропорцию, не может постоянно придерживаться все одного и того же равновесия между ними. Поэтому же так трудно найти хотя бы две поэтические натуры, которые в этом отношении были бы подобны друг другу.

И тем не менее все они обязаны соблюдать одно ограничение. Ведь уже в самом общем смысле они не вправе ни являть нам сам реальный предмет, ни непосредственно затрагивать само чувство иначе, нежели через посредство силы воображения; отдельные же роды искусств ставят художника в еще более тесные рамки. Это сходство во всеобщем — причина, почему всякое особенное отличие тонко, почему его трудно обнаружить.

Предпослать такого рода рассуждения было необходимо, чтобы мы могли предотвратить ложные толкования. Ведь мы будем заняты сейчас дедукцией объективности нашей поэмы.

Уже ее целостное действие доказывает, сколь старательно трудился наш поэт над тем, чтобы нарисовать форму лишь одного предмета. В деталях это нельзя показать полно иначе, нежели описывая эту объективность на каждой ее ступени, со все более точным ограничением ее.

Пока мы упоминали лишь первую ее ступень — ту ступень, рассматривая которую мы убеждаемся, что поэма эта заявляет о себе как о большом и подлинном произведении искусства; при этом мы упоминали и об определенности, с которой она представляет предмет, порождаемый исключительно силой воображения.

Но насколько же больше замечаем мы при более детальном рассмотрении! Дольше занимаясь им, рассматривая его во всех его деталях, замечая, сколь совершенны все очертания, сколь четко отпечатлевается каждая фигура в нашей фантазии, с какой отчетливостью одна фигура примыкает к другой, создавая прекрасную, законченную и легко обозримую группу, мы уже не можем отрицать того, что настроение, в каком расстаемся мы с этой поэмой, сходно с тем настроением, какое охватывает нас, когда мы изучаем совсем иные роды искусства, какое воздействует на нас при знакомстве с произведениями живописи и скульптуры. Подобный же характер имеет и движение, какое представляет нам поэма. Она не увлекает

нас за собой как бы в лирическом головокружении — однако повсюду столь жизненна и многообразна, что, как мы замечаем, мы всматриваемся в весьма подвижный мир. Повсюду действие, повсюду фигура, и мы не чувствуем, что просто слушаем поэта, а нам представляется, что мы непосредственно стоим перед созданием его кисти.

Вот почему мы видим здесь более высокую ступень объективности, мы зрим *чистые формы чувственных предметов*; в качестве характерного признака этой поэмы мы можем предложить следующий: *она больше напоминает нам о требованиях, о существе искусства вообще и искусства изобразительного в частности, нежели односторонне — о специфической природе поэзии.*

XV. Родство всех искусств между собою.

Двойное отношение художника к искусству вообще и к своему искусству в частности

Все искусства перевиты одной лентой; у всех одна цель — возносить фантазию на вершину ее силы и своеобразия. Искусства разделились только потому, что каждое обладает для себя чем-то таким, что позволяет ему достигать общего воздействия по-своему и чего по сравнению с ним недостает другим искусствам. Так, живописи недостает завершенности формы, скульптуре — воздействия красок, им обеим — живого движения, музыке — характеристики фигур, поэзии — наглядности и силы, с какой являлись бы, каждая сама по себе, многообразные составные части, которые она в себе объединяет.

Если же человеку существенно важно вбирать в себя искусство всеми чувствами, то он должен научиться тому, чтобы переноситься в самое средоточие чувств и с поэтическим чувством взирать на работу живописца, глазом художника смотреть на работу поэта. Художник может осуществлять воздействие своим искусством, лишь исходя из определенной точки, и тем не менее он должен постигать целое, всегда стремясь, собственно говоря, ко всеобщему идеалу искусства, но только так, как предписывает это его особенный вид искусства. Разрабатывая свое искусство согласно требованиям всякого искусства вообще, он поддерживает связи со всеми прочими искусствами, поддерживает их незаметно и ненавязчиво — он не может непосредственно приблизиться к ним, он может приблизиться лишь к той, самой всеобщей точке их соединения. Вот в такие соединения и должна пытаться вступать на деле фантазия, — любое искусство не должно настраивать человека исключительно на себя, всякое должно настраивать одновременно и на все другие, и на искусство вообще; в каждом значительном произведении искусства бросается в глаза двойная особенность; во-первых, это то, что то или иное произведение принадлежит особенному искусству, создавшему его; во-вторых, это то, что это произведение несет на себе пе-

чать такого стиля, который допускает свое применение во всех прочих искусствах, что оно столь зримо несет на себе печать этой всеобщности, что даже как бы приглашает мысленно попробовать свои силы в подобном применении. В чьей, например, памяти не пробудит Аполлон Бельведерский образ гневно шествующего бога в «Илиаде», а известное место поэта — божественный скульптурный образ?

Итак, художнику надлежит исполнять два требования: требование искусства вообще и требование избранного им особого искусства в частности. Первое настаивает на том, чтобы он, постоянно памятуя об общих требованиях искусства, не отвлекаясь от них, всеми средствами, какие предоставляет ему его искусство, пользовался лишь для того, чтобы удовлетворить их, и не позволял бы им блистать каждому в отдельности; второе, напротив, с тем же правом требует, чтобы обо всех преимуществах, какие предоставляет ему его искусство, он заявлял во всем объеме и в полную силу. Художник нарушает первое правило, если дает колориту непропорциональный перевес над красотой форм и упорядоченностью целого; он нарушает второе, если, пренебрегая колоритом, недооценивает живость и силу, какую могут придать его произведению цвет и светотень. Наконец, художник — перечислим все ложные пути, какие с этой точки зрения необходимо ему избегать, — может не благоприятствовать ни искусству вообще, ни своему особенному искусству, но односторонне предпочитать третье, чужое ему искусство и подражать ему. Так, есть поэты, воздействие которых почти исключительно музыкально, и мы знаем живописцев, у которых фигуры больше похожи на статуи, чем на натуру.

Художник может заблуждаться объективно — не угадывая правильного соотношения между искусством вообще, своим собственным искусством и его собратьями, — а может заблуждаться и субъективно — это касается соотношения индивидуальности, природы художника вообще и своеобразия других художников. Он может предоставить первой чрезмерно большой или недостаточно большой простор и может даже вообще отказаться от своей индивидуальности и подменить ее чужой.

Односторонне ограничивая себя своей частной позицией, художник всякий раз впадает в *манерность* — в манерность либо искусства, если предоставляет чрезмерно большой простор своему особому искусству, либо стиля, если предоставляет чрезмерно большой простор своей индивидуальности.

Таковы все мыслимые ложные пути, на которых может оказаться художник, когда это касается всеобщего характера его произведений; нам было необходимо перечислить их все, чтобы пролить свет на последующее. Теперь вернемся к нашей поэме.

XVI. Средства, какими наш поэт достигает объективности, приближающейся к объективности изобразительного искусства

Выше мы уже замечали, что поэт более, нежели любой другой художник, рискует не столь исключительно занимать силу воображения — именно потому, что он может непосредственно воздействовать на рассудок и сердце. Но если он даже и избегает такого недостатка и остается в границах своего искусства, все равно в его власти приводить в движение, скорее, дух и нравственное чувство, пренебрегая легкими и чистыми воздействиями на органы чувств. С какой из двух сторон ни посмотреть, может случиться так, что он окажется в противоречии к художнику вообще и к пластическому художнику в частности.

Здесь мы рассматривали искусство вообще и изобразительное искусство в частности как почти равнозначные, — как и выше, мы не побоялись сказать, что стиль нашего поэта родствен стилю изобразительного искусства, и не стали опасаться упрека в том, что он подражает чуждому роду искусства — в любом случае это недостаток. На деле же изобразительное искусство крайне близко искусству вообще — ближе и роднее поэзии. Ведь оно непосредственно изображает — и является чувственным, а именно эти два свойства и преобладают во всеобщем понятии искусства. Поэтому, когда говорят о противоположности поэзии и искусства, то можно думать не о каких-либо иных, но только об этих двух признаках, то есть о той стороне, которой искусство вообще ближе всего к изобразительному искусству.

Но поэма «Герман и Доротея» не просто свободна от такого противоречия. Чистое, подлинное и всеобщее художественное чувство, одушевляющее эту поэму, являет нам то, что создавший ее поэтический гений теснейшим образом сроднился с гением искусства вообще и что на нем лежит печать, какой отмечено искусство вообще, а не то или иное отдельное искусство в его исключительности. Таково преимущество, которое в будущем (мы можем твердо надеяться на справедливость потомства) отведет ему совершенно особое место среди всех новых поэтов. Ибо на деле ни одна нация не может указать сейчас на такого поэта, который хотя бы приближался к нему в этом отношении.

Причина, бесспорно, заключается в том, что он лучше других умеет привести в движение пластическую силу фантазии — просто представить нам объект, а тем самым уже произвести на свет все заключенное в нем воздействие. Однако следует заметить, что сказанное здесь все еще недостаточно ясно и определленно: и другие поэты верно живописуют природу, однако за ними нельзя признать это достоинство в той самой мере, в какой мы признаем его за Гёте. И тут тоже надо обратиться к настроению души — как поэта, так

и читателя; тонкое, но весьма важное различие состоит именно в том чувстве, с которым мы расстаемся с этим поэтом и с другими. Здесь вновь сказывается основное заблуждение всех прежних ложных эстетических рассуждений: ищут в объекте то, что скрыто исключительно в субъекте и по крайней мере описано может быть лишь на примере субъекта, тогда как в предмете все подобное можно лишь ощутить.

Когда преобладает всеобщее художественное чувство, на душе становится ясно, спокойно, светло и легко; одна лишь фантазия деятельна, причем она сопряжена с внешним чувством, которое спокойно и послушно вбирает в себя все, что видит перед собой. В таком состоянии фантазия никогда не бывает смущена — любое очертание отчетливо отделяется от других; она свободна от беспокойства и неясности, потому что она созерцает, и только; она просто видит перед собой фигуры, жизнь и движение; она не бывает тяжела, не давит, потому что в таком сопряжении ей легче всего сохранять свою идеальную природу. Когда же перевес оказывается на стороне поэзии, с ее особой природой (в той мере, в какой, что ясно из предыдущего, поэзию можно противопоставлять искусству вообще), то воображение действительно либо перестает быть чистым и единственно деятельным, либо же теряет легкость и объективность своей природы благодаря своей слишком тесной связанности с духом или сердцем. Тогда наша душа уже не просто занята предметом, но во всякий миг в ней пробуждается либо рассудок, либо моральное чувство — совершается непрерывный переход к субъекту, и мы осознаем не столько сам предмет, сколько воздействие предмета.

Как мы уже замечали выше, трудно показать, в чем заключено специфическое обращение с предметом в одном и в другом случае, — между тем есть один крайне важный пункт, который сразу же бросается в глаза, если быть сколько-нибудь внимательным. Если сравнивать поэзию и скульптуру, которая более всего соответствует чистому понятию искусства, то с первого взгляда видно одно различие между ними. Скульптура (по крайней мере в простейшем случае, на котором мы сейчас остановимся, — изображается отдельная фигура) воздействует исключительно формой, а поскольку форма основана на целой фигуре, то воздействует лишь как целое; если в статуе удачно исполнена лишь одна часть — рука или нога, — то прекрасна лишь рука или нога, и понятие прекрасного не переносится с этой отдельной части на целое.

От поэта же, напротив, вовсе не требуется, чтобы он выставлял целую фигуру, — он может очертить часть и, сделав это описание весьма важным для чувства читателя, может принудить его самого дорисовать все недостающее. Если ему удается завоевать сердце читателя отдельной чертой описания женской фигуры, то потом фантазия читателя сама довершит всю фигуру, пользуясь той же мерой и сохраняя намеченный характер, — таким образом, читатель идет навстречу поэту. Но, разумеется, описание становится при этом менее объективным: фигура уже не столь определена для взгляда, чув-

ство предвосхищает скорее характер, а не то, чтобы глаз зримо видел очертания фигуры.

Как же поступать поэту, чтобы остаться верным самому общему и чистому понятию искусства? Описывать целое, а не просто отдельные части, обрисовывать предмет, а не просто возбуждать чувство. Правда, он все равно будет возбуждать чувство, но уже благодаря впечатлению целого, не через эффект, производимый отдельными частями, он будет возбуждать его самим предметом, а не непосредственно отдельными его чертами — так это чище и лучше.

XVII. Пояснение сказанного на примере описания Доротеи

Чтобы увидеть, как решает наш поэт задачу подлинно художественного описания, сравним ту картину, на фоне которой представляет он нам фигуру Доротеи.

Сначала Герман обрисовал ее лишь немногими чертами: он рассказал, как впервые он встретил ее: как сплела она свою родственницу, разрешившуюся от бремени; как правит она быками, которые запряжены в повозку, — а теперь он описывает ее друзьям, которых послали все подробно разузнать о ней.

Он говорит так:

Сразу ее из всех вы сумеете выделить, ибо
Трудно другую найти, фигурой схожую с нею.
Кроме того, назову и приметы чистой одежды*.

Итак, описывается только одежда. Благодаря этому у поэта двойное преимущество. Он может быть уверен, что рисует лишь для глаза, что никакие побочные представления не отвлекают внимания от фигуры, к которой должно быть приковано все внимание, а, кроме того, благодаря этому он может нарисовать всю фигуру, все ее формы. А если бы он предпочел описывать сложение тела, то, конечно, он мог бы описывать отдельные части тела и всю фигуру, но не мог бы непосредственно явить ее взору. В данном же случае он действительно являет ее нам с головы до пят, выбирая такие отдельные черточки, которые рисуют и ее внешнее сложение, ее стройную фигуру, полную грудь, форму головы. Прежде же всего он заботится о том, чтобы в контурах целого не было пробелов для фантазии. Он точно описывает, как ворот рубашки аккуратными складками облегает ее подбородок, как гордо поднимается ее голова, а с какой полнотой рисует он всю ее фигуру!

Но этого ему еще мало! Он не просто хочет явить фигуру фантазии — ему надо, чтобы она прочно запечатлелась в воображении. И вот мы видим сначала, как она идет, а спустя некоторое время представляем себе, как она сидит. Повторяется прежнее описание, только с изменениями, какие подсказаны новым положением тела. И получается, что мы словно видим ее в самой жизни, где одних и

тех же людей мы наблюдаем в разных позах и движениях; итак, этот образ запечатлевается в нашей памяти навсегда — как только девушка появляется в поэме, ее образ встает перед нами и сопровождает все ее слова, жесты и действия.

Воздействие, производимое простым описанием, оказывается гораздо большим, чем если бы поэт вложил в него больше содержания, в большей мере заинтересовал бы сердце читателя и, описывая внешность, одновременно описал бы и внутренний характер персонажа. Можно повторять снова и снова: величие, высота, внутреннее содержание, то, что называют *душой* поэтического создания, — все это должно заключаться в фантазии, сюжете, лицах, изображении и тоне как целом, все это должно быть результатом живого описания в должным образом настроенной душе.

Поэтому поэт всегда имеет дело с двумя вещами — с самым наглядным представлением материала и с самым живым настроением читателя, но он достигает этого тогда, когда переносит читателя в самый центр действия, — обо всем остальном ему нечего тогда и беспокоиться: он ведь по-настоящему художник, — самое лучшее и высокое в своем деле предоставляет он своему гению, а сознательно занимается только одним делом — рассудительно упорядочивает и искусно исполняет задуманное, то есть занимается технической стороной произведения. И прежде всего это относится к эпическому поэту. Внимательному читателю, должно быть, давно уже бросилось в глаза, насколько соответствует поэтическому роду, все воздействие которого основано на непрерывности движения и последовательности, именно такое описание, где намечены лишь контуры, зато намечены они с максимальной полнотой.

Однако задержимся на мгновение на отдельных эпитетах, какими рисует поэт части фигуры девушки. Ничто не приобретает в описании большого, несоразмерного веса, все таково, что становится пригодным для простого, спокойного, непредвзятого созерцания; фигура девушки изящно обрисована, она полна свободной, светлой грации. Даже и сила в сочетании с подвижностью — это ее основные черты — отнесена к тому, в чем можно видеть лишь крепость физического сложения и что не вызывает каких-либо посторонних представлений, — такова упругая и полная грудь, высокий рост, длинные и красивые волосы. Благодаря этому настроению, которое вызывается и этим описанием, и вообще тоном всех описаний в поэме, подобно тому, в каком наблюдаем мы природу как естествоиспытатели, физиологи, а такое настроение несравненно более поэтично, нежели противоположное ему сентиментальное, когда мы, собственно говоря, видим в природе лишь самих себя. А здесь теплота чувства возникает медленней, зато она проникает глубже в душу и влечет за собой вдохновение, если не столь жаркое, то более возвышенное и стойкое.

Если же мы спросим, отчего поэт избрал именно такой способ описания, то ответ будет прост: он и не мог применить никакого другого. Ведь это Герман описывает свою возлюбленную, а он не такой

человек, чтобы прерывать простое описание увиденного и услышанного выражением своих чувств; он описывает ее своим друзьям, чтобы поскорее вырвать ее из толпы беженцев, а потому и выбирает такие признаки, по которым они смогут безошибочно распознать ее. Какие же это признаки? Разумеется, внешние очертания фигуры, покрой и цвет одежды.

А что у Германа именно такой характер, в свою очередь оправдано иными обстоятельствами, иными характерами, эти последние объясняются другими и всем целым, а вследствие этого одно описание находится во взаимосвязи решительно со всем и определяется всем целым. Так, самый дух описания — это тот дух, который живет все целое; все доказанное нами относительно этого описания значимо для всех прочих и для всей поэмы в целом.

XVIII. В какой мере наш поэт при родстве его поэзии с изобразительным искусством выявляет особенные преимущества поэзии?

Поэт, удовлетворяющий основным требованиям искусства, одновременно в полном объеме вводит в действие и сущность поэзии — это разумеется само собою. Ибо поэт исполнил то, что требует искусство вообще, и не пользовался средствами иными, нежели средства своего особого искусства. В этом смысле поставленный вопрос и не нуждался бы ни в каком дальнейшем разбирательстве.

Однако сущность поэтического искусства представляет столь изобильные дополнительные источники тому, кто сумеет ими воспользоваться, что, оценивая заслуги поэта полностью, невозможно обойти их молчанием.

Мы говорим сейчас не о том содержании, каким поэт может обогатить изнутри фигуры, которые он как бы заимствует у изобразительного искусства,— остановимся пока на том преимуществе объективности, каковое поэт может доставить себе в степени куда более совершенной, нежели любой другой художник.

Скульптура владеет лишь формами, живопись — формами и колоритом; и скульптуре и живописи недостает непосредственного движения, какое они способны порождать лишь путем своего рода обмана. Итак, они просто представляют предмет в пространстве, то есть объективны лишь для пространственных чувств. Благодаря могуществу, с каким выступает сама форма, скульптура обретает простоту, граничащую с бедностью, и даже художник ограничен: он может изобразить лишь определенные предметы, и само их изображение тоже ограничено.

Поэзии же столь присуще движение, что она, собственно говоря, не способна выражать стоящее на месте. Обрисовать фигуру она может, лишь позволяя глазу скользить по ее очертаниям. Однако такая фигура тем прочнее запечатлевается в воображении, когда поэт заставляет это воображение и создавать ее — в самом букваль-

ном смысле слова принуждает его рисовать ее. Поэзия действует во времени, а благодаря этому, в отличие от более холодного изобразительного искусства, глубже проникает в наши чувства и одушевляет свои описания большей полнотою жизни. Картины — это не просто группы из фигур, примыкающих друг к другу; они подобны цепочкам из четко сочлененных звеньев, где движение рождает движение, фигура рождает фигуру.

Поэт способен передать фигуру лишь в несобственном смысле слова, а пластический художник именно так передает движение. Важное различие состоит, однако, в том, что движение влечет за собой большую живость, а потому лучше настраивает воображение, чтобы оно своими средствами преодолеvalo недостатки. Следовательно, если поэт полностью воспользуется своим преимуществом, то он достигнет объективности большей, нежели пластический художник. Потому что он овладевает всеми органами, какими только постигаем мы предмет, — и органами пространственными, и временными.

Тут налицо не просто обрисовка фигур и описание действий. Когда поэт рисует фигуру, то это уже действие, а действие складывается в фигуру. Ибо если последующая черта стирает предыдущую, то все эти черты все же остаются в целой группе. И мы действительно видим перед собой все то, что мы так или иначе вынуждены домысливать, когда смотрим на картину, то есть мы видим то, из чего возник представленный момент и во что он переходит.

Сама же чувственная реальность живописи, реально выставленной объект, вредит ей в отношении подобной целостности. Ибо живой чувственный объект подавляет все, что воображению хотелось бы прибавить к нему.

Насколько же поэтична с любой точки зрения объективность, царящая в поэме „Герман и Доротея“, ясно без особых доказательств. В этой поэме не встретишь описаний покоя — повсюду описывается поступательное движение. Не обнаружишь здесь и отдельных, изолированных картин — всякий миг совершаются перемены, причем каждый отдельный образ ясно и четко отделяется от других своими контурами, и все целое совсем не похоже на картину пассивного состояния, скорее, здесь налицо картина взаимодействия решений, умонстроений и событий.

XIX. Специфическая природа поэзии как искусства слова

В предыдущем разделе мы рассматривали поэзию с точки зрения того, чем она отличается от изобразительного искусства, а не с точки зрения того, в какой мере она может быть противопоставлена искусству. Это последнее мы вообще могли бы обойти молчанием, потому что эта сторона никак не затрагивает нашу поэму. Однако, чтобы исчерпать эту материю, позволим себе еще одно отступление. Чем более обсуждаешь природу поэзии как искусства слова, тем яснее

понимаешь, почему можно рассматривать ее как изобразительное искусство.

Поэзия — это искусство средствами языка. В этой краткой характеристике для того, кто вполне понимает смысл этих двух слов, — вся высокая и непостижимая природа поэзии. Противоречие между искусством — оно живет лишь воображением и не желает ничего, кроме индивидуального, — и языком — он, существуя исключительно для рассудка, все обращает во всеобщие понятия — поэзия обязана не то чтобы *разрешать* — тогда на этом месте будет пустота, — но приводить к *единству*, — тогда возникнет *нечто* большее, нежели любая из сторон сама по себе. Но всякий раз, когда противоречивые свойства, соединяясь, образуют в человеческой душе нечто новое, можно быть уверенным, что человек явится в своей высшей природе. Потому что эти свойства противоречат друг другу до тех пор, пока внутреннее расположение духа человека подобно действительному миру вокруг, и нет иного средства привести противоречия к единству, как изъять человека из его ограниченной сферы и перенести его в бесконечный простор, ввести его в сферу идей, куда поведет его философия, или в мир идеалов, куда понесет его на своих крыльях поэзия.

Язык — орган человека; искусству естественней всего быть зеркалом *мира*, окружающего человека, поскольку воображению, следующему за внешними чувствами, легче всего вносить в душу фигуры извне. Вследствие этого поэтическое искусство непосредственно, в более высоком смысле, нежели любое другое искусство, предназначено для предметов двойного рода — для форм внешних и внутренних, для мира и для человека, а вследствие этого оно может выступать в двух, причем весьма различных видах — в зависимости от того, склоняется ли оно к предметам одного или другого рода.

В обоих случаях ему предстоит преодолевать трудности языка, радуясь преимуществам, какие оно обретает благодаря тому, что именно язык и, стало быть, мысль служат ему органом, посредством которого оно осуществляет свое воздействие; когда же оно выбирает своим объектом внешние формы, то обнаруживает для себя в языке особую сокровищницу новых, неведомых ему прежде средств. Ибо тогда язык оказывается единственным ключом к предмету — фантазия обычно следует за чувствами, а здесь ей приходится примкнуть к разуму, и если, с одной стороны, дух увлечен величием и содержательностью предмета, то искусство, сверх того, должно пуститься в еще более высокий и стремительный полет, чтобы и в этой области продолжало царить только воображение, — тем более что оно имеет дело уже не с чувствами, а с идеями, и, стало быть, не столько интеллектуально, сколько сентиментально.

Подобный род поэзии, в котором мы оставлены древними почти без примеров, — будь он чистым или смешанным с другими родами поэзии — является настоящей вершиной новейшей поэзии; можно сказать, что он специфически присущ ей. И однако, чем решительнее

Отделяется такой поэтической род от других, тем дальше он отстоит от самого легкого и простого понятия искусства.

Всякий подлинный поэт будет принадлежать одному из этих двух только что описанных характеров; он будет склоняться либо к тому, чтобы пользоваться индивидуальной природой языка в целях искусства, либо к тому, чтобы проявлять в языке индивидуальную природу искусства, к тому, чтобы сообщать форму и жизнь бесформенной и мертвой мысли, либо образно и наглядно представлять воображению живую действительность. В обоих случаях поэт одинаково велик, но в первом случае он скорее достигает того, на что способна лишь поэзия, а не другие ее сестры, он скорее являет самое сокровенное ее существо и идет одиноким путем, на какой не ступает нога других, тогда как во втором случае, он, скорее, идет общим путем с другими искусствами, и только проходит его по-своему. Поэтому в первом случае он — поэт еще в более узком смысле этого слова, чем во втором.

Быть поэтом в более узком смысле этого слова — значит придерживаться прямо противоположной поэтической манеры, нежели Гёте. Таким поэтом может быть поэт лирический, дидактический, трагический — все они родственны между собой и образуют один класс поэтов, а эпический поэт к ним не принадлежит. Этот последний требует фигур, жизни, движения, он выводит человека на просторы мира и, начиная с себя, со своих чувств, с окружающих предметов, в конце концов не менее тех, первых, потрясает душу в наилучочайших ее основаниях.

XX. Третья и последняя степень объективности поэмы

Если сравнить сказанное выше с впечатлением, какое производит сама поэма Гёте, то нельзя будет не почувствовать, насколько отстало от него наше понятие, сколь далека от действительного ощущения наша характеристика поэмы. Однако ее разбор потому так и труден, что ее высокая красота состоит в том, чтобы свое великое и общее воздействие производить в облике строго индивидуальном. Трудность — та же, что при описании живого органического существа: каждая характерная черта, какую приписываешь ему, живо напоминает тебе о том, что описание не будет полным и верным до тех пор, пока ты не сумеешь представить себе целое как необходимое и нерасторжимое соединение всех его частей.

Мы приступили к характеристике высокой объективности этой поэмы; мы показали, что в ней изображаются исключительно чувственные предметы, причем в полноте своих контуров, в чистых формах воображения. Но если бы нам даже и удалось доказать, что эта поэма одушевляет предметы с более чистым и всеобщим художественным чувством, нежели другие произведения, и что она теснее примыкает к произведениям изобразительного искусства, то этим все равно едва ли были бы прочерчены даже внешние линии, характеризую-

щие поэму, — ведь она еще не вполне вычленена из всей массы описательных поэм, а потому сказанного далеко еще не достаточно, чтобы объяснить в целом и в соответствии с ее поэтическим родом своеобразное воздействие, производимое ею, светлую ясность, до которой возвышает она фантазию, энергический покой, до какого возносит она душу.

Объективность изобразительных искусств сама по себе весьма неодинакова по своей природе, — очевидно, объективности простых скульптурных произведений отличается от объективности в некоторых живописных произведениях, так что общее родство стилиа поэмы со стилем изобразительного искусства недостаточно определено указывает на подобные тонкие различия.

Если достигнута высшая степень объективности, воображению представлен *один* предмет, и только; сколько бы предметов ни различало воображение, оно все сводит в *один* образ, — и тут материал преодолен до мельчайших деталей, *тут все — форма, эта форма — одна*, и она проходит сквозь все целое. Столь же явственно заявляет о себе это превосходство тем впечатлением, которое оказывает на нас. Мы чувствуем, что окружены ясностью, о какой не имели прежде понятия, мы ощущаем покой, который ничто не способно нарушить, потому что все, что только ни способны мы воспринимать, все заключено в *одном* предмете, причем представленном в совершенной гармонии, все силы нашей души отданы фантазии, а она вся предалась *единой* чистой, высокой и идеальной форме, сияние которой излучает такое произведение искусства.

Яснее всего это заметно в произведениях скульптуры. Когда ваятель работает с мрамором, то небольшое место, над которым трудится его резец, поглощает все его внимание. Проходят недели, месяцы, годы, а он по-прежнему пребывает в своих тесных рамках — перед ним вечно стоит образ, который стремится он представить, и тут он находит для себя целый мир, какому лишь с трудом удовлетворяют его силы; он не успокаивается до тех пор, пока полностью и в совершенстве не отвоюет мысль своего воображения у грубого камня.

Поэт, невзирая на многообразие и широту живого движения, предоставленные ему его искусством, разделяет чувство ваятеля, и его создание может достичь такой же объективности. А если он наделен таким чувством, то ему мало изображать чувственные предметы и чистые формы вообще — он всегда стремится к тому, чтобы привязать воображение к единственному объекту, только им занять его, а все прочее возвести к такому предмету. Характер такого поэта, собственно говоря, — в том, чтобы *находить полное удовлетворение лишь в завершенном представлении единого предмета*.

Решительно принудить воображение действовать и творить так, как определено, — вот одновременно его простейшая задача и величайшая цель. Чтобы удовлетворить этому требованию, он должен сообщить воображению три родственных свойства — живую силу, полную свободу и строгую закономерность во всем. Чтобы достичь

двух степеней объективности, о каких мы говорили выше, необходимы прежде всего два первых свойства; на третью же ступень, которую мы сейчас рассмотрим, можно взойти благодаря третьему свойству — благодаря строгой и совершенной *закономерности*.

Чтобы показать, что наша поэма достигает и этой третьей и последней ступени объективности, сравним ее с двумя родами описательных стихотворений. При этом мы получим еще и то преимущество, что если до сих пор мы характеризовали нашу поэму лишь как подлинное произведение искусства и как описательное стихотворение вообще, то теперь мы сможем определить ее место, принадлежащее ей по праву среди всех других произведений.

XXI. Два рода описательных поэм с точки зрения большей или меньшей объективности (на примерах Гомера и Ариосто)

Все описательные поэмы заключают в себе ряд образов, связанное, состоящее из фигур целое. Различие же, которое мы намерены провести между ними на основании предшествующих размышлений, состоит в том, призваны ли они воздействовать многообразным и многоразличным образом или же отдельными фигурами и связью их в единое целое, обращается ли поэт с ними как с массой или как с состоящим из отдельных лиц целым, получает ли он целое благодаря цвету и колориту или же благодаря форме?

Таким образом можно указать на объективное различие; со стороны же субъективной оно сводится к тому, важна ли для поэта вполне определенная деятельность воображения или же важна деятельность вообще и стремился ли он к тому, чтобы фантазия рождала именно такой, а не иной образ или чтобы она вообще порождала картины, следуя известному тону и ритму.

Легко видеть, что вопрос состоит лишь в следующем: воздействует ли поэт по преимуществу *пластически* или же он воздействует по преимуществу *настроение*, воздействует музыкально. Различие это проступает тогда, когда всеобщую формулу классификации, согласно которой все соотносится либо с порождаемым, объектом, либо с порождающим, субъектом, мы начинаем применять к отдельному данному случаю, к различным возможностям поэтического изображения действия.

Чтобы понять эти два рода, для наглядности сравним Ариосто и Гомера. Такой пример тем более доказателен, что трудно встретить двух разделенных веками поэтов, которые, будучи столь различны, были бы наделены таким сходством. Есть ли другой поэт после Гомера, у которого была бы представлена подобная полнота фигур, у которого было бы такое их изобилие, такое непрестанное и все вновь и вновь порождающее само себя движение; где еще такой неисчерпаемый источник новых поразительных находок, как не в

поэмах Ариосто? Разве всякий иной новый поэт не покажется рядом с ним жалким и скудным, суровым и торжественным, сухим и тягловесным — если сравнивать его с Ариосто в этом отношении? Если величайшее движение и самая живая чувственность составляют сущность поэтического искусства — а всякий без колебаний признаёт тут за Гомером высшее достоинство, — то итальянскому поэту, бесспорно, принадлежит здесь первое место вслед за ним.

И при том какое колоссальное различие! Как резко выявлено только что описанное расхождение! У Гомера всегда выступает предмет, а певец исчезает. Перед нами встают Ахилл и Агамемнон, Патрокл и Гектор, мы видим их действия и поступки и совсем забываем о той могучей силе, которая вызвала их из царства теней и перенесла в эту живую действительность. У Ариосто персонажи не менее наглядны, но мы никогда не теряем из глаз самого поэта, он сам остается на сцене, он сам представляет их нам, он передает нам речи своих героев, он описывает их поступки. У Гомера из одного события вытекает другое, все они тесно связаны между собой, одно порождено другим. У Ариосто нити целого не так прочно связаны, а если бы и были связаны, то он сам все равно разорвал бы их, своенравно играя ими, его воля царит явственней, нежели прочная ткань событий; он нарочно прерывает свой рассказ, от одной истории переходит к другой, и кажется (в этом скрыто его огромное искусство), будто все соединено между собой лишь капризом, а на самом деле все упорядочено, согласно внутренним законам симпатии и контраста чувств, какие пробуждает он в слушателе.

Однако различие — далеко не только в композиции целого; это различие мы обнаруживаем и в каждом отдельном описании, в любой строфе. Гомер, собственно говоря, никогда не описывает; фантазия его читателя никогда не оказывается в таком положении, когда бы ей надо было замечать и соединять в ряд отдельные черты, какие являет ей поэт, таким образом составляя целое; нет, фантазия читателя следует за поэтом, и фигуры встают перед нею; они и не восприняты фантазией от него и все же не порождены ею одною; необъяснимым образом то и другое происходит сразу и одновременно. Ариосто же беспрепятственно все описывает, он преднамеренно все нам показывает — черта за чертою, и хотя воображение остается равно вольным и живым, хотя оно обретает подлинно поэтическую настроенность, все же перед ним никогда не выступает просто предмет и тем более никогда не выступает просто целое; всякую часть целого и любую отдельную черту поэт разрабатывает так, чтобы они захватывали воображение сами по себе, отвлекая его от целого. У Гомера лишь природа да суть дела, Ариосто же не дает забыть об искусстве и личности — как личности поэта, так и личности читателя. Ведь если нужно, чтобы читатель забыл о самом себе, так нельзя напоминать ему о поэте.

Оба поэта владеют высокой степенью объективности, оба рисуют фигуры живые и чувственно-наглядные; но лишь у Гомера ясно стремление к совершенному изображению единого предмета. Оба

верно живописуют мир и природу, но Ариосто нравится нам своим блеском и богатством красок, Гомер же отличается чистотой форм и красотой композиции.

XXII. Гомер прочнее связывает части в единое целое

Описанный выше контраст не может не бросаться в глаза всякому читателю Гомера и Ариосто, если он вспомнит о целостном впечатлении, произведенном на него каждым из них. Если развить это впечатление, то и получатся те два поэтических характера, о каких мы говорили выше.

Гомер связывает в единую группу колоссальное множество фигур; у Ариосто персонажей, пожалуй, не меньше, если не больше, но они разделены на группы и как бы лишь вставлены в единую рамку. У Гомера решительно все тяготеет к целому, повсюду единство — единство действия, характеров, умонастроений, чувств, многообразное, доводимое до самых наитончайших нюансов, — это целая иерархия характеристик, складывающихся в единое целое. Ариосто тоже не может обойтись без единства, — как не мог бы Гомер обойтись без изобилия и многообразия; иного и не может быть: поэтическое воздействие немислимо и без того и без другого. Но для Ариосто важно, чтобы воздействовало не единство, а именно многообразие. Взор должен переходить от фигуры к фигуре, блуждать, а не обозревать их в целом; плоскость, на которой выступают персонажи, должна простираться в бесконечность, но только всякий раз заново, как только взору заблагорассудилось остановиться на них. У Ариосто нет единого движения от средоточия в бесконечность; само многообразие — даже если все отдельные члены и образуют взаимосвязь целого — должно являться лишь как контраст. Потому что даже если герои Ариосто во всей своей полноте представляют все основные стороны характера человека (доказать это не составило бы труда), то все же в героях Гомера перед нами предстало бы все богатство человеческого, а в героях Ариосто — многогранное различие человеческого.

Однако различие характера двух художников именно тогда полно и безошибочно, когда оба — а это так и происходит здесь — наделены одинаковым богатством и лишь проявляют его различным образом, по-разному пользуются им, налагают на него собственную печать.

XXIII. Ариосто больше считается с эффектом, Гомер воздействует чистотой формы

Гомер строже придерживается целого, Ариосто больше подчеркивает деталь, и, следовательно, первый обязан больше считаться с формой, второй — с эффектом, какой производит фигура в своей

взаимосвязи с иными. А это и можно назвать светотенью в поэзии — одна из фигур несколько выделяется или ступшевывается, когда рядом с ней появляется другая. Такая светотень в соединении с тоном, придаваемым речи, с его специфической весомостью, составляет поэтический *колорит*.

Гомер всюду стремится к форме, сначала в отдельных фигурах, их покое и движении, потом в их соединении, когда он связывает их по двое, по трое и когда, наконец, связывает все в единое целое. Поэтому „Илиаду“ или „Одиссею“ можно рассматривать в целом как статую или, если это сравнение слишком смело, то по крайней мере как скульптурную группу. При таком способе творчества колорит, естественно, играет подчиненную роль, он, так сказать, лишь сообразуется с формой и служит большему выдвигению ее. Совсем иначе воздействуют цвет, свет и тень тогда, когда каждая из фигур выступает по отдельности. Потому что тогда цвет и светотень служат средствами соединения всего в целое, и, вообще говоря, любая картина нуждается в колорите тем более, чем более теряет она в единстве и гармонии форм. Коль скоро воображение не погружено в свой предмет целиком, без остатка, энергия воображения начинает преобладать, и если поэт не занят своим предметом так, чтобы просто представлять его взору, тратя на это все свои силы, то совершенно незаметно тон его как таковой становится громче, а от этого богаче и пышнее, нежели его материал.

XXIV. Колорит

То, что называем мы колоритом¹, — а в каждом искусстве есть нечто такое, что соответствует этому понятию, — это, если ис-

¹ Понятие *колорита* применено здесь в ограниченном смысле. Чтобы предотвратить недоразумения, которые возникнут непременно, если приписать этому понятию общий смысл, да будет позволено мне сделать следующие разъяснения. В распоряжении живописи (из которой, естественно, исходят, когда речь идет о колорите) есть два средства для представления предмета — *контур* и *цвет*. Цвет непосредственно служит тому, чтобы и с этой стороны умножить сходство картины, но именно поэтому роль его — подчиненная. Живопись главным образом воздействует на нас благодаря настроению, в которое она приводит нашу фантазию сама по себе, независимо ни от какого подражания природе. Ибо если обратиться к природе органов чувств (в эстетических исследованиях следовало бы делать это почаще), какие прежде всего использует искусство, то можно обнаружить, что глаз выступает в двойной сопряженности — с одной стороны, с высшими интеллектуальными силами, с другой, с низшими, чувственными, — и что родство с первыми возникает благодаря впечатлению облика, формы, родство со вторыми — через впечатление цвета. Вот почему простая фигура (будь она возможна помимо всякого цвета и светотени) кажется сухой и холодной, тогда как сам по себе цвет (тоже помимо всякой формы) кажется живым, свежим, чувственным, таким, что способен пробуждать любые чувства. Пользуясь сразу двумя этими средствами, живописец одновременно вступает на объективный и на субъективный путь, дабы овладеть нашим воображением, и именно так и надо поступать — идти двумя путями, — чтобы достичь подлинно художественного воздействия. Ибо хотя и контур и цвет служат подражанию природе предмета (предмет соединяет в себе и то,

следовать его абстрактно-философски по основаниям и воздействию, не что иное, как то самое, что занимает деятельность воображения, когда у нее нет определенного, оформленного предмета, то самое, чего требует она же сама, когда находится в таком положении. Если деятельность фантазии пробуждена, но она, развертывая себя, все же не порождает определенный объект, то она как бы вновь и вновь воспроизводит свою силу, и, хотя нужно же обладать чем-то, на чем можно было бы упражнять силу, все подобное, совершенно незначительное и вечно переменное, исчезнет, а зримым останется лишь степень и ритм ее собственной деятельности.

В том, что такое понятие колорита действительно верно, можно убедиться, обратившись к нему в живописи, то есть в том искусстве, которому оно изначально принадлежит. Цвет, если только он не просто подчеркивает форму (а мы говорим сейчас о колорите, каким выступает он отдельно, сам по себе), не может предоставить фантазии определенный предмет, он может лишь детерминировать ее настроенность, изменять ее в гармонической или дисгармонической последовательности и подобные изменения проводить в определенном ритме. В этом отношении цвет подобен звуку, только

и другое), но все же первый больше трудится ради того, чтобы просто показать нам предмет, тогда как второй, — ради того, чтобы достаточно живо настроить нас на совершенное видение предмета. Однако и колорит и цвет сходятся в общей цели — представлении предмета. Если же равновесие между ними нарушается и колорит получает перевес, то наступит ситуация, о которой шла речь выше. А тогда художнику остается идти двумя путями — либо просто радовать чувства, либо же как бы ритмически настраивать фантазию. Однако последняя возможность чрезмерно ограничена, поскольку природа предмета не допускает последовательного, поступательного ряда (ритма восходящего или падающего), а лишь постоянно возвращающегося назад, и к тому же данного сразу же, одновременно. Итак, не в силах возбудить живые и энергичные чувства, довольствуешься лишь гармонией и очарованием.

Чтобы вполне привести фантазию в действие, необходимо воздействовать на нее объективно и субъективно. Нужен пластический предмет, и нужно настроить ее силу. Поэтому мы и говорим, что всякому искусству присущ свой *колорит* — нет иного, более подходящего слова для обозначения этой деятельности настраивания, а *цвет* способен производить ее наиболее чисто и совершенно. В музыке колорит — это особое обращение со звуками, которое трудно описать определенное; в искусстве вааяния, где, вообще говоря, исключительно царит форма, колорит — это, по всей видимости, та самая обработка материала, благодаря которой мертвый твердый камень приобретает на глаз мягкость и жизнь. Ибо хотя это последнее может быть произведено лишь формой, но действует оно не как форма, потому что и чувство (с которым мы всякий раз сопрягаем культуру даже и тогда, когда просто смотрим на них) находится в родстве как с интеллектуальными, так и с чувственными силами. Сколь велика разница между музыкой и вааянием с точки зрения их объективности, явствует из того, что в последнем колорит (то, что мы называем в нем колоритом) порождается исключительно формой, тогда как в первой даже и то, что, собственно говоря, есть описание предмета или выражение определенного ощущения (и, следовательно, соответствует форме в изобразительном искусстве), трудно отличить от того, что вовсе не есть это — а просто занимает фантазию и забавляет слух. Живопись в этом отношении занимает среднее место — в ней форма и колорит различаются более, чем где-либо, — они почти совершенно отделены друг от друга.

Говоря об этой материи, не следует забывать, что различия проводятся лишь в целях исследования и что в жизни все это неразрывно связано.

что последний благодаря своей тесной связи с душой хотя и не слагает пластическую форму, но производит действительный предмет, ощущение, тогда как цвет сам по себе лишь весьма несовершенно достигает этого.

В работах посредственных живописцев колорит выпирает, забавляя чувства и слепя глаза; однако в живописи, рассчитанной исключительно на колорит, все же возможен более высокий стиль, — тогда такую живопись следует согласовывать с законами ритма; в еще большей степени это относится к поэзии.

XXV. Гомер более наивен, Ариосто более сентиментален. — Итог сравнения

Ариосто признает за отдельными деталями своих описаний независимую от целого значительность и в то же время допускает, чтобы тон его песнопений преобладал над формой материала: общее здесь в том, что поэт, не занятый исключительно своим предметом, чаще заглядывает в глубь своей души. Вместо того чтобы предоставить воздействовать на душу и сердце слушателей картине в целом, Ариосто, не достигнув еще цели, беспрестанно обращается к своим слушателям и сосредоточивает свое внимание не столько на материале, сколько на эффекте, который он хочет произвести на них. Поэтому и для его читателя большей частью безразлично, какую фигуру, какой ряд событий он показывает — если только все та же жизнь и все то же движение наличны, а в деталях за одним нюансом тона следует другой, наиболее легким и естественным образом примыкающий к предшествующему.

Мы обнаруживаем здесь главное различие между древней и новой поэзией: в Гомере проглядывает, скорее, наивная, в Ариосто — сентиментальная натура. Однако различия этих поэтов не исчерпываются только этим признаком. Ведь и для совершенно объективного жанра описательных поэм возможна непосредственная связь материала с душой, — связь, которую вполне можно охарактеризовать как «сентиментальную». Итак, это различие основано лишь на большей степени *объективности*.

Поэт схватывает свой предмет, от этого предмета идет его вдохновение, он занят им одним, он стремится лишь к тому, чтобы нарисовать его таким, каков он в природе или каким он должен был бы быть, если бы принадлежал природе; поэт не может прерваться, пока не закончит, а закончит он тогда, когда нанесет кистью последний мазок. Как он сам, так и слушатель: взоры слушателя прикованы к предмету, его интерес пробуждается лишь постепенно, но с каждым мгновением теплота чувств нарастает, пока не достигнет величайшей проникновенности. Слушателю кажется, что он живет лишь за пределами своего мира, лишь в самом предмете и только в последний момент он с удивлением замечает, что благодаря

предмету в нем самом произошли огромные перемены, что душа его потрясена в самих своих основаниях, что она возвышена, что она вся перестроена в духе идеала. Или, напротив, поэт чувствует, что его фантазия пребывает в беспокойном движении, эта подвижность пробуждает в нем вдохновение, он ищет, он находит для себя предмет, развивая его, он следует путями внутреннего настроения своей души, он не может кончить, он должен порождать все новый и новый материал, пока настроение души остается прежним, и не может продолжать, если настроение покинет его. Слушатель увлекается все тем же вдохновением, он одушевлен более подвижным и с самого начала более живым огнем, но движение его души уже не нарастает, оно следует многообразному, переменчивому танцу и, наконец, постепенно замирает, и конец всего пути не отмечен уже столь глубоким и неожиданным потрясением, потому что душа не возвращается к себе внезапно, — она все время лишь исходит из своих глубин, обращаясь в мир.

С высшей объективностью сопряжена и более строгая *закономерность*. Если поэт придерживается предмета, ему надлежит довершить дело, — тот же, кто следует лишь внутреннему настроению, доводит до конца игру. Последний детерминирован внутренней необходимостью как бы помимо воли и сознания, а первому приходится так упорядочивать и обрабатывать свой материал, как будто ему придали форму рассудок и холодное размышление. А этого может добиться лишь гений — тот самый, который породил этот материал, и, следовательно, та закономерность, с помощью которой воображение придает столь совершенную естественность и жизнеподобие своим идеалам, должна быть изначально укоренена в глубине воображения, чтобы все порождения ее сами собою, непосредственно несли на себе печать закономерности. Благодаря такой закономерности последний из двух поэтов будет глубже и благотворнее воздействовать на души и настрой ума, тогда как первый своей светлой и приятной легкостью сможет воздействовать на душевное настроение и темперамент людей.

XXVI. Влияние различия описательных поэм на выбор метра

Оба рода поэм столь отличны друг от друга, что каждая требует своей системы стихосложения, и настоящая граница проходит там, где в описательных поэмах употребляется *рифма*, а где — *греческий стих* *. Ибо рифма всегда придает колорит, который бросается в глаза и начинает преобладать, тогда как гекзаметр, как и всякий древний размер, набрасывает свое еще более богатое и блестящее красками покрывало на красоту самих форм, пользуясь им лишь как скромным их облачением.

XXVII. Какой из этих двух видов предпочитает наш поэт?

Об этом рассказывают нам созданные им образы

Не требует доказательств, какой именно характер присущ поэме „Герман и Доротея“.

Наш поэт всегда занят своим предметом, он идет вперед живо и с мощью, однако спокойно и ровно, и движение это ускоряется к концу поэмы. Читатель живет лишь событием, какое раскрывается перед ним; он, как и поэт, настроен ясно и ровно, однако к концу поэмы оказывается, что он глубоко тронут и проникся самыми возвышенными чувствами. Не внешние чувства, не его страсти беспокожны — занято чувство, в спокойном движении пребывает душа; читатель не столь ощущает быстрый огонь, какой обыкновенно разжигает фантазия, сколь сознает живую ясность, — душа освещена чистым и глубоким взглядом, проникающим в жизнь, в сущность человеческого. Воображение действует вольно — одно воображение с его творческой силой; оно занято одним предметом; это воздействие *пластическое*.

Убеждаешься в этом прежде всего, изучая средства, какими поэт впечатлевает в душе читателя своих героев. Выше, на одном из примеров, мы уже видели, что поэт не описывает их детально, а лишь проводит их общие очертания; однако даже и так он поступает лишь тогда, когда его побуждает к этому внешний повод. Ему известен иной, более глубоко проникающий в душу способ создания образов и придания им веса — это искусство выделять их на фоне, на каком они выступают, придавать воображению нужное настроение, чтобы воображение само создавало фигуры такими, какими задумал их поэт.

Вследствие этого контуры, не утрачивая определенности, всегда бескрайни и безграничны — они все растут в фантазии, и само настроение все возвышается; целое по ходу дела становится все более прочным, и кажется, что одна часть формирует другую, а не каждый раз сам поэт — любую из них; воздействие в целом тем поэтичнее и художественней, чем более осуществляется оно до конца воображением, действующим чисто и самодеятельно*.

XXXVIII. Безыскусная простота и естественная правда поэмы

Первое свойство, которое мы чаще всего замечали до сих пор в гётевской поэме, было ее чистой и законченной объективностью; прибавим к этому свойству еще и иное — безыскусную простоту и естественную правду.

Оба — в известном родстве между собой. Первое основано на чистом наблюдении и определенности пластического чувства, на

способности постигать природу в ее правде, во всей определенности ее форм, в прочности и взаимосвязи целого. Этому внешнему чувству должно соответствовать внутреннее. Первое наслаждается прежде всего закономерностью и реальностью внешней природы, а второе должно те же самые свойства обнаруживать в самой душе, в характере человека. Поэтому оно может останавливаться лишь на самых значительных, простых и существенных его формах.

Кто пребывает в таком настроении, тот будет в любом случае живописать одну природу — ее одну, — ее внутренний характер и ее внешний облик. И человека он предпочтет рассматривать с той стороны, с какой он всецело слит с природой, и особенно тогда, когда человек выступает как род, а не как индивид с своим решительно выраженным своеобразием. Простота материала станет свойством самого описания. Он никогда не отойдет от тона спокойного изображения; сочленя часть с частью, он будет стремиться лишь к одному — к построению целого. Его построение не уклонится от цели — не отстанет, не забежит вперед. Самое точное, самое энергичное выражение — всегда в его распоряжении: просто смелого или блестящего он и не будет искать.

Настоящая поэма в поразительной степени несет на себе отпечаток такой истины и простоты. Повсюду перед нашими глазами — лишь дело, самая суть, причем в своем правдивом, неприукрашенном обличье. Но еще более, нежели в языке и в интонации, такая простота обращает на себя внимание в характерах и мыслях персонажей.

Едва ли возможно подкрепить примером такое утверждение, в пользу которого говорит как бы все сразу. Но если пример необходим, вспомним об описании матери Германа. Из всего того, что называется в природе простым, более всего заслуживает такого наименования любовь матери к своему чаду. Самый естественный союз — ее начало; самые естественные отношения — ее продолжение, самая естественная забота о непосредственном благополучии и непосредственном довольстве — ее пределы: прекрасная и почтенная уже в самой действительности, она поэтическому воображению не предоставляет, пожалуй, ничего, что можно было бы отметить выдающейся чертой своеобразия. Лишь поэт, уверенный в своей силе, способный привлечь внимание к природе как к природе, смеет обратиться к описанию такого чувства, которое можно поднять над уровнем обыденного, которому можно придать поэтическую высоту, постигая чувство во всем его величии, в его правде. Ибо нет другого такого чувства, которое так пренебрегало бы поэтической обработкой, которое обещало бы успех лишь тогда, когда искусство достигнет предельной чистоты и высоты стиля.

Но каким же простым становится этот образ материнской нежности у нашего поэта! Он описывает не состояние бурной страсти и не мучительный страх грозящей потери и раздирающей душу боли; у него материнское сердце печется о счастье сына, но забота исходит не от опасности, а от трепетности любви. Поэт не показывает нам,

как тщательно ухаживает мать за дитятей, за лепечущим младенцем, — ситуация, обретающая особую прелесть благодаря нежной невинности, очарованию, благодаря тому, что младенец беспомощен и всецело зависит от своей матери. Нет, Гёте описывает мать взрослого сына, чувства и отношения, которые наделены простой правдивостью и глубокой проникновенностью и лишь благодаря этому могут стать важными для нашего сердца. В характере матери поэт соединил простоту прекрасной и чистой, однако незамысловатой натуры; он обрисовал ее как помощницу мужа, как деловитую хозяйку дома, усилил этот образ еще и чертами ребяческой наивности, присущими ей в молодости.

Однако сама эта дерзновенная решимость, с которой поэт схватывает свой предмет лишь в его исключительной естественности, возводит его на такую ступень возвышенной простоты, о которой мы едва ли имеем какое-либо представление. По крайней мере мы не помним у других поэтов такого описания матери, какое могло бы сравниться с этим по естественности и правде, величию и красоте. Сколь бы благородные и величественные характеры ни выступали в этой поэме, эта мать ни в чем не уступит им. Она добра, рассудительна, ее чувства нежны и тонки; нет в ней изъяна, нет в ее душе диссонанса. Характер ее всецело идеален, потому что нет в ней узости, и он всецело естественен, потому что вся сущность этого характера — лишь в том, что одинаково коренится в человеке и в человечестве.

Вот почему любовь такой матери не просто сильна и глубока, но она и нежна, а чувства ее тонки, и она может угадать по сбивчивым речам сына, что переживает он в глубине души, и потому столь терпимо относится она ко всякому образу мыслей, вот почему ее чувство, способное понять своеобразие любого человека, столь высоко и человечно. Только ощущение приводит ее к такой широте души, какая доступна обычно лишь философу, размышляющему с такой утонченностью, какую дает лишь с трудом приобретаемое знание людей, — все это целиком и полностью свойственно ей.

Так любит эта мать, и этой любви отвечает нежность чувств ее сына. И это описывает поэт: мы видим, как привязан сын к своей матери, как полагается он на нее, как верит ей, и поэт не боится посвящать нас в самые мельчайшие детали, например, рассказывать нам о том, что сын никогда не уходит из дому, не предупредив мать.

Подобные черточки не выглядят мелкими и повседневными, — это заслуга искусства, в этом его величие. Правда, простое как таковое принято называть великим. Но само собой оно не бывает великим, — необходим особый взгляд на вещи, необходима поэтическая обработка, чтобы представить простое как природу в ее истинности, реальности, взаимосвязи, присущих ей.

Итак, все дело в том, с чего мы начали: всюду — во внешнем и внутреннем, в чувственных формах и в происходящих в душе переменам, — всюду важно искать и изображать *природу*.

Наш поэт, занятый именно этим, ясно и открыто представляет нам человеческую душу, устроения человека и достигает при этом истинности и простоты, он с присущей одному ему проникновенностью приближает свой материал к нашему сердцу. Он проникает в самые заветные мысли и чувства, а открывая тайны нашего сердца и словно сопровождая нас в нашей обыденной жизни с ее ограниченным кругом, он всегда пребывает на положенной поэтической высоте. Редко кто из новейших поэтов так сочетает строгость истины и незамысловатую простоту природы с самым совершенным художественным вдохновением, и можно сказать, что ни один поэт не был столь *высокопоэтичен* в изображении столь *прозаического хода дел*.

Мы ведь как были, так и остаемся в привычном нам жизненном кругу, но вместе со всей этой жизнью возносимся на непривычную высоту: действительность вокруг едва ли в чем изменяется, но она и перестает быть действительностью; она — чистое произведение поэтической фантазии.

XXXIX. Соединение чистой объективности с простой истиной уподобляет поэму творениям древних

Совершенное представление человечества силой воображения не может быть успешным без помощи тех двух свойств, какие расстраивались нами до сих пор, — без спокойного пластического чувства и без известной приверженности к природе с ее простой истиной. Вот две опоры всякого признанного художника.

Счастливая предрасположенность к поэтическому творчеству, подлинное художественное чувство, которое, будучи истинным, передается и другим, — все это ни одному народу не было присуще в такой степени, как грекам. Оно и проявляется в цельности и соразмерности их творений. Кто видит перед собой Аполлона, кто читает Гомера, тот, как бы ни был настроен он до того, чувствует в себе порыв, стремление к ним; единство внутреннего существа души и единство творения перед нами как бы сливаются воедино и растут, распространяясь на всю природу, на которую мы и смотрим тогда иначе, растут, обращаясь в своего рода бесконечность.

Правда, непроглядную тайну искусства или, как хотелось бы сказать, технику, с помощью которой древние добивались подобного воздействия, не описать словами, однако она по большей части покоится на трех особенностях метода их художников:

1) на естественном сочленении всех частей в целое, где, как в самом органическом создании, каждая часть свободно и притом необходимо вытекает из других;

2) на величии и чистоте элементов, из которых составляли они свои формы; и, наконец,

3) на известной смелости их манеры, которая заключалась в том, что они никогда не писали мелочно и с опаской — для глаза, но, скорее, снаряжали фантазию вдохновением и силой, чтобы она сама довершала начатые контуры вещей.

У них было могучее воображение, и они сливались воедино с природой. И если у нас воображение нередко заявляет о себе бурным вдохновением и как бы нарочно раздуваемым пламенем, то у них фантазия роднилась со всеми теми качествами, которые помогают человеку идти по жизни спокойно и мудро, то есть с рассудком строго организованным, со взглядом, все безмятежно вбирающим в себя, замечательным равновесием склонностей и душевных сил.

Мы уже показали, что дух царит в нашей поэме более, чем в каком-либо ином поэтическом создании новых. Поэтому вполне достаточно того внимания, которое мы уделили отдельным частям поэмы, чтобы показать в общем смысле и единство замысла, и чистоту и полноту природы, выступающей во всех действующих характерах и в духе целого, а также и уверенность рисунка, когда одного эпитета нередко бывает довольно для того, чтобы завершить целую картину. Повсюду зримы, повсюду деятельны уверенная сила, основанная на спокойном наблюдении и продуманном, рассудительном упорядочении материала, и внутреннее тепло, которое проявляется лишь тогда, когда затронуте сердце.

Подобно Гомеру и древним, наш поэт воздействует лишь тем, что он на деле есть в своем творении, — своим образом и существом, спокойно и просто являясь перед зрителем, — не так, как новые поэты, особенно те, о которых речь шла выше, поэты скорее романтические, нежели эпические, которые воздействуют тем, что делают, а именно воспевают, описывают — в зримой сопряженности с самими собою.

XL. Отличие нашей поэмы от творений древних. — Недостаток чувственного богатства

Мы только что говорили об известном сходстве рассматриваемой гётевской поэмы с творениями древних; однако невозможно сколько-нибудь долго останавливаться на сходстве, не вспомнив о резком контрасте — между нашей поэмой и их произведениями. Конечно, нет сомнения в том, что поэма написана в высоком и подлинно античном стиле, однако как по обработке материала, так и по способу изображения эта поэма столь же несомненным образом несет на себе печать нашего времени. Скорее, уточняя свое сравнение, мы находим в поэме не просто подражание древним, но поразительно прекрасное соединение самых существенных достоинств древнего искусства с особенностями и тонкостями, внесенными новейшим временем.

Первое отличие состоит в способе изображения и в тоне изложения.

Древние почти всегда рисуют фигуры, движение, действие; все их искусство живо, многообразно, чувственно. В событиях, какие они описывают, всегда заключено нечто великое и блестящее; они увлекают и заставляют вдохновенно изумляться героизмом замыслов, жизненной важностью достижения успеха. Блеск, в каком являются они уже благодаря этому, еще умножается постоянным содействием неземных сил. Люди и боги — все смешались на одной и той же сцене, естественные события всякий миг нарушаются неожиданными чудесами, и, как если бы самого Олимпа, его величия и могущества, было мало, над людьми и над богами царит ужасная судьба, приговору которой должны равно повиноваться те и другие.

Лица, какие они рисуют, — в большинстве своем причастны к этому блеску, это не просто герои, стоящие между Олимпом и смертным миром. Их индивидуальность проявляется обычно лишь в их внешнем облике, в поступках, речах, — но не во внутренней форме их характеров и умонастроений, в отличие от героев произведений поэтов нового времени. Благодаря этому, например, в произведениях Гомера действует огромное множество фигур, но далеко не то же число различных, определенно очерченных характеров. Что касается последних, то древние либо рисуют такие характеры, которые существенно отличаются друг от друга, то есть передающие только основные черты человечества, или же, переходя к более тонким нюансам, различают персонажей только по их внешнему телосложению. Так, если рассматривать последовательно ряд созданных древними ваятелями идеальных форм, то можно заметить, что основные фигуры — Аполлон и Вакх, Венера и Диана (к ним можно присоединить еще Юпитера и Нептуна) — отличаются друг от друга наиболее существенными, приметными чертами характера, но если начать сравнивать фигуры, еще более близкие друг к другу, например статуи героев, то тут мы без труда можем узнать черты их лиц, но нам трудно будет сказать что-либо вполне определенное об их характерах. Да они и не преследуют этой цели: лишь внешние черты их облика должны воздействовать на наше воображение, а не выражение внутреннего — прямо на наш дух.

Кроме того, если бы древние и испытывали недостаток чувственного блеска и богатства, их языка хватило бы на то, чтобы с лихвою восполнить недостающее, — столь живописен их язык и все его периоды, столь пышен и изобилен поток его периодов, столь благозвучен их язык в своих ритмических пропорциях.

Все это, вместе взятое, дает искусству древних жизнь и полноту, чувственное, безыскусное величие. Все это придает ему столь яркий свет и блеск, что новое искусство не способно приблизиться к нему и, быть может, поэтому вознаграждает нас за то более богатым содержанием рассудка и чувства, большей тонкостью духовной индивидуальности и такими звучаниями, которые куда более непосредственно западают в душу.

Правда, нам известны новейшие поэты — во главе таковых вновь

встает Ариосто,— которые по многообразию фигур и подвижности действия вполне могли бы состязаться с древними. Однако у них живая чувственная реальность загорается от того огня, каким горят их чувства. Они скорее своевольные творцы разнообразного, изобилующего фигурами мира сказок, нежели верные живописатели богатой природы. Им недостает спокойного пластического чувства, их творениям недостает чистой объективности, внутренней непреложности форм.

Что касается преимуществ объективности, определенности и светлой отчетливости описаний, то наш поэт может поспорить с любым творцом — он выдержит такое сравнение. Но если поставить его рядом с тем, кого прежде всего напоминает его поэтический род и тон, то есть с Гомером, то окажется, что ему недостает гомеровского светлого блеска, недостает богатства жизни и движения, изливающихся непрерывным потоком.

Его дело — не воспевать богов и героев, но лишь людей, и сюжет его не таков, чтобы решалось в нем счастье народов, племен, судьба всего известного нам мира, не таков, чтобы небо и земля приняли участие в событиях и на самом Олимпе из-за них произошел раскол; все значительное в его материале, все несущее в себе перемены миру — это *события*, а возвышенное он может вложить в *умонастроения*. А между событиями и умонастроениями располагается действие с его развитием, и поэт с его искусством должен теперь стремиться заимствовать блеск у событий, величие — у настроений ума (чтобы действия развивались живо и объективно), запечатлевая все это в сюжете. Итак, свою силу он должен черпать не столько в мире, сколько в душе человека, а поскольку наше настроение получает благодаря этому совсем иную направленность, то и *судьба*, этот сверхчеловеческий предмет, без которого немислимо никакое поэтическое воздействие, выступает в измененном облике. У древних она наносит удары людям и богам, пребывая, незримая, в высоте, а здесь она скорее подобна силе, которая истекает изнутри человечества, из его неисповедимых глубин, внушая нам тем больший ужас, что мы чувствуем свое родство с нею.

Что касается лиц, представленных нашим поэтом, то тут, правда, царит определенность рисунка и многообразие фигур, но мало того, что поэт вынужден рядить каждый свой персонаж в скромное, непритязательное платье, он не может привести в движение и значительное число персонажей, а будучи вынужден отказаться от изобилия фигур, не может описывать и прекрасную последовательность характеров.

Наконец, язык его, правда, поэтичен и выразителен, а когда этого требует предмет, то величествен и смел, однако богатство и великолепие языка его старших собратьев все же остается ему чуждым.

Но если, в отличие от древних, он не может блистать чувственным великолепием, то все же в его силах достичь тем большего значения благодаря простоте истины; если он не может затрагивать

чувства мощною силой, то поэзия его тем теснее сплетается с нашими чувствами, и мы сейчас же увидим, как много выигрывает он благодаря этому преимуществу, восполняя утраченное, но сначала рассмотрим на примере еще один кажущийся изъян, поскольку одновременно выясняется, что этот изъян не может не выступать тем заметнее, чем выше достоинство поэмы.

ХЛІ. Недостаток чувственного богатства особенно бросается в глаза в использовании чудесного

Величайший чувственный блеск своей поэзии эпический поэт обретает благодаря введению чудесного элемента. Может ли что живее трогать наше воображение, нежели внезапные события, которые не произведены людьми, неожиданно врываются в их жизнь и именно в решающий момент благоприятствуют одному и губят другого. Правда, не раз мы напоминали о том, что вмешательство неземных сил затмевает самого героя, его силу. Тогда величие человека терпит некоторый урон, зато он облекается в блеск Олимпа, — очевидно, бывает везение, куда более благоприятное для того настроения, какое намерен создать поэт, нежели сами подлинные, внутренне оправданные заслуги.

И наш поэт тоже усвоил этот элемент чудесного. Правда, он не мог воспользоваться им для того, чтобы придать своему материалу величие и достоинство. Но нельзя было обойтись без чудес, потому что сам человек, описывать которого было делом поэта, не может жить без чуда — он испытывает в чувстве, производимом чудесами, такую потребность, что даже в кругу самой простой жизни оно встречается постоянно — лишь чаще или реже.

Жизнь была бы невыносимо скучна и монотонна, если бы события в ней просто вытекали из событий и если бы цепочку единообразия не прерывал неожиданный случай, какой нельзя предугадать заранее. Неожиданности, которые мы в зависимости от настроения нашей фантазии обращаем в чудеса, — в большей или меньшей степени, эти неожиданности возникают благодаря случаю, благодаря тому, что деятельность нашей души в деталях и мелочах чаще всего протекает за пределами нашего сознания, что наши мысли и чувства внезапно выливаются наружу, словно из каких-то неведомых глубин, благодаря тому, далее, что эти самые неосознанные представления словно заключили союз с событиями и придают нашим речам, действиям, выражению лица такие оттенки, которых мы сами не замечаем, но которые влекут за собой самые различные последствия, так что мы видим лишь стечение следствий, но не видим связи причин, — неожиданности как раз и возникают как совокупность всего перечисленного.

Наш поэт сумел воспользоваться всем этим, и если у других новых поэтов чудеса остаются холодными, ненатуральными, потому что сопряжены у них с силами сказочными и ребяческими, то

наш поэт черпал чудо в своей душе и, однако, сохранил неожиданность его воздействия. Правда, это чудо теряет в величии и блеске, какими обычно наделяет его фантазия, и лишь в принципе остается верным своему первоначальному понятию, — понятию *беспричинности*. Кроме того, к чудесам можно обращаться в не столь важных ситуациях и в моменты не столь значительных перипетий повествования. Большие и подлинно чудесные события, какие приводит наш поэт в своем рассказе, никак нельзя представить как чудеса — напротив, они выступают здесь как неизбежность, необходимость, судьба.

Выше мы коснулись двух мест, которые хорошо иллюстрируют сказанное: это перемена, какую пастор замечает в Германе, и неожиданное появление Доротеи у колодца. Есть и еще одно место, кстати, еще более тесно сплетенное с нитью повествования, — тот момент, когда Доротея, поскользнувшись на ступенях виноградника, видит в этом дурное предзнаменование, и оно сбывается: мы видим, в каком замешательстве оказываются все присутствующие в тот момент, когда Доротея входит в дом. И тут мы видим и переживаем то, что так часто чувствуем в обыденной жизни. Когда наши чувства до крайности напряжены, когда в определенный момент к своему завершению должны подойти важнейшие события — наши мысли смешиваются, и все, за что бы мы ни брались, падает у нас из рук. Мы ни с чем не можем справиться, а от этого накапливаются неблагоприятные для нас обстоятельства. Поскольку же все это замечаем и мы сами, у нас возникает мрачное настроение, наша душа предается мрачным предчувствиям, и, конечно же, они оправдываются. Гёте поступает точно так же: в самой жизни любые случайные мелочи сходятся так, что каждый отдельный шаг кажется вполне естественным, а вовсе не чудесным. Однако развитие этой мысли увело бы нас слишком далеко — каждый читатель, перечитав это место, сам живо почувствует все это.

Итак, древние искали чудес за пределами земного, на Олимпе, а наш поэт принужден переносить их в столь же неизведанные глубины души, — чтобы во всяком случае, изъять их из повседневного круга событий. Конечно, благодаря столь искусному пользованию чудом, благодаря легкости изображения, а также потому, что мы, естественно, начинаем сопоставлять такого рода предзнаменования с пророчествами Гомера и оракулами древних, чудо утрачивает торжественную серьезность, присущую действительности, а взамен обретает приятную и изящную легкость.

XLII. Отличие нашей поэмы от творений древних открывается в одном, присущем ей достоинстве

Кто читает поэму „Герман и Доротея“ в часы, когда сердце открыто поэту, его воздействию, тот, несомненно, признает, что в душе поэта царит иной дух, нежели в творениях древних. Он скажет, что

этот дух выше и лучше, — он иной, отличный, и столь же замечательный, только в своем роде, он не так мощно притягивает к себе, но глубже проникает в душу.

Если не воспринимать, как изъян, недостаток чувственного богатства, о чем мы говорили выше, то как раз по этому признаку можно понять, что сфера нашего поэта — совсем иная, чем у древних, что он — насколько вообще позволяет это призвание, призвание поэта, — исходит из иного и стремится к иному; благодаря этому и читатель переносится в иную сферу — не в ту, в какую переносят его древние.

Так это и есть на деле. Древние живописали природу в чувственном великолепии, а наш поэт изображает в основном внутреннюю жизнь человека. Оба предмета наделены своим величием, кроме того, первый из них больше отвечает сущности искусства, однако если и в последнем случае искусство обретает всю свою красоту, то второй предмет обладает для нас специфическим интересом, поскольку мы живем не столько созерцанием и действием, сколько мыслью и чувствами.

То, что постоянно занимает нашу душу — мысли и чувства, — все здесь выявлено, все развито чудесным, величественным образом. Тут спорят о важнейших обстоятельствах человеческой жизни, высказывая противоположные суждения; самое возвышенное, что можно помыслить о событиях нашего времени, выражено здесь просто и поэтически-совершенно; наш дух воспаряет на такую высоту мысли, какая — чистосердечно это признаем — была чужда древним. Дело ведь не в том, чтобы мы превосходили их основательностью нашей мудрости и лучше и прочнее связывали бы конечные результаты, а в том, что древние не умели развивать ее для себя — мысль, которая ведь тоже может разрабатываться вполне художественно, — а потому не способны были сообщить нашей душе интеллектуальный подъем, каким всегда сопровождается развитие мысли.

То же самое и с чувством. Сопровождая Германа и Доротею в их пути домой, как глубоко погружаемся мы в их чувства, проникаем в самые потаенные уголки их сердец, а благодаря этому какие глубины видим в нашей же собственной душе, во всем людском мире! Никто не сравнится с древними по истине и силе изображения чувств и страстей. Но поскольку они никогда не замыкались в этой сфере — одиноко, как мы, — поскольку они рисуют чувства скорее в целом и в их проявлениях, нежели в деталях и как таковые, то они и не переносят нас в то тонкое и чуткое, легко-ранимое настроение, какому мы не в силах противиться здесь.

Благодаря всему этому любой характер поднимается на ступеньку выше — не в том, что касается естественной силы и красоты, но в несколько большей тонкости душевного склада. Сколь бы безыскусно и подлинно антично ни была обрисована Доротея, древность не знает женского образа, равного ей по тонкости. Даже и в Германе есть такое, что не нашло бы понимания в героях древности; а если мать прекраснее и величественнее любого образа древ-

них или новых поэтов, то не оттого ли, что в нее вложено более утонченное и притом не менее чистое понятие женственности?

Мы далеки от утверждения, что современный характер как таковой обладает преимуществами перед древним, и тем более не утверждаем, что это так в отношении требований искусства. Однако, поскольку нам явлена если не лучшая и не более крепкая, то, пожалуй, высшая и более тонкая человеческая натура, если эта утонченность ждет нас на пути, предначертанном судьбою нашему дальнейшему культурному развитию, то современный характер заслуживает — если только он вполне удовлетворяет требованиям искусства (в этом здесь — самое главное) — своего особенного места и, не лишись он иных достоинств, по праву притязал бы даже и на лучшее место *.

XLIV. Богатство содержания поэмы для духа и чувства.

Своеобразное обращение с этим содержанием

Чем больше посвящаем мы свои интеллектуальные силы наблюдению и исследованию мира вне нас, чем более переносим мы на него природу нашего духа, тем больше умножаем мы наши связи с ним. Предметы вокруг нас являются нам лишь в соответствии с тем, что способен отличить в них наш рассудок; даже внешние чувства в нас нуждаются в его руководстве, а по мере расширения нашего понимания возрастает и область этих чувств, и на деле природа с каждым столетием обогащается индивидами все больше и больше; если человек некультурный во всем множестве объектов видит лишь однородную, нерасчлененную массу, то наделенный знаниями наблюдатель разглядит целый мир явлений в одной-единственной точке.

Такая деятельность наших духовных сил расширяет область чувственной природы и вместе с тем обогащает в нашей душе всю массу мыслей и чувств. И здесь — это зависит от нашей воли — мы должны беспрестанно умножать многообразие отношений, сложное деля на составные части, а отдельное включая во все новые и новые взаимосвязи. То, что представляется простым в природе, что представляется простым нашим чувствам, мы можем разлагать мысленно, и, однако, результат, полученный таким исключительно интеллектуальным путем, может в свою очередь возбуждать чувство, поскольку последнее без труда сопрягается как с чувственными, так и с нечувственными предметами. С чувством может прийти в связь воображение, и тогда мы с помощью того и другого можем творить особый мир, независимый от действительности и от внешних чувств, однако воздействующий на нас точно так же, как и сама действительность; этот мир — исключительно наше творение, однако он обладает для нас реальностью природы.

Такой метод нашего рассудка мы называем *утонченным*, и на

деле нет для него более подходящего наименования. Ибо этот метод действительно состоит в том, что простое делится, а грубое утончается; кроме того, поскольку все естественные потребности человека удовлетворяются и без того, то это, так сказать, для человеческой природы роскошь, но только такая роскошь, в которой мы не только нуждаемся в связи с самой организацией нашего духа, но без нее мы не в состоянии были бы исполнять высшие конечные цели человечества.

Подобная утонченность дана нам с самых первоначальных эпох развития человечества, вместе с самим понятием человечества; однако есть в этом такой момент, который заметно отличается от остальных и только он заслуживает по преимуществу именно такого наименования.

А именно: человек в своем поступательном движении может либо находиться в гармоническом союзе с природой, занимая свой дух наблюдением над ней, занимая воображение — ее формами, чувство — ее предметами, удовлетворение своих потребностей целиком и полностью обретая в ней, а может замыкаться в своей душе, изолировать свой разум, питать воображение материалом, черпаемым в себе самом, чувства — создаваемыми предметами. Естественно, наклонности человека нередко будут направлены при этом на нечто такое, в чем не сможет удовлетворить его природа, иной раз он даже устремится к цели, какой немислимо достичь в данных условиях. Такое обособление нашего существа, нашей натуры — естественное следствие возросшей деятельности духа: оставляя чувственные формы, дух начинает придерживаться чистой мысли. Иной же раз к такому обособлению подают повод случайные, не всегда благоприятные обстоятельства. Более мрачное, печальное настроение как бы невольно замыкает нас в себе; обе причины необходимо взаимодействуют, как только человечество перерастает пору своего раннего детства. В подобном же состоянии возникает тогда такое чувство и такое настроение, которое, в противоположность наивному, называют *сентиментальным*, — это и есть момент, в котором проявляются различие характера древних и характера новых.

Это размежевание не могло не оказать решительного влияния на искусство. Искусство приобрело современный характер, коль скоро над ним трудились индивиды, обладающие новой культурой. Кроме того, слишком тяжела была бы мысль о том, что цепочка многих богатых деяниями веков не оставила бы нам ничего, чем мы могли бы со своей стороны обогатить искусство.

Поэтому если в нашей поэме царит особый дух, в своем роде не менее замечательный, чем в созданиях древних, то это и есть та самая высшая и более тонкая сентиментальность, более богатое содержание рассудка и чувств, которые вдохновляют нас на свободный полет мысли и тоньше, нежнее касаются наших чувств. Это и есть современный характер, которым со всей определенностью отмечена наша поэма.

Изображение такого характера настолько свойственно нашему поэту, что мы узнаем его во всех созданиях. При этом наш поэт умеет пользоваться им с таким чудесным великолепием, прямо сближая его с характером древних, что может даже рискнуть наложить его печать на подлинно античный сюжет „Ифигении“, а мы не воспринимаем в ней помех и диссонансов. Такое изображение современного характера и явится сейчас предметом нашего обсуждения.

Когда утончаются мысли и восприятия, первыми страдают естественность истины и незамысловатость простоты. Однако именно эти свойства, очевидно, присущи Гёте. Как же сумел он тесно связать столь различное?

Утонченность, как мы именуем ее по праву, сама по себе не может противоречить природе,— все чисто человеческое естественно, а в самом существе человеческого укоренено то, что люди будут восходить от чисто чувственного взгляда на вещи к взгляду более высокому. Итак, если утонченное испытывает недостаток естественности, то это лишь означает, что мы не сразу замечаем в утонченном ту реальность, какая бросается нам в глаза в природе, что ему прямо не соответствует тот или иной чувственный предмет: ведь процесс утончения представляется скорее делом отдельных человеческих сил с их энергией, быть может, отдельных настроений, а не человеческой природы вообще,— и, наконец, это означает, что мы не сразу замечаем, насколько совпадает этот путь утончения со всеобщим путем человечества, следуя к одной с ним цели. Итак, тут самое главное — создать эту реальность, смотреть на утонченное как на природу, только природу более высокую, именно утонченную.

Выше (гл. XXXVIII) мы видели, что наш поэт наделен чувством чистого наблюдения и определенного слагания формы; мы установили, что такому внешнему чувству должно соответствовать сходное с ним внутреннее: первое воспринимает истину и твердость во внешней природе, второе — во внутреннем характере. Своеобразие нашего поэта и состоит в том, что первое чувство он соединяет с утонченностью, с высшей сентиментальностью, отсюда и тайна — он являет нам настоящий современный характер, и тем не менее нам не недостает в нем прекрасного впечатления античной простоты и истины.

Правда, в таком соединении на первый взгляд заключено нечто противоречивое. Первое названное выше чувство всегда ищет в природе значительные, отчетливо выступающие объемы, а в человеке — то, что принадлежит всему роду, то есть всему человечеству. А сентиментальное настроение, погружаясь в темные глубины чувства, остается в узких пределах самого малого, придерживаясь прежде всего того, что присуще отдельному человеку. Однако стоит только разработать это последнее достаточно капитально, и противоречие немедленно снимается — вот это и отличает нашего поэта от всех прочих.

Когда он раскрывает перед нами состояние души (собственно говоря, он только этим и занят), пусть даже души необыкновенной

и страстной, он всегда поступает так, словно описывает внешнюю природу: он всегда спокоен, всегда пластичен, он прочно сочленяет отдельные части целого. Если он представляет индивидуальность, то она порождается у него одновременно всеми силами души и сплетена со всеми мыслями, чувствами, проявлениями характера, а характер этот показан нам в связях с остальными, является нашему воображению во всем своем бытии, во всем своем существе так, что мы видим его не только в такой-то именно момент, не только именно в этом настроении, но и понимаем, каков он вообще, и можем следить за его развитием, можем оценить его успехи. Поэт не перестает исследовать, скрупулезно и полно, каким образом необычный, своеобразный характер, явившийся ему на путях поэтического вымысла, может длительно, непрестанно пребывать в человеческой душе, словно чистая истина, каким образом может соотноситься он со всеми прочими, чисто человеческими ощущениями, с другими своеобразными человеческими характерами, как перестраивается он благодаря связи с ними и в результате своего собственного естественного развития,— и он [поэт] не успокоится до тех пор, пока и мы не начнем ясно распознавать все это в его изображении. Поэтому наш поэт никогда и не останавливается на одном характере, но проецирует его на бесконечную плоскость, а сам помещает себя в ее центре, где невольно сойдется и соединится все, что имеет хотя бы какое-то отношение к человеческой сущности. Благодаря этому индивидуальность, сколь необычной ни была бы она сама по себе, становится в его описании подлинной природой: она не выступает ни как плод мгновенного напряжения силы воображения, преувеличенного чувства, ни как следствие взлета духа на такую высоту, на какой нельзя было бы удержаться,— индивидуальность выступает здесь как истинный результат чистого взаимодействия всех сил души.

И теперь дело только за тем, чтобы быть настроенным чисто человечески,— теперь все чрезвычайное и все самое простое одинаково войдут в один и тот же круг. Лишь для того, кому, как древним, недостает богатства и многообразия внутреннего опыта, известные направления чувств покажутся лежащими за пределами истины природы; тот же, кому, как обыкновенно нам, новым, недостает возвышенной простоты чувств, тот не сумеет придать общепонятное выражение редким феноменам человеческой природы. Поэтому нашего поэта — более, чем кого-либо,— следует назвать истинно человеческим: никто еще не обращался к нашему сердцу одновременно столь многообразно, возвышенно и необычно, и притом столь просто.

Кому нужны примеры такой своеобразности — этой исключительной принадлежности нашего поэта,— тот пусть вспомнит, с каким неведомым дотоле чувством рисовал он общение человека с природой, какой новый характер придал он любви, какую глубину и нежность — женственности, как понял он тайну сочетания в одном характере — характере Вертера — необычной силы и восприимчи-

восте чувства, редкой мечтательной любви, способной самое жизнь принести в жертву своим ощущениям, и самой верной, наивной привязанности к красоте природы, невинных радостей юного, незрелого возраста.

Ни у какого древнего поэта не найти этой высокой, тонкой, идеальной сентиментальности, ни у какого нового не найти — в сочетании с такими достоинствами — такой простоты природы, безыскусности истины, душевной проникновенности.

XLV. Своеобразие соединения в нашей поэме подлинно современного содержания с истинно античной формой

Мы развернули отдельные свойства поэмы и теперь стремимся дать себе отчет, каково ее воздействие. Мы установили, что по чистой объективности изображения она равна творениям древних, что в ней облечено такое богатое для духа и чувства содержание, какое только можно найти у новых поэтов, но что это содержание в свою очередь возводится здесь к простой и естественной истине древних. Нам остается соединить теперь эти отдельные составные части, и весь характер поэмы будет представлен.

Всякому эпическому и вообще описательному поэту следовало бы усваивать чисто художественную форму, которую столь подробно охарактеризовали мы в начале настоящей статьи; всякому поэту нового времени следовало бы стремиться к тому, чтобы питать наш ум и нашу душу такими идеями и чувствами, какие соответствуют нашей эпохе, накопленному нами опыту, достигнутому нами прогрессу. Наш поэт обладает тем и другим, но в этом всеобщем совершенстве заключен еще и его индивидуальный, отличающий его от других характер.

Прежде всего, во всем он — истинный художник. Его поэзия просто изображает, и мало этого, она совершенно эпична, она всегда остается близкой всеобщему понятию искусства, производящему свой предмет силой воображения; она близкородственна стилю пластического искусства и использует все специфические присущие ей преимущества движения и выразительности. Описываемые ею мысли и чувства — это лишь *душа* ее персонажей, они служат лишь для того, чтобы вдохнуть в них жизнь и язык.

Мы думаем, что просто видим этих персонажей, следим за ними, повсюду наблюдаем движение и очертания форм, однако трогает нас, по существу, их внутренняя духовность; наша грудь дышит полнее, чем тогда, когда читаем мы иного поэта, мы глубже проникаем внутрь своей же души, мы бываем настроены более чисто и человечно. А фигуры — это лишь как бы *тонкое тело* живой души, которая проглядывает сквозь них.

Благодаря тому что фигура и характер всегда столь соответствуют друг другу, нам начинает казаться, что фигура существует

ради характера, то, наоборот, характер — ради фигуры,— и мы всегда видим целого человека в его естественности и истинности. Наш поэт берет человека во всем его своеобразии, в высшем его выражении, и затем налагает на этот материал зримую печать искусства. Благодаря этому двойному методу материал уподобляется творениям древних — поэт возводит его к простой истине природы и сообщает ему чистую объективность изображения.

У кого в душе живы „Вертер“, „Гёц“ и эта поэма, тот почувствует правду сказанного. Но чтобы убедиться, что наш анализ творчества поэта привел не к нераскрытым чувствам, но к ясным и прочным результатам, необходимо резюмировать эти результаты в виде определенного и простого итога. Итак, если все специфически свойственное ему и производящее воздействие, в определении которого все читатели обычно сходятся между собой, разложить на элементы, то в основном замечаешь следующее:

1. Поэт не просто объективен и подлинно художествен, он в самом точном смысле этого слова пластический и эпический художник; все, что он рисует — фигуру и движение,— все чувственно наглядно, все — чистое порождение пластической фантазии.

2. Его материал, то, что, собственно говоря, изображается в его описаниях, что проглядывает сквозь них, словно сквозь тонкое покрывало, все, что созерцаем мы у него постоянно, но лишь в чувственном облике и живом движении,— все это внутренняя человечность, все это то множество мыслей и чувств, которые обретает душа, когда, наделенная полнотою сил, она объемлет самое себя и всю природу вокруг, человечество в его величайшем совершенстве и в его простейшей истине.

3. Высокое воздействие, производимое отчасти содержанием, вложенным в материал, отчасти поэтичностью изображения, еще более усиливается благодаря тому, что ради последнего исполняются лишь требования совершенной объективности и нигде не наносится излишний колорит,— в результате формы выступают с большей определенностью, чище, а сам материал производит тем более глубокое и трогательное впечатление, чем он проще, чем менее приукрашен.

Если, как показали мы в одном из разделов (см. гл. XL), наш поэт и теряет в чувственном богатстве по сравнению с творениями древних, то, с другой стороны, он вновь обретает все это в той же самой мере благодаря смелости, с которой он готов жертвовать решительно всем. Потому что, на первый взгляд, нет для искусства большей опасности, чем немудреная истина, легко опускающаяся до простой прозы, чем проникновенность чувства, которая слишком сильно затрагивает наши действительные чувства, чтобы подниматься отсюда до чувства идеального и художественного. Однако как раз здесь и сказывается сила поэта, справедливо полагающегося на себя. Не бурным и страстным подъемом настроения возносит он свой предмет над действительностью, но тем, что придает ему бесконечную широту, вмещающую в него все; не удаляясь от природы, он

удерживает свой предмет в сфере воображения, но лишь тем, что постигает его в природе, природе же поэт постигает в ее подлинном и изначальном облике.

XLVI. Отечественный характер нашего поэта в сравнении с древними и новыми поэтами других народов

Чтобы понять особенность своего положения, нам всегда необходимо учитывать два момента — древность и чужие страны. Да будет нам дозволено рассмотреть нашего поэта и с этих двух сторон.

При описании внутреннего человека, при описании души, наш поэт, как мы видели, не только останавливается по преимуществу на своих мыслях и чувствах, но и показывает нам все это так, что душа жаждет иного, высшего, чего не может дать нам непосредственная природа вокруг нас, чего-то идеального, выходящего за рамки внешней деятельности и внешней жизни. И вообще, он противопоставляет внутреннее пребывание в душе внешнему пребыванию в мире, а во внутреннем мире нередко преследует такие цели, которые чужды внешнему миру, и отнюдь не готов немедленно отказаться от всего того, чего невозможно достигнуть в этом мире. Этим он отличается от *древних*: древние представляют человека скорее окруженным природой, чем противопоставленным ей; в этом отношении он имеет много общего с большинством новых поэтов.

Однако внутренние движения ума и сердца способны на самые различные тоны, а среди них по преимуществу два служат своего рода крайностями — это тон высокий и громкий и тон тихий и кроткий. У мысли один облик, когда она рождается размышлением, не поддержанным внешним опытом, когда она, сформованная фантазией, выступает в виде блестящей сентенции, и другой — когда она сводит в простую истину обширный опыт, выводя из него основательную мудрость; одни движения у чувства, когда оно охвачено страстью, и другие — когда оно включило в свой круг все, что только могло, из самой природы, когда оно гармонически пронизано могучими, бесконечными, однако согласными чувствами и глубоко взволновано, но внешне сохраняет покой. Вот настроение, в каком Гёте всегда рисует чувства, и если он вызывает страсти, то они поднимаются, словно волны в бескрайнем океане, опираясь на такое настроение, и затихают, ложась на его ясную, беспредельную, подвижную поверхность. *Этим он отличается от новейших поэтов других наций*, которые живописуют не столько душу, сколько страсть, обладают не столько проникновенностью и теплотой, сколько бурным пламенем,— и благодаря этому он вновь приближается к прекрасному равновесию, к покойной гармонии древних.

Эта двойственная противоположность завершает его *немецкий характер*,— и об этом мы можем сказать с гордостью. Ибо очевид-

ная склонность к тому, чтобы безраздельно занимать дух и сердце, сильная тяга к истине и интимности, а не к внешнему, бросающемуся в глаза блеску и порыву страстей — вот основные отличительные черты нашей нации; эти черты, несомненно, присущи лучшим философским и поэтическим произведениям нашего народа, благодаря им, когда в дело вступает художественный гений, творения нашего народа обретают более глубокое содержание и внутреннюю твердость.

Но если этой поэме и всей новейшей поэзии мы приписываем нечто, отличающее ее от поэзии более древней, то это отнюдь не преимущество, которое затрагивало бы внутреннее существо искусства. Древние остаются мастерами — их никогда нельзя будет догнать по мастерству, тем более превзойти. Заслуги же, о которых говорим мы сейчас, заключаются в том, что поэт открыл путь, на котором все богатство мыслей и чувств, присущее новейшему времени, можно облекать в подлинно художественную форму, в такую форму, какую обнаруживаешь лишь у древних.

XLVII. Влияние своеобразия поэмы на ее целостное воздействие

Наш поэт стремится к одному: представлять — представлять силой воображения, представлять целого человека в его внешнем облике и в его внутренней сущности, — и такой задачи он достигает в поразительной степени. Он никогда не развлекает, не напрягает, не волнует нашу фантазию преднамеренно — у него дело истинное и настоящее, великое и безмерное: явить нам природу и человечество в том самом всецело поэтическом облике, в каком предстают они перед ним. Это дело требует всех его сил, всей энергии.

Благодаря этому он прежде всего и главным образом пробуждает наше пластическое чувство — мы повсюду ищем и находим прочность, порядок, взаимосвязь, мы творим со всем гармоничную, насквозь органически упорядоченную природу, внешние формы перед нашими глазами всегда совершенно наглядны, внутренние — глубоко истинны, всякий раз наше воображение и наши чувства, вдохновляясь, возносятся ввысь с твердой, хорошо подготовленной почвой. Нигде нет сумятицы, чрезмерного напряжения — все ясно и естественно в совершенстве.

Но и более того. Главное воздействие художественного произведения основано на взаимосвязи его облика и его характера. В этой связи и заключено невыразимое и неизъяснимое, ибо связь зависит от простейшей мысли, которую художник непостижимым образом запечатлевает в своем творении, а притом переносит ее и на нас. Благодаря тому, что в нашей поэме внешние и внутренние формы тесно согласованы друг с другом, что они взаимно облекают и дополняют друг друга, весь характер поэмы, в самом чистом и полном смысле слова — с большей чистотой, нежели у всех современных,

с большей полнотой, нежели у всех древних поэтов,— составляют *простота, истина, природа*. Человеческая душа предстает в поэме в известной *обнаженности*, а потому воздействует на нас более *проникновенно и трогательно*, чем у какого-либо иного поэта.

XLVIII. Итоги. Всеобщий характер, присущий нашему поэту

Теперь мы подошли к цели, к какой стремились во всех своих рассуждениях,— мы описали характер гётевской поэмы и указали место, занимаемое ею как в искусстве вообще, так и сопоставительно с другими поэмами такого же рода. Бросим теперь беглый взгляд на пройденный нами путь.

Два достоинства придают благодаря своей глубокой взаимосвязанности своеобразие манере нашего поэта:

1) *простота*, с которой поэт останавливается лишь на всем том, что необходимо и непременно для искусства, без чего оно не будет заслуживать такого наименования;

2) *сила воздействия*, достигаемая тем, что поэт вкладывает в произведение столько содержания и души, сколько можно представить в нем чувственно.

Поэт единственно и исключительно стремится к тому, чтобы превратить свой материал в чистое создание поэтического, именно пластического воображения. Отсюда прочное сочленение всех частей в целое, величие и простота характерных черт, объективность манеры, лишь представляющей свой предмет, и именно потому отсутствие чуждых красот, возвышения духа, которое не производилось бы непосредственно сутью дела, чрезмерного колорита.

Он всегда выбирает такой материал, в котором заключалось бы преобладающее, значительное содержание для внутреннего чувства, но сохранялась бы и полнейшая значимость для чувств внешних. Он живописует душу людей и природы, но всегда живо и пластично. Отсюда сентиментальность, скорее мягкий, чем блестящий свет его картин, отсюда более сильное воздействие их на ум и сердце.

Благодаря тому и другому, благодаря тому, что он берет природу там, где взаимосвязь ее всего прочнее, родство всех ее элементов всего очевиднее,— в ее духовном облике,— и обращается с ней последовательно объективно, он в подчеркнутом смысле слова становится пластическим художником, в подчеркнутом смысле слова стремится к определенности очертаний, единству целого и соразмерности частей. Ибо все свои силы он тратит исключительно на то, чтобы воздвигнуть формы великого идеала,— идеала, подобного духу человечества и природы (дух этот в сущности один и тот же).

От образцов древности его отличает меньшая содержательность для чувств и фантазии, но большее многообразие и утонченность для духа и восприятия. Однако если это так в большей или меньшей степени у всех новых поэтов, то Гёте отличает от них в свою очередь

то, что благодаря объективности, гармонии и цельности, возвещающих о себе читателю настроением покоя, он несравненно ближе, чем кто-либо из новых поэтов, приближается к древним.

Та же сторона его манеры, благодаря которой он подвержен заблуждениям и, быть может, действительно впадает иногда в ошибки,— это *простота* его средств. Поэтому ему можно было бы иногда предъявить упрек в недостаточном разнообразии движения и действия, в недостаточном многообразии фигур, полноты и переменчивости слога и благозвучия,— говоря одним словом, все это недостаток чувственного *богатства*, однако и здесь для него характерно то, что этот недостаток никогда не становится недостатком чувственной *индивидуальности*, потому что определенность контуров и последовательность движения не испытывают у него ни малейшего ушерба.

Если чистотой форм и душевностью выражения он заметно сходен с Рафаэлем, то напоминает об этом художнике также и его колорит, иной раз кажущийся бедным.

XLIX. Оправдание избранной для характеристики нашего поэта последовательности

Чтобы кратко и определенно (таков был наш замысел) обрисовать характер нашего поэта и вместе с тем оправдать нашу характеристику, мы считали необходимым идти долгим путем — теперь он весь пройден. Поскольку же нам надлежало обсудить прежде всего две вещи — простое художественное чувство и высокое интеллектуальное и сентиментальное содержание поэмы,— то, естественно, все наше прилежание мы, при должной обстоятельности, обратили на первый пункт как наиболее существенный.

При этом мы исходили из существа искусства вообще, а поскольку оно заключается в решении одной задачи — задачи претворения действительности в образ,— то мы обратились к тому поэтическому методу, который *решительно принуждает воображение породить вольно и свободно такой образ, все формы которого вполне определены*.

Для этой нашей цели мы постепенно сузили круг возможностей, удовлетворяющих такому требованию, и положили:

1) подлинно *художественный* стиль: он на деле пробуждает творческую деятельность воображения, стремится к идеальности и целостности и противоположен ложному стилю, который либо воздействует не только на воображение, либо воздействует на него недостаточно сильно, трудясь ради одного — нравиться и блистать (гл. III—XII);

2) *поэтический* стиль: он весь устремлен к облику и движению, иными словами, к объективности, тесно примыкает к изобразительным искусствам в их существе и противоположен стилю, который в большей мере заявляет об исключительных достоинствах

риторических искусств (непосредственное изображение мысли и ощущения) (гл. XIII—XIX);

3) *эпический* стиль: он как бы оставляет читателя наедине с предметом, заставляет его позабыть о поэте и не столько живописует образ, предлагая его фантазии слушателя, сколько заставляет сам образ исходить из его фантазии; он достигает высшей степени объективности и противоположен такому стилю, который, прибегая к иному методу, настраивает фантазию не столько на определенный образ, сколько на образы вообще, и не только и живо, но в согласии с закономерностью (гл. XX—XXXVII).

Показав на примере каждого из перечисленных стилей, какой из них свойствен нашей поэме, и показав сходство его с творениями древних как по простоте, так и по истинности изложения (гл. XXXVIII, XXXIX), мы смогли перейти к характеру материала и говорить о том своеобразии, благодаря которому поэма в свою очередь отличается от созданий древних (гл. XI—XLVII), завершив тем самым характеристику индивидуального характера поэмы.

L. Беглый взгляд на соотношение между характером нашего поэта вообще и особенным характером поэмы

Может показаться, что мы слишком много занимались самим художником, а не его новым произведением. Если подобный упрек основателен, он лишь доказывает, сколь чисто отражена индивидуальность поэта в этом его произведении. Это так на деле. Ни одно из поэтических созданий Гёте не представляет столь зримо самое суть его поэтического характера, хотя некоторые его стороны в других произведениях выступают более сильно и ярко — именно потому, что это более ранние произведения. Но чтобы проступило целое, оно должно было складываться и очищаться в течение времени благодаря многообразному упражнению сил, — настроение, способное произвести подобное творение, должно было подготавливаться опытом и зрелостью. Очень ясно начинаешь это чувствовать, когда пытаешься хотя бы как-то представить себе такое настроение души.

Если жил когда-либо на земле человек, наделенный от природы открытым взором, чтобы чисто и ясно и как бы взглядом естествоиспытателя вобрать в себя все, что окружает его, человек, который во всех предметах мысли и чувства ценил лишь правду и основательность содержания и не терпел ни созданий искусства, не упорядоченных рассудительно и планомерно, ни рассуждений, не основанных на подвергнутых строгой проверке наблюдениях, ни действий, не опирающихся на последовательность принципов, и если теперь этот человек по самому своему существу призван стать поэтом и весь его характер до конца слит с таким его предназначением, так что все создаваемое им зримо несет на себе печать его принципов и

умонастроений, если этот человек прожил уже ряд лет и, близкий классическому духу древних, пронизанный духом лучших новейших поэтов, в то же время сложился в такую индивидуальность, какая и появиться на свет могла лишь в своей нации и в свою эпоху, так что все чужое, что усваивает он себе, перестраивается в согласии с этим индивидуальным сложением его духа, а он может являть себя нам лишь на своем родном языке и непереволим ни на какой иной, главным образом именно вследствие своей самобытности,— вот если такому человеку удастся свести в единство поэтической идеи свой опыт человеческой жизни и человеческого счастья, если удастся ему во всем совершенстве исполнить эту идею,— то возникнет поэма, подобная настоящей, и ничего иного не может и не должно возникнуть. Ведь описанный характер столь нерасторжимо целен, что невозможно выделить в нем какую-либо отдельную черту — столь тесно сопряжена в нем простота древних с поступательным развитием нашего времени, и все это так пронизано единым духом, вобравшим в себя с чистотой и подлинностью все основные формы человеческого существования (среди всех индивидуальных форм реальных отношений), что все они в свою очередь выводимы из него как из единого центра.

И создание, подобное рассматриваемой нами поэме, действительно могло быть порождено лишь зрелостью богатой опытом жизни: чтобы описывать так, нужно увидеть все собственными глазами. При этом надо сказать, что особенное восхищение вызывает в нас соединяющаяся с такой зрелостью юношеская свежесть фантазии, живость изображения, нежность и очарование при описании чувств.

II. Двойкая оценка произведения искусства

Критическое обсуждение, какому должно подвергать произведение искусства, двойка, и сейчас мы закончили одну его сторону,— остается другая.

Всякое произведение искусства, как и создавшего его художника, можно рассматривать как самостоятельный индивид. Это живое целое. Оно имеет внутреннюю силу и жизненный принцип, благодаря которому оно воздействует определенным образом. Так рассматривали мы поэму Гёте „Герман и Доротея“ до сих пор. Не рассуждая об отдельных частях поэмы, не приспособлявая ее к установленным заранее правилам, мы просто описывали производимое ею воздействие, пытаясь выяснить его причины, и благодаря этому охарактеризовали ее природу лишь в общем, по степени и роду.

Однако, помимо того, что всякое поэтическое произведение наделено внутренней природой, оно по своему внешнему строению принадлежит к особому роду художественных произведений, а потому обязано удовлетворять особым требованиям и следовать особым правилам. Как наша поэма соотносится с этими правилами, нам и остается теперь рассмотреть. Ибо внутренний характер и

внешняя правильность лишь в совокупности определяют качество произведения.

Первый вид нашего критического рассмотрения в применении к художественным творениям в подчеркнутом смысле слова можно назвать *эстетическим* — поскольку здесь определяются подлинная художественность предмета, его подлинно художественная ценность, его отношение к идеалу, — тогда как второй вид можно назвать *техническим* — поскольку этот подход требует от произведения не приближения к идеалу, недостижимому в полной мере, но следования правилам и законам, какие должны исполняться строго и полно.

Оба вида редко соединяют между собой, и это причина известной эстетической односторонности. Механические умы ясно понимают, что такое правило, но пренебрегают оригинальностью и силой первоизданного содержания, а умы горячие и беспорядочные постоянно отказывают в должном уважении технической стороне дела.

III. Эпическая поэзия. Неопределенность ее обычного понимания

Произведение „Герман и Доротея“ принадлежит к роду эпических поэм, и это столь очевидно, что молча предполагалось во всех предшествующих наших рассуждениях. Никто не станет отрицать, что в поэме представлено действие и что представлено оно от начала до конца. Однако от эпической поэмы до настоящей эпопеи, пожалуй, так же далеко, как от трагической поэзии до настоящей трагедии, а потому мы лишь теперь подходим к более тщательному исследованию вопроса о том, насколько наша поэма заслуживает более гордого наименования эпопеи?

Эстетическую критику на деле осложняет недостаток полной — не общезначимой (это уж было бы слишком!), но хотя бы последовательной и согласующейся со справедливыми требованиями подлинного художественного чувства эстетики, на законы которой можно было бы ссылаться, не тратя лишних слов. Пока же такой эстетики нет, пребываешь в затруднительном положении — приходится прерывать критическое обсуждение отдельного произведения и заниматься дедукцией теоретических принципов; вот и мы должны посвятить предварительное рассуждение *теории эпической поэмы*. Но чтобы это отступление не слишком далеко уведило нас от нашего предмета, мы удовольствуемся тем, что, определив понятие эпической поэмы, выведем из него самые главные ее, первым делом вытекающие из этого определения законы.

Пожалуй, нет такого поэтического вида, когда столь бы смущала необходимость дать удовлетворительное определение ему, как эпос. Многообразные жанры повествовательных и описательных стихотворений родственны между собой и не отличаются друг от друга сколько-нибудь существенными признаками, так что трудно

определить, что именно характерно для настоящей эпопеи. Трудность еще возрастает, поскольку наличные образцы эпического рода, строго говоря, имеют мало общего между собой и сходятся разве только в том, что все они повествуют о действиях, различаясь уже тем, что не во всех представлено одно-единственное действие. Поэтому испокон века к определению примешивали все новые и новые понятия, по большей части не столь уж существенные, а именно: содействие богов, применение чудесного, необходимость наличия героических персонажей, весьма неопределенные представления о значительности и важности действия, — вследствие чего недостаточно подчеркивали именно то, в чем состоит сущность эпопеи и откуда вытекают важнейшие законы этого поэтического вида.

III. Метод выведения различных поэтических видов

Однако такой неопределенности нельзя избежать, если следовать общепринятым путем. Критики всегда останавливались лишь на самом объекте, на созданном поэтом, мы же уже выше замечали и доказали на известных примерах, что в эстетических исследованиях необходимо прежде всего обращаться к настроению духа и природе воображения.

Особенно же не следовало бы, разбирая различные поэтические жанры или поэтические натуры, довольствоваться подтверждением своих суждений, ссылаясь на реально существующие образцы. Ведь сами образцы надлежало бы сначала проверить и оценить в соответствии с этими суждениями. *Сами образцы* могут претендовать на правомерность *своего* существования в качестве особых жанров, определяемых так-то и так-то, лишь постольку, поскольку сами они выводимы из природы воображения и различных возможностей эстетического воздействия. Ибо лишь постольку, поскольку в согласии с фантазией, с ее устроенностью имеет место существенно отличное от иных поэтическое настроение, ей может соответствовать особый жанр, будь то отдельный поэтический вид или особая индивидуальность поэта — в зависимости от того, требует ли это настроение особого для себя предмета или же особой, субъективно-отличной разработки прежнего предмета.

Вот таков источник, к которому необходимо постоянно обращаться вновь и вновь. Основание для разделения всех существенно различных поэтических видов — это лишь сама природа поэтического воображения и общего состояния души, какое рождается воображением в каждом отдельном поэтическом жанре. Исследование этих двух моментов — каждого как особо, так и во взаимосвязи с другим — определяет характер любого отдельного поэтического вида, [то есть] *субъективное настроение*, из которого он происходит и который в свою очередь вновь порождает, а из такого субъективного настроения в свою очередь может быть выведена *объективная дефиниция* жанра.

LIV. Всеобщий характер эпопеи.

Из какого настроения души проистекает потребность в эпической поэзии?

Если применить только что описанный метод к нашему предмету, то основными составными частями воздействия, производимого эпическим поэтом, будут следующие: живая чувственная деятельность, захватывающий интерес в развитии представляемых событий, бескорыстие покоя и широта взгляда на природу и на человечество в его взаимосвязи.

Отсюда и требование значительного и примечательного действия, которое приводит в движение массу индивидов, отсюда и героические личности, и участие высших существ, благодаря чему воображению придается необходимая энергия, отсюда известный объем целого, в рамках которого мы проходим мимо множества объектов. Итак, характерное свойство эпической поэзии, как представляется, заключено в том, что она максимально чувственным и живым образом представляет нам свой предмет, что она благодаря этому открывает перед нашим взором широкую, пространную перспективу и помещает нас на такой высоте над этим предметом, чтобы мы были лишь участливыми наблюдателями, однако продолжали смотреть на него как на нечто чуждое, совершающееся вне нас.

Все это и сходится воедино, когда наша душа пребывает в состоянии спокойного, но живого созерцания, и именно такое состояние ищет для себя удовлетворения в эпической поэме, а потому мы можем с полным правом надеяться, что более тщательное исследование этого состояния приблизит нас к цели.

LV. Состояние всеобщего созерцания в противоположении его состоянию определенного ощущения

Очевидно, в человеческой душе пребывают два состояния, предельно расходящихся между собой как в отношении предмета, так и в отношении изменений, какие происходят в нас благодаря им. Все прочие состояния, в каких способна находиться наша душа, охватываются этими двумя, словно двумя большими классами явлений. Эти два состояния мы назовем *всеобщим созерцанием* и *определенным ощущением*.

В одном состоянии царит объект, в другом — субъект. Первое, взятое во всем своем совершенстве, возникает благодаря тому, что наши внешние чувства соединяются с нашей интеллектуальной способностью, которая согласуется с ними в том, что она с совершенной ясностью и отчетливостью отделяет себя от предмета и смотрит на него лишь в связи с ним же самим, без какого бы то ни было корыстного интереса, касающегося его использования или

наслаждения этим предметом. Второе же состояние проистекает из совместной деятельности чувств и желаний, и тогда любые объекты сопрягаются с потребностью или склонностью субъекта. Первое состояние — если это касается предмета — отличается объемом и целостностью, если же это касается внутреннего настроения — покоем; находящийся в таком состоянии, ограничивая одни объекты другими, стремится выделить в их множестве индивидуальную форму каждого, а в их соединениях отыскивает взаимосвязь, в их же соотношениях — взаимодействие, в их сущности и бытии — действительность, а в прочности их связей — по крайней мере ограниченную необходимость. Напротив, ощущение, всегда исходящее из определенной связи цели с желанием, избегает ограничений, знает только один свой предмет, которому должны уступать все прочие, стремится к одностороннему удовлетворению, живет в мире возможностей, а ищет одно — только действительность.

В состоянии созерцания само собой заложено нечто всеобщее и идеальное, поскольку в нем деятельна главным образом наша интеллектуальная природа, которая и не может устремляться к иной цели. Ощущение же даже и тогда, когда оно совершенно очищено практическим разумом или силой воображения, продолжает хранить по меньшей мере форму своего изначального характера, потому что, как бы его ни преобразовали, сопряженность с субъектом остается в нем по-прежнему.

Поэтому, если искусство намерено поэтически воспользоваться этими двумя состояниями, то ему необходимо устранить в первом из них прозаичность деталей, вытекающих из наблюдения, вполне лишенных фантазии, и сухость интеллектуального взгляда, а во втором — своекорыстную соотношенность с реальностью обладания и возникающее вследствие этого ограничение самого предмета. В первое состояние искусству надлежит вдохнуть живую чувственность, а во второе — идеальную легкорылость фантазии.

LVI. Особая характеристика всеобщего созерцательного состояния

Если мы отличаем это состояние от того всеобщего, в котором нас занимает знание окружающей нас природы, то происходит это потому, что двумя принадлежащими исключительно ему признаками оно отличается от всех сходных с ним состояний. Этими признаками являются: ровная настроенность души; благодаря этому состоянию, руководимому лишь всеобщим интересом объекта, равномерно распределяется наблюдение и внимание между всеми точками, широтой взгляда, который прослеживает каждый предмет и всю совокупность предметов, постепенно и последовательно достигая самых крайних пределов и охватывая целое. Именно этим данное состояние отличается и от ситуации исследования, когда мы устремляемся к отдельной, определенной точке и скорее внедряемся в глу-

бину ее, нежели растекаемся по поверхности, а также от такого состояния, когда мы изучаем природу лишь в какой-то ее части, направляемые случаем или определенной целью.

Во всех модификациях подобных состояний наши внешние чувства настроены различным образом, и эти различия схватывает уже обычное языковое употребление с его многозначительными выражениями. Так, если человек любит жить среди природы, обзревает ее ясным, светлым и живым взором, внимателен к ее формам, к ее единству и гармонии, то мы припишем ему *живость чувства*; кропотливому исследователю, который продуманно и методично предначертал свой путь и систематически заполняет пробелы в наших знаниях, мы припишем *острый и пронизательный взгляд*; тому же, наконец, кто любит чувственно наслаждаться, хотя бы в воображении, пользуясь представлениями, или же с радостью предается игре, движению, многообразию — все это непременные спутники приведенной в волнение чувственности, — мы припишем *пылкость чувств*, думая при этом не столько о форме, сколько о материи чувственных явлений, или о воздействии чувственной деятельности на ощущение и восприятие вообще. И на деле у таких натур, характеру которых можно приписать то или иное состояние, уже в самом выражении глаз заметны их особенности, весьма аналогичные данным нами описаниям, в чем легко сможет убедиться всякий, кто когда-либо сравнивал спокойный, ясный, по-мужски твердый, критический взгляд наблюдателя с острым, пронизательным, беспокойным взглядом исследователя и с пылким, горящим, подвижным взором чувственного человека.

Итак, *всеобщность и неподвзятость* — вот две приметы, отличающие созерцательное состояние от других, сходных с ним. Благодаря этим двум свойствам человек восходит к тому высшему и лучшему состоянию, в каком только может находиться. Ибо коль скоро наша деятельность в таком состоянии не сопрягается ни с потребностью, ни с каким-либо частным намерением, то она и свободна от всякого ограничения, какое могло бы быть заключено непосредственно в ней, — это приложение к целостной природе всех тех наших сил, которые способны быть объективными, способны представлять внешние предметы.

Если определить это состояние таким образом, то оно может включать в себя лишь два предмета — мир физический и мир моральный, природу и человечество, и, примененное к тому и к другому, оно произведет на свет две науки — описание природы и историю. При этом историографу нужно очень четко отличать и от исследователя истории, и от простого повествователя: историограф, как мы и отмечали выше, описывая это состояние, должен иметь обзор всего своего материала, обзор целого, должен разыскивать все связи в своем материале, уметь обзирать его неподвзятю и с пониманием, с чутким вниманием относиться ко всему многообразию человеческих чувств и положений, чтобы разгадать своеобразие каждого, кого бы ни увидел он пред собою.

LVII. Связь состояния всеобщего созерцания с деятельностью поэтического воображения.

Возникновение эпической поэмы

Обретая в душе человека такое, существенно отличное от других, определенное состояние, поэтически настроенное воображение не может не попытаться создать для него соответствующую форму в своей сфере — такая попытка и приводит к возникновению *эпической поэмы*. Нам же довольно только представить, что может сделать искусство из такого состояния, если овладеет им целиком и полностью, достаточно только предсказать, — и перед нами — все существенные составные части эпопеи.

Объективность, непредвзятость и обширность взгляда — вот главные признаки созерцательного состояния души. Однако пока она имеет дело с реальными предметами, ей недостает двух вещей; из них одна относится к сфере интеллектуальности, другая — к сфере чувственности человека. Одна заключается в том, что она никогда не может обозреть все стороны объекта, не может разysкать все его связи и никогда не может рассмотреть его как самодовлеющее и ни от чего не зависящее целое; другая заключается в том, что наблюдение всегда оставляет пробелы, которые заполняет своими умозаключениями рассудок, а взаимосвязь целого основана на понятии, но не на чувственном единстве.

Поэтическое воображение сразу же и преодолевает оба этих недостатка, потому что, отнимая предмет и у действительности и у понятия, обращает его в идеальное целое. Тут уж не остается ничего, что не было бы всецело чувственно, ничего, что бы как часть целого не находилось во взаимосвязи со всем остальным, — и таким образом, в поэтическом воображении созерцательное настроение души находит свое полное и совершенное удовлетворение.

Высшая объективность требует предельно живой чувственности, а всеобщность обзора немыслима до тех пор, пока не поднимешься на определенную высоту над своим предметом, как бы овладевая им с высоты. Отсюда две главные составные части понятия эпопеи — *действие и повествование*. Жизнь и движение — там, где есть действие, благодаря же повествованию, благодаря тому, что тот, на кого воздействуют, — слушатель, а не зритель, предмет непосредственно представляется внешнему чувству и рассудку, а внутреннее ощущение может затронуть лишь после того, как пройдет через них.

Понятие *действия* столь существенно для эпической поэмы, что мы еще ненадолго задержимся на нем. Оно, с одной стороны, противопоставлено понятию простого *состояния*, с другой же, — понятию *события*. В простом описании предмета всегда остается какая-то холодность и однообразность, — сам материал лишен движения и может начать двигаться лишь благодаря соответствующему обращению с ним. Однако просто движения тоже мало. Там, где требуются высшая жизнь и высшая чувственность, тут надо видеть деятель-

ной определенную силу, тут должно наличествовать стремление к определенной цели, стремление, которое с самого начала заставляет нас тревожиться за исход, благополучный или неблагополучный, всего целого. Вот чего недостает понятию события. Уже само это безличное выражение — „событие“ — непосредственно возвещает нам о том, что совершается не по какой-то причине, по крайней мере не по известной нам причине, но скорее производится случаем, совпадением множества обстоятельств, которые в отдельности не были бы замечены нами. Конечно же, рассказ о таком происшествии не может обладать жизненностью и чувственным движением, присущими рассказу о реальном действии, а потому и не так, как тот, способен принять поэтическое облачение. Чтобы произвести единство, неотъемлемое от искусства, в самом материале должна заключаться известная предрасположенность к образованию замкнутого целого, в нем по крайней мере должна содержаться какая-то определенная сила, направлению которой последует и сам поэт.

Оттого-то и получается, что роман, непрестанно представляющий события и, несомненно, сходный с эпической поэмой по объему и по намерению связать все свои части в целое, тем не менее столь существенно отличается от нее, что, в то время как эпопея занимает место на высшей ступени поэзии, о романе все еще нельзя сказать, может ли он называться настоящей поэзией и чистым произведением искусства. По крайней мере можно воздержаться от того, чтобы признать за ним такое достоинство, справедливо рассудив, что он несовместим с существенным условием поэзии — ритмическим ее облачением — и что роман в стихах был бы пошлым продуктом.

Итак, вообще немислимо не угадать понятие эпопеи — разве что отрицать в ней необходимость действия и вместо этого подставлять в нее события.

Действию же и повествованию придают индивидуальный облик и отличают эпопею от всех прочих жанров повествовательных стихотворений природа *созерцательного настроения души и поэтического воображения*, а также то *взаимодействие*, в которое вступают при этом настроение и воображение. Вот три момента, которые еще предстоит нам исследовать каждый в отдельности.

LVIII. Связь состояния всеобщей созерцательности

Чтобы не нарушить внутреннюю гармонию души диссонансами, художник должен обращаться с предметом исключительно в соответствии с тем настроением, которое он, впрочем, и намерен воспроизвести. А таким настроением для эпической поэмы является состояние ясного, покойного, но чувственного наблюдения. Чем более оно чувственно (а от этого зависит его художественная ценность), тем больше оно должно стремиться к жизни, движению и действию. Однако поскольку оно желает видеть деятельность за пределами себя, то и не может требовать никакой иной, кроме той, какая, пребывая в себе, одновременно могла бы пребывать и рядом,

не разрушая себя. Итак, это должно быть деятельность, либо одерживающая победу над препятствиями, встающими на ее пути, либо же терпящая поражение, но так, что это не препятствует ей во всех ее начинаниях, а, быть может, вынуждает ее избрать иное направление. Борьба человека с судьбой, какую являет эпический поэт, обязана завершиться победой или миром, примирением, но не гибелью и отчаянием. Потому что в ином случае это упразднит *покой* — первое условие чисто созерцательного состояния — в душе поселится участливость, мы спустимся с высот, на каких должны пребывать, и смеемся с действующими лицами.

Однако если эпический поэт должен опасаться того, что может нечаянно разрушить покой, то еще более он должен остерегаться того, что вообще не подвергнет его никакой опасности. Ведь он более других призван придавать покою энергию, извлекать мужество из соединения покоя с живой деятельностью. Поэтому то, на что мы обратили внимание, он обязан достигать лишь в целом: в отдельных же местах он может потрясать читателей и подводить их к самой бездне ужаса и страха; чем лучше сумеет он сделать это, тем сильнее будет его конечное воздействие на читателей. Для него искусство приводить душу в состояние покоя должно быть равным искусству многообразно потрясать ее, вести ее от одного движения к другому, одно чувство заменять другим и таким путем препятствовать каждому в отдельности односторонне овладевать человеческой душой.

Производимый им покой должен проистекать из *целостности* изображаемого, и такая целостность — второе требование жанра. Мы уже в самом начале этого рассуждения видели, что всякий поэт, если только его воздействие чисто и направлено исключительно на воображение, непременно достигает известной целостности, перенося предметы в такой мир, где они утрачивают искажающие их односторонность и исключительность. Однако эпический поэт испытывает нужду в этом свойстве совсем в ином, более узком смысле. Ему нужно, чтобы наш взгляд стал всеобъемлющим и всеобщим, насколько это вообще осуществимо, чтобы он был направлен на положение человечества в природе, взятое в целом. В то же время ему не столь важно, насколько велик будет круг предметов, каким он пройдет, если только он сумеет вызвать описанное нами настроение, — настроение, в котором мы открыты всем предметам, чувствуем и разумеем их и благодаря преобладанию всеобщего интереса склоняемся к простому наблюдению. Ибо в таком настроении сами собою господствуют силы, которые непосредственно влекут за собою целостность.

LIX. Свойства поэтического воображения соотносительно с описанным состоянием

Поэтическому воображению надлежит сообщать материалу эпического поэта — дабы он воздействовал со всей силой — два свойства: *чувственность* и *единство*. Благодаря общему духу этого поэ-

тического жанра они модифицируются и становятся эпической чувственностью и эпическим единством.

Общий дух жанра состоит в том, чтобы являть слушателю мир во всей его целостной взаимосвязанности, сохранять в его душе господство созерцательных сил, напрягать их, чтобы они достигали максимальной силы и совершенной гармонии, и, наконец, добиваться всего этого исключительно силой воображения. Итак, поэт должен устремляться лишь к фигуре и движению, не может довольствоваться установлением лишь одного или другого, должен постоянно связывать их воедино, выставляя подвижные фигуры, обязан трудиться лишь для глаза и внешнего чувства или же, если он привлекает сюда иные чувства и иные ощущения, должен подчинять их действие главному впечатлению.

Однако недостаточно того, чтобы глаз видел определенные формы, тщательно прописанные контуры, — необходимо, чтобы это его видение наделялось душой. Следовательно, поэт будет избегать сухости рисунка, повсюду искать светотень, цвета, одним словом — колорит, но только пользоваться им в соответствии со своеобразием своего жанра. Эпически настроенное чувство пребывает в вольной, светлой, радостной природе; стало быть, эпическому поэту всегда мало света, мало солнца, ему всегда мало фигур, живого движения, мало цвета с его многообразием и изобилием. Но только во всем богатстве и пышности должна царить не просто форма, но и повсеместная гармония, — один тон должен смягчать другой, ни один не должен вырываться вперед крикливо и резко, чувства должны развиваться, но не увлекать беспорядочно хаотическим движением. Поэтому эпическому поэту надлежит избегать пестрого и кричащего, резкого и контрастного.

Итак, до сих пор мы говорили лишь об отдельных черточках эпической картины, — большое искусство составить эту картину. Однако нам не придется останавливаться на этом. Именно это искусство мы подробно рассматривали в первой части нашего сочинения — такова чистая объективность, представляющая нам предмет в его живом облике. Мы видели, что это по преимуществу достигается непрерывным постоянством контуров, и такой закон постоянства эпический поэт обязан соблюдать более строго, чем какой-либо иной.

Просто, покойно созерцающее чувство никогда не бывает направлено только на один предмет, поскольку оно и не исходит из частного намерения или отдельного ощущения; оно постоянно переходит с одного предмета на другой, на все, что видит перед собою, стремится к множеству объектов, а в наилучшей своей настроенности — к их совокупной целостности. Поэтому произведению эпического поэта, которому предназначено открывать вольную перспективу целой природы, должно охватывать множество объектов, многообразие отдельных групп, и в каждой из них каждая фигура с ее отдельными частями, каждая группа с ее отдельными фигурами, наконец, все целое с составляющими его отдельными группами должны складываться в единую форму с не прерывающимися нигде

очертаниями контуров. Кроме того, эта непрерывность вызывается необходимостью движения. Ведь всякая пауза в движении означала бы, что движение остановилось, а в фигуре возник пробел.

Поэтому всякая эпическая поэма должна завершаться совершенным единством, а поскольку оно не может быть единством понятийным (как в естествознании и истории), то оно должно быть единством фигуры и действия. Поэтому поэма должна описывать лишь одно действие, а это последнее — как чувственное, полное в себе и не зависимое ни от чего внешнего целое.

Какими особенностями эпическое единство отличается от единства в иных поэтических видах, нам удобнее изложить позднее; сейчас же нас интересуют не столько законы, сколько само понятие эпической поэмы.

LX. В соединении состояния всеобщего созерцания и поэтического воображения подобные же свойства формы вступают между собою во взаимодействие.

Влияние этого на эпическое настроение

Если, как показали мы ранее, каждый из поэтических видов возникает благодаря тому, что обретает в человеческой душе особое для себя настроение, которым и пользуется поэтическое воображение, и только оно (хотя в момент, когда это происходит, именно оно и вызывает это настроение), полная сущность поэтического вида может стать зримой лишь в соединении этих двух элементов.

Мы исследовали в связи с эпопеей созерцательное настроение души и сопряженную с ней силу воображения — каждое в отдельности. Первое, настроение, было отмечено объективностью, целостностью и единством, — впрочем, единством понятийным; второе, сила воображения, носило в целом такой же характер объективности, целостности и единства, но только уже единства чувственного, причем все эти свойства, коль скоро они перестали иметь дело с ограниченной и никогда не понятной нам до конца действительностью, отмечены большим совершенством и чистотой.

Поскольку, следовательно, воображение работает здесь над таким душевным настроением, которое близко его природе, то вполне естественно, что все названные свойства выступают с удвоенной силой, однако самое главное (это как раз вытекает из упомянутого обстоятельства) в том, что воображение прилагает свои усилия именно к *материалу, подобному ему самому по форме*. С этой стороны тут не может быть ни малейшего диссонанса, и воображению не приходится, выявляя свою форму, ни бороться с трудностями, ни примирять спорящие стороны, ни разрешать противоречия. Итак, со всех сторон истекает покой:

- 1) из непредвзятости, свойственной всякому чисто созерцательному настроению;
- 2) из идеальности и единства искусства;

3) наконец, из применения искусства к этому настроению, подобному самому материалу искусства.

Однако что касается материала, то такое сходство не наличествует в той же мере, поскольку созерцательное настроение, в котором господствует интеллектуальная способность, уже не вполне чувственно, а вследствие своей чисто объективной неподвзятости и всеобщности до какой-то степени отличается холодностью и сухостью. Итак, силе воображения необходимо приходится ссужать ему свою чувственность, свой огонь и не уподобляться силе мощной и ужасной, преодолевающей любые препятствия, но силе благотельно-изобильной, производящей на свет новое бытие или питающей и укрепляющей уже наличное.

Сила *полная и покойная* — вот сила, которая поддерживает и возвышает *жизнь*. Ее богатство не исчерпать, ее не изнурить сопротивлением. Поэтому ни одному поэту не приписать такой жизненности, как поэту эпическому; да и где же есть еще жизнь более высокая, энергичная, чувственная, как не в „Илиаде“ и „Одиссее“?!

LXI. Дальнейшее описание чисто эпического настроения

Эпический поэт одушевлен высшей жизнью и потому живописует, собственно говоря, все ее протекание, тогда как поэт лирический (под именем которого мы понимаем сейчас все противоположное первому) описывает лишь отдельные состояния. Ибо только он порождает настроение, какое может сопровождать целую жизнь.

Все это известно нам из своего личного опыта, если только вызвать в памяти какой-либо длительный период жизни, — эпический поэт все снова и снова модифицирует наши ощущения, связывает их в ряд неприметными переходами и ухитряется вызвать на свет, перебирая струны, целую гамму чувств, смягчая отдаленные тоны промежуточными звуками, поражающими душу, заблаговременно подготавливая и давая им отзвучать тихо и спокойно. И объективно — в своем предмете, — и субъективно — в нашем воображении и восприятии — он все время производит непрерывную и постоянную, взаимосвязанную последовательность. Поэты лирический и трагический (в этом отношении они относятся к одному классу) нередко ведут нас рывками и вдруг бросают, заведя на отвесную скалу, а поэт эпический проходит вместе с нами весь круг жизни — круг объективный — и восприятия — субъективный. Ибо он не намерен растрогать или потрясти нас резкой неожиданностью, но намеревается вдохнуть в нас воспарение и покой размеренностью и совокупностью целого. То, что характеризует жизнь как последовательность, как последовательность многообразных событий, как целое, — все это и находим мы у эпического поэта представленным во всей своей полноте, но при этом в одном-единственном действии.

Решительная направленность на эпическое сочинение может быть поэтому присуща лишь такому человеку, который предпочитает жить во внешней действительности, а не обособленно и скрытно,

который больше занят реальным чувственным бытием наличных вещей, чем отвлеченными мыслями или ощущениями, лишенными непосредственно-чувственный значимости. И наоборот, если поэт решительно склонен к такой жизни и с этой склонностью соединяет поэтический гений, то его направленность можно будет назвать исключительно эпической. В связи с этим лучше понимаешь, каким образом в эпической поэме соединяется все то, что порождает и самую ясную объективность, и самую жизненную чувственность, и деятельный склад ума, и полноту энергии, и всеобщую гармонию, а также каким образом этот поэтический вид необходимо распространяется на целый свет и на жизнь во всей ее продолжительности. Ибо ощущение, направленное в одну определенную точку (чтобы продемонстрировать природу эпического настроения на прямо противоположном ему примере), — это всегда состояние напряженного усилия, и оно не длится более нескольких мгновений.

Если совлечь с эпической поэмы ее поэтическое облачение, останется то, что дают нам история, разрабатываемая одухотворенно, и естествознание в его предельной всеобщности, то есть полный обзор человеческого рода и природы в их взаимосвязанности. Существенное различие проистекает лишь от того, что поэт, трудящийся над чистым созданием воображения, не нуждается в реальной полноте объектов, чтобы доставить нам такой всеобщий обзор, но знает субъективный путь, на котором с помощью одного-единственного объекта можно достичь того же и еще большего, поскольку поэт переносит душу в некое состояние бесконечности, выводящее ее за рамки любого возможного числа объектов. Из всех поэтов поэт эпический выбирает самую высокую точку, наслаждается широким обзором, открывающимся оттуда, а из всех видов поэзии эпический более других способен примирять человека с жизнью, возвращая его жизни и придавая ему цельность.

В то же время никакой другой поэтический вид не приближается так, как эпос, к самому простому и чистому понятию искусства, к образному представлению природы, ни один не связывает с ним столь совершенно специфическое преимущество поэзии — изображение событий в их последовательности, изображение внутренней природы предметов. Более других жанров эпос придает облик музыке, *движение и язык* — изобразительным искусствам.

Однако это движение наличествует всегда только в самом предмете, оно не увлекает за собой поэта и читателя. Поэтому и настроение того и другого — это, скорее, непрерывное пребывание, нечто пластическое, тогда как лирический поэт мог бы воскликнуть, подобно Пиндару, но только во вполне буквальном смысле:

Я не ваятель,—
Не таковы творения мои,
Чтобы стыть им прикованными к подножиям,
Нет:
На широкой ли ладье, в малом ли челне
Ступай в Эгину,
Сладостная песня моя...*

Потому что и на самом деле он следует круговороту чувств, которые описывает, и спешит перейти от образа к образу, от ощущения к ощущению, не задерживаясь на отдельном. Эпический же поэт одновременно прочно удерживает и минувшее и грядущее, все сводя в единое целое; лирический поэт сохраняет оставленное позади лишь для воздействия его на последующее.

LXII. Дефиниция эпопеи

Мы, кажется, удовлетворительно описали настроение, в каком возникает эпопея и какое она производит; остается лишь составить ее объективную дефиницию.

Однако именно в этом заключена немалая трудность. Правда, очевидно, что эпопея — это поэтическое представление действия в повествовании, к чему легко добавить еще и то определение, что действие должно описываться как чувственное, самодовлеющее, не зависимое ни от чего внешнего целое, однако все это и содержится в словах „поэтическое представление“.

Однако такой дефиниции все еще недостает специфической характеристики эпического настроения — объективности представления, целостности, независимости от одного отдельного, перевешивающего остальные, царящего над всеми ощущения. Все эти свойства в лучшем случае скрыто заключены в слове „повествование“, и даже если довольствоваться этим, то эпическая поэма указанными особенностями будет отличаться от идиллии и трагедии, но не от остальных поэтических повествований.

Представляется невозможным выразить специфически эпический характер поэмы более конкретными определениями эпического действия и эпического повествования. Ибо в повествовании мы не можем назвать ни одного отдельного объективного свойства, а что касается действия, то тут дело не в его характере (мы скоро увидим, что можно пользоваться любым действием, даже явно трагическим), но в обращении с ним. Так что не остается ничего иного, как перенести в дефиницию эпической поэмы специфическое для нее субъективное воздействие — подобно тому, как мы давно уже привыкли видеть это в дефиниции трагедии, возбуждающей страх и сострадание.

В соответствии со сказанным эпическую поэму можно определить как поэтическое представление действия в повествовании, которое (не будучи призвано односторонне возбуждать одно отдельное ощущение) приводит нашу душу в состояние самого живого и всеобщего чувственного созерцания.

Теперь остается только точно эксплицировать это состояние, и мы сразу же получим все существенные свойства эпопеи — чистую субъективность, живую чувственность, совершенную целостность и отсутствие предвзятости, которая мешала бы свободному взгляду на вещи.

Главные признаки в этой дефиниции, что не трудно заметить,— это понятия *действия* и *повествования*. Прежде всего важно последнее, от которого и весь поэтический род получил свое наименование. Строго говоря, из него можно было вывести сущность поэмы. Потому что все, о чем только повествуют, уже отодвинуто на известную дистанцию, все это не может уже так прямо воздействовать на наши ощущения, а скорее переводится в область рассудка и простого наблюдения, на все это мы смотрим весьма непредвзято, спокойно, а поскольку повествование составляет обособленное целое, то в нем можно добиться большей взаимосвязи, цельности. Однако такая дедукция столь многих характеристик из одного-единственного понятия могла бы показаться произвольной, и, во всяком случае, методически правильнее восходить ко всеобщему источнику всякого эстетического воздействия, к природе души и воображения.

LXIII. Различие между эпопеей и трагедией

Среди прочих поэтических видов прежде всего три можно легко смешать с эпопеей,— это *трагедия*, которую так же, как и эпопею, характеризует понятие *действия*, далее *идиллия*, которую характеризует, как и эпопею, понятие *повествования*; и, наконец, *весь класс повествовательных*, но не эпических *стихотворений*, который характеризуют оба понятия.

Трагедию в течение довольно долгого времени считали столь близкородственной эпопее, что называли даже непосредственно переведенной в действие поэмой, и пока все эстетические принципы привычно черпали из образов древних, у такого мнения не было недостатка в приверженцах. Ведь у греков трагедия не только на самом деле вышла из эпоса, но и на вершине своего совершенства она продолжала в значительной степени оставаться эпической, поскольку вообще поэтическое настроение древних весьма склонялось в эту сторону. Если же исследовать сущность трагедии более глубоко и всеобще, обращая внимание прежде всего на требования, предъявляемые ею к природе и настроению поэта, то легко убедиться, что редко случается так, чтобы безусловно сходные виды поэзии настолько бы расходились — до полного противостояния друг другу, так что сущность одного явственнее всего выступает в сопоставлении его с другим. Надежда пролить более ясный свет на природу эпопеи и побуждает нас остановиться сейчас на трагедии.

О понятии трагедии люди договорились несравненно раньше, чем о понятии эпоса. Почти все принимают следующие признаки трагедии: трагическое действие, устремляющееся к катастрофе, катастрофа, являющая человека в борьбе с судьбою и призванная вызвать в зрителе страх и сострадание. Однако очевидно, что понятие трагедии легче поддается раскрытию, чем понятие эпической поэмы, поскольку первая восходит к настроенности души, направленной на одно-единственное ощущение, тогда как вторая основывается на всеобщем целостном состоянии.

Большое, решающее отличие заключается как раз в том, что трагедия собирает все в одну точку, а эпический поэт все то же располагает на бесконечной плоскости. И трагедия, и эпопея сходятся в понятии действия и, следовательно, объективности, сходятся и во всеобщих требованиях искусства; следовательно, чтобы так разойтись по своим результатам, они непременно должны различаться в изначальном душевном настроении, какое поэтически разрабатывает воображение, и на деле их контрастные черты берут начало именно здесь.

Эпическое поэме мы приписали состояние *чувственного созерцания* — состояние объективное, спокойное и скорее интеллектуальное. Между тем вполне естественно, что в этом состоянии не молчит и ощущение и что оно, напротив, возбуждается с предельной своей энергичностью. Могло ли быть иначе? Ведь перед нами столь великие и столь близко затрагивающие нас предметы, как судьба и человеческий род, а взгляд наш столь ясен, столь тверд, что видит их в самом чистом и своеобразном их облике. Выше мы не подчеркивали этого лишь потому, что все это разумеется само собой, мы не принимали в расчет это участие ощущения в воздействии эпической поэмы лишь потому, что оно не могло отсутствовать в изначальной настроенности, чувственной и к тому же подготавливаемой самим же искусством. Теперь же, когда мы хотим приписать трагедии в качестве исключительно принадлежащей ей области именно *ощущение*, необходимо дать более точные разъяснения. Итак, разумеется, эпический поэт возбуждает ощущение, и он перестал бы быть поэтом, если бы не воздействовал главным образом на это ощущение, — однако приходит благодаря этому в движение весь в целом чувствующий и ощущающий человек, а не какое-то отдельное ощущение. Помимо того, это не такое ощущение, которое мы соотносили бы с нашим состоянием в данное мгновение настоящего, — скорее, мы соотносим его более общо со всем нашим положением в целом, со всем нашим бытием, и вызывается оно предметом, находящимся от нас на известной дистанции. И наконец, это не такое ощущение, которое пробуждается непосредственным присутствием объекта, но нас разделяет с ним третье лицо, рассказчик, и, таким образом, прежде чем затронуть наше чувство, все проходит через нашу интеллектуальную способность.

Это различие весьма ощутимо, если сравнить, какого рода ожидание вызывает в нас решение ужасной загадки, от которой зависит судьба Эдипа и борьба Гектора с Ахиллом. Насколько же мучительней и страшнее первая, насколько вторая, скорее, трогательна и печальна! Однако в обоих случаях переживаемый нами страх и ужас одинаковы. Лишь тон ощущений иной, потому что в одном случае исход не ясен, и действие не подошло к концу, а во втором мы ждем рассказа, а действие давным-давно совершилось. Поэт в том и в другом случае превосходно воспользовался различиями, а потому в одном случае мы пребываем в полнейшей неизвестности относительно будущего, даже если исход всего известен нам напе-

ред, во втором же — даже не зная события, ощущаем лишь кроткую печаль, в какую погружают нас скорбные события минувшего, когда в памяти пробуждаются воспоминания о них.

Различия в воздействии, конечно, объясняются разной формой того и другого поэтического вида: в одном мы становимся зрителями объекта, другой же доводит его до нас как бы со значительного удаления, через предание. Однако формы эти всякий раз неизменны и существенны, и этим определяется характер обоих видов. Ибо на деле все свойства трагедии, скорее всего, восходят к понятию *живого присутствия*, в каковое переносит она свой материал, — подобно тому как все свойства эпической поэмы, отличающие ее от трагедии, восходят к понятию *повествования*. Поскольку, однако, все прочие своеобразные черты эпической поэмы не так легко вывести из этих понятий, мы предпочли иной метод рассуждения.

LXIV. Трагедия возбуждает определенное чувство и потому лирична

Итак, трагический поэт все усилия направляет на то, чтобы вызвать состояние определенного ощущения, и трагедия в этом отношении есть лишь особенный, притом наивысший вид лирической поэзии¹: особенный — потому что она стремится возбудить лишь какое-то определенное отдельное ощущение; наивысший — потому что достигает такого впечатления, представляя действие.

Поскольку ощущение вообще должно быть действенным — во

¹ Такое тесное сближение трагедии с лирической поэзией может озадачить. Однако следует помнить, что я говорю о трагедии лишь в ее противопоставленности эпической поэме, а потому мой путь исследования и подводит меня к той точке, в которой различие обоих видов более всего бросается в глаза. Таким образом, я различаю поэтические виды не столько по их внешней форме, сколько по тому настроению, какое они предполагают в поэте и производят в читателе. Простейшее различие эпопеи и трагедии не вызывает споров — это *прошлое* и *настоящее*. Первое допускает ясность, независимость, ровность души, второе приносит с собой ожидание, нетерпение, прямое переживание. Поэтому трагедия силой обращает душу вовнутрь себя, тогда как эпопея, скорее, вводит человека в тот мир, в котором действуют ее герои. Благодаря этому трагедия, очевидно, и присваивается лирическому роду. Впрочем, как представление действия она совершенна в своей пластичности — не менее, нежели эпос. Основные законы трагедии и допустимо выводить лишь из ее пластической природы; но поскольку они не могут не быть видоизменены лирической ее целью, возбуждением ощущений, то законы эпической поэзии и не могут найти здесь своего применения, тогда как трагедия не может не пребывать в полном согласии с законами лирической поэзии. Пока различают лишь эпическую и лирическую поэзию, трагедию действительно следует причислять скорее ко второй, чем к первой. Однако неоспоримо лучшим было бы разделение поэзии на *пластическую* и *лирическую*, а пластической — на *эпическую* и *драматическую* (под которой я разумею сейчас лишь трагедию, так как комедия заслуживает особого обсуждения). Тогда, правда, законы пластической поэзии сохраняли бы значимость в трагедии, однако все определено чувствовали бы, что вместе с понятием настоящего непосредственно дано понятие ощущения и, следовательно, необходимость учета общих законов лирики.

всяком поэтическом настроении, — то различие между двумя душевными состояниями, какие создают соответственно эпического и трагического поэтов, лучше всего связать с тем, что в первом скорее господствует объект, а во втором — одновременно и в значительной степени — и субъект. Там мы ищем предметы и связываем их в целое; хотя это целое и оставляет в нашей душе впечатление, но мы держимся не столько этих впечатлений, сколько их причин. Тут же мы все, что видим, непосредственно связываем с нашим ощущением, в нас пробуждается склонность, страсть, и только она и предрешает то, какое участие мы примем в событии, которое разворачивается у нас на глазах. Поэтому в трагедии все устремлено к одной решающей точке, словно к вершине шпиля; ход действия не просто прерывается, но он стремителен, решение выпадает скоро, неожиданно, тогда как в эпопее все словно возвращается к началу и все бежит по замкнутому кругу.

В трагедии всегда царит один вид характера, умонастроения, способа действовать, а если не один, то несколько уже являются в борьбе между собою, и каждый стремится утвердить свои права в душе зрителя, — всем важна, в конце концов, победа или поражение. В эпопее же многообразное противодействие характеров возвышает слушателя над всеми, а не обращает его в участника на стороне одних и не затягивает его в гущу схватки. Кроме того, в эпопее оживляются, один за другим, все виды чувств и ощущений: смешное и трагическое, кроткое и возвышенное, ужасное и прелестное — все гармонично соседствует друг с другом, и мы обнимаем и храним все одновременно, а это значит, что наша душа находится в таком состоянии, когда, не предаваясь вполне какому-либо одному из впечатлений, она чувствует и воспринимает их все, открыта всем. Трагедия, если только она совершенна, заключает в себе ту же обширность звучаний, однако любое из них полностью и безраздельно овладевает нашей душой, пока звучит; все звучания воздействуют, но не одно наряду с другим, а друг за другом, и результат — не целое, в котором одновременно наличествуют все эти элементы, а нечто новое — действие целого ряда последовательно производимых модификаций.

Правда, эпопея одновременно занимает и наши внешние чувства, и наши ощущения, но поскольку она призывает нас лишь к созерцанию и наблюдению, то и оставляет нам пребывание в праздности покоя. Трагедия же увлекает нас своим предметом, вынуждает нас участвовать в действии. Первая питает и обогащает нашу способность, наше существо в целом, вторая закаляет способность направлять все наши силы в одну точку — к решению, к подвигу. Эпопея выводит нас на просторы мира, в природу светлую, свободную, залитую солнцем; трагедия же силой загоняет нас вовнутрь самих себя и тем самым мечом, каким разрубает гордые узлы своего конфликта, на мгновение разделяет нас с действительностью и жизнью, которую вообще учит нас не столько любить, сколько с нею мужественно расставаться...

LXV. В чем сходны между собой оба поэтических вида? — В чем они не сходны?

Если сводить к определенным понятиям то различие двух поэтических видов, которое мы в общих чертах определили на основании опыта и реального впечатления, то вначале придется вернуться к возникновению каждого из них, то есть к тому положению, когда поэтическое воображение разрабатывает определенные состояния души, какие находят в ней, а затем точно вычленив все общее для обоих этих видов, что касается и лежащей в их основе настроенности, и их конечных результатов. Потому что различие видов основано не на том, что один вид одностороннее и ограниченнее другого, а на том, что при равном объеме и равном воздействии составные части их соединяются по-разному.

Общим является следующее:

1. Чтобы порождающее их настроение было совершенным, необходимо, чтобы им был охвачен весь человек в целом — как ощущающая, так и созерцательная его сущность.

2. Их создает одно и то же воображение, одно и то же искусство; оба вида одинаково носят на себе их печать.

Различие же следующее:

1. Хотя оба вида приводят в движение все наши силы, эти последние смешиваются в каждом случае по-разному и в разной пропорции. Следовательно, в основе каждого вида лежат разные душевные состояния: в основе эпопеи — созерцательное, и в нем царит объект, в основе трагедии — детерминированное к определенному ощущению, и в нем царит субъект.

2. Будучи различными как таковые, они по-разному соотносятся с природой искусства и, будучи разрабатываемы искусством, в свою очередь дают различные результаты.

Состояние простого наблюдения необходимо влечет за собой покой и, в той мере, в какой здесь играет значительную роль рас-судок, стремление к целостности, однако чувство остается при этом в значительной степени незанятым, и даже внешние чувства остаются бездеятельными; соучаствует лишь самое холодное из них — зрение.

В другом состоянии — когда мы ощущаем — перед нашими глазами непосредственно встает один предмет, и мы необходимо находимся в известном напряжении и беспокойстве, однако вся чувственная часть нашего существа соучаствует энергично и живо.

Стремясь преобразовать оба эти состояния в поэтическое настроение, воображение обязано судить первому свою *чувствен-ность*, второму — свою *идеальность*.

Ибо первое состояние сходно с воображением по форме, но не сходно по материалу, и поэтому воображение должно снабдить его новой энергией; тогда покой и целостность, эти неперемennые свойства воображения, являются с удвоенной силой и вдвойне ощущаемы,

Эти покой и целостность воображение должно проявить и в другом случае: здесь, напротив, есть сходство в материи, но противоположность по форме. Поэтому здесь воображению нужен иной вид силы — такой, какой способен создать нечто новое из противоречивых элементов.

При этом необходимо получаются совершенно разные результаты.

Чтобы при неизменной односторонности ощущения не отказываться от целостности, воображению приходится не разворачивать перед нами бесконечную плоскость, но как бы оплодотворять отдельную точку, чтобы в ней одной содержалось все,— вместо того чтобы в собственном смысле слова представлять человека и мир, производить такое состояние ощущения, в которое вошла бы полнота впечатления от мира и человека и из которого легко и полно струилось бы их проникновенное чувство.

Чтобы сохранить присущий ему покой при том беспокойстве напряжения, с каким извечно сопряжено ощущение, воображение должно идти на рискованный шаг и, не имея возможности укротить и усмирить человека и мир, должно дерзким и внезапным движением совершенно разъединить их, чтобы тем самым вернуть покой первому и, собрав всю энергию человека в нем же самом, обратить его в человека, не зависящего ни от чего и деятельного по собственной воле.

Ибо поскольку здесь, в состоянии души исходном и в том, какое стремится утвердить искусство, гармония не наличествует сама по себе, как у поэта эпического, то их — человека и мир — можно связать, лишь разрешив противоречие между ними, и настроению, какое создается при этом, всегда присуще нечто бурное и насильственное. Однако все это может быть смягчено — в той мере, в какой поэт будет выставлять на первый план не столько само изначальное состояние с бурей страстей, сколько свою натуру; сколь многого может добиться он на этом пути, показывает нам пример древних.

LXVI. Отчего творения древних порождают такой покой?

Умный и проницательный критик заметил, что творения древних производят впечатление возвышенного и полного достоинства покоя, тогда как создания новых оставляют нас в беспокойстве и напряжении; это замечание хотя и не подтверждается всеми произведениями — потому что в качестве обратного примера можно в одном случае назвать „Эдипа“ Софокла, а во втором — „Ифигению“ Гёте,— но в целом исключительно верно.

Древние действительно являют нам гармонию и покой,

1) потому что они более эпичны, нежели лиричны;

2) потому что совершеннее представляют чистую природу искусства;

3) потому что менее новых затрудняют себе работу материалом, избыточным мыслительным и эмоциональным содержанием.

ЛХVII. Различие между эпосеями и идиллией.

Характер последней в связи с настроением, из какого она происходит

Как трагедия до сих пор не была отграничена от эпоса, так тем более и между эпосом и *идиллией* не было проведено различие посредством признаков верных и вместе с тем существенных. Но если трагедию, ввиду того что ей присуща совершенно особая форма, нельзя смешать с эпосом, то границы идиллии, по крайней мере в отдельных случаях, как представляется, настолько совпадают с границами эпической поэмы, что не столько можно задавать себе вопрос, чем эти жанры отличаются друг от друга, сколько вопрошать: действительно ли столь существенно отличаются они друг от друга, чтобы объемы их понятий никогда не пересекались? Чтобы исследовать этот вопрос должным образом, мы будем исходить из обычного понятия о том и другом поэтическом жанре, наблюдая за тем, куда поведет нас более точное развитие этих понятий.

Под словом „идиллия“ обычно понимают ту часть поэзии, которая описывает не столько жизнь в широком круге, сколько домашнее, семейное бытие, не столько деятельных, сколько спокойных персонажей, не столько страстные порывы, сколько спокойные и мирные нравы; радость, которую вызывает в душе природа, узкий, но приятный круг невинных нравов и простых добродетелей — вот на чем по преимуществу останавливается идиллия. Где царит простодушие и невинность, туда и переносит нас поэт — в детство человечества, в мир пахарей и пастухов. С эпосеями, напротив, мы связываем прежде всего понятие об изображении действия и отнюдь не изгоняем из нее простую невинность: самые приятные и изящные идиллические сцены содержатся именно в эпических поэмах — таково бракосочетание детей Менелая в „Одиссее“, а у Тасо — появление Эрминии в пастушеском семействе.

Итак, единственное отличие, какое можно было бы констатировать, состоит в том, что идиллия по крайней мере никогда не включает в себя героический материал или героическое действие и что она, в отличие от эпоса, не нуждается в том, чтобы в ней непременно было представлено действие. Однако что касается героической поэмы, то отнюдь не ясно еще, должна ли она непременно представлять героический материал — этого вопроса мы еще коснемся, — а идиллия может быть полна действия, не переставая быть оттого идиллией. Поэтому, чтобы обрести вполне определенные границы, нужно идти иным, более методичным путем.

Словом „идиллия“ пользуются не только для обозначения *поэтического жанра*, им пользуются также для того, чтобы указать на известное настроение ума, на *способ чувствования*. Говорят об идиллических настроениях, об идиллических натурах. Поэтому своеобразие идиллии должно соотноситься с внутренней особенностью души, будь то преходящее или постоянное качество, приме-

шанное к самому характеру. Итак, идиллия прежде всего отличается от эпопеи тем, что она проистекает из некоего одностороннего настроения духа, тогда как эпопея — из самого всеобщего настроения; то же самое отношение наблюдается и между идиллией и трагедией. Потому что трагедия — по крайней мере в высшем ее совершенстве — обеспечивает душе свободу движения по всем направлениям, она пробуждает все силы человека сразу, хотя соотношение их оказывается иным, нежели то, какое определяет эпический поэт. Идиллия же собственной волей отмежевывается от части мира, замыкается в оставшемся, произвольно сдерживает одно направление наших сил, чтобы обрести удовлетворение в другом их направлении.

В самой жизни мы воспринимаем подобное как ограниченность, хотя эта ограниченность позволяет проявиться как раз самой приятной и душевной стороне человеческого — родству человека с природой. Впрочем, такая ограниченность вызывает и известную растроганность и благодаря этому доставляет удовольствие. Искусство же стирает и эту ограниченность — замкнутость в узком кругу выступает уже не как следствие воли, но вытекает из самой глубочайшей природы, из такой проникновенности наивного чувства, которое в иных обстоятельствах не могло бы возникнуть без помех.

Ибо очевидно, что в моральном человеке зримо две различные природы: одна, вполне согласная с его физическим бытием, и другая, которой приходится сначала освободиться от такового, чтобы затем вернуться назад обогащенной и воспитанной. Благодаря первой природе человек прочно укоренен в земле, его породившей, принадлежит, как ее частица, к физической природе, только что он не прикован к ней, но связан с нею добровольно, по любви. Идиллия имеет дело исключительно с первой природой и проистекает всегда лишь из соответствующего ей настроения души. Поэтому круг ее уже, однако она способна вложить в свою сферу не меньше души, не меньше содержания для духа и чувства.

LXVIII. Характер идиллии в связи с предметом, в ней описываемым

Различию в воздействии обоих поэтических жанров соответствует аналогичное различие объектов или по меньшей мере различие в обращении с таковыми.

Природное бытие человека доказывается не отдельными действиями, но целым кругом привычной деятельности, всем образом жизни. Пахарь, пастух, тихий обитатель мирной хижины — все они редко совершают значительные поступки, а совершая их, уже выходят из своего круга. Характеризует их обычно не то, что они вершат, но то, что завтра повторится сделанное сегодня, — им привычно жить и действовать именно так, а не иначе; о них нельзя рассказать — их нужно описывать. Поэтому объект идиллии —

это *состояние*, объект эпопеи — *действие* человека; первая *описательна*, вторая *повествовательна*.

Поэтому все, что производится насильственными действиями, а также и все то, что выпадает из обычного круга жизни и существования — война и кровопролитие, бурная страсть, беспокойная любознательность и даже дух исследования вообще, готовый иной раз пожертвовать жизнью ради познания предметов, — все это противоречит идиллическому настроению. Разве человек, все существо которого состоит в чистой гармонии с самим собою, со своими братьями, с природой, разве этот человек способен замыслить своевольное разрушение? И если у него есть все необходимое для жизни, может ли он устремляться беспокойным духом вдаль? Что нужно ему, кроме спокойного существования, радости, наслаждения жизнью, тихого сознания своей невинной, незапятнанной совести, кроме счастья вообще, — а все это дают ему природа и его собственная душа, дают сами, добровольно! Его бытие течет регулярным потоком, как сама природа, как времена года, всякая жизненная пора сама по себе прорастает из другой, предшествовавшей ей, и как бы велики ни были богатство и многообразие мыслей и чувств, какие сохраняет он в этом спокойном кругу жизни, в них утверждает свое преобладающее значение гармония, проявляющаяся не в отдельном волеизъявлении, но налагающая свою печать на целую жизнь, на все бытие человека.

Поэтому идиллический поэт по самой своей природе описывает лишь *одну* сторону человеческого бытия. Как только он ставит нас в такое положение, где мы можем обозревать и иные стороны бытия, он покидает пределы своей сферы и переходит — в зависимости от того, достигает ли он спокойного и всеобщего обозрения целого или возбуждает путем сравнения разных сфер жизни определенное ощущение, — либо в сферу эпопеи, либо в сферу сатиры. Ибо эти два жанра — идиллия и сатира, — на первый взгляд прямо противоположные, в известном отношении близкородственны друг другу; как раз у сатириков и находишь самые прекрасные и трогательные места, описывающие чистоту и невинность простой жизни среди природы, — места, вообще говоря, специфически присущие только идиллии. Оба жанра — как идиллия, так и сатира — описывают отношение нашего существа к природе, только что идиллия показывает нам гармонию человека и природы, а сатира — противоречие между ними; и идиллия и сатира описывают это отношение для внутреннего ощущения.

Ибо идиллический поэт (и это вновь огромное различие между ним и поэтом эпическим), очевидно, ближе к лирику. Ведь отдавая преимущество *одной* стороне человеческого перед другими, он возбуждает скорее чувство, а не интеллектуальную способность, всеобщую, непредвзятую, охватывающую целое.

LXIX. Различие между эпопеей и другими повествовательными, но не эпическими стихотворениями

Постепенно отграничивая эпопею от поэтических видов, сходных с нею в известных моментах, мы приобретаем более чистое понятие о ней: яснее становится ее предназначение — нести удовлетворение душе, находящейся в состоянии чувственного созерцания, причем таким, когда душа избирает себе самое широкое поле для наблюдения, а поэтическое воображение представляет свой предмет наиболее чувственно.

Трагедия и идиллия отличаются от эпопеи как жанры, будучи устремлены к одному определенному ощущению; другие повествовательные виды поэзии — отчасти тем же самым, отчасти лишь степенью, ввиду их меньшего объема и меньшей поэтической индивидуализированности. На этих последних нам следует еще остановиться, тем более что сами мы рассуждаем о такой поэме, которая слишком заметно удаляется от большой героической эпопеи, чтобы многие не причислили ее к только что названному жанру повествовательных стихотворений.

Этот последний жанр по своей природе столь обширен и охватывает столь различные виды стихотворений, что трудно подвести их под общее понятие. Однако поскольку большая часть их, как-то: баллада, романс, легенда, рассказ и т. п., — отличается от эпопеи, как небо от земли, и никто их не спутает с нею, то нам нужно остановиться лишь на одном из видов, образцы которого дают нам прежде всего древние и который именуют то фрагментами более обширных эпических поэм, то малыми эпопеями, как, например, некоторые стихотворения Феокрита, затем „Геро и Леандр“ * и другие. По метру, тону повествования, по формальным особенностям они настолько сходны с отдельными местами настоящих эпических поэм, что если только некоторые из них действительно не являются фрагментами утраченных поэм, то, как мы и говорили, на первый взгляд отличаются от них лишь меньшим объемом. Но поскольку невозможно определить абсолютную меру длины или объема эпопеи, то в основу различения следует положить нечто более существенное.

Мы сравнивали эпическую поэму с историческими сочинениями; нам представлялось, что состояние души, испытывающей потребность в историографии (в подлинном и высшем смысле слова), подобно тому состоянию, в каком силой воображения и искусства возникает эпопея. Но как историография (разрабатывающая свой материал как целое) отличается от простого рассказа об исторических событиях (довольствующегося тем, чтобы представить их простую последовательность), так эпопея отличается от простой поэмы на историческую тему. Последняя, не будучи законченным в себе, независимым целым, противоречит первому и главному условию художественного произведения: она не может утвердиться за

пределами ребяческого возраста поэзии и впоследствии находит многих сторонников лишь в эпохи упадка вкуса. Она стоит примерно на одной ступени с теми поэмами, которые можно назвать философскими или научными,— таковы, например, фрагменты сочинения древних философов — и которые существенно отличаются от дидактической поэмы — жанра, сущность которого почти не исследована.

Пока исторические поэмы оставались чистым созданием природы и не были продуктом разложившегося вкуса, они обладали особенной прелестью и красотой. Это видно по „Теогонии“ и „Щиту Геракла“ Гесиода: хотя их содержание в сущности составляет миф, их едва ли можно причислить к иному жанру, поскольку ни по общей разработке материала, ни по поэтическому его развитию они не достигают уровня эпоса. По предположениям, имелось немалое число подобных им поэм, и прежде всего поэма, рассказывавшая о возвращении греческих героев из Трои.

Чтобы перейти от исторической поэмы к эпосе, вполне возможно, не потребовалось ничего, кроме более ласкового неба, более счастливой организации личности, более светлого взгляда на мир, на поэтического гения, которому особо благоприятствовала бы природа,— быть может, только в этом и состояло различие между счастливым сыном Ионии и жителем печальной Аскры, «зимой тяжкой и несносной летом»*, — она не давала художественному гению воспарить в небеса. Лишь эпическая поэма достигает высоты, откуда и видит весь свой предмет, и царит над ним, лишь эпический поэт своим взором сводит воедино все содержание мира и человечества, лишь он один обладает не любопытством, но мыслящим созерцанием, лишь он один пробуждает поэтическую деятельность таких сил, благодаря которым мы оставляем круг действительного мира. Но именно потому, что он, не говоря уже о его художественном призвании, избирает более широкую сферу, он лучше исполняет и свое предназначение и в художественном отношении созидает более обширное и более завершенное целое **.

LXXI. Возражение против приложения понятия эпоса к настоящей поэме

Мы в достаточной мере развили понятие эпической поэмы, чтобы удовлетворительно ответить теперь на вопрос, может ли поэма „Герман и Доротея“ быть причислена к этому жанру. Но, быть может, пока мы собирали материалы для ответа на такой вопрос, суждение читателя уже опередило нас; быть может, читатели уже решили для себя то, что в наших глазах заслуживало более точной проверки.

„Причислять поэму „Герман и Доротея“ к эпосам — значит ставить ее в один ряд с „Илиадой“ и „Одиссеей“, с „Потерянным раем“ и клопштоковской „Мессией“, с шедеврами Тассо и Ариосто.

Как можно сравнивать рассказ о судьбах двух любящих с изображением таких действий, которые приводят в движение часть целого человеческого рода, которые, составляя замечательные эпохи в нашей истории, могут рассчитывать на наше участие и наше восхищение, которые, благодаря печати героического на их челе, предоставляют эпическому поэту твердую, подготовленную почву? Может ли в приключениях двух незнакомцев быть такое величие и такая значительность, чтобы они заслуживали высокого вдохновения эпического певца, который, возвышая свой голос, уже может быть уверен во всеобщем внимании слушателей, который в горделивой надежде посвящает свою песнь современности и грядущему? Для чего изымать эту поэму из того разряда, к какому принадлежит она по природе, из разряда, промежуточного между эпопеей и идиллией? Ведь сходство материала и характеров сближает эту поэму с идиллией, а последовательное повествование об одном действии — с эпопеей? Ведь если отнимать у поэтических видов их внешние, бросающиеся в глаза признаки, то не будет ли это означать, что мы переносим эстетику — а она должна быть открытой для чувств всех людей без исключения — в область туманной метафизики? Ведь внешние признаки, даже и не выдерживая философской критики, даже и не будучи общезначимыми, все же хороши для практического пользования, для необходимых здесь различий! Исследовать все глубже и глубже внутреннюю сущность, распознать которую нелегко, — не значит ли затемнять живой внешний облик созданного?“

Вот так могла бы высказаться большая часть наших читателей, и такие возражения — они положили бы конец всему исследованию вопроса, который якобы решается сам собою, — слишком весомы, чтобы обходить их молчанием. Не в одном только отношении они заслуживают строгой и подробной проверки, потому что ведь дело далеко не безразличное, будем ли мы включать в определение поэтического жанра несущественные признаки — просто ради того, чтобы пользоваться признаками легко распознаваемыми, — и будем ли мы снижать до уровня некоего промежуточного жанра поэму, которая как раз отмечена великолепной внутренней организацией.

LXXII. Ответ на возражение. Понятие героического

Необходим ли эпопее героический сюжет? И какие верные, точные признаки отличают таковой от любого иного? Вот вопросы, к которым все сводится. Ибо отсутствие героических характеров и действий — единственно зримое отличие поэмы „Герман и Доротея“ от других эпопеей.

Выражение „героическое“ без дальнейших определений допускает не одно истолкование — его можно связывать либо с чувствен-

ной величиной, либо с внутренним возвышением; кроме того, оно допускает различные степени. Вообще говоря, можно дать исчерпывающее определение героизма — через такое внутреннее настроение, в котором воображение исполняет то, что было бы делом чистой воли, однако исполняет по тем самым законам, каким следовала бы и последняя. Такой героизм отличается от мечтательной героики: в последней воображение действует не закономерно, но произвольно. В зависимости от того, сопрягается ли воображение с внешним или внутренним чувством, стремится ли к чувственному, великому и блестящему или же к возвышенному, возникает два вида героизма — весьма отличных друг от друга, в том числе и для применения в поэзии.

Моральный героизм заключается во внутреннем настроении, и только. Он обладает внутренней ценностью и не зависит ни от чего, кроме порождающего его ощущения, он переносит нас в состояние глубокой суровой растроганности и возвращает нас внутрь нас самих, вовнутрь нашей души. *Чувственный* героизм не обладает как таковой определенной моральной ценностью; в нем есть размах и блеск, но не всегда — благо и польза, поэтому нередко он зависит от случайностей и иной раз может опираться на ослепляющую кажимость, на реальные предрассудки. Он приводит нас в состояние известного чувственного подъема, пробуждает в нас силы, которые могут способствовать этому, и окружает нас предметами, с которыми мы, по праву или нет, связываем понятие величия, блеска, торжественности.

Первый вид героизма всегда необходимо присутствует и приводится в действие в трагедии — как в мещанской, так и в чисто героической, — в этой последней к первому прибавляется и второй вид. Этот же второй, вместе с первым или отдельно, мы находим и во всех известных эпических поэмах, но как раз не находим его в нашей поэме.

LXXIII. Обычное понятие эпопеи.

Невзирая на неопределенность понятия, в его основе содержится истина

Если те или иные вещи рождены случаем — не принципом, то чем больше углубляешься в понятие, тем больше удаляешься от самого предмета. И мы оказались точно в таком положении: мы намеревались приблизиться к сущности эпопеи, к сущности, каковую раскрывает нам опыт. а на деле отошли от нее. Ясно, что приверженцы обычной эстетической системы, конечно же, будут недовольны выдвинутым нами понятием чувственного героизма в качестве характерного признака эпопеи, а возможно, будут недовольны и всем ходом нашего рассуждения. Те же признаки, по которым распознают эпическую поэму *они*, если и менее определены, то на деле замечательны своей большей ясностью и осознанностью.

Они требуют, чтобы действие заимствовалось из истории и отличалось внутренней значительностью и внешней объемностью, чтобы описываемые происшествия влекли за собой чувственное движение и приводили в действие многообразные страсти, то есть требуют материала, в каком были бы заинтересованы не столько индивиды, сколько целая нация и все человечество, вследствие чего главные действующие лица, естественно, становятся царями, государями, вообще такими особами, которые способны влиять на судьбу других; кроме того, хотя и не столь единодушно, они требуют, чтобы в эпосе соучаствовали высшие существа, чтобы в него включались миф и чудеса и, наконец, — что, как мы вскоре увидим, имеет сюда не меньшее отношение — чтобы в начале поэмы возмещался ее предмет и призывалось покровительствующее песнопению божество.

Все эти свойства, за вычетом последнего, довольно неопределенны, а некоторые несут на себе печать несущественного, случайного. Заимствуемый из истории сюжет может быть известен лучше или хуже — в последнем случае он приближается к простому поэтическому вымыслу; важность и величие действия, чувственное движение в отдельных частях — тоже величины относительные; миф же и чудеса могут воздействовать не иначе, как через посредство настроения, ими производимого, благодаря торжественности и благоговению, пробуждаемым в душе читателя, и, стало быть, *от эпохи*, от людей, к которым обращаются, зависит, каким будет действие всего этого — сильным, слабым и т. д.

Однако, невзирая на неопределенность, нельзя отрицать важности всех указанных моментов в их совокупности; если перед глазами совершается движение огромных масс, если поэт выводит его на широкие просторы сцены, если он одновременно раскрывает перед душой слепящий блеск Олимпа и мрачные бездны Эреба, то это придает душе особый подъем, настраивает ее на тона вдохновения более высокого, чем если бы явленное было взято из нашего же круга, из круга нашей повседневной, обыденной жизни. И художественное действие — чище: ведь если то, что ближе и привлекательнее нам и глубже проникает в наше сердце, то оно не оставляет той свободы воображению, совлекает его с небес и гнетет к земле*.

LXXV. Неопределенное понятие эпопеи становится определенным, если возвести его к понятию героического

Итак, неоспоримо верно: сфера, в какой заимствуется материал, действие, персонажи эпопеи отнюдь не безразличны для воздействия на читателя.

Но если все названное не сводится к неопределенному понятию величия событий и многообразия движения — величин отно-

сительных,— если поэта не принуждают просто подражать существующим образцам и неукоснительно пользоваться их средствами независимо от того, сохранили они прежнюю силу воздействия или нет, если можно подвести определенное понятие под признак *героического*, который приписывается эпосе и которому поэт мог удовлетворять самыми различными средствами и способами, то нужно держаться не отдельных свойств материала, но только настроения, которое следует вызвать, и тогда мы непременно придем к понятию чувственного героизма, выше определенному более точно.

На деле это ведь и есть тот героизм, каким вдохновляешься в „Илиаде“ и „Одиссее“, этих самых простых и высших образцах эпоса,— переносишься в героический век почтенной старины, видишь в движении и землю, и Олимп; большая часть человеческого рода, самые различные племена проходят перед твоим взором, ты видишь в ясном освещении грандиозные, чувственно организованные массы, которые и в фантазии в свою очередь порождают лишь фигуры, лишь движение, лишь чувственные объекты; живо понимаешь: певец верил, что передает самое значительное событие своей эпохи, которое может рассчитывать на участие всех, и потому выступал с вполне оправданной гордостью.

LXXVI. Возвешение предмета и призывание Музы в эпосе

Ничто так не характеризует эпического певца, как уверенность, с какой он выступает; поэтому, если говорить о большой героической эпосе, возвешение предмета и призывание Музы в начале поэмы не принадлежит к несущественным требованиям ее, как могло бы показаться.

Дело не только в том, что поэт сильнее возбуждает внимание читателя, когда начинает поэму торжественно, и что уверенность, с какой он ее начинает, как бы оправдывает его поэтическое призвание,— он сам собою должен приходить к тому, чтобы начинать именно так,— ведь его душа преисполнена великим, общеизвестным, влекущим за собой значительные последствия событием! В таком настроении его воображение рисует все с торжественностью и блеском, с чувственным богатством, оно собирает вокруг себя предметы, которые можно представить именно так. Итак, поэт спешит высказать все, чем переполняется его душа, и, прежде чем описывать отдельные части своей поэмы, он спешит наметить хотя бы самые основные контуры целого. Окруженный множеством предметов, он, подгоняемый своим чувством, вынужден просить о помощи и поддержке, но кого же просить, как не божество, которому родствен он сам в это мгновение,— коль скоро, как и оно, он парит над миром и человечеством, над былым и настоящим.

Все так называемые эпические поэты и последовали в этом отношении примеру Гомера. Что касается Ариосто, то он показыва-

ет нам, сколь близко такое вступление индивидуальному настроению певца. Ведь певец действительно вдохновлен не конкретным отдельным действием или событием — его живит сам огонь фантазии, какой разгорается всегда, когда открывается перед нею множество разнообразных групп, широкое и густо засеянное поле, какое предстоит ей пройти; именно поэтому певец не столько возвещает свой сюжет в собственном смысле слова, сколько возвещает все многообразие предметов, какие будут представлены в его песнопении, и тем самым он признается в том, что способен заинтересовать прежде всего многообразием и переменчивостью.

Наш же поэт — в несколько ином положении. Его материал вызовет участие всякого наделенного чувством читателя, однако это прямо на нем не написано — надо глубже войти в материал, ближе познакомиться с ним, хорошо узнать его, а тогда уж придет любовь. Итак, лишь постепенно, шаг за шагом, поэт должен вводить читателя в круг своего интереса, должен начать просто, неприятельно, чтобы лишь в конце порадоваться своей полной и верной победе. Поэтому и обращенный к Музе призыв не придал бы ему большей силы и не помог бы сохранить ту, какая у него была; такой призыв, как мы видели выше, помог бы ему лишь сохранить свой материал в пределах искусства в тот момент, когда он намеревается перейти в самую действительность, помог бы ослабить его физическое действие и усилить действие эстетическое.

Между тем обращение к Музе * и у нашего поэта, несомненно, производит еще и иное, более свойственное эпической поэме воздействие. Задерживая на мгновение развитие событий, прерывая их последовательный ход, поэт в этом месте в немногих словах излагает как все рассказанное им прежде, так и то, что еще не сказано. Благодаря этому материал поэмы более чувственно предстает перед нашим воображением, предстает как целое, стремящееся к определенной цели. Поэт должен на мгновение прерваться, собраться с силами, он, как видно, нуждается в помощи, чтобы достичь своей цели,— благодаря этому дело поэта представляется нам более значительным, движение, в каком он пребывает,— более широким и жизненным. И если даже под словом „Муза“ мы уже не мыслим себе достойное божество древности, а ясно понимаем, что поэт обращается к своему же собственному вдохновению, лишь придавая ему чувственный вид, то это представление о Музе все же способствует возвышению нашего настроения в его поэтическом полете. Потому что если даже мы и не признаем за Музой вызывающего благоговение величия обитательницы Олимпа, то все же она остается для нас милой и прелестной дочерью Фантазии.

LXXVII. Два эпических жанра

Итак, вот результаты нашего исследования: между известными эпическими поэмами и той, которую мы разбираем, действительно существует важное различие. Заключается оно в героическом

характере, присущем первым и отсутствующем у второй, и этот героический характер действительно способствует модификации и усилению эпического начала в собственном смысле слова.

Однако наше исследование вовсе не отменило установленного нами понятия эпопеи. Для эпопеи вполне достаточно того, чтобы поэт переносил нашу душу в состояние живого и всеобщего чувственного созерцания. И никто не станет отрицать, что это может быть вызвано не только героическим материалом, но и материалом, заимствуемым из частной жизни, не только общеизвестным всемирно-историческим событием, но и событием вымышленным, не только событиями, которые приводят в движение целые нации, но и такими, которые касаются немногих лиц,— хотя в одном случае легче достичь эпического воздействия, чем в другом. Какой бы предмет ни избрал поэт для своей разработки, нужно только, чтобы он достиг самой высокой точки. Если даже материал не предоставляет ему большого чувственного богатства, поэт все равно должен суметь придать ему облик и движение, то есть чувственную жизнь. Тогда он выполнит свою задачу, и воздействие эпического начала, несомненно, будет достигнуто. Если же с эпопеей связывать побочные представления — об объеме целого, о величии действия — или если примешивать к ней несущественное — фабулу, чудесное, — то это приведет лишь к изъяду критической мысли. Все подобные требования не вытекают из существа эпической поэмы, они взяты из наличных образцов, которые не могут предписывать границы всем будущим расширениям формы, и, кроме того, они и сами по себе не определены твердо и надежно.

Между тем, даже и все названное можно возвести к чему-то определенному; на основании всего названного можно заключить, что материал эпопеи должен получить при своей разработке блеск, чувственное богатство. Тогда между поэмой, в которой это достигнуто, и такой, как наша, где царит величайшая простота, а чувственное богатство не столь значительно, конечно же, будет явное различие. Поэтому, хотя и очень легко отвергнуть все названные требования, каждое в отдельности, даже подвергнуть их справедливой насмешке, — если кому-то угодно видеть на поэтической сцене одних царей и героев, причем в торжественно-величественном парадном шествии, — то все же совершенно очевидно, что поэт, окружающий себя исключительно величественными предметами, придает нашему воображению более высокий и более чувственно-насыщенный подъем, нежели поэт, который не поднимается над обыденным кругом нашей жизни. Придерживаясь различной настроенности фантазии, а не просто напирая на те или иные качества материала, не только нельзя будет не заметить огромной разницы между столь различным подходом к материалу, но и можно будет почувствовать, насколько важно не путать один подход с другим.

Если бы такое различие не затрагивало понятия эпической поэмы, если бы оно относилось исключительно к ее воздействию, и не обязательно эпическому, то все это было бы не столь важно. Но

коль скоро эпопея, с одной стороны, никогда не может пресытиться жизнью, движением и чувственным блеском, а с другой стороны, требует самого общего обзора целого, глубочайшего усмотрения сущности природы вообще, то два подхода к разработке эпопеи необходимо составят два различных жанра, из которых один по преимуществу стремится к достижению первой цели, другой же — не столько к достижению первой, сколько к тем более совершенному достижению второй, конечной цели, причем на деле внутренняя форма выступает с тем большей чистотой, чем проще форма внешняя. Первый подход даже заслуживает известного предпочтения, поскольку еще явственней представляет нам эпическую поэму как своего рода максимум изобразительности в искусстве. По крайней мере мы должны весьма остерегаться того, чтобы пренебрегать этим подходом или недооценивать его, поскольку уже характер нашего времени таков, что оно стремится повсеместно стирать блеск героического, тогда как минувшее словно облачено в волшебные покрывала героического. Также и наше искусство, часто пренебрегающее чувственной высотой воображения лишь оттого, что не способно ее достичь, само по себе склонно опускаться к истине и правде, какие уже не назовешь художественными.

Поэтому мы не обязаны изменять наше понятие эпопеи, но мы должны различать два разных эпических жанра, причем второй из них, за отсутствием образцов, мы и не могли раньше назвать как положено. Существует ведь бюргерская (bürgerlich) трагедия *, противоположная героической, а поскольку, как мы видели, более чувственный полет фантазии имеет большее отношение к понятию эпопеи, нежели к трагедии, мы должны принять существование и подобного же рода эпопеи. Вот такая эпопея и представлена поэмой „Герман и Доротея“.

Оба жанра сходятся в существенном понятии эпической поэмы: они исходят из изображения отдельного действия, являют человека и мир в их взаимосвязи, переносят душу в состояние самого чувственного, но при этом самого общего созерцания; однако они отличаются друг от друга по способу, каким достигают подобного воздействия.

А именно, героическая эпопея выбирает предметы с наивозможно блестящей поверхностью и занята описанием таковых; она живописует их, придавая им чувственное богатство, блеск, пышность, она — чтобы охарактеризовать ее еще более определенно — переносит *фантазию в такое настроение, где та может полагаться на живое соучастие внешних чувств*. Объективно же она будет отличаться общеизвестным материалом, почерпаемым из истории (потому что вымышленный едва ли удовлетворит ее требованиям), преобладанием таких событий, которые затрагивают жизнь целых народов, а не спокойное обыденное частное существование людей, далее, торжественным возвещением своего предмета, что представляется совершенно неизбежным для нее, и вообще богатством и блеском описаний и тона рассказа.

Бюргерская эпопея * (каким бы непривлекательным и неуместным это выражение ни казалось, мы не находим лучшего для передачи этого понятия) ведет к столь же всеобщему обозрению судеб, человеческого мира и обладает такой же чувственной индивидуальностью, таким же художественным совершенством. Ей недостает разве что той же меры чувственного богатства. Однако она восполняет этот недостаток большим содержанием мыслей и чувств и оттого *теснее связывает фантазию с чисто пластическим чувством, с духом и ощущением*. Ведь обыкновенно забывают о том, что, помимо сферы чувственного, в распоряжении поэта находится и область чувств и умонастроений, что они не в меньшей мере способны производить эпическое воздействие; надо только, чтобы поэт постиг все это с должной всеобщностью. Причисляя нашу поэму к этому жанру, мы тем самым непосредственно признаем за ней высокую и своеобразную красоту, внутреннее великопение,— все это позволяет ей обходиться без большого блеска и пышности и не заставляет нас жалеть о том.

Мы говорили о том, что эпическая поэма в степени большей, нежели любой другой поэтический вид, придает *движение* и *язык* фигурам, которые, собственно, являются исключительной принадлежностью пластического искусства. Итак, если героическая эпопея придает им более энергичное, более многообразное, увлекающее за собой движение, то наша поэма наделяет их более богатым, проникновенным и душевным языком.

LXXVIII. Своеобразное величие предмета в нашей поэме

Читатели освободят нас от доказательства того, что „Герман и Доротея“ не принадлежит к жанру героической эпопеи. Это очевидно и тем более ясно благодаря тому, что — когда мы подвергали анализу создавший ее дух, было сказано о меньшем чувственном богатстве и более богатом содержании нашей поэмы.

Несомненно, что поэма занимает, чисто пластически, и чувство и воображение, но что фантазия и внешние чувства в ней не испытывают того подъема, который имеет место в поэмах Гомера, увлекающего нас за собой блеском и богатством поэзии. Тем более необходимо прибавить несколько слов о величии и значительности предмета, изображаемого в поэме, — дабы защитить ее от упрека в том, что в ней описываются незначительные судьбы Германа и Доротеи.

Естественно, это величие не может бросаться в глаза внезапно, оно вызывает в нас особым образом меняющееся чувство, поскольку ее образы лишь постепенно возникают перед нашим взором. Совершенно разные вещи — начинать ли с возведения уже известного предмета или с самого рассказа; совсем разные вещи — выступать ли эпическому певцу, живому органу поэтического призвания и истории, или выступать простому рассказчику, простому

поэту. В первом случае стоит зазвучать голосу, и фантазия читателя возвышается, хотя сам предмет еще не произвел своего воздействия, — читатель уже охвачен огнем, который вдохновляет самого поэта; во втором случае дух и сердце должны сначала сами охватить материал, лишь тогда интерес сообщится и фантазии. Естественно, что в первом случае возникает чувство более блестящего, более фантастического, во втором случае — впечатление более содержательного и проникновенного величия. Так это и есть на деле. Первые стихи поэта возбуждают в нас лишь любопытство и участие, читая же последние песни поэмы, мы проникнуты самым высшим и благим, о чем когда-либо думали, что когда-либо чувствовали в самые счастливые мгновения своей жизни.

Величайшая тайна именно эпического поэта — в том искусстве, с которым он подготавливает почву для своих фигур, задает фон, на котором они выступают. Это искусство наш поэт постиг в исключительной степени. Персонажи его поэмы — это его создания; они не обладают иной ценностью или иной значительностью, кроме той, какой наделил их он, однако те события, те обстоятельства эпохи, с которыми связывает он их судьбы, все то, что изображает он с их помощью, все то, что — пока мы продолжаем видеть их перед собой — воздействует на нас в их образах, в их поступках, все это само по себе, независимо от поэтической разработки, обладает всеобщим, захватывающим интересом.

Уже в первой песне перед нами являются две значительные, зримо отделенные друг от друга группы: на переднем плане — отдельные люди, характеры, постоянство местожительства, занятия, нравы, а на заднем плане — обоз беженцев, согнанных со своих родных мест войною и гражданскими неурядицами. Итак, перед нами — сразу два крупных плана — человеческий мир и судьба, причем человеческий мир выступает в чистых, четких, идеальных и исключительно индивидуальных формах, судьба же — как событие реальное и историческое, потрясающее самые основания государств. Покой одного семейства резко контрастирует с движением народа, счастье отдельных людей — с предприимчивым духом многих.

LXXIX. Основная тема поэмы

Контраст этот задает основную тему всей поэме. Может ли интеллектуальное, моральное и политическое продвижение вперед сочетаться с довольством и покоем, общие цели человечества — с природной индивидуальностью каждого отдельного человека, поведение отдельных лиц — с потоком времени, с ходом событий, может ли все то, что творит и меняет человек в душе своей, сочетаться с лежащим за пределами его сил, с тем, что происходит вокруг него и с ним самим, может ли все сочетаться так, чтобы одно благотворно действовало на другое, и все взаимодействовало ради высшего всеобщего совершенства?

Эти вопросы поднимаются в поэме и на них дается ответ в разговорах хозяина постоялого двора с двумя его друзьями, в споре родителей о поведении сына, которым недоволен отец, в решимости Германа оказывать деятельную помощь в общей беде, наконец, в противопоставлении его суждения мнению прежнего жениха Доротеи об обстоятельствах эпохи,— если упоминать только эти выдающиеся места.

Ответ, какой дает поэт,— самый правильный с точки зрения философской критики, наиболее удовлетворяющий потребности практической жизни и наиболее пригодный для поэтического применения. Поэт показывает, что названные стороны сочетаются, если мы будем хранить и развивать естественно присущий нам индивидуальный характер, мужественно утверждать прямой и здравый смысл в бурях времени, если мы будем доступны высшим и лучшим влияниям, если мы будем противостоять духу хаоса и непокоя. Тогда человеческий род сохранит чистоту своей природы, развивая ее; тогда всякий будет следовать своей индивидуальности, однако из всеобщего многообразного различия произойдет единство целого; тогда внешние события и катастрофы будут поддерживать энергию сил, однако человек будет тем не менее строить мир по своему подобию; тогда среди величайших бурь, при смене периодов большего или меньшего покоя и довольства непрерывно будет возрастать всеобщее совершенство, а за поколением людей, которое совсем не дурно само по себе, последует иное — лучшее.

Вот это самое — человечество в его поступательном движении вперед, соединяющем внутреннюю силу и внешнее движение,— и сумел представить нашему воображению поэт. Он придавал большую поэтическую идеальность своему материалу, выбрав чисто человеческие, не изнеженные культурой, но и не закрытые для культуры характеры и подмешав к своим главным персонажам даже нечто героическое, нечто, напоминающее нам о Гомере; он придал своему материалу большую чувственность, включив в действие важнейшие, величайшие события; он придал материалу большую индивидуальность, поскольку явил все своеобразие нашего народного характера и нашей эпохи. Немецкое племя в конце нашего века — вот что рисует он.

LXXX. Величие выведенных в поэме характеров и событий

В характерах подчеркнуто то, что производит наибольшее воздействие поэтически и практически; тут царит двойная сила — изначальная сила природы и та, которая возникает во взаимодействии всех многообразных индивидуальностей. Ибо человеческое чувство подсказывает: нет ничего благого, что не было бы естественным, все естественное пребывает в гармонии, общая

сила человечества складывается из чистой силы различных индивидов.

Характеры главных персонажей таковы, что они сами по себе тянутся ко всему доброму, к благому как таковому, вступая с ним в благотворный взаимобмен,— эта черта проступает наиболее ярко тогда, когда поэт рисует персонажи, которым не присущи эти свойства. Когда же разговор заходит о моральной ценности и нравственных принципах людей (почти все время обсуждается этот предмет), то тут подчеркивается, что обретать совершенство в жизни не означает подавлять естественное и нивелировать многообразное. В этих разговорах доказывается, что осуждение мнимых недостатков нашей природы — это лишь повод к достижению лучшего и наивысшего; спор различных склонностей достигает при этом общего итога, и охваченным этим спором оказывается все человечество во всей своей полноте, причем настолько, что мало найдется значительных его черт, которые не были бы здесь затронуты. Проще всего, наиболее всеобщее и наиболее прекрасно описывается человечество там *, где говорится о человеке, неутомимо-деятельном, пересекающем моря и сушу, и где он сравнивается с тихим и спокойным обывателем.

Так во всей поэме царит прекрасный дух справедливости — поэт во всем видит лишь добрую, возвышающую сторону, и мы подлинно-эпическим образом подходим к высшей точке зрения, откуда можем созерцать все, на все смотреть взором открытым, непредвзятым,— и таким образом совершенно незаметно колоссальный образ всего человечества встает за теми немногими персонажами, которых мы видим перед собой в действии.

Не столь покойна и гармонична, но столь же велика и мощна картина происходящих событий. Самое замечательное из всех, какие знала история — Французская революция — охарактеризовано с трех сторон: ее характеризует благородный энтузиазм, дух свободы, затем война с соседними странами и изгнание многочисленных семейств с родных мест. Именно эти три обстоятельства, более иных, затронут интерес читателей: первое благодаря тому участию, какое нельзя не принимать в идеях и чувствах, второе — благодаря значительности его для отечества и личного существования каждого, наконец, третье — благодаря тому трогательному образу, который многим читателям напомнит о том, что они частью наблюдали сами, частью узнавали от других.

Однако непосредственное содержание событий — это еще не все, это пока еще только хаотическое движение беженцев, нужда изгнанников, ужасы войны,— этого еще мало: основное воздействие производит сравнение этих времен с прошлым и неверный, осторожный, полный предчувствий взгляд в будущее. Тут говорится так **: подлинно, наше время редко с чем можно сравнить из времен стародавних; кто жил в эти дни, тот прожил целые годы; так сжимаются времена. В обществе все отношения перевернуты, столпы уверенного бытия опрокинуты, отдельные люди в наших

образованных и культурных государствах ведут за собой целые толпы людей без отечества, без местожительства, напоминая тем о первоначальных временах, когда народы блуждали по пустыням. Я не хочу обольщаться надеждой обманчивой, зная:

Узы судеб теперь расторглись, и кто же их снова
Свяжет, кроме нужды, непреложно стоящей пред нами?

Так наш поэт сразу же представляет нам и величайшее беспокойство, последнюю степенъ распада, отчаяние, уже не ведающее спасения, а вместе с тем и наилучший источник утешения и надежды. Когда узы судеб расторгаются, мы сами в состоянии скрепить их вновь. Вот где сходится вся поэма, вот в чем соединены отдельные впечатления от нее. Из гибели и разрушения возникает новая жизнь, из хаоса народов — счастье и неукоснительное совершенствование одной семьи.

Герман и Доротея занимают наше внимание с самого начала, с самого начала приковывают его к себе. Сколь бы богаты и возвышенны ни были образы человеческих характеров, сколь бы велики и увлекательны ни были картины истории, они не произвели бы на нас столь глубокого и непреходящего впечатления, если бы мы не видели все это воплощенным в этих двух фигурах, если бы они не вносили в картину целого окончательной полноты. Мы оставили бы и времена, и народы, и вернулись бы к чувствам двух любящих, которые завладели нашей душой, нашим безраздельным интересом.

Вокруг этих героев складываются две разнородные группы. Доротея принадлежит к той части нашей нации, которая вынесла из общения с более утонченными соседями более высокую культуру и внешнюю воспитанность и благодаря этому же соседству приобрела к новейшим философским представлениям; кроме того, она находится в состоянии душевного напряжения, в какое приводит душу всякое чрезвычайное событие; это напряжение еще умножено ее первой несчастной любовью и меланхолическим воспоминанием о ней; если взять все это вместе и слить в один женский характер, то и получается более тонкое, высшее, идеальное существо — существо, которому мы симпатизируем еще больше и сильнее, нежели Герману. Напротив, в характере Германа воплощены без изъяна крепость мужнины и естественная простота. Соединение же обоих героев дает нам самый живой образ непрерывного совершенствования человеческого рода. Потому что сходство между ними столь полно, что они могут прильнуть друг к другу, а различия их таковы, что каждый получает от другого все недостающее ему.

LXXXI. Итог целого. Подлинный материал поэмы

Ужасное событие, сгоняющее целые племена с их родных мест, приводит девушку, натуру прекрасную и благородную, в отдаленную, менее культурную область; оно сближает ее с семейством

и с юношей, который способен понимать, постигать ее; оно связывает их и, неудержимо устремляясь вперед, оставляет позади себя семена нового рода, прекраснейшего и лучшего рода человечества. Не случай, не слепой рок, нет! Благодетельная рука божества, бдительная забота гения нашего рода направляла, кажется, это чудесное стечение обстоятельств, и если поэт в деталях обходится без вмешательства высших сил, то он самым прекрасным и трогательным образом дает им проникнуть в нашу душу благодаря целостности своего творения.

Кому не вспомнятся при этом самые первоначальные времена нашей истории, когда благодетельные колонисты заносили в отдаленные земли человечность и законность, самые первые побег искусства и науки? Кому не вспомнятся времена позднейшие, когда царские дочери, вооружившись чарами женской кротости и силою любви, внушали милосердие человеческой религии народам варваров? Кому образ, какой рисует наш поэт, не покажется еще более возвышенным, потому что тут древо, какое предстоит обогородить, само уже приносит плоды прекрасные и здоровые? Кто не поспешит насладиться подобными сценами с желанием, с тихим благоговением, только чтобы освободиться от ужасов прожитых нами лет,— ведь эти сцены словно говорят нам: все на свете движется и изменяется, но не затем, чтобы похоронить все во всеобщем хаосе, нет,— для того, чтобы обновить и усовершенствовать мир и человечество.

Прежде же всего наш поэт поставил прекрасный и трогательный памятник пластической силе женского пола. Ведь если Герман более кроток и человечен, чем его отец, если он многостороннее и восприимчивее его, так разве не сказывается в этом благое влияние тихой и простой, любящей его матери? Если в тот момент, когда впервые мы видим его в действии, он полон высшего, благороднейшего энтузиазма, не фигура ли Доротеи воспламеняет его? А в том влиянии, какое оказывает она на всех, кто приближается к ней, не заметен ли более прекрасный строй (*Bildung*) души, который распространится потом на всю семью, на всю общину, на всю эту область?

И тут поэт остается нерушимо верен природе. Женский пол оказывает самое решающее влияние в кругу семьи; в основе же политической культуры не может не лежать склад морального характера, а зародыш совершенного характера может зацвести лишь в лоне семейной жизни. Кроме того, природа женщины такова, что она наиболее способна совершенствоваться, не разрушая; ее власть над умами и душами — и более кроткая, и более крепкая, — женщина восприимчивее к новому, она менее враждебна старому, она не так неосторожно обращается со старым, с большим желанием приобщается к новому. Она чувствует слишком глубоко, так что все, что не совсем сочетается с ее мыслями и чувствами, остается вполне чуждо ей, а потому она и не навязывает ничего миру и человечеству.

Итак, материал нашей поэмы — это поступательное совершенствование нашего рода, направляемое волею судьбы, — оно представлено в одном отдельном событии. Если посмотреть на материал с этой стороны, то нельзя будет отказать ему ни в величии, ни в должном объеме, ни в пригодности для эпоса. Правда, иначе, нежели в героическом эпосе, величие его заключается не в самом событии, а в том, что в нем изображается. Кто не поймет этого или кто, с другой стороны, не почувствует, что этот материал тем не менее разработан вполне художественно, объективно и эпично, тот умалит либо всеобщую, либо художественную и в любом случае эпическую ценность поэмы.

LXXXII. Законы эпопеи. Закон наивысшей чувственности

Главное, что вытекает из понятия эпопеи: она может быть названа самым объективным из всех поэтических видов. Потому что нет другого вида, который бы так стремился к изображению лишь внешней действительности в противоположность внутренним душевным переменам, нет другого вида, который бы так стремился к изображению этого материала с живой чувственной ясностью. Все средства, споспешествующие объективности изображения, — по преимуществу во владении эпического поэта, все законы, обязательные для него, сходятся в этом одном. Такие законы, если рассматривать их по отдельности, выводимы из трех основных составных частей, из которых состоит дефиниция эпопеи: таковы понятие поэтического повествования, свойство приводить душу в состояние чувственного созерцания и в этом состоянии предельно проникновенно соединять человечество с миром. В соответствии с нашим выводом, вероятно, удобно подытожить сказанное, пользуясь следующими наименованиями.

1. *Закон наивысшей чувственности.* Таков всеобщий закон искусства вообще, искусства изображающего в частности. Однако от эпического поэта исполнения этого закона требуют с двойным основанием, поскольку он имеет дело исключительно с внешними, то есть с чисто чувственными, вещами и обязан приводить душу в соответствующее, направленное на них настроение. Поэтому он должен не просто представлять фигуры и движение, но и то и другое в значительных массах, должен выбирать такой колорит, который непосредственно возвещал бы ясность и свет, принимать такой тон, который дружески внушал бы нам необходимость выйти из своих пределов и возвыситься до фантазии с ее высоким и широким полетом, пробуждать мысли, которые позволили бы нам глубоко проникать своим взглядом в значительные отношения человечества и мира, выражать такие чувства, которые гармонически связывали бы нас с природой, и оживлять свой материал богатством и чувственностью изложения, слога, ритма.

LXXXIII. Закон непрерывной последовательности

2. *Закон непрерывной последовательности.* Таковой заключается лишь в двойном применении сказанного выше к понятию действия и к понятию фигуры, контуры которой можно рассматривать как движение. В последнем значении этот закон эпической поэзии является непреложным как для живописца, так и для скульптора; в первом же значении он не принадлежит никакому иному искусству. Правда, музыка и, еще более чувственно, танец являют такое постоянство движения, особенно в танце проявляется самая чарующая красота. Танец — это непрестанный поток, в котором фигура рождает фигуру, движение — движение, картина — картину. Однако и в музыке и в танце так бывает не всегда; их непрерывная последовательность состоит, собственно, в том, что любая перемена, в том числе и прерывистая, и всякая внезапная смена сводится лишь к одному средоточию. Потому что и музыка, и танец выражают чувства, которые, хотя и прорываются из одного и того же настроения души, тем не менее сами по себе, точно так же как и в природе, отнюдь не составляют столь же непрерывного ряда. Итак, довольно и того, что искусство соединяет их в этом средоточии.

Долг эпического поэта — наблюдать совершенную непрерывность — как в понятии действия, так и в понятии повествования. Для трагического поэта, непосредственно изображающего действие, этот закон приобретает иное значение. Он рисует действительную жизнь со всеми пробелами, перерывами, неожиданностями, какие наблюдаем мы в любом событии, свидетелями которого являемся, — однако эпический поэт, как и историкограф, непременно должен заполнить любые пробелы действия и переработать его так, чтобы все целое связалось в *единое* повествование; действие должно быть непрерывным; не должно казаться, что такая-то частность упомянута преднамеренно; независимо от цели, для какой она потребна, она должна уже как таковая необходимо вытекать из предыдущего; взаимосвязь плана целого должна быть столь прочной и глубокой, чтобы и читатель не мог развивать его иначе; план должен так согласовываться с физическими и моральными законами природы, чтобы событие не могло на деле продолжаться как-либо иначе; лишь самый первичный замысел, на котором основывается все последующее, зависит от выбора поэта, все же остальное определяется последовательным ходом развития.

Такова чувственная объективная непрерывность действия и плана. Однако чтобы произвести таковую субъективно, в душе читателя, — а это как раз и требуется от эпического поэта, — он должен совершить нечто большее, а именно: повсюду, где имеется многообразие определений, применяемых к характерам, нравам, чувствам, он должен отделять их бесконечно-малыми постепенными переходами, должен избегать резкого контраста и изображать лишь богатство и весь объем человеческого рода, к которому все

они принадлежат. Ибо подлинная непрерывность ряда звеньев состоит в том, что благодаря различию отдельного лишь яснее выступает единство, соединяющее все в одну цепь.

LXXXIV. Закон единства

3. *Закон единства.* Всеобщая природа пластического искусства — а эпический поэт должен утвердить ее наивысший образец — и особенная цель эпического поэта требуют от него в большей мере, чем от какого-либо иного поэта, полнейшего единства в разработке материала. Однако если исполнение такого требования — непреломный долг эпического поэта, то единство это не ведет все отдельные части прямо к одной цели, но лишь связует их в единое целое. Первое — это, скорее, исключительная принадлежность трагедии.

А именно, чувством, возбуждение которого является главной целью трагического поэта, ведает лишь один-единственный предмет, к этому поистине единому предмету поэт и применяет более пластичное, высшее понятие художественного целого. Напротив, созерцательное чувство, которое разрабатывается в эпосе поэтически, воспринимает многое одновременно и сочетает все это лишь в той мере, в какой все бывает увидено лишь с одной точки зрения. Итак, трагический поэт стремится к единству, действительно наличному в опыте, на деле же он стремится к одной точке; от этого движение его становится порывистым и резким, а план не столько расходуется в ширину, сколько сужается, потому что он должен отбросить все то, что отвлекло бы его в сторону. Единство у эпического поэта заключается не столько в самих вещах, сколько в его намерении, поэтому он располагает большей и до известной степени неопределенной свободой включать в свой план различный материал, — все в действительности зависит по большей части от того (в этом смысле возвешение — весьма существенная часть целого), что обещает он поначалу, сколько материала намерен включить.

Завершение поэмы — отнюдь не непременно действительный конец, к которому нельзя было бы ничего присоединить; довольно того, чтобы все отдельные части удовлетворительным образом складывались в целое, и весьма часто лишь от самого поэта зависит, не превратит ли он конец в простую остановку в пути, если ему заблагорассудится продолжать развивать нить повествования.

Однако он не может произвольно распространять свой план, делая его неопределенным. Граница и здесь четко определена, а именно: поэт не может заходить туда, где его материал перестанет быть одним *действием*, но видоизменится и станет действительным *событием*, то есть такой совокупностью происшествий, в которой уже не будет зримо действие в его проявлениях, по крайней мере одно-единственное действие.

LXXXV. Закон равновесия

Три закона, которые рассматривали мы до сих пор, проистекают из понятия изображения действия; в целом они в той же мере присущи и трагедии и лишь благодаря своему эпическому применению обретают дополнительные определения. Другие законы в большей степени проистекают из специфической природы эпопеи, которая занимает созерцательное чувство нашей души, причем в наивысшей его всеобщности. В этом отношении первым выступает

4. *Закон равновесия.* От равновесия, в состоянии которого эпический поэт поддерживает отдельные элементы целостного воздействия, зависит покой, какой должен поселить он в душе читателя. Не будь равновесия, пострадали бы эпическая чувственность, непрерывность и единство. Эпический поэт настраивает нас в унисон с природой, а характером такой природы можно считать то, что она неутомимо бдит над бытием целого, будучи враждебной исключительным притязаниям чего бы то ни было отдельного и даже равнодушной к необходимой гибели отдельных существ. Стало быть, и эпический поэт может направлять свое внимание лишь на это и на весомость отдельных частей — вот единственное мерило, согласно которому он отводит этим частям большее или меньшее пространство.

Но прежде всего он обязан заботиться о том, чтобы ни одно чувство не овладевало нашей душой безраздельно или с заметным преобладанием над другими. Поэтому, например, подлинно трагический материал представлял бы большие трудности для своей подлинно эпической разработки, потому что в трагедии над нами господствуют чувства страха и сострадания, наряду с которыми затруднительно проявиться каким-либо иным. Такой материал почти никогда и не разрабатывался эпическими поэтами; трагизм „Мессии“, по крайней мере в конце, разрешается в победу и торжество.

И все же такой материал нельзя категорически изгонять из пределов эпопеи. Для любого поэтического вида все дело, собственно, только в способе обработки материала, не в самом объекте. Чтобы привести наиболее показательный пример, самую совершенную трагедию можно было бы исполнить на материале события, окончившегося весьма счастливо и успешно. Ведь самые высшие, бурные движения радости, изумления и восхищения точно так же властны над душой и в целом развиваются столь же бурно и ускоренно, как и высшие движения боли и скорби; если бы какой-либо поэт был столь счастлив найти материал, в котором венчающий все успех целого возвысил бы некое смертного до роли почти божественного благодетеля своего народа, а этот удостаивающийся почестей человек, наделенный самой могучей энергией и самым благородным энтузиазмом, соединял бы с ними самое чистое и непритворное чувство того, что он недостоин столь высокого предназначения, и если бы окончательная перипетия судьбы наступила

внезапно и стремительно, то этот материал мог бы в своем развитии вызвать в нас те же самые чувства беспокойно-напряженного ожидания, мучительной неясности и самого высокого и бурного движения чувств, которые столь мощно овладевают нашей душой в трагическом материале. А если бы нашелся поэт, достаточно умелый для того, чтобы разработать в больших масштабах то чувство, в котором теснее всего связаны неопределенность, муки и восторг — чувство любви с ее сомнениями и счастьем, если бы он не умалил свой предмет (его можно сохранить лишь в его возвышенности), — то нам на мгновение показалось бы, что мы отрезаны от всей остальной природы, что мы ограничены сферой своей самостоятельности, как это и бывает в настоящей трагедии. Ибо чувства незаслуженного, сверх меры великого счастья точно так же подавляют душу, как и величие самой боли.

Разработка подобных же сюжетов в духе чувственно-великого (не морально-возвышенного), разработка скорее фантастическая, чем прагматическая, дает — заметим это — самое высшее и совершенное понятие серьезной, торжественной оперы.

LXXXVI. Закон целостности

5. *Закон целостности.* Никакой эстетический закон не определяет за поэта, какой объект ему выбирать, и точно так же никакой закон не предписывает ему, сколько объектов должно быть в его плане. Поэт исполнит свой долг, если будет удерживать душу читателя в состоянии свободы, если она не будет привязана ни к какому отдельному предмету, ни даже к отдельному классу предметов. Такая свобода — это необходимое следствие равновесия различных чувств, затронутых поэтом; она же — и необходимое условие чувственности и живости нашего взгляда.

У искусства прекрасное преимущество: оно снимает с нас внешние и внутренние узы, которые так часто сковывают нас в действительной жизни; есть и еще более благородное преимущество: оно внушает нам столь же строгую, но свободную закономерность. Эпический поэт может усваивать себе такое преимущество; для этого ему и служит целостность, всеобщность обзора, до которого он возвышается. Чем выше поднимаемся мы над своим предметом, дабы обозреть его целиком, тем менее зависим от его господства, тем глубже проникает в нас чувство взаимосвязанности и закономерности целого; ни в какой иной связи наше воображение не может столь уверенно полагаться на то, что останется идеальным, то есть закономерным в своей свободе, — кроме связи с созерцающим чувством и организующим целое рассудком.

Впрочем, эпопея не будет страдать от недостатка объектов; нет более плодотворного метода, как метод высшей объективности; чтобы явить одну фигуру, нужны другие, которые стояли бы рядом

с нею; чтобы описать движение, нужно предшествующее и последующее. Величайшее изобилие можно найти лишь в героическом эпосе.

LXXXVII. Закон прагматической истины

Поэтическую истину можно определить через совпадение с природой как объектом воображения — в противоположность *исторической истине*, совпадающей с природой как объектом наблюдения. В историческом смысле истинно то, что не вступает в противоречие с действительностью, в поэтическом смысле — то, что не вступает в противоречие с законами воображения¹. Воображение же либо предается произволу игры, художественно исполняемому, либо следует внутренним законам человеческой души или внешним законам природы. В зависимости от выбора одного из этих трех направлений поэтическая истина становится либо *простой истиной* фантазии, либо истиной *идеальной* или *прагматической*.

Первой из всех поэтических видов может воспользоваться лишь сказка, в которой фантазия, собственно говоря, забавляется своей силой и предельной легкостью материала; при столь произвольной игре можно разве что спрашивать о том, в состоянии ли воображение привести отдельные черточки в непрерывный ряд, в единство образа. *Идеальная истина* — это по преимуществу владение *лирического поэта* и трагедии. Она полностью вбирает в себя все мыслимое в душе согласно самым общим свойствам души и всеобщим законам ее переменчивости, — как бы, впрочем, далеко ни удалялось это мыслимое от природы, сколь бы редко ни обреталось в опыте. *Прагматическая же истина* более строга и отвергает все, что выходит за пределы обычного течения природы, она твердо придерживается законов последней, как физических, так и моральных, — в той мере, в какой эти последние согласуются с первыми. Она прямо требует естественности и если даже не вполне исключает все чрезвычайное и необычное, то все таковое все же должно совершенно согласовываться с природой в целом, с родовым понятием человечества, даже и поднимаясь над всем этим; идеальная же не отвергает даже и того, что действительно противоречит последнему

¹ Поскольку *истина* есть вообще познаваемое рассудком совпадение понятия или суждения с предметом, то может быть столько видов истины, сколько есть предметов. По преимуществу же мы различаем четыре резко расходящихся между собой в зависимости от интеллектуального обращения с ними вида предметов: 1) *действительные* и затем *идеальные*, причем либо 2) продукты чистой абстракции, *метафизические* или *математические*, либо 3) продукты воображения, то есть *поэтические*, и, наконец, 4) такие идеальные, которые приводятся в связь с реальными, — *эпирико-философские*. Отсюда происходят четыре вида истины: 1 и 2 — истина *историческая* и *поэтическая*; 3 — *спекулятивная* (*метафизическая* или *математическая*); 4 — *философская* (*физическая* или *моральная*), которая покоится на соответствии не с каким-либо особенным опытом, а с опытом как целым.

понятию, и встречается в индивидах лишь в виде исключения; простая истина фантазии, превращаясь в прямую противоположность того, что обыкновенно именуют истиной, выходит даже и за эти рамки. Естественно, что в применении к отдельным ситуациям границы истины идеальной и истины прагматической будут совершенно сливаться, — однако различия между ними нельзя будет все же не заметить: достаточно только вспомнить о том, что лишь идеальной истиной наделено все то, на что наталкивается душа, когда, обособляясь от жизни в ее внешней действительности, она углубляется в свои идеи и ощущения, подставляя на место внешней суетливости и живой бодрости внутреннюю деятельность и чисто сентиментальное наслаждение; тогда как в такой душе, которая всегда льнет к природе, которая живет и радуется и наслаждается исключительно в ней, не может происходить ничего такого, что не обладало бы высшей и сразу бросающейся в глаза прагматической истиной.

Именно такова область эпического поэта. Его искусство протекает из жизненной полноты и ведет к ней. Поэтому он избегает как бы чрезмерной утонченности мыслей и чувств, избегает трудно постижимых характеров и ощущений; все родственное таковым он воспринимает и как ненатуральное, и как мелкое. Ему нужны огромные и освещенные светом массы, а предметы такого рода не выносят солнечного света, какой привык он разливать по своему предмету. Ему хочется живописать людей необычных, но только таких, которые необычны по степени своей силы и чистоте существа, но не редкости своей внутренней организации; в целом эти люди должны находиться в совершеннейшей гармонии со всем, что только ни есть человеческого и естественного; все, что представляет поэт, все это должен без труда понимать и усваивать здравый и прямой человеческий смысл. Только такое и может быть представлено чисто объективно, а он никогда не отходит от этой объективности.

Тем не менее и этот поэт способен переносить в свою поэзию такой предмет, который граничит с чисто идеальным, переносить его словно из совсем чужого мира; в первой части нашего трактата мы видели, что своеобразие новой поэзии, и в особенности нашего поэта, и основывается на такой способности. Поэт должен только не позабыть настроить душу читателя вполне прагматически, разрешив тем самым диссонанс, который непременно произведет в этом роде поэзии подобный предмет. И если он преуспеет в этом, то умножит привлекательность своего произведения, поскольку расширит его границы, не причинив вреда его характеру. Ибо, если главная заповедь поэту состоит в том, чтобы он поддерживал в наивысшем совершенстве специфически присущую каждому поэтическому виду чистоту настроения, то не менее важно и иное правило — насколько возможно, умножать и варьировать предметы, какие всякий поэтический вид усваивает себе по своей природе.

Героическая эпопея не так, как противоположный ей вид эпо-

пей, рискует нарушить такой закон. Однако воздействие ее будет тем сильнее, чем тщательнее она будет соблюдать его, чем лучше сумеет соединить высоту и тонкость характеров с естественной простотой, чем сильнее выявит оригинальную индивидуальность такого поэтического вида, который даже и в индивидах стремится явить только род.

Ибо человек прекраснее всего тогда, когда созданное, сформированное исключительно его собственными силами усваивает для себя так, как если бы это было свойством всего человечества *.

XCV. Отношение культуры и культурной эпохи к эпосу

Нет ничего более противного эпическому духу, как просто *культура*** — это не что-то самостоятельное, а просто неопределенная приодность ко всему возможному, не сила, а простое обладание, не живое, а мертвая сокровищница, которой, чтобы был от нее прок, надо еще уметь воспользоваться. Кроме того, культура всегда направлена на то, чтобы умерщвлять самостоятельность, силу и жизнь, где только ни встретит их. Итак, с того самого момента, когда человек устремляется к культуре, он должен начать и противоборство с ней, с того момента, когда он вступит в ее область, для него начинается борьба, которая не кончится до тех пор, пока человек не согласует культуру с природой. Ибо не будь тут возможности прекращения спора, нелепо было бы и начинать его. Итак, изначальная живая сила должна обогатиться культурой, ее же неопределенной пригодности ко всему она должна задать определенную цель и так постепенно преобразовывать мертвое в живое. Только так *культурный* (то есть попросту „обработанный“) человек становится из человека просто *естественного* человеком *воспитанным*.

Дело в том, что культура — это всегда произведение обособленно действующего рассудка. Однако и без развития последнего окружающие нас вещи оказывают свое влияние на наши ощущения, точно так же пробуждая в нас склонности и страсти. На их основе и складываются наши взгляды. Итак, возможен характер, на формирование которого рассудок сам по себе может не оказать никакого заметного влияния, — просто чистая природа воздействовала на чистого человека. Тогда чувства и ощущения наши — точно такие же, что и впоследствии, но только неясно и непонятно в деталях, что же воздействует на нас, какое отраженное действие исходит в свою очередь от него и как все это происходит. Таков *период только природы*.

Наш рассудок развивается, мы начинаем глубже усматривать суть вещей, отчетливее отделяем себя от объекта и объекты друг от друга. Мы лучше понимаем, что с нами происходит, но оставляем

меньше свободы для своих чувств и ощущений и, пока наша культура неполна и односторонняя, искажаем и извращаем свое здоровое и прямое чувство. Таков *период только культуры*.

Наше усмотрение сути вещей ширится, мы, лучше зная самих себя, возвращаем себе естественную свободу, и от заблуждений, на которые соблазнила нас односторонняя культура, вновь выходим на след природы; мы вновь становимся тем, чем и были, но только теперь нам понятны и ясны и мы сами, понятен и ясен мир, и это лучшее и полное понимание сообщило и нашим чувствам, и нашим склонностям совсем иной облик,— они утончены, не переменявшись, однако, в своем существе. Таков *период завершенного воспитания*.

В этот последний период эпический поэт может, правда, вновь подойти к образу человека, соединяя двойное преимущество — природы и культуры. В известной степени он так и поступает. Так, например, наш поэт придал Доротее и судьбе весьма высокую культуру, приобретенную ими, однако, в результате опыта и событий, а не знанием и изучением. Но не говоря уж о том, что от примеси более многообразной культуры мало что выигрывает поэтическое воздействие произведения, поэту нечто иное мешает вполне воспользоваться названным преимуществом.

Преобладание культуры придает всему нашему образу жизни как бы неестественный, искусственный облик, и тем же характером отличаются сами события, происходящие в наши дни. Коль скоро культура возбуждает множество новых потребностей, прежде всего стремясь достичь наибольшего числа целей с наименьшей затратой средств, то между силой человека и всем, производимым им, встает множество орудий, промежуточных звеньев, с помощью которых один-единственный человек способен привести в движение большую массу с меньшей затратой сил. Итак, человек реже выступает как единственная причина события, и еще реже как причина непосредственная. Он либо действует не один, либо не свободно, и по крайней мере — не сам своими руками, не прямо. А взаимодействие людей и событий стало столь многообразным и всемогущим, что мы гораздо чаще наблюдаем случайное — то есть совпадение мелких обстоятельств, не приметных каждое само по себе,— чем решения отдельных людей; исполнение даже самых необычных начинаний зависит чаще от умного расчета всевозможных обстоятельств и умело выработанного плана, чем от силы и мужества отдельного характера. Человек сам по себе бессилен перед лицом другого человека и тем более — толпы; он должен непременно воздействовать массой, должен превращаться в машину. И если какая-то энергия еще сохраняет свою мощь, так это энергия страстей, сами же страсти теряют немало в своей природной колоссальности из-за мелочного тщеславия и холодного эгоизма. Вследствие этого грандиозный характер стал редкостью, или, по крайней мере, реже возникает настроение, при котором его находят в других или дерзко полагают в самих себе.

ХСVI. Возможность героической эпопеи в наше время

При такой непозитической ситуации эпохи у поэта нет дела более неотложного, как уносить нас прочь от этого мира в иной, ближе расположенный к более счастливой древности мир. Поэтому он должен черпать свой материал в той части общества, где естественная природа еще преобладает над культурой, и вообще искать его в частной, а не в общественной жизни; вот почему героическая эпопея становится в наши дни задачей практически неразрешимой.

Античный материал эпическому поэту едва ли можно выбирать так, как трагическому: последний описывает лишь отдельное происшествие, отдельную страсть, а поскольку таковые во все эпохи остаются одинаково человеческими, то он всегда может придать им цвета истины, и благодаря этому трагический поэт обретает сюжет, уже и до него сложившийся в умах его зрителей. Тому же поэту, который должен описать целую жизнь героев вместе с тем, что их окружает, который не может по собственному желанию опускать одни, добавлять другие черты своим образам, на той почве античности всегда будет не доставать естественности и прагматической истины. Но где же найти ему в новейшей истории настоящее эпическое действие, когда бы человек действовал сам по себе, непосредственно, и в то же время выступал как герой? Однако, если и предположить, что он его нашел, то остается иное, практически непреодолимое препятствие. Та самая культура, о которой мы говорили выше, внесла в наши действия еще одну особенность: совершенно независимо от естественной моральной оценки поступков они подчинены еще чисто условной, искусственной мере благопристойности и достоинства. Так, любое физическое занятие, принадлежащее повседневной жизни, считается по таким понятиям неприличным и недостойным культурного человека, — все это он должен предоставлять другим, к которым — и внешне, и внутренне — судьба не была столь благосклонна. Как же теперь эпическому поэту соединить подобное требование с законом высшей чувственности, с законом непрерывной последовательности? Показать ли героя куклой, с которой возятся другие, между тем как он проявляет свою деятельность, приказывая и командуя, вынося решения и произнося речи? Или же описывать только окружающую его массу, то есть события, а не действия, самого же его выставлять, словно бога из тучи, который появляется тогда, когда надо нанести решающий удар?

Пока, стало быть, эпический гений не докажет противоположного на деле, можно — даже и не задумываясь о чудесном, без чего трудно обходиться эпопее, — с полным правом отнести героическую эпопею к числу вещей невозможных в наши дни; до тех пор не остается ничего иного, как заимствовать эпические сюжеты лишь из частной жизни, причем у такого класса людей, который и в наши дни продолжает жить естественней, проще, античнее.

Уже поэма „Герман и Доротея“ доказывает, что от этого не несут большого урона характеры. Все великое и благородное, чем обладает человечество,— все это запечатлено здесь в полном объеме. Напротив, значительную и огорчительную потерю несут возносящая фантазия, воспаряющее вдохновение; однако такая утрата, по всей вероятности (жаль, что сейчас неуместно исследовать вопрос о возможности героической эпопеи в наши дни в общей форме), невозможна по иным причинам — не только из-за отсутствия подходящего материала. Великолепный блеск эпопеи закатился, представляется нам, вместе с греческим солнцем; счастье еще и то, что наш поэт сумел показать нам: чистая определенность их очертаний, живая жизнь их фигур, одним словом, полнокровная цветущая сила греков сохранила свою свежесть и мощь вплоть до наших дней.

XCVII. Изображение простой женственности в образе Доротеи

ЗаклЮчить высшее содержание в наипростейшую форму природы — вот задача, какой должен в полной мере отвечать поэт, создавая свои характеры,— если только он стремится в равной мере удовлетворить ум и воображение читателей.

Успех в этом отношении был бы недостижим для нашего поэта, если бы он не избрал на главную роль среди своих характеров характер женский, который и задает тон в поэме. Ибо лишь в женской природе столь зримо соседствуют и самое естественное и самое высокое воспитание (*Bildung*); лишь в ней первозданное своеобразие души легко одерживает полную победу; лишь над нею не имеет такой власти все разнообразие сословий и занятий. Как мы видели, поэт, не мешая основному воздействию поэмы, мог придать Доротее более тонкое воспитание, более вольный полет души. Поэтому наряду с ее прекрасной индивидуальностью он мог одновременно представить в ней чистый образ женственности.

Ибо сколькими бы описаниями женских характеров ни были мы обязаны Гёте, его мастерству, но одно из них не является столь верной картиной чистой и естественной женственности, как характер Доротеи. Все другие представлены в особенных ситуациях, все другие испытывают особые чувства, или, лучше сказать,— в этом-то и все различие,— ни один не обрисован в духе эпоса. В Доротее же мы видим лишь два свойства, заметные прежде всех иных,— это *деятельное пособление* и *рассудительная проворность*; иные качества выступают на мгновение — по тому или иному поводу; не будь повода, и они были бы скрыты от нас в глубинах ее души; те же два — это нити всей ее жизни, пока остается она в привычном для себя кругу.

Место, где говорится о всеобщем предназначении женщины, принадлежит к числу самых прекрасных и прочувствованных вы-

сказываний об этом предмете. Ни в каком сословии, ни в каких житейских обстоятельствах не может существовать женский характер, не наделенный таким нравом, этой сердечной готовностью помогать другим. Без этого невысказанное чувство домашних добродетелей, — женская красота, величие женщины цветут лишь здесь. Женский род призван царить изящно и достойно, царить над душами. Сознание такого предназначения женщины, сознание, что такая моральная власть достижима лишь путем полнейшего отказа от материальной власти — вот что составляет в своем соединении сущность женственного, описанный женский нрав. Не будь этого сознания, власть женского пола была бы ужасной и возмутительной; не будь этой власти, женская покорность и услужливость сделались бы рабскими и презренными.

Подобная же черта женственности, девичества — кажущаяся холодность, с которой Доротея то отпугивает робкие чувства юноши, то обрывает его полувывысказанные и неясные слова. Она всегда рассудительна, проворна, она всегда начеку, она редко бывает пронука чем-либо или взволнована. Живая деятельность женской фантазии, внимательность к окружающему, та изящная легкость, с которой женщина, предаваясь мысли или чувству, не упускает из виду всего остального, — все это хороший контраст бурному нраву, глубокомыслию и торжественности мужчины, контраст еще более заметный, если, как это происходит здесь, его не смягчает, а лишь больше усиливает индивидуальность характера. Кроме того, все эти свойства таковы, что в том положении, в каком находится Доротея, они могли развиваться самым естественным путем; они же более других способны к высшему и более тонкому развитию.

XCVIII. Идеальность в описании характеров. Соотношение характеров

Своим описанием Доротеи наш поэт доказал, что умеет соединять правду природы и подлинную идеальность. Доротея на деле — то самое, что говорит она о себе:

...покладиста нравом, вынослива, чутка душою *.

Такова она и есть, если смотреть на нее холодным взглядом наблюдателя. Но насколько же больше в ней всего, если смотреть на нее глазами любящего, если смотреть на нее в зеркало воображения, как смотрим мы, вдохновленные поэтом! Образ естества ничуть не переменялся, и, однако, мы можем приписать ей женское величие, любую добродетель женщины, красоту, — все, что можно соединить с этим характером, и ничто не будет ей чуждо, все окажется присущим ей.

Но, быть может, еще более бросается в глаза эта идеальность в описании отца Германа. Такой характер, как он, вполне мог

бы существовать в самой природе, иной раз мы находили бы его терпимым и занятым, но в целом едва ли слишком приятным. Отчего же может он претендовать на идеальность у поэта? Просто лишь оттого, что он своеобразен, просто оттого, что все в нем взаимосвязано, взаимоопределено, что он несет на себе печать чистого порождения фантазии. Отчего устаивается он нашего одобрения? Почему производит он здесь иное впечатление, нежели в самой действительности? Вновь потому, что мы смотрим на него глазами нашего воображения, потому, что в жизни мы видели бы в нем менее совершенного человека, вечно и неизменно приверженного своему ограниченному характеру, сейчас же видим чувственное изображение характера, какой встречается и в жизни, но здесь является перед нами отдельной черточкой на великой картине человечества: в сфере действительности мы направляем свое внимание, с известным беспокойством и озабоченностью, лишь на ограничения и несовершенства характера, тогда как в области фантазии мы, настроенные чище и лучше, постигаем своим взором лишь подлинную силу, подлинное существо характера, а на ограничения смотрим лишь как на момент, придающий характеру его индивидуальный облик.

Сколь хорошо соблюдено у нашего поэта соотношение различных персонажей, мы отмечали выше. Мы показали, как великолепно представлены среди всех прочих юноша и девушка; как окружают их, приближаясь к ним или дальше отстоя от них, согласно степени родства с ними, все остальные характеры, сколь естественно составляют Герман и его родители образ одной семьи,—все они и оба друга — образ соседней-обитателей одного и того же местечка,— как, наконец, все они вместе с общиной изгнанников, вместе с судьей и Доротеей составляют единый образ одной и той же нации, лишь поделенной на различающиеся по внешнему виду и культуре племена.

Повсюду замечаем мы великолепное равновесие, совершенную целостность, самую естественную прагматическую истину, повсюду — подлинный чистый характер эпической поэзии*.

III. Совпадение особенного характера поэмы с общим характером поэтического рода, к которому она принадлежит

Мы завершили двоякое критическое обсуждение, какому намеревались подвергнуть нашу поэму.

Вновь обращая к ней свой взор, мы находим, что субъективный характер поэта находится в полном согласии с объективными законами поэтического жанра, какой разрабатывал поэт.

Мы обнаружили в нем прежде всего чисто поэтический дар представления вещей, природу и истину, покой и простоту, силу и ту полноту содержания, которая приносит удовлетворение силам души, целому человеку. Но именно этих свойств и требует эпиче-

ская поэма, причем именно в этом смещении и настроении — тот особенный вид таковой, к какому мы причислили поэму „Герман и Доротея“.

Но благодаря такому совпадению не могло не возникнуть то самое, из чего, как из целостного воздействия всей поэмы, мы исходили в самом начале (гл. I), — *строжайшая и чисто поэтическая объективность, сочетание совершенной индивидуальности с подлинной идеальностью*. Так и возник такой феномен, что простой и безыскусный предмет переносит нас в мир идеальных фигур, один-единственный образ возвышает нас до самого высокого взгляда на мир, и мы проникнуты самыми глубокими чувствами.

Если нам удалось разъяснить наши мысли, то теперь читатель не просто видит, как все это происходит, но и самым ясным образом понимает, что возможным это стало лишь благодаря тому, *что поэт исключительно овладел нашим воображением*.

CIV. Заключение

Нам ничего не осталось добавить о нашем предмете, а потому да будет нам позволено бросить общий взгляд на эстетику вообще.

Нам в своем исследовании пришлось восходить к ее первопринципам, пришлось задаваться вопросом: *Каким образом вообще возможны эстетические воздействия, осуществляемые художником?* Неизбежно мы должны были затронуть существо искусства, — поскольку из всех поэтических натур натура нашего поэта и из всех поэтических видов вид эпический несут на себе самый чистый отпечаток искусства представления вообще.

Пользуясь таким поводом, мы подвергли более точной проверке наши представления о сущности и методе эстетики вообще, установив, по нашему мнению, что все свои законы она должна выводить исключительно из природы воображения, взятой как таковая и соотносенной с иными душевными силами, и ради достижения полноты должна описывать двойной круг — объективный круг возможностей эстетических воздействий и субъективный круг возможностей эстетических настроений, то есть, чтобы применить сказанное к поэтическому искусству, она должна представлять и оценивать по отдельности как различные поэтические натуры, так и различные поэтические виды.

Таким принципам мы последовали в своем критическом разборе, и он, безусловно, достиг бы своей цели, если бы мог притязать на значение фрагмента разработанной в таком духе целой теории искусства.

Полная же разработка подобной теории была бы наиболее желательной именно сейчас, — она привела бы в более тесную связь, чем прежде, искусство и моральную культуру, все время сопрягая искусство с человеком и его внутренним существом; никогда еще не было большей потребности в том, чтобы соединять и закреп-

лять внутренние формы характера,— нежели теперь, когда внешние формы обстоятельств и привычки грозят нам всеобщей, ужасной катастрофой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	160
О «Германе и Доротее» Гёте	
I. Воздействие поэмы в целом.— Она оставляет в душе чисто поэтическое впечатление	165
II. Главные составные части любого поэтического воздействия. План критики в общих чертах	167
III. Наипростейшее понятие искусства	167
IV. Высота воздействия, какой достигает искусство. Идеальность. Первое понятие об идеальном как о недействительном	169
V. Второе, более высокое понятие об идеальном как о превосходящем любую действительность	170
VI. Всякий настоящий художник всегда стоит перед необходимостью достигать идеального	172
VII. Подражание природе	172
VIII. Второе достоинство искусства на ступени высшего совершенства. целостность (Totalität). Двойкий путь обретения таковой	174
IX. Целостность — это всякий раз необходимое следствие безраздельно воцарившейся силы воображения	175
X. Влияние идеальности изображаемого на целостность	177
XI. Обзор пути поэта от первоначальной его задачи до высочайшей его цели	179
XII. Отличие высокого и подлинного стиля поэзии от псевдостилля	181
XIII. Применение предыдущего к поэме „Герман и Доротея“. Чистая объективность этой поэмы. Первая ступень объективности	182
XIV. Вторая ступень объективности нашей поэмы. Родство стиля поэмы со стилем изобразительного искусства	183
XV. Родство всех искусств между собою. Двойное отношение художника к искусству вообще и к своему искусству в частности	185
XVI. Средства, какими наш поэт достигает объективности, приближающейся к объективности изобразительного искусства	187
XVII. Пояснение сказанного на примере описания Доротеи	189
XVIII. В какой мере наш поэт при родстве его поэзии с изобразительным искусством выявляет особенные преимущества поэзии?	191
XIX. Специфическая природа поэзии как искусства слова	192
XX. Третья и последняя ступень объективности поэмы	194
XXI. Два рода описательных поэм с точки зрения большей или меньшей объективности (на примерах Гомера и Ариосто)	196
XXII. Гомер прочнее связывает части в единое целое	198
XXIII. Ариосто больше считается с эффектом, Гомер воздействует чистой формы	198
XXIV. Колорит	199
XXV. Гомер более наивен, Ариосто более сентиментален.— Итог сравнения	201
XXVI. Влияние различия описательных поэм на выбор метра	202

XXVII. Какой из этих двух видов предпочитает наш поэт? Об этом рассказывают созданные им образы	203
XXXVIII. Безыскусная простота и естественная правда поэмы	203
XXXIX. Соединение чистой объективности с простой истиной уподобляет поэму творениям древних	206
XL. Отличие нашей поэмы от творений древних.— Недостаток чувственного богатства	207
XLI. Недостаток чувственного богатства особенно бросается в глаза в использовании чудесного	210
XLII. Отличие нашей поэмы от творений древних открывается в одном, присущем ей достоинстве	211
XLIV. Богатство содержания поэмы для духа и чувства. Своеобразное обращение с этим содержанием	213
XLV. Своеобразие соединения в нашей поэме подлинно современного содержания с истинно античной формой	217
XLVI. Отечественный характер нашего поэта в сравнении с древними и новыми поэтами других народов	219
XLVII. Влияние своеобразия поэмы на ее целостное воздействие	220
XLVIII. Итоги. Всеобщий характер, присущий нашему поэту	221
XLIX. Оправдание избранной для характеристики нашего поэта последовательности	222
L. Беглый взгляд на соотношение между характером нашего поэта вообще и особенным характером поэмы	223
LI. Двоякая оценка произведения искусства	224
LII. Эпическая поэзия. Неопределенность ее обычного понимания	225
LIII. Метод выведения различных поэтических видов	226
LIV. Всеобщий характер эпопеи. Из какого настроения души происходит потребность в эпической поэзии?	227
LV. Состояние всеобщего созерцания в противоположении его состоянию определенного ощущения	227
LVI. Особая характеристика всеобщего созерцательного состояния	228
LVII. Связь состояния всеобщего созерцания с деятельностью поэтического воображения. Возникновение эпической поэмы.	230
LVIII. Свойства состояния всеобщей созерцательности	231
LIX. Свойства поэтического воображения относительно с описанным состоянием	232
LX. В соединении состояния всеобщего созерцания и поэтического воображения подобные же свойства формы вступают между собой во взаимодействие. Влияние этого на эпическое настроение	234
LXI. Дальнейшее описание чисто эпического настроения	235
LXII. Дефиниция эпопеи	237
LXIII. Различие между эпопеей и трагедией	238
LXIV. Трагедия возбуждает определенное чувство и потому лирична.	240
LXV. В чем сходны между собой оба поэтических вида? — В чем они не сходны?	242
LXVI. Отчего творения древних порождают такой покой?	243
LXVII. Различие между эпопеей и идиллией. Характер последней в связи с настроением, из какого она происходит	244
LXVIII. Характер идиллии в связи с предметом в ней описываемым	245
LXIX. Различие между эпопеей и другими повествовательными, но не эпическими стихотворениями	247

LXXI. Возражение против приложения понятия эпопеи к настоящей поэме	248
LXXII. Ответ на возражение.— Понятие героического	249
LXXXIII. Обычное понятие эпопеи. Невзирая на неопределенность понятия, в его основе содержится истина	250
LXXXV. Неопределенное понятие эпопеев становится определенным, если вести его к понятию героического	251
LXXXVI. Возвешение предмета и призывание Музы в эпопее	252
LXXXVII. Два эпических жанра	253
LXXXVIII. Своеобразное величие предмета в нашей поэме	256
LXXXIX. Основная тема поэмы	257
LXXX. Величие выведенных в поэме характеров и событий	258
LXXXI. Итог целого.— Подлинный материал поэмы	260
LXXXII. Законы эпопеев.— Закон наивысшей чувственности	262
LXXXIII. Закон непрерывной последовательности	263
LXXXIV. Закон единства	264
LXXXV. Закон равновесия	265
LXXXVI. Закон целостности	266
LXXXVII. Закон прагматической истины	267
XCv. Отношение культуры и культурной эпохи к эпосу	269
XCvi. Возможность героической эпопеи в наше время	271
XCvii. Изображение простой женственности в образе Доротен	272
XCviii. Идеальность в описании характеров. Соотношение характеров	273
СIII. Совпадение особенного характера поэмы с общим характером поэтического рода, к которому она принадлежит	274
СIV. Заключение	275

Существует ряд попыток рассматривать отдельные рассеянные, как будто случайные события под одним углом зрения и выводить их друг из друга в соответствии с принципом необходимости. Первым наиболее систематично и абстрактно осуществил это Кант; за ним последовали многие другие*. К попыткам такого рода относятся все так называемые философии истории, и стремление создавать исторические системы едва ли не вытеснило саму историю или, во всяком случае, чувство истории.

Однако, не говоря о том, что эти системы не историчны, и уж меньше всего всемирно-историчны, то есть что события толкуются в них произвольно и опускаются целые разделы, если они не соответствуют общему построению, они обычно обладают еще и тем недостатком, что рассматривают человеческий род преимущественно в аспекте его интеллектуального развития, совершенствования индивидов и общества,— развития, которое к тому же часто понимается односторонне, просто как культура,— и не уделяют достаточного внимания связи людей с их почвой и мирозданием, то есть естественноисторическому аспекту их существования.

Тем не менее отказаться от такого рода задачи невозможно. Слишком очевидна связь между событиями, чтобы можно было уклониться от попытки сделать эту связь более ясной там, где она недостаточно отчетливо проступает, привнести ее туда, где она как будто отсутствует. Власть, которую идеи на протяжении веков осуществляют над людьми, слишком очевидна, она заставляет нас верить в то, что все преобразования в судьбах людей подчинены одной великой руководящей идее, придает нам смелость пытаться разгадать ее сущность. И наконец, глубокий интерес у индивида и общества вызывает следующий вопрос: каким будет последующее раз-

Wilhelm von Humboldt. Betrachtungen über die Weltgeschichte (1814).

витие человечества, которое возникнет из нынешнего его состояния так же, как нынешнее возникло из предыдущего?

Итак, для того чтобы провести столь привлекающее нас исследование, полностью отдавая себе при этом отчет во фрагментарности наших сведений об исторических событиях, мы со всей добросовестностью и тщательностью соберем и сопоставим в нашем дальнейшем изложении все данные, предоставляющие нам возможность, как со стороны идеи, так и в рамках опыта обосновать и показать связь изменений в жизни человеческого рода, его предполагаемый прогресс, уходящий в бесконечность, или постоянно возвращающееся к своему началу движение по кругу. Не желая следовать заранее преднамеренно поставленной цели, мы бросим ретроспективный взгляд на истоки нашего рода, ознакомимся с природой его индивидов и общества, чтобы тем самым либо заложить прочный фундамент того здания, которое впоследствии будет воздвигнуто иными, более умелыми руками, либо указать места, где почва недостаточно пригодна для того, чтобы здание было устойчивым.

Подобное исследование сразу же проникает в высшие сферы истории и выводит за ее обычные пределы, а в ряде своих частей — за пределы всякого опыта вообще. Оно заставляет попеременно размышлять то о чарующем многообразии истории, то о ее высших проблемах. Вместе с тем это исследование, пренебрегая узкими ограниченными интересами настоящего, показывает, как мелко подчас то, что представляется нам великим, причем самым мелким и ничтожным по сравнению с судьбами человеческого рода в целом и его сущностью оказываются стремление к господству и готовность к столкновениям, присущие так называемым цивилизованным нациям, уничтожение государств и их создание из чисто политических соображений, а также все то, в основу чего положен произвол отдельных людей, а не независимая воля целых народов.

1) Введение.— Философский раздел.— Исторический раздел.

2) Введение.— Чего следует ожидать и что делать? — Какие силы являются движущими в истории? В чем заключается правильность их предшествующего изучения?

3) Чего следует ожидать и что делать? — Человеческий род является таким же созданием природы, как род львов или слонов; его различные племена и народы — продукты природы, подобно породам арабских скакунов и исландских лошадей, лишь с тем отличием, что здесь уже в самом зародыше к зримым для нас силам их формирования присоединяется идея языка и свободы, выраженная в большей или меньшей степени (см. п. 4).

Отдельный человек является по отношению к своему народу таким же индивидом, как лист по отношению к дереву; градация индивидуальности может идти от нации к группе народов, от нее к расе, от расы — к человеческому роду. Подчиненный этому индивид может двигаться вперед, назад или видоизменяться, но лишь внутри определенного круга (см. п. 5).

Существует момент морального созидания, когда индивид (будь

то нация или отдельный человек) становится тем, чем ему предназначено быть, и не постепенно, а внезапно и сразу. Тогда начинается его бытие, ибо до того он был иным. Такое начало служит одновременно и зрелостью, за ним непосредственно следует просто развитие того, что уже сложилось, упадок сил, попятное движение. Однако между осознанием действительно достигнутой вершины и моментом, когда проявится упадок, существует промежуток, и это самый прекрасный период.

Природа создает великое и мелкое лишь в определенный период, в период своей плодотворности, который можно назвать ее молодостью; все то, что не связано с новым созиданием, а только развивается и формируется, приближается к гибели. Поэтому процесс облагораживания человеческого рода не идет по ступеням; не следует ждать, что он проявится в отдельном индивиде или даже в группе индивидов; облагораживание происходит лишь в результате все новых и новых опытов созидательной силы природы и всегда поражает своим обновлением. Правда, подчас в том, что уже пришло в упадок, сохраняются идеи, которые способствуют или помогают дальнейшему созиданию, осуществляемому природой, однако плодотворными они могут быть лишь в том случае, если подхватываются свежими или обновленными силами.

Помимо облагораживания человеческого рода существует та его жизнь, которая находится в многообразной и тесной связи с этим процессом и вместе с тем обладает ценностью сама по себе. Эта жизнь заключена в границы, в пределах которых люди сохраняют и развивают себя, и, если судьба не вторгается в их жизнь, она способна протекать равномерно и постепенно улучшаться.

Итак, то и другое — развитие, ступени которого доступны наблюдению, а также новые образования и революции — составляют всемирную историю, и ход ее можно наблюдать и понять, только учитывая оба эти обстоятельства.

Однако прежде всего следует решительно отказаться от избирательного внимания к отдельным индивидам, необходимо всегда видеть перед собой целое — только в нем выявляется рост благородства. Ибо вся сила бытия составляет в созидании лишь единую массу, и, подобно тому, как индивидуальность в качестве чего-то относительного способна только к постепенному развитию, ее сознание является сознанием индивидуального и мгновенного бытия; полагать же, что связь бытия нарушается, если индивидуальности формируются по иному принципу, означает судить о том, что недоступно ни созерцанию, ни понятию. Бытие во времени — это созидание и гибель, пребывание в неизменности является лишь обманчивой видимостью. Поэтому всемирная история в ее дискретном земном бытии — не более чем зримое решение (за счет ли того, чтобы исчерпать понятие или же достичь некоей, в соответствии с неизвестными нам законами, поставленной цели) следующей проблемы: каким образом содержащиеся в человечестве полнота и многообразие силы постепенно получают свою реализацию. Человечест-

во, проявляя себя, может жить и творить только в вещественной природе и само содержит в себе часть этой природы. Дух, господствующий в ней, переживает отдельного человека, поэтому самое важное в понимании всемирной истории — наблюдать за продвижением, преобразованием, а подчас и гибелью этого духа. Однако природа и дух не пребывают в борьбе друг с другом: напротив, дух использует природу и ее созидательную силу. Различие между ними находится, по-видимому, вне их, строго говоря, единой сущности и объясняется лишь ограниченностью нашего воззрения (см. п. 7).

Следовательно, в обозримых границах времени, пространства и бытия не надо ждать постоянно прогрессирующего совершенства или прославляемого, обетованного, зависящего как будто только от нашего усердия прогресса цивилизации, — едва ли она достойна такого наименования, ибо, извращенная, она сама роет себе могилу; нам следует доверять тому, что сила природы и идей неисчерпаема, что все, созданное где бы то ни было, неминуемо перейдет в нашу, связанную с целым сущность и пойдет нам на пользу и что в настоящем и в унаследованном нами прошлом заключен неисчерпаемый материал, обработка которого заполнит даже самую продолжительную жизнь.

Наша задача заключается в том, чтобы постоянно сохранять плодотворную силу, необходимую для новых живых духовных порождений, противодействовать всему мертвому и механическому, серьезно и добросовестно действовать в обычной жизни, внося в нее, насколько это возможно, оживляющий дух.

4) *К п. 3, с. 280.* Человеческий род возникает на земле так же, как роды животных, и распространяется он так же: люди объединяются в общины, распадаются на народы, отличаясь лишь большей потребностью в общении, оседают или кочуют — в зависимости от потребностей или игры фантазии, — претерпевают вследствие этих потребностей в их сочетании со страстями революции, войны и т. д. Во всем следует искать не конечные намерения, а причины, и они часто носят физический и животный характер. Движение человеческого рода, обнаруживаемое в истории, возникает, подобно всякому движению в природе, из стремления действовать и порождать, из преодоления препятствий на пути к этому стремлению, и следует определенным законам, которые, правда, не всегда заметны. Поскольку же человек по своей природе интеллектуален, ко всему этому хаотическому потоку присоединяются дух и идея; это удастся или не удастся; они переходят в определенных формах от народа к народу, изменяясь, расширяясь или сужаясь, совершенствуясь или ухудшаясь. И вдруг благороднейший продукт духа уничтожается стихийным бедствием или варварством. Нет сомнения, судьба не щадит творения духа — в этом состоит безжалостность всемирной истории. Однако в результате революций возникают новые формы, полнота силы являет себя в постоянно меняющихся и все более благородных образах; конечная цель, как и сущность всего происходящего, состоит только в том, чтобы эта сила нашла свое выраже-

ние и, выйдя из хаоса, достигла ясности. Даже самому грубому и дикому движению в природе сопутствует никогда не погибающая идея. Там, где рушится кратер, где встает вулкан, формы их являют собою прекрасное или возвышенное; где возникает народ, оживает духовная форма; и фантазия и чувство звучат в его языке. Поэтому в любой гибели есть утешение, в любой потере — возмещение.

5) *К п. 3, с. 280.* Жить означает сохранять с помощью таинственной силы в матеральной массе форму мысли как господствующий закон. В физическом мире эта форма и этот закон называются организмом (*Organisation*), в интеллектуальном и моральном — характером. Порождать означает предоставить упомянутой таинственной силе действовать или, другими словами, зажечь силу, которая внезапно вырывает из массы известное количество материи в совершенно определенной форме и на длительное время противопоставляет эту форму в ее своеобразии всем остальным. Таким образом, истинная индивидуальность возникает изнутри, внезапно и сразу; тем самым она не порождается жизнью, а только в жизни достигает сознания, и часто в затемненном или искаженном виде. Однако, поскольку человек есть животное общественное — в этом специфика его характера, — поскольку другой ему нужен не для защиты, оказания помощи, воспроизведения, сохранения жизненных привычек (как некоторым видам животных), а потому, что он возвышается до осознания Я, а Я без Ты представляется его раскуску и чувству бессмыслицей, — то в его индивидуальности (в его Я) одновременно освобождается индивидуальность его общества (его Ты). Следовательно, нация также является индивидом, а отдельный человек — индивидом индивида. Посредством непостижимой, однако несомненной, связи организма с характером эта индивидуальность становится более прочной, в ней возможны различные сферы, и чем в большей отдаленности находится такая сфера, тем большее значение имеет для нее организм.

6) Какие силы являются движущими в истории? Это силы, определяющие судьбы человеческого рода, рассмотренные в их целостности, — силы порождения, воспитания и инерции.

Первая создает новые народы и новых индивидов или преобразует старые, что равносильно новому возникновению. Основную роль здесь играют революции в природе. Разброд и воссоединение, склонность к оседлости и кочевая жизнь, в результате которых на заре нашей истории и даже раньше складывались и распались племена, вызывались большей частью причинами географического, климатического и физического характера. За ними следуют преобразования в результате исторических революций и, наконец, те, которые не были связаны с отдельными великими событиями, а являлись просто следствием установившегося хода развития. Исследовать, что преимущественно способствовало возникновению выдающихся народов или выдающихся индивидов, в равной мере важно и интересно. Яркие примеры, известные нам из истории, свидетельств-

вуют о том, что выдающиеся народы возникали не в ходе постепенного формирования, а сразу и как бы из ничего; доказательством этого могут служить столь не сходные между собой греки и римляне. Художественная натура первых вообще исключает представление о постепенном формировании. Рим же с момента своего появления воплотил в себе идею государства, непоколебимого и все более расширяющего свои границы.

Сила воспитания — это то, к чему стремятся народы и отдельные люди. В этой сфере властвуют идеи, здесь возникает важная проблема — определить границы воспитания, его возможные последствия. Нация, которая почти полностью — в той мере, в какой это возможно, — воплощает в себе воспитание и может в данном случае служить наилучшим примером — это французы. Есть известный круг всеобщих идей, которые повсеместно существуют скорее сами по себе, в мыслях и чувствах, чем привносятся извне. К ним относятся прежде всего те идеи, которые лежат в основе религии, государственного устройства, общественной, семейной и личной жизни. (Следовательно, также развлечения, искусство, философия и наука.) Эти идеи и являются главными, формирующими народы силами, причем близость, которая часто наблюдается у отдельных народов в сфере искусства, философии и науки, не всегда объясняется тем, что одно происходит из другого или заимствуется, так же как и близость некоторых языков.

Сила инерции обнаруживается в животной жизни и в интеллектуальной и моральной жизни тех народов и отдельных людей, в чьи привычки и страсти привнесены животные черты. Однообразное существование египтян, индийцев, мексиканцев и т. п. — результат действия этой силы *.

Из этих различных сил, оказывающих, в отдельности или сообща, свое воздействие на человечество, воздействие, которое подчас трудно распознать, складываются судьбы человеческого рода: каждый раз, когда в нем возникает какой-либо поражающий нас образ (будь то народ или индивид), мы, описывая и оценивая его, можем лишь спросить, как он возник и стал таким, каким мы его видим?

7) *К п. 3, с. 281.* Под упоминаемым здесь целым следует иметь в виду не то человечество, которое живет теперь или жило в какое-то другое время, а понятие человеческого рода. Оно находит свое частичное выражение в каждом народе и в каждом индивиде, а вследствие возможной связи между людьми, живущими одновременно, — и в каждой эпохе, но как целое существует лишь в никогда не достигаемой тотальности всех постепенно выступающих в действительности отдельных явлений. Представить себе, что понятие человеческого рода в его временных рамках, даже в этой своей тотальности, сможет когда-либо расширяться, сдвинуть древние веки творения, невозможно. *Μη ματερε θεος γενεσθαι!* Но возможно и необходимо, чтобы постепенно все более ясно осознавалась сущность человечества, глубина внутри данных ему границ, чтобы дух в своем стремлении и частичном осуществлении этого стремления воспри-

нял идею человечества и (подобно тому, как идея Ты воспринимается посредством Я) идею божества, то есть силы и закономерности самой по себе во всей ее чистоте и плодотворности. Но если в этом и состоит польза всемирной истории, то это никак нельзя считать целью человеческих судеб. Подобных целей, как бы они ни назывались, не существует; колесо судьбы вращается так же непрерывно, как непрерывно текут с гор реки в море, как травы и злаки всходят на полях, как насекомые прядут коконы и выходят из них бабочками, как народы, притесняя и подчиняясь притеснению, уничтожают друг друга и исчезают с лица земли. Сила универсума в ее доступном нам временном рассмотрении является непрерывным движением; поэтому в истории следует искать не выведенные на основании нескольких тысячелетий намерения, приписываемые некоей посторонней, смутно ощущаемой и еще более смутно познанной сущности, а силы природы и человечества. Однако, поскольку целое может быть познано лишь в единичном, необходимо изучать нации и индивидов.

8) Ошибки существующих взглядов на всемирную историю заключаются в следующем:

в том, что почти все внимание уделяется только культуре и цивилизации, их прогрессирующему совершенству, в связи с этим произвольно возникают степени этого совершенства и остаются незамеченными важнейшие зародыши, из которых должно возникнуть великое, подобно тому, как из подобных же зародышей возникло великое в прошлом;

в том, что люди рассматриваются преимущественно как существа, наделенные разумом и рассудком, и в недостаточной степени — как продукты природы;

в том, что завершение истории человеческого рода усматривают в достижении всеобщего, абстрактно мыслимого совершенства, а не в развитии возможностей великих индивидуальных форм.

9) В соответствии с изложенной здесь точкой зрения внимание во всемирной истории должно быть обращено:

на отдельные народы или отдельных индивидов; им надлежит посвятить ряд монографий — по возможности в порядке их возникновения;

на воздействие, которое они оказывали друг на друга и на свое воспитание;

на их отношение — по отдельности и вместе — к понятию человечества, к созданным им общим идеям и друг к другу в свете этих идей;

на влияние, оказываемое теми, кто существует одновременно с ними, на весь человеческий род и на длительность его существования;

на возникновение новых интересных явлений в истории человечества и на неуклонное следование отдельными народами однажды избранным ими путем.

При таком методе прослеживаются все нити, связывающие со-

бытия человеческой жизни от их начала до их конца, а там, где эта связь отсутствует или недоступна нашему взору, выявляется все многообразие человеческих образов в той мере, в какой оно может быть привлекательным или поучительным для нас. Всемирная история рассматривается с трех точек зрения:

как одна из важнейших сфер действия силы универсума;

как клубок подчас оборванных, но зачастую длительно сохраняющихся нитей, клубок, распутать который надлежит с помощью знаний и проницательности;

как мерило блаженства и совершенства, которые ждут человеческий род в будущем, и как поучение, которое позволит сохранить и возвысить то и другое.

Однако для того, чтобы применить эти размышления к реальной истории, необходимо сначала провести множество философских исследований; они помогут проверить, насколько возможны обнаруженные нами явления и их взаимосвязь, и тем самым правильно оценить их внутреннее значение и внешнее влияние. Подобную проверку и оценку предпочтительнее всего проводить на основе опытных данных, чтобы сразу же, насколько это необходимо, использовать исторический материал, ибо и здесь речь всегда будет идти одновременно и о предметах экспериментального исследования. То, что, согласно этому методу, уже рассмотрено с исторической точки зрения в разделе, посвященном общим размышлениям, в историческом разделе может быть лишь кратко упомянуто.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДВИЖУЩИХ ПРИЧИНАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Данные наблюдения отличаются от всех предпринятых до сих пор исследований всемирной истории.

В намерение автора не входит пояснять взаимосвязь событий, искать в происшествиях причины становления судеб человеческого рода и сочетать отдельные факторы в настолько единую ткань, насколько это допускает их взаимно обоснованная последовательность.

Наши наблюдения не предназначены и для того, чтобы проследить — как это обычно делается в работах по истории человечества и его культуры — внутреннюю взаимосвязь целей и показать, как человеческий род поднимался от ранней стадии грубости и неоформленности ко все большему совершенству.

Если это с достаточным основанием именуют философией истории, то здесь пойдет речь (мы надеемся, что это определение не слишком смело) о ее физике. Наше внимание будет направлено не на конечные причины, а на причины, движущие историю; мы не будем перечислять предшествующие события, из которых возникли события последующие; в нашу задачу входит выявить сами силы, которым обязаны своим происхождением те и другие. Поэтому речь здесь пойдет о расчленении мировой истории, о том, чтобы распустить созданную упомянутыми исследованиями ткань, однако расчленена она будет на новые составные части, которые не содержались в прежней. Но и настоящая работа также приведет к конечным причинам, так как первые причины, являющиеся движущими силами истории, могут находиться лишь там, где сила и намерение соприкасаются и требуют друг друга.

Вряд ли, впрочем, здесь необходимо указывать на то, что понятие движущего мировыми событиями провидения не введено лишь потому, что, будучи положено в основание объяснения, оно преры-

Wilhelm von Humboldt. Betrachtungen über die bewegenden Ursachen in der Weltgeschichte. (Фрагмент) (1818).

вает всякое дальнейшее исследование. Доступные нашему познанию движущие силы истории могут быть обнаружены только в природе и структуре того, что создано этой первой и наивысшей силой.

Причины мировых событий могут быть сведены к одному из следующих трех факторов: к

природе вещей,
свободе человека и
велению случая.

Природа вещей определена либо полностью, либо внутри известных границ; она неизменна; к ней следует отнести в первую очередь моральную природу человека, так как человек, особенно если иметь в виду его действия в рамках целого и в массе, также не выходит за пределы известной единообразной колеи, получает от одних и тех же предметов приблизительно одни и те же впечатления и в свою очередь примерно одинаково воздействует на них. В этом ее аспекте вся мировая история, ее прошлое и будущее в некоторой степени допускает математическое исчисление, и полнота этого исчисления зависит только от объема нашего знания о причинах, являющихся движущими силами истории. До некоторой степени это, пожалуй, верно. В развитии и падении большинства народов можно увидеть почти одинаковый процесс; всматриваясь в состояние мира непосредственно после конца второй Пунической войны, можно, принимая во внимание характер римлян, едва ли не с полной уверенностью предсказать, что они шаг за шагом завоюют мировое господство; некоторые местности — Ломбардия в Италии, центральная часть Саксонии в северной Германии, Шампань во Франции — как бы самой природой предназначены служить ареной войн и сражений; в политике ряд регионов — Сицилия в древней истории, Брабант в новое время — на протяжении веков остаются целью и предметом столкновения страстей и вождений. Существуют эпохи, когда — и это можно почти доказать — ни один, даже самый выдающийся человек не мог бы осуществить мировое господство. К ним относится период между сражением у Саламина и концом Пелопонесской войны, когда соперничество между Афинами и Спартой препятствовало созданию единовластия в Греции, единственной точке на земном шаре, откуда оно могло тогда исходить; эпоха, наступившая непосредственно после смерти Карла V, когда величина его разделенного государства не допускала возникновения другого; эпоха между смертью Людовика XIV и Французской революцией, когда могущество государств превратилось в своего рода механизм, который постепенно стал распространяться повсюду и в результате чего установилось известное равновесие между государствами. Даже такие, на первый взгляд случайные, происшествия, как браки, смерти, рождение внебрачных детей, преступления, происходят в течение ряда лет с поразительной регулярностью, которая может быть объяснена только тем, что и произвольные действия людей подобны природе, постоянно следующей единообразным законам в круговороте своего движения. Изучение этого механического и — по-

сколько ничто не оказывает столь существенного влияния на события человеческой жизни, как сила нравственного избирательного сродства, — химического способа объяснения мировой истории в высшей степени важно, и особенно в том случае, если внимание направлено на точное знание законов, согласно которым действуют и испытывают обратное воздействие отдельные составные части истории, ее силы и реагенты. Так, например, исходя из внутренней природы многих языков — греческого, латинского, итальянского, французского, — можно доказать, что долговечность, а тем самым и сохраняющаяся сила и красота языка зависят от того, что можно было бы назвать его материалом, от полноты и жизненной силы восприятия, присущего людям, в груди и устах которых этот язык возник, а отнюдь не от культуры наций; что поэтому не может процветать язык, на котором говорит недостаточно большое число людей, и лишь языки тех народов, которые в течение ряда веков терпевают удивительную судьбу, распространяются так далеко, что в них возникает как бы особый мир (это явствует, даже если не обращаться к истории, из грамматического, и прежде всего лексического, строя этих языков); и наконец, что язык всегда останавливается в своем развитии, как только нация в целом перестает жить деятельной внутренней жизнью в качестве массы, в качестве нации. Жизнь народов, так же как жизнь индивидов, имеет свою организацию, свои стадии и изменения. Ибо, помимо действительной индивидуальности человека в качестве числовой единицы, существуют и иные ее степени и расширения — в семье, в нации, через различные круги меньших и больших племен, во всем человеческом роде. Во всех этих кругах различной величины более далекими и более тесными узами связаны не только люди одной близкой организации; существуют такие связи, внутри которых действительно все, подобно членам одного тела, являются одним существом. До сих пор при изучении народов основное внимание почти всегда уделялось только внешним, воздействующим на них причинам, преимущественно религии и государственному устройству, и совершенно недостаточно — их внутренним различиям, в частности самому поразительному явлению, которое заключается в том, что некоторые народы живут, подобно обладающим социальной структурой животным — одни делятся на касты, другие — на индивидуальности, — а также тем различиям, которые возникают из более или менее соразмерного деления народов на мелкие племена и из сотрудничества этих племен друг с другом. Подобное точное и полное исследование приведет к пониманию характера еще многих предметов, и первая задача расчленения всемирной истории, такой, как изучаемая нами, состоит в том, чтобы продолжать, насколько это возможно, это исследование, все время сравнивая полученные данные со всей совокупностью мировых событий.

Однако тщетно было бы искать на этом пути их подлинное объяснение. Связь событий носит механический характер лишь отчасти, лишь постольку, поскольку действие оказывают мертвые силы

или те живые силы, которые в своем действии до известной степени сходны с ними; там же, где эта связь переходит в область свободы, всякое исчисление прекращается; из глубины великого духа или могучей воли может внезапно возникнуть новое, ранее неведомое, и судить о нем можно лишь в очень широких границах и с применением совсем иных масштабов. Это, собственно говоря, и есть прекрасная, вдохновляющая область мировой истории, поскольку в ней господствует творческая сила человека. Когда сильный дух, сознательно или бессознательно пренесполненный великими идеями, размышляет над способным принять определенную форму материалом, всегда возникает нечто родственное этим идеям и поэтому чуждое обычному природному процессу. Тем не менее, поскольку оно всегда принадлежит движению природы, оно связано со всем, что ему предшествовало, только во внешней последовательности, так как его внутренняя сила всем этим объяснена быть не может, и вообще не может быть объяснена механически. О какого рода материале, о каких рождениях здесь идет речь, совершенно безразлично; явление остается неизменным, идет ли речь о мыслителе, поэте, художнике, воине или государственном деятеле. От двух последних преимущественно зависят мировые события. Все они следуют велениям высшей силы, и там, где предпринятое им удается, создают нечто такое, что они сами ранее лишь смутно предчувствовали. Их деятельность относится к тому порядку вещей, о котором нам известно только то, что он подчинен совершенно противоположным связям окружающего нас мира. Подобно гению, о котором здесь шла речь, вторгается в ход мировых событий и страсть. Подлинная, глубокая страсть, которую действительно можно считать таковой (поскольку страстью часто называют лишь сильное мгновенное вожделение), подобна идее разума в том отношении, что она стремится к чему-то бесконечному и недостижимому; однако от подлинной страсти вожделение отличается тем, что оно прибегает к конечным и чувственным средствам и направлено на конечные предметы как таковые. Поэтому страсть являет собой полное смешение сфер и всегда в большей или меньшей степени влечет за собой разрушение собственных физических сил. Если такая страсть действительно ведет лишь к простому смешению сфер, а сама цель ее бесконечна, как это бывает в религиозном экстазе или в чистой любви, то ее можно считать разве что ошибкой, и она, действительно, может быть ошибкой благородной души, само конечное бытие которой следовало бы, пожалуй, назвать ошибкой природы. В этом случае стремление к божественному истощает земную силу. Однако чаще всего страсть оказывается бесконечной только по форме своего стремления, и от природы ее ограниченного и самого по себе ничтожного предмета зависит, способна ли эта форма ее облагородить или сделать ненавистной и презренной. Лишь немногие охарактеризованные здесь страсти оказывают серьезное влияние на ход мировой истории. Ведь если обычная по своему существу страсть в силу сцепления обстоятельств приводит к значительным изменениям, как это произошло в связи

со смертью Виргинии и в бесчисленном количестве других случаев, то это можно с полным основанием отнести к сфере случайного. Что воздействие гения и глубокой страсти принадлежит к разряду вещей, который отличается от механического природного процесса, несомненно; однако, строго говоря, это можно отнести к любому проявлению человеческой индивидуальности. Ибо то, что лежит в ее основе, есть нечто, само по себе не допускающее исследования, самостоятельное, само приступающее к своим действиям и необъяснимое никаким влиянием, которое оно испытывает (поскольку оно скорее определяет их своим обратным действием). Даже если бы материя действия была бы одной и той же, действие все равно оказалось бы различным по индивидуальной форме, той достаточной или избыточной силе, легкости или напряжению и всем тем несказанно мелким определениям, которые придают личности особый отпечаток и которые мы ежеминутно обнаруживаем в повседневной жизни. Однако они-то и обретают значение в мировой истории, формируя характер наций и эпох, и знакомство с историей греков, немцев, французов и англичан с полной отчетливостью свидетельствует о том, какое решающее влияние оказало на их собственную судьбу и судьбы мира даже одно только различие в постоянстве и устойчивости их мышления и чувств.

Следовательно, два различных по своей сущности, кажущихся даже противоречивыми, ряда вещей являются бросающимися в глаза причинами, движущими мировую историю: природная необходимость, от которой и человек полностью освободиться не может, и свобода, которая, вероятно, тоже, хотя и непонятным нам образом, участвует в изменениях, происходящих в не-человеческой природе. Оба эти ряда всегда ограничивают друг друга, но с той удивительной разницей, что значительно легче определить то, что природная необходимость никогда не позволит совершить свободе, чем то, что свобода намеревается предпринять по отношению к природе. Проникновение в то и другое возвращает нас к человеку; свобода с большей силой проявляется в отдельном человеке, а природная необходимость — с большей силой в массах и в человеческом роде, и для того чтобы известным образом определить царство первой, необходимо прежде всего развить понятие индивидуальности, а затем уже обратиться к идеям, которые в качестве данного ей в ее бесконечности типа служат для нее истоком, а затем в свою очередь воспроизводятся ею. Ведь индивидуальность является в каждом роде жизни лишь массой материала, подчиненной некоей неделимой силе в соответствии с данным единообразным типом (так как под идеей мы понимаем это, а не нечто, действительно мыслимое). Идея, с одной стороны, и чувственное образование индивидов какого-либо вида — с другой, могут привести к открытию одного через другое — одна в качестве причины образования, другое в качестве символа. Спор свободы и природной необходимости не может быть удовлетворительно решен ни с помощью опыта, ни с помощью рассудка.

Задача историка заключается в изображении происходившего. Чем верней и полнее ему это удастся, тем совершеннее он выполнит свою задачу. Простое изображение событий является первым непреложным требованием в его деле и вместе с тем высшим, что ему дано совершить. В этом аспекте он как будто является лишь воспринимающим и воспроизводящим, а не действующим самостоятельно и творчески.

Однако происходившее различимо в чувственном мире лишь отчасти, остальное должно быть привнесено посредством чувствования, выводов и догадок. То, что являет себя нам,— рассеянно, бессвязно, единично; то, что объединяет отдельные явления, представляет единичное в его подлинном свете и придает форму целому,— недоступно непосредственному наблюдению. Это наблюдение способно воспринять лишь сопутствующие друг другу и следующие друг за другом обстоятельства, но не внутреннюю причинную их связь, на которой ведь только и основана внутренняя истина. Когда мы пытаемся рассказать о самом незначительном факте, стремясь со всей точностью сообщить только то, что действительно произошло, мы очень быстро замечаем, что при отсутствии величайшей осторожности в выборе и взвешивании выражений во все детали рассказа примешиваются мелкие детали случившегося, в связи с чем наши сообщения о предмете становятся ложными или неточными. Даже самый язык способствует этому, так как, пронестекая из всей душевной полноты, он часто бывает лишен выражений, которые были бы вполне свободны от всех сопричастных им понятий. Поэтому встречающийся столь редко дословно точный рассказ как ничто другое служит доказательством здравого, хорошо организованного, четко дифференцирующего мышления и свободного, объективного умонастроения; поэтому историческая истина в известной мере подоб-

¹ Wilhelm von Humboldt. Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers (1821). Прочитан 12 апреля 1821 г.

на облакам, обретающим для нас форму только на расстоянии; поэтому исторические факты внутри отдельных связывающих их событий суть не многим большее, чем результат преданий и исследований, которые с общего согласия решено считать истиной, поскольку они, будучи наиболее вероятными сами по себе, наилучшим образом соответствуют связи целого.

Но простое обособление того, что действительно произошло, едва ли дает нам каркас событий. Таким путем мы обретаем только необходимую основу истории, ее материал, но не саму историю. Установиться на этом означало бы пожертвовать подлинной, внутренней, основанной на причинной связи истиной в пользу истины внешней, буквальной, кажущейся; это означало бы принять уже известное заблуждение, чтобы тем самым избежать опасности заблуждения еще неведомого. Истинность всего происходившего требует добавления той недоступной взору части каждого факта, о которой речь шла выше, ее и должен привнести историк. В этом аспекте он действует самостоятельно и даже творчески: правда, не создавая того, чего не существовало, но формируя своими силами то, что нельзя непосредственно воспринять в его подлинной действительности. Подобно художнику, но иным способом, он должен внутренне переработать собранные им рассеянные данные в некое целое.

Может показаться сомнительным, что сферы историка и художника соприкасаются хотя бы в одной точке. Однако деятельность того и другого, бесспорно, обладает родственными чертами. Ибо если историк в соответствии с указанными выше положениями достигает в своем изображении истины происходившего, только дополняя и связывая неполные и разрозненные данные непосредственного наблюдения, то сделать это он может, подобно художнику, лишь с помощью фантазии. Но разница, которая устраняет возможную опасность, заключается в том, что фантазию он подчиняет опытным данным и исследованию действительности: в этом процессе действует не чистая фантазия; ее правильнее было бы определить как способность предугадывать и своего рода дар устанавливать связь. Однако тем самым историк была бы отведена недостаточная высокая цель. Установить истину происходивших событий как будто несложно, но это и есть то наивысшее, что может быть мыслимо. Ибо если истина была бы полностью познана, в ней раскрылось бы то, что связывает все существующее в необходимую цепь. Поэтому историк также должен стремиться к необходимому, но не подчинять материал форме необходимости, как это делает художник, а сохранять незабываемыми в глубине своего духа идеи, являющиеся законами этой необходимости; преисполненный только ими, он может найти их след в чистом изучении действительного в его действительности.

Историк охватывает все нити земной деятельности и все отпечатки неземных идей; предметом его изучения служит вся сумма бытия в более близкой или более отдаленной степени, и поэтому он должен следовать всем направлениям духа. Умозрение, опыт и

художественное творчество являются не обособленными, противоположными друг другу и взаимно ограничивающими сферами деятельности духа, а различными аспектами его излучения.

Следовательно, надо идти одновременно двумя путями: искать историческую истину, беспристрастно, критически изучать то, что происходило, и затем соединять обнаруженное, интуитивно постигая то, что этим средствам недоступно. Тот, кто пойдет только первым путем, упустит сущность самой истины; тот же, кто, пренебрегая первым, избрет второй путь, окажется перед опасностью искажать истину в ее деталях. Даже простое описание природы не ограничивается перечислением и описанием частей, измерением сторон и углов: некое живое дыхание овеивает целое, в нем открывается внутренний характер — измерено и описано то и другое быть не может. И в описании природы мы вынуждены прибегать ко второму средству, которое сводится к представлению о форме всеобщего и индивидуальном бытии природных тел. В истории на этом втором пути не следует выявлять что-либо единичное, а тем более что-либо домысливать. Делая сопричастной себе формулу всего происходящего, дух должен лишь глубже понять действительно доступный исследованию материал, научиться познавать в нем больше, чем это доступно простой рассудочной операции. Все сводится единственно к этой ассимиляции исследующей силы и исследуемого предмета. Чем глубже историк силою своего гения и знаний понимает людей и их деяния или чем большая человечность придана ему природой и обстоятельствами и чем четче проступает эта его человечность, тем полнее он выполнит поставленную перед ним задачу. Это доказывают хроники. Несмотря на множество искаженных фактов и очевидных легенд, лучшим авторам хроник никто не откажет в признании того, что в основе их творений лежит самая подлинная историческая истина. К ним примыкают более древние из так называемых мемуаров, однако то обстоятельство, что в центре их стоит индивид, часто препятствует тому вниманию к общим проблемам человечества, которого требует история и при изучении единичного.

История, как и каждая наука, служит одновременно многим второстепенным целям, тем не менее занятия ею не меньше, чем занятия философией или искусством, свободны и завершены в самих себе. Чудовищное переплетение теснящих друг друга мировых событий, вызванных в какой-то мере свойствами почвы, природы человека, характером народов и индивидов, а отчасти как бы возникающих из небытия и чудом вырастающих, зависимых от смутно ощущаемых сил и явно проникнутых вечными, глубоко в груди человека коренящимися идеями, является тем бесконечным, что дух никогда не сумеет вместить в одну форму, но что все время побуждает его пытаться это совершить и придает ему силу в некоторой степени этого достигнуть. Подобно тому, как философия стремится познать первооснову вещей, а искусство — идеал прекрасного, так история стремится создать подлинную картину человеческих судеб в ее истине, живой полноте, чистоте и ясности, воспринятой духом,

настолько направленным на свой предмет, что в нем растворяются и исчезают взгляды, чувства и притязания отдельной личности. Высшая цель историка — создавать и поддерживать такую настроенность; он достигнет этого лишь в том случае, если добросовестно и неуклонно будет преследовать свою ближайшую цель — простое изображение происходившего.

Итак, предназначение историка состоит в том, чтобы пробуждать и оживлять чувство действительности; субъективно его задача определяется развитием этого понятия, объективно — понятием изображения. Каждое воздействующее на человека в целом духовное стремление содержит нечто такое, что можно назвать его стихией, его движущей силой, тайной его воздействия на дух; и оно настолько явно отличается от предметов, входящих в его сферу, что они часто служат лишь для того, чтобы представить духу эту тайну новым и преображенным способом. В математике это — отвлеченное занятие числом и линией, в метафизике — абстрагирование от всякого опыта, в искусстве — поразительное отношение к природе, при котором все как будто взято из нее и все-таки ничто не оказывается таким же, как в ней. Стихия, в которой движется история, — это чувство действительности; в нем заключено ощущение бренности бытия во времени и зависимости от предшествующих и сопутствующих ему причин и наряду с этим сознание внутренней духовной свободы, присущее разуму знание, что действительность, несмотря на ее кажущуюся случайность, все-таки связана внутренней необходимостью. Если мы мысленно проследим хотя бы одну человеческую жизнь, нас взволнуют те различные моменты, с помощью которых история возбуждает и приковывает наше внимание, и, для того чтобы выполнить задачу, поставленную перед историком, он должен так соединить события, чтобы они столь же волновали душу, как сама действительность.

Этой стороной история близка деятельной жизни. Ее назначение состоит не в том, чтобы показывать на отдельных примерах, чему надо следовать и чего избегать, — эти примеры часто сбивают с пути и редко поучают; подлинная и неизмеримая ее польза состоит в том, чтобы оживлять и очищать чувство действительности скорее посредством формы событий, чем посредством самих этих событий, препятствовать тому, чтобы это чувство перешло в область одних идей и вместе с тем подчинить его идеям, однако помнить на этом узком пути, что есть только один успешный способ противостоять натиску событий: ясным взором познать истинное в господствующей направленности идей и с твердой решимостью держаться этого.

Такое внутреннее воздействие история должна оказывать всегда, каким бы ни был ее предмет, — рассказывает ли она о совокупности связанных друг с другом событий или об одном из них. Историк, достойный этого имени, должен описывать каждое событие как часть целого, или, что то же самое, в каждом таком событии изображать форму истории вообще.

Это ведет к более точному развитию понятия, которого требует от историка изображение событий: события предстают ему в кажущемся беспорядке, обособленными друг от друга только хронологически и географически. Ему надлежит отделить необходимое от случайного, выявить внутреннюю последовательность, сделать зримыми подлинно действующие силы, чтобы тем самым придать своему изложению такой характер, который обусловит не воображаемую и даже не обязательную здесь философскую ценность или художественное очарование, а первое и наиболее существенное предьявление к нему требование — истинность и точность изображения. Ведь если при изучении событий останавливаться на их поверхностной являемости, то они будут познаны только частично или в искажении; более того, обычный наблюдатель ежеминутно привносит в них свои заблуждения и свое ложное понимание. Все это устраняется только истинным видением, которое открывается лишь историку, счастливо одаренному природой, тому, чей взор благодаря занятиям и опыту обрел острую пронизательность. Как же ему преуспеть в этом?

Историческое изображение, подобно художественному, является подражанием природе. Основа обоих — познание истинного образа, обнаружение необходимого, устранение случайного. Не следует поэтому страшиться применения легче познаваемых методов художника в более подверженной сомнениям работе историка.

Подражание органическому образу может идти двумя путями: с помощью непосредственного копирования внешних очертаний настолько точно, насколько это возможно для нашего глаза и нашей руки, или изнутри, посредством предварительного изучения того, как внешние очертания возникают из понятия и формы целого, посредством абстрагирования их отношений, посредством работы, благодаря которой образ познается сначала совершенно иным, чем его воспринимает взор не причастного к искусству человека, а затем настолько заново рождается фантазией, что наряду с буквальным сходством с природой в нем присутствует еще иная, более высокая истина. Ибо величайшее преимущество художественного произведения состоит в том, чтобы сделать очевидной внутреннюю истину форм, затемненную в реальном явлении. Оба названных здесь пути во все времена и во всех жанрах служили критериями, позволяющими отличить ложное искусство от истинного. Есть два народа, весьма отдаленных друг от друга во времени и по своему местоположению, которые в равной степени, однако, служат для нас отправными точками в развитии культуры: это египтяне и мексиканцы, и на их примере названное различие предстает весьма отчетливо. Указывалось, и вполне справедливо, на ряд сходных черт в их культурах: обе культуры должны были преодолеть страшные для искусства подводные камни, пользуясь рисуночными изображениями в качестве письменных знаков, но в рисунках мексиканцев нет ни одного правильного видения образа, тогда как в самом

незначительном египетском иероглифе есть стиль¹. И это вполне естественно. В рисунках мексиканцев нет и следа ощущения внутренней формы или знания органической структуры, все сводится к подражанию внешнему образу. Между тем в несовершенном искусстве попытки строго следовать внешним очертаниям должны привести к полной неудаче, а затем и к искажению образа; напротив, стремление выявить подлинное соотношение и соразмерность всегда очевидны, несмотря на всю беспомощность руки художника и несовершенство его орудий.

Для того чтобы понять очертания образа изнутри, надо вернуться к форме вообще и к сущности организма, а следовательно — к математике и к науке о природе. Одна дает понятие образа, другая — его идею. К обоим должно быть присоединено в качестве третьего, того, что связывает их, выражение души, духовной жизни. Однако чистая форма, выступающая в симметрии частей и равновесии соотношений, — самое существенное, и проявляется она на самом раннем этапе развития искусства, когда для свежего, еще молодого духа наиболее притягательна чистая наука, и ею он скорее способен овладеть, чем требующим известной подготовки опытом. Об этом с очевидностью свидетельствуют египетские и греческие произведения искусства. В них всегда прежде всего выступают чистота и строгость формы, которая не боится жесткости; правильность кругов и полукругов, острота углов, определенность линий; только на этой прочной основе покоится внешнее очертание. Там, где еще нет подлинного знания органического строения, форма уже выступает в сияющей ясности, а когда художник овладевает и этим знанием, когда он уже может придать своему творению свободную грацию, вдохнуть в него божественное выражение, он уже не станет применять новых обретенных им средств, не позаботясь сначала о строгости формы. То, что было необходимым с самого начала, остается главным и наивысшим.

Все многообразие и красота жизни не помогут художнику, если в уединении его фантазии им не будет противостоять вдохновляю-

¹ Здесь дело заключается только в том, чтобы пояснить на примере сказанное об искусстве; я далек от того, чтобы тем самым вынести окончательное суждение о мексиканцах. Существуют произведения мексиканского искусства, как, например, изображение головы, переданное моим братом в местный Королевский музей, которые свидетельствуют о достаточно высоком уровне их художественной техники. Если принять во внимание, как мало мы знаем о древней культуре мексиканцев и к какому недавнему времени относятся произведения их искусства, то судить о них на основании того, что нам известно и что вполне может относиться ко времени их полного упадка, было бы слишком смело. Что вырождение искусства возможно, даже если оно ранее достигало высочайшего совершенства, очевидно по маленьким бронзовым фигуркам, которые находят в Сардинии; нет никакого сомнения, что они относятся к греческой или римской культуре, однако по неправильности пропорций они стоят на уровне мексиканских. Подобное собрание находится в „Коллегиум романум“ в Риме. Есть и другие основания для предположения, что в более раннее время и в другой местности мексиканцы находились на значительно более высоком уровне культуры; на это указывают даже исторические свидетельства, тщательно собранные в трудах моего брата и позволяющие сопоставить следы их странствий.

щая любовь к чистой форме. Этим объясняется, что искусство зародилось именно у того народа, чья жизнь отнюдь не была преисполнена движения и очарования, у народа, который едва ли отличался любовью к прекрасному, но чье глубокое чувство рано обратилось к математике и механике. Оно зародилось у народа, которому нравились огромные, очень простые, но строгие и правильные строения (их архитекtonику он перенес на образ человека) и которому твердый материал затруднял проведение каждой линии. Положение греков было во всех отношениях иным: их окружала красота во всем своем очаровании, жизнь их была полна движения, становясь подчас даже беспорядочной, их мифология была многообразной и богатой, и резец легко извлекал любой образ из податливого мрамора, а в древнейшее время — из дерева. Тем более поразительна глубина и серьезность восприятия искусства этим народом; несмотря на все соблазны, которые могли привести к поверхностной прелести изображаемого, греки превзошли по строгости египетское искусство благодаря более основательному знанию органического строения.

Может показаться странным, что в основу искусства нами положено не только многообразие жизни, но также и сухость математических идей. Однако дело обстоит именно таким образом, и художнику не понадобилась бы окрыляющая сила гения, если бы он не был предназначен к тому, чтобы преобразовать в свободную игру глубокую строгость непререкаемо господствующих идей. Однако пленительное очарование заключено и в простом созерцании математических истин, вечных соотношений пространства и времени, независимо от того, открываются ли они нам в звуках, числах или линиях. Созерцание их само по себе дает вечно новое удовлетворение открытием все новых соотношений и все совершеннее решаемых задач, и только слишком раннее и частое применение форм чистой науки способствует ослаблению нашего восприятия их красоты.

Следовательно, подражание художника природе исходит из идей, и истинность образа является ему только через них. То же, поскольку в обоих случаях объектом подражания служит природа, должно лежать и в основе работы историка: вопрос только в том, существуют ли идеи, способные направлять историка, и каковы они.

Однако теперь дальнейшее продвижение требует величайшей осторожности, чтобы уже само упоминание об идеях не нарушило чистоты и исторической точности. Ибо, несмотря на то, что оба — художник и историк — используют в своей деятельности изображение и подражание, цель их совершенно различна. Художник лишь сметает с действительности поверхностное явление, он лишь касается его для того, чтобы вообще освободиться от действительности; историк же стремится постигнуть только действительность и в нее он должен проникнуть. Однако именно поэтому, а также и потому, что историк не может удовлетвориться слабой внешней связью единичного, но должен проникнуть в средоточие вещей, исходя из которого может быть понято истинное сцепление событий, ему надлежит искать их истину на том же пути, на котором художник ищет

истину образа. События истории еще в значительно меньшей степени, чем явления чувственного мира, непосредственно открыты нашему взору; их невозможно просто увидеть; понимание этих событий может возникнуть только в результате сочетания их структуры с чувством, которое привносит наблюдатель, и подобно тому, как это происходит в искусстве, здесь также нельзя с помощью рассудочных операций логически вывести одно из другого и расчленить на понятия; постижение всего подлинного, тонкого, скрытого происходит лишь в том случае, если этому постижению соответствует правильная настроенность духа. Историк, так же как художник, создаст лишь искаженное изображение, если будет рисовать отдельные обстоятельства, связанные с событиями, сочетая их в таком порядке, в каком они перед нами в своей внешней последовательности выступают; истина будет искажена, если историк не будет отдавать себе строгий отчет в том, что существует внутренняя связь явлений, не достигнет созерцания движущих сил, не осознает, в каком направлении они действуют в определенный момент, не исследует связь того и другого с их состоянием в данный момент и с предшествующими изменениями. Однако для этого он должен быть осведомлен о структуре, действии, взаимозависимости этих сил, поскольку полное понимание особенного всегда предполагает знание всеобщего, в рамках которого оно познается. В этом смысле понимание происшедшего должно направляться идеями.

Между тем само собой разумеется, что эти идеи складываются из полноты событий или, более точно, возникают в духе благодаря чисто историческому исследованию этих событий, а не добавляются к истории как некий чуждый ей придаток — ошибка, которую часто допускает так называемая философская история. Вообще для исторической точности философские методы представляют значительно большую опасность, чем методы художественные, которые допускают обычно по крайней мере свободу обращения с материалом. Философия предписывает событиям определенную цель: эти поиски конечных причин, пусть даже их выводят из сущности человека и самой природы, служат препятствием и искажают всякое свободное воззрение на своеобразное действие сил. Телеологическая история именно потому никогда не проникает в живую истину судеб мира, что индивид всегда вынужден находить вершину своей деятельности в границах своего бренного бытия; поэтому телеологическая история не может полагать последнюю цель событий в жизнь, а ищет ее в мертвых институтах и в понятии некоего идеального целого, будь то всеобщее культивирование и заселение земли, рост культуры народов, их дружеское объединение, совершенное гражданское общество или другая подобного рода идея. От всего этого в самом деле непосредственно зависит деятельность и благополучие отдельного человека. Однако то, что каждое поколение извлекает из результатов деятельности всех предыдущих поколений, не может служить ни доказательством его силы, ни даже материалом, формирующим эту силу. Ибо даже то, что является пло-

дом духа и образа мыслей, — наука, искусство, нравственные институты, — теряет духовность и становится материей, если дух все время не оживляет его. Все это связано с природой мысли, которая может быть сохранена, только будучи мыслима.

Следовательно, историк должен обратиться к действующим и творящим силам. Здесь он находится в своей собственной стихии. *Привнести* форму в лабиринт событий всемирной истории, отпечатавшийся в его душе, — форму, в которой только и проявляется подлинная связь событий, он сможет только в том случае, если *выведет* эту форму из самих событий. Противоречие, которое как будто в этом заключается, при ближайшем рассмотрении исчезает. Понимание каждой вещи уже предполагает в качестве условия своей возможности наличие в познающем субъекте некоего аналога того, что впоследствии действительно будет понято, требует изначального совпадения между субъектом и объектом, предшествующего этому акту. Понимание отнюдь не есть простое развертывание того, что существовало в субъекте, и не простое заимствование имеющегося в объекте, но то и другое одновременно. Ибо оно всегда состоит из применения ранее имеющегося общего к новому особенному. Там, где два существа разделены пропастью, там нет моста к их взаимному пониманию; для взаимного понимания необходимо, чтобы это понимание в некоем ином смысле уже существовало. В истории эта предварительная основа понимания очевидна, так как все то, что действует во всемирной истории, волнует душу человека. Поэтому чем глубже дух нации ощущает все человеческое, чем с большей тонкостью, многосторонностью и чистотой он его воспринимает, тем в большей степени эта нация способна иметь историков в подлинном смысле этого слова. К подготовленному таким образом восприятию истории следует присоединить многократную проверку, с помощью которой то, что ранее ощущалось, контролируется и исправляется посредством сопоставления с изучаемым предметом, пока в результате такого повторного взаимодействия вместе с достоверностью не возникает ясность.

Таким образом, историк, изучая творческие силы всемирной истории, набрасывает для себя всеобщую картину формы связи всех событий; в этой сфере находятся и те идеи, о которых шла речь выше. Они не привнесены в историю, а составляют самую ее сущность; ибо каждая мертвая и живая сила действует по законам своей природы, и все, что происходит, находится в неразрывной связи в пространстве и во времени.

В этом аспекте история, с каким бы многообразием и с какой бы живостью она ни проходила перед нашим взором, представляется мертвым часовым механизмом, который следует непреложным законам и приводится в действие механическими силами. Ибо одно событие порождает другое, мера и свойство каждого воздействия даны их причиной, и даже кажущаяся свободной воля человека находит свое определение в неизменных обстоятельствах, заложенных задолго до его рождения, более того, до становления нации, к кото-

рой он принадлежит. Вывести из каждого отдельного момента весь ряд событий прошлого и даже будущего представляется невозможным не само по себе, а только потому, что нам неизвестны многие промежуточные звенья. Однако давно уже стало ясно, что движение только по этому пути увело бы нас от понимания истинных создающих сил, что в каждом действии, где речь идет о чем-то живом, именно главный элемент ускользает от всякого исчисления и что определение, кажущееся на первый взгляд механическим, изначально подчиняется свободно действующим импульсам.

Следовательно, наряду с механическим определением одного события посредством другого надо еще большее внимание уделять своеобразной сущности сил, и здесь первой ступенью является их физиологическое действие. Все живые силы — как человек, так и растения, как нации, так и индивиды, как человеческий род, так и отдельные народы, даже порождения духа, поскольку они покоятся на проходящих в известной последовательности действиях, — литература, искусство, нравы, внешняя форма гражданского общества — обладают общей структурой, развитием и законами. Это — движение по восходящим ступеням к вершине и затем постепенное падение, переход от совершенства к своего рода вырождению и т. д. Не подлежит сомнению, что в этом заключено множество возможных исторических объяснений, но очевидно также, что в них познается не творящий принцип, а только некая форма, которой он вынужден подчиняться, кроме тех случаев, когда она возвышает и окрыляет его.

Еще в меньшей степени доступно исчислению действие психологических сил, поскольку они не подчиняются познаваемым законам, а могут быть восприняты только в известной аналогии, — сил, многообразно переплетающихся в человеческих способностях, ощущениях, склонностях и страстях. Будучи самыми близкими пружинами действий и непосредственными причинами связанных с ними событий, они в первую очередь занимают историка и чаще всего используются для объяснения событий. Однако именно этот метод требует наибольшей осторожности. С его помощью мы меньше всего можем объяснить события всемирной истории; применяя этот метод, мы снижаем трагедию истории до уровня драмы повседневной жизни и склоняемся к тому, чтобы вырвать отдельное событие из связи целого и поставить на место судеб мира мелочную суету отдельных личностей с их субъективными, побуждающими к действию мотивами. На этом пути все сосредоточивается на индивиде, и все-таки индивид не познается в своем подлинном единстве и глубине, в своей подлинной сущности. Ибо познание индивида не допускает такого расщепления, анализа суждений на основе данных опыта, которые, будучи взяты у многих, должны быть типичными для многих. Своеобразная сила индивида пронизывает все его чувства и страсти, накладывая на все свой отпечаток.

Можно было бы попытаться классифицировать историков по трем намеченным здесь воззрениям, однако характеристика под-

линно гениальных историков не будет исчерпана ни одним из них, даже не всеми вместе, ибо сами эти воззрения также не исчерпывают причинной связи событий, и основная идея, исходя из которой только и можно понять события и причинную связь в ее полной истине, не заключена в сфере этих воззрений. Они охватывают лишь явления мертвой, живой и духовной природы, обозримые в их равномерно повторяющемся следовании, но не свободный самостоятельный импульс изначальной силы; поэтому такие явления свидетельствуют только о постоянно повторяющемся в соответствии с познанным законом или проверенным опытом развитии; однако то, что возникает, подобно чуду, хотя и может быть отчасти объяснено механическими, физиологическими и психологическими причинами, но ни из одной из них реально выведено быть не может; оно остается внутри сферы явлений не только не объясненным, но и не познанным.

Как бы мы ни строили свое объяснение, сфера явлений может быть понята только из точки, находящейся вне ее, и обдуманый выход из этой сферы столь же безопасен, сколь неминуемо заблуждение, если слепо замкнуться в ней. Всемирная история не может быть понята вне управления миром.

Приняв эту точку зрения, мы сразу обретаем то преимущество, что не считаем понимание событий завершенным посредством взятых из жизни природы объяснений. Впрочем, это мало помогает историку на последнем, самом сложном отрезке его пути, ибо ему не дан орган, посредством которого он мог бы непосредственно проникнуть в замыслы управления миром, и каждая такая попытка, так же как стремление обнаружить конечные причины, только завела бы его в тупик. Тем не менее это находящееся вне развития природы управление событиями открывается в них самих с помощью средств, которые, хотя и не относятся к области явлений, все-таки связаны с ними и могут быть познаны в них, подобно бестелесным существам, но лишь в том случае, если мы выйдем из сферы явлений и духовно перенесемся в ту сферу, откуда они берут свое начало. С их исследованием, таким образом, связано последнее условие задачи историка.

Число сил, творящих историю, не исчерпывается непосредственно выступающими в событиях силами. Если даже историк исследовал все эти силы в отдельности и в их взаимосвязи, — тип и преобразование почвы, изменения климата, духовные способности и склад мышления народов, еще более своеобразные проявления этих свойств у отдельных индивидов, влияние искусства и науки, глубокое и далеко идущее влияние гражданских институтов, — все еще остается более могущественный в своем воздействии принцип, который, правда, не выступает явственно, но дает самим этим силам толчок и направление. Этим принципом являются идеи, которые по своей природе находятся вне сферы конечности, но пронизывают всемирную историю во всех ее сферах и господствуют в ней.

Не может быть никакого сомнения в том, что подобные идеи от-

крывают себя, что ряд явлений, не объяснимых просто действиями, близкими законам природы, обязаны своим существованием лишь отдаленному дуновению этих идей; не может быть сомнения и в том, что существует, следовательно, точка, которая указывает историку область, лежащую вне пределов событий, для того чтобы он мог познать их истинный характер.

Идея открывает себя двумя способами: в одном случае как направление, которое сначала незаметно, но затем постепенно все более зримо и наконец неодолимо охватывает многих людей в различных местах при различных обстоятельствах; в другом — как возникновение силы, которая по своим размерам и своему величию не может быть выведена из сопутствующих ей обстоятельств.

Что касается первого пути, то примеры такого рода могут быть обнаружены без всякого труда; они, впрочем, и распознавались во все времена. Но вполне вероятно, что еще многие события, которые теперь объясняют в первую очередь материальными и механическими причинами, должны быть рассмотрены именно с этой точки зрения.

Примером действия сил, явлений, достаточным объяснением которых не могут быть связанные с ними обстоятельства, служит вышеупомянутое внезапное возникновение в Египте искусства в его чистой форме и, пожалуй, в еще большей степени неожиданное развитие в Греции свободной и вместе с тем сдерживаемой в известных границах индивидуальности. С этого момента язык, поэзия и изобразительное искусство сразу же предстают в совершенстве, путь к которому тщетно пытаются обнаружить. Ибо удивительным в греческой культуре, тем, что в наибольшей степени является ключом к ней, мне всегда казалось следующее: поскольку к грекам все великое и переработанное ими перешло от разделенных на касты народов, они остались свободными от этого бремени, сохранив, однако, некий аналог ему: они лишь заменили строгое понятие более мягким понятием школы и свободного сообщества и посредством более дробного деления исконного национального духа, — деления на племена, народности и отдельные города — и посредством растущей связи между ними, привели различные индивидуальности к самой живой совместной деятельности. Благодаря этому Греция создала никогда ни до нее, ни после нее не существовавшую идею национальной индивидуальности, и, подобно тому, как в индивидуальности заключена тайна всего бытия, так ее степень, свобода и своеобразие во взаимовлиянии с другими определили все дальнейшее продвижение человечества во всемирной истории.

Правда, и идея может выступать только в связи с природой, и потому в упомянутых явлениях обнаруживается ряд оказывающих благоприятное воздействие причин, обнаруживается переход от менее совершенного к более совершенному, а там, где в нашем знании зияют пробелы, мы можем с полным основанием предполагать наличие подобных причин. Однако от этого первоначальное направление, первая вспыхнувшая искра, не становится менее удивитель-

ной Без нее невозможно было бы действие каких бы то ни было благоприятствующих обстоятельств, и ни опыт, ни постепенное продвижение, пусть даже оно длилось века, не привели бы к цели. Идея может открыться только индивидуальной духовной силе, но то, что росток, который она в эту силу привносит, развивается предначертанным ему путем, что характер его развития не изменяется, когда этот росток переходит в другие индивиды, что выросшее из него растение собственными силами достигает своего цветения и зрелости, а затем вянет и исчезает независимо от характера обстоятельств и индивидов — это доказывает, что движение в данном явлении совершает самостоятельная природа идеи. Таким образом, во всех различных видах бытия и духовного порождения возникают образы, в которых отражается какая-либо сторона бесконечности, и ее вмешательство в жизнь создает новые явления.

В материальном мире — поскольку при исследовании духовного мира наиболее верным путем остается прослеживание аналогии с ним — нельзя ожидать возникновения столь значимых новых образов. Различия в организации нашли свои прочные формы, и, хотя они никогда не могут быть исчерпаны в органической индивидуальности, эти тонкие нюансы недоступны взору непосредственно и едва различимы в своем действии на духовное формирование. Создание материального мира происходит в пространстве сразу, создание духовного мира совершается постепенно во времени, и первое, несомненно, раньше находит точку своего успокоения, на которой творение теряется в однообразном воспроизведении. Значительно ближе духовному, чем образ и строение тела, органическая жизнь, и законы того и другого в большей степени могут быть применены друг к другу. В здоровом состоянии это менее заметно, хотя вполне вероятно, что и тогда происходят изменения соотношений и направленностей, которые вызываются скрытыми причинами и в разные эпохи меняют характер органической жизни. Но в состоянии, отклоняющемся от нормы, в болезненных формах жизни, несомненно, можно провести аналогию между направлениями, которые без каких-либо объяснимых причин возникают внезапно или постепенно, следуют как будто своим собственным законам и указывают на некую скрытую связь вещей. Это подтверждают многочисленные наблюдения, хотя, быть может, в историческом исследовании они будут использованы лишь позднее.

Каждая человеческая индивидуальность есть идея, воплощенная в явлении; в некоторых же снятие идеи настолько сильно, что кажется, будто идея лишь приняла форму индивида, чтобы открыть в нем самое себя. Если развернуть человеческую деятельность, то после устранения всех определяющих ее причин в ней останется нечто исконное, которое, вместо того чтобы быть задушено влиянием этих причин, напротив, само преображает их, и в этом элементе заключено непрерывно действующее стремление создать внешнее существование для своей внутренней своеобразной природы. Так же обстоит дело с индивидуальностью наций: в ряде исторических

периодов это различается в них с большей ясностью, чем в отдельных людях, так как в определенные эпохи и при известных обстоятельствах человек развивается как бы в массе. Поэтому в событиях жизни народов, вызванных потребностями, страстью и кажущейся случайностью, действует, и сильнее, чем эти элементы, духовный принцип индивидуальности; он стремится создать пространство для заключенной в нем идеи, и это ему удается, подобно тому как самое слабое растение благодаря своему органическому развитию разрушает стену, выдерживавшую воздействие веков. Наряду с тем направлением, которое народы и отдельные индивиды придают развитию человеческого рода своими делами, они оставляют последующим поколениям формы духовной индивидуальности, оказывающие более длительное и интенсивное воздействие, чем события и происшествия.

Но существуют и такие идеальные формы, которые, не воплощаясь в человеческую индивидуальность, воздействуют на нее лишь косвенно. К ним относятся языки. Ибо хотя в каждом языке отражается дух нации, каждый из них имеет и более раннюю, независимую основу, а его собственная сущность и его внутренняя связь настолько могущественны и определяющи, что его самостоятельность оказывает большее воздействие, чем испытывает таковое, и каждый имеющий значение язык выступает как своеобразная форма создания и сообщения идей.

Еще более чистым и полным способом вечные исконные идеи всего мыслимого создают для себя бытие и значимость, красоту во всех материальных и духовных образах, истину в неизменном действии каждой силы соответственно присущему ей закону, право в неумолимом ходе вечно выносящих себе суд и карающих себя событий.

Для человеческого воззрения, которое не проникает непосредственно в замыслы управления миром, а может лишь предчувствовать их в идеях, посредством которых они открываются, вся история является лишь осуществлением идеи, и в идее заключена одновременно сила и цель; таким образом, углубляясь в созерцание творящих сил, мы оказываемся на более правильном пути к постижению конечных причин, к которым естественно стремится дух. Целью истории может быть только осуществление идеи — ее надлежит выразить человечеству, выразить во всех направлениях и во всех образах, в которых конечная форма может быть объединена с идеей; ход событий оборвется лишь там, где обе они окажутся уже неспособными проникать друг в друга.

Таким образом, мы достигли того, что обнаружили идеи, которые должны руководить историком, и можем теперь вернуться к предпринятому нами выше сравнению между ним и художником. То, чем для художника является знание природы, изучение органического строения, тем для историка является исследование сил, выступающих в жизни действующими и страдающими; что для первого — соотношение, соразмерность и понятие чистой формы, то для второго — идеи, разворачивающиеся в тиши и величии внутри мировых

событий, но не принадлежащие им. Дело историка заключается в решении его последней, но самой простой задачи — изобразить стремление идеи обрести бытие в действительности. И не всегда идее это удастся при первой попытке, нередко она вырождается, будучи неспособной полностью овладеть противодействующим ей материалом.

В ходе этого исследования делалась попытка внушить две вещи: что во всем происходящем действует не воспринимаемая непосредственно идея и что познана эта идея может быть только в пределах самих событий. Поэтому историку не следует искать решения всех вопросов только в материальном мире и исключать идею из изображения происходившего; он должен хотя бы оставить место для ее действия; должен, продвигаясь вперед, стремиться к тому, чтобы его душа была готова к восприятию этой идеи — способна живо ощутить и познать ее; но прежде всего он должен опасаться привнести в действительность им самим созданные идеи или жертвовать в поисках связи целого чем-либо из живого богатства единичного. Свобода и тонкость воззрений должны стать свойством его природы; он должен привносить их в рассмотрение любого события, ибо ни одно из них не стоит вне общей связи, и все, что происходит, частично находится, как было показано выше, вне сферы непосредственного восприятия. Если историк не обладает этой свободой воззрения, он не сможет познать событие во всем его объеме и глубине; если же ему недостает щадящей осторожности, он исказит его простую и живую истину.

От антропологии к лингвистике

От сравнительной антропологии к сравнительной лингвистике

В поисках путей, ведущих к разумному союзу философии культуры с философией человека, следует вспомнить о проекте сравнительной антропологии, который был изложен В. фон Гумбольдтом 200 лет назад. В письме к Гёте, посланном из Парижа весной 1798 г., Гумбольдт сообщает о возможности создания «новой науки — сравнительной антропологии...» «Я исхожу, — пишет он, — из такого знания о человеке, которое настолько эмпирично, что может быть совершенно подлинным, и философски настолько обоснованно, что может иметь силу не только в данный момент, но и вообще»¹.

Сравнительная антропология направлена на изучение индивидуальных характеров. Однако это (в отличие от физиологической антропологии) «не погоня за многочисленными различиями», а выявление отношения отдельных «своеобразий к общему идеалу человечества». Отграничивая эту науку и от человековедения, изучающего человека вообще (или отдельных особо интересных индивидуумов), Гумбольдт в сферу своего исследования вводит «характеры человеческих сообществ» (с. 330), внутри которых «без ущерба идеальности» изучаются всевозможные различия. «Всеобщий же закон» «всякого человеческого сообщества» гласит: «уважать свои и чужие системы морали и культуры, никогда не наносить им ущерба, но при всякой возможности очищать и возвышать их» (с. 321).

Этой идеей пронизано большинство его работ, в том числе и первые опыты по сравнению языков. Основа у них общая — гуманистическая: 1) соблюдая полную самобытность, не забывать об общечеловеческих идеалах; 2) применять сравнительный метод с целью осознания собственного бытия и чужого своеобразия; 3) не превращать своеобразие в односторонность и разнообразие в однородность; 4) при изучении различий исходить не из внешних условий и обстоя-

¹ Wilhelm von Humboldt, sein Leben und Wirken, dargestellt in Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit, Hrsg. von Rudolf Freese, S. 322.

тельств, а из «внутренней формы характера» (которую сам индивидуум либо вообще не в силах изменить, либо может изменить лишь в незначительной степени).

Именно в этом последнем усматривал Гумбольдт подлинную причину различия характеров, для обнаружения которого призывал к «более глубоким наблюдениям». Его собственные наблюдения над греческим, а также над французским характером всегда соответствовали этим высоким требованиям.

С особым пристрастием изучал он античный мир, усматривая в культурной самобытности греков олицетворение человеческого идеала.

Греческий идеал человечества, который ставился перед индивидом — не пустая схема, а живая форма, рожденная в лоне конкретной культуры, а именно культуры греческого народа. Однако в начале 90-х гг. в трудах Гумбольдта понятие „народ“ еще не ограничено от понятия „человечество“ в качестве самостоятельной единицы, поэтому схема „индивид — человечество“ принимается без каких-либо оговорок. В последующие годы (1795—1800) акцент с категории „человечество“ перемещается на „народ“. Это отнюдь не означало отказа от идеала человечества или же принятия отвлеченного гуманизма, а было преобразованием обоих в новую, более близкую к реальности величину — народ.

Сопоставление исследований этого периода с самыми ранними поисками Гумбольдта показывает путь превращения двучленного деления индивид — человечество в трехчленную схему соотношения: индивид — народ — человечество. Для себя эту метаморфозу он считал очень важной¹, ибо она отражает тот этап, когда проблема языка с включением в схему „народ — человечество“ приобретает решающее значение: среди других форм культурно-этнического объединения людей Гумбольдт открывает первоначальную, естественную и стабильную форму объединения — языковое сообщество как необходимое условие формирования (Bildung) личности. (Bildung подразумевает гармоническую целостность, пропорциональное единство человеческих сил).

Позднее (1827 г.) у Гумбольдта появляется и более осмысленное определение нации, где все три компонента (человечество, народ, язык) взаимосвязаны².

В понимании Гумбольдта претерпело изменение также и понятие „человечество“. Это повлекло за собой радикальное переосмысление его позиции в отношении современной ему немецкой философии, что стало очевидным уже из письма, посланного им К. Г. фон Бринкману из Рима 22 декабря 1803 г. Философы (Шпрангер, Кассирер,

¹ И позже не переставал он удивляться „таинственному закону“, в силу которого индивиды объединяются в нации и человеческий род делится на нации (письмо к Штейну, 1813 г.).

² «Нация — это охарактеризованная конкретным языком духовная форма человечества, индивидуализированная по отношению к идеальной тотальности».

Шпет, Хейнтель, Гадамер, Либрукс, Гулыга, Кильен и др.) возводят вопрос об отношении Гумбольдта к немецкой философии в ранг принципиальной важности. Данное письмо, которое, к сожалению, не используется в материалах дискуссии, может внести определенную ясность в эту проблему ¹.

«...Я убежден, что нашел иной путь к метафизическим идеям. В философских поисках „первоосновы“ я убедился, что „абсолютное Я“ Фихте всегда было для меня неприемлемо и неясно, так как оно, снимая действительное Я, не что иное, как гипостазирование химерического. Пантеизм Шеллинга мне более понятен. Если вы, однако, соглашаетесь со мной, что каждая метафизика имеет... ясную точку, откуда она исходит, и неясную, к которой она приходит, то, с моей точки зрения, Фихте берет за исходное то, что является собственно конечным, то есть абсолютное Я...»

«Мы должны найти правильное понятие Единства, в котором снимается всякая противоположность единства и множества. Назвать такое единство Богом я считаю неразумным, так как этим его напрасно удаляют от себя. Такие выражения, как Вселенная, Универсум, приводят к слепым силам и физическому бытию. Мировая душа еще более непригодна. Я с большей охотой придерживаюсь того, что ближе всего и кажется наиболее вероятным. Таким Единством является Человечество, и Человечество не что иное, как собственное Я. Я и Ты, как постоянно утверждает Якоби, — исключительно одно и то же, так же как Я и Он, Я и Она и все люди...» «Для меня непоколебимыми опорами всякой метафизики является то, что человечество и численно — одно и что оно далеко не то, что мы видим, а лишь то, о чем догадываются лишь некоторые, хотя способность к тому дана всем, и это очевидно...». Гумбольдт продолжает: «То, что я до сих пор знал (или же полагал, что знал) о национальном характере, в значительной мере укрепилось во время моего пребывания

¹ Недавно французский философ Ж. Кильен в своем докладе „Культура (Bildung) и разум у В. фон Гумбольдта“ („Разум и культура“ — „Труды международного франко-советского коллоквиума“. Москва, 1983, с. 156—168) также коснулся вопроса об отношении Гумбольдта к немецкой философии. По мнению автора, Гумбольдт, избрав исходным понятием Bildung, встал на путь, который был «глубоко философским»: «его попытка была самым разработанным и самым последовательным отказом идти по пути, который проходил через Фихте, достиг вершины и закончился Гегелем. Различны пути двух современников послекантовской эпохи — Гегеля и Гумбольдта... один «из которых доводит до своего завершения греческий рационализм», а второй (Гумбольдт) «в самый разгар триумфа первого пробует выявить будущий статус разума». По Кильену, решение Гумбольдта «очень оригинально», и оно является «уникальным в контексте послекантовской философии».

Вышеупомянутых философов интересует место Гумбольдта в истории европейской мысли преимущественно с целью решения актуальных задач, стоящих перед современной философией человека. Поэтому проблема человеческого фактора в языке (антропология языка) приобретает для них особую важность. Эта часть языкознания, однако, сама нуждается в философском обосновании (См. об этом: Gurem R a m i š v i l i. Über die philosophischen Grundlagen der Sprachanthropologie.— „Logos Semantikos“, Vol. II. Berlin — New York — Madrid, 1981, S. 269.)

в Риме. Я имею серьезное намерение что-нибудь написать об этом...» «За исследование языка я принялся с большим усердием, чем когда-либо, и оно превосходно увязывается со всеми вышеназванными идеями. Меня бесконечно привлекает внутренняя, удивительно таинственная связь всех языков и прежде всего высшее наслаждение — с каждым новым языком приобщаться к новой системе мыслей и чувств. Ни с чем так скверно до сих пор не обращались, как с языком, и я убежден, что нашел ключ, который делает интересным каждый язык и пробивает путь ко всем языкам. Многие из этого вы можете узнать из моего труда о басках, хогя не все. Мне предстоит еще продолжительная работа и вряд ли удастся все изложить...»¹

В этом письме обсуждаются две независимые с первого взгляда проблемы, а именно — „человечество“ и „национальный характер“. Но там же сказано, что тот способ рассмотрения языка, к которому прибегает автор, «превосходно увязывается со всеми вышеназванными идеями». А годом раньше Гумбольдт писал Шиллеру (11 мая 1802 г.), что «...общую энциклопедию языкознания» он всегда связывал «с философией и народоведением»².

Извлечения из „Труда о басках“, о котором Гумбольдт сообщает в письме Бринкману, в данном сборнике печатаются под заглавием: „Об изучении языков или план систематической энциклопедии всех языков“.

Основной тезис, определивший весь путь Гумбольдта как теоретика сравнительного языковедения, впервые выставлен именно в этом сочинении: «Разные языки — это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее» (с. 349).

Это был совершенно «новый тип научных исследований», посредством которого можно было осуществить «превращение языкознания в систематическую науку» (с. 347). „Превращения“ не произошло, и о причинах этого будет сказано ниже. Здесь только отметим, что требования о необходимости выявления именно внутренних причин различия индивидуальных характеров, предъявляемые исследователям в „Сравнительной антропологии“, приобретают глубокий смысл при философском толковании факта многообразия человеческих языков. Через осмысление многообразия неожиданно открываются два новых аспекта отношения человека к миру: 1. Непосредственно обогащается наше знание о мире и то, что нами познается в этом мире; 2. Одновременно человеческое бытие становится для нас шире, поскольку в языках (в отчетливых и действенных чертах) перед нами предстают различные способы мышления и восприятия.

Отсюда ясно, что мог иметь в виду В. фон Гумбольдт под сравнением языков и как он представлял себе проект „систематической энциклопедии языков“. Для Гумбольдта как языковеда, безусловно, «важнее всего» показать, что «язык сам по себе и для себя является

¹ „Wilhelm von Humboldt, sein Leben...“, с. 493—495,

² Там же, с. 432.

наиважнейшим и общепольнейшим предметом исследования» (с. 348), однако, в отличие от традиционных взглядов, он требует рассматривать язык с точки зрения его изначальных и фундаментальных связей с человеком. Необходимость этого вытекает прежде всего из философского анализа языковой способности („*metaphysische Analyse des Sprachvermögens*“), раскрывающего форму человеческого бытия, обусловленного языком.

Хотя общее свойство языковой способности охватывает все человечество (являясь в то же время внутренним, объединяющим его началом), однако она не реализована в одном общечеловеческом языке, а осуществляется в многоликком воплощении разнообразия языков. Без учета этого основного положения сравнение языков будет лишено общего исходного принципа, тем самым и смысла, так как будет утеряна нить, связывающая общее с частным, единство с многообразием. Если приемлем тезис Гумбольдта, высказанный в его последнем сочинении, что «создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества», тогда должна быть приемлема и другая его формулировка: рассмотрим каждый язык, взятый в отдельности, как «попытку, направленную на удовлетворение этой внутренней потребности, а целый ряд языков — как совокупность таких попыток»¹. Отсюда и конечная цель сравнительного языковедения: «тщательное исследование разных путей, какими бесчисленные народы решают всечеловеческую задачу создания языка»².

«Разные пути» — это не разные звуковые обозначения «одного и того же предмета», а различные способы „видения“ его. Это открытие, которое было сделано Гумбольдтом в начале творческого пути, и связанное с ним понятие, закрепленное в дальнейшем (1820 г.) под термином „языковое мировидение“ (*sprachliche Weltansicht*), не следует толковать в отрыве от вышеприведенных рассуждений автора и тех задач, которые он ставил перед сравнительным языковедением. Тем самым мы находим ключ к идее „внутренней формы языка“ (*innere Sprachform*), которая, как бы подытоживая творческую жизнь Гумбольдта, во многих отношениях определила развитие науки о языке³.

¹ Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. Москва, 1984, с. 51.

² Там же, с. 47.

³ В предисловии и в коротких примечаниях к тексту языковедческих трудов Гумбольдта (изданных под заглавием „Избранные труды по языкознанию“). Москва, 1984) в общих чертах дана эволюция его взглядов с целью установления необходимой связи между понятиями: языковое мировидение, энергия, порождение, внутренняя форма языка, синтез..., что позволяет выявить тем самым целостный характер его концепции. Такие основные понятия теории языка, как языковое мировидение, внутренняя форма языка, энергеи, стали в настоящее время главной темой обсуждения не только в среде языковедов, но и в широком кругу исследователей теории и философии культуры (О языковом мировидении см.: Н. Гиппер. *Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip? Conditio Humana*, Frankfurt, 1972.) О внутренней форме и энергеи см. Г. В. Рамишвили.

На фоне этих рассуждений понятны упреки Гумбольдта в адрес тех исследователей, которые при сравнении языков не выискивали «глубже лежащую причину языковых различий» и были ориентированы преимущественно на описание „внешней формы“, а не на раскрытие „внутренней формы“ языка.

В своем письме к Г. Х. Николовиусу (посланном из Вены 16 февраля 1813 г.) образцом такого типа исследований Гумбольдт называет труды известного в то время ориенталиста И. С. Фатера. Приводим текст письма:

«Сходство некоторых моих занятий с фатеровскими заставили меня тщательно проверить работы его последних лет. Бросаются в глаза большое усердие, скрупулезность и безусловные заслуги (судя по результатам). Однако я уверяю вас, что довольно трудно провести исследования столь различных по строю языков, не имея хотя бы одной правильной общей идеи или глубоко обдуманной позиции. Часто забывают, что скитание по всем языкам исключительно вредно, и оно совершенно неплодотворно, если при исследовании не учитывается, что значительное и тончайшее требует все большего углубления в него. А Фатеру как ориенталисту, безусловно, следовало поступить именно так...»

Несмотря на огромную пользу, которую могли принести науке о языке идеи Гумбольдта, путь его, к сожалению, был обойден молчанием. Причиной к тому послужили несколько обстоятельств.

1. Труд, написанный Гумбольдтом в 1801 г., остался неопубликованным; год создания сочинения совпал с его возвращением на государственную службу, и для забот о публикации у него не осталось времени.

2. А когда, спустя 20 лет, Гумбольдт выступил с докладом на ту же тему в Берлинской Академии наук, соответствующего отклика доклад его не получил, так как времена были иные: возникла индогерманистика, которая была скорее исторической дисциплиной, чем сравнительным языковедением. Она имела вполне конкретную цель: установление генетического родства языков внутри определенной семьи. Гумбольдт сам создал условия для упрочения позиций индогерманистики в основном им же Берлинском университете, преграждая тем самым путь собственному учению.

3. Кроме того, грандиозность поставленной им задачи «филологически обоснованного сравнения языков» требовала иной методологии и создания новой терминологии.

В то время (1801 г.) языкознания как дисциплины еще не существовало. В университетах ограничивались филологическим изучением классических и восточных языков. Самому Гумбольдту предстояло решить проблему «превращения языкознания в систе-

Вопросы энергетической теории языка. Тбилиси, 1978; G. R a m i s c h w i l l i. Das Problem der inneren Sprachform in der modernen Linguistik. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades „Dr. sc.“ Friedrich-Schiller-Universität, Jena, 1970.

матическую науку». И хотя к этому он позднее приложил огромные усилия, тем не менее остался непонятым.

4. Немаловажную роль в этом сыграла и объективная ситуация: постепенное проникновение позитивизма в сознание лингвистов создало неблагоприятные условия для продуктивного освоения гумбольдтовских взглядов.

Существуют ли сегодня более благоприятные условия для восприятия его идей?

Хотя в разных странах все больше раздаются голоса о необходимости возрождения Гумбольдта, тем не менее не все препятствия сняты, а два из них следовало бы преодолеть прежде всего:

1) превратное понимание языкового знака и 2) наивную веру в „постулат непосредственности“.

Рассматривая слово как знак, наивная логика имеет в виду лишь звуковую сторону. В таком понимании слово выступает в качестве „материального знака“ для заранее данного понятия, а „значение“ слова отождествляется со смыслом, существующим вне языка. Создается впечатление, будто соприкосновение с миром и процесс образования понятий протекают до и вне языка, а результат этого акта находит свое воплощение в „слышимом“ слове¹.

Кроме того, слабость общей теории обозначения сказывается в том, что функция языка усматривается этой теорией в обозначении субстанциональных или чисто онтологических свойств вещей, существующих сами по себе, и при этом не учитывается то обстоятельство, что, если бы это раз и навсегда предписывалось природой вещей, тогда классификация опыта во всех языках была бы единой и однородной.

Как известно, на уровне чувственного восприятия человек лишен непосредственного доступа к предметам мира и отношение человека к ним опосредовано его же аппаратом восприятия. Однако это не мешает человеку, следуя результатам чувственного опыта, в случае надобности подвергать их проверке, исправлению и дополнению. На более высоком уровне познания действительности такая опосредованность еще более очевидна: если восприятие в определенной мере детерминировано из-за ограниченности чувственного аппарата, то такая обусловленность коренным образом меняется на более высоком уровне мыслительной способности человека, открывающей ему необозримую перспективу „превращения мира в мысли“. Однако меньше всего осознано, что в этом процессе участие языка является непреложным фактом: человек (уже не предоставленный только самому себе) в силу закона, обусловленного языком существования, возвышается над своим индивидуальным

¹ Даже такие ходячие выражения, как: „слово имеет значение“ или „слово меняет значение“, способствуют этому. В таком понимании „значение“ как нечто нестабильное и подвергающееся изменению принадлежит слову как материальному знаку. А на самом деле оно — ядро слова, которое является главным стержнем образования понятий.

состоянием, совместно с другими решая общую задачу языкового постижения мира.

Там, где по наивной логике человеку дан непосредственный доступ к предметному миру, должно быть обнаружено опосредствующее действие языка. Упрощенно это можно было бы представить так: чем больше очевидных признаков может выделить восприятие в предмете, с тем меньшей силой вырисовывается конститутивная роль языка (тому свидетельство — референциальный слой в языке). И наоборот: чем меньше таких точек соприкосновения с предметом, тем больше возрастает роль языковой обусловленности при образовании значений, находящих свою точку опоры и свою языковую определенность в наличии необходимых (для данного языка) связей с соседними по смыслу словами, которые вместе с ним образуют смысловую структуру.

Преодоление „постулата непосредственности“ вносит ясность в философскую проблему соотношения субъекта и объекта, и дает такое решение, которое предложил нам Гумбольдт: Как только мы попытаемся «отделить субъективное от объективного, тут же вступает в силу язык». Но если это вызовет в нас опасение за надежность объективной истины, то оно сразу же рассеется благодаря убеждению, что «субъективность отдельного индивида снимается, смягчается и расширяется субъективностью народа, субъективность народа — предшествующими и нынешними поколениями, а субъективность этих последних — субъективностью человечества вообще. Без учета этой глубокой, внутренней связи всех языков абсолютно невозможно постичь действие (Wirken) какого-либо отдельного языка»¹.

Мысль, высказанная в этом отрывке, напоминает требования, изложенные еще в „Сравнительной антропологии“: не превращать своеобразие — в данном случае субъективный вклад языка — в односторонность. Логическая процедура, проделанная столь проникательно Гумбольдтом, делает очевидным, что односторонность того или иного языка, вытекающая из его „субъективности“, постепенно снимается на каждой ступени иерархии, приближая тем самым человека к „объективной истине“².

¹ Wilhelm von Humboldts. Werke (Hrsg. von Albert Leitzmann), Bd. V. Berlin, 1906, S. 9.

² „Субъективность“ естественного языка часто становится предметом упреков со стороны науки из-за того, что возникает впечатление, будто она создает препятствие на пути постижения объективной истины. Однако к истине, «открывающейся» в живых языках, неприложимы логические критерии верификации. Неоправданно подойти к языку с позиции (как это нередко происходит) обнаружения в нем «ошибок», ибо каждой проверке «правильности» фактов и логических следований уже предшествует наличие таковых в данном языке.

Научная картина мира не в состоянии устранить естественную картину мира (например, солнце в астрономии не устраняет солнца, увиденного естественным глазом). Это было бы и бессмысленным, и не только потому, что наше зрение имеет для нас силу подлинной реальности, но и потому, что истина, высказанная наукой, сама релятивна и отнюдь не может претендовать на окончательное достиже-

Сравнительный анализ семантических структур языков раскрывает перед нами крайне сложный процесс „превращения мира в мысли“ (Verwandlung der Welt in Gedanken)¹, в котором происходит определенный выбор из многообразия данного. Посредством языка осуществляется упорядочение и членение, а также свойственная человеку оценка предметов и явлений соответственно духовному и культурному уровню данного языкового сообщества.

Выявление оценочной ориентации языков, которое можно было бы назвать „сравнительной аксиологией“, наполнило бы конкретным содержанием сравнительную антропологию. Оно послужило бы подтверждением высказыванию Гумбольдта: «Изучение языков мира — это также всемирная история мыслей и чувств человечества». Это сказано в 1801 г., а в 1822 г. в сочинении „Характер языка и характер народа“ (см. в этом сборнике, с. 370) он пишет: «Языки и различия между ними должны рассматриваться как сила, пронизывающая всю историю человечества». Оно означает начало нового, энергетического этапа в эволюции его взглядов на язык, который завершился фундаментальным трудом, в самом заглавии которого отражена вся суть его учения: „О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества“ (1835 г.).

В заключение отметим, что во всех контекстах (а их немало), где говорится о влиянии языка на характер народа или же о воздействии языков на духовную организацию человечества, язык для Гумбольдта — не продукт деятельности, а сама деятельность, не порожаемое, а порождающее, не эргон, а энергейя. Такой поворот мысли полностью восстанавливает равновесие между языком и мышлением, нарушенное как в философии, так и в теоретической лингвистике.

Г. В. Рамишвили

ние целого. Следует к тому же учесть, что наука, как и зрение естественного глаза, в определенной степени сами обусловлены языком, целиком охватывающим наши отношения с миром.

¹ См. Предисловие и примечания к книге: Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. Москва, 1984.

I.

Так же как в сравнительной анатомии свойства человеческого тела объясняются посредством изучения тел животных, можно в рамках сравнительной антропологии сопоставлять друг с другом и давать сравнительную оценку своеобразных черт морального характера различных человеческих типов.

Историки, биографы, авторы путевых хроник, поэты, разного рода писатели, не исключая даже спекулятивных философов, поставляют данные для этой науки. В путешествии и дома, в деловой и праздной жизни — повсюду предоставляется возможность обогатить и использовать эти данные, и среди всех занятий ни одно не сопровождает нас столь постоянно, как изучение человека. Нужно лишь собрать, просмотреть, упорядочить и переработать тот богатый материал, который дает нам сама жизнь.

Задача эта выпадает на долю сравнительной антропологии, которая, опираясь на антропологию всеобщую и полагая известными родовые характерные признаки человека, занимается лишь его индивидуальными различиями, отделяет случайные и преходящие от существенных и постоянных, исследует свойства последних, определяет их причины, дает им оценку, устанавливает методику работы с ними и предсказывает их будущее развитие.

II. Важность этих исследований

В человеческой жизни нет ни одного практического занятия, которое не требовало бы знания человека — и не просто обобщенного, философского его образа, но индивидуального, в том виде, в каком он предстает перед нашими глазами. При получении та-

Wilhelm von Humboldt, Plan einer vergleichenden Anthropologie (1795) *.

кого знания трудно избежать одной из двух ошибок: построения или слишком неопределенного и обобщенного, либо же слишком частного представления об индивидууме; рассмотрения одних только его потенциальных возможностей или же только одних случайно наложенных на него ограничений. Первая ошибка обычно приводит спекулятивного философа к тому, что основные его положения лишаются практической применимости; вторая приводит чистого практика к тому, что его установки лишаются долговечности и утрачивают благотворное влияние на просвещение и внутренний характер.

Чтобы точно познать человека таким, как он есть, и в то же время свободно судить о возможных путях его развития, практическое наблюдение и философский дух должны действовать совместно. Но сочетать их оказывается значительно легче, если знания об индивидуальном характере становятся в рамках сравнительной антропологии объектом научного размышления и если эта наука находит определенные и точные характеристики своеобразия различных классов людей и распространенных видов влияния внешних ситуаций на внутренний характер. Общие типы, ею выделяемые, могут затем получать дальнейшее уточнение на основании опыта; внутри потенциальной сферы, которую она устанавливает для того или иного характера, можно затем определять то положение, которое он действительно занимает в каждый данный момент.

Всегда говорят, что законодатель должен изучать свою нацию, ее дух и образ ее мыслей, если он желает ее прогрессивного развития. Но как можно в достаточной мере познать характер одной нации, не изучив одновременно и другие, находящиеся с нею в тесной связи, контрастные отличия которых, с одной стороны, собственно, и сформировали этот характер, а с другой стороны, единственно и позволяют полностью его понять? И как можно способствовать прогрессу индивидуального характера, не обдумывая его? В какой мере вообще возможны различия характеров? В какой мере они совместимы с потребностями свободного и всеобщего просвещения и вообще есть ли в них политическая или моральная необходимость?

Чтобы в общих чертах усвоить определенные приемы искусства управления, чтобы осознать, что с французом не следует обращаться педантично, а с англичанином — открыто деспотично, конечно, не требуется такой обстоятельной подготовки. Способы щадить чувствительные стороны человеческого характера и использовать его слабости легко почерпнуть и из поверхностного наблюдения.

Но должны происходить нечто совершенно иное. Индивидуальные характеры должны развиваться так, чтобы они оставались своеобразными, не становясь односторонними, чтобы они не препятствовали выполнению общих требований идеального совершенства, чтобы их своеобразие проявлялось не в ошибках и крайностях, но, напротив, не переступало бы установленных границ и сохра-

няло бы внутреннюю последовательность. Тогда все они смогут действовать сообща, будучи внутренне последовательными и внешне согласованными с идеалом.

Ибо только общественным путем человечество может достигнуть высочайших вершин, и объединение многих необходимо не только для того, чтобы посредством умножения сил осуществлять более значительные и долговечные начинания, но в первую очередь для того, чтобы посредством объединения многообразных способностей проявить собственную природу в ее подлинном богатстве и во всей широте. Отдельный человек всегда имеет лишь одну форму, один характер, и это же верно для отдельного класса людей. Но идеал человечества объемлет все мыслимое разнообразие форм, которые могут быть взаимно совместимы. Поэтому он может проявляться только в совокупности всех индивидуумов.

Если мысленно предположить, что в ряду европейских наций отсутствует та, которая в целом не принимала сколько-нибудь значительного участия в культурном развитии этой части света и даже не является нацией в собственном смысле, но лишь ответвлением другого народа — я имею в виду швейцарскую нацию, — то сразу окажется, что в развитой, богатой, столь далеко отошедшей от естественной простоты Европе мы не досчитаемся народа, который по сравнению с непохожими на себя соседями обладает такой наивностью нравов, ограничивает себя столь малыми потребностями, довольствуется столь скудным запасом средств и использует установления, свойственные лишь самым юным нациям.

Мы специально выбрали в качестве примера швейцарский характер, который, по меньшей мере в некоторых своих аспектах, столь близок к природе, что никто не мог бы созерцать утрату его своеобразия иначе, как с чувством внутреннего сострадания. Ибо отнюдь не всякая специфика заслуживает сохранения, и еще реже заслуживает его специфика национальная, возникающая в результате сочетания столь многих совершенно случайных обстоятельств.

Но как раз потому, что не всякое своеобразие достойно одобрения, а многие его виды даже заслуживают порицания и при этом уже физически (не говоря о других аспектах) невозможно сразу и целиком вырвать людей из привычного для них образа жизни, уничтожить их индивидуальность и превратить их в других людей, уже поэтому необходимо изучать различия между ними и размышлять над тем, что может из них развиться.

Человек должен сохранять свой характер, сформированный природой и окружающей средой, только с ним он чувствует себя легко, он деятелен и счастлив. Но он не должен поэтому в меньшей степени соблюдать общечеловеческие требования и ограничивать свое духовное развитие. Связывать взаимно оба эти противоречащие друг другу требования и одновременно решать обе эти задачи должен практический знаток людей, а как может он преуспеть в этом занятии, не исследовав тщательно все возможные различия

человеческой природы и общее отношение отдельных своеобразных черт к идеалу, предписанному для человеческого рода?

Но формирование человека выпадает не только на долю воспитателя, религиозного наставника, законодателя. Поскольку человек, кем бы он ни был, все же является человеком, постольку он наряду со всеми прочими своими занятиями связан внутренним обязательством обращать практическое внимание на интеллектуальное и моральное воспитание себя самого и других.

Разум неукоснительно предписывает всякому человеческому сообществу всеобщий закон: уважать свои и чужие системы морали и культуры, никогда не наносить им ущерба, но при всякой возможности очищать и возвышать их. Для этой цели отдельные определенные сферы деятельности оказываются тем важнее, чем сильнее их влияние на дух и характер, и если стремиться полностью достичь этой цели, то нужно в такой же мере учитывать индивидуальную форму характера, в какой и всеобщую.

Во всяком случае, законодатель может от этой обязанности отказаться, ибо в его руках находится величайшая и по своему воздействию на людей самая опасная власть. Вся политика, и прежде всего внутренняя, тем самым предстает в таком плане, который ей в сущности чужд. Ведь поскольку сама по себе она предназначена только для решения задачи, как можно кратчайшим и наиболее надежным способом добиться главной цели всякого гражданского объединения — безопасности личности и собственности, — постольку при проведении каждого своего мероприятия она должна прежде всего задаваться вопросом, какое влияние оно окажет на характер граждан в его человеческом аспекте, и мерить каждое из них прежде всего по этой мерке. Кроме того, поскольку два ее аспекта приводят почти неизбежно к совершенно противоположным результатам, а именно чисто политический — к давлению, а общеморальный — к свободе, постольку самым трудным для нее делом является взаимное сочетание этих противоборствующих требований, и трудность эта еще более возрастает, если при практическом воплощении политики в жизнь приходится обращать внимание еще и на такие частные обстоятельства, как охрана и руководство индивидуальным характером.

Обычная теория по этому поводу легко подвержена злоупотреблениям. Она учит законодателя использовать национальное своеобразие, чтобы легче управлять и господствовать над нацией. Но как легко такие чисто политические интересы при отсутствии более высоких, моральных, приводят к тому, что намеренно поддерживаются даже очевидные слабости и недостатки.

Еще труднее приходится государственному деятелю новейшего времени, когда многие нации не только объединены под одним скипетром, как это бывало и раньше, но представляют собой единую массу в точном смысле этого слова. При возможности совершенно точных и быстрых политических мер в такой ситуации, бесспорно, лучше всего было бы устранить отдельные различия,

уподобить друг другу языки, нравы, мнения и т. д. Но возможно ли это без ущерба для своеобразия, а следовательно, одновременно и для самостоятельности и энергии, и какое из двух преимуществ — однородность или своеобразие — следует принести в жертву? Если государственный деятель начнет искать ответа на этот вопрос с таким намерением, которое не отрицает ни достоинств индивидуального характера, ни несомненной пользы для больших государств и человеческих масс, то он скоро откажется от этих поисков и с большей охотой займется решением другой задачи: как объединить оба этих преимущества? Но обеспечить себе решение этой задачи он может только посредством самого пристального изучения реальной индивидуальности субъектов, с которыми он имеет дело.

Религия, видимо, в наименьшей степени подвержена влиянию со стороны своеобразия ее исповедующих. Она учит истине, а истина совершенно объективна и всеобща. Но как раз для нее более всего необходимо заботливо, шаг за шагом, сопровождать модификации духа, если она хочет избежать, с одной стороны, принуждения к вероисповеданию, а, с другой стороны, религиозного равнодушия.

Прочие области жизнедеятельности редко оказывают непосредственное и значительное влияние на внутреннюю индивидуальность. Здесь достаточно избегать грубых ошибок, которые могли бы возыметь отрицательные последствия.

Но тем сильнее влияет на своеобразное формирование характера свободный и повседневный обиход, внутри которого имеются более или менее тесные связи: брак, дружба, узкие и широкие круги общества. Искусство этого обихода, если его не сводить, как это до сих пор всегда делалось, просто к способности нравиться и выигрывать, целиком и полностью зависит от знания и формирования характера.

Это искусство прежде всего стремится сделать всякий обиход как можно более важным для культуры и характера, вложить в него максимум души, но, кроме того, в каждом случае таким образом обособить и сгруппировать индивидуальности, чтобы они явили наблюдателю картину поучительного многообразия, но в то же время путем взаимного целесообразного соприкосновения сами выиграли в восприимчивости и специфике. Однако и то и другое должно осуществляться только при условии полной свободы, без какого-то ни было предварительного умысла. Все должно происходить само собой, быть игрой и развлечением, а не серьезным занятием. Таким образом искусство это станет действительно прекрасным.

Было бы столь же полезным, сколь и развлекательным, набросать основные контуры этого искусства, но это было бы по плечу только человеку, сочетающему значительный и многосторонний собственный характер с обширными знаниями чужих индивидуальностей и в равной мере обладающему как богатством мыслей и чувств, необходимым для того, чтобы сделать интересными част-

ные взаимоотношения, так и легкостью и подвижностью, нужными для того, чтобы играть роль в кругах большого света.

Итак, как раз для того, что постоянно выступает в качестве повседневной потребности, мы больше всего нуждаемся в знании индивидуального человека, и с помощью этого знания мы можем превратить те часы, которые обычно пропадают впустую, в наиболее содержательное время нашей жизни.

Выше мы не упомянули о воспитании. Но слишком очевидно, насколько необходимой подготовкой для него должны быть исследования, подобные настоящему. Для краткости изложения мы пропускаем и некоторые другие области. Так, например, врач обязательно должен обратить внимание на моральный и особенно на индивидуальный характер, поскольку знание последнего может оказаться для него важным.

Таким образом, сравнительная антропология полезна для двух целей и в двух сферах деятельности. Она облегчает знание характеров и в то же время дает философские основания для их оценки, для расчета их дальнейшего развития и для предположений о том, насколько они способны в качестве единого целого взаимодействовать с другими. Она служит деловому человеку, который хочет использовать людей и властвовать над ними, и в то же время воспитателю и философу, который старается их просветить и улучшить.

Но, кроме того, она является самым увлекательным занятием для человеческого духа. Ибо он находит в ней: 1) самый возвышенный объект, предлагаемый природой, в наиболее точном и полном описании; 2) многообразие, не только радующее воображение и чувства пестрой и живописной игрой красок, но также изяществом своих черт обогащающее одновременно дух и восприятие, и 3) всегда трактуемое так, что не только каждая своеобразная черта наблюдается как нечто целое, но также в единое целое объединяются и все эти черты.

III. Непосредственное влияние индивидуального знания людей на своеобразие характера

Недостаточно того, что сравнительная антропология учит познавать различия человеческих характеров; она сама способствует возникновению еще больших различий и более целесообразному обращению с уже имеющимися.

Но следует ли первое считать достоинством, и не верно ли, что слишком большое многообразие форм характеров противоречит общей правомерности и объективности культуры, вкусов и нравов? Ответ на этот вопрос не может быть столь однозначным в глазах большинства. Все творения человека удаются лучше, если они подвергаются общей и независимой от субъективности отдельных личностей обработке, и только собственно творения духа в опреде-

ленном смысле являются исключениями из этого правила. Точно так же законы и практические отношения между людьми обретают долговечность и надежность скорее в результате единообразия нравов, чем за счет менее регулярной инициативы со стороны необычных индивидуумов.

Напротив, сила, изобретательность, энтузиазм зависят от оригинальности, и без незаурядных и самостоятельных движений духа никогда не возникло бы ничто великое.

Вообще различие форм характеров, даже если бы оно было вредно, все же решительно неизбежно, и вопрос сводится лишь к тому, нужно ли предоставить его игре слепого случая, или же посредством разумного руководства претворить в своеобразие? Но на этот вопрос можно ответить лишь одним единственным образом.

Сравнительная антропология исследует характеры целых классов людей, в первую очередь — характеры наций и эпох. Но эти характеры часто случайны; должны ли они сохраняться? Должен ли философ, историк, поэт, человек в явном виде нести на себе отпечаток своего имени, своей нации, своей эпохи, наконец, своей личности? — Конечно, но только в определенном смысле. Человек должен позволять воздействовать на себя всем отношениям, в которые он вступает, не отвергать никакие влияния, но модифицировать всякое такое влияние, исходя из своих внутренних предпосылок и в соответствии с объективными принципами. Таким он должен *быть*; то, в какой степени это *проявится* в различных видах его деятельности, зависит от требований этой деятельности и от природы его индивидуальности. Но чем больше он сможет проявить субъективной оригинальности, не наносящей ущерба объективной ценности своего дела, тем лучше.

В отдельных случаях и в отдельные периоды своей жизни человек, возможно, и способен собрать достаточный материал, однако в целом этого материала всегда не хватает. Чем более обширный материал он воплощает в форму, чем большее разнообразие он претворяет в единство, тем он богаче, жизнеспособнее, сильнее, плодотворнее. Но это многообразие он черпает из своих разносторонних отношений. По мере того как он в них вступает, в нем открываются все новые стороны и активизируется его внутренняя деятельность, направленная на развитие каждой из них и на сочетание их всех в единое целое. Отрицательные и пагубные особенности объясняются только праздною приверженностью к какой-либо одной из этих сторон. Отсюда происходят неуклюжие национальные и семейные характеры, с которыми мы действительно непрестанно сталкиваемся; но в этом повинна внутренняя вялость и косность, а не внешнее многообразие. При правильном теоретическом руководстве ни один член нации не будет уже столь разительно напоминать остальных; национальный характер будет отражаться в каждой отдельной личности, но поскольку он будет каждый раз смягчаться за счет воздействия всех прочих отношений, а главным образом, за счет пытливого и благотворного воздействия разума,

постольку в целом он уже не будет столь неуклюжим и поверхностным, но станет более чистым, своеобразным, утонченным и многосторонним.

Человек, взятый в отдельности, слаб, и его быстро иссякающие силы позволяют ему свершать лишь немного. Ему нужна высота, на которую он может подняться; общество, которое ему может служить; ряд, в который он может себя включить. Но все это обеспечено для него в тем большей степени, чем деятельнее он распространяет на себя дух своей нации, своего пола, своей эпохи. Что давало римлянину уже то, что он родился в Риме? Что давало Сципиону то, что он происходил из рода Корнелиев? Что дает новейшим поэтам уже то единственное обстоятельство, что они могут считать все богатство греческого поэтического искусства своей собственностью и сразу подниматься на присущую ему высоту?

Но от субъективного знания природы еще долг путь до ее объективных свойств. Как может расширение и утончение первого непосредственно способствовать облагораживанию последних? Бесспорно, за счет того, что как наблюдателем, так и наблюдаемым здесь является человек, что он всегда, даже сам этого не сознавая, приспособляется к своей внутренней духовной форме и что совокупность господствующих понятий всегда в конечном счете, часто даже непонятным нам самим образом, подчиняет себе не только человека, но даже и мертвую природу.

То, что обширные знания своеобразия характеров позволяют правильнее оценивать характеры и находить оптимальные методы обращения с ними, понятно здесь само собой. Но уже само то, что в характере открываются более тонкие нюансы, фактически делает этот характер более разносторонним; то, что отдельные разновидности подвергаются изучению, а формы их описываются индивидуально, как они есть, а также идеально, какими они могут стать, позволяет этим разновидностям и формам действительно развиваться более ясно и определенно.

Характер возникает только в результате постоянного воздействия мыслительной и чувственной деятельности. В результате того, что некоторые определенные факторы действуют непрерывно, а другие — никогда или же редко, первые развиваются, а вторые подавляются, и так постепенно вырабатывается определенная форма характера. Эта непреходящая соотнесенность нашего искусства быть и нашего искусства оценивать, наших практических и наших теоретических свойств дает нам возможность оказывать действительное и практическое влияние на самих себя посредством идеи и нашего собственного духа. Разум не может постигнуть того, на что нет даже намека в сфере чувств и восприятий; но также нельзя voltar в свою сущность что бы то ни было, что хоть как-то не подготовлено в сфере понятий. Нельзя осознать того, что нельзя воспринять чувственно, для чего отсутствует материальное воплощение; но нельзя также быть тем, для чего нет понятия, для чего отсутствует форма.

Но внимательное отношение к характеристическим особенностям

позволяет достигнуть еще большего. С одной стороны, благодаря этому оценивается каждый объект прежде всего и преимущественно с точки зрения его отношения к внутренней сущности; с другой стороны, пробуждается характер и активизируется его деятельность. Но коль скоро характер пробуждается, то из всех факторов, которые оказывают на него воздействие, он сам усваивает только те, которые ему гомогенны; таким образом, все посторонние источники и факторы собираются в одной-единственной точке. Это отчетливо видно на примере характеров, которые по природе являются резкими, страстными и односторонними. О них справедливо говорят, что они повсюду видят лишь себя и переносят себя на все окружающее, а поэтому их односторонность возрастает в еще большей мере. Но недостаток их коренится не в чрезмерной активности их индивидуальности, а только в том, что последняя становится таковой в результате страстей и естественной предрасположенности. Однако, если бы она активизировалась посредством духовного настроения, посредством стремления повсюду проявлять своеобразие, то результаты были бы совершенно иными. Такой человек одновременно вбирал бы в себя все характеристические влияния и своеобразно обращался бы с ними. Но то, что для него гетерогенно, он не стал бы отбрасывать, а использовал бы по-своему и в своих целях; он оценивал бы всякий предмет совершенно объективно и беспристрастно, и все отличие (хотя оно, конечно, важное) здесь заключалось бы лишь в степени и способе усвоения. Это вполне отчетливо видно при сравнении некоторых иностранных наций с немецкой. Французам и англичанам присущи исключительно яркие формы характера, но весьма часто они обнаруживают только им свойственный односторонний подход к окружающему миру и не достигают истины и объективности.

Но в первую очередь чистота и определенность характера формируется в обществе, когда он вступает в отношения с чистыми и определенными характерами. И здесь существенно не только сходство, к которому стремятся характеры, но и контраст, посредством которого они себя друг другу противопоставляют. Ибо моральной, равно как и физической, организации свойственна ассимилирующая конститутивная потребность, которая, однако, как только собственный характер достигает некоторой определенности, стремится не к сходству, но скорее к взаимной координации позиций индивидуальностей. Так, мужской характер становится более чистым и мужественным, когда ему противопоставлен женский, и наоборот. Впрочем, эта особенность более характерна для отдельных индивидуумов, нежели для целых сообществ. Менее всего она свойственна характерам наций, которые при взаимном общении склонны скорее выпячивать свою оригинальность или же отказываться от нее, чем ее целесообразно усваивать и формировать. Действие этой особенности до некоторой степени проявляется даже во внешнем строении лица, что доказывает, например, взаимное сходство супругов, несомненно не являющееся игрой воображения.

Но когда сделан один шаг, то дальнейшие следуют за ним с невероятной легкостью. Ибо ничто не оказывает на все окружающее столь активного влияния, как человеческая индивидуальность. Одна из самых важных функций отведена здесь происхождению, которое передает новому индивиду в качестве готовых исходных данных все то, что уже достигнуто, и тем самым каждый раз превращает в надежную собственность то, что до тех пор было лишь недавно завоеванным достоянием.

Итак, изучение характеров в их индивидуальности усиливает саму эту индивидуальность. Но и за пределами человеческой природы имеется достопримечательный пример того, как от многообразия форм характеров зависит облагораживание целых видов, а именно — известный феномен того, что домашние животные имеют больше видов, больше вариаций и, наконец, обнаруживают более яркие индивидуальные признаки, чем все прочие виды животных.

IV. Задачи и методология сравнительной антропологии вообще.

Опасность возможного неверного ее применения

Устремления сравнительной антропологии направлены на то, чтобы измерить возможное разнообразие человеческой природы в ее идеальности; или, что то же, исследовать, как человеческий идеал, которому никогда не адекватна отдельная личность, воплощается во многих индивидуумах.

То, чего она ищет, таким образом, не есть природный объект, но нечто безусловное — идеалы, которые, однако, так соотносятся с индивидуумами, с эмпирическими объектами, что их можно рассматривать как цель, к которой должны стремиться последние.

Если бы антропология могла решать эту задачу, не снисходя до наблюдения реальной природы, то осталась бы чисто философской и спекулятивной наукой. И в определенном смысле она действительно может ею быть. Она может заниматься только общим идеалом человека; она может разлагать его на отдельные аспекты и из этих отдельных характеристик строить отдельные идеальные формы, в которых вокруг этих аспектов, выбранных в качестве господствующих черт, будут с должной упорядоченностью концентрироваться прочие свойства, необходимые для истинно совершенного человека. Например, в человеческом идеале есть чувство прекрасного и стремление к истине, причем каждое из них весьма сильно само по себе и находится в совершенном равновесии с другим. Можно выделить обе эти тенденции, превратить каждую в основную характерную черту особой индивидуальности, исходя из этого угла зрения дополнить форму до конца, и мы получим, не нуждаясь в каком-либо специальном опыте, чистые характеры художника и философа.

Но чтобы полностью выполнить сформулированное выше требование, сравнительная антропология неизбежно должна прибегать

к пристальному наблюдению действительности и даже вообще прежде всего исходить из него. Потому что

1) любая более спекулятивная практика вела бы за собой отрицательно сказывающуюся скудость, как в том, что касается многообразия форм, так и в отношении каждой конкретной формы. Даже самые успешные попытки не дали бы возможности раскрыть природу настоящей индивидуальности;

2) само выдвигание идеала требует добросовестного наблюдения действительности, ибо этот идеал есть не что иное, как расширенная во всех направлениях, освобожденная от всех ограничений природа;

3) она лишь тогда находит практическое применение в реальной жизни, когда непосредственно осуществляет эмпирическое наблюдение; ибо она напрасно провозглашала бы высокие идеалы, если бы не имела средств воплотить их в действительность.

Человек развивается только в зависимости от физических условий его окружения. Обстоятельства и события, на первый взгляд абсолютно гетерогенные его внутренней сущности, — климат, почва, образ жизни, внешняя обстановка и т. п. — вызывают в нем новый и часто самый утонченный и возвышенный моральный отклик. При помощи физических средств — зачатия и рождения — потомкам передается уже приобретенная моральная природа, и тем самым интеллектуальный и моральный прогресс, который иначе был бы преходящим и изменчивым, определенным образом способствует непрерывности и постоянству природы. Поэтому физические свойства человека при формировании его характера играют роль, весьма значительную во всех отношениях.

Еще отчетливее, чем у отдельных индивидуумов, проявляется это при рассмотрении всего человеческого рода. Большие массы людей, племена и нации, на протяжении столетий сохраняют присущий им характер, и даже когда он подвергается большим изменениям, в нем все же видны следы исходного состояния. Во все эпохи сходные причины приводят к сходным действиям, а потому в целом при наличии одних и тех же действующих сил мы обнаруживаем примерно одни и те же результаты, то же влияние внешних условий, ту же игру страстей, ту же мощь добра и истины, которая позволяет им проявляться в самых запутанных хитросплетениях событий и в самых многообразных формах. Повсюду в действиях отдельных лиц проявляется своенравный произвол индивидуальных склонностей, в то время как судьбы масс несут на себе несомненную печать природных сил. Насколько яснее и очевиднее стало бы это для нас, если бы нам не приходилось всегда ограничивать свое рассмотрение весьма коротким отрезком времени и если бы нас не останавливала столь часто неполнота наших знаний.

Все это заставляет сравнительную антропологию не просто исходить из опыта, но как можно глубже в него погружаться. Она должна исследовать характеры, присущие полам, возрастам, темпераментам, нациям и т. д., с такой же тщательностью, с какой естест-

воиспытатель стремится описать виды и разновидности животного мира. Даже если бы для нее самой было важно установить лишь различия между идеальными типами людей, она должна действовать так, как если бы главной ее задачей было определение реально существующих индивидуальных различий между людьми.

Ее своеобразие состоит, следовательно, в том, что она обращается с эмпирическим материалом спекулятивно, с историческими объектами — по-философски, с реальными свойствами человека — в перспективе его возможного развития.

При сочетании естественно-исторического и философского подхода страдает обычно первый; но здесь не меньшая опасность грозит и второму. Поскольку сравнительная антропология исследует характеры человеческих типов, она легко уступает соблазну счесть их либо более определенными, либо более устойчивыми, чем они есть на самом деле. Но такая тенденция в высшей степени вредна для развития человеческой природы, благородство которой прежде всего зависит от возможностей свободы индивидуальности. Это опасный подводный камень, которого нужно избегать при всяком суждении о человеке, ибо его необходимо рассматривать как природную сущность, но не заходить в этом рассмотрении слишком далеко.

Впрочем, здесь этот подводный камень гораздо менее опасен. Ведь в наши намерения входит лишь изучение индивидуальных различий вообще, и в частности таких, которые, кроме того, согласуются с идеальными требованиями; но мы не задаем целью дать естественно-историческую классификацию человеческого рода. Эта классификация нужна нам только как средство для достижения обозначенной выше цели, во-первых, чтобы подойти ближе к рассмотрению самого индивидуума, более надежно распознать устойчивое и существенное и не позволить мимолетным случайностям ввести себя в заблуждение, а во-вторых, чтобы успешнее наблюдать за движением самой природы, которая посредством видového сходства способствует индивидуальной оригинальности, используя это сходство для ее подчеркивания, но не ограничивая при этом индивидуальную свободу.

Даже если бы характеры полов, темпераментов и наций были еще менее определенными, чем они есть на самом деле, это не помешало бы успешному применению сравнительной антропологии. Ибо для нее достаточны рассмотрение лишь самых существенных различий и надлежащая проверка и оценка в практических целях того, что действительно можно обнаружить в объекте.

V. Метод. Масштабы и границы. Подразделение

Согласно сказанному выше, сравнительная антропология представляет собой ветвь философско-практического человековедения. Следовательно, как и последнее, она будет избегать эмпирики, а

равно и чистой спекуляции и целиком и полностью основываться на опыте. Кроме того, она будет признавать основные правила, из него выводимые, и им следовать. Соответственно она будет:

1) черпать данные для своего описания характеров из всей сферы проявлений человека, из всей его физической, интеллектуальной и моральной природы, чтобы обеспечить себе максимально широкий охват материала;

2) в массе этих данных в первую очередь обращать внимание на те черты, которые наиболее ярко обрисовывают характер, и в частности, в тех моментах, где проявляются его индивидуальные различия,— на соотношение и движение сил;

3) всегда взирать только на внутреннюю специфику и совершенство, а не только (или главным образом) на пригодность для внешних целей;

4) описывать характер по возможности генетически;

5) переходить от фактов и внешних проявлений к общим свойствам, а от них — собственно к внутренней сущности;

6) четко отделять случайные признаки от существенных и упорядочивать их по степени случайности;

7) сводить характер, до сих пор рассматривавшийся лишь в отдельных аспектах, к наивысшему единству, извлекать из полностью законченного образа понятие,— что успешнее всего происходит при попытке словесного выражения того способа, каким это понятие реализуется в высших и всеобщих устремлениях человека.

Специальная направленность сравнительной антропологии, которая в отличие от человековедения вообще изучает не человека в целом или отдельных особо интересных индивидуумов, но исследует, без ущерба для идеальности, все возможные различия внутри человеческого рода,— направленность, приводящая ее, кроме всего прочего, к изучению характеров человеческих сообществ, заставляет добавить к сформулированным выше правилам еще и следующие:

1) поскольку прежде всего ей приходится исследовать то, как идеальное совершенство, недостижимое для отдельного индивидуума, получает общественное выражение в совокупности многих, то при выборе характеров для своих штудий она главным образом руководствуется именно этими соображениями. Она выбирает по мере возможности такие характеры, которые либо способствуют расширению понятия человечности, либо же находятся в таком взаимном соотношении, что в каждом из них реализуются черты, с трудом сочетающиеся друг с другом в рамках одного характера;

2) поскольку она должна с особым вниманием заниматься характерами сообществ, ей нужно как можно более четко отделять их от всякого влияния отдельных индивидуальностей и потому выводить их своеобразные черты из общественных первоисточников и из их общей идеи;

3) с другой стороны, она должна тщательно следить за тем, чтобы не ограничить свободу индивидуумов слишком жесткой и узкой общественной идеей.

Масштабы сравнительной антропологии, собственно, совпадали бы с масштабами всего человеческого рода в целом, если бы не было двух факторов, препятствующих столь широкому раздвижению ее границ.

Для того чтобы достичь индивидуальной формы, человек нуждается в определенной, и не малой, степени культуры. Его начальное образование осуществляется лишь в массе, лишь в грубых, еще мало индивидуализированных формах. Эта ступень культуры заменяется уже значительно более высокой, когда характер становится настолько утонченным, а форма его — настолько определенной, что в нем обнаруживаются уже отдельные черты, позволяющие расширить представление о совершенной человечности, и более того, он уже выступает как указатель, следуя которому человек может целенаправленно двигаться к подобному совершенству. Ибо первые своеобразные черты еще не развитых народов — это по большей части всего лишь внешние, случайные и незначительные или же вовсе порочные черты; за ними следуют отдельные более или менее обещающие особенности; и лишь на последней ступени своеобразие охватывает все действующие силы и начинает формировать полностью индивидуальный характер*.

Но если даже нет никаких возражений против пригодности самого объекта, то для того, чтобы предпринять необходимое нам описание, нужно глубокое и точное знание самого объекта. Трудно исследовать как таковое уже одно-единственное внутреннее и существенное свойство; но насколько труднее познать их все в их целостной взаимосвязи! Сколько бы, к примеру, ни существовало вспомогательных пособий для ознакомления с нациями, все равно тот, кто сам примется за дело, вскоре обнаружит свою беспомощность именно там, где ему более всего было бы нужно надежное руководство.

Итак, лишь для очень немногих человеческих сообществ имеет смысл даже сама попытка полного описания их внутреннего и существенного своеобразия. Ибо для совершенного успеха такого описания, если учесть все препятствия, заключенные в самом объекте и в наших знаниях о нем, не созрело еще, возможно, ни одно из этих сообществ. И все же философская антропология не может довольствоваться меньшим. Она должна всегда стремиться к целому, к законченному образу; в отличие от физиологической антропологии ей чужда просто погоня за многочисленными различиями. Поэтому если последняя в первую очередь воспаряет в самые отдаленные небесные сферы, где обнаруживаются самые зыбительные различия, то первая главным образом ограничивает себя небольшой сферой высочайшей культуры, где черты своеобразия проявляются в наиболее определенном и законченном виде.

Что касается упорядочения разделов, то описанию отдельных характеров должно предшествовать общее введение, предназначенное для специального обсуждения: 1) возможностей, причин и оцен-

ки различных вообще; 2) общей природы групповых характеров; 3) природы таких отдельных характеров, например полов, наций и т. д.

VI. Источники и вспомогательные средства. Необходимое умунастроение

Если индивидуальный характер человека должен исследоваться на предмет его возможной идеализации и если этот материал должен подвергаться не просто фрагментарной, отдельной для каждого случая обработке, но оцениваться теоретически, в свете общих положений, то его трактовка должна включать в себя все способы наблюдения природы и быть одновременно естественно-исторической, исторической и философской.

Человек, пусть даже рассматриваемый как вид, несомненно, является звеном в цепи физической природы. Как и прочие животные, люди подразделяются на расы, расы эти от поколения к поколению передают свои своеобразные особенности и могут скрещиваться друг с другом. Очевидно, что в этом и в других подобных случаях естественные факторы, которых нельзя избежать, необходимо лишь должным образом использовать и направлять. В этом отношении человек, безусловно, является частью природы. Как и природные явления, его можно наблюдать, а главное, что здесь особенно важно, с ним можно экспериментировать.

Природной необходимости в человеке более всего противостоит его произвол. При его помощи он начинает и завершает свои действия, к которым его не понуждает ни природа, ни разум. Он, как говорится, идет на поводу у случая, у внешних влияний или мгновенных внутренних порывов. Хотя то, что он таким образом делает, часто имеет физическую природу, ибо даже опосредованно не диктуется разумом, все же это всегда результат физических или каких-либо других воздействий на свободную натуру, а потому здесь не властны ни законы природы, ни эксперимент. В этом аспекте человека можно изучать лишь исторически. Таков он есть; таким он стал. На вопрос: почему? — нет удовлетворительного ответа.

Подлинно человеческая свобода объединяет природу и произвол посредством разума. Ибо разум нуждается в законах в такой же мере, как и природа, но это никоим образом не сказывается на свободе, поскольку он сам творит для себя законы. Здесь, следовательно, они есть, и представляют собой эманацию самостоятельной силы, лежащую за пределами области внешних явлений. Таким образом, здесь начинается область философских и эстетических суждений.

Всякая теоретическая обработка материала предполагает суждения, основанные на законах, и лишь постольку, поскольку человеческий характер допускает такие суждения, он доступен для научного изучения.

Конечно, органическая природа человека позволяет обнару-

жить законы, действующие регулярно и неотвратно. Так, например, один из общих законов природы заключается в том, что часть индивидуальности родителей переходит к детям. Но сложная экономика человеческого тела, его пока еще непостижимая связь с моральным характером и большие трудности экспериментирования с человеком приводят к тому, что такого рода законы выявляются всегда не полностью и почти никогда не проясняются окончательно. Так, если рассмотреть приведенный выше пример, то мы придем к выводу, что здесь невозможно определить, что конкретно, в какой степени и при каких условиях будет в большей или меньшей степени унаследовано в результате зачатия. Даже для того, чтобы познать как целое физическое и физиологическое своеобразие индивидуума (что само по себе гораздо проще), пока еще отсутствует общая формула или метод. Наблюдают и знают только отдельные различия, из которых можно сделать очень мало или вовсе никаких выводов.

Наибольшую силу и закономерность обнаруживает философская оценка, но и то в основном только там, где она предписывает человеку правила его мировоззрения, а не там, где она пытается раскрыть действительную взаимосвязь его сил в целях углубления своих знаний. Правда, ей удастся вполне правильно определить и объяснить отдельные соотношения, но поскольку последние никогда не бывают представлены отдельно и в изолированном виде,— то есть никогда не бывает чистых случаев,— постольку внутренние интеллектуальные и моральные соотношения никогда не получают полностью безошибочного и совершенно исчерпывающего описания.

Наименьшую закономерность обнаруживает чисто историческое рассмотрение материала. Каждая отдельная особенность проявляется здесь так же нерегулярно, как случай и произвол, ее обуславливающие. Но и здесь, если только обзирать большие массы людей и событий, повторяются сходные события с определенной, хотя и менее строгой и труднее уловимой, регулярностью.

Поэтому материал, находящийся в распоряжении сравнительной антропологии, с трудом поддается непосредственно научной и даже чисто теоретической обработке. Но все же в той степени, в какой он может быть эмпирическим, отдельные явления внутри него всегда обнаруживают определенное постоянство, последовательность и закономерность, и эта последняя неизбежно должна возрастать по мере расширения наших знаний, равно как и по мере облагораживания самой человеческой природы и течения времени. Поэтому исследователь должен прежде всего как можно точнее придерживаться действительности, но он обязан сочетать с наблюдением максимально пристальную философскую оценку, во-первых, чтобы теоретически упорядочить массу фактов в соответствии с законами, а во-вторых, чтобы сообразно с законами практически оценить выявленные в ходе наблюдения характеры.

Тот, кто хочет преуспеть в этом и действительно расширить область индивидуального человековедения, должен в определенной

степени сочетать в себе различные унастроения естествоиспытателя, историка и философа. В качестве первого он должен всегда исходить из идеи организации, предполагать сплошную и совершенную регулярность, объяснять все внутренними и собственными силами сущности, рассматривать каждую из этих сил одновременно как цель и как средство и никогда не прибегать к иным объяснениям, кроме физических. В качестве второго он обязан с хладнокровнейшим беспристрастием задаваться только одним вопросом: „Что произошло?“ — и не рассматривать целое, к которому относятся отдельные наблюдаемые им факты, ни как продукт природы, ни как продукт чистой воли и даже не пытаться переходить от причин и законов к конкретным явлениям, но двигаться только в обратном направлении. Ведь историка отличает от естествоиспытателя и от философа как раз то, что ему приходится иметь дело с тем и только с тем, что произошло, а также то, что он рассматривает поле своей деятельности не как область природы и не как область чистой воли, но как царство судьбы и случая, отдельные капризы которого неподотчетны никому. Наконец, как философ, он не должен забывать, что объектом его рассмотрения является свободная и самостоятельная сущность, необходимые движущие силы которой он должен изыскивать за пределами явлений, и что он обязан выдвигать свои суждения в строгом соответствии с законами и идеалами разума.

Что самое трудное, так это то, что эти три столь различных унастроения не должны, как это случается, действовать порознь при рассмотрении отдельных аспектов характера, но весьма часто должны быть очень тесно взаимосвязаны. Ведь поскольку человек представляет собой свободную сущность в общей цепи природы, то даже то, что от него исходит совершенно самостоятельно, легко приобретает некоторую организацию, а потому даже при достаточно тщательном историческом исследовании характера всегда оказывается необходимым в то же время стараться объяснить его с точки зрения природы и организации, а также идеально оценивать его как самое свободное проявление чисто человеческих сил. Для моральной природы человека нужно также констатировать подвижную организацию, удивительную легкость, с которой она может нечто в себя включать, столь же легко заменяя это на нечто иное при изменении направленности характера. Действительно, мы видим, что, с одной стороны, человек может усваивать некоторые качества таким образом, что они связываются со всей его сущностью, сказываются даже на его физических характеристиках и переходят от него также и к другим людям; но что, с другой стороны, как только дух его обретает иную направленность, он может отбросить предшествующую форму и заменить ее другой. Эта последняя сила часто удивительно активно проявляется в борьбе индивидуальных черт с родовым или национальным характером. Такое, на первый взгляд столь мало понятное сочетание устойчивости и подвижности, бесспорно, находит себе объяснение во взаимодействии чувственных и чисто духовных сил в человеке. Первые всегда стремятся все ас-

симилировать, обратить все в привычку и в природу. Напротив, вторым чуждо какое бы то ни было постоянство, основанное не на стабильном согласии с настоящим моментом, а на сохранении предшествующих впечатлений. И хотя в борьбе всегда побеждают духовные силы, чувственные все же не утрачивают своей активности, что в целом и приводит к образованию основного типа природы, который, однако, перестает быть господствующим, если вступает в противоречие с изменившейся направленностью духа.

Было бы трудно — если это вообще возможно — искусно и закономерно отыскать ту надлежащую пропорцию, с которой в рамках подлинного человековедения должны взаимно сочетаться столь разнородные подходы. В действительности исследователи человека чаще всего бывают либо слишком эмпиричны, либо слишком спекулятивны. Поэтому лучшая школа человековедения — это жизнь, и наибольшего успеха в ней добьется тот, чей собственный характер стоит на высокой ступени развития, тот, кто обладает богатством форм и в то же время достаточно привычен к суждениям, основанным на законах. Ибо тот, кто сам сочетает в себе необходимую свободу и закономерность, не испытывает недостатка ни в восприимчивости, необходимой для охвата данного ему материала, ни в силах, необходимых для строгой проверки этого материала в соответствии с законами.

VII. О различии характеров вообще

Первая отличительная черта, которую мы отмечаем в массе случаев и которая не может ускользнуть даже от самого беглого взгляда, — это различие в предметах занятий людей, в продуктах их труда, в способе удовлетворения их потребностей и в образе их жизни. С этими очевидными вещами прежде всего связано представление о своеобразии как отдельных индивидуумов, так и целых наций, из которых о многих только это и известно, то есть известны лишь их одежда, занятия, развлечения, образ жизни и т. п.

Второй класс различительных признаков, присущих людям, уже ближе затрагивает их личность, хотя еще и не характеризует непосредственно ее внутреннюю сущность. К нему можно причислить все внешние особенности телесного строения и поведения: фигуру, цвет лица и волос, физиономию, язык, походку и мимику вообще. Этот вид различительных признаков важен в основном постольку, поскольку он, с одной стороны, более приближает нас к самому человеку, чем признаки первого класса, а, с другой стороны, дает нам более верную и правдивую картину, чем та, которая получается на основании умозаключений, исходящих только из внутренних факторов. Поэтому на этих признаках основывается не только естественный и здравый смысл, который, хотя и совершает отдельные промахи, в целом все же ошибается редко, но и самый философический знаток людей обязан неизменно держать их в поле

зрения, чтобы на них, как на непосредственных фактах, проверять и корректировать свои глубинные суждения.

От обеих этих разновидностей признаков можно, наконец, перейти к собственно внутренним различиям. Последние обнаруживаются не в силах как таковых, поскольку ими обладает весь, без исключения, человеческий род, но, скорее, в их степени, ибо они могут у одного индивидуума достигать такой высоты, на которую никогда не вознесется другой, в их соотношении, когда в одном господствующей является, к примеру, фантазия, а в другом — рассудок и пр., или же в их движении, ибо один может быть неутомимым и деятельным, а другой — вялым и пассивным, и т. п.; далее, в чувствах, которые у одного могут быть более нежными и ранимыми, чем у другого, наконец, в склонностях и страстях.

Но все эти различия, если рассматривать их по отдельности, как это сделано выше, указывают скорее на разницу в отдельных внешних проявлениях, а не на разницу самих характеров. Пока каждое из них рассматривается само по себе, всегда остается неясным, не коренятся ли они в различии внешних условий и обстоятельств, нежели во внутренней форме характера, которую сам индивидуум либо вообще не в силах изменить, либо может изменить лишь в незначительной степени. Но только в последнем случае лицо собственно различие характеров, и для того, чтобы к нему подойти, необходимы другие и более глубокие наблюдения *.

Введение

1. Человек, нуждающийся в соблюдении последовательности и единства своих мыслей и действий, при определении предметов своей деятельности и выборе средств не может довольствоваться лишь условными соображениями, не может соразмерить по масштабу качества и достоинства вещи, которые сами по себе имеют ценность только в соотношении с другими; он должен искать конечную цель, единый и абсолютный масштаб, и таковой должен находиться в тесном и непосредственном родстве с его внутренней природой.

2. Если в иные времена он и мог ограничивать свой исследовательский дух более узкими рамками, то в настоящую эпоху это уже стало для него невозможным. Пока за пределами человечества многое еще держится прочно и непоколебимо, это внешнее и дает надежные критерии для сравнения, и непосредственно необходимо только вопрос: грозит ли опасность этим опорным столпам человеческого благополучия? Но когда все окружающее нас теряет устойчивость, надежное убежище остается только внутри нас, и с тех пор, как в одной из самых важных и развитых частей света произошла фактическая переориентация всех отношений, остается неясным, в какой мере они сохранили стабильность в других местах, тем более что в наш философский век эта переориентация выглядит как нечто единственно правомерное, абсолютно и морально необходимое.

3. Но обязательность стремления к чему-либо конечному и безусловному имеет еще одну причину. Все опосредованное и обусловленное может лишь односторонним образом удовлетворять либо наш рассудок, либо наши чувства; только к тому, что близко затрагивает нашу собственную и внутреннюю сущность, тянется вся, а следовательно, лучшая и истинно человеческая наша природа.

4. Поэтому человек должен стремиться к тому, чему он как конечной цели может подчинить все и в соответствии с чем, как

с абсолютным масштабом, он может все соразмерить. Этого он не может найти нигде, кроме как в самом себе, ибо во внутренней сущности всех вещей все соотносится только с ним; но это не может быть связано ни с его преходящим наслаждением, ни с его счастьем вообще, ибо к благородным достоинствам его природы принадлежит способность пренебрегать наслаждением и обходиться без счастья; следовательно, это должно заключаться только в его внутренних качествах, в его высшем совершенстве.

5. Итак, то, чему человек должен стремиться, — это его достоинство, а вопрос, на который он должен ответить, сводится к следующему: что есть то, в соответствии с чем, как с общим мерилom, можно определять ценность вещей для человека и ценность людей друг для друга? Как узнать, где это найти? Как вызвать его появление там, где его еще нет?

6. Поскольку это нечто должно иметь универсальное применение, оно должно быть чем-то общим, но, поскольку никому не придет в голову моделировать различные природы по одному-единственному образцу, оно не должно наносить ущерб различиям индивидуальностей. Следовательно, это нечто, будучи всегда одним и тем же, должно обладать способностью реализоваться разнообразными способами.

7. Когда человек ищет это неведомое нечто и средства в него проникнуть, то есть пока он осуществляет теоретическую деятельность, он должен, исходя из возможности всеобщего взаимодействия, направлять свое внимание на всех, на облагораживание всего человеческого рода. Но когда он хочет реализовать эти средства на практике, он должен ограничиться самим собой, поскольку было бы нелепо включать в определенный план то, что не заложено определенным образом в собственной воле. Рассудок ищет своего завершения в мире и не знает никаких границ, кроме мировых; воля находит свое завершение в индивидууме и никогда не выходит за его пределы.

8. Но чтобы оба эти фактора не вступали во взаимное противоречие, проблема эта должна решаться так, чтобы индивидуальное продвижение к цели в то же время способствовало общему приближению к этой цели всех, причем способствовало бы этому прямо и непосредственно (а не только в той мере, в какой индивидуум является частью общества). Собственное развитие индивидуума должно побуждать прочих, пусть помимо их воли или даже вопреки ей, осуществлять аналогичное продвижение. Постоянное взаимовлияние теоретического мышления и практической воли всегда результирует в таком образе действий, при котором каждый, полностью реализуя свою индивидуальную энергию, все же играет лишь ответственную роль во всеобщем плане.

9. То, чего он ищет, он не может почерпнуть в одной лишь морали, а потому это нельзя рассматривать как нечто уже известное. Ибо, хотя только моральные качества определяют человеческое достоинство в целом, они все же ограничены лишь одной сферой нашего существа — системой взглядов. Здесь же требуется также

воспитание (Bildung) и вообще нечто столь всеобщее, что может объ-
ять всего человека со всеми его силами и во всех его проявлениях.

10. Ибо отличительный характер того, к чему мы здесь стремим-
ся, заключается как раз в том, что оно должно выносить оконча-
тельное суждение о ценности любой человеческой энергии, любого
человеческого произведения, равно как и решать, является ли сти-
хотворение подлинно поэтическим, философская система — под-
линно философской, а характер — подлинно человеческим.

11. На всем великом, исходящем от человека, обязательно ле-
жит печать — это печать истинно великой человечности; обнаружить
эту печать и научиться во всем распознавать ее черты — вот та
задача, которую мы намерены решить.

12. Чтобы действительно этого добиться, человек может идти
двумя путями: путем опыта и путем разума.

13. Путь опыта. Исследователь осматривается вокруг себя и вы-
бирает тех индивидуумов, которые, по его представлению, являют
собой наилучший и самый возвышенный пример человеческого совер-
шенства. Поскольку он не может наблюдать сам идеал, он обращает-
ся к наиболее точным слепкам с него. Из массы времен и народов он
высскивает поэтов, художников, философов и естествоиспытателей,
которые работали в истинно возвышенном стиле, которые лучше
всего представляют каждое из этих занятий в его оптимальном
своеобразии. Но он не забывает и о том, чтобы из самой жизни чер-
пать примеры людей, внутренние свойства и внешний облик кото-
рых являют ему наиболее наглядную картину возвышенного и бла-
городного в человеке.

14. Всех их он тщательно сравнивает друг с другом и старается
в первую очередь обнаружить в них то общее, что заставляет его
помещать их на столь высокую ступень своей внутренней оценки.
В процессе этого наблюдения он постепенно приходит к следующим
выводам:

15. Это, еще не известное ему общее (1), не является чем-то меха-
ническим; его нельзя скопировать путем простого следования ис-
черпывающим образом сформулированным правилам, нельзя даже
понять при помощи одного только рассудка, не имея определенного
опыта, основанного на уже встречавшихся аналогиях. Кто не имеет
для него чувственного образа, его не видит; а кто его видит, не может
его описать.

В случае с искусством это вполне очевидно. Пока еще никто не
понял и не объяснил, как возникает подлинно художественная идея,
и в еще меньшей мере то, как она реализуется, хотя почти каждый
имеет об этом туманное представление, а многие отчетливо это чув-
ствуют.

Не менее явно это и в практической жизни. Энергию, с которой
мы исполняем долг просто из чувства долга, нельзя отчетливо выра-
зить словами. Это угодно нашей природе, а потому это так. Наиболее
наглядно это видно на том примере, что для неиспорченных натур
такой образ действий ясен, как день, а извращенным он кажется

пошлым и смешным. Но еще хуже поддаются описанию нежные движения души, прежде всего женской, которые придают характеру как раз наибольшую утонченность и красоту. Душа сама настолько чувствует эту возможность, что раскрывается только перед тем, кто ее понимает, и инстинктивно прячется от взглядов непосвященного.

За философом, конечно, можно долгое время следовать шаг за шагом при помощи одних только рассудочных операций. Но мы с уверенностью можем сказать, что его философия не достигнет первооснов, если в его рассуждениях не наступит наконец момент, после которого аналитическая практика становится уже невозможной и который, собственно, и решает, родился ли он философом или нет.

Труднее всего понять это в случае с естествоиспытателем, и для этого нужна была бы самостоятельная пространная дискуссия. Мы довольствуемся здесь лишь тем замечанием, что трудными пунктами в этом отношении являются для исследователя живой природы понятие жизни, для наблюдателя мертвой природы — понятие движения в сфере динамики, понятие родства в сфере химии.

Даже математика никоим образом не является здесь исключением. То, на чем она целиком и полностью основывается — конструкция, — допускает лишь демонстрацию и копирование, но не объяснение. Ибо в ней заключено нечто большее, чем простое понятие, и это большее не извлекается из чувственной природы.

Существуют лишь два способа сделать что-либо собственно понятным: 1) когда это нечто действительно обнаруживают в окружающей нас природе; 2) когда указывают на понятия, из которых оно выводится как обязательное следствие. То, о чем мы здесь говорим, не подходит ни под один из случаев, и тем самым ясно, что оно: 1) является продуктом самостоятельной деятельности (а не чем-то, извлеченным из внешней природы); 2) является продуктом изначальной деятельности, и нет ничего более исходного, от чего оно зависело бы и на основе чего его, следовательно, можно бы было понять.

Но поскольку должна существовать возможность проследить за каждым чисто духовным процессом, вплоть до обнаружения в нем первоначальной самостоятельной деятельности, то в каждом таком процессе неизбежно должен иметься недоступный пониманию момент, для которого уже недостаточно чисто рациональных операций.

16. То, что обнаруживается во всех этих выдающихся людях (2), не есть нечто, просто приносящее пользу или доставляющее удовольствие, всего лишь снабжающее человека средствами или непосредственно льстящее его чувственным склонностям; это нечто глубоко проникает в человечество и укрепляет его внутренние силы.

Так, мы отличаем подлинного поэта, позволяющего нам глубоко заглянуть в самих себя и в окружающий мир, от всего лишь приятного или красноречивого, идеально устроенного человека, от всего

лишь полезного коммерсанта, добродушного отца семейства или занимательного собеседника и т. п.

17. Оно имеет (3) такой характер, что тот, кто им обладает, тем самым несет в себе более возвышенную человечность. Даже если бы сам по себе он был развит только односторонне, если бы это истинно великое не имело над ним абсолютной власти, оно все равно вписывалось бы в каждый образ совершенного человека и в своем воздействии на других всегда питало бы и укрепляло это совершенство.

Лишь подлинный поэт благотворно воздействует на характер; всякий другой либо вреден для внутреннего развития, либо не имеет для него никакого значения. В этом смысле первое требование, предъявляемое ко всякому художнику,— это быть нравственным. Если великий художник не всегда является также великим человеком, то это лишь потому, что он не является художником во всех аспектах своего существа и во все моменты своей жизни.

18. На подобном родстве лучшего в каждом с лучшим в человечестве основывается возможность нахождения той единственной позиции, с которой можно все сравнивать и все оценивать. Но без такой позиции человек не смог бы ни надлежащим образом усваивать то, что его окружает, ни творчески на это воздействовать, ни переносить мир в свою индивидуальность, ни вновь переносить ее печать на окружающую действительность, а ведь только это является конечной целью его устремлений, единственным источником истинно человеческого наслаждения.

19. А потому ошибочно предписывать отдельным разновидностям человеческой деятельности особые законы, следование которым должно само по себе привести их в соответствие с общечеловеческими достоинствами. Непосредственно и только тогда, когда искусство является настоящим искусством, а философия — настоящей философией, они оказывают благотворное влияние на характер.

20. Те выдающиеся люди, которые служат для нас образцом, имеют (4) определенную и оригинальную индивидуальность. Индивидууму достаточно лишь полностью развить в себе человеческие качества, и он наверняка окажется уже человеком в собственном смысле этого слова, и точно так же обстоит дело с художником, философом, естествоиспытателем, но только всегда в соответствии с тем объемом возможностей, который допустим в каждом из этих видов деятельности при учете общего требования многообразия в отдельном.

21. То, что делает этих людей великими (5), не имеет границ усовершенствования. Оно уходит в бесконечность, и не существует такого пункта, в котором оно достигало бы своей конечной цели и исчерпывало бы себя; это есть энергия живой силы, а жизнь процветает от жизни.

22. Но оно, наконец, (6) также оплодотворяет и воодушевляет все вокруг. Само живое, оно повсюду испускает из себя искры жизни; и в своей всеобщей действенности оно имеет три существенных отличительных признака.

23. Во-первых, оно оказывает свое воздействие не посредством заранее составленных планов, преднамеренных изменений, вообще не посредством деятельности, направленной на других. Только тем, что оно есть, что оно функционирует и воспринимается, оно уже оказывает свое формирующее влияние.

24. Во-вторых, оно воздействует на людей с самой различной индивидуальностью. Для него достаточно натолкнуться лишь на небольшую часть того, что есть в нем самом; если оно обнаруживает хоть малейший проблеск, если шлаки, скрывающие его, еще не слишком грубы и непроницаемы, оно пробуждает полуугасшую искру и превращает ее в согревающее пламя.

25. В-третьих, тех, на кого оно воздействует, оно не полностью уподобляет той индивидуальности, которая, собственно, является его носителем; далее, оно не придает им какой-либо определенной формы, но побуждает их найти ту, которая им наиболее свойственна. Ибо она пробуждает их внутреннюю жизненную силу, а последняя, естественно, формирует в них характер, который соответствует только им.

Наиболее красноречивое доказательство этого утверждения — любовь. Ни в чем другом то, о чем мы здесь говорим, не оказывает столь сильного и определенного воздействия, а потому подлинная любовь никогда не приводит к уподоблению, но только — к идеальной гармонии характеров. Оба любящих сохраняют своеобразие своих характеров, и оба совместно движутся к идеалу, который объединяет их в одной идее и в одном образе, отражающемся в зеркале их фантазии, воодушевленной страстью.

26. Человек обычно оказывает воздействие на окружающих либо своей личностью, либо своим трудом. Но великий человек вкладывает свою личность в свои произведения и тем самым продлевает свое бытие далеко за пределы своей жизни. Поэтому все книги и произведения искусства можно подразделить на живые и мертвые; только первые могут просвещать, последние — лишь поучать.

27. Итак, когда человек в поисках конечной цели своих моральных устремлений сравнивает тех индивидуумов, которые являют ему наилучший и самый возвышенный пример совершенной человечности, он находит в них нечто сходное по своему воздействию и обнаруживающее также сходство и согласованность своих признаков.

28. Он видит, что это нечто во всех, несмотря на различие характеров, возвышает человечность вообще и в то же время усиливает специфическое своеобразие, упрочивает индивидуальность тех, кто этим обладает, и в то же время сохраняет индивидуальность тех, кто к ним приближается; тем самым он осознает, что только в этом и заключено то общее средоточие, на котором основывается распознавание, оценка и формирование человека как такового. Но как раз в это средоточие он и стремится проникнуть.

29. После того как он распознал это неведомое нечто в его общем действии, ему предстоит определить его специфические черты и

сравнить то, что он сочтет таковыми, с общими признаками, ему уже известными. Если в результате он обнаружит нечто такое, что, не возникая каким-бы то ни было обусловленным (механическим) путем, также не ведет ни к какой обусловленной (материальной) цели, что повсюду, где оно обнаруживается, расширяет само понятие человека и в то же время делает более определенным понятие индивидуума, и, будучи в состоянии безгранично совершенствовать того, кто им обладает, в то же время творчески и плодотворно воздействует на других, и что в свою очередь непременно и повсеместно сопутствует этим качествам, когда они налицо, тогда он может быть уверен, что нашел то, что искал, и тем самым довел свое предприятие до конца.

30. Чтобы сделать более понятным последующее изложение, нам хотелось бы снабдить это пока еще неизвестное нечто именем и назвать его *духом человечества* — именем, которое оправдывает себя уже тем, что это нечто действительно является фактором, за счет которого наиболее достойные индивидуумы оказываются в то же время и наилучшими и самыми возвышенными людьми.

31. Путь разума.— Необходимо искать предназначение человека как конечную цель его устремлений и высшее мерило его оценки. Но предназначение человека как свободного и самостоятельного существа заключено только в нем самом.

32. Поэтому величайший человек — тот, кто с наивысшей силой и в широчайших пределах воплощает в себе идею человечности; и оценить человека — значит лишь задать вопрос: какое содержание он смог вместить в человеческую форму? Какое представление можно было бы составить о человечестве вообще, если бы этот человек был единственным образцом, из которого можно было бы извлечь такое представление?

33. Но идея человечности есть не что иное, как живая сила духа, который ее одушевляет, через нее выражается, в ней деятельно и активно проявляется.

34. Предметом предстоящего нам исследования является, таким образом, изучение духа человечества; и в трех следующих друг за другом книгах нам нужно будет ответить на три вопроса:

В чем состоит этот дух?
Как он распознается? и
Как он формируется?

Заключительное замечание

Было нелегко найти выражение, которое передавало бы суть человека одновременно общим и все же специфическим образом, наподобие таких слов, как *сущность* (Wesen) и *сила* (Kraft). Чтобы подобное выражение было пригодным, оно должно было бы одновременно напоминать о его чувственной и внечувственной природе

и, кроме того, указывать на его господство в этих сферах. В обоих отношениях слово *дух* (Geist) казалось мне наиболее уместным из всех слов, которые можно было бы использовать: 1) поскольку исходно оно обозначает нечто чувственное, а именно — крепость возбуждающих напитков, являющуюся результатом отделения водных фракций (винный спирт, Weingeist); 2) поскольку оно никогда не обозначает внечувственное в собственном смысле, во всяком случае, без специальных добавлений. Правильнее сказать *душа* и *тело* (Seele und Körper), чем *дух* и *тело* (Geist und Körper), и весьма часто встречается выражение *чистый дух* (reiner Geist); 3) поскольку это слово обозначает как раз то внечувственное, что мы все же представляем себе достаточно телесным, оно является синонимом слова „привидение“ (Gespenst): *Души умерших бродят вокруг нас в виде духов* (Die Seelen der Verstorbenen wandeln als Geister umher); 4) поскольку даже в этом значении оно имеет большую реальность, указывает на нечто более мощное и сильное, чем в прочих отношениях синонимичное ему слово „привидение“. Так, более глубокое чувство смятения передают, когда говорят: *Он видит духов* (Er sieht Geister), чем когда говорят: *Он видит привидения* (Er sieht Gespenster); 5) поскольку в психологическом значении оно никогда не применяется к чему-либо чисто механическому. Никогда не говорят *духовный* (geistreicher), но только *толковый механик* (ein sinnreicher Mechaniker), никогда не скажут *духовная*, но только *разумная попытка* (ein sinnreicher Versuch). Точно так же во французском языке противопоставлены слова *spirituel* и *ingénieux*; 6) поскольку оно всегда указывает на всю характеристику вещи в целом, на ее сущность, а потому никогда не используется для обозначения того, что возникает в результате конкретного проявления силы, во всяком случае одновременно с выражением последнего. Нельзя сказать *духовное*, но лишь — *разумное изобретение* (eine sinnreiche Erfindung), даже если то, что изобретено, на самом деле духовно. (Однако в этом ограничении явно есть нечто произвольное); 7) поскольку слова *духовный* (geistreich) и *одухотворенный* (geistvoll) употребляются только в тех случаях, когда глубина чисто интеллектуальной силы сочетается с живостью чувственной силы воображения. Неудачно звучат выражения *одухотворенный метафизик, математик, логик* (ein geistvoller Metaphysiker, Mathematiker, Logiker); 8) наконец, поскольку дух обозначает также и господствующую, специфическую и подлинную сущность, в противовес *букве* (Buchstabe).

Все современные языки имеют соответствующие выражения, и во всех налицо та же метафоричность. Но все же ни в одном из них нет модификации, которая столь же успешно годилась бы для наших целей. В итальянском слово *spirito* имеет более мистическое, чем философское значение; во французском от первоначальной идеи дистилляции выведено прежде всего понятие изящества, утонченности; в английском от той же идеи — живительная и пламенная сила крепкого напитка (well spirited).

Только в немецком языке в качестве господствующего сохранилось понятие силы, подлинной сущности. В конечном счете все эти слова исходят из понятия *дуновения* (Hauch), *ветра* (Wind). Только с этого понятия и только в качестве метафоры для обозначения чего-то внечувственного они были перенесены на практику дистилляции (представляемую как извлечение менее материального компонента). В то же время психологическое значение опять-таки вобрало в себя либо больше, либо меньше оттенков этой метафоры. Наиболее очевидно это во французском. В немецком исходное значение сохранило свое господствующее положение, а упомянутая метафора обнаруживается только в отдельных идиомах, например: *den Geist aus einer Sache ziehen* ('вытягивать из чего-л. душу') и т. п. Само первоначальное значение в немецком языке, видимо, было весьма сильным (по аналогии со словом *Gischt* 'пена, брызги'); и сила эта в большей степени сохранилась благодаря тому, что корень является исконно немецким (а следовательно, ближе нам своим звучанием и своеобразием), в то время как *spiro*, *esprit* и *spirit* восходят к латинскому *spiritus*, а последнее — к греческому *πνεῦμα*, и ни *spiritus*, ни *πνεῦμα* не употреблялись древними в философском смысле.

Внечувственное использование этих выражений появилось только вместе с христианством и происходит из древнееврейского языка (хотя это утверждение требует еще уточнения), а древним было несвойственно использование слова *дух* в психологическом плане. Возможно, им был неизвестен процесс ректификации спиртных напитков? Если нет, то почему эта метафора осталась неиспользованной?

Для обозначения того, что мы стремимся здесь выразить, весьма хорошо подошло бы греческое слово *ἀρετή*, ибо оно указывает на подлинную и своеобразную силу и в то же время содержит в себе характеристику как внутреннего, так и внешнего совершенства. Оно лучше, чем слово „дух“, тем, что в отличие от всякой метафоры не может дать повода для недоразумений, и тем, что оно извлекает это понятие прямо из природы, а не из наших представлений о ней, будучи творением наблюдения, а не воображения. Но именно поэтому оно имеет на один оттенок меньше и, обладая большей прагматической силой, проигрывает в идеальности. Слова *virtus*, *vertu*, *virtue*, *virtù* и наше *Tugend* 'добродетель' имеют, собственно, то же самое значение, но они в своем употреблении его не сохранили, и лишь греки донесли до нас это понятие во всем его своеобразии.

То, что греки не знали слова *дух* в психологическом значении и то, что для них существенной была лишь *добродетель*, свидетельствует об их более прагматической, но в то же время не менее идеальной рассудительности; то, что у нас слово *дух* имеет столь мощное и именно потому менее спиритуальное значение, а с другой стороны, мы имеем также и собственный корень для обозначения *ἀρετή*, есть преимущество нашего языка, которого нет ни в одном другом.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ, ИЛИ ПЛАН СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВСЕХ ЯЗЫКОВ

Хотелось бы отметить, что, несмотря на разнообразие научных занятий, которое принесла с собой наша эпоха, совершенно неразработанной осталась обширная, богатая и общепользная тема — сравнение различных древних и новых языков.

Многим это утверждение должно показаться тем более удивительным, что обычно принято считать данный вопрос если не исчерпанным, то по меньшей мере детально разработанным. Однако самое главное здесь заключается в нигде еще не достигнутой, насколько мне известно, общности задачи: в том, чтобы сравнивать на одних и тех же основаниях все языки, какие только удастся обнаружить, [принимая во внимание] весь известный языковой запас, всю умопостигаемую человеческую природу и все исторически засвидетельствованные судьбы различных народов. Эта точка зрения до сих пор еще понята не вполне, во всяком случае, никто ее не придерживается в достаточной степени.

Одно только начало этой работы, которая сама по себе грандиозна, не говоря уже о ее завершении, может даже для целой эпохи так никогда и не стать темой исследований. В этом случае речь может идти только о непонимании идеи. И теперь случается, что языки сравнивают между собой, но делают это либо для нужд исторического исследования, либо для обоснования химерических представлений о праязыке, либо просто для упрощения изучения отдельных языков; в последние годы сравнение используют также в так называемом общем учении о языке, чтобы показать, как тот или иной язык решает ту или иную задачу, но ограничиваются при этом разрозненными примерами. Однако мысль о том, чтобы собрать, насколько возможно, всю массу языкового материала во всей его полноте, произвести внутри его сравнение по всем мыслимым законам ана-

Wilhelm von Humboldt. Ueber das Sprachstudium, oder Plan zu einer systematischen Encyclopaedie aller Sprachen (1801—1802)*.

логии, чтобы, понимая язык как следствие, создавать и совершенствовать его в соответствии с поведением человека, либо, понимая его как причину, делать выводы о внутреннем мире людей, и все это с философским рассмотрением общей человеческой природы и с историческим рассмотрением судеб различных народов, — вот эта мысль, я полагаю, до сих пор остается без внимания, а ведь она заслуживает самого серьезного отношения, поскольку добавляет к уже существующим не только новую науку, но и новый тип научных исследований.

Цель моей статьи — подробно разъяснить и доказать это утверждение. Оно должно лишь обратить мысль к плану превращения языкознания в систематическую науку. Если этот план будет одобрен сведущими людьми, они смогут сообща взяться за его осуществление. Он обнадеживает нас тем, что трудность состоит только в его осуществлении, которое в конце концов завершится объединенными усилиями многих. Пользоваться же достигнутыми результатами будет легко даже менее образованным людям. Кроме того, даже если конечная цель всего предприятия не всем ясна, остается еще в высшей степени очевидная ближайшая цель, а именно такое упрощение изучения языков, какое до сих пор было нам неизвестно.

Главная трудность всякого обучения — это выработать в себе способность призвать в нужный момент правила на помощь памяти. Потребность в этом нигде так не велика, как в обучении языку. Когда человек изучает язык обычным способом, он попадает в дебри слов, не связанных ничем между собой; в грамматике порядка намного больше, но и здесь приходится заучивать множество форм, основания для которых усмотреть невозможно. При этом человек не может не чувствовать, что эти знаки в действительности не так разрозненны, как это представляется благодаря методике обучения. Если человек занимается языком уже в течение какого-то времени, ему становится ясным то, для чего когда-то он не мог найти объяснений, он усваивает некий ритм, который не есть еще знание, но хотя бы обоснованное предчувствие. Каждый, кто занимался исследованием различных языков, замечал, что в любом из них неожиданно открывались сами собой такие истины, которые как бы озаряли все вокруг ярким светом и которые помогли бы ему сберечь усилия, если бы были с самого начала ему известны. У кого хватает духу изучать чужой язык самостоятельно, без помощи учителя, тот начинает с внимательного прочтения всей грамматики и старается почаще просматривать словарь. Из словаря он возьмет как можно больше форм и будет удерживать их в памяти, предоставляя своей языковой способности вывести из этих отдельных форм обобщенный тип формы данного языка. Осваивая [родной] язык, каждый ребенок опирается на смутно ощущаемые аналогии, что заметнее у творчески развитых детей по сравнению с теми, кто полагается только на память. Такие же аналогии служат опорой человеку, самостоятельно, без посторонней помощи изучающему иностранный язык. Важно только найти дух этих аналогий, а это при любом обучении

языку есть критический пункт, с которого начинается настоящее владение языком и настоящее наслаждение им.

Не только элементы языка, но и сами языки подчиняются часто законам общей аналогии. Это обстоятельство обнаруживается даже при поверхностном наблюдении. К тому же известно, что человек, уже изучивший многие языки, не только с легкостью овладевает новым, но и угадывает, еще не изучив, его особенности благодаря своему натренированному [языковому] чувству.

Теперь стараются изучать каждый язык изолированно, сделав обоснованием этого очень общее философское положение, связанное большей частью с грамматикой и в меньшей степени со словообразованием. Этот недостаток могла бы восполнить систематически составленная энциклопедия языков. Она должна, исходя из метафизического анализа языковой способности, представить все случайные обстоятельства, влияющие на языковое строение, и рассмотреть язык с точки зрения разносторонних связей человека. Если бы в этой энциклопедии было отражено, как разум и мировоззрение разных народов земли находят способы для решения насущных языковых задач, картина возможных различий между языками была бы завершена; тем самым было бы легче описывать характер каждого отдельного языка, сгруппировав их по степеням родства и переходя от похожих друг на друга к более изолированным. Тот, кому удалось бы воспользоваться такой энциклопедией, не только смог бы точно определить своеобразие изучаемого иностранного языка, но и нашел бы место для каждого из уже ему известных; приступая к новому языку, он опирался бы на систему прежде изученных языков, а систематический охват всего языкового опыта человека, проникновение в гений языка вообще дало бы ему возможность удивительным образом развивать свой ум.

Такое упрощение изучения иностранных языков остается все же лишь наименее важной ближайшей целью энциклопедии всех языков, самое же главное — это показать, что язык сам по себе и для себя является наиважнейшим и общепольнейшим предметом исследования.

Уже давно сложилось такое мнение, что различия между языками суть досадное препятствие на пути культуры, а изучение языков — неизбежное зло всякого образования. Никому не приходит в голову, что язык — это не просто средство для понимания народа, который на нем говорит, или писателя, который на нем пишет. Отсюда — неправильная склонность оценивать важность языка в зависимости от совершенства его литературы, полное пренебрежение к языкам, литературы вовсе не имеющим, и превратная методика обучения языку, при которой усилия направляются на то, чтобы понимать произведения писателей.

Язык, и не только язык вообще, но каждый язык в отдельности, даже самый бедный и грубый, сам по себе и для себя есть предмет, заслуживающий самого пристального осмысления. Язык — это не просто, как принято говорить, отпечаток идей народа, так как мно-

жество его знаков не позволяет обнаружить никаких существующих отдельно от него идей; язык — это объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем говорящим и возбуждающая в них примерно одинаковую энергию. Человек весь не укладывается в границы своего языка; он больше того, что можно выразить в словах; но ему приходится заключать в слова свой неуловимый дух, чтобы скрепить его чем-то, и использовать слова как опору для достижения того, что выходит за их рамки. Разные языки — это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее; и если вещь эта не является предметом внешнего мира, каждый [говорящий] по-своему ее создает, находя в ней ровно столько своего, сколько нужно для того, чтобы охватить и принять в себя чужую мысль. Языки — это иероглифы, в которые человек заключает мир и свое воображение; при том, что мир и воображение, постоянно создающее картину за картиной по законам подобия, остаются в целом неизменными, языки сами собой развиваются, усложняются, расширяются. Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действительных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия. Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа, поэтому в нем не следует бояться ни изощренности, ни избытка фантазии, которые кое-кто считает нежелательными. То, что они дают нам сразу, есть полная, чистая и простая человеческая природа, если же мы проникаем в глубины их тайн, в нашу сухую рассудочность врывается свежая струя неувядающей фантазии других народов, заключающих каждое впечатление, которое юный мир дарит их еще не притупившимся чувствам, в оболочку живого и подвижного образа.

Изучение языков мира — это также всемирная история мыслей и чувств человечества. Она должна описывать людей всех стран и всех степеней культурного развития; в нее должно входить все, что касается человека.

Из всего сказанного должно быть ясно, в чем состоит мое предложение, а именно в том, чтобы сделать язык — и язык вообще, и отдельные языки — предметом самостоятельного, от всего постороннего свободного и систематического исследования, которое должно стать средством познания человека на разных ступенях его культурного развития, а также средством обучения, существенно упрощающим занятия отдельными языками.

Идея такого исследования требует и заслуживает дальнейшего разъяснения, которое состоит из трех частей:

- 1) уточнение целей исследования и его значения;
- 2) составляющие его части, или подробное изложение плана энциклопедии всех языков;
- 3) возможности проведения этого плана в жизнь и методы подобного исследования языка.

**ПРОВЕРКА ИССЛЕДОВАНИЙ
О КОРЕННЫХ ОБИТАТЕЛЯХ ИСПАНИИ
ПОСРЕДСТВОМ БАСКСКОГО ЯЗЫКА
(Фрагменты)**

4.

**Основные принципы,
в соответствии с которыми осуществляется
этимологический подход к баскскому языку**

При доказательстве баскского происхождения испанских географических названий очень многое зависит от этимологических принципов, которыми руководствуется исследователь. Хотя те, кто следует Астарлоа и Эрро, как мне кажется, и сумели прийти к некоторым правильным выводам о природе древних языков и баскского языка в частности, однако затем они экстраполировали и использовали эти выводы таким способом, который не вызывает доверия и не может привести к каким бы то ни было надежным результатам. Принятая ими система основывается на общем подходе к баскскому языку, предложенном Астарлоа. Согласно этому автору, в баскском языке каждая буква и каждый слог обладает собственным значением, сохраняющимся также и в сложениях. Следовательно, каждое слово можно разложить на составные элементы, и притом с такой определенностью, что, к примеру, в слове, состоящем из двух букв, первая обозначает родовой, а вторая — специфический признак предмета, или же первая обозначает обладателя, владельца, а вторая — содержимое, обладаемое. Впрочем, значение приписывается элементам не произвольно, но в соответствии с артикуляциями первобытного человека, звуковыми образами, артикуляциями живой природы и шумами мертвой. *i* — остро пронзающее, *u* — полое и т. д.¹ Характерно, что то же самое, что Астарлоа говорит здесь о баскском, Дэвис² почти в тех же выражениях утверждает относительно кельтского. Корни, говорит он, весьма просты. Отдельный гласный или дифтонг может

Wilhelm von Humboldt. Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelt der Vaskischen Sprache. (Фрагменты).

¹ Эта теория пространно излагается в начале его «Апологии», с. 44—119. Ср. прежде всего с. 31, 64, 70.

² „Кельтологические исследования о происхождении, традиции и языке древних британцев“ („Celtic researches on the Origin, Tradition and Language of the ancient Britons“), с. 235 первого издания 1804 г. Более позднего издания 1807 г. у меня, к сожалению, нет.

образовывать не только частицу, но часто также имя и глагол. Вряд ли имеется хоть одно сочетание отдельного исходного согласного с предыдущим или последующим гласным, не имеющее собственного значения и не стоящее во главе многочисленного семейства производных слов. Самые длинные слова можно разложить на такие корни (но лишь при условии их чисто кельтского происхождения). Но эти корни нельзя мыслить себе как наименования реальных объектов: земли, воды, дерева и т. п.; они суть обозначения различных видов бытия и действия. Автор, который, подобно Дэвису в данной работе, позволяет своей фантазии блуждать среди многочисленных авантюристических сопоставлений, сам по себе, может быть, и не заслуживает особого доверия. Но Оуэн, чей словарь и грамматика получили всеобщее признание (хотя последняя и могла бы быть несколько обстоятельнее), придерживается той же самой системы, и даже в еще более расширенном виде. Он говорит (1. 27), что каждое производное слово может быть закономерно и без каких бы то ни было вспомогательных средств, кроме изменения букв, возведено к одному из ряда элементарных слов, так что для фантазии этимолога места уже не остается. В его словаре при всех словах, которые сами по себе не являются элементарными, в скобках приводятся составляющие их элементы, и при их просмотре можно убедиться в том, что значения их совпадают с теми, которые постулирует Дэвис. Приведем некоторые примеры использования подобных принципов указанными авторами. Астарлоа выводит *ule* 'шерсть' из *u* 'полюй' и *le* 'зачинщик, инициатор', то есть 'производитель множества дыр'; *axe* 'воздух' — из *a* 'вытянутый' и *хе* 'уменьшительный слог', то есть 'тонкая протяженность'; *itz* 'слово' — из *i* 'проникающий' и *tz* 'показатель излишка', то есть 'излишек проникновенности'. Дэвис говорит: ирландское *ig* означает 'покрывать, распростирать', и отсюда происходят обозначения множества объектов, таких, как земля, огонь, вода, зло, убийство и т. п.; *a* в языке Уэльса обозначает 'отодвигать, продвигаться', а потому в родственном наречии оно обозначает 'холм, предгорье, повозку' и т. д. Оуэн разлагает слово *tâp* 'огонь' на элементарные слова: *ta* 'то, что распространяется над чем-либо, превосходит что-либо' и *ap* 'начало, элемент'. Подобное применение значений элементарных слов (выбранных в качестве исходных звуков) к определенным предметам, особенно в примерах из Астарлоа, показывает всю шаткость, произвольность и даже авантюризм такой практики, если она не основывается на установлении действительного звукового родства в соответствии с точной системой правил. Трудно понять, как сам языковед не видит, что без такой системы, за вычетом редких особо прозрачных случаев, тщетны попытки угадать тот путь, который прошло обозначение понятий, двигаясь от общего к частному и наоборот, и что даже при наличии такой путеводной нити все же иногда остаются непреодолимые трудности. Столь абстрактная, ограниченная и узко систематическая теория, как та, которая используется Астарлоа, затемняет даже действи-

тельную, реально существующую связь между некоторыми словами, которую еще можно установить исходя из их звучания и значения, как в случае с немецким *Wolle* 'шерсть' и, возможно, баскским *ile* — тоже 'шерсть'.

5.

Более подробное описание этих принципов

Конечно, верно, что слова, обозначающие предметы, суть результат применения общих понятий к определенным случаям обозначения вещей по их признакам и что многие слова, кажущиеся простыми, первоначально были сложными. Также правильно и пронизательно было замечено, что следы сложений гораздо отчетливее видны в первоначальных, то есть подвергнувшихся небольшим изменениям, языках и что самостоятельная значимость элементов, несомненно, представляет собой главную характерную особенность этих языков. Но объяснение языка на основе его корней предполагает наличие гораздо более определенной и точной языковой теории и не может быть произведено с равным успехом во всех языках. Можно с уверенностью считать, что в основе каждого языка лежит некоторое количество простых звуков, дальнейшее развитие которых путем внешних добавлений или внутренних изменений приводит к возникновению гораздо большего числа производных слов. Первые, называемые корнями, находятся, следовательно, в двояком соотношении с последними, а именно в материальном (в том, что касается родства букв и аналогии деривации) и в идеальном (в том, что касается значения). Значение же по своей природе является неопределенным и на каждом шагу нуждается в руководстве со стороны формы; будучи оторванным от последней, оно никак не может гарантировать правильности его распознавания. Ведь значение корня как такового, будучи обязанным включать в себя значения всех производных слов, естественно, должно быть общим, а тем самым — неопределенным. Сказанное выше в большей или меньшей степени подтверждается на материале любого языка, ибо таков естественный ход всякого речеобразования. Однако не все, но лишь некоторые языки допускают обнаружение большей части корней и регулярное возведение к ним остальных слов. И каждый раз такое возведение может давать повод для недоверия, может казаться махинацией языковых искусников, лишенной национальных истоков, а потому не основанной на самом языке, но лишь привнесенной в него извне. Но если подобное недоверие можно испытывать по отношению к сказанному выше о кельтском языке, то нельзя все же забывать, что есть и другие языки, в которых подобная система является более наглядной и лучше доказуемой на материале языкового строения. Таково положение в санскрите, который в еще большей мере, чем другие восточные языки, приближается к при-

роде, описанной выше для кельтского, ибо его корни также имеют самое общее значение. Они по большей части не имеют никакой другой функции, кроме функции быть корнями, не могут, не подвергнувшись определенным изменениям, в собственном виде употребляться в речи (см. словарь Уилсона, предисловие, XLIV), а потому находятся полностью за пределами той грамматически обработанной сферы языка, в которой выделяются имена, глаголы и т. д. Что сделало возможным это явление, иногда встречающееся и в других языках, являются ли корни идеальными звуками, получаемыми лишь посредством анализа, или же они представляют собой реальные слова, некогда жившие в устах народа, так что язык сохраняет в них следы более раннего состояния,— все это предмет другого исследования. Значение санскритских корней, как отмечалось выше, чрезвычайно неопределенно (см. У и л к и н с, Введение, VII: «исключительно размытое и неудовлетворительное»), и мы впали бы в большое заблуждение, если бы стремились найти в подобном собрании корней перечисление исходных слов, напоминающее, к примеру, свод греческих корней. Но как бы совершенен в этом отношении ни был санскрит, все же и он не допускает надежного возведения к корням всех слов, и для целого класса слов, а именно для тех, которые образованы при помощи так называемых аффиксов *upâdi*, признается (см. грамматику Уилкинса, § 838), что возведение их к определенным корням часто совершенно неоправданно, что такую деривацию не поддерживают ни значения, ни буквенная аналогия, и что устанавливаемые для них правила суть лишь произвольные попытки примирения противоречий. Поэтом и санскрит доказывает, что хотя произведение всех слов от определенных корней есть дело грамматиста, но подобная деривация какого-то числа слов, несомненно, оправдана самим языком (см. В о р р. *Analytical comparison of the Sanscrit, Greek etc. languages* [Б о п п. Аналитическое сравнение санскритского, греческого и др. языков].— In: „*Annals of Oriental Literature*“, Vol. I, art. 1, p. 8). То же самое можно предположительно сказать и о кельтском, хотя соотношения выводимых и невыводимых слов здесь, вероятно, будет иным. Но если на основании приведенных критериев оценивать практику Астарлоа, то сразу обнаруживается, насколько она несовершенна и ненадежна. Конечно, сравнение баскских слов позволяет выделить ряд коренных слогов, каждый из которых служит основой для большого числа слов; также легко обнаружить аналогию в деривации от различных примитивов (см. мои дополнения к „Митридату“ (*Mithridates*, S. 38, 43.)). Но это еще не доказывает, что для баскского языка возможно предложить такой же перечень корней и столь же регулярно возвести к ним все слова, как это можно сделать в санскрите и в кельтском. Несомненно, что Астарлоа преуспел в анализе отдельных слов, и вполне правильно отделяет корневые буквы от таких, которые относятся к области благозвучия или диалектных различий; но ему не удалось, пусть даже частично, установить полноценную систему возведения слов к их корням. Кроме

всего прочего, баскский язык в том, что касается его звуковой системы, резко отличается от санскрита и от кельтского тем, что ему совершенно чужды систематические переходы друг в друга звуков различных типов. Следовательно, из обоих способов продвижения от слова к корню Астарлоа выбирает далеко не самый надежный; он более привержен к значению и выискивает такие слова, которые, при одном и том же звучании основы, обнаруживают сходство значений. Само собой ясно, насколько обманчивы такого рода поиски, особенно если принимать во внимание также и метафорические понятия. Настоящий языковед сделает скорее обратное и не будет смущаться значением, если путь правильной аналогии ведет к какому-либо определенному корню. Ведь значения легко меняются с течением времени до полной неузнаваемости, даже при полной сохранности звучания. Далее, Астарлоа приписывает слишком большую ценность предполагаемому значению отдельных букв, вместо того чтобы ограничиться сочетаниями их в пределах корней, и тем самым перескакивает через целую ступень языковой аналогии, если последняя вообще когда-либо могла заходить столь далеко. Ведь при помощи его метода можно анализировать и такие корни, которые со всех прочих углов зрения предстают как неразложимые элементы. Наконец, сами значения приписываются звукам не исключительно на основе трезвого языкового сравнения, но исходя из общих понятий и представлений, иногда совершенно удивительных. Так, звуки *a* в *aаgга* 'мужчина' и *e* в *eтеа* 'женщина' абсолютно серьезно (см. „Апология“, с. 35) объясняются тем, что в первом плаче новорожденного мальчика слышен звук *a*, а девочки — *e*. Бросается в глаза и то, что трудам Астарлоа, равно как и его последователя Эрро, не пошло на пользу стремление поставить знак равенства между своим языком и праязыком всего человеческого рода. Пока баскские языковеды не решатся полностью оставить подобные бесплодные попытки, тщетность которых уже давно признана другими нациями, и не ограничатся изложением сведений о собственном языке, работы их не смогут принести настоящую пользу ни их соотечественникам, ни иностранным исследователям. Впрочем, мои замечания, без которых нельзя было обойтись при оценке использованных до сих пор принципов, ни в коей мере не должны и не могут умалить заслуги этих ученых в исследовании своего языка. Астарлоа, несомненно, впервые подошел к его изучению с истинно исследовательских позиций и впервые предпринял попытку разложения его на составные элементы. В этом, особенно в области грамматики, он добился весьма значительных результатов, а поскольку он, кроме того, с неустанным рвением обследовал все уголки своей небольшой страны в поисках следов чистого языка, то при чтении его трудов, даже там, где он идет по ложному пути, нельзя не заметить множество весьма верных и интересных сведений.

Перенесение этих принципов на этимологию географических названий

Если такого рода этимологии слов приводят к многочисленным заблуждениям, то в случае с именами собственными они оказываются еще опаснее, ибо последние в большей степени меняются с течением времени и могут возникать из гораздо более разнообразных источников. Если же речь идет о географических названиях, для которых неизвестна точная соотношенность с реальными географическими объектами, то воображение разыгрывается уже совершенно безудержно. От этого весьма существенного недостатка страдает множество этимологий, не вызывающих никакого сомнения у Астарлоа и Эрро. Так, согласно Астарлоа („Апология“, с. 210, 222, 245, 249, 255), название *эдетанцев* восходит к *edea* ‘сладкий’ и локативному окончанию *eta*: ‘живущие в сладком, приятном месте’ — этимология, которую едва ли можно принять, даже вспомнив по этому случаю то, что Плиний (1.141.3) называл Эдетанию «местом где простираются приятные водоемы»; *Arcobriga* будто бы происходит от *arcu* ‘нечто, расположенное дугообразно’; *Turbula* — от *uga* ‘вода’ и *bola* ‘нечто, вращающееся, подобно шару’, следовательно, ‘вода, низвергающаяся потоками’, ‘город ливней’; река *Apas* — от слога *a*, обозначающего протяженность, и уменьшительного окончания *pa*; река *Saduce* — от *zap* ‘артерия’, *uga* ‘вода’ и *se, sia* ‘тонкий’, следовательно, ‘артерия тонкой воды’. Эрро¹ раскладывает имя *лумбеританцев*, название основного места обитания которых он обнаруживает на монетах в виде *Ilimbeltz*, на *il* ‘город’, *im* ‘высокий’ и *belz* ‘черный’, то есть ‘лежащий на черной высоте’, причем он указывает, что современный город Лумбьер, отождествляемый им с *Ilimbeltz*, расположен именно в туманных горах. Еще более произвольно они поступают, когда, увлеченные простым сходством звучаний, принимают этимологии, не обоснованные никакими географическими и климатическими условиями, но отсылающие к совершенно особым, ничем не удостоверенным обстоятельствам, объясняя, к примеру, название *Косетания* как ‘страна голода’², название *серретанцев* — как ‘изготовители пил’ („Апология“, с. 209), название *Sagunt* — как ‘место мышей’³. Даже тогда, когда этимологии Астарлоа, по всей вероятности, справедливы, все же нельзя согласиться с его чересчур искусственным анализом. Так обсто-

¹ См. Егго. *Alfabeto de la lengua primit.* („Алфавит первобытного языка“), р. 230—233.

² См. Астарлоа. *Apologie* (Астарлоа, Апология), р. 210. В качестве доказательства он указывает, что в этой области жил народ, называемый римлянами *Indigetes*, — слово, которое он также возводит к *indigete* ‘нуждаться в чем-либо’.

³ См. Егго. *Alfabeto de la lengua primit.*, р. 257, 258. В подтверждение своей этимологии он мог бы вывести и названия *Soricaria*, *Soritia* из *sorex* ‘вид мыши’.

ит дело в случае с этимологией названия *Наварры*. *Navā* обозначает 'плоский, плоскость' и, в частности, согласно толкованию, содержащемуся в рукописном словаре из парижской библиотеки, — 'плоскость, равнина, расположенная рядом с горами'. Это слово еще сегодня встречается в нескольких формах. Весьма вероятно, что оно существовало уже во времена римлян и имело то же самое значение. Ведь Птолемей (II, 6, с. 42) упоминает о наличии у пезиков, то есть фактически в современной Бискайе, города *Flaviopavia*. Неподалеку от этой местности и в настоящее время расположен порт *Navia*. В современном испанском языке сохранилось слово *paiva* в том же значении, что доказывает название знаменитой битвы христиан с маврами, которая происходила в 1212 г. en las pavas de Tolosa ('в долинах Толосы'). Агга — это часто встречающееся окончание баскских слов, и, следовательно, этимология Наварры, как участка в Пиренеях с равнинным ландшафтом, является совершенно бесспорной. Астарлоа, не упоминая ни об одном из этих фактических обстоятельств, и даже о самом слове *paiva*, разлагает *Nabarra* (в его написании) на *pa* 'плоский', *be* 'низменный', *ar* 'человек' и *a* 'артикл или местоимение', то есть 'человек низкой плоскости'. Следствием подобной методики является соблазн этимологизировать подобным образом все без разбора, если только налицо хоть сколько-нибудь сходные звуки. И действительно, у Эрро¹ мы встречаем выведение названия Азии из *asi* 'начинать', поскольку оттуда якобы ведет свое начало человеческий род, названия *Silicia* — от *ili* (собственно 'город', но здесь принимается значение 'страна') и *cia* 'заостренный', с эвфоническим *s* в начале слова ('страна остроконечных гор'), и названия *Navaret* — из *pa* 'плоский', *z*, обозначающего множество, *ar* 'вытянутый, протяженный' и локативного слога *eta*. Хотя такого рода практика и не заслуживает особо пристального рассмотрения, мне пришлось все же столь подробно на ней остановиться, чтобы тем самым показать, что даже то истинное, что содержится в утверждениях цитированных авторов, должно доказываться иным способом, не вызывающим того справедливого недоверия, которое возникает при ознакомлении с их системой.

7.

Выдвижение принципов, которых мы будем придерживаться в настоящем исследовании

Таким способом не может быть, видимо, никакой иной, кроме предварительного непредвзятого выяснения, имеются ли среди древнеиберийских названий такие, которые по значению и звучанию

¹ См. Егго, *Mundo primitivo* („Первобытный мир“), p. 208, 212, 227.

совпадали бы с употребляющимися до сих пор баскскими словами. Если дело обстоит именно так и тем самым можно отождествить баскский язык с древнеиспанским, или по меньшей мере с одним из древнеиспанских языков, если их было несколько, то можно с достаточным основанием предполагать баскское происхождение и тех названий, в которых по значению этимологизируется только какая-либо часть, а все прочее остается темным и непонятным. Кроме того, еще до получения каких-либо специальных выводов, можно сравнить звуки древних географических названий в целом и то впечатление, которое они производят на слух, со звуками и фонетическим характером баскского языка. Ибо если эти названия имеют баскское происхождение, то звуковая система этого языка неизбежно должна быть отражена в этих названиях. Другим важным средством доказательства бывшего распространения этого языка является совпадение древних географических названий с теми, которые существуют в настоящее время в провинциях, где говорят по-баски. Такое совпадение, даже если смысл наименования нельзя разгадать, говорит о том, что сходство внешних условий способствовало образованию в разных местах сходных названий из одних и тех же языковых элементов. Много весьма ценной информации по этому поводу содержит работа Астарлоа, и поскольку бискайские деревни состоят только из отдельных хуторов (*caseríos*), часто весьма рассеянных и группирующихся друг с другом только по признаку их соотнесенности с какой-либо из церквей¹, и поскольку каждый такой хутор имеет собственное название, обусловленное его положением, деревьями и травами, его окружающими, и почти все фамильные имена восходят к наименованиям этих родовых жилищ, то в стране басков налицо необычайное богатство собственных имен. Все это богатство с большим усердием собирал покойный Астарлоа, и во время многочисленных прогулок с ним я сам был свидетелем того, как он ежедневно пополнял свою коллекцию. Итак, в предстоящем нам исследовании мы можем и не давать полную этимологию каждого названия или же вообще не этимологизировать некоторые из них. Однако первоочередную важность в такого рода исследованиях имеет отделение чужеродных названий от исконных. По этому поводу мне как будто бы удалось сделать некоторые наблюдения, ускользнувшие от внимания баскских ученых, поскольку они исходили из предвзятого мнения о том, что только один современный баскский язык, без каких бы то ни было других, был распространен по всей древней Иберии, хотя именно этот вопрос было необходимо выяснить прежде всего. Ведь то, что следы современного языка этой области обнаруживаются в древних названиях, ясно с первого взгляда, и необходимо лишь установить, насколько далеко эти следы заходят, имеются ли наряду с ними следы каких-нибудь других языков и какое они имеют географическое распределение? Но чтобы не отдавать предпочтения какой бы то ни было опре-

¹ Поэтому бискайские деревни называются *ante-iglesias* ('предцерковья').

деленной системе и поступать совершенно беспристрастно, я прежде всего займусь, не задаваясь вопросом о древних народностях, только всей массой древних названий и сравнением их с современным баскским языком, с тем, чтобы лишь потом, установив все сходства и различия, попытаться локализовать как те, так и другие, и сравнить полученные результаты со сведениями, которые по этому поводу можно почерпнуть из древних авторов.

Результаты настоящего исследования

1. Сравнение древних географических названий Иберийского полуострова с материалом баскского языка показывает, что последний был языком иберов, а поскольку этот народ имел как будто бы только один язык, то термины „иберийские народы“ и „говорящие по-баскски“ суть равнозначные выражения.

2. Баскские географические названия обнаруживаются на всем полуострове без исключения, и, следовательно, весь он был заселен иберами.

3. Однако среди географических названий полуострова есть и другие, сравнение которых с географическими названиями стран, населенных кельтами, показывает, что они имеют кельтское происхождение, и, основываясь на них, можно обнаружить места поселений смешавшихся с иберами кельтов даже там, где исторические свидетельства для таких выводов отсутствуют.

4. В соответствии с нашими выводами, не смешавшиеся с кельтами иберы жили только вокруг Пиренеев и на южном побережье. Смешение обеих наций было характерно для внутренних областей, Лузитании и большей части северного побережья.

5. Иберийские кельты по своему языку были сходны с теми кельтами, от которых происходят древние географические названия Галлии и Британии, а также до сих пор существующие исконные языки Великобритании и Франции; но они, видимо, не были всего лишь ответвлением галльских племен (народом, отделившимся от основной массы, оставшейся на старом месте), о чем свидетельствуют различия в характере и в установлениях. Они, конечно, могли еще в незапамятные времена находиться в Галлии, но могли прийти и еще раньше, из какого-либо другого места. В любом случае при смешении их с иберами преобладающим оказался не галльский характер, известный нам по описаниям римлян, но иберийский.

6. За пределами Испании, к северу, если исключить иберийскую Аквитанию и часть побережья Средиземного моря, никаких следов иберов не обнаруживается. В частности, каледонцы относятся не к иберийским, а к кельтским племенам.

7. Однако к югу иберы занимали три больших острова в Средиземном море, как об этом говорят исторические свидетельства и баскские географические названия. Однако можно предположить, что они (во всяком случае, не все) не переселились туда из Иберии

или Галлии, но занимали эти места с незапамятных времен либо же пришли туда с востока.

8. Неясно, относились ли они к числу первоначальных обитателей Италии. Тем не менее и здесь можно найти некоторое количество баскских географических названий, которые могли бы оправдать подобное предположение.

9. Иберы по своему характеру и языку отличаются от кельтов, насколько мы знаем последних по описаниям греков и римлян и по сохранившимся их языкам. Однако нет оснований отрицать всякое родство между этими двумя нациями: иберы вполне могли сами по себе представлять родственное кельтам, но рано от них отделившееся племя.

Однако настоящее исследование смогло прийти к сформулированным выше положениям лишь постольку, поскольку оказалось возможным сравнение географических названий как представляющих самостоятельную ценность исторических памятников с баскским языком. Мы стремились ограничиться только этой задачей, чтобы таким образом проверить, подтвердить и расширить выводы предшествующих исследований, по большей части исключавших из своего поля зрения исконный язык Иберии. Но чтобы полностью завершить исследования о коренных жителях Иберийского полуострова, нужно было бы еще независимо от исторических свидетельств и географических названий сравнить баскский как язык с прочими языками Западной Европы. Только такое сравнение могло бы, в частности, в должной мере прояснить последний из приведенных выше пунктов. Но это — предприятие гораздо более трудное и требующее совершенно иной подготовительной работы.

{. . .} Хотя все языки в целом обладают приблизительно одним и тем же строением и следуют одинаковым законам, однако едва ли существует хотя бы один, который не отличался бы от других каким-либо особым своеобразием. И желание объединить все эти различия в одном общем языке и таким образом связать воедино все его рассеянные преимущества было бы совершенно химерическим предприятием. Такой общий язык был бы внутренне противоречивым, так как он вобрал бы в себя все различительные особенности отдельных языков, и был бы пустым, ибо стремился бы их взаимно сгладить. Однако все отдельные языки собираются, все столь противоречивые особенности соединяются в языковой способности человека. Эта способность составляет средоточие изучения языка, через которое проходит все, и она управляет всеми его частями и процедурами.

У человечества повсюду примерно одни и те же потребности и одни и те же телесные и духовные силы, однако в их мере и качестве остается нечто неопределимое, чем они между собой различаются, превосходя друг друга или друг другу уступая. Вследствие этого нам открывается та область, которая наряду со всеобщей одинаковой оформленностью выказывает в своих пределах весьма неопределенное и вечно неисчерпаемое многообразие. Но и эта область резко ограничена, во-первых, природой языка как орудия, состоящего из определенного числа звуков и допускающего лишь определенное количество их соединений; во-вторых, природой человека, свойствами его органов и возможным объемом его способности ощущать, думать, воспринимать; далее, неизменными законами общих идей, которым должны оставаться подвластными все отдельные употребления; наконец, внешними окружающими нас предметами.

Эта область, подобная пространству, свободному сверху донизу между самыми низкими неизбежными потребностями и самым высо-

Wilhelm von Humboldt. Versuch einer Analyse der Mexicanischen Sprache (1821).

ким развитием, а по сторонам открытому для многообразнейших способов достичь ступеней этого развития различными средствами, и представляет поле, исследуемое, обрабатываемое и оплодотворяемое общим языкознанием. Вследствие этого всякое изучение отдельного языка может и должно по справедливости всегда преследовать двойную цель: объяснить отдельный язык через общность всех известных, а языки вообще — через этот отдельный, исправлять и расширять с позиций этого языка наши общие знания о языке и классификацию совокупности уже описанных языков, а также толковать характер и строение отдельного языка, опираясь на природу „человека говорящего“ вообще.

Знание одного языка, очевидно, облегчается знанием другого, и вряд ли возможно объяснить основы какого-либо из них истинно удовлетворительным образом, не призывая на помощь сравнение с любым возможно большим количеством других языков. Любой отдельный язык в более чем одном отношении представляет собой фрагмент; во-первых, в связи с тем, что он установился благодаря длительным изменениям; далее, в связи с основой, от которой он происходит; наконец, в связи с совокупностью всех сущих или бывших языков Земли. Но в этом последнем отношении его можно назвать фрагментом лишь в переносном смысле. Целое, о котором мы говорим, составлено не из некоторого количества взаимодействующих и единообразно целенаправленных частей, но, скорее, из ряда методов, определяющих всегда целостное, но всегда различное функционирование этих частей. В этом отношении языки, если не рассматривать их родства, скорее, дополняют друг друга.

Некоторые примеры помогают пролить свет на принцип объяснения своеобразий одного языка с помощью других. Природе вещей не противоречит называние одновременно с действием и предмета, на который оно направлено. Поэтому неудивительно, что существуют языки, которые настолько тесно присоединяют к глаголу управляемые им местоимения, что те становятся частью его спряжения. Это обыкновение налицо во всех семитских языках, в тюркском и персидском, в финском и венгерском, однако все они осуществляют его лишь в некоторых случаях, а в венгерском, собственно говоря, от него сохранился только слабый след. В нем отмечается всего лишь один-единственный случай, когда первое лицо единственного числа управляет местоимением второго лица в аккузативе, и то при этом не присоединяется обычное местоимение, а изменяется окончание; но можно предположить, что оно основывается на исчезнувшем местоимении. Таким образом говорят не *latom tegedit* 'я тебя вижу', а одним словом — *latlak*. Только баскский язык („Zusätze zum Mithridates“, Th. 4, S. 318f.) настолько привел это инкорпорирование управляемого местоимения в совершенную и регулярную систему, что в ней объединены почти все возможные случаи. Только благодаря этому языку можно предельно ясно составить себе представление об этой особенности, которая хотя в отдельных случаях и придает речи большую ясность и определенность, но в целом

не столько составляет преимущество, сколько сообщает языку медлительность и неуклюжесть. Насколько это свойство позволяет сделать вывод о тождественном происхождении упомянутых языков — должно быть исследовано в другом месте. Между тем примечательно, что те восточные языки, которые в наибольшей степени близки западным, как, например, персидский, с наибольшей скупостью используют этот способ.

Что баскский язык представляет для этого случая, то мексиканский — для другого, а именно для выяснения, *нейтрален* ли глагол, возвратен или переходен, а в последнем случае — указывает ли он на определенный или неопределенный объект, на лицо, или предмет, или на то и другое вместе. Во всех языках эти случаи следует тщательно различать, а некоторые выражают эти возможности непосредственно в самом глаголе. В немецком огласовка корня меняется умлаутом (fallen и fällen) — утонченный и изящный способ формообразования, который, как и многие уточнения этого рода, очевидно, устоялся лишь в позднейшее время. В баском в середину слова вдвигается слог. Греческий язык располагает своим медиум. Венгерский обладает двумя совершенно различными формами спряжения для глаголов с определенным и неопределенным объектом. Но только мексиканский исчерпывающим образом соединяет все возможные случаи и выражает тончайшие оттенки этого различия. Так, простым вклиниванием *pe* в глагольную форму *pi-po-machtia* получаем *pi-po-pe-machtia*, означающее, что я сам для себя являюсь учителем, и равным образом *te-machtilli* 'учение' — *pe-machtilli* 'собственное учение каждого для себя', 'обучение', так что понятие медиа переходит на действительное.

В любом языке можно обнаружить, что при словообразовании, кроме составных или образованных с помощью определяющих слогов слов, из производных слов с помощью присоединения или изменения букв образуются еще и другие и таким образом прослеживаются гнезда слов, но лишь греческий язык — единственный среди европейских — выказывает в этом отношении систематическую и совершенную регулярность.

Эти примеры уже достаточно показывают величину вклада сравнительного изучения языков в совершенствование обоснования любого из них. Однако философское и историческое изучение языка, с другой стороны, заслуживает того, чтобы рассматривать его как особую, поднятую над повседневным употреблением языков, но равную другим отдельную науку, и тогда, естественно, следует охватить всю ее область: с одной стороны, просмотреть ряд задач, решаемых любым языком, чтобы выделить те, которые требуют аналогичного метода, с другой — ряд языков, чтобы исследовать, как в каждом из них образуется целостность различных применяемых им методов. Этот путь приводит к выделению определенных классов; их распределение может производиться по настолько разнообразным основаниям, что один и тот же язык будет относиться одновременно к нескольким классам. Если эта процедура (в историческом

аспекте, насколько это возможно) позволит уяснить, как реально осуществляется языковая способность человека и к каким результатам приводило доселе это осуществление в разные эпохи и в разных концах земли, то тогда можно сделать следующий шаг — подняться над массой наличествующих фактов и увидеть, насколько они еще недостаточны и несовершенны. Только благодаря этому языкознание может стать подлинной наукой и получит возможность с легкостью постигать и оценивать любой отдельный язык. Ожидаемые от этого преимущества вряд ли исчислимы, но данная цель может быть достигнута только тогда, когда любая частность будет последовательно включаться в общее рассмотрение, и ни один язык, каков бы он ни был, не будет рассматриваться наукой иначе, нежели как часть великого и беспредельного целого.

Такой стремящийся к полноте и методичности анализ языков помог бы и достижению значительных успехов в том, что составляет цель всех философских исследований — в изучении развития и пределов человеческого духа. Понятия и язык, тесно связанные друг с другом, чаще всего постоянно идут в ногу и испытывают взаимное влияние. Правда, грамматическая и лексическая форма, как и весь словарь языка, хотя и твердо определяют известные правила и конструкции, допускают в применении бесконечное множество модификаций и предоставляют духу большую свободу. Чудесная природа языков состоит именно в том, чтобы люди, разделенные огромнейшими промежутками времени и пространства, могли понимать друг друга; с другой стороны, языки позволяют каждому оставить в них отпечаток своей неповторимости и в то же время способствуют формированию наиболее определяющих и наиболее постоянных свойств. Каждый возраст, каждое сословие, каждый известный литератор и, если обратиться к тончайшим нюансам, даже любой духовно развитый человек формируется в чреве своей нации и, пользуясь своим родным общепонятным языком, соединяет с его словами индивидуализируемые и преобразуемые понятия, и таким путем всеми употребляемый язык мало-помалу вмещается в сокровенный круг тончайших изгибов мышления и восприятия индивида. Языки приравниваются ко всем этим частным отклонениям, и даже совершенство их зависит от той степени, в которой они способны выразить множество различий, сохраняя ясность и силу. Однако эти гибкость и объем все же некоторым образом ограничены, и, несомненно, существуют типы мышления и восприятия, к которым человек не может полностью приспособиться, если пользуется с детства тем или иным языком. Ибо если каждый язык и может во всяком случае выразить любое понятие, то не каждый каждым понятием вдохновляется, и в этой пробуждающей, вдохновляющей и оплодотворяющей силе языков и состоит их прекраснейшее и важнейшее влияние. Итак, хотя языки в значительнейшей степени и представляют создание наций, но они ими руководят, удерживая их в известных пределах, и именно они первостепенным образом формируют или определяют национальный характер.

Так же обстоит дело и со всем человеческим родом, и с человеком вообще. Развитие его способностей не просто связано со всеобщим использованием языка, но на это развитие существенно влияет истинный ход развития самого языка, определяемый причинами, хотя и в значительной мере подчиненными, но одновременно и весьма влиятельными, и, рассматривая этот ход, невозможно точно установить границы, в которых положен предел движению человеческого духа, но можно составить об этом представление, кропотливо исследуя язык с точки зрения уже пройденного им пути и тех революций, которые возникают в ходе его развития. Рассмотрим хотя бы, какие гигантские шаги проделал человеческий дух, ведомый греческим языком, как этому языку противостоит язык Рима со своим принципиально иным характером, как различно оба эти языка повлияли на новые, как, наконец, возникло нечто совершенно новое, доселе неизвестное, когда немецкий язык в своем уверенном развитии интимно объединился с греческим.

Каждый язык целокупно представляет человеческий дух, но так как на каждом языке говорит определенная нация и каждый из них обладает определенным характером, то этот дух представлен лишь с одной стороны. Панорама развертывается уже при взаимном сопоставлении даже нескольких языков, однако труд можно считать законченным лишь тогда, когда охвачены все известные языки. Лишь тогда в нашем распоряжении будут все данные, которые следует передать истории философии для того, чтобы проверить ее наблюдения над духовным прогрессом человечества, или для того, чтобы они послужили опорой и базой этих наблюдений.

Область представлений совершенно по-иному членился холодным аналитическим рассудком, нежели творческой фантазией создателей языка. Из массы неопределенного и бесформенного мышления слово вырывает известное количество признаков, соединяет их, сообщает им с помощью выбора звуков связь с другими родственными словами, а благодаря привнесению случайных побочных обстоятельств — образ и окраску и тем самым индивидуализирует. Таким путем в различных языках возникают понятия, к которым никогда не смог бы прийти один разум сам по себе без помощи этого. Чтобы представить это наглядно, достаточно сравнить понятия, возводимые к простому логическому анализу способностей духа и восприятия, с их многообразными обозначениями в основных европейских языках. Каждое содержит признаки и нюансы, которые не в состоянии исчерпать никакая дефиниция, каждое способно вступать в новые сочетания, каждое продуктивно в отношении образования новых понятий. Метод разделения поля мышления при помощи языкового разнообразия еще мало проверен, однако от этого он не становится менее возможным и важным. Ни в одном языке нет для обозначения нефизических предметов полностью равнозначных слов, а только близкие по смыслу. Можно представить все те слова, которыми ряд языков пытается обозначить одно и то же понятие, как пограничные знаки одного и того же пространства

в области мышления, которые, однако, никогда не покрывают друг друга целиком, но отчасти переходят и в другое пространство и, очевидно, все снова освобождают часть его, чтобы вместе отграничиться от некоторого другого языка. Это положение небезынтересно доказывается, в частности, словами: ψυχή, anima, âme, alma, Seele, soul и т. д. 'душа', и многими другими словами того же рода. Но это сравнение можно провести почти исключительно только на тех языках, на которых существует литература, ибо они требуют глубокого проникновения в любую частность, и как бы ни был богат и плодотворен вечно юный и вечно подвижный язык, никогда невозможно представить подлинный смысл, совокупность всех объединенных признаков подобного слова как определенную и завершенную величину. Время нечто от нее отнимает, меняет, добавляет, содержание слов становится беднее и богаче, более определенным или более расплывчатым. В языке действуют творческие первосилы человека, его глубинные возможности, существование и природу которых невозможно постичь, но нельзя и отрицать. Так обстоит дело как с первичным формированием языка, так и с его гениальным употреблением, поскольку, по меткому выражению, услышанному нами в прошлом в одном из докладов ¹, только то имеет право оставаться в языке, что образует новый момент в его жизни. Дух, которым мы постигаем, сравниваем, упорядочиваем, рассматриваем, вчуже пронизывает все внутреннее творчество языка как некую окружающую его инаковость, и язык, представляющий в сущности форму его мышления, становится для него как бы заново материей, заново же перерабатываемой им в идеи, стимулирующей и производящей новые идеи. Нельзя было бы увидеть божественность сущности языка непринужденно приспособляющейся к человеческой скудости, не задавшись целью обнаружить в языке устройство духовного человека. Язык коренится в человеке, но все же не мог быть им выдуман. Язык — нечто большее, нежели инстинкт интеллекта, ибо в нем сосредоточивается не свершение духовной жизни, но сама эта жизнь; тип и функции языка есть организм духа, как устройство мышечных волокон, круг кровообращения, разветвление нервов — организм тела. И по мере того как мы при сравнении нескольких языков обращаем внимание на соотношение в них близких по смыслу выражений, перед нами все определеннее и точнее вырисовываются значение и очертание слов нашего собственного языка.

С другой стороны, то же сравнение привносит своеобразный смысл, отличающий язык от простых условных понятийных знаков, хотя в обиходе и проявляется склонность к такому отождествлению. Наименования многих предметов суть метафоры, образованные по определенным свойствам или сходствам. Потому и столь проблематично этимологизирующее сопоставление иностранных языков, что если собственно значения различны, то исходные, от которых они

¹ Доклад Шлейермахера о различных методах перевода, с. 6.

произошли, могут быть и очень близкими. Чтобы обосновать эту их близость, нужно глубоко проникнуть в язык, поскольку и в своем собственном зачастую невозможно отыскать следы исходных значений, стертых временем. Но во многих случаях исходные значения легко узнаваемы, и тогда их сравнительное изучение в ряде языков привносит достойную восхищения ясность в систему идей человека вообще и человека, принадлежащего к той или иной нации, в частности. Но, что еще важнее, такое изучение приучает дух видеть в словах нечто большее, нежели случайные звуки и условные знаки. Если бы такому направленному на целокупность языков изучению удалось пробудить первобытные воспоминания — как бы приравнять слова к иероглифам, излить на нынешнее поколение часть духа изобретателей языка, который, конечно же, был новее, чище, ближе к происхождению вещей, проще и смелее в сочетаниях, — то жизнь стала бы совсем иной, и совершенно иная свежесть распространилась бы на речь и — благодаря ее обратному влиянию — на мышление.

Этих примеров, к которым легко можно присоединить и множество других, вполне достаточно, чтобы показать, как благодаря описываемому здесь сравнительному изучению самый незначительный элемент языка самых убогих дикарей может стать важным материалом для истории и философии человечества, и как, если исходить, наоборот, из всеобщего языка, дух отдельного, всеми употребляемого языка развивает его вообще осмысленнее и содержательнее, определеннее в понятиях, живее в проявлениях. Все дело здесь лишь в том, чтобы обрести навык в рассмотрении элементов и форм всех языков как родственных, чтобы видеть в них истечения общей, всеохватывающей языковой способности человечества.

Однако таким взглядом на целое, соблюдением условия всеохватывающего рассмотрения никогда не следует пренебрегать. Без этого разнообразие может разве что ввести в замешательство, и нет ничего более безрадостного, нежели умышленное или случайное соположение различного, отдаленного и несхожего, приводящее ни к чему иному, кроме как к перечислению некоторого количества странных явлений. Здесь нечего и думать о полноте исторического материала, хотя бы все наличествующие данные и были исчерпывающим образом обработаны. Хотя все известно, но навсегда остается лишь обломком разбитого целого. Напротив, условие всеохватывающего рассмотрения будет считаться выполненным тогда, когда при рассмотрении систематически соединяется близкое, разделяется чужеродное и когда дух в своей непрестанной деятельности, согласно данным опыта, заполняет все возможное пространство, выявляет остающиеся незаполненными его части и рассматривает все наличествующее отнюдь не как произвольно отторгаемый кусок, но как интегрирующую часть целого. Таким образом составляется философская история всего того, что человек предпринимает и достигает в отношении языка во всех концах земли и во все времена, всего того, что было посредством языка завоевано, обработано и

стимулировало плодотворность в науке и искусстве, мышлении и восприятии. Результаты такого изучения допускают и систематический анализ действующих на них причин, будь то причины климатические, хронологические или политические; короче, если посредством безошибочно избранного направления исследования будет проложен путь от частного к целому и обратно, то число возможных полезных применений поистине приблизится к бесконечности.

Естественно, что такой аспект языкознания должен значительно повлиять на отношение к родному языку, но, однако, здесь неуместно вдаваться в подробности. От письменного использования родного языка отказываться по возможности не следует, но вместе с тем упражнения во многих языках, выполняемые по правилам науки, устраняют случайное в отношениях между значением и формой и способствуют многоплановому соединению языкового выражения с понятием.

Отсюда — два совершенно различных вида изучения языков: один, частный, — для навыков понимания, речи и письма, другой, всеобщий, — для проникновения в суть языков, в их взаимосвязи и их влияния на человеческий дух вообще. Не нужно думать, что последнее могут предпринимать лишь те, кто исключительно или главным образом посвятил себя языкознанию. Если материал однажды препарирован, предварительные работы однажды проведены, то общее языкознание не требует более ни времени, ни усилий, кроме разве философского или исторического учебного курса. Все, что при изучении языка отнимает время и усилия, относится к частностям, это — множество слов, склонений, форм и весь подобный этому и обременяющий память хлам. Но во всем этом общее языкознание не имеет нужды либо нуждается разве что для примеров. Существенны лишь общий тип, система, принципы, которые, однако, можно и должно изучать только в речи, и таким образом получить точное и совершенное понятие, например, об арабском языке, в отличие от тех, кто им владеет, но обо всех этих вещах не знает и не понимает их. Предлагаемое изучение допускает некоторые градации, следовательно, от каждого зависит, насколько он сам желает входить в подробности. Наконец, при этом гарантируется еще и то преимущество, что благодаря такому изучению самые поверхностные сведения о языке оказываются интереснее, нежели при другой системе даже довольно беглое владение, практическое применение которому, однако, не так просто найти.

Но прежде всего такое изучение требует методического объединения в единой системе предварительных изысканий, которых в настоящее время не существует; тогда эта система могла бы считаться энциклопедией языкознания в целом. Тщательное изучение каждого из известных языков в отдельности, совершенный, планомерный и единообразный анализ призваны заложить основы такой энциклопедии. Только завершив эту процедуру, можно собрать всю совокупность.

Но поскольку в этой совокупности общее и особенное должны

находиться в непрерывном взаимодействии, то сначала следует рассмотреть языковую возможность с ее функциями вообще, а затем соответственно всю массу отдельных языков. Необходимо философское рассмотрение того, из чего, собственно, состоит организм языка, и историческое — того, сколько видов языковых организмов может насчитать языковедение. В первом из этих общих разделов рассматриваются не языки во всех частях их строения, как во втором, но соответствующие части строения всех языков. В результате мы получаем список всех звуков речи, описание и историю склонения, а также глагола во все времена и у всех народов. К грамматическому разделу примыкает лексический, свод всех корневых звуков, их объяснительное рассмотрение вкупе с их семьями, родственными связями и разветвлениями. Общая часть исследования завершается описанием отношений звуков и их сочетаний с миром, как с обозначаемым ими, и тех способов, какими всеобщая языковая способность овладевает миром, изображает и обрабатывает его. За этим подбором всех языков следует выделение отдельных. Здесь необходимо распределить языки по классам согласно их родству, объединяя в одно целое все их элементы, формы, правила и выводя из этого их индивидуальный характер, индивидуальное представление мира. Я постарался уложить этот очерк в немногие слова, ибо неблагоприятное предприятие — говорить о возможностях некоторой литературной работы и даже с легкостью набрасывать ее план, когда исполнение ее связано с величайшими трудностями.

С описанной здесь позиции общего языковедения я попытаюсь дать анализ мексиканского языка, предпринимаемый как часть всеобщего исследования. Я чувствую себя в известной степени к этому обязанным, ибо нелегко было бы другому любителю языков в Германии оперировать подобным обширным вспомогательным материалом. К тому же я предпринимаю эту работу с большей уверенностью, нежели предпринял бы литературную, ибо должны же быть решены для заполнения существенного пробела в языковедении вопросы о том, какие результаты для исследования происхождения, родства и внутренней связи языков может дать мексиканский язык как один из самых превосходных среди американских? Что из уже выявленного в языках будет подтверждено или опровергнуто? Что добавляет этот язык к уже собранным сокровищам? К тому же я льщусь надеждой в любом случае способствовать полезному, ибо если мои собственные заметки и окажутся малоценными, то все же моя работа даст людям, более сведущим, материал, годный для использования, и избавит их от труда все заново собирать и просматривать, что явно необходимо при полном отсутствии систематизованного расположения материала в грамматиках и при царящей путанице в словарях.

История, внешние связи и судьба мексиканского языка, насколько их можно проследить, уже изложены в „Митридите“ (III, с. 85—93). А теперь я перейду непосредственно к рассмотрению строения самого языка.

Обычными вспомогательными средствами для сведений об этом языке являются грамматика и словарь, а при изучении языка для потребностей понимания и употребления они также достаточны, не говоря уже о том, что наиболее уместны. Но анализ, призванный служить целям языкознания вообще и тем самым более глубоко и без всяких практических намерений вторгающийся в природу языка, требует и меньшего, и большего. Он может избежать множества частных, но обязан неизмеримо полнее проследивать любой намек на аналогию, все, что только ни выглядит приводящимся к правилу, самые неприметные признаки реальных связей, тогда как обычное изучение берет из всего этого только то, что облегчает усилия памяти. Лингвистический анализ не пренебрегает и простыми предположениями и пускается в разрешение многих вопросов, которые касаются не употребления, а лишь исторического и философского рассмотрения языка. Он, собственно, направлен на решение двойной задачи: из каких первозвуков и каким образом язык изначально строит свой запас слов, а затем и связную речь? В какой степени целесообразности или совершенства? Каким образом он становится для говорящей на нем нации органом постижения мира, возникновения и формирования идей, импульсом для развития духовной деятельности человечества?

ХАРАКТЕР ЯЗЫКА И ХАРАКТЕР НАРОДА

(Отрывок)

В одной из моих академических лекций я уже обращал внимание слушателей на то, что различия между языками суть нечто большее, чем просто знаковые различия, что слова и формы слов образуют и определяют понятия и что различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание и на чувства являются в действительности различными мировидениями.

В другой своей лекции я пытался определить ту ступень в строевании языков, на которой возможен переход от поэзии и научных исследований дальше к ясности и свободе, и при этом сформулировал требование, которое относится ко всем языкам, независимо от их индивидуальных особенностей.

Я хотел бы теперь продвинуться дальше в этом направлении, взяв языки в той их точке, где они в состоянии схватывать в движении духа глубочайшее и тончайшее, и рассмотрев одно только индивидуальное, в каком пути различных языков расходятся, с тем чтобы живущая в них сила преобразовала в достояние духа одну и ту же лежащую перед ними область.

Едва ли нужно упоминать о том, что индивидуальность есть единство различий. Она заметна только тогда, когда в той части, в которой один язык отличается от всех остальных, удается усмотреть обусловленное и одновременно обуславливающее единообразие. Истинно же духовное встречается только в языках, достигших достаточно высокой ступени развития.

Исследование этой индивидуальности, а также ее точная характеристика в каждом случае есть труднейшая задача языкознания. Несомненно, что до определенной степени эту индивидуальность можно лишь ощущать, но невозможно представить с помощью понятий, поэтому возникает вопрос: не следует ли и вовсе исключить ее из круга научного рассмотрения?

Wilhelm von Humboldt. Ueber den Nationalcharakter der Sprachen. Bruchstück (1822).

Анализ строения и составных частей отдельных языков дает нам неоспоримые преимущества двоякого рода. А именно: такой анализ проливает свет на способ использования человеком языка и, кроме того, только с его помощью можно судить о родственных связях языков и народов.

О последней из этих задач здесь нет необходимости распространяться. Что касается первой, то ее до сих пор пытались решать только философским путем. Этот путь не следует отвергать, поскольку и в будущем необходимы будут философский и исторический подходы, так как всякое пренебрежение чистой мыслью ощутимо мстит за себя в любых научных занятиях. Плохо только то, что философское исследование опирается на неполные сведения, вследствие чего и в большинстве опытов всеобщей грамматики к несомненно верным выводам примешивается и полуправда, и явная ложь¹. Историческое изучение предмета тоже не даст нам голлоты, поскольку ни в одной области, подверженной действию чистой мысли, нельзя заменить эту мысль опытом. Однако при этом существенно, привлекается ли весь известный исторический материал или же только его часть, поскольку опыт приобретает всеобщее значение только по мере своего расширения.

Сравнительное изучение языков должно объединять три направления:

1. Как решает каждый язык различные задачи, возникающие из потребностей речи,— как грамматические, так и все прочие? Какие представления воплощены в частях речи этого языка и в связях между ними?

Какими способами грамматического оформления, словообразования, словоизменения, умлаута он пользуется?

Какие звуки для этих целей используются: строго определенные, как арабские, так называемые *servilen* *, или любые, и какие для какого случая пригодны?

С другой стороны, задачи лексические:

Как в звуковом отношении из одних слов возникают другие?

По каким типам представлений можно выводить в значении слов одни понятия из других?

Как соотносится слово с понятием? Во-первых, с тем, которое ему непосредственно приписано, и, во-вторых, со множеством родственных понятий.

Имеет ли место умпостигаемая связь между звуками и их значениями, и если да, то какая?

¹ Я напомним здесь лишь о распространенном предположении о порядке возникновения частей речи. Здесь считается обычно исходным либо имя, либо глагол, а местоимению приписывают позднейшее происхождение, не принимая в расчет то обстоятельство, что исходно имя и глагол грамматически не различались и что последний возник из слияния местоимения с этой грамматически двойственной частью речи.

* Словом *servilen* В. фон Гумбольдт называет, очевидно, те арабские согласные, которые способны входить не только в корневые, но и в служебные морфемы.— *Прим. перев.*

2. Как и почему языки, которые мы можем наблюдать на протяжении длительного времени, претерпели изменения в своей внутренней структуре?

3. Какие различия в словообразовании и словоизменении близкородственных и далеких друг от друга языков допускают возведение к единому источнику?

Систематическое сопоставление всех фактов, которые могли бы привлечь известные живые и мертвые языки к решению перечисленных вопросов, есть предприятие, в осуществлении и важности которого едва ли можно сомневаться. Это сопоставление должно предшествовать созданию своего рода таблицы родства языков, поскольку оно покажет, какие соответствия, в каких частях и в каком объеме позволяют судить об общности происхождения.

Есть еще и третье приложение исторического изучения языков (трудности этого приложения упоминались выше) — это исследование индивидуальных путей, которыми язык воздействует на мысль и чувства.

Я считаю, что упомянутые трудности не должны удерживать меня от рассмотрения этого предмета. Если мы хотим достичь ясности в наивысшей и наиважнейшей точке языкознания, то нельзя обойти вниманием вопрос о том, обладают ли языки какой-либо формой духовного воздействия, познаваема ли эта форма и какими способами следует ее изучать. Правильное представление о жизненных силах не оставляет никакой надежды на то, что индивидуальное действие каждой из них можно исчерпывающе представить. Однако к их контуру, линии которого точно провести не удается, можно приблизиться настолько и столько отметить на нем определяющих его направление точек, что неуловимое и не поддающееся описанию станет возможно почувствовать и угадать. Попытка такого рассмотрения на высшем уровне тем настоятельнее, что она будет достойным вознаграждением за то утомительное коллекционирование бесчисленных особенностей каждого языка, которое предполагает любое языковое исследование.

Особенности времен и народов так тесно переплетаются с языками, что языкам порой незаслуженно приписывают то, что полностью или большей частью принадлежит эпохам и народам и что языки сохраняют лишь поневоле. Даже отдельные писатели благодаря мощному порыву своего духа могут в своих произведениях придать языку новый характер, хотя слова и словоизменение остаются теми же, меняется только их употребление. Тем самым верно следующее:

1. Язык, несмотря на все посторонние воздействия, сохраняет свою индивидуальность, которая присуща и его характеру; язык реагирует на воздействие и допускает свободное использование только в рамках своего характера.

2. Обратное действие языка тем определеннее, что через него все созданное народами в прошлом воздействует на индивида; индивидуальность же человека аналогична индивидуальности языка

благодаря тому, что источник воздействия на них один и тот же, но первая едва ли может противостоять последней.

3. Как уже говорилось, отдельные особенности (употребления) придают иногда языкам новый характер, но такая способность к изменению опять же принадлежит исконному характеру языка.

4. Поскольку смены причин и следствий образуют устойчивые ряды, в которых каждая точка обусловлена предыдущей, и поскольку, пользуясь нашим историческим методом, мы попадаем всегда в середину, а не в начало подобного ряда, мы застаем каждый данный язык данной нации уже перешедшим в определенное состояние с определенными словами, формами и словоизменением и поэтому уже оказавшим на эту нацию воздействие, которое объяснялось не простой реакцией на более раннее воздействие со стороны этого народа, но самим исконным характером языка.

5. В языке мы всегда находим сплав исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера нации. Во всяком случае, нет возможности определить точный момент возникновения у нации языка, ибо даже возникновение самой нации есть лишь переход [от одной точки к другой] в устойчивом ряду, и нельзя себе представить начальную точку нации или языка. Однако наша историческая наука нигде не доказывает положения о том, что нация очевидным образом возникла до своего языка или, другими словами, что язык может быть построен только с помощью нации, которой он принадлежит. При этом и в самом языке заложено исконное своеобразие и определенные способы воздействия. Такая связь двух характеров обнаруживается и в тех языках, источник которых теряется в глубине столетий, так что нельзя ничего решить об их исконных свойствах. Если же языки возникли на наших глазах, как дочерние языки латыни, посредством смешения и изменения, а также воздействия ранней литературы на позднейшую, то разделение в них общего и особенного будет одновременно нетрудным и важным.

Итак, если оставить в стороне печать национального характера, можно, не смешивая действующие причины, познать в любом языке и его собственные, только ему присущие особенности, и его полное смысла многообразие. Можно также рассмотреть тонкое, но глубокое родство между различными видами духовной деятельности и своеобразием каждого языка, не пытаясь объяснять, как и почему тот или иной язык осваивает тот или иной вид деятельности. Только тогда, когда научное рассмотрение объединит характер народа во всех его независимых от языка проявлениях, субъективный характер индивидуальности, не зависящей от различных путей мысли и дела, и характер, которым обладают, или который могут принимать языки, только тогда мы приблизимся к проникновению в то многообразие и единство, в котором сходится бесконечное и неисчерпаемое целое духовных устремлений.

Греки, благодаря своему развитому чувству языка, ощущали тесную связь между поэтическими жанрами и языковым обликом, поэтому, поскольку было соблюдено требование общепонятности,

каждому жанру был отведен в этом богатом языке отдельный диалект. Здесь мы находим разительный пример силы языкового характера. Если же, например, переменить роли, представив себе эпическую поэзию на дорическом, а лирическую — на ионийском диалекте, то сразу можно почувствовать, что изменились не звуки, а дух и сущность. Высокая проза никогда не достигла бы расцвета без аттического диалекта, само возникновение которого, равно как и примечательное сходство его с ионийским, принадлежит к важнейшим достижениям в истории человеческого духа. Вряд ли смогла бы проза в высшем понимании этого слова явиться до него или независимо от него; та проза, которая необходима человеческого духу для его благороднейшего и свободного развития, была создана на аттическом диалекте. Это последнее заслуживает и требует особого разъяснения в рамках настоящей работы.

Выше я пытался установить, существует ли у языков характер, и если да, то каковы его границы. В своем наиболее полном и очищенном виде он проявляется прежде всего в живой речи. Однако речь исчезает вместе с говорящими, поэтому приходится связывать характер языков с тем, что остается в их мертвых творениях, в их строе, в их составных частях. В более узком смысле мы понимаем под характером языков то, чем они либо обладали изначально, либо приобрели настолько давно, что получили способность воздействовать на поколения их носителей как на нечто относительно постороннее.

Благодаря своему характеру языки могут воздействовать не только на все поколения народов, говорящих на них, но и на другие языки, с которыми они рано или поздно приходят в соприкосновение либо непосредственное, либо, как уже мертвые языки, через свои памятники, либо через науку, изучающую их строй. Влияние языков друг на друга двояко: оно может быть произвольным, когда заново образующиеся языки наследуют характер и сущность своего предка, и другим, по мере углубления и прояснения осознанности лишь возрастающим, когда языки одного строения становятся предметом изучения народов, говорящих на иначе построенных языках, либо различные языки вступают друг с другом в живое взаимодействие. Что касается греческого и латинского, то они обязаны своим первоначальным устройством удачному выражению каждой мысли в древнеиндийском. Однако это взаимодействие свершалось на тех же путях, по каким движется сама природа, даже когда создает высшую духовность. Глубокая тьма скрывает его от нас; оно было бы потеряно и для истории, если бы не поселение европейских народов на индийской земле, особенно важным последствием которого, а не великого переселения народов вообще, является знакомство наше с этим языком, без чего процесс расширения и возвышения мышления был бы предельно долгим. Мы неожиданно проникли в такую древность, которая по своему характеру и силе выражения далеко превосходит древность греческую, поражая нас своими полными достоинствами духовными представлениями, непоко-

лебимым глубокомыслеи, широкими и подробными описаниями природы. Мы можем с уверенностью объявить, что к тому мощному влиянию, которое через ныне уже неясные исторические связи с нашим родным и с классическими языками, обязанными ему большей частью своего строя, оказал древнеиндийский язык на современное развитие науки, со временем добавится еще одно. Когда индийский язык и литература станут у нас столь же популярными, как греческие,— а при современной тяге к знаниям едва ли может быть иначе — тогда характер их, с одной стороны, заставит нас иначе судить о наших собственных языках, философии и поэзии, а с другой стороны, даст нам действенное средство, чтобы расширить мир идей и проследить многообразные пути человека в этом мире.

С этой точки зрения различия между языками приобретают всемирно-историческое значение. Совместное рассмотрение различных [их] особенностей придает мысли новую форму, которая перейдет к грядущим поколениям; возрастает сила идей и одновременно расширяется их пространство, они [непроизвольно] становятся собственностью того, кто не отваживается проложить к ним путь самостоятельно. До тех пор пока звенья этой цепи, сплетаемой в течение тысячелетий мыслями и в большинстве своем чувствами народов, не будут разорваны мощным потрясением, никогда не утратится старое, ибо в нем заключены ростки нового, и это продвижение вперед безгранично, как сама мысль, как само чувство.

Каждое человеческое начинание имеет в своем развитии переломный момент, после которого бывает уже бесполезно продолжать его, поскольку в действительности его цель уже достигнута; одна лишь идея, лежащая в его основе, может бесконечно оставаться объектом мысли и чувства, становясь все чище и полнее, открывая все новые точки соприкосновения с другими идеями. Так, позволительно думать, что борьба за отмену рабства, начавшаяся на наших глазах, подобно возникновению христианства, разделившая народы и положившая начало всеобщему братству, когда-нибудь будет завершена на всем свете, и к этому начинанию уже нечего будет добавить. Но внутреннее признание свободы, основанное на изучении человеческой природы, где свобода есть опора права, не может быть ограничено ни собственным развитием, ни нашими знаниями.

В области самого мышления действие языка исключает всякую остановку в каком-либо достигнутом пункте. Обнаружение истины, определение законов, в которых обретает отчетливые границы духовное, не зависят от языка; но язык дает человеку предпосылку для развития внутренних сил; когда мы стремимся к бесконечному, первое побуждение, отвагу и энергию на этом пути мы получаем от языка.

Нельзя смешивать прогресс в области взаимодействия языка и мышления ни с прогрессом общественных начинаний и проистекающего отсюда нравственного усовершенствования, ни с успехами в области науки и искусства, хотя эти успехи тесно связаны с тем и с другим. Влияние языка выражается в двоякого рода преимущест-

вах — возвышении чувства языка и формировании своеобразного мировидения. Человеку удастся лучше и надежнее овладеть своими мыслями, облечь их в новые формы, сделать незаметными те оковы, которые налагает на быстроту и единство чистой мысли в своем движении вперед беспрестанно разделяющий и вновь объединяющий язык. Язык при этом, обозначая, а в действительности создавая, придает облик и слаженность неясным мыслям и увлекает дух, поддержанный работой многих, на новые пути в сущность вещей.

То, что имеет вид длинных рядов сменяющих друг друга причин и следствий и при этом тесно связано с общим бытием человечества, имеет, следовательно, право принадлежать всемирной истории. Поэтому я и говорил выше, что различия между языками в их влиянии на обусловленную ими работу человеческого ума приобретает всемирно-историческое значение. Пусть прошлое и настоящее связаны чередой поколений, между которыми в свою очередь создает духовную преемственность язык, но и сохранение духа в письменности также помогает преодолевать время и расстояние.

Языки и различия между ними должны таким образом рассматриваться как сила, пронизывающая всю историю человечества; если же оставить их без внимания или распознать их влияние не в чистом или ограниченном виде, тогда остается неполным понимание того, как доходит человечество до овладения той духовной массой — если можно так выразиться, — которую оно вынесло из царства мысли в область ясного и определенного. В этом случае будет недостатать важнейшего, поскольку язык вступает в действие самым непосредственным образом в той точке, где порождение объективной мысли и возвышение субъективной силы происходят друг из друга при обоюдном нарастании. Исследование воздействия, которое производит прогресс народов в науке и искусстве, а также взаимосвязей [национальных] литератур не сможет восполнить указанный недостаток. Все перечисленные сферы деятельности содержат, с одной стороны, то, на что влияние языка не распространяется, а с другой — не содержат всего, что входит в язык.

С этой точки зрения каждый язык имеет по-своему очерченный круг влияния. Для одних мы должны признать, что они внесли существенный вклад в наше сегодняшнее образование, сопровождая все формы его развития начиная с глубокой древности. Другие языки создали себе обособленную и не связанную непосредственно с нашей духовную область. Многие либо не достигли той ступени развития, на которой могут быть созданы творения духа, либо, достигнув ее однажды, деградировали впоследствии. Тем самым они важны здесь либо для истории других языков, либо как отдельные примеры культурного состояния разных народов. Таким образом, наше всемирно-историческое рассмотрение языков должно ответить и на вопрос о том, как язык, происходя из природного звука и потребности, становится родителем и воспитателем всего высочайшего и утонченнейшего в человечестве. Исследуя различия

в исторических суждениях, разного рода взаимодействия и родственные связи, можно обособить и сопоставить неизвестные нам до сих пор языки, определить их характер, найти в их строе источник этого характера и оценить их историческую ценность.

Однако прежде всего, чтобы не запутаться в неопределенных и неустойчивых понятиях, необходимо точнее определить, в чем же состоит различие языковых характеров, и подкрепить это определение примерами, понять, как обнаружить его с помощью силы, порождающей мысль путем языка, и какие языковые средства и особенности языкового строя этот характер образуют. Такое исследование возможностей исторической обработки языков в зависимости от их характера должно предшествовать основному изложению, поскольку это исследование показывает, может ли упомянутая зависимость быть понята с достаточной для исторического изучения определенностью.

Я умышленно нарушил здесь естественный ход мысли, поскольку мне нужно было показать, насколько сравнительное изучение языков важно и существенно для постижения всей совокупности духовной деятельности человечества, причем пренебрежение этим изучением немедленно обнаруживает себя в виде значительных лакун. Между тем и поныне многие измеряют ценность изучения языка ценностью его литературы, а занятия лишенными литератур языками объявляют пригодными лишь для утоления праздного научного любопытства, находя исследования их звуков, словаря и словоизменения ничтожными и недостоинными философского осмысления. Однако здесь все очень просто. В действительности — и в целом именно такое убеждение складывается у нас из опыта — своеобразие языка влияет на сущность нации, как той, которая говорит на нем, так и той, для которой он чужой, поэтому тщательное изучение языка должно включать в себя все, что история и философия связывают с внутренним миром человека. Поскольку язык оказывает воздействие только через самого себя, приходится изучать его, как и всякий предмет, который мы хотим по-настоящему обосновать сам по себе и независимо от любых других целей. Рассматривать язык не как средство общения, а как цель в самом себе, как орудие мыслей и чувств народа есть основа подлинного языкового исследования, от которого любое другое изучение языка, как бы основательно оно ни было, в сущности своей только уведит. Такое исследование языка самого по себе уподобляет его любому другому природному объекту. Оно должно объять все различия, поскольку каждое из них принадлежит к понятийному целому; оно должно вникнуть в подробнейшие расчленения на составные части, поскольку совокупное воздействие языка складывается из постоянно возобновляющегося действия этих составных частей.

Приходится также отвечать и на вопрос о том, каким образом различия в характере языков способны расширять и возвышать познание.

Язык имеет тройкую цель, соответствующую интенсивности его действия:

Он — посредник в процессе понимания и требует поэтому определенности и ясности.

Он дает чувству выражение, и сам вызывает чувство и потому требует силы, отчетливости и гибкости.

Он побуждает через сообщаемый мысли облик к новым мыслям и их сочетаниям и потому требует действия духа, который оставляет в словах свой отпечаток.

Один язык может отличаться от другого, превосходя его в одном из способов действия и уступая в другом, но каждый из трех способов требует для своего осуществления двух других, если же какой-то из них возобладает, то путь его исказится, ясность станет скучной бессодержательностью, выражение чувств — высокопарной или манерной чувствительностью, весомая полнота смысла — надуманностью и неясностью. Безупречное своеобразие возникает благодаря соразмерному взаимоопределению этих способов действия, в котором, однако, один является господствующим.

Язык выражает мысли и чувства как предметы, но он к тому же следует движениям мысли и чувств, их скорости, повторяет равномерность и неравномерность их хода, своеобразные избирательные отношения, в соответствии с которыми различные народы соединяют свои мысли и чувства. И формальное сопровождение мышления, и материальное обозначение мысли усиливают, но и ограничивают друг друга. Перегруженное смыслом соединение идей не позволяет легко найти для себя оболочку, чрезмерная податливость и быстрота лишает весомости чувственно воспринимаемое обозначение.

Человек думает, чувствует и живет только в языке, он должен сначала сформироваться посредством языка, для того чтобы научиться понимать действующее помимо языка искусство. Но человек чувствует и знает, что язык для него — только средство, что вне языка есть невидимый мир, в котором человек стремится освоиться только с его помощью. Для самого повседневного чувства и самой глубокой мысли язык оказывается недостаточным, и люди взирают на этот невидимый мир, как на далекую страну, куда ведет их только язык, никогда не доводя до цели. Всякая речь в высоком смысле слова есть борьба с мыслью, в которой чувствуется то сила, то бессилие.

Из сказанного можно вывести два в высшей мере примечательных различия между языками; одно из них связано со степенью осознания упомянутой недостаточности говорящими и стремлением ее преодолеть, второе — с разнообразием точек зрения на способы обозначения, поскольку многосторонность предметов в сочетании со множественностью механизмов понимания делают число этих точек зрения неопределенным.

Некоторые народы будто бы удовлетворяются той картиной мира, которую создает для них родной язык, и только стараются внести в нее больше света, связности и равновесия. Другие же,

беспрестанно углубляя мысль, считают невозможным выразить ее когда-либо в достаточной мере, найти подходящее для нее выражение и пренебрегают поэтому совершенством формы. Языки таких народов несут на себе соответствующий отпечаток. Здесь, однако, существуют еще некоторые нюансы. Народы, озабоченные больше формой — пусть даже в ущерб содержанию, — ищут в одних случаях логичного, ясного и легкого для понимания выражения своих мыслей, в других — более чувственного, соответствующего силе воображения.

Другая разновидность языковых различий, связанная со способами обозначения, выражает точку зрения на предметы и на построенные для этих предметов понятия. Несмотря на бесконечное их разнообразие, во всем том, что имеет название у какого-либо народа, заложена некая общность явления, которая сообщается слову как знаку. В общих чертах можно представить себе, что слова одного языка являют больше чувственной образности, другого — больше духовности, третьего — больше рассудочного отражения понятий, и т. п., только многообразно и главным образом своеобразно способа обозначения не поддается выражению в столь общем виде. Ни одна из упомянутых особенностей не встречается изолированно, и если даже в языках различных народов можно найти что-либо с этой точки зрения общее, никогда нельзя утверждать, что они обладают одной и той же особенностью. Следует сначала изучить народы в их своеобразии, изучить их деятельность и составные части их языков, затем, доверившись чувству, создать себе образ и уже потом, насколько это возможно, облечь его в слова. На язык влияет также и то, какого типа предметы и чувства либо характерны для данного народа вообще, либо сопутствовали ему на ранних этапах его существования, когда язык только приобретал свою первоначальную форму.

Язык, прежде всего в его упомянутых здесь особенностях, можно сравнивать с искусством, поскольку и то и другое стремится в чувственной форме изобразить невидимое. Если же язык не обнаруживает стремления подняться над действительностью в своей приверженности отдельному и в своем повседневном функционировании, тогда свернутая картина всех предметов, а также всех их невидимых соединений и связей будет покоиться в его лоне. Подобно картине живописца, язык может быть больше или меньше верен природе, скрывать или, напротив, выказывать приемы мастерства, изображать свой предмет в тех или иных оттенках основного цвета.

Однако, с другой стороны, язык в некотором смысле противопоставлен искусству, поскольку обычно рассматривается только как средство изображения, тогда как искусство уничтожает действительность и идею, поскольку они существуют обособленно, и ставит на их место свое произведение. Из этой сравнительной ограниченности языка как знака возникает новая черта языкового характера. Один язык несет в себе больше последствий своего употребления, больше условности, произвола, другой же ближе стоит к

природе; это особенно заметно при переносе значения. В каждом языке одни части предназначены для обозначения действительных предметов мысли и чувства, а другие — для связи, для грамматической техники. От соотношения этих частей зависит, в каком виде понятия представляются уму — в сжатом состоянии или как легкие скопления, плавно или резко и прерывисто. Основание для этого, возможность или неизбежность того или иного характера заложены в устойчивом исходном строе языка; последствия же его воплощаются в наиболее тонкие и образные творения духа.

По-разному сформированные языки обладают различной степенью пригодности к той или иной духовной деятельности. Однако было бы несправедливо пытаться, как уже не раз случалось, разделить языки по предназначению, отводя один для поэзии, другой — для философии, третий — для практической деятельности и т. д. Если язык кажется весьма подходящим для исследования абстрактных истин и мало пригодным для поэзии, это не объясняется его философской направленностью, а происходит от других причин и связано не с его достоинствами, а с недостатками. Даже философия, эта бездна, заключающая в себе сущность вещей, не найдет в таком языке содействия. Все эти воплощения главнейшей духовной силы поддерживают друг друга и сообща продвигаются вперед, как лучи света, исходящие из одной точки. Если мы захотим выделить интеллектуальное стремление так, как оно кажется нам выделенным в языке, то при этом придется иметь дело не с поверхностью, а с глубиной. Насколько же собран дух в себе, освобождаясь в языковом раскрытии, как свободен он от односторонностей, как близко приступает он к основам всякого познания и восприятия и на каждой из достигнутых ступеней действует одинаковым образом по всем своим направлениям.

Из всего сказанного следует, что различия в характере языков лучше всего проявляются в состоянии духа и в способе мышления и восприятия. Влияние характера языка на субъективный мир неоспоримо. Наиболее отчетливо проявляется своеобразие каждого языка в поэзии, где устройство конкретного материала налагает на дух менее всего оков. Еще естественнее это своеобразие выражено в народной жизни и в связанных с ней типах литературы. Но прекраснее и одухотвореннее всего раскрывается языковая индивидуальность в языке философии, где из благороднейшего субъективного мира в его гармоничном движении рождается объективная истина. Восприятие обретает умеренность и спокойствие мышления, мышление в свою очередь — тепло и красочность восприятия, содержанием и целью философии становится все важнейшее и величайшее, что только может охватить дух, а занятие ею кажется легкой и радостной игрой. Там, где по счастливому случаю человечество в лице какого-либо народа достигает высот развития и язык обладает способностью тесно сплести объективное и субъективное, при том, что превосходство первого не ущемляет прав второго, там и распускается прекрасный цветок человеческого общения. Живо

построенная, основанная на обмене чувствами и идеями беседа сама по себе является как бы центром языка, сущность которого можно представить себе как звук и ответный звук — как речь и ответную речь; происхождение и преобразования языка никогда не принадлежат одному человеку, но только — общности людей; языковая способность покоится в глубине души каждого отдельного человека, но приводится в действие только при общении. Пригодность языка к описанному выше использованию в беседе есть его пробный камень, его естественное преимущество; выдающиеся языки должны непременно располагать простыми и богатыми средствами использования.

Влияние определенной и обусловленной языком субъективности на объекты духа — на мышление и восприятие, на познание и убеждения — тем легче измерить, что с помощью мощной и многосторонне действующей силы можно большего достичь.

С другой стороны, я не думаю, что истинно объективное познание выиграло бы от разнообразия языков, коль скоро мышление уже достигло необходимой для схватывания истины остроты и ясности.

О ДВОЙСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

«Ex quo intelligimus, quantum dualis
numerus, una et simplice compage
solidatus, ad rerum valeat perfectionem».

(Lactantius *de opificio dei*)*.

Среди многообразных путей, по которым должно двигаться сравнительное языкознание, чтобы разрешить вопрос о том, как всеобщий человеческий язык проявляется в отдельных языках различных наций, бесспорно, один из прямо ведущих к цели — это последовательное наблюдение за каким-либо частным фрагментом языка во всех известных языках земного шара. Такое наблюдение можно проделывать либо с отдельными словами или классами слов, если интересны способы обозначения понятий, либо с грамматической формой, если думать о речеобразовании. И то и другое многократно уже предпринималось, однако обычно в поле рассмотрения попадало лишь случайным образом выбранное ограниченное количество языков и не выполнялось требование полноты охвата, отнюдь не маловажное в исследовании такого рода.

Если обозревать то, как грамматическая форма — ибо я в соответствии со стоящей ныне предо мной задачей остановлюсь именно на ней — в различных языках выдвигается на первый план или же остается в тени, получает своеобразные модели, связывается с другими формами, выражается непосредственно или описательно, то подобное сопоставление весьма часто бросает совершенно новый свет как на природу этой формы, так и на характеристику отдельных языков, привлекаемых к рассмотрению. В таком случае можно сравнить особенные свойства, характерные для такой формы в различных языках, со свойствами, присущими в этих языках прочим грамматическим формам, и тем самым оценить всю их грамматическую природу в целом, равно как и их грамматическую последовательность. Что же касается самой формы, то при таком подходе реальное ее употребление противопоставляется тому, которое можно вывести из ее чистого понятия, а это предостерегает от того одностороннего стремления к системности, которому неизбежно подвержен исследователь, желающий определить законы реально

Wilhelm von Humboldt, Ueber den Dualis (1827).

существующих языков исходя из абстрактных понятий. Как раз за счет того, что рекомендуемая здесь практика преследует как можно более полное освещение фактов, но неизбежно сочетает с ним и обращение к чистым понятиям, чтобы внести единство в многообразие и выбрать правильную исходную основу для наблюдения и оценки отдельных различий, она избегает опасности, которая иначе равным образом грозит сравнительному языкознанию как со стороны исключительного предпочтения исторического пути, так и филологии. Ни один исследователь, занятый подобными штудиями, склонности и талант которого увлекают его на один из этих двух путей, не должен забывать, что язык, исходя из глубин духа, законов мышления и из человеческой организации в целом, все же воплощается в действительность в отдельной личности и вновь модифицируется через отдельные свои проявления, а потому изучение его требует совместного, методически правильно организованного применения чистого мышления и строго исторического исследования.

Второй полезный аспект описания грамматических форм на материале всех языков заключается в сравнении различной трактовки этих форм с культурным и собственно языковым состоянием наций. Предполагает ли или обуславливает определенная ступень развития языка определенный уровень культуры; коренятся ли определенные особенности африканских и американских языков только в недостаточно развитом уровне цивилизации, в целом присущем народам, на них говорящим, или же они обусловлены другими причинами, которые только предстоит выяснить, — все это вопросы чрезвычайной важности. Ответ на них связывает сравнительное языкознание с философской историей человечества и открывает перед последним лежащие далеко впереди высшие цели. Верно, что изучение языка должно производиться ради себя самого. Но в то же время, как и любая другая область научного исследования, оно отнюдь не заключает в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели совместных устремлений человеческого духа, цели познания человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя.

Я не думаю, что поставленные выше вопросы могут быть когда-либо полностью разрешены даже в результате очень полного и точного языкового исследования. Время утаило от нас слишком много сведений как о языках, так и об уровне развития наций, и сохранившиеся фрагменты не дают оснований для окончательного суждения. Но мой предшествующий опыт многократно показывал мне, что пристальное внимание к этим вопросам приводит к отдельным весьма ценным объяснениям и в любом случае позволяет избежать ошибок, а также опровергает предвзятые суждения ¹.

¹ Г-н Шмиттенер (см. S c h m i t t h e n e r. Ursprachlehre («Учение о языке»), S. 20) говорит: «Мы не будем затрачивать усилий на подробное доказательство того, что языки Америки и Африки тем менее совершенны и тем более расхо-

При подобном исследовании необходимо обращать внимание не просто на хозяйственное и общественное состояние наций, но преимущественно на судьбы, которые претерпели их языки, насколько об этих судьбах можно судить по их строению или по историческим данным. Так, к примеру, изящный и совершенный грамматический строй латышских языков, ныне практически превратившихся в народные говоры, совершенно не зависит от культурного уровня народов, на них говорящих, но обусловлен лишь хорошей сохранностью остатков первоначально высокоразвитого языка *.

Наконец, существует ли лучшее средство, чем наблюдение за одной и той же грамматической формой в большом количестве языков, для более полноценного ответа на вопрос, какая степень сходства в грамматическом строении делает правомерным заключение о родстве языков? Странно, что ни для какой другой цели языковедение пока не использовалось столь многообразно, так, что даже сейчас очень многие все еще склонны ограничивать его применение

дятся друг с другом, чем менее говорящие на них народы продвинулись на пути от тупости естественной жизни к свету разума, от рассеянности примитивного состояния к единству образованных обществ, а проследуем далее...» Я не знаю, многие ли исследователи были бы склонны подписаться под столь негативным и заранее противостоящим всякому исследованию высказыванием. Я не могу высказать никакого мнения, кроме прямо противоположного. Не буду здесь указывать на примечательное устройство многих африканских и американских языков. Не всякий языковед может чувствовать склонность к штудиям такого рода. Но, несомненно, всякий, кто хотя бы поверхностно занимался этими языками, подтвердит, что сведения о них имеют высочайшую ценность для языковедения. Надо сказать, что и культурный уровень этих народностей, в частности американских, — и как раз в том, что касается выражения мыслей, — вовсе не везде таков, как он изображен в приведенной выше цитате. Сообщения о народных собраниях североамериканских наций и приводимые в этих сообщениях речи некоторых из их вождей создают совершенно другое впечатление. Многие места в них поражают истинным красноречием; и даже если эти племена тесно связаны с жителями Соединенных Штатов, все же в их языке очевидно печать самостоятельного своеобразия. Пусть они противятся тому, что на смену свободе их лесов и гор приходит обработка полей и замыкание в домах и селах; но в своей бродячей жизни они сохраняют простой, правдолюбивый, часто великодушный и благородный образ мыслей. (См. М о р с. Доклад военному секретарю Соединенных Штатов о положении дел с индейцами, с. 71; Приложение, с. 5, 21, 53, 121, 141, 242.) Языки людей, которые в состоянии придать своему выражению такую ясность, силу и живость, не могут не заслуживать внимания языковедов. То же самое верно и для некоторых южноамериканских племен, что можно судить по тем сведениям, которые приводятся об их сагах и повествованиях в „Очерке истории Америки“ Дж. Гилли. (См. G i l l i j. Saggio di storia Americana). Но даже если бы все нынешние американские аборигены оказались низведенными до уровня абсолютной примитивности и тупой естественной жизни, что, очевидно, не так, то и в этом случае нельзя бы было никоим образом утверждать, что такое положение дел существовало всегда. Нам известно, что мексиканское и перуанское государства находились когда-то в процветающем состоянии, и то, что многие другие народы в Америке достигли высокого уровня развития. Об этом говорят следы древней культуры, случайно обнаруженные у племен Муиска и Пано (см. A. von H u n t e r. Monumente des peuples de l'Amérique (А. фон Гумбольдт. Памятники народов Америки), р. 20, 72—74, 128, 244, 246, 248, 265, 297). Так неужели не стоит затрачивать усилия на исследование того, несут ли на себе известные нам в настоящее время американские языки отпечаток древней культуры или сегодняшней кажущейся примитивности?

только этой целью, и притом до сих пор отсутствуют должным образом удостоверенные законы оценки родства языков и степени этого родства. Я убежден в том, что метод, обычно применявшийся до сих пор, достаточен, быть может, для распознавания очень близко родственных языков, а также для констатации абсолютного различия между ними, хотя последнее уже требует гораздо большей осторожности. Однако между этими двумя крайними точками, то есть как раз там, где решение задачи наиболее необходимо, в законах, как мне кажется, обнаруживаются такие колебания, которые не позволяют относиться к их применению с какой-либо степенью доверия. Ничто не было бы столь же важно как для языкознания, так и для истории, как установление этих законов. Но оно связано с большими трудностями и требует предварительной работы по многим направлениям. Прежде всего должно быть подвергнуто анализу гораздо больше языков, чем до сих пор, и некоторые из уже описанных языков требуют более тщательного описания. Для того чтобы успешно сравнить друг с другом грамматически даже два слова, необходимо прежде всего каждое из них в том языке, которому оно принадлежит, должным образом подготовить к сравнению. Пока следуют, как это довольно часто происходит, лишь общему сходству звучания, не изучив предварительно звуковых законов самих языков и их аналогий, нельзя избежать двух опасностей: принять связанные слова за различные, а различные за связанные, не говоря уже о более грубых, но все еще не редких случаях, когда сравниваемые слова берутся не в своей исходной форме, а включают в свой состав неотожждественные суффиксы и окончания¹. Затем исследование должно обратиться к изменениям языков на протяжении столетий, чтобы определить, какие особенности объясняются просто ходом времени. После обработки отдельных языков, которая одна может предоставить чистый и готовый к использованию материал, необходимо сравнение тех из них, взаимосвязь которых действительно исторически засвидетельствована, чтобы впоследствии быть в состоянии по аналогии оценивать иные случаи. И наконец, большую пользу могло бы принести принимаемое здесь прослеживание отдельных грамматических форм по всем известным языкам. Ведь только таким образом можно показать, как языки, сходные между собой в отдельных моментах, оказываются противопоставленными друг другу в других аспектах и сколь велико или мало влияние отдельных форм на языковое устройство в целом. Само собой понятно, что, кроме такой чисто языковой подготовительной работы, необходимо и основанное на исторических источниках изучение того, как нации разветвляются, смешиваются и вступают во взаимные связи². Только посредством объединения этих разнообразных ис-

¹ Большое количество как образцовых, так и несколько сомнительных словесных сопоставлений, основанных на точном и полном анализе, можно найти в новейших работах Боппа, Гримма и А. В. фон Шлегеля.

² То, как прекрасно исторические исследования такого рода могут помогать языкознанию, отлично показывают „Исторические таблицы Азии“ Клапрота.

следований станет возможным установление законов, которые позволили бы распознать в языках те элементы, которые действительно исторически переходили из одного языка в другой. Всякая менее осторожная процедура всегда чревата опасностью спутать то, что действительно обязано своим существованием родству, с вторичными формами, появившимися с течением времени, или же с тем, что возникает независимо в различных местах и в различное время в совершенно не связанных друг с другом языках, просто в силу сходных предпосылок. Уже из всего вышесказанного вытекает, что при каждом исследовании такого рода основное место должно занимать изучение грамматики. Оно приносит при этом двоякую пользу: опосредованную, поскольку подготавливает слова к сравнению, и непосредственную, поскольку доказывает совпадение или же различие грамматического строя. Только из работы подобного рода с определенностью может вытекать то, что никогда нельзя выяснить путем простого сравнения слов — а именно действительно ли сравниваемые языки имеют общее происхождение или же они всего лишь обменивались друг с другом словами. Поэтому, только следуя по такому пути, можно составить определенное представление о тех степенях разделения и объединения народов, которым соответствуют определенные степени родства диалектов. Однако во всех исследованиях такого рода под *родством* нужно понимать только *историческую взаимосвязь*, не вкладывая слишком много веса в буквальный смысл этого слова. Последнее по причинам, которые здесь было бы излишним излагать, приводит к многочисленным заблуждениям¹.

Мне кажется, что здесь, как и во многих других областях, еще долгое время придется ограничиваться отдельными исследованиями, прежде чем удастся установить нечто общее. Но тем не менее уже сейчас, пусть в определенных границах, необходимо общее, хотя бы в том объеме, которым уже обладает языкознание — то общее, которое вытекает из чистых идей; и нужно, по мере необходимости, время от времени обзирать, сколь далеко в соответствии с современным состоянием частных исследований мы продвинулись в построении здания науки в целом. Только двух вещей нельзя никогда и никоим образом допускать — применения понятий в тех областях, на которые они не распространяются, и выводов общего характера, основанных на неполноценных наблюдениях.

Если полное описание отдельных грамматических форм может приносить, как это показано выше, столь разнообразную пользу, то само собой отсюда вытекает, что подобное описание должно быть предпринято именно с таких различных позиций. Уже поэтому я позволил себе сделать эти вводные наблюдения, которые иначе могли бы показаться отступлением от моей основной темы.

То, что в настоящем опыте мой выбор пал именно на двойственное число, можно оправдать (если этот выбор нуждается в оправда-

¹ На это вполне справедливо указал уже Клапрот („Asia Polyglotta“, S. 43).

нии) хотя бы тем, что среди всех грамматических форм данная, возможно, легче всего отделяется от грамматического строения в целом, поскольку менее глубоко в него проникает. Это обстоятельство, как и то, что двойственное число встречается в не слишком большом количестве языков, облегчает его исследование принятым в данной работе методом. Ибо, хотя я убежден, что описание отдельных грамматических форм можно осуществить во всех без исключения случаях, все же некоторые из них, как, например, местоимение и глагол — последний даже и в том, что касается его общего категориального значения — столь глубоко вплетены в грамматическое строение в целом, что их описание в каком-то смысле явилось бы описанием всей грамматики. Это, естественно, затрудняет исследование.

Наш выбор двойственного числа подсказан еще и тем, что наличие этой примечательной языковой формы равно хорошо объясняется как естественным чувством некультурного человека, так и утонченным языковым сознанием высокообразованного. Действительно, с одной стороны, его можно обнаружить у некультурных наций — гренландцев, новозеландцев и т. п.^{*}, — а с другой стороны, оно сохранилось в наиболее развитом диалекте греческого — аттическом.

При сравнении нескольких языков, в основе которого лежит одна и та же грамматическая форма, как мне кажется, необходимо выбирать формы, стоящие на низших ступенях грамматического членения, для того чтобы не подвергнуться опасности оторвать друг от друга явления тесно взаимосвязанные. Таким образом, объем нашего исследования ограничивается, и мы можем глубже проникнуть в отдельные особенности. Поэтому я выбрал двойственное число, а не число вообще, хотя мне и придется постоянно обращать внимание на тесно связанное с двойственным множественное число. Однако для множественного числа понадобится свое собственное исследование.

Часть первая

О природе двойственного числа вообще

Считаю целесообразным указать сначала пространственные границы, в пределах которых в различных языковых областях земного шара встречается двойственное число¹.

При применении к различным объектам география дает различное членение, и в языковых исследованиях трудно отделить друг от друга Азию, Европу и Северную Африку.

¹ Естественно, предпринимаемое здесь перечисление языков, обладающих двойственным числом, не может быть исчерпывающим. Все же мне казалось необходимым привести его здесь в надежде на уточнение в ходе будущих исследований.

Если рассматривать всю эту часть Старого Света вместе, то мы обнаружим двойственное число главным образом в трех пунктах, из которых оно широко распространилось в различных направлениях:

в местах первоначального распространения семитских языков; в Индии;

в языковой семье, представители которой расселились на полуострове Малакка, на Филиппинах и на островах Южного моря.

В семитских языках двойственное число характерно прежде всего для арабского, но следы его в меньшей мере обнаруживаются и в арамейских языках *. Вместе с арабским языком оно проникло в Северную Африку, а в Европе дошло до Мальты; многие арабские слова в форме двойственного числа проникли и в турецкий язык ¹.

Санскрит передал двойственное число, хотя и в небольшом объеме, языку пали, но в пракрите оно уже исчезло. Однако из санскрита или, скорее, из того же источника, что и сам санскрит **, двойственное число получили такие европейские языки, как греческий, германские, славянские и литовский, при этом каждый из них — в различном объеме и степени сохранности, в зависимости от диалектов и эпох, на чем мы ниже остановимся подробнее.

Из прочих европейских языков я обнаруживаю двойственное число только в лапландском ***. Примечательно, однако, что в родственных ему финском и эстонском языках, равно как и в венгерском, нет никаких его следов. Итак, в Европе двойственное число происходит главным образом из древнеиндийского.

Иногда, правда, говорят также о двойственном числе в языке Уэльса и Нижней Бретани, так называемом кимрском ². Однако оно заключается только в том, что перед названиями парных частей тела ставится числительное *два*, женский род которого в нижнебретонском в подобных сочетаниях утрачивает свой конечный слог. Поскольку это происходит постоянно и регулярно, слово при этом сохраняет форму единственного числа, и поскольку при остальных понятиях (например, „ножка стола“) в аналогичной функции выступает форма множественного числа, то кимрскому, конечно, присуще чувство двойственного числа, и это явление заслуживает того, чтобы быть здесь упомянутым. Но кимрский язык нельзя включать в число языков, которые действительно обладают двойственным числом.

¹ Имеется лишь несколько целиком заимствованных из арабского формул в двойственном числе, как, например, *оба древних и священных города* (Иерусалим и Мекка). См. „Основы турецкой грамматики“ П. Амеде Жюбера (P. Amédée Jaubert. *Eléments de la grammaire Turke*, p. 19, § 46).

² У. Оуэн. *Словарь уэльского языка* (W. Owen. *Dictionary of the Welsh Language*), том 1, с. 36; Легондек. *Кельто-бретонская грамматика* (Légondéc. *Gramm. Celto-Brettonne*), с. 42. Оуэн упоминает только о постановке перед существительным числительного „два“, но не о двух других решающих обстоятельствах для вывода о наличии в языке двойственного числа. Однако это нужно приписывать только неточности его изложения, но не фактам самого языка.

Впрочем, новые (хотя еще не завершенные) исследования указывают на вероятность того, что этот язык, а также гаэльский * по своему грамматическому строю связаны с санскритом.

Сходно с положением в Европе положение и в Африке. Здесь двойственное число известно только в арабском языке. В коптском его нет **, и мне ничего не известно о его существовании в многочисленных прочих африканских языках, хотя некоторые из них, например бундский, исключительно богаты грамматическими формами.

Итак, в Старом Свете, собственно, местом распространения двойственного числа остается Азия.

В азиатских языках, происходящих от того же ствола, что и санскрит, двойственное число отсутствует. Исключением здесь является только малабарский язык ¹. Вообще примечателен тот факт, что искусное и совершенное строение санскритской грамматики целиком переместилось в Европу, а прочие азиатские языки, связанные с санскритом (кроме самого санскрита и пали) сохранили от него очень мало. Это обстоятельство объясняется проициательным и справедливым предположением² о том, что упомянутые здесь европейские языки являются столь же древними, как и сам санскрит, тогда как рассматриваемые азиатские языки происходят от санскрита, являясь по большей части результатом смешения с другими языками, а потому разделили общую судьбу утраты грамматических форм, характерную для языков, испытавших подобные переходы и метаморфозы. И в Европе богатый грамматический строй характерен прежде всего для мертвых языков, а потому эти азиатские языки нужно сравнивать в первую очередь не с ними, а с нашими современными языками. Однако и в этом случае преимущество в области сохранения первоначального характера языка явственно находится на стороне Европы, и в Азии нельзя найти ни одного примера, подобного языкам литовцев и латышей — народов, в речи которых столь живо и чисто сохранилось так много от древнейшего индийского языкового строя. Напротив, весьма замечательно то, что как раз та часть санскритской грамматики, которую считают наиболее искусной и трудной, но наименее необходимой для выполнения общеязыковых задач, а именно — изменение букв (сандхи), та чувственная раздражимость звуков, в результате которой каждый из них изменяется сразу, как только вступает в новое сочетание с каким-либо другим звуком, из европейско-санскритских языков была весьма мало присуща даже самым ранним языкам, в то время как многие азиатско-санскритские языки имеют ту же самую особенность. При этом неизвестно, следует ли считать эту черту унаследованной от санскрита или же считать, что она так органично свой-

¹ „Митридат“ Аделунга (A d e l u n g. Mithridates), I, 211.

² Фр. Б о п п. Аналитическое сравнение санскритского и др. языков.— В: „Анналы Восточной литературы“ (Fr. B o p p. Analytical comparison of the Sanscrit: cet. languages.— In: „Annals of Oriental Literature“), с. I и сл.; см. также его рецензию на грамматику Гримма в „Ежегоднике научной критики“, 1827, с. 251 и сл.

ственна самой первоначальной звуковой системе этих языков, что никогда не утрачивалась, несмотря на любые языковые трансформации.

Зендскому языку двойственное число не чуждо *. Но поскольку и этот язык нужно бесспорно причислять к санскритским ¹, то этот факт ничего не изменяет в сформулированном выше тезисе о первоначальном распространении двойственного числа в трех районах Азии ².

Если мы задержимся на этом моменте несколько еще, то мы можем убедиться в том, что в Европе, Африке и на Азиатском материке, за исключением малайской языковой области, двойственное число главным образом обнаруживается в мертвых языках ***, а из живых — лишь в следующих:

в Европе — в мальтийско-арабском, в литовском, лапландском и еще в некоторых диалектах ****, а именно, в некоторых сельских районах Польского королевства ³, на Фарерских островах, в Норвегии и в некоторых районах Швеции и Германии, хотя здесь старые формы двойственного числа уже являются реликтовыми ***** и употребляются только в функции множественного ⁴.

в Африке — в новоарабском;

в описанной части Азии — в том же арабском и в малабарском.

Так как только языки Старого Света имеют литературу, то в современных книжных языках (за исключением арабского) двойственное число можно считать отмершим.

На востоке Азии (в третьем районе своего распространения) двойственное число, хотя и в небольшом объеме, обнаруживается в малайском языке, в более развитом виде — в тагальском и близко родственном ему языке пампанг на Филиппинах, и наконец, в особом, насколько мне известно, нигде более не представленном виде — в Новой Зеландии, на Островах Товарищества и Дружбы *****. Диалекты прочих островов Южного моря еще, к сожалению, не получили надлежащего грамматического описания. Однако весьма вероятно, что в этом отношении они все совпадают друг с другом. Вопрос о том, как соотносятся между собой все эти языки — от малайского до таитянского, — я собираюсь подробно исследовать в другом месте. Здесь я объединяю их только в силу того, что они сходным образом поступают с двойственным числом. Совершенно отличны от малайской языковой семьи языки аборигенов Новой Гол-

¹ Так, кажется, считает и г-н Бопп. См. „Анналы...“ („Annals ...“), с. 2.

² О неудачной попытке ввести двойственное число в армянскую грамматику ** см. Сирбье. Грамматика армянского языка (C i r b i e d. Grammaire de la langue Arménienne), с. 37.

³ По устному сообщению г-на проф. Пухарского, чьи научные заслуги являются польскому правительству редкий пример усердия в изучении родного языка и в языкознании вообще.

⁴ „Грамматика“ Гримма (G r i m m. Grammatik), I, с. 814, № 35.

ландии и Нового Южного Уэльса *. Но язык народа, живущего вокруг озера Макверри, имеет двойственное число ¹, а потому оно, вероятно, встречается и в других австралийских диалектах.

В американских языках эта форма множественности встречается редко, но в различных пунктах — почти на всем протяжении этой огромной части света, а именно: на крайнем севере — в гренландском языке **, в очень ограниченных масштабах — в тотонакском языке в той части Новой Испании ***, где находится Веракрус, затем в языке чая ****, общем для большинства народностей провинции Новая Андалусия; также на правом берегу Ориноко, на юго-востоке миссии Энкамарада, в таманакском языке; очень слабые следы двойственного числа имеются в языке кечуа, когда-то бывшем национальным языком перуанского государства; наконец, оно весьма развито в арауканском языке в Чили. Как будто бы двойственное число имеет место также в языке чероки ***** на северо-западе Джорджии и в прилегающих областях ².

Из этого кратко изложенного видно, что число языковых семей, обладающих двойственным числом, очень мало, а область, в пределах которой оно используется (и особенно использовалось в прошлом), весьма велика, поскольку двойственное число обнаруживается как раз в наиболее широко распространенных языковых семьях — санскритской и семитской. Здесь я должен, однако, повторить еще раз, что подсчеты такого рода не могут считаться исчерпывающими. Не говоря уже о том обстоятельстве, которое препятствует всяким притязаниям на полноту в сравнительном языкознании, а именно о том, что пока нам известны не все языки земного шара, даже и по многим языкам, которые в принципе известны, пока еще отсутствуют грамматические пособия. Грамматические описания некоторых языков не столь точны, чтобы можно было с уверенностью считать, что такая сравнительно редко встречающаяся форма, как двойственное число, не могла быть обойдена их вниманием. Наконец, очень трудно и часто требует предварительного весьма глубокого изучения языка нахождение в нем следов тех форм, которые в настоящее время уже не продуктивны. Поэтому к таким работам, как данная, можно и нужно ожидать постоянных дополнений, и выше я столь определенно высказывал отрицательные утверждения лишь для того, чтобы избежать постоянных ограничительных комментариев. С другой стороны, само собой понятно, что я использовал все возможности для того, чтобы при существую-

¹ Миссионер Л. Э. Трелкелд (без указания года) издал в Сиднее и в Новом Южном Уэльсе разговорник на этом диалекте, упорядоченный в соответствии с грамматическими формами, под названием „Образцы диалекта аборигенов Нового Южного Уэльса, представляющие собой первый опыт письменной записи их речи“; см. с. 4. См. о двойственном числе на с. 8.

² Эта информация основывается лишь на отрывочном сообщении, которое приводит г-н Дю Ронсеаи (Du Ronceai) в новом издании „Грамматики языка массачусетских индейцев“ Элиота (Eliot. Grammar of the Massachusetts Indian Language), с. XX, причем сам он в этом сообщении высказывается довольно неуверенно.

щей в настоящее время ситуации добиться максимально возможной полноты и точности, и мне повезло в том, что я смог воспользоваться значительным количеством описаний даже неевропейских языков *. Только в очень редких случаях я оказался вынужденным использовать такие общие работы, как „Митридат“, а из более новых — атлас Бальби. Несомненно, каждый точный исследователь при оценке грамматического строения отдельных языков воздержится от того, чтобы основывать свои суждения на этих работах, не прибегая к оригинальным источникам, пусть даже ценность этих трудов в других отношениях неоспорима, а „Митридат“, в частности, совершенно незаменим для сравнительного языкознания.

Если теперь мы попытаемся определить те различия в трактовке двойственного числа, которые представлены в перечисленных выше языках, то они в целом (если отвлечься от отдельных нюансов) хорошо распределяются по следующим трем классам.

Некоторые из этих языков трактуют двойственное число с точки зрения говорящего лица и лица, к которому обращена речь, с точки зрения „я“ и „ты“. В них двойственное число закреплено за местоимением, и затрагивает сам язык только в тех пределах, в каких распространяется влияние местоимения, иногда даже ограничиваясь лишь местоимением первого лица при речи о нескольких персонах, то есть понятием „мы“.

В других языках эта форма основывается на существовании в природе парных объектов: глаз, ушей и любых парных частей тела, парных больших светил и т. п. В таких языках двойственное число не выходит за пределы подобных понятий и по меньшей мере за пределы имени.

Наконец, у третьих народностей двойственное число пронизывает весь язык и присуще всем частям речи, которые могут его выражать. В этих языках, таким образом, двойственное число — это не какой-либо особый тип, а общее понятие двоичности, на котором оно основано.

Само собой разумеется, что в языках могут сохраняться следы более чем одного из этих способов представления, а иногда — даже каждое из них. Важнее заметить, что в языковых семьях, исторически принадлежащих к третьему классу, встречаются отдельные языки, с течением времени либо вообще утрачивающие двойственное число, либо сохраняющие его лишь в пределах ограничений, свойственных двум первым классам. Однако все же такие языки легко причисляют к третьему классу, что я и буду здесь делать. Так, в упоминавшихся выше немецких народных говорах двойственное число сохраняется лишь в двух первых лицах местоимения, а в сирийском языке, кроме собственно числительного „два“, — лишь в названии Египта, о котором, как видно из этого факта, принято постоянно думать как о Верхнем и Нижнем Египте ¹.

¹ См. Ф а т е р. Пособие по древнееврейскому языку, Грамматика (V a t e r. Handbuch der Hebräischen u. s. f. Grammatik), с. 121. В древнееврейском языке название Египта Mizraim ** (см. словарь Гезениуса, статью mazor) также имеет

Рассмотренные мною языки следующим образом распределяются по перечисленным выше классам.

К первому классу, двойственное число в котором ограничивается местоимением, принадлежат:

названные выше языки восточной Азии, Филиппин и островов Южного моря,
язык чаима и
таманакский язык.

Ко второму классу, в котором двойственное число характерно для имени, принадлежат только:

тотонакский язык (если ему вообще может быть приписано двойственное число),
язык кечуа.

К третьему классу, в котором двойственное число распространяется на весь язык, относятся:

санскритские языки ¹,

семитские языки,

гренландский язык,

арауканский язык,

и, хотя и не в полной мере, лапландский язык.

По этому преднамеренно краткому обзору видно, что двойственное число в реально известных языках выступает приблизительно в тех же разнообразных значениях и понятийных сферах, которые ему можно было бы приписать посредством чисто идеального анализа. Однако я предпочел выделение этих его разновидностей путем наблюдения, чтобы избежать опасности навязывания их языкам, исходя из чистых понятий. Но сейчас мне понадобится разобрать природу этой языковой формы вне зависимости от знания реальных языковых фактов, основываясь на общих идеях.

Возможно, не совсем необычное, но совершенно ошибочное воззрение заключается в рассмотрении двойственного числа просто как ограниченного множественного числа, случайным образом приспособленного к числу „два“*. Тут сразу же возникает вопрос: почему бы какому-либо другому произвольному числу также не обладать своей собственной множественной формой? Правда, в языках форму двойственного числа. Однако истолкование этой формы как 'Верхний и Нижний Египет' как будто бы наталкивается на некоторые препятствия, заключающиеся в том, что верхняя, южная часть этой страны имеет собственное название *Patros* (см. Гезениус, там же). Кроме того, Гезениус („Учебное пособие“, с. 539, § 2) объясняет форму двойственного числа *Mizraim* разделением страны на две части Нилом (которое, однако, конечно же, отсутствует в дельте этой реки). Но, согласно более поздним сведениям, сейчас Гезениус склоняется к моему мнению о том, что основанием для приведенной выше именной формы явилось деление Египта на Верхний и Нижний**. Когда я дойду до древнееврейского двойственного числа, я постараюсь подробнее описать, как оно сочетало в себе все вышеупомянутые функции в зависимости от периода своего применения.

¹ Я рекомендовал бы это название для тех связанных с санскритом языков, которые в последнее время получили название индогерманских, — не только из-за его краткости, но и из-за его внутренней точности, поскольку санскритские языки в соответствии со значением этого слова — это языки искусного и изящного строения.

встречается такое ограниченное множественное число, которое, если оно относится к двум объектам, трактует двоичность просто как малое число *, но эту форму даже и в таком случае никоим образом нельзя смешивать с настоящим двойственным числом.

В языке абипон **, одной из парагвайских народностей, существует два множественных числа: одно, более узкое, для двух и нескольких (но обязательно немногих) предметов, и другое, более широкое, для многих предметов ¹. Первое как будто бы собственно соответствует тому, что мы называем множественным числом. Образование его осуществляется посредством суффиксов, замещающих окончание единственного числа, или же посредством флективных модификаций этого окончания и, насколько можно судить по ряду приведенных примеров, оно весьма разнообразно. Расширенное множественное число имеет только одно окончание *giri*. То, что это окончание выражает понятие множественности, вытекает из того факта, что, как только это понятие передается в речи собственным словом, окончание *giri* опускается, и существительное получает форму узкого множественного числа. Однако слова *giri* в самостоятельном употреблении я не нахожу; оно уже настолько превратилось в окончание, что присоединяется к форме единственного или узкого множественного числа не непосредственно, но при помощи специфического изменения окончания слова, ему предшествующего. Такова по меньшей мере ситуация в следующих примерах:

Единственное число	Узкое множественное число	Расширенное множественное число
choale 'человек'	choalèk или choaleèna	choaliripi
ahöpegak 'лошадь'	ahöpega	ahöpegeripi ²

Очень близко родственный языку абипон язык мокоби ³ в провинции Чако не имеет этих двух множественных чисел, но образует множественное число от всех слов, не оканчивающихся на *i*, посредством прибавления слова *ipì*, причем последнее, насколько можно судить по примерам, совершенно не изменяет окончания главного слова: choalè 'человек', choalè-ipì 'люди'. В этом языке *ipì*, действительно, обозначает 'много', и остается неясным, является ли абипонский *g* вторичным добавлением или же его утрата обусловлена особенностью мокобского диалекта.

Таитянский язык, не различающий двойственного числа в имени, также имеет подобное узкое и расширенное множественное число, но обозначает их посредством самостоятельных слов, помещаемых

¹ Добрицхоффер. История абипон (Dobrizhoffer. Historia de Abiponibus, т. 2, с. 166—168.

² Добрицхоффер пишет *joale* и *ahöpegak*, но посредством *j* он обозначает испанское звучание этой буквы, а посредством *ë* — умлаутированный *ö*.

³ Рукописная грамматика мокобского языка, составленная по записям аббата дона Раймондо де Термайера, получена мною от аббата Эрваса, § 3.

перед существительным; и хотя первоначальное значение этих слов пока не объяснено, их все же нельзя называть грамматическими формами в собственном смысле этого слова ¹.

Наиболее определенные множественные формы для различных чисел имеет арабский язык, а именно: двойственное число для двух, ограниченное множественное для чисел от 3 до 9, множественное число и двойное множественное число, возникающее при образовании от множественного числа некоторых слов посредством регулярной флексии нового множественного, для чисел от 10 и более или для неопределенного количества. Даже для обозначения единичности, в частности у существительных, в природе которых (как, например, у родовых названий животных и плодов) лежит идея множественности, арабский имеет особую характеристику, неизвестную единственному числу в других языках, и от единственного числа с такой характеристикой может быть вновь образовано множественное ². Идея рассмотрения родовых понятий, как в некотором смысле лежащих за пределами категории числа, и придания им посредством особых окончаний форм единственного и множественного чисел, бесспорно, весьма философична, и отсутствие ее вынуждает другие языки прибегать к иным вспомогательным средствам. Но так как упомянутые арабские формы множественного числа, в отличие от форм языка абипон, не смешиваются с двойственным числом, здесь нет надобности в их подробном рассмотрении.

Ошибочному представлению о двойственном числе как об ограничивающемся просто понятием числа „два“, являющегося одним из многих последовательных чисел натурального ряда, противостоит представление, основанное на идее *двоичности* и относящее двойственное число по меньшей мере к тому разряду случаев, которые дают повод к выявлению этой идеи. Согласно этому представлению двойственное число — это одновременно и коллективно-единственное от числа *два*, тогда как множественное число может сводить множество к единству лишь в определенных случаях, но не в соответствии со своим основным значением. Таким образом, двойственное число как множественная форма и как обозначение закрытого целого совмещает в себе природу множественного и единственного чисел. То, что в реальных языках оно ближе к множественному числу, показывает, что первая из этих двух функций более соответствует естественному национальному сознанию, однако при рациональном и одухотворенном его употреблении всегда присутствует и коллективно-единственная функция. Кроме того, во всех языках последняя оказывается исторической основой двойственного числа, пусть даже при последующем употреблении выделенное здесь правильное представление его смешивается с ошибочным, и оно начи-

¹ „Грамматика таитянского диалекта полинезийского языка“ („A Grammar of the Tahitian Dialect of the Polynesian Language“), Таити, 1823, с. 9, 10.

² См. Сильвестр де Саси. Арабская грамматика (Silvestre de Sacy. Grammaire Arabe), т. 1, §§ 702, 704, 710. См. также: О б е р л е й т н е р. Основы арабского языка (O b e r l e i t n e r, Fundamenta linguae Arabicae), с. 224.

нает употребляться как для выражения идеи двоичности, так и для обозначения числа „два“.

По моему мнению, грамматические различия между языками сводятся к трем типам, и нельзя получить полноценного представления о строении отдельно о языке, не рассмотрев его предварительно в каждом из этих трех аспектов. А именно в области грамматики языки различаются:

- а) прежде всего, по способу представления грамматических форм в соответствии с их понятием;
- б) затем, по техническим способам их обозначения;
- в) наконец, по физическим звукам, служащим для их обозначения.

В настоящий момент мы имеем дело только с первым из этих трех пунктов, а на два других мы можем обратить внимание только при рассмотрении отдельных языков в связи с двойственным числом.

Посредством второго и третьего из этих пунктов, прежде всего последнего, язык обретает свою грамматическую индивидуальность, и сходство нескольких языков в этом пункте — самый надежный признак их родства. Но первый пункт определяет языковой организм и является исключительно важным, будучи не только главным фактором, оказывающим влияние на дух и мировоззрение нации, но также самым надежным пробным камнем того языкового сознания, которое в каждом языке должно рассматриваться как основной творческий и преобразующий принцип.

Если бы мы попытались представить себе сколько-нибудь завершенное здание сравнительного языкознания, то для этого мы должны были бы сначала исследовать все разновидности, в которых предстают грамматика и ее формы в языке (это то, что я понимаю под способом представления грамматических форм в соответствии с их понятием), проделав это сначала с отдельными грамматическими формами, как здесь — с двойственным числом, а затем — с отдельными языками, и в каждом языке учитывать его общую систему. Вся эта работа, в конце концов, должна быть использована для описания человеческого языка, мыслимого как единое целое, во всем его разнообразии, с объяснением необходимости его законов и правил и возможности его допущений.

Наиболее очевидный, но и наиболее ограниченный взгляд на язык заключается в рассмотрении его всего лишь как средства для взаимопонимания. Но и в этом отношении двойственное число не является совершенно излишним; в самом деле, иногда оно служит целям лучшего и более полного понимания, что мы в соответствующем месте постараемся показать на примере его употребления в греческом. Однако подобные случаи наблюдаются, видимо, лишь в области стиля, и если бы народы, создающие свой язык, стремились всего лишь к взаимопониманию, что в действительности, к счастью, не так, то самостоятельное двойственное число, несомненно, было бы сочтено излишним. Ведь не считают же многие народы необходимым

использовать в своих языках формы множественного числа в тех случаях, когда на эту множественность уже указывают другие слова в предложении: добавленное числительное¹, количественное наречие, глагол (если обозначение множественности в имени опускается) или имя (если оно опускается в глаголе) и т. п.

Но язык — это не просто средство взаимопонимания, но слепок с мировоззрения и духа говорящего; общество — это необходимая среда для его существования, но отнюдь не единственная цель, к которой он стремится. Конечная цель его все же — индивидуум, в той мере, в какой индивидуум может быть отделен от человечества. И то, что может из внешнего мира и из глубин духа перейти в грамматическое строение языка, может там и закрепиться, приспособиться и развиваться. Так это и происходит, в зависимости от живости и утонченности языкового сознания и специфики его направленности.

Однако здесь бросается в глаза одно различие. В языке можно обнаружить следы, указывающие на то, что при его образовании основным источником служило чувственное мировосприятие или же глубины мысли, в которых это мировосприятие уже подверглось духовной обработке. Так, некоторые языки имеют в качестве местоимений 3-го лица выражения, обозначающие индивидуум в совершенно определенном положении — стоящий, лежащий, сидящий и т. д., обладая таким образом многими частными местоимениями при отсутствии одного общего; другие языки разнообразят третье лицо в зависимости от близости к говорящему лицу или удаленности от него; наконец, третьим рядом с этим знакомое чистое понятие „он“, противопоставленное понятиям „я“ и „ты“ в рамках одной категории. Первое из этих представлений — полностью чув-

¹ Так описывает Аделунг (см. его словарь, статья Мапп, с. 349 и в др. местах) случаи, когда в немецком языке некоторые слова соединяются с числительными в форме единственного числа, например: sechs Loth 'шесть грузил', zehn Мапп 'десять человек' и т. д. Частично это правильно; характерно, что некоторые из этих выражений допускаются только в просторечии, но не в литературном языке, и для всех этих выражений характерны случайные капризы языкового употребления, поскольку, например, говорят zehn Pfund 'десять фунтов', но никогда — zehn Elle 'десять локтей'. Однако как раз там, где такое языковое употребление закрепилось более всего, а именно в случае со словом Мапп 'человек', в подобном выражении, как мне кажется, заключена изящная тонкость, не замеченная Аделунгом. Единственное число должно здесь означать, что приводимое число людей должно рассматриваться как закрытое целое; поэтому слово отрывается от неопределенной множественности множественного числа. Это хорошо видно в дистрибутивных выражениях типа vier Мапп hoch 'высотой с четырех людей', где любые четверо стоящих вместе людей предстают как один ряд. Я чел необходимым сделать это замечание, поскольку это аномальное единственное число как и двойственное, является собственно коллективным, множественно-единственным, и анализируемые выражения представляют пример того, как языки, за отсутствием правильных форм, используют для достижения своих целей неправильные, но целесообразные в каждом отдельном случае их употребления. В основе выражения zehn Fuß 'десять футов' лежит, видимо, нечто другое, а именно — различие собственного и переносного значения слова Fuß ('нога' и 'фут'), причем с этой же целью различают еще и два множественных числа — Füße 'футы' и FüÙe 'ноги'. Такого рода смешение встречается и в еврейском.

ственное; второе уже опирается на более чистую форму чувственности — пространство; третье основывается на абстракции и логическом подразделении понятий, хотя очень часто совершенно различные исходные явления приводят к одинаковым результатам только за счет языкового узуса. Вряд ли следует специально оговаривать то, что не следует рассматривать эти три различные представления как этапы, сменяющие друг друга во времени. Все они в более или менее явном виде могут обнаруживаться одновременно в одном и том же языке ¹.

Что касается понятия двоичности, то оно принадлежит как области видимого, так и области невидимого, и хотя оно живо и деятельно является нам в чувственном восприятии и во внешнем наблюдении, оно в то же время коренится в законах мышления, в чувственных интенциях и в устройстве человеческого рода и природы, глубинные истоки которого недоступны исследованию.

Прежде всего в ходе самого легкого и поверхностного наблюдения выделяется группа из двух предметов как противстоящая единичному предмету и группе из нескольких предметов — как мгновенно обозримая и закрытая. Затем следует восприятие и осознание двоичности в человеке как принципа разделения обоих полов и всех основывающихся на нем понятий и чувств. Двоичность сопровождает человека далее в осознании разделенности человеческого тела и тел животных на две равные половины с парными членами и органами чувств. Наконец, некоторые из самых величественных и ярчайших явлений природы, окружающие первобытного человека в каждый момент его жизни, предстают в качестве двоичных сущностей или мыслятся как таковые: два величайших светила, определяющие время, день и ночь; земля и небесный свод; суша и вода и т. п. * То, что столь повсеместно предстает перед восприятием, живое сознание естественно и выразительно переносит в язык посредством специально для этого предназначенной формы.

Но в невидимом устройстве духа, в законах мышления, в классификации его категорий понятие двоичности находит еще более глубокие и первоначальные корни: в тезисе и антитезисе, в положении и снятии, в бытии и небытии, в „я“ и мире. Даже там, где понятия подразделяются тройко или еще более подробно, третий член возникает из первоначальной дихотомии или же легко сводится к ней посредством мыслительных операций.

Начало и конец всякого разделенного бытия — это единство. Этим может объясняться то, что первое и простейшее деление, при

¹ Например, в языке абибон существует шесть различных, противопоставленных по обоим полам слог для самостоятельного выражения 3-го лица. Все они оканчиваются слогом ha, который, однако, самостоятельно не встречается и вряд ли выражает значение 'он', поскольку при соединении с этими шестью местоимениями слова со значением 'только' слог этот полностью пропадает. Напротив, для притяжательного местоимения имеется только одно обозначение, да и оно часто опускается, так что отсутствие обозначения притяжательности становится показателем притяжательного местоимения 3-го лица. См. Д о б р и ц х о ф ф е р, ор. cit., т. 2, с. 168—170.

котором целое разъединяется лишь для того, чтобы сразу же сомкнуться вновь, но, будучи уже расчлененным, преобладает в природе и для человеческой мысли является ярчайшим, а для восприятия — отраднейшим.

Самое решающее обстоятельство для языка — то, что двоичность в нем занимает более важное место, чем где бы то ни было еще. Всякое говорение основывается на чередовании высказываний, во время которого, даже при нескольких участниках, говорящий всегда противопоставляет себе собеседников как единство. Человек говорит, даже мысленно, только с другим или с самим собой, как с другим, и тем самым очерчивает круг своего духовного родства, отделяет тех, кто говорит, как он, от тех, кто говорит иначе. Эта черта, разделяющая все человечество на два класса — свой и чужой — есть основа всякой первоначальной общественной связи.

Уже по изложенному выше можно бы было заметить, что внешнюю природную двоичность можно осознать либо поверхностно, либо во внутренней взаимосвязи мышления и чувства. В этой связи достаточно напомнить одно-единственное обстоятельство. Недавно А. В. фон Шлегель удивительно удачно и в высшей степени пронизательно показал, сколь глубоко двухсторонняя симметрия человеческого тела и тела животного затрагивает фантазию и чувство и превращается в один из главных источников архитектоники искусства¹. Различие полов, взятое в своей самой общей и духовной форме, проводит сознание личностей, обретающих целостность только путем взаимного дополнения, через все сферы человеческого мышления и восприятия*.

Я намеренно упоминаю только сейчас об этих двух способах представления — поверхностном и глубинном, чувственном и духовном, ибо они начинают играть свою роль лишь постольку, поскольку язык основывается на двоичности чередующейся речи. Выше я указал только на эмпирический факт этого явления. Но в самой сущности языка заключен неизменный дуализм, и сама возможность говорения обусловлена обращением и ответом. Даже мышление существенным образом сопровождается тягой к общественному бытию, и человек стремится, даже за пределами телесной сферы и сферы восприятия, в области чистой мысли, к „ты“, соответствующему его „я“; ему кажется, что понятие обретает определенность и точность, только отразившись от чужой мыслительной способности. Оно возникает, отрываясь от подвижной массы представлений и преобразуясь в объект, противопоставленный субъекту**. Но объективность оказывается еще полнее, когда это расщепление происходит не в одном субъекте, но когда представляющий действительно видит мысль вне себя, что возможно только при наличии другого существа, представляющего и мыслящего подобно ему самому. Но между двумя мыслительными способностями нет другого посредника, кроме языка.

¹ „Индийская библиотека“ („Indische Bibliothek“), т. 2, с. 458.

Слово само по себе не есть объект, скорее это нечто субъективное, противопоставленное объектам; однако в сознании мыслящего оно неизбежно превращается в объект, будучи им порожденным и оказывая на него обратное влияние. Между словом и его объектом остается непреодолимая преграда; слово, будучи порождением одного индивидуума, явно напоминает чистый чувственный объект; но язык не может реализоваться индивидуально, он может воплощаться в действительность лишь в обществе, когда попытка говорения находит соответствующий отклик. Итак, слово обретает свою сущность, а язык — полноту только при наличии слушающего и отвечающего. Этот прототип всех языков местоимение выражает посредством различения второго и третьего лица. „Я“ и „он“ суть действительно различные объекты, и они в сущности исчерпывают все, поскольку, другими словами, их можно обозначить как „я“ и „не-я“. Но „ты“ — это „он“, противопоставленный „я“. В то время как „я“ и „он“ основываются на внутреннем и внешнем восприятии, в „ты“ заключена спонтанность выбора. Это также „не-я“, но в отличие от „он“ не в сфере всего сущего, а в сфере действия, обобщенного взаимным участием. В самом понятии „он“, таким образом, заключена не только идея „не-я“, но и „не-ты“, и оно противопоставлено не только одной из этих идей, но им обоим. На это указывает также то упоминавшееся выше обстоятельство, что во многих языках способ обозначения и грамматическое образование местоимения 3-го лица по своей природе отличается от двух первых лиц, причем иногда для понятия 3-го лица отсутствует четкое выражение, а иногда для него представлены не все формы склонения *.

Только в сочетании другого и „я“, опосредованном языком, рождаются все глубокие и благородные чувства, вдохновляющие человека, такие, как дружба, любовь и всякая духовная общность, возвышающие и углубляющие связь между двумя индивидуумами **.

Сможет ли то, что движет человеком изнутри и извне, отразиться в языке — это зависит от живости языкового сознания, превращающего язык в зеркало мира. Степень глубины восприятия, с которой это происходит, зависит от ясности и тонкости духовного настроения и от силы воображения, с которой человек, пусть сам недостаточно ясно это осознавая, влияет на свой собственный язык.

Но понятие двоичности как понятие числа, а следовательно, одной из чисто духовных идей, обладает также счастливой способностью получать выражение в языке, который находит для этого особенно удачные средства. Ибо совсем не все идеи, как глубоко бы они ни волновали человека, в равной степени для этого приспособлены. Так, вряд ли существует более бросающееся в глаза различие между сущностями, чем различие между живым и безжизненным. Многие, в первую очередь американские языки, основывают на этом различии также и грамматические противопоставления ***, пренебрегая, напротив, различиями по роду. Но так как сама по себе характеристика одушевленности не заключает в себе ничего, что мог-

ло бы повлиять на внутреннюю форму языка, то основанные на ней грамматические различия пребывают в языке, подобно чужеродной материи, и свидетельствуют о не вполне закрепившемся господстве языкового сознания. Напротив, двойственное число не просто примыкает к вообще необходимой для языка форме числа, но отвоевывает для себя самостоятельную позицию также и в системе местоимения. Поэтому ему достаточно только появиться в языке, чтобы органически в него вписаться.

Тем не менее и здесь имеется одно различие, которым нельзя пренебрегать и которое, действительно, представлено в различных языках. А именно при речеобразовании, кроме собственно творческого языкового сознания, большую роль играет также сила воображения, которая направлена на перенесение в язык того, что ее живо волнует. Здесь языковое сознание уже не является единовластно господствующим принципом, хотя оно и должно было бы быть таковым, и стремление к совершенству строения предписывает языкам неотвратимый закон, согласно которому все, что вовлекается в это строение, отбросив свою первоначальную форму, должно облекаться в языковую. Только так осуществляется отражение мира в языке и так грамматическое строение завершает языковую символизацию.

Примером может послужить грамматический род слов. Каждый язык, обладающий этой категорией, по моему мнению, стоит уже на один шаг ближе к чистой языковой форме, чем язык, удовлетвовавшийся понятием живого и безжизненного, хотя последняя и является основой для рода. Но языковое сознание только тогда обнаруживает свою мощь, когда пол сущностей действительно превращается в словесный род, когда нет ни одного слова, которое не было бы причислено к одному из трех родов в соответствии с разнообразными интенциями речеобразующей фантазии. Когда это называют нефилософским, недооценивают истинную философичность языкового сознания. Все языки, которые обозначают только естественный пол и не признают метафорически обозначенного рода, свидетельствуют о том, что они либо с самого начала не проводили различия между мужским и средним родом, либо же утратили это различие в ту эпоху, когда перестали обращать на него внимание или же запутались в нем, а следовательно, не были в должной мере проникнуты чистой языковой формой, не осознавали того изящного и утонченного значения, которое язык придает объектам действительности.

Также и в случае с двойственным числом нужно различать, проникло ли оно в систему имени лишь как эмпирическое восприятие парных природных объектов, а в систему местоимения (откуда иногда и в глагол) — как ощущение единства с другими людьми и племенами или отчуждения от них или же оно, действительно, срслось с языком воедино, влившись в общую языковую форму. На это может указывать его сплошное выражение во всех сферах языка, однако само по себе это обстоятельство не может быть решающим.

Вряд ли можно сомневаться в том, что двойственное число хорошо вписывается в общую соразмерность речеобразования, умножая возможные взаимосвязи слов, увеличивая масштабы воздействия языка и способствуя философским основам остроты и краткости взаимопонимания. В этом оно имеет то преимущество, которым обладает любая грамматическая форма, отличающаяся от соответствующего описательного выражения краткостью и живостью воздействия. Достаточно сравнить те места из греческих и римских поэтов, в которых говорится о Тиндаридах, являющихся одновременно соседними звездами и братьями-близнецами. Насколько же живее и выразительней характеризуют природу близнецов простые окончания двойственного числа у Гомера:

κρατερὲφρῶνε γένεατο παῖδε

‘родились два сильных духом отрока’

или

μινυρθαδίω δὲ γενέσθην

‘и родились двое недолговечных’,

чем описательные выражения Овидия:

at gemini, nondum coelestia sidera, fratres,
ambo conspicui, nive candidioribus ambo
vectabantur equis.

‘и братья-близнецы, пока еще не небесные созвездия,
оба видные, оба ездили верхом
на конях, что были белее снега’.

Это впечатление не ослабевает от того, что в первой из приведенных цитат, как и в других сходных местах у Гомера, за двойственным числом сразу следует множественное. Если в предложение уже введено двойственное число, то и множественное число воспринимается как выражающее то же самое. То, что греческий язык, обладая в необходимых случаях способом для самостоятельного обозначения двоичности, оставляет за собой право использовать в том же значении общую форму множественного числа, скорее является элегантною вольностью. Однако подробное описание этого, а также исследование того, насколько и другим выдающимся греческим писателям свойственно столь же тонкое и правильное чувство двойственного числа, будет возможно только в конце данной работы, когда я буду специально рассматривать греческое двойственное число.

После всего сказанного выше, мне кажется, нет уже необходимости специально возражать тем, кто называет двойственное число роскошью и наростом на теле языка. Языковая интенция, связывающая язык со всем человеческим естеством и с глубочайшей его сущностью, не позволяет сделать такого вывода, а только с нею мы здесь имеем дело. Поэтому я заканчиваю общую часть этого исследования и в дальнейшем перейду к рассмотрению отдельных языков в соответствии с выделенными выше (см. с. 393) тремя классами трактовки двойственного числа.

О БУКВЕННОМ ПИСЬМЕ И ЕГО СВЯЗИ СО СТРОЕНИЕМ ЯЗЫКА

При размышлениях о связи буквенного письма с языком мне всегда казалось, что первое находится в прямом соотношении с качествами последнего и что принятие, обработка и даже разновидность алфавита, а может быть, и его изобретение зависят от степени совершенства языка, а в конечном счете — от языковых предпосылок каждой нации.

Длительные занятия американскими языками, изучение древнеиндийского и некоторых родственных ему языков и наблюдения над строением китайского языка, как мне казалось, давали и историческое подтверждение этого положения. Американские языки, строение которых определению отличается от совершенного, хотя их вовсе несправедливо было бы называть грубыми и дикими, насколько нам сейчас известно, никогда не обладали буквенным письмом. С семитскими и индийскими буквенное письмо связано настолько тесно, что нет даже малейших следов, указывающих на то, что они когда-либо пользовались каким-либо иным письмом. Если китайцы упорно отвергают столь давно уже известные им европейские алфавиты, то это, по моему мнению, объясняется вовсе не приверженностью их к своему и антипатией к чужому, но, скорее всего, тем, что в соответствии с их языковыми предпосылками и строением их языка в них еще непроснулась внутренняя потребность в буквенном письме. Если бы это было не так, то присущая им в большой степени изобретательность и сами их письменные знаки привели бы их к разработке настоящего, полноценного и совершенного алфавита в отличие от тех фонетических знаков, которые они сейчас используют только в качестве вспомогательного средства.

Эта гипотеза плохо подходила, как будто бы, только к Египту. Ибо современный коптский язык, бесспорно, показывает, что и

Wilhelm von Humboldt. Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau (1824).

древнеегипетскому было свойственно строение, не говорящее о больших языковых способностях нации, и все же Египет не только обладал буквенным письмом, но даже был, согласно вполне достоверным свидетельствам, его колыбелью. Но даже если нация является изобретательницей буквенного письма, то все равно способ ее обращения с ним будет соответствовать национальным способностям к восприятию мысли и ее закреплению и развитию в языковой форме; и истинность этого утверждения вытекает из той удивительной манеры, в которой египтяне сочетали друг с другом рисунок и буквенное письмо.

Итак, буквенное письмо и языковая предрасположенность находятся в тесной взаимосвязи и в непрерывной взаимозависимости. Я постараюсь доказать здесь это как исходя из чистых понятий, так и исторически, насколько это позволит скромный объем данной работы. Выбор этого предмета показался мне уместным по двум причинам: во-первых, поскольку нельзя действительно полноценно проникнуть в природу языка, не исследуя одновременно его соотношения с буквенным письмом, и во-вторых, потому, что как раз новейшие занятия египетским письмом в настоящее время удваивают интерес к исследованиям в области изобретения письма и его освоения.

Я вовсе не касаюсь всего, что относится к внешним задачам письма, к пользе от его употребления для жизни и распространения знаний. Важность его в этой сфере самоочевидна, и лишь немногие стали бы отрицать преимущества, которые в этом отношении буквенное письмо имеет перед прочими видами письма. Я ограничусь только влиянием алфавита на язык и его функционирование. Если это влияние действительно существенно, если связь языка с использованием алфавита глубока и прочна, то нельзя более сомневаться и в характере причин жадного усвоения буквенного письма или же холодного равнодушия к нему.

Но поскольку часто и о самих языках утверждают, что различия между ними не имеют большого значения, ибо, как бы они ни звучали и как бы ни связывалась речь, в конечном счете выражается все же одна и та же мысль, то к характеру письменных знаков можно было бы относиться с еще большим равнодушием — только бы они не несли с собой слишком много неудобств или же народ привык бы эти неудобства преодолевать. Кроме того, те, кто часто пользуется письмом, не говоря уже о тех, кто пользуется им разумно, всегда и в каждом народе представляют собой лишь незначительное меньшинство. Следовательно, можно заключить, что любой язык не просто в течение долгого времени существовал без письменности, но большей частью продолжает существовать без нее и в настоящее время.

Однако звучащее слово — это как бы воплощение мысли, а письмо — воплощение звука. Самая общая его функция заключается в том, что оно прочно скрепляет язык и тем самым делает возможным совершенно иное его осмысление, чем то, когда произнесенное слово

просто находит себе определенное место в памяти. В то же время ясно, что не любая функция письменного обозначения и конкретных его разновидностей принимает участие во влиянии языка на дух. Следовательно, ни в коем случае не все равно, какой именно импульс получает духовная деятельность со стороны конкретного характера письменного обозначения. Законами этой деятельности обусловлено рассмотрение мыслимого и зримого как знака и обозначенного, поочередное обращение к ним и их различное взаимное соотнесение; ей свойственно сопровождать идеи или воззрения другими, родственными им, и потому перенос мысли, закрепленной только в звуке, на зримый предмет, в зависимости от того, как этот перенос осуществляется, может придать духу весьма различные направления. Но если взаимосвязь явлений не нарушается, то очевидно, что языковое мышление, речь и письмо должны быть согласованы друг с другом и как бы отлиты из единой формы.

Хотя письмо всегда остается достоянием меньшей части нации и возникает, вероятно, только тогда, когда уже твердо установившееся языковое строение более не допускает никаких существенных модификаций, все же воздействие письма на нацию нельзя недооценивать. Ведь общая речь (пусть даже в разных формах) объединяет целый народ, и те изменения, которые производят в речи отдельные лица, опосредованным образом распространяются и на речь остальных. Но тонкая обработка языка, для которой использование письма является собственно лишь отправным пунктом, имеет как раз самое большое значение и как сама по себе, так и воздействуя на национальное образование, подчеркивает своеобразие языков в гораздо большей степени, чем грубое первоначальное строение.

Своеобразие языка состоит в том, что он, выступая в качестве посредника между человеком и внешними объектами, закрепляет за звуками мир мыслей. Следовательно, все особенности каждого отдельного языка могут быть соотнесены с двумя главными аспектами языка вообще — системой его идей и системой его звуков. Недостатки или достоинства языка определяются степенью совершенства второй.

Это свое мнение я попытался выдвинуть и обосновать в двух моих предшествующих работах, стараясь показать:

что даже несвязанная система слов каждого языка образует мысленный мир, который, полностью выходя за рамки области произвольных знаков, обладает собственным бытием и самостоятельностью;

что такие системы слов никогда не принадлежат какому-либо одному отдельному народу, но являются созданием всего человечества в целом на протяжении столетий его существования, продвигаясь от поколения к поколению путем, который не в состоянии полностью проследить ни история, ни языковедение, и что тем самым каждое слово заключает в себе два образующих элемента — физиологический, проистекающий из природы человеческого духа, и исторический, обусловленный путями его возникновения; далее:

что характер совершенно развитых языков определяется природой их строения, свидетельствующей о том, что для духа важным оказывается не только содержание, но прежде всего форма мысли.

По тому же пути я думаю пойти в настоящей работе, и здесь мне представляется самоочевидным, что буквенное письмо не оказывает влияния на систему идей языка уже потому, что оно никоим образом не отвлекает дух от языковой формы. В то же время система звуков, обозначение которых выражает их сущность, только посредством такого письма может обрести прочность и законченность.

Само по себе ясно, что всякое рисуночное письмо, передавая зрительный образ реального предмета, должно мешать действию языка вместо того, чтобы его поддерживать. Язык нуждается и в наблюдении, но закрепляет эту потребность в словоформе, связанной посредством звука. Последней должно быть подчинено представление о предмете, чтобы оно превратилось в звено той бесконечной цепи, на которую по всем направлениям нанизывается языковое мышление. Когда рисунок становится письменным знаком, он произвольно оттесняет на второй план то, что он должен обозначать — слово. Сущность языка — главенство субъективности — ослабляется; реальная сила явления наносит ущерб системе идей; объект давит на дух всеми своими признаками, причем не теми, которые избирательно характеризуют слово в соответствии с индивидуальным духом языка; письмо, которое должно быть лишь знаком знака, становится одновременно и знаком объекта и, проецируя в мысль непосредственный зрительный образ, ослабляет то воздействие, которое слово осуществляет именно за счет того, что стремится быть чистым знаком. Рисунок не может добавить языку живости, поскольку такая живость не соответствует языковой природе, и обе разные функции духа, которым рисуночное письмо должно было бы способствовать, в результате его применения не усиливаются, но лишь рассеиваются.

Напротив, идеографическое письмо, обозначающее понятия, казалось бы, хорошо удовлетворяет системе идей языка. Ведь его произвольно выбранные знаки так же, как и буквы, не содержат ничего, что могло бы отвлечь дух, а внутренняя закономерность этих знаков замыкает мышление на самом себе.

Однако и такое письмо, пусть даже устроенное в соответствии с совершенно четкими закономерностями, действует наперекор идеальной, то есть превращающей внешний мир в идеи, природе языка. Ведь для языка материалом является не только чувственное явление, но и неопределенное мышление в той мере, в какой оно не связано прочными и четкими узами звука; ибо оно отсутствует в собственно присущей языку форме. Индивидуальность слов, которая состоит в том, что в каждом слове имеется еще нечто, кроме его простой логической дефиниции, зависит от звука в той мере, в какой последний непосредственно пробуждает в душе собственный отклик на каждое слово. Знак, который апеллирует только к понятию и пренебрегает звуком, следовательно, не может полноценно выразить

эту индивидуальность. Система таких знаков передает лишь понятия, скопированные с внешнего и внутреннего мира; но язык должен содержать в себе сам этот мир, пусть превращенный в мысленные знаки, но во всей полноте его богатого, пестрого и живого многообразия.

Кроме того, никогда не существовало да и не может существовать понятийного письма, полностью образованного в соответствии с понятиями и не подверженного решающему влиянию облеченных в определенную знаковую форму слов языка, для которых оно было изобретено. Ведь поскольку язык все-таки предшествует письму, последнее, естественно, изыскивает знак для каждого слова и рассматривает каждый из этих знаков — пусть им даже приписывается значение, независимое от звука, в результате систематического упорядочения внутри понятийной системы, — все же как субститут лежащего за ним слова. Поэтому всякое понятийное письмо в то же время является и звуковым, и ответ на вопрос, можно ли и в какой степени можно рассматривать его как собственно понятийное письмо, зависит от степени внимания лиц, его использующих, к систематическому упорядочению его знаков, то есть логическому ключу его устройства. Тот, кто лишь механически знаком со знаками, соответствующими словам, пользуется на самом деле не чем иным, как звуковым письмом. Когда такое письмо переходит на другой язык, происходит то же самое. Ибо также и в этом языке, если письмо действительно является письмом, употребление должно обуславливать соответствие каждого знака одному или нескольким определенным словам. Таким образом, в обоих языках письменные знаки оказываются равнозначными только в той мере, в какой равнозначны обозначаемые ими слова, и чтение текста на одном из этих языков для человека, не знакомого с этим языком, обязательно превращается в перевод, при котором индивидуальность оригинала всякий раз теряется. Поэтому при использовании такого письма несколькими нациями общим остается главным образом содержание, форма существенно изменяется, и бесспорное достоинство понятийного письма — то, что оно понятно для разноязычных наций, — не в состоянии компенсировать недостатки, характерные для других его аспектов. В качестве звукового письма понятийное письмо несовершенно, поскольку оно представляет звуковые обозначения для целых слов, тем самым лишая язык всех преимуществ, вытекающих, как мы увидим ниже, из звукового обозначения элементов слов. Но оно никогда и не является чистым звуковым письмом. Поскольку знаки его можно соотносить с понятиями, поскольку наряду с передачей звука оно может непосредственно передавать мысль, оно тем самым превращается в самостоятельный язык и ослабляет естественное, полное и чистое воздействие языка настоящего и национального. С одной стороны, оно стремится освободиться от языка вообще, по крайней мере от какого-либо конкретного языка, а с другой стороны, предлагает гораздо менее удобное обозначение для естественного выражения языка — для звука. Поэтому оно действует как

раз наперекор инстинктивному языковому сознанию человека, и чем успешнее оно внедряется, тем больше разрушает индивидуальность языкового обозначения, которое не просто заключено в звуковой оболочке, но связано с нею посредством того специфического впечатления, которое, бесспорно, производит всякое определенное сочетание членораздельных звуков.

Стремление обрести независимость от конкретного языка неизбежно должно оказывать на дух вредное и опустошающее влияние, ибо мышление без языка попросту невозможно. Использование понятийного письма не приводит к столь пагубным последствиям лишь потому, что система его проводится непоследовательно и потому, что реально оно используется как фонетическое.

Буквенное письмо свободно от этих недостатков, будучи простым знаком знака, не отвлекающим посредством каких бы то ни было дополнительных понятий, повсюду сопровождающим язык, не обгоняя его и не отодвигая его в сторону, не обозначая ничего, кроме звука, и тем самым сохраняя естественный порядок, согласно которому мысль должна побуждаться производимым посредством звука впечатлением, а письмо должно передавать это впечатление не само по себе, но именно в этой конкретной форме.

Таким образом, точно следуя собственной природе языка, буквенное письмо как раз способствует его функционированию, отвергая кажущиеся достоинства рисунка и понятийного выражения. Оно не мешает чистой мыслительной природе языка, а, напротив, усиливает ее посредством разумного использования черт, которые сами по себе лишены смысла, а также облагораживает и возвышает ее чувственное выражение, разлагая на основные элементы звук, связанный в речи, выявляя взаимосвязь этих элементов и отношение их к слову и соотнося их также и со слышимой речью путем фиксации перед глазами.

Если мы хотим оценить внутреннее влияние буквенного письма на язык, то мы должны остановиться как раз на этом расщеплении связанного звука как на сущности буквенного письма.

Речь, пока она не исчерпает мысль, образует в душе говорящего связанное целое, в котором только путем рефлексии можно выделить отдельные части. Это проясняется прежде всего при занятиях языками неразвитых наций. Приходится делить и делить, и все равно нет уверенности в том, что то, что кажется простым, не является в свою очередь составным. Конечно, до некоторой степени это верно и для высокоразвитых языков, но в ином аспекте; для последних необходимо этимологическое деление с целью обнаружения происхождения слов, для первых — грамматическое и синтаксическое деление с целью проникновения в связность речи. Связывание того, что необходимо разделять, есть общее свойство неразвитого мышления и речи; от ребенка и от дикаря скорее можно услышать выражения, чем слова. Языки с несовершенным строением легко перешагивают за границы того, что можно связывать одной грамматической формой. Однако логический анализ, который осуществляет мысли-

тельная деятельность, доходит лишь до простого слова. Расчленение последнего — это уже дело буквенного письма. Язык, использующий другое письмо, тем самым не завершает процесс языкового анализа, но останавливается там, где в целях совершенствования языка требуется идти дальше.

Правда, обнаружение звуковых элементов мыслимо и без использования буквенного письма, и китайцы, в частности, знакомы с анализом связанных звуков, ибо могут точно и определенно указать число и различия своих начальных и конечных артикуляций и своих словесных тонов. Но так как ничто в привычном им языке и письме (в той мере, в какой оно действительно является знаковым письмом — ведь китайцы, как известно, примешивают к нему также и звуковое обозначение) не побуждает к такому анализу, то уже поэтому он не может быть общеупотребительным. Далее, поскольку отсутствует изолированная передача каждого отдельного звука (согласного и гласного) через принадлежащий ему одному знак, но имеются лишь способы передачи начал и концов связанных звуков, то представление звуковых элементов не является столь же ясным и наглядным, как в буквенном письме, а потому такой звуковой анализ, хотя ему нельзя отказать в полноте и точности, не оказывает на дух воздействия, свойственного действительно завершеному языковому делению. Но во внутреннем функционировании языков, которое одно обуславливает их настоящие достоинства, все зависит от полноты и ясности этого воздействия, и существенным является даже мельчайший, внешне совершенно незаметный, изъян в том или в другом. Напротив, алфавитное чтение и письмо каждое мгновение вынуждают к распознаванию звуковых элементов, различимых одновременно слухом и взглядом, и приучают к легкому разделению и сложению этих элементов; таким образом, они вводят совершенно правильное представление о делимости языка на элементы в общее употребление в той самой степени, в какой они сами распространены в пределах нации.

Прежде всего это справедливое представление сказывается на произношении, которое упрочивается и облагораживается через распознавание и заучивание звуковых элементов в изолированном виде. Поскольку для каждого звука имеется знак, то ухо и речевые органы привыкают к восприятию и передаче его всегда одним и тем же способом; в то же время вследствие отделения неопределенных оттенков, всегда сопровождающих переход от одного звука к другому в неразвитой речи, звуки яснее и правильнее отграничиваются друг от друга. Уже само по себе такое чистое произношение, высокое развитие слуха и речевых органов и воздействие этих факторов на внутреннее устройство языка имеют исключительно важное значение; но выделение звуковых элементов оказывает еще более глубокое воздействие на сущность языка.

А именно, в результате такого выделения, обособливающего и обозначающего членораздельные звуки, перед духом предстает звуковая артикуляция. Алфавитное письмо делает это яснее и нагляд-

нее, чем какое бы то ни было иное средство, и не будет слишком смелым сказать, что алфавит позволяет народу совершенно по-новому взглянуть на природу языка. Поскольку сущность языка заключена в членораздельности, без которой язык просто был бы невозможен, а идея членения пронизывает его целиком,— даже там, где речь идет не только о звуках,— постольку осознание и представление расчлененного звука должны быть в первую очередь связаны с первоначальной правильностью и постепенным развитием языкового сознания. Если это сознание обладает силой и живостью, то народ по собственной инициативе стремится к изобретению алфавита, а если алфавит приходит к нации извне, то он способствует ее языковому развитию и ускоряет его.

Хотя членораздельный звук производится телесно и инстинктивно, все же сущность его коренится только во внутренней духовной склонности к языку, а речевые органы обладают лишь способностью следовать ее потребностям. Поэтому определение членораздельного звука только по его физическим признакам, без внимания к интенции или результату его произнесения, кажется мне невозможным. Он представляет собой звук, обособленный от прочих, а не связанный и смешанный звуковой поток, каким является большинство эмоциональных звуков. Музыкальная высота или глубина не является характерным его отличием, так как он может быть произнесен на любой ноте музыкальной гаммы. Точно так же его характеристика не зависит от удлинения или сокращения, светлости или глухости, твердости или мягкости, ибо эти различия могут отчасти быть признаками всех членораздельных звуков, а отчасти — образовывать классы последних.

Что касается попытки сведения различий между *a* и *e*, *p* и *k* и т. п. к какой-либо общей чувственной идее, то мне по крайней мере это никогда не удавалось. Остается только сказать вообще, что эти звуки, независимо от их обозначений, все же являются специфически различными, или что их различие обусловливается определенным взаимодействием органов, или попытаться дать какое-либо другое аналогичное описание, которое, однако, никогда не будет настоящим определением. Сущность их можно изобразить исчерпывающим и исключительным образом, только приписывая им свойство непосредственно порождать понятия посредством своего произнесения. Причем для этой цели, с одной стороны, приспособлен каждый конкретный членораздельный звук, а с другой стороны, образование одного звука делает возможным и требует наличия определенного количества сходных, но специфически отличных звуков, приспособленных к вступлению в обязательные или произвольные связи друг с другом. В целом же это означает только то, что членораздельные звуки суть звуки языка, и наоборот.

Однако язык заключен в душе и может порождаться даже при противодействии речевых органов и при отсутствии внешних признаков рассудка. Это видно на примере обучения глухонемых, которое возможно лишь потому, что внутреннее стремление души к обла-

чению мысли в слова противостоит внешним препятствиям и при разумном руководстве побеждает их. Из индивидуальных свойств этого стремления к произнесению понятных звуков, из индивидуальности звукового чувства (по отношению вообще к звуку как таковому, к музыкальному тону и к артикуляции) и, наконец, из индивидуальности органов слуха и речи возникает особая звуковая система каждого языка, являющаяся, как за счет своего первоначального соответствия всей языковой настроенности индивидуума, так и за счет своего многообразного, неуловимого во всех своих частностях, влияния на все сферы языкового строения, основой конкретной специфики всего языка в целом. Специфическая языковая настроенность, исходящая из души, закрепляет индивидуальное своеобразие, воспринимая в свою очередь свое собственное звучание как нечто, исходящее извне.

Если каждая истинно человеческая деятельность нуждается в языке и если язык является даже основой всех видов человеческой деятельности, то нации при этом все же не всегда одинаково тесно вплетают язык в систему своих мыслей и восприятий. И это объясняется не только, как иногда думают, духовностью нации вообще, ее более или менее разумной направленностью, ее склонностью к науке и искусству, в еще меньшей степени — ее культурой — словом, чрезвычайно многозначным и требующим большой осторожности в употреблении. Нация может быть превосходно развитой во всех отношениях и все же не отводить языку подобающего ему места.

Причина здесь кроется в следующем. Если даже полностью отделять область науки и искусства от всего, что относится к распорядку физической жизни, то дух все же имеет перед собой много путей, которыми он может достичь этих сфер, и не каждый из этих путей с равной силой и живостью ориентируется на язык. Пути эти могут определяться отчасти в соответствии с объектами познания — достаточно вспомнить хотя бы об изобразительном искусстве и о математике, — отчасти в соответствии с духовными устремлениями, которые могут в большей мере способствовать чувственному наблюдению, сухому размышлению, или принимать какое-либо другое направление, не удовлетворяющее всей полноте и утонченности языка.

Как уже было отмечено выше, и в языке есть два фактора, которые дух не всегда объединяет должным образом; язык образует понятия, вводит в жизнь господство мысли, но делает это посредством звука. Возбуждение духа, обусловленное языком, может вылиться в то, что, обращая основное внимание на мысль, ее начинают пытаться выразить иным, более непосредственным путем — либо более чувственным, либо более чистым, независимым от звучания, представляющегося случайным; в таком случае к слову относятся лишь как к вспомогательному средству. Но, с другой стороны, мысль, облаченная в звуки, может осуществлять как раз главное воздействие на дух; звук, превращенный в слово, может воодушевлять, и тогда языку отводится главенствующее положение, а мысль пред-

стает лишь как вытекающая из него, неразрывно с ним связанная.

Поэтому при сравнении языков с индивидуальностью наций хотя и необходимо прежде всего определять их общую духовную направленность, но вслед за этим нужно обязательно обращать внимание и на упомянутый выше признак — отношение к звуку, тонкое чувство различения его бесчисленных созвучий с мыслью, готовность в чутком согласии с ним придавать мысли разнообразнейшие формы, которые дух никогда не смог бы найти, двигаясь извне, путем абстрактной классификации, ибо формы эти возникают именно в глубине чувственного материала. Было бы нетрудно показать, что этот путь должен наилучшим образом приводить к цели во всех видах духовной деятельности, ибо человек становится человеком лишь через язык, а язык становится языком лишь потому, что только в слове ищет созвучия для мысли. Но сейчас мы можем оставить эту тему в стороне, сказав лишь, что язык вряд ли может достичь высокого совершенства на каком-либо ином пути, кроме этого. Все то, что выдвигает на первый план и освещает членораздельность звуков, или, иными словами, их мыслеобразующую способность, жадно изыскивается при таком направлении духа, и поэтому буквенное письмо, беспрестанно представляющее духу членораздельность звуков сначала посредством их изображения, затем в результате входящей в силу привычки и при самом глубинном процессе мышления, должно находиться в теснейшей взаимосвязи с индивидуальными языковыми предпосылками каждой нации. Изобретено оно или привнесено извне, оно может производить свое полное и своеобразное действие только там, где уже до того смутно ощущалась в нем потребность.

Столь непосредственно связанное с внутренней природой языка буквенное письмо неизбежно влияет на все его сферы, и потребность в нем ощущается всюду. Я напому здесь всего лишь о двух моментах, связь письма с которыми наиболее очевидна: о ритмических достоинствах языков и об образовании грамматических форм.

Относительно ритма в этой связи вряд ли необходимо что-либо добавлять. Там, где взаимные соотношения звуков устанавливаются правила из сочетаемости, неизбежно налицо чистое и полное произнесение звуков, выделение отдельных звуков, заботливое внимание к их своеобразным различиям. Конечно, ритмическая поэзия имела у всех наций еще до появления у них письма, при этом у некоторых она была слоговой, а у немногих, высокоорганизованных народов, достигала в этом отношении большого совершенства. Но появление алфавита, бесспорно, могло отразиться на поэзии только самым положительным образом, а до него уже само наличие поэзии свидетельствует о столь развитом чувстве природы отдельных языковых звуков, что для этого чувства недостает только обозначения — так же, как и в других случаях человек часто бывает вынужден ждать от руки судьбы чувственного выражения того, что давно уже созрело в его душе. Ибо при оценке влияния буквенного

письма на язык нужно прежде всего обратить внимание на то, что и в этом письме, собственно, заложены два фактора: выделение артикулированных звуков и их внешние обозначения. Мы уже отметили выше, при обсуждении китайского письма — в данном случае то же самое утверждение можно распространить и на алфавитное письмо,— что не всякое использование звуковых обозначений оказывает на язык решающее влияние, такое, какое обеспечивает для нации и ее языка принятие буквенного письма в его настоящем виде. Напротив, если выдающиеся языковые предпосылки народа подготавливают и обуславливают внутреннее восприятие членораздельного звука (являющееся как бы духовным компонентом алфавита), то и при отсутствии алфавитных знаков, еще до возникновения буквенного письма, народ этот может частично пользоваться его преимуществами.

Поэтому слоговые размеры, подобно гекзаметру и шестнадцатисложному стиху шлок, дошедшие до нас из тьмы веков, но до сих пор неподражаемо чарующие слух одной только последовательностью своих слогов, являют собой, может быть, еще более сильное и надежное доказательство глубокого и тонкого языкового сознания породивших их наций, чем сами сохранившиеся их стихотворения. Ведь в каком бы тесном родстве ни состояла поэзия с языком, все же на нее, естественно, одновременно действуют многие духовные факторы; но нахождение способа гармонического переплетения слоговых долгот и краткостей свидетельствует о восприятии языка в его истинном своеобразии, о способности слуха и сознания к такой реакции на соотношение артикуляций, которая приводит к различению отдельных артикуляций внутри связанных и к определенному и правильному распознаванию их звуковых качеств.

Правда, отчасти это обусловлено и не имеющим непосредственного отношения к языку музыкальным чувством. Ибо звук обладает замечательным свойством затрагивать идеальное двумя способами— посредством музыки и посредством языка — и способен также соединить оба эти способа друг с другом, отчего сопровождаемое словами пение, бесспорно, производит самое полное и торжественное впечатление среди всех прочих видов искусства, поскольку сочетает в себе две наиболее значительные его формы. Но если упоминавшиеся выше слоговые размеры говорят и о музыкальных способностях их изобретателей, то тем более они свидетельствуют о силе их языкового сознания, ибо именно оно позволяет сохранить полные права членораздельного звука, а следовательно, языка, перед лицом чарующей мощи музыки. Ведь античные слоговые размеры отличаются от наиболее распространенных современных именно тем, что они, даже при музыкальном выражении, всегда обращаются со звуком, действительно, как со звуком языка, пренебрегают повторяющимся полным либо неполным сходством связанных звуков (рифмой и ассонансом), ориентированным на чистое звучание, и лишь весьма редко позволяют слогам удлиняться или сокращаться вопреки их природе, всего лишь в соответствии с требованиями ритма, чаще

всего тщательно следя за тем, чтобы слоги образовывали гармонические созвучия в своем естественном, ясном и неизменном качестве.

Словоизменение, на котором основывается сущность грамматических форм, неизбежно ведет к различению отдельных артикуляций и вниманию к ним. Когда язык соединяет друг с другом только значимые звуки или, во всяком случае, не умеет прочно сплавлять грамматические обозначения со словами, он имеет дело только со звуковым целым и не стремится к различению отдельной артикуляции так, как это происходит в том случае, когда одно и то же слово выступает в различных словоизменительных формах. Поскольку в результате утонченности и живности языкового сознания возникают прочные грамматические формы, то они способствуют распознаванию системы звуков, за которым следует уже беспрепятственное изобретение или плодотворное использование видимых знаков. Ибо когда алфавитом начинает пользоваться народ, обладающий еще грамматически несовершенным языком, то за счет добавления и изменения отдельных букв могут быть образованы новые словоизменительные формы, старые же формы могут лучше сохраняться, а еще не полностью сформировавшиеся — могут быть четко ограничены.

Еще более существенным образом, хотя это и не так заметно на конкретных признаках, буквенное письмо воздействует на язык тем, что только оно завершает представление о его членении и повсеместно его распространяет. Ибо без различения, определения и обозначения отдельных артикуляций нельзя распознать основных составных частей речи, и понятие членения оказывается проведенным не через весь язык. Но если всегда и вообще чрезвычайно важно довести до конца идею, заключенную в каком-либо объекте, то тем более это важно, когда объект, подобно языку, является полностью идеальным и когда то одновременно, то поочередно действуют инстинкт, чувство и рассудок, причем рассудок в свою очередь исправляет действие чувства, а чувство — действие инстинкта. В языках без буквенного письма и без явных признаков осознания потребности в нем следствия подобной незавершенности сказываются не только на правильности и полноте представления о членораздельности звуков, но на всем их строении и употреблении в целом. Однако членение есть самая сущность языка; в нем нет ничего, что не могло бы быть частью либо целым, и эффективность его непрерывного действия зависит от легкости, точности и согласованности его делений и сочетаний. Понятие членения есть логическая функция языка, в той же мере, в какой оно является функцией самого мышления. Следовательно, если народ благодаря остроте своего языкового сознания воспринимает язык в его подлинном своеобразии, духовном и звуковом, то он стремится дойти до его исходных элементов — основных звуков — различить их и дать им обозначение, иными словами — изобрести буквенное письмо или с готовностью усвоить предлагаемое ему извне.

Правильность интеллектуальной интенции языка, разработан-

ность его звуков, свидетельствующая о живости и утонченности, и буквенное письмо, таким образом, взаимно поощряют друг друга и вместе завершают восприятие и образование языка в его подлинном своеобразии. Любой недостаток в каком-либо из этих трех факторов ощутимо сказывается на строении или употреблении языка, и если естественное направление развития не меняют какие-либо особые обстоятельства, то можно надеяться встретить в языке все эти три фактора одновременно; к этому надо еще добавить прочность грамматических форм и ритмического искусства.

Сделанное здесь ограничение предупреждает стремление на материале реальной истории народов (пусть даже в этом материале окажутся натяжки) немедленно доказать или же поспешно опровергнуть то, что является результатом теоретических рассуждений. Поэтому рассуждение, основанное на чистых понятиях, если только оно правильно и закончено, нельзя назвать бесполезным. В вопросах, которых такое рассуждение касается, оно должно сочетаться с фактическими доказательствами и способствовать выявлению тех моментов, которые необходимо исследовать. В соответствии с тем, что было сказано выше о взаимосвязи строения языка с буквенным письмом, исчерпывающие исследования, касающиеся распространения последнего, нельзя будет отделять от истории самих языков, и всегда будут возникать следующие вопросы: что существенным образом повлияло на способ изобретения или усвоения алфавита — характерные особенности языка и выражающееся в них языковое предрасположение нации или же какие-либо другие обстоятельства? В какой мере способ возникновения алфавита определил или модифицировал его свойства? Какой отпечаток повсеместное его распространение наложило на язык?

В мои намерения не входит, после приведенных выше теоретических рассуждений, углубляться здесь еще и в историческое исследование языков на предмет письменных средств, которые они используют. Только для того, чтобы дать также и фактическое подтверждение в целом обоснованной выше взаимосвязи буквенного письма и языка, я позволю себе завершить эту работу некоторыми наблюдениями над американскими языками, касающимися этого вопроса.

Можно считать фактом, что нигде в Америке не найдено никаких следов буквенного письма, хотя иногда делаются утверждения или предположения о его наличии. Правда, среди мексиканских иероглифов зафиксирован разряд знаков, несколько напоминающий китайские знаки „гуа“, который пока еще не получил надежного истолкования, да и вряд ли его получит, если учесть немногочисленность сохранившихся материалов; но если бы среди них содержалась хотя бы какая-нибудь разновидность звуковых знаков, то упоминания о них сохранились бы в сведениях об этой стране и ее истории, дошедших до нас. Здесь можно было бы возразить, что древние хроники ничего не сообщают нам также и о буквенных знаках, которые встречались среди египетских иероглифов. Однако здесь мы имеем совершенно другой случай. Сомнение в том, что Египет обладал буквен-

ным письмом, возникло только в самое последнее время, когда и демотическое письмо стали объявлять понятийной письменностью; но имеется множество свидетельств, доказывающих буквенный характер древнеегипетского письма или позволяющих сделать такое предположение. Спорить, собственно, можно было лишь о том, какая из разновидностей египетского письма была алфавитной, или же приписывать алфавитный характер только упомянутому выше демотическому письму.

То, что в Америке когда-то существовала культура, пришедшая в упадок уже на заре известной нам истории, доказывает ряд памятников — частью здания, частью искусно обработанные участки земли, — распространенных от Великих Озер северной части материка вплоть до южной границы Перу. Перечень этих памятников (в других целях) я составил, основываясь частично на материалах поездок моего брата, точно установившего границы, основные пункты распространения этой цивилизации и ее общие очертания и давшего весьма удачную ее характеристику, а частично — на других источниках, в первую очередь на трудах первопроходцев.

Поэтому при исследовании американских языков мое внимание всегда было направлено также и на то, чтобы выяснить, не отражает ли их строение следов использования утерянных алфавитов. Однако я ни разу таких следов не обнаружил. Напротив, языки эти обладают как раз таким устройством, что, исходя из сделанных выше общих наблюдений над взаимосвязью языка с буквенным письмом, кажется вполне естественным, что они не могли прийти к изобретению алфавита, а если бы таковой был им предложен извне, они не могли бы быть особенно заинтересованы в его усвоении. Разумеется, восприятие привезенного в Америку европейского письма здесь ничего не доказывает. Ведь несчастные нации аборигенов подвергались такому подавлению, а их благороднейшие племена были большей частью искоренены в таких масштабах, что уже не могло быть и речи о национальной духовной деятельности. Но некоторые мексиканцы, действительно, переняли новое средство обозначения и оставили произведения на родном языке.

Все преимущества использования буквенного письма связаны, как было показано выше, главным образом с формой выражения, а через последнюю — с развитием понятий и разработкой идей. В этом заключается его функция, из этого вытекает потребность в нем. Но как раз по отношению к форме мысли строение американских языков (которые именно в этом отношении обнаруживают удивительную однородность, хотя далеко не такую, как это иногда утверждается) оказывается не особенно благоприятным, а часто и вовсе ею пренебрегает, и нужно сказать, что племена американских народов, как в момент их покорения, так и в период своего высочайшего расцвета, стояли не на той ступени развития, когда человеческая мысль подчиняет себе все.

Здесь я лишь мимоходом еще раз напомним о редкости, а иногда и полном отсутствии в этих языках таких грамматических обозначе-

ний, которые можно было бы назвать настоящими грамматическими формами. Но мне кажется, что не будет ошибочным упомянуть здесь также о сильной и единообразной аналогии, распространенной в этих языках и нарушаемой лишь весьма редкими отклонениями, о нагромождении в них многочисленных дополнительных определений для одного понятия, даже в тех случаях, когда в них нет необходимости, о преобладающей тенденции к частному выражению вместо общего. По моему мнению, длительное использование алфавитного письма не только изменило и модифицировало бы все эти моменты, но ожившая национальная духовность смогла бы сбросить с себя все эти сдерживающие развитие пути, воплотить понятия в их общем виде, более энергично и соразмерно использовать расчлененность мысли и языка и почувствовать стремление к заботливому обеспечению сохранности языка в памяти посредством зрительных знаков, с тем, чтобы размышление могло спокойнее над ним властвовать, а мысль могла облекаться в более прочные, но в то же время более разнообразные и свободные формы. Ведь поскольку буквенное письмо отсутствовало в эпоху заселения Америки (если вообще предполагать, что она когда-то была заселена извне), то американские нации могли лишь изобретать его самостоятельно, а так как подобное изобретение связано с необычайными трудностями, то долгое отсутствие буквенного письма не могло не оказать значительного влияния на строение их языков. Это влияние могло определенным образом модифицироваться у некоторых американских народов, которые действительно обладали какими-то видами письменности, но эта письменность была не в состоянии оказать значительное воздействие на их язык и систему мышления.

Однако я касаюсь всего этого лишь мимоходом, так как для того, чтобы действительно основываться на упомянутых фактах, необходимо было бы сравнение языков Америки с языками народов других частей света, также не использующими письменных знаков, и с китайским языком, которому по меньшей мере чужды алфавитные знаки, но здесь для такого сравнения не место.

В противоположность этому к содержанию предлагаемых здесь наблюдений ближе тот самоочевидный факт, что долгое отсутствие письменности способствует регулярному единообразию языкового строения, которое ошибочно считают преимуществом. Отклонения с большим трудом сохраняются в памяти, особенно если языковое сознание не пробудилось еще в достаточной мере для того, чтобы раскрывать и оценивать их внутренние причины, или если дух исследования еще не в состоянии обнаружить для них причины исторические. Ведущая роль памяти приучает душу к максимально единообразному выражению мыслей, а внимательному исследователю языков известны случаи, когда само письмо обуславливает определенный порядок расположения букв, сокращения и модификации.

С этим нельзя смешивать то обстоятельство, что и само письмо придает формам большую прочность, а тем самым, в каком-то смыс-

ле,— большее единообразие. Эта его особенность направлена главным образом на предотвращение слишком активного диалектного дробления; и при длительном использовании письма большинство американских языков вряд ли сохранило бы специфические различия в выражении между мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми, вышестоящими и нижестоящими. В прочих отношениях внутри одного и того же рода и одного и того же класса американские нации обнаруживают как раз достойную удивления устойчивость и сохранность форм. Это легко заметить, сравнивая записи миссионеров, сделанные в начале европейского заселения, с современной речью. Особенно удобно такое сравнение в случае с североамериканскими племенами, так как в Соединенных Штатах (и в настоящее время, к сожалению, только там) осуществляется достойная всяческого одобрения забота о языке и судьбе аборигенов. Между тем было бы весьма желательно обратить еще более пристальное внимание на сравнение тех же диалектов в различные периоды их существования. Таким образом, упрочивающее действие письма в основном проявляется в обобщении языка, приводящем постепенно к образованию отдельного диалекта, и весьма отличается от того распространения одного правила на множество сходных, но (если надлежащим образом учитывать значение и звучание) не вполне тождественных случаев, о котором мы говорили выше.

Все сказанное здесь применимо также и к тем случаям, когда в одной форме нагромождается слишком много определений, и если попытаться проникнуть глубже, то окажется, что все названные здесь явления в своей совокупности зависят от степени силы и своеобразия духовной энергии, направленной на язык, свидетельством и одновременно движущей причиной которой является письмо. Недостаточность этой энергии приводит к несовершенному языковому строению; наличие ее благоприятно сказывается на последнем, но может вначале и не иметь внешнего проявления. Но как в том, так и в другом случае письмо, потребность в нем или же безразличие к нему, имеет чрезвычайное значение.

Однако при перечислении причин, вызвавших своеобразие американских языков, нельзя забывать также и об их однородности, о чем мы говорили выше, а также об отграниченности Америки от других частей света. Даже в случаях, когда совершенно разные языки находятся в близком соседстве, как, например, в современной Новой Испании, я не мог обнаружить в их строении сколько-нибудь надежных следов живительного или формообразовательного влияния одного языка на другой. Но сила, богатство и форма языков весьма выигрывают от столкновения больших и даже противоречащих друг другу различий, ибо таким путем в них вливается богатое содержание человеческого бытия, уже претворенное в языковую форму. Только отсюда язык может черпать материал для своего обогащения; рациональная же обработка призвана выявить всю ценность этого материала в ясных и определенных мыслительных формах, избегая сухости и скудности. И письмо легче возникает и

распространяется там, где своеобразные черты разных народов живо взаимодействуют друг с другом; но, уже возникнув и развившись, оно, как и логическая обработка, которой оно более всего способствует, может начать отрицательно сказываться на живости языка и влиянии последнего на дух.

Причина, удерживавшая американские народности от введения буквенного письма (учитывая то, что извне оно к ним не проникло), конечно, прежде всего заключалась в неполной сформированности духа и вообще в несовершенстве интеллектуальной направленности. Характерный пример этого представляют мексиканцы. Они, как и египтяне, обладали иероглифическими рисунками и письмом, но не сделали ни одного из двух важнейших шагов, посредством которых этот древний народ доказал свою глубокую духовность, а именно — отделения письма от рисунка и превращения рисунка в чувственный символ — шагов, которые, пронестая из духовной индивидуальности народа, придали египетскому письму специфически присущую ему форму и которые, как мне кажется, нельзя рассматривать как просто постепенное развитие рисуночного письма, но можно уподобить духовным искрам, внезапно вспыхивающим в нации или в индивидууме, изменяя все вокруг. Мексиканская иероглифика не стала и формой искусства. И все же по характеру и духу мексиканцы представляются мне наиболее развитыми среди всех известных нам американских наций. В частности, они далеко превзошли перуанцев, что, по моему мнению, доказывают и преимущества их языка по сравнению с перуанским. В самом деле, человеческие жертвоприношения южноамериканских индейцев показывают их в невероятно грубом и устрашающем виде. Но не менее ужасна и та холодная политика, с которой перуанцы по простой прихоти своих правителей под предлогом мудрой опеки изгоняли со своей родины целые нации и вели кровавые войны с целью удовлетворения своей жажды власти и подавления народов под игом своего монашеского единообразия *. В мексиканской же истории есть живые и индивидуальные порывы, хотя и не свободные от некоторой грубости, но все же, при должном уровне образования, способные поднять нацию на более высокую духовную ступень. Расселение мексиканцев, их борьба с соседями, победоносное расширение территории их государства напоминает римскую историю. Об использовании их языка в поэтическом и ораторском искусстве трудно судить, так как даже то, что сохранилось в записях от их речей по государственным и хозяйственным вопросам, вряд ли достаточно достоверно. Но весьма вероятно, что по крайней мере их политические речи не испытывали недостатка в остроте, зажигательности и увлекательности формулировок. Ведь и по сей день все это обнаруживается в речах вождей североамериканских племен, в подлинности которых, видимо, не приходится сомневаться, причем эти достоинства никак нельзя объяснить результатом общения с европейцами. Так как все, что движет человеком, отражается в его языке, то нужно, видимо, отличать силу и своеобразие восприятия и жизненного характера

вообще от интеллектуальной направленности и склонности к идеям. И то и другое сказывается на способе выражения, но без последнего невозможно значительное и устойчивое воздействие на форму и строение языка.

Весьма вероятно, что, если бы мексиканское и перуанское государства продолжали существовать еще многие столетия без чужеземного господства, нации эти все же не пришли бы сами по себе к буквенному письму. Рисуночное письмо и веревки с узелками, выполнявшие у этих наций функции письма (при этом по еще не вполне понятным причинам в государственном и собственно национальном употреблении мексиканцев было только первое, а у перуанцев — только второе), удовлетворяли внешним задачам выражения мыслей, и вряд ли в них пробудилась бы внутренняя потребность в более совершенных средствах.

Имеющиеся сведения о веревках с узелками, распространенных, помимо Перу и Мексики, также и в других областях Америки и приведших некоторых исследователей к предположению о связях населения Америки с Китаем (так же как наличие иероглифов породило теорию о связях с Египтом), я собираюсь изложить в другом месте. Конечно, сведения эти весьма отрывочны, но их все же достаточно, чтобы составить более определенное и точное представление об этой разновидности знаков, чем это предоставляют нам сообщения Робертсона и других новейших авторов. Значение их заключалось в числе узелков, различии цветов и предположительно также в способе завязывания узелков. Но значение это, вероятно, не всегда было одинаковым, а различалось в соответствии с изображаемыми объектами, и, по всей видимости, для того, чтобы их понимать, нужно было знать, какую тему затрагивает сообщение и то, что к этой теме относится. Для хранения этих веревок выделялись специальные служащие в различных сферах государственного аппарата. Наконец, расшифровка их была нелегким делом, и для этой цели нужны были специальные истолкователи. Поэтому в целом они принадлежали, видимо, к тому же классу, что и палочки с зарубками, хотя и представляли собой довольно высокообразные искусственные вспомогательные средства — сначала мнемонические — для запоминания, — а затем, когда стал известен ключ взаимосвязи знаков с обозначаемым — для сообщения. Остается неясным только, в какой степени они отличались от субъективных соглашений, распространявшихся на определенные и точно обусловленные случаи, и приближались к настоящим обозначениям мысли. Очевидно, что они совмещали в себе черты как тех, так и других, поскольку к примеру, в случаях, когда судьи сообщали о количестве и характере вынесенных приговоров, цвет веревки обозначал характер преступления, а узелки — виды наказаний. Но неясно и весьма сомнительно при этом, было ли возможно выражение более общих мыслей, поскольку завязывание узлов даже на разноцветных веревках вряд ли может обеспечить необходимое разнообразие знаков.

Фактически искусство веревок с узелками сводилось скорее

всего к специальным методам облегчения запоминания или мнемоники, которые не были чужды и классической древности. Вообще, подобные методы были, действительно, распространены среди перуанцев. Ведь сохранились рассказы о том, что их дети, чтобы запомнить усвоенные от испанцев молитвенные формулы, складывали в ряд разноцветные камушки, то есть производили с другими предметами действия, аналогичные завязыванию узелков на веревках. В такой ситуации веревки с узелками, хотя и представляли собой письмо в широком смысле этого слова, но на самом деле были весьма далеки от него: ведь понимание сообщения зависело от знания внешних обстоятельств, а в тех случаях, когда они служили для исторической передачи сведений, основная работа все же приходилась на долю памяти, для которой знаки были всего лишь вспомогательным средством, и необходима была передача устных комментариев, а потому знаки сами по себе не могли сохранить мысль полностью (что должно быть присуще письму, если только известен ключ к его прочтению).

Однако высказывать определенное суждение нам все же трудно. Вообще я коснулся здесь предполагаемой характеристики веревочек с узелками, одна из которых (мексиканская) еще в прошлом веке хранилась в коллекции Ботурини лишь для того, чтобы показать, в каком виде народам Америки были известны оба типа знаков, которыми исчерпывается любая письменность — сами собою понятные знаки-рисунки и знаки, произвольным и мнемоническим образом связанные с идеями, напоминающие об обозначаемом посредством некоего третьего фактора (ключа к обозначению). Однако различие обоих этих типов, переходящих друг в друга тогда, когда аллегорическое рисуночное письмо перестает быть непосредственно понятным и по крайней мере часть первоначальных рисунков постепенно начинает казаться произвольными знаками, имеет исключительное значение, и особенно в том, что касается языка, как это видно на примере языков мексиканского и перуанского.

Мексиканские иероглифы достигли немало совершенства; они явно сохраняли мысль сами по себе, так как они понятны еще и сейчас, и в то же время они отчетливо отличались от простых рисунков. Ведь даже если, например, понятие завоевания представлялось в них как битва двух воинов, все же мы обнаруживаем также и изображение сидящего царя с его именным знаком, затем трофейного оружия и, наконец, покоренного города, что в совокупности образует вполне ясную фразу: «Царь завоевал город». И выражение здесь гораздо более определено, чем в знаменитой саитской надписи, которая считается единственной из древних надписей, сочетающей изображение (значение) с обозначением. Из сказанного видно, что существовали также средства для записи имен, а, следовательно, письмо это находилось на пути к созданию фонетических знаков наподобие китайских. И все же весьма сомнительно, чтобы мексиканская иероглифика превратилась когда-либо в настоящее письмо.

Ибо настоящим письмом можно назвать только такое, которое обозначает определенные слова в определенном порядке, что даже и при отсутствии букв можно осуществлять при помощи понятийных знаков и даже при помощи рисунков. Но если, напротив, письмом в широчайшем смысле этого слова называть любую передачу мыслей, осуществляемую посредством звуков, то есть при которой пишущий представляет себе слова и которую читающий также переводит в слова, пусть не совсем в те же самые (определенные, без которого не было бы никакой границы между рисунком и письмом), то между двумя этими конечными пунктами окажется обширное пространство для разнообразных степеней совершенства письма. Последнее, в частности, зависит от того, закреплены ли знаки в своем употреблении за более или менее определенными словами или же только за мыслями, и, следовательно, от того, в какой мере расшифровка их приближается к чтению как таковому. И мексиканское иероглифическое письмо, как кажется, в своем развитии остановилось внутри этого пространства, не достигнув уровня настоящего письма, хотя и на такой ступени развития, которую сейчас трудно точно определить. Так, например, сейчас нельзя уже установить, можно ли было в иероглифической форме записывать стихи — а некоторые стихи были весьма известны и упоминания о них сохранились в источниках, — ведь неопровержимо, что форма поэзии связывает ее с определенными словами в определенном порядке. Если это было невозможно, то здесь перуанцы находились в более выгодном положении. Ибо письмо, или его аналог, не представляющее объекты как таковые, но являющееся скорее внутренним вспомогательным средством памяти, может, пусть не вполне адекватно, передаваться другому народу и весьма долго сохраняться во времени в органической связи с языком. При этом, конечно, нельзя забывать, что народ, пользующийся таким письмом, обладает не столько настоящим письмом, сколько лишь способом непосредственной отсылки к памяти без письма, высоко усовершенствованным при помощи искусных средств. Но как раз в том и заключается важнейшее различие между наличием и отсутствием письма, что в первом случае памяти не отводится уже главная роль среди устремлений духа.

Каковы бы ни были достоинства и недостатки каждой из этих двух систем письма, они все же удовлетворяли нации, их усвоившие; они к ним привыкли, и каждая из них (и прежде всего — перуанская) была даже интегрирована в государственное устройство и в аппарат государственной власти. Поэтому трудно представить себе, каким образом какой-либо из этих народов мог бы самостоятельно прийти к буквенному письму; однако возможность этого все же не исключена. Пример Египта показывает близкое родство звуковых иероглифов и букв, а из графического представления веревочных узелков могли бы возникнуть знаки, напоминающие по форме китайские, но допускающие также и фонетическую трактовку. Но для этого нужны были бы духовные предпосылки, сходные с те-

ми, которые у египтян выявились настолько рано, что их можно обнаружить даже в самых древних источниках; а для будущего развития нации всегда является неблагоприятным признаком то, что она, еще при отсутствии подобных предпосылок, уже стоит на таком значительном уровне развития и характеризуется такими многообразными и прочными общественными формами, как это было в Мексике и Перу. Можно предположить, что в обоих государствах, как в настоящее время в Китае, имело бы место сопротивление принятию буквенного письма, если бы последнее предлагалось добровольно, а не принудительно, в результате завоевания.

Разбирая грамматические формы, я пытался показать, что место их могут занимать всего лишь аналоги; точно так же обстоит дело и с письмом. Там, где отсутствует настоящее письмо, единственно пригодное для языка, все внешние, а до некоторой степени также и внутренние цели и потребности могут удовлетворять и другие, заменяющие его системы. Но своеобразное воздействие настоящего письма, равно как и своеобразное воздействие подлинной грамматической формы, не может быть заменено ничем и никогда; оно заложено во внутреннем восприятии и обращении с языком, в способе формирования мысли, в индивидуальности мыслительных и чувственных потенций.

Но если такие заменяющие средства (поскольку теперь это выражение уже понятно) уже пустили свои корни, если инстинктивно стремящееся к лучшему сознание нации не воспрепятствовало их закреплению, то они еще более притупляют это сознание, поддерживают ложную, удобную для себя направленность системы языка и мышления или же придают ей такую направленность и становятся уже неискоренимыми, а если их все же удастся искоренить, то ожидаемые благотворные последствия этого проявляются уже значительно слабее и медленнее. Следовательно, если народ с радостью принимает и усваивает буквенное письмо, он должен сделать это рано, на заре своей юности, по крайней мере в то время, когда он еще не создал при помощи искусственных и мучительных усилий другой разновидности письма и не привык к ней. В еще большей мере так должно обстоять дело, когда буквенное письмо изобретается исходя из внутренней потребности, не проходя через каких бы то ни было посредников. Но могло ли такое когда-либо действительно произойти или же это настолько неправдоподобно, что может рассматриваться лишь как отдаленная возможность, — к обсуждению этого вопроса я предполагаю вернуться в другом месте.

Примечания*

Настоящее издание непосредственно примыкает к книге Вильгельма фон Гумбольдта „Избранные труды по языкознанию“, выпущенной издательством „Прогресс“ в 1983 г. и впервые познакомившей советского читателя с творчеством великого немецкого гуманитария и гуманиста. Помимо языковедческих работ, здесь представлены труды Гумбольдта по философии культуры, эстетике, философии истории.

Большинство работ публикуется по-русски впервые. Все переводы выполнены по Полному собранию сочинений Гумбольдта: „Gesammelte Schriften“, Bd. 1—17. Berlin, 1901—1936. Neudruck, 1967—1968.

Примечания над строкой, отмеченные в тексте цифрами, принадлежат автору. Редакционные примечания, отмеченные в тексте звездочками, следуют ниже.

ИДЕИ К ОПЫТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ГРАНИЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Работа „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen“ написана в 1792 г. Читающая Германия жила в то время под впечатлением труда Гердера „Идеи к философии истории человечества“, публиковавшегося отдельными выпусками. Можно увидеть определенную перекличку между заголовками, в которую потом включился Шеллинг своим трудом „Идеи к философии природы“.

Прусская цензура не разрешила публикацию книги. Свет увидели только отрывки: один — в журнале Шиллера „Талия“ под заголовком „Как далеко должна распространяться забота государства о благе своих граждан“ (1792, т. 2, вып. 5) и три отрывка — в журнале Бистера „Берлинский ежемесячник“ под названиями: „Забота государства о безопасности от внешних врагов“ (20.10.1792), „Об улучшении нравов с помощью государственных учреждений“ (20.11.1792), „О публичном государственном воспитании“ (20.12.1792).

Основные идеи труда Гумбольдта получили известность и вызвали полемику. Карл Дальберг, литератор и церковный деятель, будущий бонапартист, ответил Гумбольдту в 1793 г. книгой „О подлинных границах деятельности государства“, в которой отстаивалась идея „просвещенного абсолютизма“.

Первая публикация работы была осуществлена посмертно в 1851 г. (Издательство Э. Тревенда, Бреслау). Книга пользовалась успехом в демократических кругах. По мнению Р. Гайма, это наиболее завершенное произведение Гумбольдта:

* Составлены А. В. Гулыгой, М. И. Левиной, А. В. Михайловым, Г. В. Раишвили, Вяч. Вс. Ивановым, С. А. Старостиним.

«После него он не написал ничего, что равнялось бы ему по законченности, по строгости и ясности мысли. Из всех его сочинений это менее всего отрывочно». (Г а й м Р. Вильгельм фон Гумбольдт. М., 1898, с. 54). В ГДР книга Гумбольдта о государстве была выпущена массовым (карманным) изданием как «важный документ прогрессивной, антиабсолютистской мысли в Германии» (Н u m b o l d t W. Ideen... Leipzig [o. J], S. 203).

По-русски работа впервые была опубликована под названием „О границах деятельности государства“ в качестве приложения к книге Р. Гайма. Для настоящего издания М. И. Левиной выполнен новый перевод. При переводе были опущены составленные автором краткие резюме к каждому разделу, помещенные перед тем или иным разделом.

К с. 25.

* ‘Трудность состоит в том, чтобы публиковать действительно необходимые законы, всегда оставаться верным этому истинно конституционному принципу общества, всячески подавлять в себе необузданное желание править — самую пагубную болезнь современных государств’. (Мирабо **).

** *Мирабо Виктор Рикети* (1715—1789) — французский экономист, близкий к физиократам; отец деятеля Французской революции Оноре Габриеля Мирабо.

К с. 29.

* ‘Хотя справедливость сама по себе и привлекает нас, однако если она не приносит никакой пользы, если в самом деле приходилось переносить все то, о чем рассказывают друзья, то справедливости следует предпочесть несправедливость, ибо то, что в наибольшей степени способствует нашему счастью, несомненно, предпочтительнее всего остального. Физические страдания, недостаток во всем необходимом, голод, бесцелье и все прочее, что, по словам друзей, вытекает из справедливости, бесспорно, значительно превосходят духовное наслаждение, даруемое справедливостью. Поэтому-то несправедливость предпочтительнее справедливости и должна быть отнесена к числу добродетелей’. (Платон). Тидеман. Изложение диалогов Платона. К 1.2. „О государстве“.

** Немецкий историк философии Дитрих Тидеман (1748—1803) произвольно толкует начало диалога Платона „Государство“ (см. П л а т о н. Сочинения, т. I, ч. 1. М., 1971, с. 106—144).

*** Указанные работы Канта см.: К а н т И. Сочинения в шести томах, т. 4, ч. 1.

К с. 30.

* Далее в рукописи — пропуск, по-видимому, в несколько строк, завершающих раздел. Возможная реконструкция незаконченной фразы: «...эта проверка должна исходить от отдельного человека и его конечных целей».

К с. 43.

* Далее в рукописи следует значительный пропуск: пункт четвертый и начало пятого пункта размышлений Гумбольдта о негативных последствиях вмешательства государства в личную жизнь граждан. Судя по содержанию раздела, составленному автором, речь идет о следующих моментах: 4. Забота государства о положительном благе граждан вредна еще и потому, что она направлена на нерасчлененное множество и отдельному индивиду вредит мероприятиями, не предназначенными целиком для каждого в отдельности. 5. Она препятствует развитию индивидуальности и своеобразия человека».

К с. 53.

* ‘Безопасность и личная свобода — единственное, что человек не может гарантировать себе сам’. — M i r a b e a u. Sur l'éducation publique, p. 119.

К с. 62.

* В хорошо организованном обществе, напротив, все побуждает людей развивать свои природные данные: воспитание будет успешным без всякого вмешательства государства; оно будет тем лучше, чем большая свобода будет предоставлена деятельности преподавателей и соперничеству учащихся'. (Мирабо).

** Таким образом, возникает вопрос, не должны ли законодатели Франции заниматься общественным воспитанием лишь в той мере, в какой это необходимо, чтобы содействовать его успехам, и не является ли конституция, наиболее благоприятствующая развитию *человеческого* я, и законы, отдающие каждому наиболее соответствующее ему место, тем единственным воспитанием, которого вправе ждать от них народ' (I. с. р. 11). 'Если это так, то Национальное собрание должно, следуя неоспоримым принципам, заниматься воспитанием лишь настолько, чтобы охранять его от вмешательства учреждений и должностных лиц, которые могут причинить ему вред' (I. с. р. 12).

К с. 78.

* См. Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 5, с. 348.

К с. 82.

* Кант И. Критика способности суждения.— В кн.: Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 5, с. 317.

О РАЗЛИЧИИ ПОЛОВ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРИРОДУ

Статья „Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluß auf die organische Natur“ написана в 1794 г. в Йене. Впервые напечатана в журнале Шиллера „Оры“ (1795, т. I, вын. 2. В следующем выпуске появилась статья Гумбольдта „О мужской и женской форме“, развивающая идеи предыдущей статьи). Шиллер послал номер журнала Канту, который следующим образом отозвался о статье Гумбольдта: «Статью „О различии полов в органической природе“, помещенную во 2-м выпуске, — сколь ни кажется мне умен ее автор — я все же не могу разгадать... На мой взгляд, природа устроена так: всякое оплодотворение в обоих органических царствах нуждается в двух полах для продолжения своего вида, и это всегда кажется для человеческого разума чем-то удивительным, пропастью для мысли, потому что при этом не думают, что Провидение, как бы играючи, ради разнообразия, предпочло такой порядок, но ищут причину того, *что иначе не может быть*. Это открывает вид в необозримое, с которым, однако же, решительно нечего делать» (Кант И. Трактаты и письма. М., 1980, с. 599). По поводу отзыва Канта (и еще более суровой оценки философа Эрхарда) Гумбольдт в письме Кернеру отмечал: «По-видимому, считают, что я рассмотрел предмет трансцендентно. Мне жаль, что не обратили внимание на изображение характеров и прежде всего на метод сведения в систематическую полноту сторон характера, выведения их из одного понятия и сведения к одному понятию. Конечно, в изложении статья содержит крупные недостатки. Над отзывом Канта я много думаю. Шиллер пытается меня утешить, но лучше всего обходиться без утешений». (N u m b o l d t W. Ansichten über Ästhetik und Literatur. Berlin, 1880, S. 41.) Положительный отзыв о статье Гумбольдта содержится в письме Кернера Шиллеру от 1.1.1795. Отзывки статьи можно обнаружить в стихотворении Шиллера „Два пола“ (1796).

К с. 149.

* Джеймс Томсон (1700—1748) — английский поэт, У Гумбольдта ошибочно — Томпсон.

Эдвард Янг (1683—1765) — английский поэт.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О «Германе и Доротея» Gёte

Работа „Aesthetische Versuche. Erster Theil. Ueber Gёthes Herrmann und Dorothea“ была написана в Париже. Начата в ноябре 1797 г, и окончена весной

1798 г. Опубликована книгой в январе 1798 г. в издательстве «Фивег». Второй части работы не последовало.

Весной 1798 г. с рукописью ознакомились Гёте и Шиллер, большая часть ее была прочитана ими совместно. 27 июня Шиллер отправил Гумбольдту подробный разбор его работы, в котором отмечал: «Я рассматриваю Ваш труд как достижение скорее для философии, чем для искусства, и говорю это вовсе не в укор Вам. Ведь и вообще сомнительно, может ли философия искусства чему-нибудь научить художника... Вы наиболее полным, достойным и свободным образом представили философский, критический рассудок в той мере, в какой он занимается не столько регулятивными предписаниями, сколько общими законами, не столько физикою, сколько метафизикою поэзии,— и мне кажется, что Вы исчерпали этот вопрос... Ваше изложение можно упрекнуть в том, что Вы избрали слишком спекулятивный путь для разбора индивидуального поэтического произведения. Догматическая часть Вашего сочинения (устанавливающая законы для поэта)... полностью удовлетворительна, не менее верна и безупречна критическая часть (применяющая эти законы к произведению и собственно оценивающая его); кажется, однако, что не хватает некоей средней части, именно такой, которая сводила бы метафизику поэзии к частным принципам и помогла бы применить самое общее понятие в самых индивидуальных случаях» (Ш и л л е р Ф. Сочинения, т. 7, М., 1957, с. 502). Гёте был согласен с мнением своего друга, которому он писал: «Вы затронули весьма важный пункт: трудности, с которыми практика извлекает пользу из теории» („Goethes Briefe“. Hamburg, 1968, Bd. 2, S. 353). В благодарственном письме Гумбольдту Гёте, однако, сообщал: «Ваше новое произведение, одарившее нас богатством идей и размышлений, будет Вам дорого вдвойне, когда Вы на деле узнаете, что оно подействовало на меня не только в одном плане. У меня возникло желание начать новую эпическую работу. Я много размышляю над этим жанром поэзии, и Ваше произведение дало мне новые плодотворные импульсы». (Там же, с. 356). Йенские романтики отнеслись к работе Гумбольдта негативно. А. В. Шлегель острил: для того, чтобы наслаждаться запахами цветов, нет необходимости читать лекции по ботанике.

Впервые по-русски отрывки из работы Вильгельма фон Гумбольдта „Эстетические опыты“ были напечатаны под названием „О поэме Гёте Герман и Доротея“ в книге „История эстетики. Памятники эстетической мысли“, т. III. М., 1967, с. 139—147. (Перевод А. Г. Левинтона). В нашем издании работа „Эстетические опыты“ публикуется с сокращениями, которые являются разделов, посвященных разбору и пересказу поэмы Гёте. Представление о содержании опущенных разделов, или глав, читатель может получить по их названиям, приведенным в настоящих примечаниях.

К с. 189 (Гл. XVII).

* V, 166. Здесь и далее — перевод Д. Бродского и В. Бугаевского (с необходимыми исправлениями).

К с. 202 (Гл. XXVI).

* *Греческий стих* — гекзаметр.

К с. 203.

* Далее опущены десять глав — с XXVIII по XXXVII. Их названия следующие:

XXVIII. Сравнение в этом отношении нашего поэта с Гомером.— Пример: Главк и Диомед обмениваются оружием.

XXIX. Характеристика Германа и Доротея.

XXX. Доротея впервые вводится в рассказе Германа о ней.

XXXI. Характеристика девушки и ее воздействие на Германа.

XXXII. Ее воздействие на ююшу — неопределенная величина, но характеризующая определенным понятием совершенного соответствия их натур.

XXXIII. Появление самой Доротея.

XXXIV. Рассказ о героическом мужестве девушки.— Верно ли поступил поэт, подчеркнув эту черту ее характера?

XXXV. Встреча Доротеи с Германом — сначала у колодца, а затем на пути к его родителям.

XXXVI. Влюбленные входят в покои родителей.— Поведение Доротеи до конца поэмы.— Призыв Музы.

XXXVII. Краткое сравнение характеристики Доротеи со сказанным выше.— Чистая объективность характеристики и всей поэмы.

К с. 213.

* Далее опущена глава XLIII со следующим названием: „Разъяснение предыдущего на примерах“.

К. с. 236.

* Перевод М. Л. Гаспарова.

К с. 247

* „Геро и Леандр“ — маленький эпос (эгисллион) V в н. э.

К с. 248.

* *житель... Аскры* — Гесиод, которого В. фон Гумбольдт и цитирует здесь.

** Далее опущена глава LXX с названием „Описательные стихотворения преследуют более ограниченную цель и уступают эпопее в художественной законченности“.

К с. 251.

* Далее опущена глава LXXIV с названием «Доказательство сказанного на примере из „Илиады“».

К с. 253 (Гл. LXXVI).

* Обращение к Музе в поэме „Герман и Доротея“ — лишь в последней, 9-й песне.

К с. 255 (Гл. LXXVII).

* „Bürgerliches Trauerspiel“ зачастую ошибочно переводится как ‘мещанская трагедия’. Bürgerlich означает ‘бюргерский, гражданский, буржуазный’, klein-bürgerlich — ‘мещанский’.

К с. 256.

* Сопоставление эпопеи и романа напрашивалось само собою. Известный немецкий писатель-просветитель Иоганн Карл Вецель (1747—1819) впервые, насколько известно, назвал роман „bürgerliche Ерорае“ в предисловии к роману „Герман и Ульрика“ (1780): «Сочинитель настоящего произведения постоянно придерживался того мнения, что снять с этого поэтического жанра (романа) позор и довести его до совершенства можно, приблизив его с одной стороны, к биографии, с другой — к поэзии: тогда возникнет настоящая бюргерская эпопея, чем и должен быть роман. Так называемая героическая поэма и роман отличаются лишь тоном, характерами и ситуациями: в поэме все *поэтично*, в романе все должно быть *человечно*, в поэме все должно возводиться к выпренному идеалу, в романе — сохранять настроение действительной жизни» (W e z e l J. C. Her mann und Ulrike. Leipzig, 1980, S. 5—6). Впоследствии термином „bürgerliche Ерорае“ пользовался Гегель (см. Соч., т. XIV, с. 273, где термин переведен как ‘буржуазная эпопея’).

К с. 259 (Гл. LXXX),

* V, 15.

** Текст Гёте в вольной парафразе (V, 229). Поэтическая цитата — VII 85.

К с. 269.

* Далее опущены семь глав — с LXXXVIII по XCIV,— имеющие следующие названия:

LXXXVIII, План поэмы,— Развитие действия,

LXXXIX. Подлинно поэтический замысел целого.

XC. Начальный момент действия.

XCI. Решающие обстоятельства, ведущие к перипетиям.

XCII. Пользование временем и местом.

XCIII. Последовательность вызываемых ощущений.— Исключение.— Аптекарское средство против нетерпения.

XCIV. Характеры в поэме.— Общий род, к которому они относятся.— Сходство их с гомеровскими характеристиками.

** Термин „культура“ употребляется здесь в специфическом смысле — как одностороннее, чисто техническое развитие человечества. Кант говорил о цивилизации как о „культуре умения“, противопоставляя ее „культуре воспитания“. О культуре во втором смысле Гумбольдт упоминает во „Введении“ к „Эстетическим опытам“: «Культура — это искусство, питая душу, делать ее плодородной» (с. 163 наст. изд.).

К с. 273 (Гл. ХCVIII).

* VII, 78.

К с. 274.

* Далее опущены четыре главы — от ХСIX по СII, Их названия таковы:

ХСIX. Слог.

С. Простота слога.

СI. Строение периодов.

СII. Стихосложение и ритм.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Фрагмент „Betrachtungen über die Weltgeschichte“ написан в Вене, по-видимому, в 1814 г. Впервые напечатан в 1895 г. в сборнике неопубликованных статей Гумбольдта. По-русски публикуется впервые.

К с. 279.

* Речь идет о статье Канта „Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане“ (1784) и книге Гердера „Идеи к философии истории человечества“ (1784—1792). Проблемы философии истории освещались во многих последовавших за этой работах и университетских лекционных курсах, в том числе у Фихте, Шеллинга, Шиллера.

К с. 284.

* Слова Гумбольдта были написаны в начале прошлого века и не относятся к современной жизни Египта, Индии, Мексики.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДВИЖУЩИХ ПРИЧИНАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Фрагмент „Betrachtungen über die bewegenden Ursachen in der Weltgeschichte“ написан в Лондоне в 1818 г. Впервые опубликован в 1904 г. в третьем томе Полного собрания сочинений. По-русски публикуется впервые.

О ЗАДАЧЕ ИСТОРИКА

Работа „Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers“ представляет собой доклад, прочитанный в Берлинской академии наук в 1821 г.; впервые напечатана в трудах Академии в 1822 г. Посылая Гёте свою работу, Гумбольдт писал: Вам может показаться странным сравнение истории именно о искусством, Но меня занимает

эта идея давно. и нет ли действительно чего-то общего в изображении человеческого облика и человеческих действий?.. Я не могу забыть слова Шиллера, они все время мне вспоминались во время этой работы. Он говорил о том, что его исторические работы находят слишком поэтическими, и закончил: историк должен вести себя, как поэт; если он владеет материалом, то он должен воссоздать его совершенно заново. Тогда это мне показалось парадоксальным, и я его не понял. Стараниям постепенно постичь его мысль обязан этот трактат своим появлением на свет». „Wilhelm von Humboldt, sein Leben und Wirken dargestellt in Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit“. Berlin, 1953, S. 874). По-русски публикуется впервые. Вычеркнутые и исправленные в рукописи места, воспроизведение которых содержится в Академическом издании, нами опущены.

А. В. Гулыга, М. И. Левина, А. В. Михайлов

ПЛАН СРАВНИТЕЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Работа „Plan einer vergleichenden Anthropologie“ была написана Вильгельмом фон Гумбольдтом в 1795 г. Напечатана в „Gesammelte Schriften“, т. I. Berlin, 1903, с. 377—411.

* В нашем издании статья публикуется с сокращениями в связи с тем, что ряд вопросов, излагаемых в этой работе, обсуждается в подобном же плане и также подробно в других статьях, включенных в настоящий сборник.

О ДУХЕ, ПРИСУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ

Работа „Ueber den Geist der Menschheit“ была написана в 1797 г. и напечатана в „Gesammelte Schriften“, т. II. Berlin, 1904, с. 324—334.

Это исследование В. фон Гумбольдта было предназначено в качестве введения к несостоявшемуся труду по философской антропологии.

Включение его в лингвистическую часть данного сборника оправдано не только тем, что путем семантического анализа (и сопоставления с другими языками) оно дает метку характеристику важнейшего для Гумбольдта понятия Geist в современном ему немецком языке, но и с точки зрения соотношения темы данного исследования с антропологической проблематикой главного лингвистического сочинения автора.

Человек, по мнению В. Гумбольдта, должен стремиться к тому, чему он как конечной цели может подчинить все и в соответствии с чем как с абсолютным масштабом он может все соразмерить. Этого он не может найти нигде, кроме как «в самом себе»: оно находится в непосредственном родстве с «внутренней природой» человека. Это — нечто общее, поскольку оно должно иметь универсальное применение и в то же время обладать способностью реализоваться индивидуально, разнообразными способами.

Такое единство универсального и индивидуального, которое может «объять всего человека, со всеми его духовными силами и во всех его проявлениях», заложено в гумбольдтовском понимании Bildung, и этого он придерживался до конца жизни. В посмертном его сочинении эта же мысль сформулирована следующим образом: «...стремление к цельности и семья негасимых порывов, заложенное в нас самим понятием нашей человечности (Menschheit), не дают ослабнуть убеждению, что отдельная индивидуальность есть вообще лишь явление духовной сущности в условиях ограниченного бытия» (В. фон Г у м б о л ь д т. Избранные труды по языкознанию. М., 1984, с. 64).

Идея человечности (Menschheit) в понимании Гумбольдта неотделима от понятия духа (Geist), так как она не что иное, как «живая сила духа, который ее одушевляет», «в ней деятельно и активно проявляется».

Г. В. Рамишвили

ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ ИЛИ ПЛАН СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВСЕХ ЯЗЫКОВ

Работа „Ueber das Sprachstudium oder Plan zu einer systematischen Encyclopaedie aller Sprachen“ представляет собой извлечение из рукописи — „Fragmente der Monographie über die Basken“ (1801—1802). Опубликована в „Gesammelte Schriften“, VII (1907), с. 593—608.

Подробнее см. наше Предисловие к данному сборнику.

ПРОВЕРКА ИССЛЕДОВАНИЙ О КОРЕННЫХ ОБИТАТЕЛЯХ ИСПАНИИ ПОСРЕДСТВОМ БАСКСКОГО ЯЗЫКА (Ф р а г м е н т ы)

На протяжении большей части своей научной жизни Вильгельм фон Гумбольдт живо интересовался басками и баскским языком. Он начал заниматься баскским в конце девятых годов XVIII в., готовясь к поездке в Испанию. В 1801 г. он предпринял путешествие по стране басков, причем главное его внимание, по его собственным словам, было обращено на язык. В изучении баскского языка неоценимую помощь оказал Гумбольдту известный басколог, баск по происхождению, Педро де Астарлоа.

Свои наблюдения, накопившиеся во время этой поездки, Гумбольдт изложил в работе „Баски, или Замечания, сделанные во время путешествия по Бискайе и французским баскским областям весной 1801 г., вместе с исследованиями о баскском языке и нации и кратким изложением баскской грамматики и словарного запаса“. К сожалению, работа эта (как и многие другие начинания В. фон Гумбольдта) осталась незаконченной, и его баскская грамматика и словарь так и не увидели света; в упомянутую работу попали также лишь весьма немногие наблюдения, касающиеся баскского языка. Но Гумбольдт не собирался отказываться от своего намерения, о чем свидетельствует его работа „Сообщение о сочинении, касающемся баскского языка и нации, с рассмотрением мировоззрения и сущности последней“ (1812 г.). Однако единственная его крупная работа по баскскому языку — „Проверка исследований о коренных обитателях Испании посредством баскского языка“ („Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelt der Vaskischen Sprache“) увидела свет только в 1821 г. Наш перевод этой работы сделан с издания, осуществленного братом Вильгельма фон Гумбольдта Александром фон Гумбольдтом в 1841 г. (Wilhelm von Humboldt's Gesammelte Werke, Band 2. Berlin, 1841, S. 1—214.)

Этот труд интересен не только тем, что посвящен баскскому языку, но и тем, что представляет собой одну из немногих практических работ В. Гумбольдта в области языкознания. В частности, книгу эту можно рассматривать как одну из заложивших основу исторической топонимики. Острая полемика, которую В. Гумбольдт ведет со своим наставником в области баскского языка П. Астарлоа и его последователями, настаивая на необходимости учитывать принцип регулярности фонетических изменений в противовес произволу традиционной филологии, не утратила своего значения и в настоящее время. До сих пор сохраняют свою ценность и заключения В. Гумбольдта о первоначальных обитателях Иберийского полуострова — прежде всего как один из первых образцов построения теории на стыке лингвистической и исторической наук.

С. А. Старостин

ОПЫТ АНАЛИЗА МЕКСИКАНСКОГО ЯЗЫКА

Работа „Versuch einer Analyse der Mexikanischen Sprache“ написана в 1821 г., напечатана в „Gesammelte Schriften“, т. IV. Berlin, 1905, с. 233—284. В настоящем сборнике печатаются извлечения из этого сочинения.

В этом фрагменте, который мы позволили себе извлечь из данной работы,

автор высказал соображения, важность которых очевидна и с точки зрения перспективы современного языковедения. Сравнительная теория языковедения должна быть, по Гумбольдту, составлена таким образом, чтобы самый незаменимый элемент языка даже «самых убогих дикарей» мог стать «важным материалом для истории и философии человечества». При таком всеохватывающем подходе каждый элемент толкуется не как произвольно отторгаемый кусок, а как интегрирующая часть целого. Без такого рассмотрения разнообразие может ввести лишь в замешательство и, по мнению Гумбольдта, «нет ничего более безрадостного», нежели умышленное или случайное соположение различного, отдаленного и несхожего, которое приводит к одному лишь перечислению некоторого количества «странных явлений». Здесь «нечего и думать о полноте исторического материала», даже если все наличествующие данные и были исчерпывающим образом обработаны. Хотя все известно, но оно «навсегда остается лишь обломком разбитого целого».

Соблюдение условия целостного рассмотрения требует, однако, выработки такого навыка исследования элементов и форм всех языков, который позволил бы видеть в них «кисточки общей, всеохватывающей языковой способности человечества». Это необходимо и для осмысления философской истории человечества, то есть для понимания того, что человек предпринимает и достигает во всех концах земли и во все времена, всего, что было «посредством языка завоевано, обработано» и что «стимулировало плодотворность в науке и искусстве, мышлении и восприятии».

Это — энергетическое толкование языковой способности, то „общее“, на чем строится сравнительное языковедение В. фон Гумбольдта; оно коренным образом отличается от того понимания „общего“, которое берет начало в картезианской философской грамматике и которому следует современная теория типологии языков. Следовательно, оно — не абстрактная структура, не „язык вообще“ или нечто промежуточное между языком и мышлением, а общечеловеческая языковая способность «превращения мира в мысли» и один из факторов конструирования всемирной истории.

Постулирование понятия языковой способности в гумбольдтовском понимании необходимо для переосмысления первооснов современной лингвистики; например, Фердинанд де Соссюр, которого хотя и объявили родоначальником универсалистской (семиотической) теории структурного анализа, исходит не из абстрактной структуры языка (или „схемы“, как это в свое время утверждал Л. Ельмслев), а именно из языковой способности создавать «систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям» (Ф. де Соссюр. Труды по языковедению. Москва, 1977, с. 49). Весьма поучительно, что Ф. де Соссюр специфичной и естественной для человека считает именно эту способность к синтезу, а не «речевую деятельность как говорение (*langage parlé*)».

Несмотря на возможную преемственность в постулировании этого исходного понятия, следует помнить, что Ф. де Соссюр, хотя и отличает языковую способность от речевой способности говорения, однако не толкует ее энергетически и потому на основе этого не предъявляет науке о языке столь высоких требований, как Гумбольдт. (Подробнее об этом см.: G. Ramischwili. Über das Postulat der Laut — Sinn — Synthese. Humboldt — Saussure. (Доклад, прочитанный в Дюссельдорфском университете 6.V. 1974 г. Напечатано в: „Лингвистический сборник“. Тбилиси, 1979, с. 172—185)).

Одно из таких высоких требований — это усмотрение соотношения между сравнительным языковедением и философской историей человечества, рассматриваемое и в данной работе Гумбольдта.

Хотя в каждом языке «целокупно представлен человеческий дух», однако он «представлен лишь с одной стороны». Панорама разворачивается уже при сопоставлении нескольких языков, однако конечной цели можно достичь только тогда, когда будут охвачены все известные языки. Лишь тогда, по Гумбольдту, в нашем распоряжении окажутся все данные, которые «следует передать философской истории для того, чтобы проверить ее наблюдения над духовным прогрессом человечества, или для того, чтобы они послужили опорой и фундаментом этих наблюдений».

При сопоставлении языков с точки зрения их расчленяющей способности они как бы выступают в качестве «методов», «дополняющих друг друга». Но «ме-

тод разделения поля мышления при помощи языкового разнообразия — по Гумбольдту — еще мало проверен». Однако «от этого он не становится менее возможным и важным» — заключает автор. Он мало проверен также в последующей и современной лингвистике: можно только надеяться, что «возможность» и «важность» такого предприятия будет еще в большей степени осознана в будущем.

Усилия в первую очередь должны быть, по-видимому, направлены к тому, чтобы выявить логику креативности языка, выражающуюся в операциях не формального, а именно содержательного характера (См.: G. Ramischwili. Sprachliche Kreativität aus inhaltlicher Sicht Integrale Linguistik.— In: „Festschrift für Helmut Gipper“. Amsterdam, 1979).

Осознание требования Гумбольдта по поводу проведения различия между «холодным аналитическим рассудком» и творческими свойствами языка, высказанное в данной работе «о мексиканском языке», могло бы послужить своего рода импульсом для многочисленных исследований в вышеназванном смысле. Перечисляя эквиваленты немецкого слова Seele в разных европейских языках, Гумбольдт считает, что каждое слово содержит признаки и нюансы, которые «не в состоянии исчерпать никакая дефиниция», ибо каждое способно вступать «в новые сочетания», каждое продуктивно в отношении «образования новых понятий». Автор глубоко убежден, что «в различных языках возникают понятия, к которым никогда не смог бы придти один разум сам по себе без помощи языка».

К с. 360.

* Мексиканский язык — имеется в виду ацтекский язык.

Г. В. Рамишвили

ХАРАКТЕР ЯЗЫКА И ХАРАКТЕР НАРОДА

(О т р ы в о к)

Статья „Ueber den Nationalcharakter der Sprachen“ (Bruchstück) была написана в 1822 г. Напечатана в „Gesammelte Schriften“, IV (1905).

Данная статья была предназначена для доклада в Прусской академии наук в 1822 г. Годом раньше (1821) В. Гумбольдт специально приступил к разработке темы, которая занимала его с самого начала и до конца его жизни; в результате появилось неоконченное сочинение с заглавием: „О влиянии различного характера языков на литературу и духовное развитие“ (см. русский перевод в книге: В. фон Г у м б о л ь д т. Избранные труды по языкознанию. Москва, 1984).

Помещенная в сборнике статья начинается с обзора его прежней позиции, состоящей в том, что: 1. «Различия между языками суть нечто большее, чем просто знаковые различия», 2. Слова и формы слов «образуют и определяют понятия» и 3. По своему влиянию на познание и на чувства разные языки предстают перед нами как различные способы видения мира. Однако Гумбольдт тут же напоминает читателю о другом своем подходе, носящем более универсальный характер: «и это требование, которое относится ко всем языкам» («несмотря на их индивидуальные особенности»).

В этом сочинении прямо поставлен вопрос: существует ли у языков характер, и если да, то каковы его границы. Разумеется, в своем полном и очищенном виде его прежде всего следовало бы искать «в живой речи», но так как речь исчезает вместе с говорящими и слушающими, приходится связывать характер языков с его неживой частью, со строем языка. Однако характер — это то же самое, что и своеобразие, индивидуальность, которую до определенной степени можно лишь «ощущать», но невозможно дать точное определение, представить с помощью понятий. Не следует ли поэтому и вовсе исключить ее из круга научного рассмотрения?

Гумбольдт считает исследование этого сложного феномена делом именно языковеда. В последнем своем сочинении („О различии...“), в главе „О характере языков“ он утверждает, что «индивидуальная жизнь» языка распространяется на все его разветвления, «пронизывая все фонетические элементы», всю внешнюю форму. Это означает: исследователь языка должен «всегда помнить, что царство форм — не единственная область, которую предстоит осмыслить языковеду» („Избр. труды по языкозн.“, с. 163). Это «новый тип» языковеда и языковедения, тот «новый тип», о котором он говорил еще 20 лет назад в своем сочинении о басках. Гумбольдту приходилось неоднократно доказывать правомерность такого рода исследований уже в эпоху расцвета индогерманистики, в эпоху Ф. Боппа, которого, несмотря на принципиальное с ним расхождение в понимании феномена языка, Гумбольдт очень ценил, поддерживал и поощрял.

Лингвистическая мысль и тогда не была готова для освоения антиномии, которая удачнее всего сформулирована Гумбольдтом в письме к Бринкману 1803 года: он испытывал «высшее наслаждение» от осознания того факта, что с каждым новым языком вступаешь в «новую систему мыслей и чувств», так же как бесконечно привлекает наличие внутренней, удивительно «таинственной связи всех языков».

Если общая задача приближения к объективной истине задана всем языкам, как это сформулировано в последнем сочинении Гумбольдта („О различии...“), и разные языки — это не что иное, чем разные попытки решения данной задачи, то «внутреннюю связь всех языков» следует искать не в установлении сходства и общих черт в формальной структуре языков (т. е. на уровне эргона), а на основе общности именно вышеназванной задачи.

Этот подход содержит одновременно два аспекта — генетический («создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества» и телеономический, направленный на определенную цель (то есть «... на удовлетворение этой внутренней потребности») (см. В. фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию, с. 51), выражающийся в первую очередь в аппроксимации к объективной истине.

Такая исходная позиция задуманного Гумбольдтом сравнительного языковедения коренным образом отличает его как от тогдашней исторической лингвистики, так и от всех последующих попыток построения формальной (или „содержательной“) типологии.

На первой же странице рассматриваемого нами сочинения („Характер языка и характер народа“) Гумбольдт, как бы логически преодолевая и развивая два подхода — релятивистский и универсалистский, — представляет новое, мы бы сказали, „энергейтическое направление“ «глубочайшего и тончайшего вторжения языков» в «движение духа». Это одновременно и выяснение того, как «живущая в языках сила» превращает в достояние сознания общую сферу явлений, лежащую перед всеми языками.

Здесь налицо определенное сходство с известным его докладом „О сравнительном изучении языков...“ (1820 г.) и другими работами этого периода. В том же сочинении усматриваем мы и необходимые теоретические предпосылки для его последнего фундаментального труда. Здесь же намечается перспектива раскрытия причин различий языков с целью философского осмысления истории человечества (с. 377), и, что самое главное, толкование этого факта возведено в ранг энергейтического рассмотрения: «языки и различия между ними должны рассматриваться как сила, пронизывающая всю историю человечества». Если оставить языки без внимания, то, по глубокому убеждению Гумбольдта, будет «недоставать важнейшего», поскольку язык «вступает в действие самым непосредственным образом в той точке», где «порождение объективной мысли и возвышение субъективной силы происходят друг из друга при обоюдном нарастании» (с. 376).

Теперь становится ясным, что может означать «философски обоснованное сравнение» языков, а также почему «различия между языками приобретают всемирно-историческое значение» (с. 375).

Наш особый интерес к этой статье, как уже было отмечено выше, вызван в первую очередь ее значимостью для эволюции взглядов Гумбольдта. Здесь же намечается путь к разгадке названия его классического сочинения: „О разли-

О ДВОЙСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Статья „Ueber den Dualis“ была написана в 1827 г. Напечатана в „Gesammelte Schriften“, VI (1907), с. 4—30.

К с. 382.

* 'Из чего становится ясным, как двойственное число, скрепленное единой и простой связью, служит усовершенствованию дел'. (Л а к т а н ц и й. О трудах господних).

К с. 384.

* Речь идет об архаизме структуры латышских и в особенности литовских диалектов, сохранивших многие черты общиндоевропейской древности. Во времена Гумбольдта латышские и литовские крестьяне были в положении низшего социального сословия, угнетавшегося иноязычными феодалами.

К с. 387

* Термин „некультурный“ употребляется (по отношению к гренландским эскимосам, новозеландским маори и т. п.) в том смысле, в каком стали позднее употреблять (также малоудачное) обозначение „примитивный“ или „первобытный“. Имеются в виду народы или племена, культура которых: не испытала еще влияния европейской и находится на относительно невысоком уровне развития материальной культуры.

К с. 388

* Семитские формы двойственного числа (сокращенно — дв. ч.) типа арабских возводятся к общесемитскому и сопоставляются с индоевропейскими (что могло бы говорить о наличии подобных форм уже в западностратическом); см. С и п у А. *Études prégrammaticales sur le domaine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques*. Paris, 1924.

** Под источником санскрита и европейских языков, как в дальнейшем тексте, в некоторых случаях и под самим „санскритом“ и древнеиндийским языком подразумевается общиндоевропейский („санскритский“ — в терминологии Гумбольдта) праязык, для которого в именах существительных дв. ч. реконструируется в качестве категории словообразовательной, характеризовавшей, в частности, названия парных предметов. В некоторых неизвестных еще Гумбольдту наиболее древних письменных индоевропейских языках, в частности хеттском и других анатолийских, дв. ч. уже исчезло, и его более раннее существование можно только предполагать на основании некоторых изолированных пережиточных форм, таких, как хет. *sakuwa* 'глаза' ((и.-е.**sokwō* 'два глаза', родственно хет. *sakuwai* 'видеть', нем. *sehen*, англ. *to see*).

*** В саамском (лапландском) языке дв. ч. сохранилось только в местоименных и глагольных формах западных диалектов. Как показывает сравнение с обско-угорскими языками (хантыйским и мансийским) и самодийскими языками, эта черта западносаамских диалектов восходит к общефинно-угорскому и общеуральскому. Некогда дв. ч. было во всех угорских языках, включая и венгерский, след чего видят в одной из форм числительного: венг. *kettő* '2' (**kettük* — древняя форма дв. ч., хант. *kätken*, манс. *kitäy*. (См. N e s h e i m А. *Der lappische Dualis*. Oslo, 1942.)

К с. 389

* Из кельтских языков, к которым относятся „кимрский“ (валлийский) и гаэльский, древние формы дв. ч. лучше всего сохранил древнеирландский: др.-ирл. *fer* 'двух людей' (индоевропейское окончание дв. ч. *-*ou-s*).

** В коптском языке есть только пережиточные формы дв. ч., которые грамматически толкуются как формы единственного числа. В наиболее древней форме египетского языка, из которой произошел коптский, были особые местоименные и глагольные формы дв. ч., которые после староегипетского периода уже в среднеегипетском становятся архаизмами. Дв. ч. в египетской иероглифике обозначалось двумя штрихами или кружками, множественное число — тремя штрихами (кружками).

К с. 390

* В древнеиранском авестийском („Zendском“ в более старой терминологии) языке, близко родственном санскриту, были и именные, и глагольные формы дв. ч., в древнеперсидском — только отдельные формы дв. ч. В среднеиранских языках формы дв. ч. утрачиваются.

** В древнеармянском языке (грабаре) следы дв. ч. усматривают в таких изолированных формах, как название *глаз* < *два глаза* из и.-е. *okw-ī (ср. церк.-слав. *очи*, дв. ч.).

*** Из мертвых индоевропейских языков, тексты которых были прочитаны в XX в., архаические формы дв. ч., восходящие к индоевропейским, сохранились в тохарских языках: тох. В 'глаза' < *okw-ī (к этой форме может присоединяться специфическое тохарское окончание дв. ч. -ne); см.: Winter W. Nominal and Pronominal Dual in Tocharian. — „Language“, 1962, vol. 38, № 2, p. 112—134; Иванов Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. Индоевропейские истоки. М.: Наука, 1981, с. 18.

**** Формы дв. ч. в глаголе, местоимении и в имени в славянской языковой области на западе сохраняются не только в упомянутых Гумбольдтом севернолехитских диалектах (кашубских и словинском) в Польше, но также и в лужицких языках (ныне — территория ГДР), в южнославянских языках — в словенском (см.: Tesnière L. Les formes du duel en slovène. Paris, 1925). Некогда дв. ч. было во всех славянских языках, о чем свидетельствует его наличие в старославянском (и разных изводах церковнославянского, в том числе и в русском), старосербском, древнепольском и некоторых польских диалектах, древнечешском (до XVI в.) и в древнерусском (в современном русском языке есть целый ряд пережиточных форм дв. ч.; ср. *два плеча* при мн. ч. *плечи*; в языке поэзии, напр. у Блока, встречается употребление формы *плечá* и без числительного *два*).

***** Пережиточные формы местоимений дв. ч. еще сохранялись в древне-нижнемецком и лишь в отдельных случаях — в древневерхнемецком (род. п. *ihkēg* 'нас обоих'), но до сих пор встречаются в современных диалектах Баварии и Австрии с пересмыслением их как форм мн. ч., древние формы которого были ими вытеснены; см.: Жирмунский В. М. Немецкая диалектология, М.—Л.: Изд. АН СССР, 1956, с. 421; е го же. История немецкого языка, изд. 4. М.: Изд. лит-ры на ин. яз., 1956, с. 228; е го же. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.—Л.: Наука, 1964, с. 163—164. В готском и древнеисландском еще сохранялись формы дв. ч., унаследованные от общегерманского.

***** Речь идет о языке маори на Новой Зеландии, таитянском (таити) на островах Таити (старое название в европейской литературе — острова Товарищества), тонга на островах Тонга (старое название — острова Дружбы). Гумбольдт правильно связывал эти языки с другими малайско-полинезийскими (или австронезийскими), в том числе с языками островов Австрало-Азиатского (Южного) моря, иногда выделяемого на юге Тихого океана. О формах дв. ч. в этих языках см. Sirell A. Austronesian languages of Australian New Guinea. — In: „Current Trends in Linguistics“, vol 8. Linguistics in Oceania. The Hague. — Paris: Mouton, 1971; Левин Бруно Л. Первобытное мышление. Перев. с франц. М., 1930.

К с. 391

* Новая Голландия — старое название Австралии, Новый Южный Уэльс — один из штатов Австралии (на ее юго-востоке). Река Макверри (Macquarie) протекает в Новом Южном Уэльсе. В некоторых австралийских языках (в настоящее время объединяемых в одну семью, несмотря на значительные различия между ними) существуют (как и в некоторых территориально близких папуасских и

индо-тихоокеанских языках) формы не только дв. ч., но и тройственного числа, отличающиеся от множественного. Дв. ч. есть в таких хорошо изученных австралийских языках, как аранта.

** Под гренландским языком понимается гренландский — (западный) вариант эскимосского, близкий к эскимосским диалектам Канады и Аляски и родственный эскимосским диалектам на территории СССР. Показатель дв. ч. в эскимосском (ср. *iglu-k* 'два дома': *iglu* 'дом', *iglu-t* 'домá'), как и некоторые другие грамматические морфы эскимосского, может быть сопоставлен с аналогичными элементами в восточностратическом (уральском), но детали отношений между эскимосско-алеутской группой и ностратическими языками еще подлежат выяснению.

Из языков, географически близких к эскимосскому, дв. ч. есть в чукотско-корякском (в современных корякском, алюторском и керекском языках, тогда как в чукотском и ительменском — только следы дв. ч.). На Дальнем Востоке в нивхском языке (в низовьях Амура и на о-ве Сахалин) следы дв. ч. сохраняются в особых именных формах комитатива на *-кил/-гин/-хин*, *-кэ/-гэ/-хэ*, личных местоимений (*мэги* 'мы оба'), повелительного наклонения (1 л. дв. ч. *-натэ*); кроме того, в настоящее время употребляются особые формы числительных для парных предметов (названий частей тела, лыж, весел и т. п.).

*** Новая Испания — старое название Мексики. Тотонакский язык — америндейский язык, на котором говорят в Мексике, — принадлежит вместе с языком телегуа к тотонакской подгруппе языков пенути. Веракрус — порт на западном берегу Мексики.

**** Чайма — севернокарибский язык. Новая Андалусия — старое название одного из штатов Мексики.

***** Чероки — америндейский ирокезский язык группы ирокуа-каддо. Дальнейшие исследования показали, что дв. ч. есть и во многих других америндейских языках Северной Америки: в онейда (ирокезский язык группы ирокуа-каддо), навахо (южноатапаский язык группы на-дене) и т. п.

К с. 392

* Для своего времени работа Гумбольдта, несомненно, охватывала значительное число языков, хотя позднейшими исследованиями выявлен и ряд других языков и целых языковых семей за пределами Европы, где имеется дв. ч.

** Причины обозначения Египта формой дв. ч. коренятся в самой древнеегипетской модели мира; см.: *Th a u s i n g G. Aegyptiaca. 2. Über das dualistische Denken in alten Ägypten.* — „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes“, 1969, Bd. 62 (Wien); Иванов В. В. До — во время — после? — В кн.: Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. М.: Наука, 1984, с. 9—12.

К с. 393

* Для исследования связи дв. ч. с числительным 'два' важны формы дв. ч. или наименования парных предметов, образованные в индоевропейских и восточноазиатских языках (а также в абхазо-адыгских и бурушаски) посредством древних сложений с числительным 'два': лит. диал. *vedu, mudu* 'мы оба' (ср.: в австроиндийском языке добу *si-te-gua* 'они вдвоем' (*gua* 'два')) и т. п.; см.: Иванов В. В. К типологии числительных первого десятка в языках Евразии. — В кн.: „Проблемы лингвистической типологии и структуры языка“. Л.: Наука, 1977; Климов Г. А., Эдельман Д. И. К названиям парных частей тела в языке бурушаски. — „Этимология. 1972“. М.: Наука, 1974, с. 160—162. Обратный случай представляют венгерские конструкции с названиями парных предметов типа венг. *fél-kezű ember* 'однорукий человек' (букв. 'половинорукий', *fél* 'пол' — из древнего ностратического обозначения 'половины, пола'), фин. *käsi-puoli* 'однорукий' (букв. 'рука-половина' с обратным порядком этимологически тех же элементов), из чего следует, что финно-угорские обозначения рук (и других парных частей тела) некогда понимались как единое целое.

Парное число возникает для обозначения таких устойчивых пар, как 'муж и жена'; ср. баскск. *senhar-ak* 'муж и жена'; гуде аффикс мн. ч. *-(ak)* присоединяется ко всему комплексу, в чем можно видеть 'преддверие дв. ч.' (*Dualvor-*

stufen) (L e w y E. Elementare Syntax des Baskischen.— In: L e w y E. Kleine Schriften. Berlin: Akademie-Verlag, 1961, S. 557).

К с. 394

* Об использовании дв. ч. в древних индоевропейских языках для обозначения малого множества см.: Т р о н с к и й И. М. К семантике множественного числа в греческом и латинском языке.— „Ученые записки ЛГУ, Серия филолог. наук“, 1946, вып. 10, с. 54—72.

** Язык абипон — америндейский язык, входящий в гуайкуруанскую подгруппу макро-паноанской семьи; близко родствен языку мокови (у Гумбольдта — мокоби), входящему в ту же подгруппу.

К с. 398

* Подробнее о разных видах двоичности см.: И в а н о в В. В. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Сов. радио, 1978.

К с. 399

* В этом отношении значительный интерес представляет этимология русск. *пол*, восходящего к индоевропейскому и далее ностратическому (ср. приведенные выше венг. *fél*- ‘пол-’, фин. *puoli* ‘пол-’) обозначению половины (в частности, племени при его дуальной организации, основанной на браках только между представителями разных половин).

** В целом ряде языков обозначение другого основано на числительном ‘2’; см.: P i t k i n H. Two plus two makes two.— In: „American Indian and Indo-European Studies“. Papers in honor of M. S. Beeler, ed. by K. Klar, M. Langdon, S. Silfver (Trends in linguistics. Studies and monographs, 16, ed W. Winter). The Hague — Paris — New York: Mouton, 1980, p. 204.

К с. 400

* Детально эти особенности типологии третьего лица в отличие от двух других рассмотрены в лингвистике нашего века, предшественником которой и в этом отношении оказывается Гумбольдт. См. Б е н в е н и с т Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974; Я к о б с о н Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: „Принципы типологического анализа языков различного строя“. М.: Наука, 1972.

** В философии и гуманитарных науках XX в. эта идея особенно подробно была развита М. Бубером и М. М. Бахтиным; см.: Б а х т и н М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. писатель, 1970. См. также: Б и б л е р В. С. Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога). М.: Изд. полит. лит.-ры, 1975.

*** Имеются в виду америндейские языки (такие, как атгонкинские), последовательно проводящие прежде всего различие между одушевленностью (активностью) и неодушевленностью (инактивностью); ср.: К л и м о в Г. А. Типология языков активного строя. М.: Наука, 1977. Согласно новейшим результатам сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, противопоставление этого типа было характерно и для общиндоевропейского праязыка вплоть до времени отделения от него хетто-лувийских (анатолийских) диалектов, где отражена еще эта древняя система двух классов, а не более поздняя (по Гумбольдту — более совершенная) трехродовая система, выработанная на более позднем этапе истории индоевропейских диалектов; см.: Г а м к р е л и д з е Т. В., И в а н о в В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы, т. I. Тбилиси: изд. Тбилисск. Гос. ун-та, 1984; E r h a r t A. Pluralformen und Pluralität.— „Archiv Orientalni“, 1973, vol. 41, S. 143—155; E r h a r t A. Die ie. Dual-endung -o(u) und die Zahlwörter.— In: „Sbornik prací filosofické fakulty Brněnské University. A 13. Brno, 1965.

Вяч. Вс. Иванов

О БУКВЕННОМ ПИСЬМЕ И ЕГО СВЯЗИ СО СТРОЕНИЕМ ЯЗЫКА

Исследование „Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau“ представляет собой доклад, прочитанный в Берлине, в Прусской академии наук 20 мая 1824 г. Опубликовано в пятом томе „Gesammelte Schriften“, за 1906 г., с. 107—133.

В этом исследовании Гумбольдт выставляет гипотезу: принятие, обработка, разновидность алфавита, возможно, и его изобретение зависит от *языковых предпосылок каждой нации*. В другой работе, посвященной аналогичной теме, Гумбольдт считает письмо «обозначением мысли, уже оформленной через язык». Язык становится языком лишь потому, что «только в слове ищет созвучия для мысли».

При сравнении языков с индивидуальностями наций нужно обращать внимание на тонкое чувство различения бесчисленных созвучий звука с мыслью, «готовность в чутком согласии с ним придавать мысли разнообразнейшие формы». Однако эти последние навсегда остались бы неизвестными, «двигаясь извне, путем абстрактной классификации, ибо формы эти возникают именно в глубине чувственного материала». Такое переплетение мысли с «чувственным материалом», первично осуществленное в языке, по Гумбольдту, «наилучшим образом» приводит к цели «во всех видах духовной деятельности» человека, ибо «человек становится человеком лишь посредством языка».

К с. 419.

* В. фон Гумбольдт имел в виду государственные и административные образования и взгляды своего времени, которые не согласуются с современными научными данными и представлениями.

Г. В. Рамшвили

Предметный указатель

- Активность:** — индивидуальности 326
алфавит 403, 404, 410, 412, 413, 414, 415
— и поэзия 412
— утерянные 416
анализ
— лингвистический 369
— логический 408
— метафизический языковой способности 348
— чисто идеальный 393
аналитический: — практика 340
аналогия 301
— буквенная 353
— законы 346, 348
— правильная 354
— ступени языковой — 354
— сильная и единообразная 417
— языковая 354
анатомия: сравнительная — 318
антропология 318, 323, 324, 327, 330
— всеобщая 318, 323
— сравнительная 329
— факторы, препятствующие чрезмерному расширению границ — 331
— физиологическая 331
— философская 331
антропоморфизм 66
артикуляция: звуковая — 409, 413, 414, 419
ассонанс 413
- Безопасность**
— гарантия 52
— понятие 87
бесконечность 304
благо
— высшее, которое может дать общество 36
— моральное 28
— наибольшее 132
— нравственное 44
— общества 34
— физическое граждан 34
благозвучие 353
благосостояние 44
брак: определение 40—41
— внешние следствия — 42
бытие 66, 147, 281, 325, 399, 418
— внутреннее 39
— возникновение 147
— высшее 147, 457
— индивидуальное природных тел 294
— истинное 157
— исчезновение всякого отдельного — 147
— природное человека 245
— сила — 281
— субъективное и случайное 147
— человека 246
— физическое человека 245
— эмпирическое 147
- Вероятность:** исчисление — 140
вещь 101, 338, 349
взаимодействие 143, 270, 374
взаимопонимание 402
— язык не есть лишь средство для — 396—397
власть 50, 132
— моральная и материальная 273
влияние: — языков друг на друга 374, 376, 400
воздействие 182, 374, 377
возникновение
— порядок — частей речи 371
— факторы, способствовавшие — выдающихся народов или выдающихся индивидов 283, 284, 373

- воля** 92, 338
 — могучая 290
 — моральная 33, 83
 — и разум 338
 — формирующая 149
волеизъявление 100, 246
 — субъекта 98
воображение 141, 161, 183
 живость чувственной силы — 344
 природа — 161
 — пластическое 221
 поэтическая сила — 161, 169
 — поэтическое 230—234, 242
воплощение 164, 383
 — чувственное 325
воспитание 56—60, 61, 127, 272, 284, 323
 границы — и его возможные последствия 284
 — завершённое 270
 — интеллектуальное и моральное 321
 — как идеальное приложение философской теории формирования человека 162
 — нации (национальное —) 37, 87
 — нравов и характеров 86
 — общественное 28, 62
 польза — 61
 средства — человека 71
 цель общественного — 61
 — человека 56—60, 85, 122, 162
восприимчивость: — и самодеятельность 146—147
восприятие 221
 — сфера 325
 — членораздельного звука 413
время 365, 385

Гармония 61, 233, 243, 246, 258
 — высочайшая 146
 — древних 219
 идеальная — характеров 342
 — человека и природы 246
 — и дисгармония различных свойств характера человека 62
гений 146, 147, 182
 проникновение в — языка 348
 — художественный 220
 — эпический 271
 — как духовная порождающая сила 146
героизм: моральный и чувственный — 19, 250
героический: понятие — 249, 252
гетерогенный 326
глагол 387
говoreние 399
гомогенный 326; см. также **однородный**
государство 7, 25, 26, 28, 34, 40, 48, 49, 53, 71, 85, 86—88, 90, 95, 100, 110, 118, 125, 127, 128, 129, 130, 133, 139, 193
грамматика 386, 387, 396
грамматический 397
 — индивидуальность языка 396
 — обработанная сфера языка 353
 — природа в целом — форм 382
 — последовательность 382
 — различия между языками 396
 — род 401
 — форма 396, 401, 412, 415, 417

Движение
 — человеческого рода 282
 предел — человеческого духа 364
двоичность 392, 398, 399, 400, 402
двоичный: — сущности 398
действие 11, 26, 288, 291, 376
 — бесконечное 143
 главные способы — (образование единичного и объединение в целое) 142
дело 36
дедукция 225
 — объективности поэмы 184
действительность 134, 135, 136, 138, 139, 176, 298
деятельность
 активизация внутренней — человека 324
 беспрестанная подготовка — 150
 границы — 53
 — духовная 369, 380, 405
 — мыслительная и чувственная 325
 определение границ государственной — 53
 орудия — (мертвые и живые орудия —) 46
 продукт изначальной — 340
 сферы — 321
 свобода — 31
 — творческая 147
 — человеческая 299, 304, 341
 — историка и художника 298;
 см. еще *самодеятельность*
диалект 386, 388, 390, 418
дистрибутивный: — выражения 397
добродетель: — и порок 64, 78
доказательство 108
достоинство: подлинное — человека 46, 162, 338
дружба 31
дуализм языка 399
дух 290, 322, 343, 365—367, 398, 406, 408, 411, 412, 418, 419, 422
 влияние языка на — 405
 — философский, естественнонаучный, общественный 161
 исходные значения слова — в немецком языке 343, 345

- модификации — 322
- нации 300
- продукт — 282
- творение — 282
- функции — 406
- человека (человеческий —) 162, 212, 291, 293—294, 299—300, 324, 349
- человечества и природы 291
- и язык 364, 365, 366, 376, 380, 411
- духовность** 217, 411, 417, 419
- духовный**
 - жизнь человека 135
 - новые живые — порождения 282
 - совершенствование 66
 - творчество 83
 - чисто — процесс 340
 - сила 213
 - энергия 349
 - форма — воздействия языков, ее познаваемость и способы изучения 370, 372, 376, 380
- душа:** всеобщая природа — 168
- мировая 311
- общие состояния — 168
- строй — 261

- Единичное:** — и целое 306
- единое** 143
- единообразие** 417, 418
- единство** 143, 193, 231, 234, 311
 - наивысшее 143, 154, 330
 - понятийное 234
 - природы 154
- естественность, естественный** 20, 84, 215, 256, 258
 - и человеческое 268
- естествоиспытатель** 334
- естествознание:** новейшее философское — 156

- Жанр:** определение поэтического — 249
- живой:** энергия — силы 301, 341
- живописец** 263
- живопись** 181, 184, 192, 197
- жизнедеятельность** 322
- жизнь** 155, 159, 265, 281, 283, 289, 295, 304, 341
 - животная 284
 - интеллектуальная, моральная и практическая человека 43, 83, 283, 284
 - народная 380
 - органическая 304
 - практическая 149
- Задатки:** сохранение первоначальных природных — 162
- закон** 27, 43, 59, 83, 128 161, 288, 301, 304
 - всеобщий 321
 - аналогия между — пластической природы и духовного творчества 82
 - взаимозависимости и внутренней организации 169
 - внутренние человеческой души и внешние — природы 267
 - гражданские 97
 - единообразные 288
 - единства 264
 - жизни 155
 - запретительный 91
 - звуковые языка 385
 - лирической поэзии 240
 - матери 155
 - моральный 83
 - наивысшей чувственности 262
 - нарушения — 91
 - непрерывной последовательности 263
 - ограничительные 108
 - полицейские, гражданские, уголовные 90
 - природы 333
 - прагматической истины 267
 - равновесия 265
 - основные трагедии 240
 - уголовные 123
 - физические и моральные, их согласование друг с другом 267
 - целостности 266
 - эстетический 266
 - в языке 401
- законодательство**
 - принципы — 129
 - как отдельное приложение философской теории формирования человека 163
- звук** 409, 410, 412, 414
 - идеальный 353
 - как таковой 411
 - простой 352
 - членораздельный 408, 409, 413
- звуковая:** — система языка 411
- зло:** нравственное — 52
- знак**
 - ключ взаимосвязи — с обозначаемым 420
 - отличие языка от простых условных понятийных — 365
 - произвольный 405
 - условный 366
 - ограниченность языка как — 379
 - письменный 406
- знание**
 - индивидуального человека 323
 - одного языка облегчается — другого 361
 - о человеке 309, 319
 - значение 352, 354

- исходное 365
- корня 352
- санскритских корней 353
- различие собственного и переносного — слова 397
- изящное и утонченное 401

Идеал 68, 84, 172, 177, 196, 221, 320, 327, 328, 339

- высокий 328
- всеобщий искусства 185
- общий человека 327
- при всяком государственном устройстве 132
- средства воплощения — в действительность 328

— человека (человеческий) 327

идеальность 169, 176, 242, 258

— подлинная 273

идеальный 169, 170, 171, 172, 174, 176, 266

- звук 353
- совершенство 330
- целостность 177, 335
- идея** 21, 32, 279, 284—285, 291, 302—303, 304, 305—306, 365—366
- метафизическая 311
- сущность — 279
- и язык 305, 349, 366, 395, 400

идиллия 244

— и сатира 246

изменение: — языков 385

индивид 280—281, 301

нация как индивид 280—281

индивидуальность 283, 291, 303, 304, 305, 372—373

- есть единство различий 370
- наций 304 330
- органов речи и слуха 411
- и свобода 329

— как истинный результат чистого взаимодействия всех сил души 216

степени и расширения — 289

формы духовной — 305

градация — (от нации к группе народов, от все к расе, от расы к человеческому роду) 280

инстинкт 414; язык есть нечто большее, чем — интеллекта 365

интеллект 365

интеллектуальный 282

- мера — сил 93
- природа 228
- несовершенство — направленности 419
- организм 161
- правильность — интенции языка 414
- сил 344
- стремление 380

искусство 15, 164, 167—169, 173—174, 181—189, 294, 295

— архитектоника 399

возникновение — в его чистой форме 264

достоинства — 174

— как изображение природы посредством силы воображения 173

— изобразительное 187

— и история 15

— классы — 172

— наипростейшее понятие — 167

— несовершенное 297

— основание — 161, 298

— основное понятие — 173

— отличие псевдоискусства от истинного — 296

— потребность в — 169

— поэтическое 160—276

— ритмическое — 415

— родство — между собою 185

— сущность — 168

— в чистой форме 303

— и язык 193, 303, 378, 379

использование: способ — человеком языка 381

исследования

— психологические 82

— трансцендентальные 82

— и созидание 81

истина 69, 81, 267, 293

— внутренняя 292

— идеальная 267

— объективная 322, 380

— и опыт 267

— поэтическая 267

— прагматическая 267, 274

— простая и живая 306

— простая фантазии 267

— подлинная, внутренняя, основанная на причинной связи — и — внешняя, буквальная, кажущаяся 293

— религиозная 64

— спекулятивная (метафизическая или математическая) 10, 22, 267, 298

— философская (физическая и моральная) 10, 267

историк 23, 293, 295, 296, 306, 334

задачи — 203, 306

историограф: отличие — от исследователя природы и от простого повествователя 229

историография: — разрабатывает свой материал как целое 247

исторический 296, 347, 368

— системы 279

— сочинения 247

история 22, 280, 285, 288, 294, 295, 299, 302, 349, 405, 415

- всемирная 281, 287, 288, 289, 290, 291, 386
- необходимая основа — и ее материал 293
- чувство 279
- связь сравнительного языкознания с философской — человечества 366, 383, 431
- философия — 287
- как наука 294—295
- языка 415

Картина 192, 379

классификация

- абстрактная 412
- естественно-историческая — человеческого рода 329; материал, богатство которого не поддается — 68

колорит 200, 262

понятие — 199

— поэтический 199

конечный 145, 158

корень 353

крайности 55, 135

красота 32, 179

идеальная — 147

высокая — свободы 53

критика 167

- эстетическая и ее объект 160
- философская и ее цель 161, 249
- критический: виды — рассмотрения в применении к художественным творениям (эстетический и технический) 225

культивировать: — интеллектуальные силы 39; стороны, которые человек способен — 43

культура 27—28, 45, 163, 269, 270—271, 289, 331, 383

— греческая 303

— духовная 65

— и естественная природа 271

— моральная 275

— нации 441

— односторонняя 280

— политическая 261

— стадии 59

— сферы высочайшей 331

— степень 331

— уровень 136

— и цивилизация 285

степени развития языка и уровень развития — 383

различия между языками и — 348

культурный 75, 269, 349

Личность 21, 324, 335, 342

- разрушение 52

любовь 31, 159, 342

люди 285, 289

Математика 288, 295, 296, 297, 340, 410

материал 135, 143, 153, 157, 324

— чувственный 412

— эмпирический 333

— для языка 406

материя 36, 84, 365; см. еще форма

машина: превращение человека в — 36, 46

местоимение 387, 397, 398, 400

метафизик: различие между духовным развитием — и поэта 82

метафизика 249, 295, 311

метафора 365

метод 161, 164, 206, 301, 362, 363, 426

— исторический 373

— исследовательский 58

— выведения различных поэтических видов 226

— философский 299

— художественный 299

мир 170, 174, 176, 180, 213

— внешний 174, 219

— внутренний людей 219, 347

— действительности и — идеалов 180

— идеальных фигур 275

— идей и пути человека в нем 375

— физический (природа) и моральный 229

— чувственный 292

— человеческий 256

— явленный 176

двойственная природа видимого и невидимого мира 80

исследование мира вне нас и наши связи с ним 213, 219

— мысли (мысленный) 405

язык как — 289, 405

язык и — 379, 400, 401, 407

способы, какими всеобщая языковая способность овладевает —, изображает и обрабатывает его 368

влияние характера языка на субъективный — (поэзию, литературу, философию) 380

мировоззрение 333, 348, 370, 376

мировосприятие 397

мироздание 279

миф 248, 251

мифология 298

многообразии 259, 349

— градаций 33

— интеллектуальное 33

— моральное 33

— природы и людей 33

— физическое 33

— форм 328

— форм характеров 323
 — и единство 32, 143, 373
 — и единообразие 324
многосторонность: — и односторонность 142
мораль 67
моральный 28, 33, 83, 114, 280—281
мысль 146, 219, 300, 407, 412
 материальное обозначение — 378
 образ — 384
 способы выражения — (более непосредственный путь, более чувственный, более чистый, независимый от звучания) 411—412
 — и язык 376, 378, 411—412
 форма — 406
мышление 338, 364, 375, 399, 405, 406, 408, 412, 417
 — и язык 375, 405, 406, 408

Наказание 123
 — абсолютная мера 113
 время действия — 112
 виды — 112
 — как средство исправления человека 120
 — и преступление 115
народ 39, 280
 духовная способность и склад мышления — 302
 — и язык 182, 348, 372, 379
наследование 101
настроение 232
 — сентиментальное 190
 — ума 244
наука 229, 386
нация 283, 411, 412, 413, 415, 417, 419
 духовность — 411
 культура — 411
 познание характера — 319
 продукты деятельности — 28
 факторы, оказывающие влияние на дух и мировоззрение — 396
 хозяйственное и общественное состояние — 384
 — цивилизованные 280
 — и язык 289, 305, 363, 373, 384, 411
необходимость 140, 293
 природная — и свобода 291
непрерывность 263
нравственность 42, 53, 63, 64
 безнравственность 86
 — высочайший идеал 67
нравственное
 — воздействие 58
 — величие — закона 83
 — природа человека 58
 — совершенство 85

нравы 85, 322
 падение — 85

Обозначение

— вещи 349
 — нефизических предметов 364
 многообразия и своеобразия способа — 379
обработка: тонкая — языка 405
образ 81, 144, 172, 222, 273, 349, 379
 видение — 296
 — материальные и духовные 305
 оболочка живого и подвижного — 349
 — внешний 297
 — органический 296
образование: первичное — языка 365
 бычий 43: народный — 59
обучение: глухонемых 410
общение 380, 381
 высшее правило искусства человеческого — 44
 потребность в — 282
общество, общественный 283, 320, 397, 399, 400
общность (языковая) 381
объект 144
объективность 191, 195, 196, 197
 — высшая 147, 183, 202, 203
 — высшая степень 195, 197
 — изобразительных искусств 195
 — преимущество 191
 — ступени 196
опыт 328
 — особенный и — как целое 267
организм 36, 365, 368
 виды — языка 368
 — языковой 396
органический
 рождение — существа 148
 — строение 297
 подражание — образу 296
организация 334
орудие 270
осознание 325
отдельное 154
отношение
 разностороннее — 324
 беспредельное умножение многообразия — 213
 гармоничное — взаимодействия 162
отпечаток 301, 324, 349, 363, 384
ощущение 228, 239
 внутренние — человека 39

Пантеизм 311
память 417
первозвучки 369

- письмо** 404, 405, 406, 409, 414, 422
 — алфавитное 409, 413, 417
 — буквенное 403—423, особ. 403, 404, 406, 408, 412, 415, 416
 — демотическое 416
 — звуковое 407
 — иероглифическое 421—423
 — идеографическое 406
 — как знак знака и как знак объекта 406
 — настоящее 422
 — понятийное 407, 408
 — рисуночное 406
 — и язык 407, 418—419
письменность 404, 416, 417
познание 319, 377, 381
пол 142—159, 398, 399, 401
 понятие — 142—143
 бесполоый гений 149
 — женский 42, 261
 — мужской 154
 различие полов 148
политика
 внутренняя — 321
 практическое воплощение — 321
 принцип в основе — 34
понимание 300, 378
понятие 83, 325, 330, 363, 386, 393, 399, 406, 411
 логическое подразделение — 398
 — метафорическое 354
 — рассудочное 69
 способы обозначения — 382
 точное развитие — 296
 — чистые 382, 393
 — и язык 193, 292, 363
порождение 144—149, 152—158, 169, 170, 410
поэзия 80, 161, 181, 303
 — как изобразительное искусство 193
 — лирическая 240
 — в отличие от изобразительного искусства 192
 — как искусство слова 192
 — как искусство средствами языка 193
 родство — с языком 413
 — пластическая 240
 — ритмическая 412
поэма 205, 235, 255, 264
 — дидактическая 248
 — историческая 248
 — описательная 196
 ритмическое облачение как существеннейшее из условий — 231
 — философская и научная 248
 — эпическая 114, 225, 227, 240
 — и язык 181, 193, 256, 380
поэт 171, 172, 176, 189, 196, 261, 341
 величайшая тайна эпического — 257
 — дидактический 194
 — истинно человеческий 216
 — идиллический 246
 — трагический 235
 — эпический 235, 236, 268
 высшее предназначение — 167
поэтический: — вид, 164, 242
практический
 — занятия людей 318
 — отношения 324
 — цель 162
 — наблюдения 319
праязык: — всего человеческого рода 354
право 100, 123, 139
предмет 10, 161
 виды — (действительные, идеальные, метафизические, математические, эмпирико-философские) 267
 — внешний 184
 — который граничит с чисто идеальным 268
 контур и цвет как два средства представления — в живописи 200
 язык как единственный ключ к — поэзии 193
предчувствие (при изучении языка) 347
прекрасное
 понятие — 173, 269
 природа — 16, 171
преступление: предупреждение — 117;
 средства предупреждения — 122
принцип 302
 дедукция теоретических — 225
 — жизненный 176
 первопринципы 275
 — творческий 301
 установление высших — 129
 — необходимости 144
 — самодеятельности 152
природа 155, 158, 173, 269, 281, 283
 движение — 290
 — мертвая 31
 — органическая 156
 — физическая 34
 — чистая 269
 явления мертвой, живой и духовной — 302
 — и дух 282
 — и человек 10, 144, 174, 213, 280, 281, 282, 324, 332
причина 21, 117, 282
 беспричинность 211
 — и следствие 328
 — конечные 302
 — материальные и механические 303
 — механические, физиологические,
 — мировых событий 288
 — непосредственная событий 270
 — психологические 302

- упорядочивающая 65
- пробуждение** 145
- первобытных воспоминаний при сравнительном изучении языков 366
- языкового сознания 417
- провидение** 287, 288
- прогресс** 57, 282, 288, 364, 375
- произведение** 149, 160—161, 171, 224, 296—297, 323—324
- просвещение** 27, 319, 342
- противоречие** 102, 148
- между человеком и миром 243
- разрешение — 102
- прототип:** — всех языков 400
- процесс** 288, 340
- гражданский и уголовный 107
- механический 291
- чисто духовный 346

- Развитие** 33, 43, 59, 98, 102, 145, 270, 279, 305, 328, 349
- высшее и более тонкое 273
- духовное 320
- культуры и характера 37
- наук 37
- одностороннее 341
- прогрессивное 319
- человека 60, 105, 364
- различие** 55, 143, 299
- и равенство полов 149, 399
- поэтических видов 335
- характеров 324, 335
- между языками 360, 370, 375, 380, 396
- разум** 30, 158, 325, 338, 348
- и вера 68
- границы — 68, 82
- идеал, свойственный — 68
- истинный 34
- самостоятельный 153, 332
- рассудок** 37, 172, 188, 193, 213, 269, 410, 414
- революции**
- в природе 283
- исторические 283
- в ходе развития языка 364
- рефлексия** 147
- религия** 63, 64, 322
- воздействие — 68
- и государство 64
- искусства 65
- и истинная добродетель 70—71
- и мораль 67, 75
- и нравственность 63
- христианская 63
- религиозный**
- догматы 72
- идеи и моральное совершенствование 66
- понятия 28
- система 69
- речь** 374, 378, 405, 410—411, 498
- неразвитая 409
- влияние — на мышление 366, 408
- речеобразование** 352, 401, 402
- ритм** 347, 412
- рифма** 413
- родство языков** 348, 372, 373, 385, 386

- Самодетельность** 46, 50, 60, 152
- сатира** 246
- свобода** 30, 40, 46, 50, 53, 77, 86, 96, 111, 124, 137, 138, 139, 322, 332
- высокая степеня — 111
- духовная 75
- зрелость 136
- личная 99
- наивысшая 132
- ограничение — мысли 93
- природа ограничений — 27—28
- и сила 86
- частной жизни 30
- своеобразие языка** 36, 321, 349, 360, 377, 380, 382, 405, 413, 414
- связь**
- внутренняя причинная 292
- между событиями 279
- окружающего нас мира 290
- сила** 30—31, 47, 84, 108, 150, 161, 257, 285, 301, 304, 317, 325, 344, 370, 377
- воспринимающая 157, 159
- внутренняя человека 135
- движущие истории 283
- женская 152
- живые и мертвые 289—290
- жизненная 145
- истинно создающие 301
- изначальная природы 258
- мужская 151
- нации 36
- поэтическая 151
- свободный и самостоятельный импульс изначальной — 302
- человеческая 134
- символ** 81
- смысл — 68
- чувственный 419
- и идея 69
- символизация языковая** 401
- симметрия** 399
- система, системность** 309, 312, 392, 396, 405, 411
- скульптура** 181, 184, 188, 191
- и поэзия 188
- слово** 349, 364, 369, 405, 406, 409, 411, 412, 414
- как знак 379, 406
- индивидуальность — 406
- отдельное 382

— и объект (предмет) 40, 364, 406
— и понятие 364—365, 370, 379
словоизменение 372
словообразование 372, 414
совершенство 145, 154, 405
— всеобщее, абстрактно мыслимое 258, 259, 285
идея — 66, 69
продвижение духа к высшему нравственному — 66
— языков 363, 403, 412
содержание: — и форма 343, 406
создание 363, 364
созерцание 143, 227, 230
созерцательность 228, 230, 231, 234, 264
созидание 155, 349, 376
сознание
— индивидуального и мгновенного бытия 281
— естественное национальное 325
— языковое 396—397, 401, 407—408, 410, 413—414, 417
сообщество: — человеческое 321
способность
— мыслительная 399, 400
— языковая 235, 239, 246, 360, 366, 404, 410—411
— языковая нации 404, 415
— языковая человека 363, 368, 381, 411
сравнительное изучение языков 371, 377
статистика 132
стиль
— поэзии 18, 181—182, 222
— художественный 223
— этический 222
псевдостиль 170
стих: греческий — 202, 413
страсть 290
строение языков 408
субъективность 324, 406
судопроизводство 107
существительное 395
существование 32—33, 65, 279, 302
сущность 81, 143, 325, 330, 365, 376, 380, 400, 406
счастье 38, 46, 114
— и добродетель 28, 83

Талант: — и гений 182
ганец 263
гворение 146, 156, 380
творец 149, 160
теология 53
теория, теоретический 137, 162, 165, 324, 332—333
трагедия 238, 264, 265

— и идиллия 24
— как наивысший род лирической поэзии 240
— и эпоса 238, 241

Ум 348, 376, 380
умонастроение 332
универсум 285
употребление языка 348, 365, 397
устойчивость 157—158

Фантазия 169, 187, 349, 401
философ 334
философия 14, 163, 294, 299, 332, 380
— искусства 163, 165
— истории 287
— человека 10, 162, 163
— языка 380
форма 35, 61, 84, 134, 136, 142, 170, 171, 220, 230, 233, 244, 283, 294, 297, 300, 301, 305, 325, 379, 405, 406, 408
— всеобщего 294
— вторичная 386
— выражения 416
— высокая 195
— грубая, мало индивидуализированная 331
— духовная 283, 290
— единая 195
— идеальная 195
— индивидуальная 285, 331
— мысли 406, 416
— природы 171
— событий 195
— и материя (материал) 32, 36, 80, 143, 157, 290, 324, 406
— внутренняя и внешняя 135, 193, 220, 240, 255, 276, 280, 297, 325, 401
— чистая 170, 194, 198, 297, 298, 305
— языковая 347, 401—402, 406, 418
— грамматическая 363, 382, 402
формирование 29, 31, 32, 322
— индивидуальности человека, его характера 81, 119, 162, 328, 363
функционирование: — повседневное языка 379
функция 353, 395, 415

Характер 59, 84, 135, 143, 194, 258, 282, 322, 324—326, 330, 332
— женский 326
— индивидуальный 258, 319, 321
— мужской 154, 326
— человека 31, 39, 135, 320, 325, 326, 334, 336
— народа 39
— нации (национальный) 319, 324
— наций и эпох 291
— языков 373, 374

— языка и — народа 39, 348, 357, 370, 372, 373, 374, 406
художник 18, 186, 187, 218

Целое 143, 165, 231, 253, 282, 285, 323, 324, 399, 414
— замкнутое 231
— звуковое 414
— неисчерпаемое 158
— как необходимое и нерасторжимое соединение всех частей 184
— и отдельное 164

целостность 175, 177
— изображаемого 322
цель 39, 50, 285, 327, 383
— государства и — граждан 130
— конечная 39, 282
— конечная языка 397
— познания 383
— природы 84, 157
— разума 41
— человека 30, 39
— языка 383
— тройкая языка (язык как посредник в процессе понимания) 378

ценность 78, 166, 324, 338

цивилизация см. *культура*

— и язык 383

Человек 13, 82, 136, 193, 218, 283, 329, 332, 339, 412
величие — 31, 343
внешние занятия — 39
внешние обстоятельства жизни — 92
внутреннее бытие — как первоисточник и конечная цель деятельности — 39

— внутреннее достоинство — 141
— внутреннее Я 39

— внутренняя жизнь — 42, 92
— внутренняя духовная форма — 325
— внутренняя сила — 135

— во всех многообразных обстоятельствах жизни 90
— высшая и конечная цель бытия — 30
— высшие качества — 80

— и государство 104
— и гражданин 60, 116
— две природы — 48

— действия — в себе и для себя 136
— деятельный и пассивный 135

— духовный 365
— естественный 269
— идеал — 26

— идеальный 29
— индивидуальный образ — 318
— индивидуальность реального — 140
— интеллектуальные и моральные силы — 39

— историческое изучение — 332
— конечная цель моральных устремлений — 342

— моральный 179, 244
— моральная ценность — 28
— необразованный 26

— образованный 269
— обобщенный философский образ — 318

— односторонний 26
— описание внутреннего — 219
— отношения, в которые вступает — и их влияние на — 324

— свободное развитие — 60
— свойства, необходимые для истинно совершенного — 327, 338—345

— сила и развитие — как такового 28
— судьба 39
— сущность 28

— формирование подлинного — 81
— характерные родовые признаки — 318

— чистый 269
— чувственный 137
— целое интеллектуального и морального организма — 10, 13, 144, 161

— физическая природа 330
— интеллектуальная природа 137, 140, 330

— природа «говорящего» — 361
— органическая природа 332
— моральная природа 288, 330

— предназначение 36, 179, 337, 338, 348; высшее предназначение — 180
— оценка — 40, 75, 343

человековедение 329, 333—334, 335
человеческий 329, 346

— природа 337
— глубина — сущности 31
— душа 161

— изучение — природы 375
— начинание 375
— облагораживание — рода 338

— общество 31
— понятие — рода 21, 135, 282, 284, 337—345

— сообщество 331
— философское рассмотрение общей — природы 347
— характер 48

человечество 33, 162, 258, 284, 360
человечность 331, 339, 343, 430

число
— двойственное 38, 382—402, 387, 392, 395, 397

— единственное аномальное 397
— множественное 395
членение: — языка 364, 387, 410, 414

членораздельность
— языка 410

— звуков 410, 412
чувство 32, 114
— всеобщее художественное 188
— естественное некультурного человека 387
— и интеллект 213
— индивидуальность звукового — 411
— моральное 114, 188
— эстетическое 81, 83
— языковое 348
чувственный, чувственность 32, 34, 69, 77—78, 80—81, 84, 265, 334, 343

Экспериментирование 332, 333
энергия 29, 31, 162, 418
— внешнее проявление 144
— духовная народа 349, 418
— индивидуальная 338, 339
— исчезновение 136
— ослабленная 86
— поле деятельности 144
— препятствия пробуждают — 96
— силы 153
— характера 59
энциклопедия
— всех языков 348
— языкознания в целом 367
эпическое
— воздействие 256
— действие 237
— единство 233
— настроение 236
эпопея 227, 237, 238, 246, 247, 250, 262
— бюргерская 255
— героическая 255
— существенные свойства эпопеи 237
эпос 236
эстетика 14, 161, 163, 164, 179, 275
эстетическая
— односторонность 225
— система 250
эстетическое
— воздействие 275
— настроение 275
— суждение 332
— чувство 181
этимология, этимологический 350, 355

Юрисдикция 104

Я 39, 162
— и другой (Ты) 399, 400
явление 21, 47, 213, 292
— природы 302
язык 361, 365, 382, 403, 412
— как единое целое 363, 396
— как фрагмент целого 361
— внутреннее творчество — 365
— всеобщий 366
— задачи, решаемые любым — 362
— изобретатели 366
— искусного и изящного строения 393
— письменное использование родного — 367
— и поведение человека 347, 354
— сохранность остатков первоначально высокоразвитого языка 384
— как предмет изучения 348—349, 361, 377, 383
— как средство взаимопонимания 396
— виды изучения — : философское и историческое изучение 362; частное (для навыков понимания речи и письма) и всеобщее (для проникновения в суть языков, в их взаимосвязи) 367
— и человек (человечество) 349, 365, 376, 377, 378, 405, 411, 412, 419
— сущность (природа) 349, 350, 363, 369, 375, 378, 381, 397, 400, 406, 409, 410, 414
— границы 349, 363, 368, 375, 378
языковой 346, 402, 414
— выдающиеся — предпосылки народа 412—413
— интенция 402
— общеязыковая задача 389
— семья 390
— символизация 401
— содержательное и многостороннее соединение — выражения с понятием 367
— сознание (см. сознание)
— узус 398
— форма 401
языкознание 347, 363, 368, 385, 386
— общее 360—361
— сравнительное 391, 396

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА

А. В. Гулыга. Философская антропология Вильгельма фон Гумбольдта	7
Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства. <i>Перевод М. И. Левиной</i>	25
О различии между полами и его влиянии на органическую природу. <i>Перевод О. А. Гулыга</i>	142
Эстетические опыты. Первая часть. О „Германе и Доротее“ Гёте. <i>Перевод А. В. Михайлова</i>	160
Размышления о всемирной истории. <i>Перевод М. И. Левиной</i>	279
Размышления о движущих причинах всемирной истории. <i>Перевод М. И. Левиной</i>	287
О задаче историка. <i>Перевод М. И. Левиной</i>	292

ОТ АНТРОПОЛОГИИ К ЛИНГВИСТИКЕ

Г. В. Рамишвили. От сравнительной антропологии к сравнительной лингвистике	309
План сравнительной антропологии. <i>Перевод С. А. Старостина</i>	318
О духе, присущем человеческому роду. <i>Перевод С. А. Старостина</i>	337
Об изучении языков, или план систематической энциклопедии всех языков. <i>Перевод О. А. Гулыга</i>	346
Проверка исследований о коренных обитателях Испании посредством баскского языка. <i>Перевод С. А. Старостина</i>	350
Опыт анализа мексиканского языка. <i>Перевод М. А. Журиной</i>	360
Характер языка и характер народа. <i>Перевод О. А. Гулыга</i>	370
О двойственном числе. <i>Перевод С. А. Старостина</i>	382
О буквенном письме и его связи со строением языка. <i>Перевод С. А. Старостина</i>	403
Примечания. Составили: А. В. Гулыга, М. И. Левина, А. В. Михайлов, Г. В. Рамишвили, Вяч. Вс. Иванов, С. А. Старостин	424
Предметный указатель. Составила В. И. Поставалова	440

Вильгельм фон Гумбольдт
ЯЗЫК И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

ИБ № 13285

Редактор М. А. Оборина
Художник И. С. Клейнрд
Художественный редактор Ю. В. Булдаков
Технические редакторы Е. В. Джигоева, В. Ю. Никитина
Корректор Н. И. Шарганова

Сдано в набор 05.12.84. Подписано в печать 16.08.85. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 28,5 + 0,06 печ. л. вклеек. Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 28,89. Тираж 14 000 экз. Заказ № 771. Цена 2 р. 10 к. Изд. № 39075

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Zubовский бульвар, 17

Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29 с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 113054, Москва, Валовая, 28,

